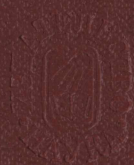


ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

ИСТОРИЯ
И
ИСТОРИКИ



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Научный совет по историографии и источниковедению

Институт истории СССР Институт всеобщей истории

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

Ответственный редактор

академик

И. Д. КОВАЛЬЧЕНКО



МОСКВА «НАУКА» 1990

ББК 63
И 90

Редакционная коллегия:

А. Н. САХАРОВ (зам. ответственного редактора), Г. Д. АЛЕКСЕЕВА,
В. И. БУГАНОВ, М. Г. ВАНДАЛКОВСКАЯ, Е. В. ГУТНОВА, В. П. ДМИТРЕНКО,
В. А. ДУНАЕВСКИЙ, Ю. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ (ответственный секретарь),
Р. А. КИРЕЕВА, В. Л. МАЛЬКОВ, член-корреспондент АН СССР
А. П. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
В. В. СОГРИН, А. О. ЧУБАРЬЯН, А. Е. ШИКЛО

Рецензент

доктор исторических наук Б. БАЛУЕВ

И 90 **История и историки.** — М.: Наука, 1990.—440 с.
ISBN 5-02-008581-2

Книга отражает новый взгляд на историческую науку, ее спорные проблемы. Творческое переосмысление устаревших концепций и выявление «белых пятен» истории читатель найдет в материалах «круглых столов»: «Мюнхен — поворот к войне», «Историческая наука 20—30-х годов» и «Революционная традиция в России». Раздел «Идеи и судьбы» посвящен незаслуженно забытым историкам — академику Д. М. Петрушевскому, А. А. Кизеветтеру, Н. А. Рожкову и А. И. Неусыхину, а также Н. И. Бухарину. Представляет интерес статья американского историка М. Левина, посвященная гражданской войне в Советской России.

Для историков и всех интересующихся проблемами исторической науки.

И 0502000000—348 КБ—90—IV
042(2)—90

ББК 63

Научное издание

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

Утверждено к печати Научным советом по историографии и источниковедению АН СССР
Институтом истории СССР АН СССР. Институтом всеобщей истории АН СССР.

Редактор издательства Г. В. Моисеенко. Художник В. Ю. Яковлев.
Художественный редактор М. Л. Храмцов. Технический редактор Т. А. Калинина
Корректоры И. Г. Коваленко, Л. В. Щеголев
ИБ № 46625

Сдано в набор 15.05.90. Подписано к печати 18.09.90. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать офсет. Фотонабор.
Усл. печ. л. 27,5. Усл. кр.-отт. 27,5. Уч.-изд. л. 33,2. Тираж 850 экз. Тип. зак 309.
Цена 8 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485. Профсоюзная ул., 90.

2-я типография издательства «Наука» 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

ISBN 5-02-008581-2

© Издательство «Наука», 1991 г.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Сколько бы редколлегия ни старалась всесторонне и полнокровно представить эту книгу читателям — сделать это с исчерпывающей полнотой вряд ли возможно. И не только потому, что в предисловии весьма трудно связать воедино разные исторические эпохи, советскую и дореволюционную историю, различные затронутые в книге аспекты всемирной истории, объединить связующей нитью столь различных авторов, представляющих не только нашу страну, но и западную историографию. Главная трудность в том, что осмысление этой работы даже самими ее создателями еще не закончено, многое из того, что предложено сегодня читателю, еще находится в процессе научного освоения, историографической эволюции, и каждый новый год (если не месяц) вносит все новые и новые коррективы в казалось уже устоявшиеся за последнее время исторические оценки.

Эта характерная черта современного исторического процесса, накладывающего свою печать на эволюцию исторической мысли, вполне нашла отражение в старом по названию, но в совершенно новом по своему содержанию, по своему замыслу издании «История и историки».

Это книга о современном уровне быстро меняющейся исторической науки, о ее возврате к нетленным исследовательским истинам — свободе, правде, объективности, праве на поиск и праве на ошибку. Эта книга о современных острых спорах, которые ведутся историками на всех уровнях — в научных монографиях, статьях, на «круглых столах», в Научных академических советах, в исторических журналах и научных советах научно-исследовательских институтов. Это книга о переоценке былых ценностей и возвращении научных ценностей прошлого. Это книга о непростых наших отношениях с мировой наукой и в частности с западной историографией и советологией.

Когда мы сегодня говорим «история», то мы имеем в виду во многом уже не ту историческую науку, которой воскурляли фимиам в недавнем прошлом. Мы имеем в виду науку смелую, ищущую, правдивую, спорящую, увлекающуюся, ошибающуюся и исправляющую свои ошибки, науку независимую и достойную. Когда мы сегодня говорим «историки», то понимаем под этим весь многочисленный корпус ученых нашего отечества, чьи судьбы были столь различны, столь противоречивы, а порой и столь трагичны. Когда мы говорим «историки», мы к тому же имеем в виду и весь мировой научный исторический потенциал, наших

зарубежных коллег, чьими усилиями также развивалась мировая наука, развивалась в условиях, не столь уж безмятежных и под влиянием таких же мощных идеологических и политических сил, давление которых испытала на себе и отечественная историография.

Вот это, пожалуй, то основное, что отличает нынешнее возобновленное издание «История и историки» от одноименного ежегодника прошлых лет.

Именно таким, наполненным новым научным, обогащенным новым методологическим содержанием видит редколлегия возобновляемое издание.

Редколлегия надеется, что первый выпуск издания «История и историки» оправдает возлагающиеся на него надежды.

Современную научную полемику по ключевым проблемам мировой и отечественной истории читатели найдут в рубрике «Историки спорят», которую мы предполагаем сделать постоянной и вести ее до тех пор, пока научная полемика будет украшать и обогащать нашу науку. Порой полярные точки зрения, нетрадиционные аргументы, определяемые новым качественным состоянием современной советской исторической науки, выявлены в подходе к оценке Мюнхенского соглашения 1938 г. и его последствий для мирового развития, в оценке революционного движения в России XIX в., которое, по мысли авторов книги И. К. Пантина, Н. Г. Плимака, В. Г. Хороса, послужившей основой дискуссии, несло на себе определенную печать истории страны, ее народа, отечественных революционных традиций, о чем прежде ученые избегали говорить, скованные устоявшимися в течение десятилетий схемами.

Сложный, триумфальный и трагический путь молодой марксистской науки в СССР выявлен в дискуссии, посвященной судьбам этой науки в 20—30-е годы, в статье А. А. Алаторцевой о дискуссии по проблемам истории «Народной Воли» в 20—30-х годах. В историографических очерках М. Г. Вандалковской и Н. Н. Тарасовой впервые за последние десятилетия рассказано о жизни и творчестве видного дореволюционного историка, позднее вынужденного эмигранта А. А. Кизеветтера и историка-меньшевика Н. А. Рожкова. Судьбам учителя и ученика — видных русских и советских медиевистов Д. М. Петрушевского и А. Н. Нусыхина посвящены материалы их мемориала, предпринятого недавно советскими учеными.

Еще вчера мы не могли себе представить, что советский читатель получит не через посредство интерпретаторов, а из первых рук оценку американским ученым основных проблем гражданской войны в России. Сегодня, в настоящем издании М. Левин высказывает свою концепцию этого и патетического, и трагического события в истории страны.

Материалы, посвященные научной деятельности Н.И. Бухарина и его взглядам на науку, современная оценка развития советской медиевистики в 30—60-е годы (статья Е.В. Гутновой),

воспоминания В.И. Герье, видного историка рубежа XIX — XX вв. и одного из организаторов высшего образования в России, оказавшегося на склоне лет также в эмиграции, дополняют общий характеристику издания.

Это первая книга «История и историки», которую мы предполагаем сделать периодическим изданием. И как первая книга, она, конечно, несет на себе печать эксперимента, опыта. Уже сейчас, по завершении подготовки этого издания редколлегия отдает себе отчет в необходимости его совершенствования, обогащения новыми идеями и рубриками, расширении его историографического диапазона.

Тесная связь с научной общественностью, с широкими читательскими кругами, мы рассчитываем, станет той основой, на которой издание успешно продолжит свою возродившуюся жизнь.

ИСТОРИКИ СПОРЯТ

*

МЮНХЕН — ПОВОРОТ К ВОЙНЕ

«Круглый стол» Научного совета по проблеме «Общие закономерности и особенности всемирно-исторического процесса»

В. Л. Мальков

(д.и.н., председатель Научного совета)

Разрешите открыть наш «круглый стол» на тему «Мюнхен — поворот к войне». Когда-то было сказано, что войны в нашу эпоху не объявляют, они просто-напросто начинаются. Похоже, что это так, хотя и в этой формуле, как мне кажется, есть существенный изъян. Следовало бы, по-видимому, сказать, что, хотя войны не объявляются, они никогда и не начинаются внезапно, вырастая из сложных переплетающихся процессов в результате длительного и разрушительного для мира действия сил войны.

Предвоенный кризис 1938—1939 гг., так же как и сама вторая мировая война, проходил различные стадии эскалации — от начальных до кульминации. Мюнхен и был ключевым пунктом такой эскалации. Выяснение причин, сделавших возможным Мюнхен, является одновременно и установлением той цепи казуальных волн, из которых выростала война. Они могут оказаться множественными.

Вынося на обсуждение тему Мюнхена, мы исходили также из того, что в последние годы в мировой, включая и советскую, исторической литературе выявились различные, в том числе полярные, точки зрения на истоки и развитие предвоенного кризиса. Я бы сказал, что по многим причинам (прежде всего в силу открытия «запретных зон») сейчас исследования проблем дипломатической предыстории второй мировой войны находятся в стадии лабораторной проработки, в ходе которой допустимо и появление «сумасшедших» идей-гипотез; без них, как известно, не обходится поиск ни в одной из научных дисциплин.

Если же учесть все оговорки, которые должны быть сделаны при попытке классифицировать весьма сложный разброс мнений в означенной области, то условно можно говорить о наличии вполне традиционных, просто традиционных и нетрадиционных взглядов. Конечно, такая классификация обязательно покажется кому-то неполной и недостаточной. Дело осложняет еще и эмоциональный накал полемики. И невольно в этой связи приходят на ум замечательные слова Марка Блока: «...история, слишком часто отдавая предпочтение награждному списку перед лабораторной тетрадью, приобрела облик самой неточной из всех наук, бездоказательное обвинение мгновенно сменяется бессмыс-

ленными реабилитациями. Господа робеспьеристы, антиробеспьеристы, мы просим пощады: скажите нам, бога ради, попросту, каким был Робеспьер?»¹ Тем не менее надежда добиться сближения точек зрения не должна покидать нас; ведь в конце концов мы ведем полемику не ради самой полемики, а ради научной истины, суровой и нелицеприятной.

Тема предвоенного кризиса имеет широкий выход в теорию исторического процесса. Она важна для понимания характера современной эпохи, механизма диалектического взаимодействия внутренних и внешних факторов развития международных конфликтов, альтернативности, вероятности общественного развития. Я призываю участников дискуссии учитывать этот общетеоретический формат проблемы, что будет содействовать преодолению наметившегося в ряде случаев опасного крена в сторону плоского эмпиризма.

А. О. Чубарьян

(д.и.н., директор Института всеобщей истории АН СССР)

Я приветствую идею организации «круглого стола» на тему «Мюнхен — поворот к войне». Хочу сказать, что этому предшествовало несколько крупных заседаний по этой теме, в том числе на международном уровне.

Вопрос о Мюнхене сравнительно хорошо разработан в советской историографии. Однако есть несколько проблем, которые освещены недостаточно и представляют научный интерес. Например, проблема связи Мюнхена с предшествующей политикой, с общим развитием международных отношений, в частности с политикой Англии и Франции.

Некоторые исследователи считают, что политика умиротворения уходит корнями в глубь истории, а некоторые начинают выводить ее с 20-х годов. Мне кажется такая постановка вопроса спорной и сомнительной. Надо говорить о 30-х годах, когда происходили сдвиги в политике Англии и Франции, и анализировать, с чем они были связаны.

Второй вопрос состоит в том, чтобы не только глубоко исследовать политику и Англии, и Франции, но и подойти к ней дифференцированно. У нас как-то идет все в одном ключе. А ведь эти страны ставили перед собой порой разные цели. Нужно раскрыть общность их целей, связанных со стремлением повернуть Германию на восток, против Советского Союза. Но, кроме общих целей, у них были и собственные идеи, связанные не только с Советским Союзом, но и с Германией. И вот при их рассмотрении выявляются определенные различия в политике Англии и Франции.

Для меня всегда был интересен вопрос, и я задавал его ряду английских историков, в чем причина поистине стратегического просчета, сделанного английской дипломатией в Мюнхене. И как могла одна из самых квалифицированных дипломатических

служб Европы неправильно оценить ситуацию, полагая, что ей удастся удержать Германию под контролем.

В связи с этим встает и другой вопрос: почему французы, которым всегда угрожала опасность германского вторжения, пошли на подобную политику, явно не учитывая возможных последствий мюнхенского сговора.

В целом я бы сказал, что Англия и Франция, если говорить о вдохновителях Мюнхена, недооценили опасность Германии для самих себя. В этой связи возникает проблема и внутреннего развития, анализа общественного мнения Англии и Франции, т. е. понимания того, в какой мере политические партии западных демократий участвовали в принятии мюнхенского решения, ибо то, что не понимается на правительственном уровне, часто осознается на общественном уровне.

Третий вопрос, который надо тщательно исследовать в связи с Мюнхеном,— это политика Германии. У нас очень мало специалистов, которые серьезно бы занялись исследованием не только результатов германской политики, но и ее методов. Германская дипломатия разыграла свою карту очень умело, используя существующие противоречия между державами.

В принципе германская фашистская политика была очевидна, но, как она реализовывалась в конкретной практике, как немцам удалось включить Англию и Францию в орбиту реализации своей цели, это важно всесторонне изучить.

В СССР сейчас вышел ряд работ по теме «США и Мюнхен». Наши ученые-американисты упорно занимаются этой проблемой. Присутствующие здесь Г. Н. Севостьянов, В. Л. Мальков и другие многое сделали для изучения этой проблемы, что и следует продолжать.

Наконец, о событиях после Мюнхена. Этот вопрос не стоит в нашей повестке дня непосредственно. Но у нас ведутся серьезные дискуссии по этому вопросу. Есть ученые, которые считают, что после Мюнхена уже не было никакой альтернативы советско-германскому договору от 23 августа 1939 г. Учитывая переломное значение этого договора, я считаю, что при такой постановке вопроса повисает в воздухе вся идея переговоров летом 1939 г. Надо исследовать этот вопрос и практически, и в методологическом плане. А для этого надо более тщательно изучить то, что у нас плохо изучено,— период от сентября 1938 г. до лета 1939 г. Советских документов по этому вопросу очень мало. Том «Документов внешней политики СССР», посвященный событиям 1939 г., так и не вышел в свет, поэтому необходимо изучить и западные документы. А повторять старые утверждения, что Англия и Франция шли на переговоры с СССР в 1939 г. лишь блефуя и не желая никаких соглашений,— значит упрощать проблему. Я ознакомился с французскими материалами того периода. Французский посол в Варшаве в августе 1939 г. буквально требовал от Бека согласия в любой форме на проход советских войск через Польшу. Ради блефа такое не делается.

Кроме этого, надо изучить и советскую позицию, выяснить, что изменилось в нашем подходе к этим проблемам. Я думаю, что психологически Мюнхен оказал огромное влияние на Сталина. Как известно, Сталин традиционно испытывал предубеждение и недоверие к западным демократиям — к Англии и Франции, Мюнхен лишь поощрил это недоверие. Мюнхен предрешил, я думаю, судьбу М. М. Литвинова: Сталин сделал для себя вывод о необходимости замены его Молотовым.

Англия и Франция, которые обвиняли и обвиняют СССР в контактах с Германией, по существу подыграли Сталину, потому что им было известно его отношение к политике этих держав. Они внесли свою лепту и в крах литвиновской ориентации, тех усилий, которые он прилагал к созданию системы коллективной безопасности.

Существует формула, что Мюнхен поставил Советский Союз в изоляцию. Надо подумать над этим вопросом, над этой формулой. Я же полагаю, что Мюнхен, действительно создав угрозу изоляции Советского Союза, еще не лишил его всех шансов на возобновление и укрепление контактов с западными демократиями.

Л. Н. Нежинский

(д.и.н., Институт истории СССР АН СССР)

Представляется, что рассмотрение темы «М. М. Литвинов и Мюнхен» может быть полезно с двух точек зрения: во-первых, появляется возможность дальнейшего углубления и расширения наших познаний в области истории советской внешней политики и международных отношений в 1938—1939 гг.; во-вторых, с точки зрения уточнения и, может быть, даже изменения наших представлений конкретно о деятельности М. М. Литвинова, который, как вы знаете, десять лет возглавлял Наркомат иностранных дел СССР и вокруг имени и деятельности которого, на мой взгляд, в нашей литературе вплоть до сегодняшнего дня бытуют версии, которые при внимательном изучении документов повисают в воздухе, а то и просто обнаруживают свою несостоятельность.

В 1988 г. опубликованы мемуары А. А. Громыко, где говорится: «... Литвинов был освобожден от поста наркома иностранных дел СССР за его ошибочную позицию, в особенности в оценке политики Англии и Франции». Литвинов «не замечал Мюнхена и всех его последствий, того Мюнхена, который осудили наша партия, правительство и весь советский народ и который до настоящего времени продолжает оставаться символом вероломства во внешних делах государств»².

По поводу того, что позорная мюнхенская сделка вплоть до наших дней продолжает оставаться «символом вероломства во внешних делах государств», вряд ли кто будет спорить, по крайней мере из исследователей, стоящих на позициях научной объективности и исторической правды. А вот утверждения об ошибочной

позиции Литвинова в оценке политики Англии и Франции и о том, что Литвинов «не замечал Мюнхена», порождают вопросы. Во-первых, в чем конкретно состояла ошибочность его позиции и, во-вторых, действительно ли Литвинов, оставаясь на посту наркоминдела СССР до мая 1939 г., мог позволить себе «не заметить» пагубных для дела мира последствий состоявшегося в сентябре 1938 г. мюнхенского сговора Англии и Франции с фашистскими правителями Германии и Италии? Разумеется, чтобы с исчерпывающей полнотой ответить на эти вопросы, необходимо ознакомиться со всеми документами и материалами (в том числе и архивными), освещающими деятельность Литвинова после сентября 1938 г. К сожалению, такой возможностью мы пока не располагаем. Но очевидно и другое. Внимательное ознакомление с тем, что уже опубликовано, в том числе и с такими широко известными документальными сборниками, как «СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны. Сентябрь 1938 г.— август 1939 г.» (М., 1971), «Документы внешней политики СССР» (Т. 21. М., 1977), дает основание, на наш взгляд, для выводов, которые существенно отличаются от вышеприведенных оценок деятельности Литвинова после сентября 1938 г. Обратимся к этим документам.

В ходе беседы 16 октября 1938 г. (по прошествии немногим более двух недель после мюнхенской сделки.— *Л. Н.*) с французским послом в СССР Р. Кулондром Литвинов заявил: «Мы считаем случившееся (подписание соглашения в Мюнхене.— *Л. Н.*) катастрофой для всего мира (подчеркнуто мной.— *Л. Н.*). Одно из двух: либо Англия и Франция будут и в дальнейшем удовлетворять все требования Гитлера, и последний получит господство над всей Европой, над колониями, и он на некоторое время успокоится, чтобы переварить проглоченное, либо же Англия и Франция осознают опасность и начнут искать пути для противодействия дальнейшему гитлеровскому динамизму. В этом случае они неизбежно обратятся к нам и заговорят с нами другим языком»³.

Развивая эту тему в письме советскому полпреду в Англии И. М. Майскому 17 октября 1938 г., Литвинов писал: «...если англичане и французы раньше могли оказать сопротивление, но не хотели, то сейчас встает вопрос, могут ли они, при утерянных позициях, противостоять натиску агрессоров, если они даже и хотели бы и если вообще есть предел их уступчивости»⁴.

Через два дня Литвинов направляет письмо полпреду СССР во Франции Я. З. Сурицу, в котором отмечает: «... не подлежит сомнению, что как Чемберлен, так и Даладьё-Боннэ ради соглашения с Германией и Италией пойдут на что угодно. Им, конечно, невыгодно теперь же рвать с нами, ибо они тогда лишатся козыря в переговорах с Берлином. Обратятся они к нам только в том случае, если не вытанцуются соглашение с Берлином и последний предъявит требования даже для них неприемлемые»⁵.

Спрашивается: где же здесь «недопонимание» или тем более игнорирование» Мюнхена и его последствий со стороны Литви-

нова? И в чем состояла «ошибочность» его позиций в отношении Англии и Франции? Думается, что все обстояло как раз наоборот: Литвинов ясно видел пагубность для дела мира в Европе близоруких действий лондонских и парижских «миротворцев» в Мюнхене, совершенно однозначно квалифицировал позорную мюнхенскую сделку как «катастрофу для всего мира», предупреждал об исключительной опасности последствий этой сделки для дальнейших событий в Европе.

Может быть, потом произошло нечто такое, что круто переменяло мнение Литвинова о тогдашней политике Англии и Франции и заставило его изменить свою позицию по отношению к этим странам? Чтобы убедиться, так это было или не так, последуем дальше за документами.

19 февраля 1939 г. Литвинов писал Майскому: «Гитлер пока делает вид, что не понимает англо-французских намеков насчет свободы действий на Востоке, но он, может быть, поймет, если в придачу к намекам кое-что другое будет предложено ему Англией и Францией за собственный счет или же если будет обещан в случае конфликта на Востоке не только нейтралитет и не только даже доброжелательный нейтралитет, но и кое-какая активная помощь, что я отнюдь не считаю исключенным»⁶.

В день, когда было отправлено это письмо, Литвинов имел в Москве беседу с послом Англии в СССР У. Сидсом, в ходе которой британскому послу было заявлено, что пока он, Литвинов, не видит никаких признаков изменения курса, обозначившегося в Мюнхене. «Мы только видим,— сказал Литвинов,— что, не желая и не считая нужным оказывать какое-либо сопротивление требованиям агрессоров, Франция и Англия стараются эти требования оправдывать или затуманивать»⁷.

В марте 1939 г. наступил следующий акт европейской политической драмы, пролог которой был заложен в Мюнхене. 15 марта германские войска вторглись в Чехословакию и ликвидировали ее как государство. Советский Союз был единственной великой державой, которая открыто и недвусмысленно выступила в защиту интересов и прав чехословацкого народа. Советское правительство в ноте от 17 марта заклеило захват Чехословакии, совершенный фашистской Германией, как акт произвола, насилия и агрессии. В письме, направленном в Лондон Майскому 19 марта, Литвинов отметил: «Чехословацкие события и ультиматум Румынии если несколько и беспокоили Чемберлена и Даладье в качестве гарантов честных слов и клятвенных заверений Гитлера, то в то же время полностью укладываются в рамки любезной им концепции движения Германии на Восток»⁸.

Как видим, наркоминдел Литвинов ни на шаг не отступал от своей принципиальной, резко отрицательной оценки мюнхенского сговора и позорной роли Англии и Франции в этой сделке, он сознавал, какую большую опасность таил для международной обстановки этот предательский акт, и разоблачал попытки англо-французской дипломатии сговориться с фашистским агрессором на антисоветской основе.

И все же тучи над Литвиновым неотвратимо сгущались. 3 мая 1939 г. он был освобожден с поста наркома и на его место назначен Молотов, оставшийся Председателем СНК СССР. На следующий день был арестован по обвинению «в шпионаже в пользу Италии» секретарь Литвинова — П. С. Назаров (в 1956 г. посмертно реабилитированный)⁹. Никаких официальных объяснений по поводу снятия Литвинова ни в советской печати, ни зарубежным дипломатам тогда дано не было. А ведь речь шла об освобождении не рядового сотрудника, а одного из старейших деятелей большевистской партии, дипломата ленинской школы, как говорится, верой и правдой служившего делу социализма. В чем же было дело?

В опубликованной в 1948 г. исторической справке «Фальсификаторы истории» говорится: «Что касается назначения на пост народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова, то совершенно ясно, что в сложной обстановке подготовки фашистскими агрессорами второй мировой войны, при прямом попустительстве и подталкивании агрессоров на войну против СССР со стороны Великобритании и Франции, за спиной которых стояли Соединенные Штаты Америки, необходимо было иметь на таком ответственном посту, как пост народного комиссара иностранных дел, более опытного и более популярного в стране политического деятеля, чем М. М. Литвинов»¹⁰.

Тезис о популярности и опытности Молотова и непопулярности и неопытности Литвинова настолько сомнителен, что во все последующие годы его не взял на вооружение ни один серьезный исследователь. Кстати, в биографии Литвинова, представленной избирателям 282-го избирательного округа Карело-Финской ССР, где Литвинов баллотировался в качестве кандидата в депутаты Верховного Совета СССР на первых после войны выборах в феврале 1946 г., говорилось нечто совсем другое, а именно: «Тов. Литвинов является выдающимся деятелем, одним из старых большевиков. Он пользуется огромным авторитетом во всем мире... Старейший большевик, выдающийся деятель Советского государства и советской дипломатии, Максим Максимович Литвинов является достойным кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР»¹¹. Так что дело было не в популярности Молотова и непопулярности Литвинова.

Публицист и историк Л. Безыменский утверждает: «Максим Литвинов полагал, что, несмотря ни на что, следует продолжать курс на проведение переговоров с западными державами. Но большинство в советском руководстве считало, что нам остается рассчитывать на самих себя и не „таскать из огня каштаны для других“»¹².

Здесь возникает сразу несколько загадок. Во-первых, к какому периоду деятельности Литвинова относится, по мнению Безыменского, приведенное утверждение? (мы можем только догадываться, что речь идет, по-видимому, о послеюнкхенском периоде 1938—1939 гг. — Л. Н.) Во-вторых, каким образом удалось Безы-

менскому обнаружить «большинство» и «меньшинство» в советском руководстве в рассматриваемые годы? Ведь к настоящему времени опубликовано очень много материалов, свидетельствующих, что по крайней мере в последние предвоенные годы Сталин решал все важнейшие вопросы внутренней и внешней политики нашего государства практически единолично и выслушивал чье-либо мнение только в тех случаях, когда сам считал нужным. Наконец, в-третьих, почему линия на переговоры с западными державами (кстати; неясно с какими, ведь Германия тоже западная держава.— *Л. Н.*) означала «таскать из огня каштаны для других»? Известно, что Литвинов не имел никакого отношения к англо-франко-советским переговорам летом 1939 г. Стало быть, Сталин и Молотов в данном случае «таскали из огня каштаны для других»?

Думается, что дело было в другом. К сожалению, мы не располагаем необходимыми архивными материалами и документами, которые дали бы возможность всесторонне проанализировать аргументацию Литвинова в ходе формирования его видения основных направлений внешнеполитической линии СССР в 1938—1939 гг. И все же есть основания полагать, что, осуждая политику «умиротворения» агрессора, проводимую Англией и Францией, Литвинов в то же время не питал никаких иллюзий относительно крайне опасной для дела мира политики фашистской Германии и ее союзников и не разделял ни в каком виде идеи сближения СССР с агрессором. И здесь он вступил в принципиальное противоречие со Сталиным, который, напротив, считал необходимым изменить линию советско-германских отношений. И если мы сегодня попытаемся ответить на вопрос, кто же из них оказался прав в этом историческом споре, то напрашивается вывод, что не так уж неправ был Литвинов.

О том, что по крайней мере с весны 1939 г. Сталин стал проводить линию на известное сближение с Германией, свидетельствует выступление Молотова на внеочередной IV сессии Верховного Совета СССР 31 августа 1939 г. Напомнив о сформулированных Сталиным в марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б) задачах в области внешней политики СССР, Молотов далее сказал: «Разоблачая шум, поднятый англо-французской и североамериканской прессой по поводу германских „планов“ захвата Советской Украины, т. Сталин говорил тогда: „Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований“. Как видите, т. Сталин бил в самую точку, разоблачая происки западноевропейских политиков, стремящихся столкнуть лбами Германию и Советский Союз. Надо признать, что и в нашей стране были некоторые близорукие люди, которые, увлекшись упрощенной (?! — *Л. Н.*) антифашистской агитацией (к ним, надо полагать Молотов относил и Литвинова.— *Л. Н.*), забывали об этой провокаторской работе наших врагов. Тов. Сталин, учитывая это

обстоятельство, еще тогда (в марте 1939 г.— *Л. Н.*) поставил вопрос о возможности других, невраждебных, добрососедских отношений между Германией и СССР. Теперь видно, что в Германии в общем правильно поняли эти заявления т. Сталина и сделали из этого практические выводы. Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение т. Сталина блестяще оправдалось»¹³.

Эту часть выступления Молотова наши исследователи вплоть до сегодняшнего дня практически игнорируют. А жаль! Ведь Молотов был хорошо информирован в этих вопросах и, конечно, знал, что говорил. К тому же Молотов никогда бы не рискнул выступить с такими заявлениями без согласия и одобрения Сталина. И то обстоятельство, что вышеприведенное объяснение Молотова происходившему противоречит бытующей в нашей научно-политической литературе версии, согласно которой мы едва ли не в один день или в одну ночь 21—22 августа 1939 г. круто повернули к Германии и заключили с ней пакт о ненападении, никак не может служить, на наш взгляд, основанием для многолетней «фигуры умолчания», практикуемой нашими исследователями по поводу этой части выступления Молотова.

На состоявшейся в июле 1988 г. в Москве научно-практической конференции на тему «XIX Всесоюзная конференция КПСС: внешняя политика и дипломатия» был прямо поставлен вопрос о необходимости широко открыть архивы для исследователей, в том числе и содержащие фонды, касающиеся истории внешней политики Советского Союза. Очень хочется надеяться, что еще при нашей жизни этот призыв будет услышан соответствующими ведомствами и мы получим возможность ознакомиться с документами, позволяющими глубже исследовать все, что относится к периоду 1938—1939 гг.

В. А. Куманев

(чл.-кор. АН СССР)

Меня заставило выйти на трибуну желание не изложить какие-то новые факты, а поделиться с собравшимися теми сомнениями, которые терзают меня не первый год, по ряду вопросов в рамках темы нынешнего «круглого стола». А точнее, с тех пор как мне пришлось соприкоснуться с проблемами, связанными с испанской трагедией — событиями 1936—1939 гг.

Имеет ли мюнхенский стговор какое-нибудь отношение к народно-революционной войне на испанской земле и падению Республики? Имеет. И самое прямое отношение. При этом не нужно доказывать факт особого покровительства фашистских держав (а затем прямой интервенции) франкистским мятежникам. Как показали дальнейшие события, правительства Чемберлена и Даладе в отношении Испанской республики не так уж далеко ушли от нацистов и чернорубашечников. Разве что не имело

места с их стороны вторжение за Пиренеи. Словом, война за свободу и независимость республиканской Испании против мятежников и интервентов была и первой вооруженной схваткой с наглевшим фашизмом, и прологом к Мюнхену, а затем и ко второй мировой войне. Мюнхенская сделка блока фашистских государств и «западных демократов», несомненно, ускорила и поражение Испанской республики. Здесь прямая связь, и очень важная, в контексте дипломатической истории межвоенного периода.

Между тем в серии статей и сообщений в нашей печати по поводу 50-летия предательства в Мюнхене «испанская проблема» даже не упоминается. Таковы статьи «Предательство» (Ленинградская правда. 1988. 5 окт.), Г. Реутова «Мюнхен — 38: анатомия предательства» (Ленинское знамя. 1988. 29 сент.), Ю. Трегубенкова «Возвращаясь к урокам Мюнхена» (Московские новости. 1988. 25 сент.), В. Бродецкого «Что раскрывают архивы: Как пятьдесят лет назад в Мюнхене была предана Чехословакия» (Известия. 1988, 23 сент.), В. Матвеева¹⁴, а также статьи в ряде центральных журналов, в том числе в «Коммунисте» (1989. № 14). Так что мне не совсем ясно, почему эта проблема при анализе предпосылок к мюнхенскому сговору и событий после него не заняла достойного места, в результате чего картина получается явно усеченной.

Нельзя не сказать и о том, что в этой «прелюдии» имеются если не так называемые «белые пятна», то по крайней мере поверхностно изученные факты, действия и нашего правительства. Со снятием запрета на критику внешней политики СССР в 30-е годы, мне кажется, требуется новый подход и применительно к этому периоду. Например, вступление Советского Союза в Комитет по невмешательству. Насколько это было оправдано даже в начальный период событий в Испании, если заранее можно было предположить, как поведут себя западные державы? Можно ли было уповать на их честное ведение дипломатии? Помогла ли такая «гибкая» позиция испанской революции, испанскому народу, оставшемуся на первых порах в одиночестве? Может, подобный шаг правительства СССР был своего рода жертвой во имя идеи «коллективной безопасности», контуры которой стали вырисовываться с 1934 г. Тенденция НКВД СССР, возглавляемого тогда Литвиновым, явно прослеживалась как ведущая к созданию антифашистского фронта. Но едва ли правомерно преувеличивать «дипломатическую самостоятельность» наркома, ибо последнее слово оставалось за Сталиным, для которого коварство и лицемерие во внешнеполитических делах были определяющими¹⁵.

Вопросов возникает немало.

Все мы хорошо знаем о той помощи, которую оказали советские люди республиканской Испании, особенно после известной телеграммы Сталина, в которой говорилось, что борьба испанского народа против мятежников — это не только личное дело

испанцев. Страна Советов направила трудящимся Испании продовольствие, медикаменты, некоторые виды боеприпасов и военной техники; в СССР было вывезено много испанских детей. Сражаться за свободу и честь испанского народа прибыли военные советники, пилоты, танкисты, переводчики. И это в основном после выхода из позорного, я считаю, Комитета по невмешательству. Однако насколько все-таки в тех сложнейших условиях эта помощь была исчерпывающей, нельзя ли было сделать значительно больше? Что помешало? Особенно если иметь в виду помощь военную? Не вмешалась ли здесь иезуитская сталинская игра? Прошу меня понять правильно: я вовсе не призываю все чернить, но полагаю, что благородный порыв советских людей, готовых отдать последнее братьям-испанцам, и сталинская линия, о которой можно только догадываться и строить версии, — вещи, конечно, нетождественные.

Сами республиканцы требовали, просили, умоляли прежде всего об одном: больше оружия и специалистов! Сколько же у нас было добровольцев? Цифры публиковались самые разные: более 500, затем около 900, а в Краткой истории второй мировой войны появились «новые» данные — до 3 тыс. добровольцев (источник авторами книги не указан). Все это вызывает определенное недоверие. Объяснения, что всему виной отдаленность, не убеждают. Это обстоятельство, разумеется, мешало делу, но не в решающей степени. Соединенные Штаты находятся еще дальше, но оттуда прибыло 5 тыс. добровольцев. Ко всему следует добавить, что из гитлеровской Германии на испанской земле сражалось до 5 тыс. антифашистов, из фашистской Италии — тоже около 5 тыс. Словом, что-то не совсем ясно в отношении наших интербригадцев; их могло быть гораздо больше, но кто-то этого очень не хотел, искренне не желая победы республиканцам и втайне заигрывая (а возможно, и заискивая) перед Гитлером.

За семью печатями был закрыт вопрос о том, сколько, когда и по каким каналам поступало из СССР оружие — большие его партии шли ведь через Францию, хотя заранее было известно, что шедшее на всех парусах к мюнхенскому пакту французское правительство его не пропустит Испанской республике (особенно это было ясно в те дни, когда мятежники и интервенты стали теснить республиканцев). Мы не знаем, каковы были подлинные цели Сталина в отношении судьбы революции в Испании. К тому же «отец народов» именно в 1936—1939 гг. был сильно занят осуществлением массовых репрессий в своей стране, активно истребляя преданные социализму военные кадры. Быть может, кто-то сочтет излишним связывать террор, развязанный Сталиным на родине Октября, с исходом сражений за Пиренеями. Лично я усматриваю во всем этом много взаимосвязанного. Рождается закономерный вопрос: почему не избежали сталинского беззакония и топора даже те славные интербригадцы, которые возвращались из Испании к себе на родину? Сталин не пощадил

и двадцати двух Героев Советского Союза, получивших это высокое звание за подвиги на испанской земле. И среди них Главкомандующий ВВС дважды Герой Советского Союза Я. Смушкевич, заместитель народного комиссара обороны СССР Герой Советского Союза П. Рычагов¹⁶. Такая же судьба постигла легендарного героя Октября Н. Антонова-Овсеенко (он был консулом СССР в Барселоне), журналиста, а фактически политического советника правительства Испанской республики М. Кольцова и многих других интернационалистов, с честью выполнивших свой долг на испанской земле в первой вооруженной битве с фашизмом¹⁷.

Что касается Сталина, то после устранения Литвинова он, видимо, окончательно (вначале втайне) взял курс на сближение с Гитлером. Поэтому ему были уже не нужны герои испанской войны¹⁸. Более того, он безжалостно уничтожил большую часть руководителей и защитников Испанской республики, которым удалось вернуться домой.

Итак, испанская проблема — неотъемлемая часть прелюдии к Мюнхену, который значительно ускорил поражение республики¹⁹. Оба эти периода требуют более пристального внимания советских исследователей, включая и раскрытие ряда темных сторон сталинской политики в то тревожное время приближения всемирного пожара войны.

С. П. Пожарская

(д. и. н., Институт всеобщей истории АН СССР)

Я не собиралась выступать, но меня побудило к этому выступление В. А. Куманева. Я согласна с ним, что испанская война была трагедией, и не только для испанского народа, но и для всего антифашистского движения. Она была трагедией и для нашей страны, и потому, что она окончилась поражением антифашистов, и потому, что мы вышли из этой войны в состоянии почти полной изоляции, явной или латентной, в то время как входили мы в эту войну, если можно так сказать, с очень неплохими международными позициями, имея довольно серьезные союзнические отношения с Францией, Чехословакией, неплохие позиции в Лиге Наций. В Испании же мы столкнулись на огненном рубеже с Германией и Италией и очень отделились от Англии и Франции.

Я согласна, что эта была трагедия еще и в том плане, что в процентном отношении число репрессированных среди тех, кто воевал в Испании, было необычайно высоко. Но трагедия была и в своеобразном парадоксе — многие советские люди, которые героически сражались в Испании, а затем шли в лагеря, на расстрел, оказались поневоле в роли какой-то дымовой завесы, какой-то важной картой в сложной игре, которая позволила укрепить репутацию Сталина как интернационалиста и антифашиста.

Фернан Клаудин, в настоящее время видный социалист, директор Архива Испанской социалистической рабочей партии, размышляя об этих событиях, написал примерно так: «кредитоспособность» Сталина в эти годы уцелела потому, что даже те, у кого была жива совесть и кто пытался напомнить о «московских процессах» и страшных репрессиях 1936—1938 гг. в Советском Союзе, о трагической судьбе главных действующих лиц Октябрьской революции, склонялись перед аргументом, что в Германии пришел к власти фашизм и что Советский Союз — единственная страна, могущая ему серьезно противостоять. Таким образом, получалось, что любой, кто выступает против Сталина, выступает тем самым против Советского Союза, а значит, выступает в интересах фашистской Германии и наносит тем самым ущерб республиканской Испании.

Это была истинная трагедия, потому что кровью тех, кто сражался в Испании (здесь упоминались имена многих, прозвучало и имя Смущкевича, арестованного накануне войны и расстрелянного 26 октября 1941 г. По оценкам многих западных военных специалистов, он был крупнейшим организатором авиации и великолепным летчиком. Это стало истинной трагедией для нашей авиации. Я бы могла напомнить также имена Берзина, Кольцова, Нестеренко и многих других), укреплялась репутация не только Советского Союза, но и Сталина, который в глазах многих людей мира в то время олицетворял нашу страну.

Я также согласна, что на Испании «отрабатывалась» модель Мюнхена, и, возможно, к Мюнхену Титлер не пришел бы с такими развевающимися знаменами, если бы у него все не было отретпировано и апробировано на судьбе Испании: компрометация коллективной безопасности, запугивание угрозой коммунизма Англии и Франции. Многие прекрасно знают донесения Франсуа-Понсе — посла Франции в Берлине, знают, о чем он тогда писал в Париж.

Многие, наверное, помнят и опубликованные донесения лорда Ванситарта, который в начале августа 1936 г. посетил Берлин, где его собеседники вели речь о том, что впервые после 1921—1922 гг. Советский Союз вышел за пределы национальных границ, создав угрозу всему Западу, всей западной цивилизации.

В Испанию еще не был послан ни один советский человек (первоначально правительство СССР воздерживалось от вмешательства в события на Пиренеях), а агент абвера под кличкой Бремер уже доносил в Берлин, что 20 июля 1936 г. в Барселоне якобы пришвартовался корабль, из которого «вышли интернационалисты»: прибыли советские люди и техника. Они-де направлялись в город и там помогли троцкистам, анархистам и прочим левым одержать победу над «славными националистами», т. е. мятежниками. Таким образом, события в Испании, казалось бы, подтверждали доводы фашистского руководства Германии о том, что СССР действительно вышел за пределы своих границ, далеко продвинулся на запад. Так отрабатывался «сценарий» Мюнхена.

Накануне Мюнхена пришло некоторое отрезвление, в том числе и к англичанам. И лорд Галифакс, встречаясь с Гитлером накануне Мюнхена, в частной беседе сказал, что следовало бы совместно подумать над разрешением испанского вопроса. В частности, он говорил о целесообразности создания там такого нейтрального правительства, которое не было бы ни коммунистическим, ни националистическим, на что Гитлер ответил решительным отказом. Он подчеркнул, что Германия нуждается в сильной Испании, в сильном союзнике и Испании нужна только бескомпромиссная победа над «красными».

Я не согласна с В. А. Куманевым в том, что Сталин хотел с самого начала вмешаться в испанскую войну. В западной историографии отмечают одну очень важную причину (я с ней согласна): СССР весьма серьезно относился к обязательствам перед своим главным европейским союзником — Францией. НКВД полагал, что в соглашении о невмешательстве нуждается Франция и что присоединение Советского Союза к соглашению будет способствовать укреплению позиции Франции в Европе. Репутация Франции тогда очень занимала Литвинова. В начальный период испанской войны позиции НКВД и Сталина, по-видимому, совпадали. Я не согласна также с тем, что Литвинов тогда уже не играл большой роли в определении внешнеполитической стратегии. Это не так, если говорить о 1936, 1937 и начале 1938 г. И вся его «команда» — Крестинский, Майский, Суриц, Штейн, можно назвать и другие имена, прежде всего полпредов НКВД, — активно проводила «литвиновскую» линию на укрепление коллективной безопасности, которая в те годы была магистральной. И нам пока не известны документы начального периода испанской войны — конец июля — первая половина августа 1936 г., — которые свидетельствовали бы, что в НКВД существовала иная точка зрения.

Тома 19 и 20 «Документов внешней политики Советского Союза», опубликованные в 1974 г., выявляют еще одну тенденцию тех лет. Например, Крестинский так разъяснял Штейну, в то время полпреду в Италии, почему СССР присоединяется к соглашению о невмешательстве: если мы не присоединимся, то Германия и Италия получат основание утверждать, будто Советский Союз уже начал интервенцию в Испанию. Германия и Италия выдвинули ультиматум, что они присоединятся к соглашению о невмешательстве, если Советский Союз тоже присоединится к нему. Литвинов очень хотел, чтобы Германия и Италия присоединились к соглашению о невмешательстве. То же хотела и Франция, надеясь, что это в какой-то степени свяжет руки Берлину и Риму; на полный нейтрализм, конечно, никто не рассчитывал.

В отношении помощи: осуществлялось ли сознательное прекращение военных поставок, оплаченных «испанским золотом» во второй половине 1937 и в 1938 г.? Но ведь необходимо иметь в виду, что помогать было очень трудно. Начиная с 1937 г., особенно с лета, Средиземное море стало недоступно для наших

кораблей. Их топили итальянские подводные лодки и «неофициально», и «официально», поскольку соглашение от января 1937 г. обязывало Германию и Италию быть гарантами, выполняющими официальную миссию контроля по поручению Комитета по невмешательству.

Сталин пытался «решить» проблему по-своему: в июне 1937 г. был арестован начальник Одесского морского порта, но эту проблему безопасности поставок не решило.

Оставался путь от Мурманска морем в Бордо. Кстати, Франция пропускала кое-какие грузы в Испанию, даже когда официально граница была закрыта. На французских кораблях наше оружие нелегально переправлялось из Мурманска в Бордо, а затем и через границу. В 1938 г. в Испанию была направлена новая партия оружия. Именно в это время на короткий период пришло второе правительство Блюма, и, пока была открыта граница, в Испанию пытались переправить хоть что-нибудь, но не все успели. Много военной техники скопилось на французской территории. Позднее Франко потребовал у правительства Франции передать ему эту технику.

В ноябре 1938 г. было подписано соглашение о том, что СССР предоставит Испании кредит на 100 млн долл., потому что «испанское золото» уже было исчерпано.

Грустно то, что многие факты, приводимые здесь, я почерпнула не из советских источников, а из архива Марселино Паскуа, испанского посла в СССР, частично опубликованного в Испании.

Г. Н. Севостьянов

(академик, Институт всеобщей истории АН СССР)

Прежде чем приступить непосредственно к тем соображениям, которые я хотел бы высказать, позвольте сказать о моем впечатлении о конференции в Праге, состоявшейся в сентябре 1988 г. Там я обратил внимание, что участники конференции по истории мюнхенского сговора очень много уделили внимания вопросу о позиции политических партий и классов в различных странах Европы в период Мюнхена. Эти сюжеты, к сожалению, мало разработаны в нашей литературе. Мы увлекаемся порой дипломатической историей, изучением дипломатических документов. Все это правильно, но вместе с тем аспект, о котором я говорю, почти не затрагивается в наших исследованиях.

Мне представляется, что, говоря о предпосылках Мюнхена, нам необходимо связывать эти вопросы с экономическим положением в странах Европы накануне второй мировой войны. Это первое. Второе: мне думается, что Мюнхен был трагедией не только для Чехословакии, мы должны шире посмотреть на Мюнхен, ибо он имел большое значение не только для Европы, но и для Дальнего Востока. Эти аспекты пока, на мой взгляд, недостаточно изучены в нашей литературе и зарубежной историографии.

Мюнхенское соглашение привело, с одной стороны, к усилению стратегических позиций Германии и, с другой — к значительному ослаблению позиции ряда европейских стран. А.О. Чубарьян говорил относительно того, как Мюнхенское соглашение отразилось на позиции Советского Союза. Конечно, в полном смысле этого слова изоляции не произошло, но произошло ослабление позиций Советского Союза. И конечно, из этого был сделан соответствующий вывод советским руководством. В 1945 г. в Ялте, когда Сталин беседовал с Рузвельтом о предвоенном периоде, он заявил, что без Мюнхена не было бы августа 1939 г. Я хотел бы также отметить, что результатом Мюнхенского соглашения явилось то, что Лига Наций как международная организация не выполнила своих обязательств и показала свою беспомощность. Она проявила нерешительность и бессилие. Кстати сказать, и этот аспект, на мой взгляд, еще недостаточно исследован в нашей литературе.

Мюнхенский сговор явился серьезным ударом по антивоенному движению. Он внес замешательство в его ряды. Многие люди оказались без политических ориентиров. Многие полагали, что антифашистское движение выполнило свою задачу, возросла приверженность к ненасильственной политике. Особенно большой удар Мюнхен нанес по прогрессивным демократическим силам мира, по рабочим и демократическим силам самой Германии.

В результате Мюнхена усилились позиции Германии, Италии и Японии. Малая Антанта фактически перестала существовать. Польша и Венгрия стали соучастниками раздела Чехословакии. Обострились межнациональные противоречия в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, и малые страны стали больше ориентироваться на Германию. Правительства этих стран утратили надежду на Англию и Францию, их авторитет резко упал. В результате Мюнхенского соглашения изменилось соотношение сил на Дальнем Востоке. Япония расширила военные действия в Китае. Все меньше и меньше она обращала внимания на ноты, посылаемые ей Вашингтоном.

Когда мы говорим о Великобритании, конечно, нам надо иметь в виду Британскую империю как таковую, тогда мы сможем правильно оценить политику Лондона в отношении Германии и Чехословакии. Для Чемберлена было очень важно сохранить позиции Британской империи за счет интересов «третьих стран». Он не видел глубокой взаимосвязи этих событий. Поэтому мы не можем ставить знак равенства между политикой Великобритании и Франции.

Дипломатические документы, а также сама действительность показывают, что Франция, проводя политику, ориентированную на Великобританию, сохраняла самостоятельный взгляд на ситуацию. Даладьё спустя три дня после Мюнхенской конференции встретился с американским послом в Париже Буллитом и сказал ему, что Франция и Англия потерпели крупнейшее дипломатическое поражение в Мюнхене. Это говорит о многом.

Большое влияние Мюнхен оказал на Соединенные Штаты Америки, на расстановку политических сил внутри этой страны. Прежде всего обострилась борьба между изоляционистами и сторонниками Рузвельта. Рузвельт осознал быстрее, чем политики в Европе, что наступило время, когда Соединенные Штаты должны создавать мощную авиацию. В целом я думаю, что линия США в мюнхенской истории еще недостаточно выяснена. Нельзя забывать, что прогрессивные демократические силы в США восприняли Мюнхен как сильный удар. Они выступили решительно против итогов конференции. И не случайно Рузвельт отозвал своего посла из Германии, а отношения между США и Германией длительное время оставались напряженными.

Важный вывод сделали Соединенные Штаты Америки и по поводу защиты Западного полушария. Накануне Мюнхена Рузвельт заявил о том, что Соединенные Штаты Америки будут защищать Западное полушарие — как Канаду, так и страны Латинской Америки. Прошел ряд совещаний и конференций; в частности, было принято (не без участия США) решение о солидарности всех латиноамериканских стран перед угрозой экспансии со стороны Германии, Японии, Италии. Мне думается, под этим углом зрения нам следовало бы в ближайшее время рассмотреть некоторые вопросы, связанные с Мюнхеном и его международными последствиями. Следует при этом учитывать новые докумены, которые у нас изучены недостаточно.

В. Л. Мальков

Товарищи, я хотел бы остановиться на проблеме, которая, как уже отметил Г. Н. Севостьянов, изучена у нас недостаточно глубоко. Проблема эта — Рузвельт и Мюнхен, или Соединенные Штаты и Мюнхен, в контексте отношений Соединенных Штатов и самого Рузвельта к ревизии Версальской системы. И начать мне придется издали, вернув вас к временам, отстоящим от Мюнхена примерно на пять лет.

Исследователи не обращали достаточного внимания на одно частное письмо Рузвельта, написанное им через полгода после первой инаугурации 30 августа 1933 г. Прошло немного времени после того, как он стал президентом. И вот, отправляя в вояж известного американского дипломата, недавнего кандидата на пост государственного секретаря и главу американской делегации на конференции по разоружению в Европе Н. Дэвиса, Рузвельт пишет ему письмо-инструкцию.

По самой своей фразеологии это письмо удивительно созвучно тому, к чему сегодня мы так стремимся. Президент писал: «По случаю Вашего отъезда в Европу я хотел бы еще раз выразить не только мой глубокий интерес в успехе конференции по разоружению, но и сказать о моей заинтересованности в будущем европейского мира в случае ее (этой конференции) провала. Ничто так не способствует улучшению морали в мире или не содействует

немедленному и прочному экономическому благосостоянию, как соглашение о немедленном и значительном сокращении вооружения под соответствующим наблюдением и контролем. Я представляю, конечно, технические или политические проблемы, которые существуют в этом деле, но я убежден, что, если руководствоваться твердой волей в поисках их решения, они будут решены». Написано будто бы сегодня. Но что он говорил ниже? «Далее я чувствую, — писал Рузвельт, — что если господа Макдональд, Даладье, Муссолини и Гитлер смогли бы найти общий язык, сложные проблемы можно было бы решить. Если в результате предварительных консультаций, которые Вы будете иметь в Европе, встреча этих глав правительств окажется реальна, я был бы рад в этом случае видеть Вас в качестве посредника в организации этой встречи»²⁰.

Пересмотр Версаля? Конечно, вне всякого сомнения. Через пару лет уже сам Дэвис, никогда не уклонявшийся от полученных им инструкций Белого дома, четко сформулировал эту идею ревизии Версаля, которая получала с каждым годом все большее признание в госдепартаменте. В письме Сэмнеру Уэллсу 27 марта 1935 г. он рекомендовал воздерживаться от любых проявлений недовольства со стороны Соединенных Штатов в связи с теми акциями, которые Германия предпринимала с целью освободиться от несправедливых, как он писал, статей Версальского договора. «Я думаю, — заключил Дэвис, — нам следует оказать моральную поддержку Англии в ее усилиях по умиротворению в Европе без вовлечения Соединенных Штатов в европейские дела»²¹⁻²². Однако к растущей фашистской угрозе отношение Рузвельта не было столь же хладнокровным, и это порождало определенные надежды у противников политики попустительства агрессорам.

М. М. Литвинов, например, 11 ноября 1937 г. в беседе с послом Джозефом Дэвисом в Москве не скрывал своего восторга в связи с чикагской «карантинной» речью Рузвельта 5 октября 1937 г., полагая, что теперь-то англичанам, как он говорил, и французам в Лиге Наций не удастся «увилить от вызова, прикрываясь в качестве реабилитирующего их момента позицией Соединенных Штатов». Но затем всех, кто, подобно Литвинову, испытывал после октября 1937 г. прилив надежд в отношении обуздания агрессоров коллективными усилиями демократических стран Запада и СССР, постигло разочарование.

Отступничество Рузвельта от «карантинной» речи 5 октября 1937 г. признается сегодня как самоочевидный факт. Я в этом вижу не только результат критики со стороны изоляционистов, но и возвращение к исходной идее ревизии Версаля посредством выработки компромиссных решений на международной конференции, высказанной им ранее. Встает, однако, вопрос: что подтолкнуло Рузвельта к такому шагу? Здесь многое остается пока «за кадром», хотя, возможно, появление новых документов прояснит мотивы, которыми руководствовался президент.

Но уже сейчас мне представляются очевидными следующие моменты. Первое: резкое ухудшение экономического положения США, начало нового кризиса осенью 1937 г. Последний моментально свел на нет многие достижения предшествующих лет, сделав положение администрации очень нестабильным и усилив ее заинтересованность в компромиссах на международной арене за счет сделок и уступок. Второе: политический проигрыш в результате неудачного исхода битвы за Верховный суд и реорганизацию правительственных учреждений, а также боязнь заговора деловых кругов, способных пойти, как писал министр внутренних дел Г. Икес, на насильственное выдворение Рузвельта из Белого дома. И наконец, третье: осложнение с Японией после потопления американского военного судна японскими самолетами 12 декабря 1937 г., вызвавшего бурную реакцию общественного мнения и появление настроений в конгрессе в пользу мирного разрешения инцидента.

И вот 11 января 1938 г. Рузвельт выдвигает план, автором которого был С. Уэллес, предусматривавший созыв совещания представителей всех государств, аккредитованных в Вашингтоне, для обсуждения принципов международного поведения и улучшения международной экономической обстановки. Затем была выдвинута идея совещания девяти нейтральных государств — Швеции, Нидерландов, Бельгии, Турции, Швейцарии, Венгрии, Югославии плюс два латиноамериканских государства — для выработки базы практического взаимопонимания с Германией по вопросам, как говорилось, колоний и безопасности, а также европейского урегулирования. Ни Чехословакия, ни Дания, ни Польша в этот перечень не включались. Рузвельт предлагал созвать такую конференцию 22 января 1938 г. Послание Рузвельта Чемберлену было передано через посла Англии в Вашингтоне 11 января.

Может быть, своим планом Рузвельт и Уэллес хотели остановить надвигающуюся войну? Но для агрессоров в нем не было ничего, что понуждало бы их к сдержанности и самоконтролю. План не получил поддержки и в Лондоне. Чемберлен верил в предрасположенность Италии и Германии вести переговоры с ним напрямую. План же Рузвельта — Уэллеса, с точки зрения Чемберлена, имел массу изъянов. Достаточно сказать, что он предусматривал консультации со всеми великими державами, включая Советский Союз, а Чемберлен считал, что европейский мир не мог быть заботой Советского Союза. В понимании английских дипломатов, европейское урегулирование должно было стать результатом любовной сделки, в ответ на отказ от колониальных притязаний Германия должна была получить свободу рук в Восточной Европе. И хотя формальный ответ Лондона был позитивным, но все дальнейшие шаги Чемберлена свидетельствовали о другом. По-видимому, Рузвельт не имел особых причин отстаивать свое предложение, и уже одним только этим он признал законность решения европейских «споров», не прибегая к созыву многосторонней конференции.

Подумав, Рузвельт снял свое предложение, вслед за этим С. Уэллес заявил английскому послу, что Соединенные Штаты приветствуют энергичные и реалистические усилия Чемберлена, направленные на утверждение всеобщего умиротворения в Европе. Однако после 12 марта 1938 г. (после аншлюса) правительство Англии само заговорило о посредничестве Соединенных Штатов. В ответ на просьбу Галифакса публично высказаться в пользу достигнутого соглашения Англии с Италией Рузвельт сделал это на своей пресс-конференции. Вслед за тем само собой происходит сближение позиций Англии и Соединенных Штатов. Лондону удалось активизировать Вашингтон и обеспечить его благожелательность по отношению к формуле урегулирования, в основу которой была положена идея двусторонней сделки. Сразу же после Годесберга в Белом доме принимают решение выступить со специальным обращением, прежде всего к Англии и Германии, продолжать переговоры. В этом послании Рузвельта (от 26 сентября) Соединенные Штаты не предлагали уже созвать многостороннюю конференцию, они не предлагали свои добрые услуги, и, наконец, это послание не было направлено Советскому Союзу, хотя среди адресатов были Венгрия и Польша. Хоча заметить, что, если бы Рузвельт просто замешкался со своим посланием от 26 сентября, призывавшим к продолжению контактов с Гитлером, неизвестно, чем бы еще кончилось все дело.

Перипетии последней недели сентября 1938 г. действительно заслуживают дополнительного исследования. Но некоторые моменты хорошо известны. Чемберлен вернулся из Годесберга слегка потрясенным напором Гитлера, но тогда, по крайней мере, он склонялся к решению, что будет настаивать на тех условиях, которые были выдвинуты фюрером. Ошеломляющим для него были изменения в общественном мнении Англии, да и большинство кабинета было не согласно с этими условиями. Чемберлен обнаружил также, что Даладье и Бонне, приехавшие в Лондон 25 сентября, настроены совсем по-иному, чем он ожидал. К вечеру 25 сентября в англо-французских переговорах наметился тупик. На последнем заседании кабинета Чемберлен выступил с новой идеей — поездки Г. Вильсона в Берлин с целью использовать последний шанс. Но еще предстояло получить на это согласие французов.

Когда же утром 26 сентября франко-английские переговоры вновь начались, Даладье дал свое согласие, и Вильсон отправился-таки в дорогу. Свою роль сыграли два обстоятельства. Первое — обещание, что, если случится худшее, Англия будет на стороне Франции. Второе — обращение Рузвельта. Оно было отправлено из Вашингтона в 0.15 ночи, т. е. в 6.15 утра по лондонскому времени 26 сентября 1938 г. И стало быть, как бы участвовало в беседе Чемберлена и Даладье до того, как в 11.20 вновь открылось заседание двух делегаций — Франции и Англии. У нас нет протокола беседы Даладье и Чемберлена, но в час дня 26 сентября посол Соединенных Штатов в Лондоне Джозеф Кеннеди услышал то, что он очень хотел услышать

из уст чиновника английского Форин оффиса. Оба премьера, как говорилось, были счастливы получить послание президента. Идея поездки Вильсона в Берлин, таким образом, получила поддержку в призыве Рузвельта к продолжению переговоров.

В этом отношении, я думаю, можно согласиться с американским историком Оффнером, когда он писал, что первое послание Рузвельта (от 26 сентября) имело в данном случае решающее значение. Второе его послание (от 27 сентября) создает впечатление, что президент стремился исправить свою оплошность: он говорит уже не просто о переговорах, а о конференции всех заинтересованных стран, но едва только узнает о согласии Чемберлена на встречу в узком кругу в Мюнхене, как немедленно телеграфирует свое безоговорочное одобрение.

Все это означало, что, пробыв 5 лет на президентском посту и достаточно глубоко изучив повадки фашизма, Рузвельт в конкретных обстоятельствах осени 1938 г. хватается за формулу европейского умиротворения (встреча глав четырех западных держав), время которой невосвратно прошло и которая внутренне осознавалась им самим как воплощение трусости и предательства.

И. И. Поп

(д. и. н., Институт славяноведения и балканистики АН СССР)

В своем выступлении я хотел бы коснуться некоторых вопросов кризиса 1938 г. и проблемы помощи Советского Союза Чехословацкой Республике. Мне хотелось бы обратить внимание на возможность нового прочтения старого сюжета. На мой взгляд, эта проблема до сих пор находится в очень прочной оболочке политизации, которая началась в конце 1949 г. после выступления президента Чехословакии К. Готвальда. В своей речи он напомнил, что в середине мая 1938 г. по возвращении его из Москвы в Прагу по поручению советской стороны он сообщил президенту ЧСР Э. Бенешу: СССР готов оказать Чехословакии военную помощь даже без Франции при условии, что сама Чехословакия окажет сопротивление агрессору и попросит о советской помощи. Помощь СССР, по словам Готвальда, будет оказана и в том случае, если Польша или Румыния отказались бы разрешить проход советским войскам²³.

Однако на дипломатическом уровне ситуация выглядела гораздо сложнее. Ни Сталин, ни тем более Литвинов, как народный комиссар по иностранным делам, не были новичками в европейской дипломатии, поэтому трудно поверить, что они без оглядки готовы были ринуться в войну за Чехословакию, тем более что перед ними уже был опыт Испании, оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии. Одностороннее ангажирование Советского Союза в испанских делах, внутреннее развитие в Испании привели в значительной мере к изоляции как самой Испании, так

и СССР. Поэтому в чехословацком кризисе советское руководство избрало путь борьбы за коллективные действия против агрессора.

17 марта 1938 г. советское правительство выступило с предложением о созыве международной конференции с задачей немедленно предпринять практические меры для коллективного спасения мира. Непременным участником такой конференции советская дипломатия считала с самого начала безусловно и Чехословакию²⁴. Что касается договора о взаимной помощи между СССР и ЧСР от 1935 г., то авторитетные советские представители твердо заявили, что содержащиеся в нем обязательства будут безусловно выполнены. При этом Литвинов подчеркивал, что прежде всего свои обязательства в отношении Чехословакии должна выполнить Франция (советская помощь ЧСР, согласно договору 1935 г., вернее, приложению к нему, обуславливалась помощью Франции, т. е. первой должна была выступить Франция).

Советская сторона не ограничивалась общими политическими заявлениями. Она настаивала на немедленном принятии практических мер, и прежде всего на созыве совещания представителей генеральных штабов СССР, Франции и Чехословакии. Некоторые чехословацкие дипломаты и политические деятели рассматривали эти шаги как проявление в действиях СССР уклончивости, стремление уйти от выполнения своих обязательств по договору 1935 г. Нам кажется, что советская позиция была ясной и логичной, международному характеру проблемы были адекватны и предлагаемые меры, стремление прервать дальнейшее развитие политики попустительства агрессору. А это можно было сделать только коллективными усилиями. Эта линия выдерживается советской дипломатией весной и летом 1938 г.

Примечательно, что советская пресса во время майского кризиса 1938 г., который выиграла Чехословакия своими решительными действиями, молчит, и только 26 мая в советских газетах появляется первый положительный комментарий событий. В июне—июле 1938 г. Советский Союз несколько раз заявлял о своей верности договору 1935 г., но в августе, как констатировали чехословацкие дипломаты, в позиции советского правительства наступает определенная сдержанность, которую они не могут объяснить²⁵.

На мой взгляд, ничего загадочного в сдержанности СССР не было. Все попытки советской дипломатии добиться коллективных действий в чехословацком кризисе наталкивались на резко негативное отношение Великобритании и следовавшей за ней Франции. Премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен, как вдохновитель политики «умиротворения», принципиально отвергал систему коллективной безопасности в Европе, ибо ее можно было осуществить только в сотрудничестве с СССР. Он же добивался полного отстранения Советского Союза от участия в решении европейских проблем.

Не лучшим образом поступало и чехословацкое правительство. Вместо того чтобы продолжать решительную линию, начатую в майские дни, оно постепенно идет на уступки как внутренней реакции, так и «умиротворителям». Именно в августе 1938 г. принимает навязанную ЧСР «миссию» лорда Ренсимена в качестве посредника между правительством и гитлеровской агентурой в ЧСР, Судетонемецкой партией. «Посредник» же вел открыто античехословацкую политику.

Неудивительно, что такие действия президента Э. Бенеша критиковали даже буржуазные деятели. В эти дни его представитель находился во Франции и пытался мобилизовать прочехословацки настроенных политических деятелей. Но бывший премьер-министр Э. Эррио заявил ему: не можем же мы защищать вас решительнее, чем вы это должны делать сами! Кроме того, Бенеш вновь и вновь заверял дипломатов западных держав, как писал британский посланник в Лондоне, что «его страна всегда будет следовать за Западной Европой и будет связана с Западной, а не с Восточной Европой». Всякая связь с Россией — только через Западную Европу — подтвердил категорически Бенеш неизменность генерального принципа, положенного в основу внешнеполитической концепции и международной политики ЧСР.

Эта линия была доведена и до сведения правительства СССР. Советское правительство отчетливо понимало: чтобы осуществить свои обязательства в отношении ЧСР, СССР должен прежде всего добиться выполнения Францией ее обязательств по букве договора 1935 г. Поэтому советская дипломатия на протяжении всего кризиса действовала именно в этом направлении, до конца используя возможности того варианта дипломатической борьбы, который был предложен самой Чехословакией.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на существующие две точки зрения по поводу характера возможной помощи СССР Чехословакии в 1938 г. В советской историографии долгое время господствовало мнение, что Советский Союз при любых условиях готов был помочь Чехословакии. Эту точку зрения упорно отстаивал С.И. Прасолов. В чехословацкой историографии бесспорность такой трактовки проблемы впервые подверг сомнению Ф. Лукеш в работах, опубликованных в 1968 г. на страницах журналов, а затем в монографии «Странный мир». Резко негативную оценку позиция СССР в отношении ЧСР 1938 г. получила в работах чехословацких историков, эмигрировавших за рубеж после событий 1968 г. Так, И. Пфафф пишет на страницах журнала «Свидетельство» («Svědectví»), что СССР вообще и не помышлял помогать Чехословакии в 1938 г., он только хотел войны в Европе, которая бы затем вылилась в социальную революцию. Тезис не нов и неубедителен. Для Советского Союза Чехословакия в тот период оставалась последней ниточкой, которая связывала его с Европой, с европейской системой без-

опасности. Ее порыв означал, что СССР окажется в полной изоляции: это случилось после Мюнхена.

С. И. Прасолов указывает, что Советский Союз готов был оказать помощь ЧСР, достаточно было только, чтобы об этом его попросило правительство Чехословакии, особенно после 21 сентября, когда последнее приняло ультиматум Великобритании и Франции об уступках Германии и фактической денонсации советско-чехословацкого договора.

Мне кажется, что Прасолов не прав. На заседании Лиги Наций в Женеве Литвинов заявил: «После принятия Чехословакией ультиматума, включающего эвентуальное денонсирование советско-чехословацкого пакта, Советское правительство имело моральное право также немедленно отказаться от этого пакта. Тем не менее оно этого не сделало». Литвинов дальше заявил, что действия советско-чехословацкого договора считает только приостановленным. Он вновь, по его словам, вступит в силу, как только Франция станет выполнять свои договорные обязательства в отношении ЧСР. Это было одно условие. А другое — Чехословакия должна обратиться в Лигу Наций с просьбой о помощи против агрессора на основании статей № 16, 17. Однако Бенеш не принял рекомендации Литвинова, и чехословацкого вопроса в повестке дня заседаний Лиги Наций не оказалось. А ведь Литвинов именно с целью активной поддержки этого вопроса на трибуне этой хоть и хилой, но все же международной организации находился безвыездно в Женеве весь сентябрь 1938 г.

Постановку этих условий Литвиновым в Праге и западных столицах расценили таким образом, что «советский режим, сознающий нынешнюю свою слабость, не хочет и не может идти на риск войны и поэтому ищет алиби»²⁶. Искать СССР алиби необходимости не было, его полностью обеспечивал англо-французский ультиматум Чехословакии 20 сентября 1938 г. Однако, как следует из заявления Литвинова, СССР им не воспользовался. Вопрос заключался в другом, а именно в опасности односторонней ангажированности в чехословацком кризисе вплоть до одностороннего военного выступления на ее стороне, ибо только это и нужно было Чемберлену, чтобы столкнуть СССР с Германией. К тому же существовала опасность, что в этом случае вся западноевропейская реакция будет помогать Гитлеру, об этом неоднократно заявлял и Бенеш, не желавший такой односторонней помощи²⁷.

Остается еще один вопрос: почему Великобритания и Франция позволяли себе на протяжении чехословацкого кризиса 1938 г. игнорировать СССР как какую-то третьестепенную величину в Европе? Нам кажется, что здесь нужно рассмотреть и то, каким виделся СССР со стороны в то время, каким был, выражаясь современным языком политологии, его имидж.

СССР не был отделен от остальной Европы непроницаемой, глухой стеной, и все, что происходило на его внутривосточной

арене, было известно во всех европейских столицах и создавало его образ. А происходили для стороннего наблюдателя странные вещи. Один за другим прошли громкие политические процессы над теми, кто руководил революцией 1917 г. и строил Советское государство. Это еще можно было объяснить внутривластительской борьбой за власть. Но совершенно алогичным должен был казаться в условиях распада Версальской системы и роста опасности войны разгром командного состава Красной Армии, апогей которого пришелся на 1937—1938 гг. Ведь в эти и последующие годы Красная Армия потеряла из своего командного состава больше, чем любая другая армия в условиях войны. Это, естественно, создавало почву для сомнений в боеспособности такой армии. К тому же именно на это время приходится кульминация шпиономании, захватившая не только ряды Красной Армии, но и все слои общества в СССР, притом чаще всего «обнаруживались» связи с германской разведкой.

Наряду с армией к числу ведомств, понесших в годы сталинских репрессий наибольшие потери, относятся НКВД. В течение 1937—1938 гг. были арестованы и расстреляны ведущие советские дипломаты: все заместители наркома М. М. Литвинова (за исключением В. П. Потемкина), большинство полпредов с огромным опытом работы, заведующие отделами НКВД и другие его работники. Гибель командного состава армии и опытных дипломатов, хорошо известных за границей, подрывала престиж страны. Иностранное представительство в Москве и наблюдатели за рубежом приходили к выводу о глубоком внутривластительском кризисе советского режима, о неспособности СССР к крупномасштабным внешнеполитическим мероприятиям, подвергалась сомнению союзоспособность СССР. На этом фоне на Западе и в Чехословакии не были восприняты всерьез сообщения о мобилизации в СССР 21—23 сентября 30 дивизий в Белорусском и Киевском особых военных округах и 30 дивизий на остальной территории до Урала. Эти сомнения имели под собой почву, ибо мобилизация в течение 2—3 дней 60 дивизий была маловероятной. Но ведь в 1938 г. блефовали все участники драмы, за исключением Чехословакии, блефовал Гитлер, угрожая войной, хотя сил для большой войны у него еще не было, блефовали Чемберлен и Даладьё, пугая западноевропейского пацифистски настроенного обывателя войной, так почему бы СССР не пойти на, скажем так, военную хитрость? В тех условиях и такая попытка не была лишней.

Все вышесказанное о внутренней ситуации СССР ни в коей мере не снимает вины за Мюнхен с правящих кругов Великобритании и Франции, а также и вины за предательство национальных интересов с буржуазной верхушки Чехословакии. И все же нельзя обойти молчанием тот факт, что антидемократические методы империалистической дипломатии находили своеобразную опору и «обоснование» в сталинских репрессиях в СССР. Разгром Ста-

линым командного состава Красной Армии позволил «умиротворителям» кричать о слабости антигитлеровских сил, невозможности военным путем противостоять в данный момент агрессивности Гитлера. В унисон этому звучало также утверждение нацистской пропаганды, что СССР — это «колосс на глиняных ногах». Конечно, ни то ни другое не отвечало действительности. Даже будучи ослабленной, Красная Армия совместно с вооруженными силами Франции и Чехословакии могла стать непреодолимым препятствием для агрессора. К тому же следует учесть, что вермахт осенью 1938 г. еще не был таким, как в сентябре 1939 г., а тем более в июне 1941 г. Именно поэтому Чемберлен спешил на помощь Гитлеру, опасаясь его поражения в возможной войне осенью 1938 г. и вслед за ним крушения нацистского режима. Мюнхен и последующее удушение Чехословакии были своеобразным подарком для нацистской Германии. Но этот подарок слишком дорого обошелся человечеству.

В. Г. Сироткин

(д.и.н., Дипломатическая академия МИД СССР)

Я хотел бы несколько уточнить тему нашей дискуссии. Она называется «Мюнхен — поворот к войне». Думается, здесь нет никаких возражений; совершенно очевидно, что Мюнхен — это действительно поворот ко второй мировой войне. Но мне хотелось бы подчеркнуть типичность этого явления. Разве советско-германское соглашение в сентябре 1939 г. — явление не того же порядка, не Мюнхен № 2? И если сегодня мы все активнее возвращаемся к общечеловеческим нравственным ценностям в политике, если мы перестаем оперировать такими понятиями, как классовая мораль (помните, как сказал Маяковский: «У советских — собственная гордость, на буржуев смотрим свысока»), то следует, на мой взгляд, и по-другому взглянуть на оба эти «мюнхена». Иначе мы никогда не выйдем за пределы известной справки «Фальсификаторы истории» (1948 г.), проникнутой духом сталинской «имперски-классовой» идеологии: права или не права, но это — моя страна, и все, что она делала, — априори правильно.

Гораздо важнее в период перестройки и гласности выяснить не сам факт крутых поворотов Чемберлена—Даладьё в 1938 г. и Сталина в 1939 г. в сторону Гитлера, а те глубинные причины, которые их вызвали, попытаться понять логику мышления этих политиков, стремившихся к «умиротворению агрессора». Безусловно, в этом выяснении наибольший интерес представляет «загадка Сталина».

Впрочем, этой «загадкой» Сталин был лишь для профессиональных историков, обслуживающих интересы отдельных ведомств, а не музу Клио. И даже рядовой, непрофессиональный читатель исторических трудов это давным-давно понял. Приведу

отрывок из письма ветерана войны, генерального конструктора, лауреата Государственной премии СССР И. Л. Андреева из Ленинграда, написанного 22 года назад и направленного в редакцию журнала «Коммунист» (автор переслал мне копию этого письма в виде отклика на мою статью «Пути мировой революции» в «Известиях» от 3 сентября 1988 г.):

«В № 10 журнала за 1967 г. помещена статья В. М. Хвостова „Советская внешняя политика и ее воздействие на ход истории“. Как известно, историю нельзя подправлять. В период культа Сталина, во времена Хрущева „историки“ только и делали, что подправляли историю из конъюнктурных соображений. К сожалению, статья Хвостова носит такой же характер: о чем-то умолчать, что-то исказить, что-то подправить. Советская внешняя политика во времена Ленина действительно носила глубоко обоснованный научный характер, была гибкой и действенной.

Внешняя же политика в период расцвета культа Сталина (1938—1941 и послевоенные годы) характеризуется схематизмом, прямолинейностью, целым рядом просчетов; и это вполне обоснованно, так как научное и глубокое взвешивание фактов было подменено субъективистскими действиями.

Остановлюсь лишь на некоторых общеизвестных фактах, о которых автор статьи либо умалчивает, либо делает из этих фактов вольные выводы.

Ленин, как известно, учил извлекать уроки из ошибок, смело критиковать ошибки. Ничего этого нет у автора.

1. Заключение договоров с Германией.

Автор, как и многие другие, говорит лишь о первом договоре, который еще как-то с натяжками можно объяснить. Но стыдливо умалчивает о втором договоре — „Договоре о дружбе и границе“, нанесшем серьезный политический вред нашему народу, нашему государству. Хорошо помнят официальные заявления Молотова, что понятия „агрессия“ и „агрессор“ изменились: агрессорами являются, дескать, Англия и Франция (а не Германия!). Или статья в официальном органе, посвященная второму договору, в которой говорилось, что „Польша — это искусственно созданное на востоке Европы государство, являвшееся яблоком раздора в течение более трех десятилетий, — отныне и навсегда ликвидировано“.

Или об этом неизвестно автору?

2. Комментарии и выводы из факта заключения первого договора с фашистской Германией делаются также неверные. Сталин и его окружение, уверовавшие в созданную ими самими схему, заключив договор, очень мало делали для реальной подготовки страны к обороне. „Только не разозлить Гитлера“ — вот основное кредо внешней политики Сталина в тот период. Именно Сталина, а не государства!

Дело историков — вскрыть противоречие между бездарностью политики Сталина в тот период и самоотверженностью рядовых

и среднего звена коммунистов, всего советского народа, а не подтягивать ход истории под схемы».

Письмо, как видим, злое и относится не только к В. М. Хвостову. Тем более что и ведомство, чью линию столь долго и рьяно защищал покойный академик, ныне полностью отказалось от таких услуг, признав, что советская внешняя политика имела серьезные ошибки, к числу которых относится и «Договор о дружбе и границе», заключенный в сентябре 1939 г.²⁸

К сожалению, даже в аппарате МИД СССР, не говоря уже об Академии наук, все еще не могут отойти от сталинских стереотипов «абсолютной безгрешности» предвоенной внешней политики СССР. И вновь на это обратил внимание через 21 год после публикации статьи В. М. Хвостова читатель И. Л. Андреев. Он не усмотрел принципиальной разницы между этой статьей и статьей Ф. Н. Ковалева и О. А. Ржешевского «Так начиналась война», опубликованной в «Правде» 1 сентября 1988 г. И. Л. Андреев интуитивно уловил новый — нравственный — подход советской дипломатии к известным проблемам, считая, что «английские и французские политики были хитрыми реалистами, поэтому они не верили безнравственному сталинскому руководству, блефуя в игре так же, как и тираны Гитлер и Сталин». (Из копии письма И. Л. Андреева главному редактору «Правды» В. Г. Афанасьеву от 7 сентября 1988 г. по поводу статьи «Так начиналась война», также пересланной мне.)

Замечание о блефе всех участников двух «мюнхенов» очень верно: все они не извлекли уроков из предыстории первой мировой войны и пытались найти эгоистическое решение (главное — безопасность моей страны, а там хоть трава не расти!) на путях обанкротившихся доктрин XIX в. о сепаратных союзах.

Сталин, как бы ни пытались его апологеты вчера и сегодня прославлять его «мудрость», в сущности оказался таким же мелким провинциальным политиком-догматиком, какими были Чемберлен и Даладьё. Между ними лишь одно различие: после 1939 г. эти западные политики навсегда сошли с политической арены, а Сталин стал генералиссимусом и «гением всех времен и народов».

Для понимания глубинных причин поворота Сталина (на 180°) от конфронтации с фашизмом к союзу с Гитлером очень важно проследить истоки его внешнеполитических взглядов, представлявших, на мой взгляд, эклектическую окрошку из отдельных постулатов доктрины мировой пролетарской революции и великодержавных взглядов русских царей. И не случайно, что с 1938 г., после последнего процесса над старыми большевиками, Сталин стал так интересоваться внешней политикой России и дипломатией (в круг его чтения входят работы Е. В. Тарле, В. М. Хвостова, А. С. Ерусалимского, А. Л. Нарочницкого, весной 1941 г. Сталинская премия присуждается первому тому «Истории дипломатии»).

Но не всегда было так. Обратите внимание, какую резолю-

цию принял XI пленум Исполкома Коминтерна в апреле 1931 г. (в состав ИККИ наряду с Кашеном, Пиком, Торезом, Тельманом, К. Цеткин тогда входил и Сталин): «Московский процесс Промпартии, этой вредительской и шпионской агентуры французского империализма, со всей ясностью раскрыл совершенно конкретную картину этих непосредственных военных приготовлений против СССР. Для разработки и руководства военными операциями против СССР была создана при французском генштабе международная комиссия с участием представителей английского и польского генштабов. Руководство вредительством и шпионажем было в руках агентов французского генштаба. Уже был назначен на 1930 г., а в крайнем случае на 1931 г. срок начала военных действий.

Планы военной интервенции против СССР получили активную поддержку со стороны влиятельной в США империалистической группы Гувера»²⁹.

Вот так — на сфальцифицированном процессе Промпартии было определено, что в 1930—1931 гг. Франция и Англия при поддержке США нападут на СССР... И это несмотря на то, что Г. В. Чичерин еще в 1929 г. из Швейцарии, где он находился на лечении, предупреждал: на серьезную войну Запад в условиях назревающего глубокого экономического кризиса не пойдет³⁰, что США, готовящиеся к нападению на СССР вкупе с Францией и Англией, продавали СССР тракторы, которые Сталин тут же приказывал переделывать на танки: в 1929 г. их было куплено на 17 869 тыс. долл., в 1930 г. — на 35 942 тыс. долл., в 1931 г. — на 29 339 тыс. долл. (соответственно 50 и 70% всего тракторного экспорта США в 1930—1931 гг.)³¹.

И уж совсем непонятно, как это французский генеральный штаб не сорвал всего через год после готового плана вторжения в СССР советско-французский пакт 1932 г. о ненападении?

Вся эта пропагандистская шумиха обрушивалась на советских людей для подкрепления тезиса об «обострении классовой борьбы», «саботажниках» и «шпионах» (план «вторжения» Запада подготовили для процесса Промпартии сотрудники ОГПУ). Теперь это понятно: еще в 1967 г. Верховный суд СССР реабилитировал «министра иностранных дел» Промпартии Е. В. Тарле за отсутствием состава преступления (Тарле узнал о том, что он «министр», только из газет в ссылке в Алма-Ате, куда его сослали по совершенно другому «делу» еще в 1929 г., за год до процесса).

Непонятно другое. Зачем в пятом, переработанном и дополненном издании «Истории внешней политики СССР» уже в наше время воспроизводится беспочвенная версия о том, что особый (восточный) отдел во французском генеральном штабе не прекращал разработку планов антисоветского похода³².

Неужели после XX съезда КПСС и апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС еще не ясно, что вся эта мифическая агрессивность Франции и Англии в 1929—1931 гг. нужна была Сталину исключительно для нагнетания психоза внутри страны, разгрома

научно-технической интеллигенции, изгнания из Политбюро Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, М. П. Томского и создания личной диктатуры в партии, Коминтерне и государстве? Впрочем, безграмотность Сталина в дипломатии, весь опыт которого от общения с Западом ограничивался эпохой гражданской войны и интервенции, проявилась тогда очень выпукло.

Вдова уничтоженного Сталиным в лагерях члена Политбюро КППГ и кандидата в члены Президиума ИККИ (1931 г.) Э. Неймана, сама оказавшаяся в сибирских лагерях, а в марте 1940 г. выданная Сталиным гестапо, в своих мемуарах (вышли в ФРГ в 1967 и 1985 гг.) написала, как Сталин еще в 1932 г. говорил ее мужу, что приход Гитлера к власти в Германии «выгоден СССР», ибо он (Гитлер) в отличие от социал-демократов тотчас же начнет войну с Францией, увянет в ней подобно кайзеру в 1914—1918 гг., а тем временем СССР будет строить социализм.

В более завуалированной форме, уже после прихода Гитлера к власти, Сталин повторил ту же мысль на XVII съезде ВКП(б) — «съезде победителей», состоявшемся в январе—феврале 1934 г.: германские политики говорят, что СССР «из противника Версальского договора... стал его сторонником, что эта перемена объясняется установлением фашистского режима в Германии. Это неверно. Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например в Италии, не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной... Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся в настоящем на СССР, и только на СССР. И если интересы СССР требуют сближения с теми или иными странами, незаинтересованными в нарушении мира, мы идем на это дело без колебаний»³³. Так что не «саботаж» англо-французов весной и летом 1939 г. сорвал переговоры, а «интересы СССР» (т. е. личное понимание их Сталиным).

Но ведь Чемберлен и Даладьё в Мюнхене рассуждали точно так же. Вспомните фотографию Чемберлена, снятую в аэропорту в Лондоне, когда он, вытащив листок с текстом Мюнхенского соглашения, крикнул встречавшим его репортерам: «Я привез вам мир!» Ровно через год гитлеровские войска напали на Польшу. Сталин в сентябре 1939 г., заключая «Мюнхен № 2», ничего не кричал (за него это делали Молотов и газеты), но выиграл по сравнению с Чемберленом всего полтора года: 22 июня 1941 г. Гитлер развязал войну против СССР.

Л. И. Гинцберг

(д.и.н., Институт международного рабочего движения АН СССР)

Меня с самого начала удивило решение разделить Мюнхен и то, что произошло позднее, в 1939 г. Думаю, что это неверно, ибо все здесь взаимосвязано.

А теперь о Мюнхене. Мне кажется, что эта тема наиболее

полно разработана в литературе по межвоенному периоду. Написаны десятки книг и диссертаций, сотни статей, так что жаловаться на недостаток работ о Мюнхене мы не можем. Их направленность, резко односторонняя, когда-то устраивала нас. Но сейчас другое время. Сейчас нам нужен новый подход к объяснению причин Мюнхена, его последствий и его действительного значения. К сожалению, за небольшими исключениями, я на эту тему ничего не услышал.

Какой подход я имею в виду? Прежде всего в вопросе о том, почему западные страны пошли на соглашение с Гитлером? Были ли единственно определяющими их антикоммунистические настроения, ставка на то, чтобы столкнуть Германию с Советским Союзом, и т. д.? Я думаю, это не так. Антисоветские устремления существовали на Западе всегда: и до этого, и позже, но они не вели к такого рода сговорам, каким был Мюнхен. Значит, были и другие причины. И приходится констатировать, что никто не сказал о таком факторе, как учет западными державами положения, сложившегося в то время в Советском Союзе.

Недавно состоялся «круглый стол», где речь шла о близких проблемах. Выступал, в частности, директор Института славяноведения и балканистики АН СССР В. К. Волков, который показал, что к моменту Мюнхена Советский Союз оказался в изоляции, не в полной мере, конечно, но в значительной (в полной изоляции государство бывает редко). Почему? Потому что Советский Союз был ослаблен массовыми репрессиями, особенно уничтожением значительной части высшего военного командования. Именно это было одной из существенных причин того, что правящие круги Англии и Франции пошли на сделку с Гитлером.

Нельзя согласиться и с тем, что Мюнхен был прологом второй мировой войны. Действительным прологом войны были акты фашистской агрессии — оккупация Рейнской области, интервенция в Испании, аншлюс и т.д. Что касается Мюнхена, то, как ни странно, не придается должного значения общеизвестному факту, что та конфигурация сил, которая сложилась в Мюнхене, в дальнейшем никакой роли не сыграла. Она не повторилась более ни на первом этапе войны, когда Гитлер выступал против западных держав, ни на втором, когда часть западных стран в составе антигитлеровской коалиции вместе с Советским Союзом воевала против фашистских государств.

Тогда почему и в наши дни необходимо уделять такое внимание Мюнхену? Если мы поступали так раньше, в известные годы, то это понятно. Но теперь мы должны задуматься над тем, что Мюнхен не был лишь мимолетным эпизодом, что для Англии и Франции он был страшным провалом, сущность которого они начали осознавать довольно скоро.

Конечно, Мюнхен не прошел без последствий (но отнюдь не долговременных). Он оказал влияние на малые страны, их

позиция изменилась в пользу Германии. Несомненно было влияние Мюнхена и на политику Советского Союза. Сталин испугался, и дальнейшие его шаги — вплоть до 22 июня 1941 г. — определялись прежде всего этим. Расчет же его оказался, однако, неправильным, ибо, как уже было сказано, в перспективе, причем ближайшей, отношения двух группировок буржуазных стран в Европе определялись не Мюнхенским соглашением и сговором, а взаимными противоречиями и конфронтацией. Меньше чем через год после Мюнхена между ними началась война — вторая мировая война.

Н. Д. Смирнова

(д.и.н., Институт всеобщей истории АН СССР)

После сентябрьских событий 1938 г. в Западной Европе стала циркулировать выполненная методом фотомонтажа почтовая открытка с подписью под картинкой: «Мюнхен, 1938.— Европейская партия игры в покер». За ломберным столиком были изображены с картами в руках Гитлер, Муссолини, Даладье и Чемберлен. У Гитлера — все тузы, у Муссолини — короли. Ниже подписи шло стихотворное объяснение, подстрочный перевод которого с немецкого языка выглядит следующим образом: «Думают, что Чехословакия, что только она в этой партии покера является единственной проигравшей... По-иному думает пессимист. Ведь как раз в этой партии проиграно другое...» Надпись на крышке стола — «Мир» — давала ясный ответ на вопрос, что же именно находилось в банке у европейских картежников.

Мюнхен развязал руки фашистским агрессорам. Для Муссолини, одного из активнейших организаторов сговора, открылись, как ему казалось, широкие возможности. «Слово „Мюнхен“, — говорил Муссолини 25 октября 1938 г., — означает, что впервые после 1861 года Италия сыграла выдающуюся и решающую роль в событии мирового значения»³⁴. Он уже видел себя вершителем судеб Средиземноморья и Балкан, равноправным партнером Гитлера по европейскому урегулированию. Мюнхен стал для него воплощением идеи европейского директора, т.е. той идеи, для осуществления которой он затратил столько усилий, оказавшихся в итоге бесплодными, в 1933 г., в период подготовки «пакта четырех». Но если тогда он пытался перехватить инициативу у англо-французского тандема, то теперь, после Мюнхена, речь могла идти, по его мнению, о навязывании воли фашистских государств слабым западным демократиям.

Так ли было на самом деле? Для того чтобы понять, какие надежды связывал Муссолини с Мюнхеном и чего он достиг на практике, нужно вернуться к временам аншлюса.

Известно, что после аншлюса в Риме стали допускать вероятность того, что германская экспансия может устремиться в направлении Адриатики под лозунгом возвращения австрийского наследства. Но дружественные отношения с гитлеровской Гер-

манией, многочисленными договоренностями о разделе сфер влияния, заверения о том, что граница по Бреннеру — это «граница мира», эту угрозу снимали. Более вероятным представлялось развитие экспансии на восток, в сторону Советского Союза. Поэтому для Муссолини было важно добиться от своего нацистского партнера безусловного признания приоритета Италии в решении балканских дел. Казалось, что общая заинтересованность в ревизии договоров, в перекраивании карты Европы, в отнесении на второй план старых колониальных держав — все это позволяло итальянской дипломатии надеяться на признание своих прав на Балканы в обмен на аншлюс. Ведь прислал же Гитлер прочувствованную телеграмму дуче в марте 1938 г., благодаря за поддержку: «Муссолини, я никогда не забуду сделанного тобой»³⁵.

Однако в Германии не торопились отблагодарить союзника. Более того, в апреле 1938 г., инструктируя нового посла в Риме фон Макензена, Гитлер следующим образом излагал платформу, на которой следовало бы строить взаимоотношения с Италией: «Южный Тироль можно списать со счетов... С германской стороны границы с Италией, Югославией и Венгрией неизменны. Если отвлечься пока от немецких Судет, то Балканские страны являются нашей целью». И далее, перейдя к обоснованию необходимости подписания договора с Муссолини при условии разграничения сфер интересов («ему — свобода рук в Средиземноморье, нам — на Северо-Востоке»), он заключил: «Мы действительно заинтересованы в подписании договора с Муссолини, но этот договор должен ограничиваться какими-то рамками. В противном случае Муссолини вообразит, что старшего брата можно использовать для претворения в жизнь всех своих средиземноморских проектов»³⁶.

Различия в понимании перспектив развития Балкан, а именно быть ли им в конечном счете в итальянской или в германской сфере влияния, не исключали совместных действий фашистских государств. В это время усилились их согласованные попытки разрушить региональные объединения в Центральной и Юго-Восточной Европе. Антиревизионистские принципы, на которых они базировались, связь (пусть сильно ослабевшая после 1937 г.) с Францией — все это в одинаковой степени не устраивало ни Германию, ни Италию. Поэтому действия Италии, направленные на подрыв Малой и Балканской антант, встречали полное одобрение гитлеровских политиков, которые позволяли своим союзникам делать вместо себя черновую работу.

Ослабление Малой антанты было достигнуто итало-югославским сближением. Уже с начала апреля 1938 г. премьер-министр Югославии Стоядинович просил посланника Христича согласовать с Чиаано политику в отношении Чехословакии. Чиаано в беседе с ним 15 апреля 1938 г. заявил, что чехословацкая проблема не затрагивает Италию непосредственно и поэтому она не намеревается предпринимать какие-либо действия. Это полностью совпало с позицией югославского правительства, как сказал

Христич, ибо она заключалась в следующем: «Добрососедские отношения с Германией; крепкий, сердечный и глубокий союз с Италией»³⁷. Точка зрения югославской стороны была правильно понята итальянским министром, который сделал вывод, что Стоядинович «не хочет вмешиваться и хорошо делает»³⁸.

Намерение югославского правительства не ввязываться в конфликт по поводу Судет, если таковой будет позиция Италии, оставалось неизменной вплоть до сентября 1938 г. На сессиях постоянного совета Малой антанты в Синае и на озере Блед (май и август 1938 г.) во время двусторонних встреч с чехословацкими представителями югославы настойчиво советовали им договориться с Берлином. На заседании в Синае, например, Стоядинович при поддержке министра иностранных дел Румынии Комнена убеждал чехословацкого министра иностранных дел Крофту, что судетский вопрос подлежит исключительно чехословацко-германскому урегулированию и поэтому «не может явиться предметом обсуждения на настоящем заседании».

Усилия югославской дипломатии были направлены на поиски приемлемой формы отказа от обязательств перед своей союзницей. Чехословакия в случае принятия ею требований пойти на некоторые территориальные уступки теряла не только моральное, но и юридическое право на получение помощи от других членов Малой антанты. Дополнительным аргументом, а может быть и главным, было то соображение, как передавал содержание своей беседы со Стоядиновичем один румынский дипломат, что «сегодня Югославия окончательно оставила Чехословакию на произвол судьбы. Господин Стоядинович не видит причины менять нашу позицию, тем более в такой момент, когда мы ясно видим, что Германия и Италия, будучи более сильными, диктуют свои условия Франции и Англии»³⁹.

И действительно, в том, что касалось двух последних государств, то Италия в предмюнхенский период сумела поставить себя в такое положение, при котором и Англия, и Франция были вынуждены уступать ей шаг за шагом. В итало-английских отношениях таким индикатором стало так называемое второе джентльменское соглашение 16 апреля 1938 г., вступавшее в силу после Мюнхена. Соглашение, по сути дела, санкционировало продолжение итальянской вооруженной интервенции в Испании (Италия согласилась на вывод «добровольцев» после окончания гражданской войны); британское правительство обязалось обеспечить в Лиге Наций признание захвата Италией Эфиопии и подтвердило полную свободу прохода итальянских судов через Суэцкий канал. Соглашение предусматривало также обмен информацией о перегруппировках вооруженных сил в Средиземноморье.

Соглашение свидетельствовало о чистом выигрыше Италии. И хотя в нем не содержалось ни слова о проблемах, связанных с европейским кризисом, оно оказало большое влияние на создание в Европе климата, благоприятствовавшего фашистским

государствам. Муссолини выполнял роль статиста в «плане Зет», разработанном Чемберленом в конце августа 1938 г. Но история показала, что выиграл в конце концов Муссолини, хотя и в пользу своего старшего партнера по «оси».

Еще до начала конференции Муссолини согласовал с правительствами Англии и Франции условия, выдвинутые Гитлером. Именно он огласил документ, который определил порядок передачи Судет Германии. Он воспротивился приглашению на конференцию Чехословакии. Он изложил венгерские требования к Чехословакии и т.п. Внешне он выглядел главным лицом в процессе сговора, и в таком духе Мюнхен был преподнесен во внутренней итальянской пропаганде. Ведь после Мюнхена западные демократии признали захват Эфиопии. Мюнхен позволил начать итальянское наступление на Балканы: сначала мирное, а затем и вооруженное путем захвата в апреле 1939 г. Албании.

Но Мюнхен имел еще одно немаловажное последствие, а именно: в блоке фашистских государств произошли изменения в расстановке сил ввиду определения первоочередных задач гитлеровской экспансии в Европе. Гитлер стал безусловным лидером, причем лидером, диктующим свои правила игры. В частности, в октябре 1938 г., когда он предложил Муссолини проект заключения трехстороннего военного пакта между Германией, Италией и Японией, он поставил в известность своего союзника (без предварительного согласования с ним) о выборе первоочередного удара против западных демократов. Если до Мюнхена у Муссолини были основания думать, что Гитлер пойдет на Восток, то сейчас из послания, привезенного в Рим Риббентропом, следовало: «Война с западными демократиями неизбежна в ближайшие 3—4 года. Чехословацкий кризис показал нашу силу. У нас преимущество инициативы, и мы хозяева событий... Наше военное положение превосходно: уже с сентября мы готовы к войне с западными демократиями».

Первоочередность выбора западного направления нацистской агрессии вызвала опасения у Муссолини за судьбу своей политики в Европе, политики восточной, а точнее, балканской. Безусловно, он готовился к «большой» войне, но она должна была начаться по договоренности со старшим партнером по «оси» не ранее 1942 г. Такой срок назывался на послемюнхенских германо-итальянских переговорах. Вот почему осознание того, что общеевропейский конфликт может произойти раньше и Италия не сможет получить того, что желает, толкнуло Муссолини на попытку повторить Мюнхен в августе 1939 г.

В начале июля 1939 г., когда в Риме считали, что вооруженного конфликта из-за Данцига быть не должно, ибо он мог быть вполне легко ликвидирован путем проведения плебисцита, итальянская дипломатия довольно смело шантажировала западных «миротворцев» готовностью на самый крайний шаг. Так, в ответ на послание Чемберлена, переданное Муссолини через британского посла, о том, что посягательства немцев на Данциг

могут быть губительными для дела мира, фашистский диктатор дважды повторил Перси Лорену следующую фразу: «Скажите Чемберлену, что если Англия готова сражаться за Польшу, то Италия столь же полна решимости поднять оружие в защиту своей союзницы Германии»^{39а}. Но уже со второй половины июля в Италии стали задумываться над истинными намерениями Гитлера и начался зондаж по поводу созыва международной конференции для улаживания данцигского вопроса мирным путем. Попытки Муссолини встретиться с Гитлером на Бреннере для уточнения планов действий не увенчались успехом. Тогда в Берлин был послан Чиано с инструкцией «доказать немцам с документами в руках, что развязывание войны в теперешних условиях является безумием».

Как вспоминал Чиано, 11 августа в замке Фушль произошел такой диалог:

— Итак, Риббентроп, чего же вы хотите? Данциг или коридор?

— Теперь уже ни того ни другого,— и он уставился на меня своими холодными глазами восковой фигуры из музея Гревен.— Мы хотим войну⁴⁰.

Изучение итальянских дипломатических документов позволяет расширить наши представления о предвоенной ситуации в Европе. Особенно это касается взаимоотношений в рамках агрессивного фашистского блока. Интересна оценка итальянской правящей верхушкой политики своего партнера по «оси», в частности, послеюнхенского периода и поворота в советско-германских отношениях, которого в Италии не приняли.

Обстановка периода октября 1938 — сентября 1939 г. изучена чрезвычайно слабо. Послеюнхенский период, не говоря уже об англо-советских переговорах лета 1939 г., трактуется в недавно вышедших статьях Ф. Н. Ковалева — О. А. Ржешевского и А. С. Орлова — С. А. Тюшкевича с позиций справки «Фальсификаторы истории». Нет даже и попытки ввести элементы нового, углубленно и дифференцированно подойти к политике каждой державы. Мало того, что повторяются штампы 50-х годов, но продолжается антиисторическая практика подгонки фактов и цитат под отдельные высказывания, содержащиеся в общеполитических докладах и выступлениях руководителей КПСС.

Р. М. Илюхина

(д.и.н., Институт всеобщей истории АН СССР)

В одном из выступлений в Лиге Наций М. М. Литвинов говорил, что последнюю страницу истории первой международной организации безопасности «невозможно будет читать без чувства горечи»⁴¹. Это замечание удивительно точно передает весь трагизм Лиги Наций накануне второй мировой войны. И все эти горькие страницы должны быть прочитаны современными историками с позиции главной проблемы сегодняшнего дня — сохранения мира от ядерной катастрофы.

Поставим вопрос: а не вернется ли человечество в безъядерном мире к ситуации, существовавшей перед второй мировой войной, когда в условиях отсутствия ядерного оружия был развязан опустошительный и варварский мировой конфликт? Как может быть обеспечен ненасильственный и безопасный мир, где не будет ядерных вооружений? В этой связи нельзя не согласиться с тезисом М. С. Горбачева о том, что в безъядерном мире должны быть «созданы и функционировать мощные политико-правовые механизмы регулирования международных отношений»⁴². Поэтому вопрос об «упущенных возможностях» Лиги Наций как первого исторического опыта такого международно-правового механизма, особенно в 1938 г., в период Мюнхенской конференции, представляет определенный интерес.

Проблема «упущенных возможностей» может рассматриваться с политических и классовых позиций. Однако есть еще один, постоянно забываемый нами нравственный ракурс, т. е. степень соответствия интересам социального прогресса мирового сообщества в целом в обозримой перспективе времени, связанной с моралью и правом. Морально-правовой конфликт в Лиге Наций между силой Закона, т. е. Уставом, и Законом насилия, т. е. реальной политикой, между идеалом коллективного сотрудничества в отпоре фашизму и политикой уступок ему, взрывал изнутри международную организацию, разрушая доверие, насаждая цинизм и политиканство. Морально-правовой, а также политический конфликты между различными концепциями безопасности — от коллективной до своекорыстной, превращавшейся в «умиротворение агрессора», — обрекли международно-правовой механизм на бездействие. Терпел неудачу не «великий эксперимент», как иногда называли Лигу Наций, а безответственная политика великих держав — постоянных членов Совета Лиги, упустивших исторический шанс предотвращения войны еще в период Мюнхена.

Многие политики и дипломаты — участники Мюнхенской конференции, а затем и историки доказывали, что все беды Лиги Наций связаны с несовершенством ее Устава, что и предопределило мучительные и долгие дискуссии о его реформе в 1936—1938 гг. Однако, как бы ни пытались улучшить Устав, как бы идеально ни были регламентированы его международно-правовые нормы, безопасность народов могла быть достижима в том случае, если бы внешнеполитические нормы были соотнесены с реалистической стратегией сохранения мира, а не с идеологическими установками. Увы, деятельность Лиги Наций в период Мюнхена по-своему стала воспроизведением мюнхенской международной ситуации. И не только потому, что ее XIX сессия проходила во время Мюнхенской конференции, но и потому, что она отразила, правда неадекватными средствами, планы великих держав — постоянных членов Совета Лиги Наций, малых и средних стран.

Суть вопроса состояла в том: была ли возможность на XIX

сессии Ассамблеи Лиги Наций принять какое-либо авторитетное решение, которое могло бы воспрепятствовать противоправному соглашению в Мюнхене?

У М. М. Литвинова на этой сессии была совершенно четкая стратегия, связанная с обсуждавшимся в то время в Лиге Наций вопросом о действенности или факультативности санкций. Литвинов прежде всего стремился к тому, чтобы хотя бы половина членов Ассамблеи выступила в поддержку обязательности санкций против агрессора. Если бы была принята резолюция об обязательности санкций, то тогда можно было бы говорить о коллективной защите Чехословакии и добиться решения Совета Лиги Наций для воздействия на Польшу и Румынию с тем, чтобы они разрешили пропуск советских войск.

Противоположная позиция была у Галифакса, который стремился всеми способами не допустить принятия такого решения на Ассамблее. Его беспокойство имело основание: важно подчеркнуть, что из 36 членов 11 поддержали предложения Литвинова. Заметим, что мы часто говорим о борьбе СССР за коллективную безопасность в одиночку. Это не совсем так. За коллективную безопасность выступали не только жертвы агрессии — Испания и Китай, но и Мексика, Новая Зеландия и ряд других стран. И несмотря на то что 25 представителей выступили против, Литвинов произнес 26 сентября свою знаменитую речь на Ассамблее, которая имела огромный резонанс во всем мире. Важным элементом этой речи была повторная попытка Литвинова поставить вопрос о подключении Лиги Наций к защите Чехословакии⁴³.

«Архитекторы» Мюнхенского соглашения прекрасно понимали нежелательность любой резолюции Лиги Наций по чехословацкому вопросу, в Париже и в Лондоне очень внимательно следили за реакцией государств — членов Лиги на позицию советской делегации. После выступления Литвинова в 6-м политическом комитете, где было вновь заявлено, что СССР готов прийти на помощь Чехословакии, в том числе и в силу решения Лиги Наций⁴⁴, члены английской делегации Р. А. Батлер и Де ла Варр в срочном порядке пригласили Литвинова и Майского на беседу о сложившейся ситуации. Литвинов твердо заявил, что если английское правительство решило вмешаться в конфликт, то необходимо срочно созвать конференцию Англии, Франции и СССР для выработки общего плана действий. Обсуждался вопрос даже о месте проведения конференции. Вместе с тем Литвинов подчеркнул, что независимо от конференции чехословацкий вопрос должен быть поставлен в Лиге Наций⁴⁵. В конце беседы Де ла Варр сказал, что он вполне удовлетворен и немедленно информирует Форин оффис, сообщив о дальнейшем на следующий день⁴⁶. Однако предложенная английскими дипломатами встреча не состоялась ни на завтра, ни в последующем.

По мере приближения Мюнхенского соглашения беспокойство в отношении Лиги Наций не покидало его инициаторов. Вплоть до 29 сентября английское министерство иностранных дел держало

под пристальным наблюдением ситуацию в Лиге, опасаясь, как бы чего не случилось, если Советский Союз или какой-либо другой возмутитель спокойствия обратится к ст. 16 Устава в Совете Лиги Наций. Поэтому накануне Мюнхенской конференции Галифакс еще раз телеграммой запросил Батлера о положении в Женеве («любая женевская акция уже заранее приведет в бешенство Германию»). Он предупреждал, что возможная резолюция не должна содержать никакого упоминания о ст. 16 Устава, а принята она может быть только тогда, когда «надежды на мирное разрешение вопроса уже не будет»⁴⁷, т. е. после завершения мюнхенской встречи. Все дипломатические шаги британской дипломатии были направлены на то, чтобы вероятное решение Лиги Наций ни в чем не задевало Германию. Это было важным и в случае позитивного исхода конференции, когда резолюция Лиги санкционировала бы соглашение. В случае негативного исхода такое решение Лиги открыло бы новый раунд переговоров.

Во исполнение директивы Галифакса английская делегация совместно с президентом Совета ирландским премьер-министром Де Валера в срочном порядке начала зондировать почву в Совете Лиги для подготовки нужного решения. Можно сказать, им повезло, так как к этому времени появилось известное второе послание президента Рузвельта Гитлеру, где повторялся призыв к продолжению переговоров, отказу от применения силы и предложение созыва «конференции всех заинтересованных стран». Это послание не отличалось четкостью, в нем не были названы участники возможной конференции⁴⁸. Полагали, что резолюция, выдержанная в духе послания Рузвельта, могла бы быть утверждена Лигой Наций без особого ущерба «мюнхенскому делу». Поэтому такого рода проект резолюции в несколько препарированном виде и было решено подготовить к выдвижению, предварительно обговорив его с каждым членом бюро Ассамблей.

Одновременно к 28 сентября английская делегация была готова и к тому, если бы Советский Союз все же поставил бы в Совете вопрос о применении к Германии ст. 16. Успокаивая Галифакса, член английской делегации в Лиге Уэллес писал, что, пока будет устанавливаться акт агрессии (по ст. 17) после поступления в Совет запроса решение будет принято только после окончания Мюнхенской конференции. Генеральный секретарь Лиги прогермански настроенный Авеноль и Де ла Варр вообще сомневались, что такое решение могло быть принятым. По его словам, малые государства — соседи Германии (в Совете это были Швеция, Бельгия, Латвия) — «будут очень осторожны в поддержке любого решения, которое может привести к ухудшению отношений с Германией»⁴⁹.

Действительно, большинство представителей малых стран, шокированные поведением английских и французских лидеров, все больше ориентировались на позицию Рузвельта. Поэтому 29 сентября, в день подписания Мюнхенского соглашения, XIX

сессия Ассамблеи по предложению кубинской делегации приняла резолюцию «Положение в Европе», в которой отмечалось, что представители 49 государств «с глубоким и растущим беспокойством следят за развитием опасной ситуации в Европе». В резолюции выражалась надежда, что «ни одно правительство не будет пытаться применять силу при решении спорных вопросов», и «с большим удовлетворением» приветствовались действия правительства США, с которыми «Ассамблея полностью солидаризировалась»⁵⁰.

Хотя Ассамблея призывала к «урегулированию существующих противоречий мирным путем», ее резолюция носила половинчатый характер: в ней не упоминалась трагедия Чехословакии, агрессор и его жертва были уравнены, т. е. она повторила идеи Рузвельта, высказанные в Обращении к правительству СССР от 28 сентября, о том, что правительство США «отнюдь не формулирует тем самым своего мнения по существу возникшего спора»⁵¹. Пацифистский характер резолюции, призыв к отказу от насильственного отпора агрессору сводили на нет возможные коллективные действия Лиги Наций в защиту Чехословакии. Тем не менее данное решение Лиги Наций практически было единственным официальным документом XIX сессии, в котором был выражен хотя и моральный, но все же протест против политики насилия и поддержка инициативы США о созыве международной конференции.

При всей ограниченности принятая 29 сентября резолюция находилась в вопиющем противоречии с тем, что делали в Мюнхене английские и французские политики. Не чем иным, как «урегулированием конфликта силой», нельзя было назвать угрозы и самое грубое требование Гитлера в кратчайший срок очистить присоединяемые к Германии территории в условиях, когда представители ЧСР вообще не были допущены к переговорам. «Уступка» рейху Судетской области противоречила Уставу Лиги Наций, всем нормам международного права.

Мюнхенский сговор и его подготовка были сокрушительным ударом по Лиге Наций. «Никогда еще на протяжении всей своей истории Лига Наций не собиралась на пленумах в столь тяжелой атмосфере и не была такой бессильной и нерешительной, — говорил А. дель Вайо. Призывы к силе раздаются у самых дверей Лиги, а в то же время нас приглашают взять на себя роль беспристрастных наблюдателей, которые безучастно ждут, чтобы занавес был поднят перед ужасной трагедией»⁵².

Результаты работы XIX сессии Ассамблеи показали, что как международная организация безопасности Лига Наций была парализована политикой западных держав. «Я сожалею о Лиге. Это уже не Лига Вильсона. Она потерпела полный провал, так как стала собственностью чемберленовской Англии, — писал американский посол в Испании в ноябре 1938 г. У. Додду. — Франция содействовала ее краху, но была принуждена к этому Чемберленом...»⁵³

Мюнхен ослабил возможность создания фронта миролюбивых государств в Лиге Наций на основе совместной политики СССР, Англии и Франции. По словам Ж. Табуи, во время XIX сессии Ассамблеи Литвинов говорил французскому министру: «Я прощаюсь с Вами. Я не вернусь больше в Женеву, так как в течение многих лет доказывал своему правительству, что оно должно основывать свою политику на политике Парижа и Лондона. Сегодня Москва отдает себе отчет, что нет никакой англо-французской политики, если не считать ту, которая излагается на страницах газет». И Литвинов потрясает экземпляром газеты «Матэн», на первой странице которой помещена статья под заголовком «Направим же германскую экспансию на Восток, и тогда на Западе мы будем спокойны»⁵⁴.

Объективно сложилась такая ситуация, когда фронт миролюбивых государств столкнулся с противостоящим ему фронтом четырех держав. Мюнхенцы пытались выступить перед своими народами как национальные герои: Гитлер — как собиратель «немецких» земель, Чемберлен и Даладьё — как миротворцы, а Муссолини помогал и тем и другим. Однако «квартет миротворцев» долго продержаться не смог. Политическая ситуация в течение 22 месяцев, оставшихся до начала второй мировой войны, не предвещала мира, ибо мюнхенский сговор, взорвав сложившуюся международную систему, обострил до предела все межгосударственные и межнациональные отношения. Все эти процессы не могли обойти и Лигу Наций.

Большую сенсацию в политических кругах и средствах массовой информации вызвала так называемая «чистка» аппарата Лиги Наций, проводимая Авенолом в октябре—ноябре 1938 г. Начало было положено инцидентом, связанным с увольнением Авенолом своего заместителя Одэна, позиции которого вызвали нареkanie со стороны делегаций, потворствовавших фашистским диктаторам. Представители Италии, Чили и Польши неоднократно ставили условием своего пребывания в Лиге увольнение сотрудников Секретариата по спискам, которые они представляли. Раздувание вопроса о «кризисе в Секретариате» в октябре 1938 г. происходило не без подстрекательства Германии и Италии.

Авеноль же со своей стороны, работая в тесном контакте с английскими и французскими сотрудниками Секретариата, стремился перестроить работу аппарата таким образом, чтобы приспособить его в дальнейшем к руководству со стороны не только Англии и Франции, но и Германии и Италии⁵⁵. Газета «Дейли мейл» 30 октября 1938 г. сообщала о том, что Авеноль «хочет сделать Лигу более приемлемой для тех держав, которые вышли из нее... Ряду чиновников ставится в вину то, что они проявили враждебность в отношении предполагаемого пакта четырех, который, по их мнению, являлся нарушением Устава Лиги Наций». Очевидно, что положение в Секретариате Лиги в первые месяцы после Мюнхенской конференции не представляло собой самоудовлетворяющего политического факта, а отражало ту ситуацию в

мировой политике, которая была создана мюнхенским сговором и предательством интересов Чехословакии.

Хотелось бы закончить вопросом об альтернативе. Мюнхенский сговор, бесспорно, не исключал альтернативного развития в международных отношениях, и он еще не был поворотом к войне. История об этом свидетельствует. Но, к сожалению, чему уже не было больше альтернативы, так это «миротворческой» деятельности Лиги Наций, которая была полностью парализована. Дело в том, что Устав Лиги Наций основывался на коллективной безопасности. А дальнейшие переговоры, которые начали члены Совета Лиги, уже были двойственными и тройственными и не имели отношения к коллективной безопасности в том плане, как это понимал Литвинов и остальные ее сторонники. Не было альтернативы у тех антивоенных движений, которые ориентировались на Лигу Наций, не говоря о левых антивоенных силах, коммунистическом антивоенном движении, которые практически были разгромлены.

И наконец, последнее. Раз мы «перешли» хронологические рамки 1938 г., я также хочу высказать свою точку зрения. Полностью поддерживаю прозвучавшую мысль о том, что государство, которое сговаривается с агрессором и пытается строить свою собственную безопасность за счет других, рано или поздно сталкивается с последствиями этой политики в виде бумеранга. Эта принципиальная идея всегда и везде подчеркивалась Литвиновым в его выступлениях. К сожалению, так случилось с мюнхенским сговором, так же случилось с советско-германским пактом 1939 г. В этом смысле эти события могут быть поставлены в одну плоскость.

Д. Г. Наджафов

(д.и.н., Институт всеобщей истории АН СССР)

Как и большую часть выступавших, меня интересуют прежде всего те исторические рамки (не только хронологические, но и проблемные), в которых следует рассматривать Мюнхен и связанные с ним события.

Такой широкий подход к теме оправдан во многих отношениях. И тем, что, будучи одним из (но далеко не единственным) кульминационных моментов в сползании человечества ко второй мировой войне, Мюнхен, хотим мы того или нет, обязывает исследователя изучать его (равно как и олицетворяемую им предвоенную политику «умиротворения» со стороны западных стран) в контексте причин минувшей мировой войны. И тем, что полувековая временная дистанция, отделяющая наше время от кризиса вокруг Чехословакии летом—осенью 1938 г. (с трагическим финалом в Мюнхене), позволяет опереться в таком ретроспективном анализе на огромные, поистине неисчерпаемые ресурсы мировой историографии. И тем, наконец, обстоятельством, что сегодня, в условиях перестройки и нового мышления

с его ориентацией на приоритет общечеловеческих ценностей, наш подход к Мюнхену, как и вообще ко всей предыстории второй мировой войны, конечно же, должен быть существенно иным в сравнении с недавним прошлым.

Следует выделить еще одно обстоятельство — то качественно новое, что привнесено в историческую науку новым мышлением. Поскольку мы еще только ставим перед собой такую задачу, естественно стремление к критическому самоанализу вплоть до пересмотра многих устоявшихся, ставших стереотипными оценок, в том числе оценки Мюнхена.

Не секрет, что анализ Мюнхена (его причин, сущности, последствий) в советской историографии, как правило, не выходит за пределы сталинских внешнеполитических постулатов, навязанных брошюрой «Фальсификаторы истории» (1948), претендующей на достоверность «исторической справки»⁵⁶. Распространено мнение, по-видимому не без оснований, что Сталин принимал участие в подготовке этой брошюры, которая стала советским ответом на публикацию на Западе в том же году сборника документов и материалов из архива германского МИДа под названием «Нацистско-советские отношения, 1939—1941 гг.».

Мнимость исторической достоверности многих положений брошюры давно уже не является тайной. Историки, дорожащие своим репутацией, избегают ссылок на нее. Достаточно сказать, что в брошюре центр тяжести в интерпретации происхождения второй мировой войны грубо смещен с подлинных виновников войны — нацистской Германии и ее союзников по фашистско-милитаристскому блоку — на западные демократические страны — Великобританию, Францию и США, будущих союзников СССР по антифашистской коалиции 1941—1945 гг. Предвоенная политика «умиротворения» западных стран, справедливо осуждаемая большинством советских и зарубежных историков, возведена в абсолют, она стала универсальным средством для объяснения всего и вся. Служит она и для оправдания такого одиозного акта сталинской внешней политики, как советско-германский пакт от 23 августа 1939 г., который, если довериться справке «Фальсификаторы истории», явился «дальновидным и мудрым шагом»⁵⁷. Одновременно вопреки всякой логике (и правде истории) пакт тут же называется «вынужденным» для сталинского руководства⁵⁸. Может ли пакт быть в одно и то же время и навязанным одной стороне, и быть выгодным ей же?

Академик Г. Н. Севостьянов упомянул относящееся ко времени Крымской конференции (февраль 1945 г.) свидетельство самого Сталина о том, что если бы не было Мюнхена, то не было бы и советско-германского пакта⁵⁹. Как видим, Сталин самолично поставил в один ряд оба эти события, распространив тем самым (разумеется, невольно) критику пороков Мюнхена на его, Сталина, сделку с Гитлером. Не означают ли эти его слова, высказанные в беседе с Ф. Рузвельтом, с другой стороны, что именно Мюнхен стал отправным моментом для переориентации сталинской внеш-

ней политики — с коллективной безопасностью на поиски договоренности с Гитлером? Впрочем, в любом случае сопоставление Мюнхена и советско-германского пакта правомерно в том смысле, что, будучи взаимосвязанными событиями, они дают возможность глубже вникнуть в проблему происхождения второй мировой войны.

Вопреки утверждениям справки «Фальсификаторы истории» вторая мировая война не была вызвана ни антагонизмом двух систем, будто бы главным мировым противоречием, ни антисоветизмом Запада. Основной и решающей причиной мировой войны был фашизм, несший в себе глобальную социальную опасность. Потому-то образовалась антифашистская коалиция, потому-то война носила со стороны стран этой коалиции справедливый, освободительный характер. «Фальсификаторы» не более чем примитивный продукт идеологической непримиримости.

Сам собой возникает вопрос, как деформация социализма сказалась на сталинской внешней политике накануне второй мировой войны, на политике, освещение которой, как это ни странно, пока не охвачено очистительным духом перестройки, политике, на которую мы не решаемся распространить критерии нового мышления? Если от критики сталинизма отсекается внешняя политика, то многое в сталинской внутренней политике, несмотря на ее самое безоговорочное публичное осуждение, в той или иной степени оправдывается. К примеру, сохраняет всю свою охранительную силу пока еще не разоблаченный, как он того заслуживает, тезис о «едином антисоветском фронте империалистических держав», будто бы существовавший в 30-е годы⁶⁰.

История внешней политики СССР периода всевластия Сталина служит одним из последних прибежищ сталинизма, и, не изгнав его оттуда, трудно рассчитывать на полную и окончательную победу над ним. Необходим критический анализ собственного «вклада» историков в увековечение ложных сталинских постулатов в оценке международных отношений. Мы все еще пребываем в приятном заблуждении относительно значимости собственных работ, не говорим о роли нашей исторической науки в явлениях застойного характера, не говорим о собственных просчетах и ошибках. Самокритика и покаяние здесь больше чем уместны. Без преодоления узости классового подхода к явлениям международной жизни, без опоры на достижения мировой научной и общественной мысли, без выхода на позиции нового мышления ответить на требования общественности не удастся.

Одна из центральных газет, обобщая суждения в читательской почте о состоянии обществоведения, отмечала: «Да, общественным наукам, внесшим в прошлое немалый вклад в манипулирование общественным сознанием, нужно теперь, когда это сознание пробуждается и требует пищи, не то чтобы перестроиться, а просто так возродиться, чтобы играть хоть какую-то роль в реальной духовной жизни людей. Кредит доверия крепко подорван...»⁶¹

Пора избавляться от некоей заданности, когда параллели между историей внешней политики нашей и других стран проводились только для того, чтобы сделать однозначный вывод в свою пользу. Одним из последних примеров такого рода служит книга «Правда и ложь о второй мировой войне»⁶², в которой правая сторона — это, разумеется, наша, неправая, лживая — зарубежная историография. Не трудно представить, что думает о такого рода книгах, «разоблачающих» зарубежных «фальсификаторов» истории, писатель В. Астафьев, который о 12-томной «Истории второй мировой войны» говорил, что «более фальсифицированного, состряпанного, сочиненного издания наша история, в том числе и история литературы, не знала»⁶³.

Отказ от одномерной, плоской интерпретации предвоенной внешней политики западных стран как исключительно антисоветской может внести новые моменты в понимание Мюнхена, который следует поставить в соответствующие исторические рамки, а не в прокрустово ложе сталинских формулировок.

Интерес к Мюнхену выражен в самом названии нашего «круглого стола» — его роли в повороте Европы и мира к всеобщей войне. Задаваясь вопросом, как возникла вторая мировая война, как она была развязана, важно учесть совокупный исторический опыт, не отбрасывая по политико-идеологическим мотивам другие ее причины, помимо антисоветских, цели Запада. Новое мышление позволяет переосмыслить критерии исторического прогресса в XX столетии, обратив особое внимание на конфликт между демократией и тоталитаризмом как на главный конфликт эпохи. В критические для мировой истории 30-е годы олицетворением самых темных антидемократических сил стал германский нацизм со своими союзниками — итальянским фашизмом и японским милитаризмом.

На первый план в историческом процессе выдвигались общечеловеческие интересы, растущее значение приобретало то, что сближало силы демократии и прогресса во всем мире. Приходится констатировать с сожалением, что ко времени Мюнхена борьба с фашизмом, хотя уже рассматривалась многими под углом зрения защиты общечеловеческих интересов, тем не менее не стала настолько мощной, чтобы ее нельзя было проигнорировать. Быть может, еще более существенным было то, что лидеры стран как на Западе, так и на Востоке оказались не на высоте требований исторического момента.

Руководители Англии и Франции ошибочно полагали, что им удалось договориться с Гитлером в Мюнхене. В обмен за признание Центральной и Восточной Европы «сферой влияния» фашистского рейха они надеялись избавиться себя от всех хлопот, от войны «ради чужих интересов». Как пишет современный английский автор, «ведущие английские государственные деятели (а они задавали тон в англо-французском тандеме «умиротворителей». — *Авт.*) относились к странам Восточной и Центральной Европы с презрением и безразличием, к фашистской

Германии и Италии — со страхом, смешанным с восхищением; коммунизм они ненавидели, будущей войны опасались»⁶⁴.

Как же вписывалась (и вписывалась ли?) в международную панораму советская, а точнее, сталинская внешняя политика, которой всемогущий диктатор решил вплотную заняться после того, как «покончил» (в буквальном смысле слова) со своими противниками внутри страны? Во внешней политике Сталин был так же жесток и упрям, как и во внутренней, здесь он мог действовать еще более бесконтрольно, манипулируя философией «осажденной крепости».

«Большой террор» 30-х годов (а 1937—1938 гг. — пик сталинского террора — как раз падают на период Мюнхена) бросил густую тень на внешнеполитические акции СССР. Спрашивается, были ли основания у того же Чемберлена больше доверять Сталину, чем Гитлеру? Правы те ученые, которые в своем анализе Мюнхена не ограничивались одним лишь анти-советизмом Запада.

Крайне важен уже поднимавшийся вопрос о мере надежности Сталина как потенциального союзника Запада в историческом противостоянии демократии и тоталитаризма. Были все основания подозревать Сталина в ненадежности как партнера и союзника в борьбе против фашистско-милитаристского блока. Это подтвердили и события 1939 г., когда сталинские метания завершились ставкой на далеко идущие договоренности с Гитлером. Текст так называемого договора о ненападении с Германией от 23 августа 1939 г.⁶⁵, который не случайно не воспроизводится в «Истории внешней политики СССР»⁶⁶, содержит положения, идущие гораздо дальше обязательства о взаимном ненападении. Договор имел продолжение, которое отразилось во многих последующих делах сторон, в том числе и в заключении 28 сентября 1939 г. договора на этот раз «о дружбе и границе» между двумя странами⁶⁷. В данной связи напрашивается не один вопрос — так много «белых пятен» в изучении сталинской внешней политики того времени.

Навязанное нашей историографии самим Сталиным представление о том, что его внешняя политика была «вынужденной» (мол, приходилось считаться с «мюнхенским предательством»), потом «пришлось» принять германское предложение о пакте), призвано скрыть его подлинные намерения и цели. Истинные мотивы Сталина следует искать в его политике периода 1939—1941 гг.

Сталина, который в своих публичных выступлениях был скуп на слова, когда речь шла о коллективной безопасности или о Народном фронте против фашизма и войны, еще до Мюнхена больше заботило не предотвращение мировой войны, а использование межимпериалистических противоречий. В мае 1939 г. Сталин убрал М. М. Литвинова с поста руководителя НКВД, твердо державшего курс на сближение с демократическим Западом и ставшего неудобным, как только Сталин решил идти

ва-банк. В своих мемуарах А. А. Громыко подтверждает, что «Литвинов был освобожден от поста наркома иностранных дел за его ошибочную (!) позицию, в особенности в оценке политики Англии и Франции»⁶⁸.

Поразительно, насколько глубоко укоренилось в общественном сознании, в том числе в сознании ответственных деятелей, сталинское недоверие и враждебность к Западу в целом, но особенно к Великобритании. В годы, предшествовавшие второй мировой войне, они всячески навязывались Сталиным и Молотовым. Достаточно напомнить о выступлении Сталина на XVIII партийном съезде (март 1939 г.), в котором поджигателями мировой войны были объявлены западные державы.

Подведем некоторые итоги.

Во-первых, в советской историографии Мюнхена, поскольку она опирается на сталинское наследие в виде «Фальсификаторов истории», есть что пересматривать. Главный же вывод состоит в том, что Мюнхен нельзя сводить только к антисоветизму Запада, не это было основным мотивом западных деятелей. Основным можно считать их стремление любой ценой избежать войны, фатальную недооценку ими фашизма как глобальной социальной опасности.

Во-вторых, на международных отношениях периода Мюнхена самым отрицательным образом сказался тоталитарный характер сталинского режима. Это существенным образом ограничивало возможности Запада, где общественное мнение не могло в создавшихся условиях должным образом воздействовать на ориентацию правительств Великобритании и Франции в области внешней политики.

В-третьих, заслуживает самого пристального внимания сталинская внешняя политика накануне и в начале второй мировой войны, остающаяся «белым пятном» в исследовательском плане. Более многостороннее изучение этого сложного периода будет иметь значение и для лучшего понимания места и роли Мюнхена в движении к мировой войне.

А. М. Филитов

(к.и.н., Институт всеобщей истории АН СССР)

Основная тема моего выступления — Мюнхен как символ в истории международных отношений и разные трактовки этого символа. На первый взгляд первый вопрос совершенно ясен, а это снимает и второй. Л. Н. Нежинский достаточно четко охарактеризовал мюнхенский сговор как «символ вероломства и предательства», и эта характеристика типична не только для марксистских историков, но и для их коллег, использующих другую методологию и придерживающихся совсем иных мировоззренческих и политических позиций. Вряд ли найдется и какой-либо западный политик, который употреблял бы какую-то иную символику, а не эту — отрицательную, осуждающую. Однако

вопросы все-таки остаются. Всегда ли было так, что точки зрения «Востока» и «Запада» на Мюнхен совпадали? И даже когда налицо внешнее совпадение, означает ли это совпадение по существу? Осуждая Мюнхен, осуждают ли советские и все без исключения западные авторы одно и то же?

В связи с последним вопросом приведу один пример. В 1964 г. мне довелось вместе с В. М. Хвостовым, о котором здесь шла речь, участвовать в международной конференции, посвященной проблеме нераспространения атомного оружия. В. М. Хвостов употребил тогда сравнение между политикой Франции конца 30-х годов, направленной на удовлетворение притязаний Германии в отношении Чехословакии, и политикой Франции начала 60-х годов в отношении притязаний ФРГ на ядерное оружие; последнюю он охарактеризовал как продолжение мюнхенского курса, который приведет Париж к «новому Компьену». И такое же сравнение было употреблено тогда же одной из крайне правых западногерманских газет, и тоже применительно к политике Франции: проявляя-де нерешительность в отпоре «советскому экспансионизму» (доказательство чего усматривалось в не слишком большом желании Франции подключить ФРГ к ядерным делам), Париж продолжает «мюнхенскую политику». Как видим, очень разные по содержанию, даже противоположные установки и мысли оказались воплощенными в один и тот же «символ». История, в общем, показала, что «мюнхенская аналогия» не оказалась особенно адекватным способом определения тогдашней политики Франции, и, справедливости ради, следует сказать; она не слишком часто фигурирует ныне в словаре наших политических обозревателей, что, очевидно, правильно. Но та же аналогия — неперменный атрибут западной политической риторики, и это довольно старый и довольно постоянный феномен. Ялта, договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах, договор о нераспространении, последнее соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — и вот вновь и вновь со стороны противников этих соглашений раздается предупреждающий глас: «Мюнхен!»

Такая символика и такая оценка Мюнхена стали иметь хождение на Западе далеко не сразу, и изменение отношения к Мюнхену не имело ничего общего с подлинным осмыслением его характера, подлинным «покаянием», а имело чисто конъюнктурный характер. Когда Чемберлен вернулся со своей встречи с Гитлером и Муссолини, он заявил, что «привез мир на время жизни нашего поколения». Но это была не единственная оценка заключенного им соглашения. Другая была та, которую в свое время употребил Дизраэли по возвращении с Берлинского конгресса: «мир с честью». Правда, в последнем интервью лорда Дуглас-Хьюма, тогдашнего личного секретаря Чемберлена, утверждается, что премьер Англии этой фразы не произносил и, напротив, когда ему кто-то сказал: выйдите на балкон и скажите так, как Дизраэли, он ответил: «Ни за что в жизни»⁶⁹. Впрочем,

не столь даже важно, была эта фраза действительно сказана или нет; важнее, что такая идея существовала.

Когда же был совершен переход от идеи «мир с честью» к идее «символ позора»? Отнюдь не скоро. Известно, что Чемберлен осудил вторжение Гитлера в Чехословакию в марте 1939 г. как нарушение Мюнхенского соглашения, другими словами, продолжая рассматривать его (это соглашение) как явно хорошее и действующее соглашение. Если уместна такая аналогия, то это было осуждение того типа, которое советская сторона высказывает в адрес западных держав по поводу нарушения ими, положим, Потсдамского соглашения, что никак не свидетельствует об отрицательном к нему отношении или отрицании его правовой эффективности. Во вторую годовщину Мюнхена уже другой английский премьер, У. Черчилль, в речи, обращенной к народу Чехословакии, заявил, что это соглашение было «разрушено» немцами. И здесь еще не было отрицательной оценки Мюнхена как такового. Опять-таки можно привести аналогию из позднейшей истории: советское руководство констатировало, например, что включением ФРГ в НАТО западные державы, Франция и Великобритания разрушили договоры о сотрудничестве и взаимопомощи с СССР, заключенные во время войны, и сочло необходимым на этом основании эти договоры денонсировать. Но эта оценка и этот акт никоим образом не изменили позитивной оценки содержания этих договоров и их исторического значения. Кстати, признаем, что аналогия эта не совсем правомерна потому, в частности, что о денонсации Мюнхена вопрос для Черчилля тогда отнюдь не стоял.

Только в августе 1942 г. после известного немецкого погрома в Лидице, когда от англичан со всех сторон требовали какой-либо реакции на этот акт геноцида, был сделан жест по отношению к Чехословакии. Было заявлено, что «правительство Его Величества считает себя свободным от всех обязательств» по Мюнхенскому договору и что «на окончательное решение вопроса о чехословацких границах, которое будет достигнуто в конце войны, не будут влиять любые изменения, произошедшие с 38-го года»⁷⁰. Примерно такое же заявление было сделано от имени Свободной Франции, а также от имени итальянского правительства после свержения там фашистского режима (26 сентября 1944 г.). Формулировка британского заявления, как нетрудно заметить, не содержит какой-либо отрицательной оценки мюнхенского диктата. И это не случайно. Отношение к Мюнхену отражало традиционное отношение британских правящих кругов к существованию Чехословакии, как и вообще к существованию независимых государств на территории бывшей Австро-Венгрии.

Тема, которую поднял А.О. Чубарьян, — разница между французским и английским отношением к Версалию, — очень плодотворна. Я мало занимался Версалем, но общеизвестно, что тогда были очень напряженные отношения между Англией и Фран-

цией. Франция была больше заинтересована в создании системы национальных государств в Средней и Южной Европе. Англия занимала более прогерманскую позицию, во всяком случае выступала против широкого применения принципа национального самоопределения. Надо сказать, это английское отношение к проблеме осталось и во время второй мировой войны. Достаточно вспомнить упорную защиту Черчиллем планов различных «федераций» и «конфедераций» в Европе, особенно «центрально-европейской», куда, по его мысли, должны были войти часть расчлененной Германии, Австрии и Венгрии. Некоторые западные авторы, упоминая об этих планах, пытаются отрицать их антисоветский характер⁷¹.

Дело было, думается, в замысле даже более широком, чем просто воссоздание «санитарного кордона» против «коммунизма». Черчилль планировал несколько федераций (Чехословакию предполагалось включить в одну из них вместе с Польшей), и в случае реализации этих планов неизбежно встал бы вопрос о территориальном разграничении между этими новообразованиями. И вот тут-то английское правительство явно видело себя в роли «арбитра», а тем самым и решающей силы в Европе. Ясно отсюда, почему в столь туманной манере был в упомянутом заявлении поставлен, а точнее говоря, обойден вопрос о границах Чехословакии.

Особо следует сказать об отношении к Мюнхену в США, имея в виду даже не официальный, политический, а «фоновый», пропагандистский уровень. Во время войны весьма распространена была прогабсбургская, а тем самым фактически и промюнхенская пропаганда. В условиях поворота к «холодной войне» она усилилась, сомкнувшись с пропагандой антисоветской и антирузвельтовской. Выражением этого «триединства» и стала появившаяся уже в 1946 г. книга Р. Ингрима «После Гитлера Сталин?»⁷². В ней автор объясняет развал Австро-Венгерской монархии интригами чешских эмигрантских политиков и легкомыслием американского президента Вильсона, объявляет Чехословацкое государство «искусственным образованием» — почти в стиле нацистской пропаганды, пугает опасностями «славянского блока» и т. д. Одна из первых апологий курса на «холодную войну» стала, таким образом, и апологией Мюнхена. Лишь позднее, после того как было сочтено более пропагандистски выгодным зачислить бывших деятелей домюнхенской Чехословакии, буржуазных политиков в мартиролог «жертв коммунизма», а февральские события 1948 г. стали трактовать как «капитуляцию» типа мюнхенской, — лишь после этого стала меняться тональность — основная тональность — в оценке Мюнхена.

Однако впоследствии критике подвергалось не только содержание Мюнхенского соглашения — расчленение Чехословакии и подготовка ее окончательного уничтожения как государства, сколько, если можно так сказать, форма, методы, техника переговоров, ему предшествовавшая и его подготовившая. В резуль-

тате «мюнхенский синдром» стал парадоксальным образом оружием против любых попыток переговоров между «демократическими» и «тоталитарными» государствами.

Достаточно, например, вспомнить, что в 1956 г. британский премьер-министр А. Иден сравнивал действия Насера по национализации Суэцкого канала с действиями Гитлера в период «судетского кризиса» и рассматривал предложения о переговорах с египетскими властями как призыв к «новому Мюнхену». Результатом стала суэцкая авантюра.

Одним из самых распространенных методов и оправдания, и критики мюнхенской политики было и остается то рассуждение, что, мол, в тот период фашистская Германия обладала явным военным превосходством над потенциальными противниками, а потому Мюнхенское соглашение было либо вынужденным компромиссом, игрой на выигрыш времени (оправдательный вариант⁷³), либо примером переговоров «с позиции силы» (критический вариант). Вопрос этот, думается, нуждается в дальнейшем изучении. В общем-то ясно, что никакого «военного превосходства» у Гитлера тогда не было. Последние работы английских историков убедительно опровергают, например, миф о «превосходстве» гитлеровского люфтваффе. Но некоторые вопросы все-таки остаются, и порой на них даются ответы слишком упрощенные. Это относится к тезису о том, что Чехословакия-де обладала такими неприступными укреплениями на границе, что спокойно могла за ними «отсидеться» в случае немецкого наступления. Дело в том, что таких укреплений на границе с Австрией практически не было, так что после аншлюса дело обороны Чехословакии значительно осложнилось.

Другой вопрос касается оценки советского оборонительного потенциала в то время. Это сложная проблема, и пока, к сожалению, мы не продвинулись дальше общих слов. Что влияло на оценку, которая давалась современниками? Известны сенсационные факты лета 1938 г.: к японцам сбежал начальник Дальневосточного НКВД Люшков, в июле 1938 г. он устраивает в Токио пресс-конференцию, на которой всюю расписывает полную «прогнилость» Советского Союза, заявляет, что там готовится заговор против Сталина и что Красная Армия совершенно небоеспособна. Это было подхвачено буквально всей мировой печатью. В известной степени японцы клюнули на эту информацию, когда у озера Хасан организовали известную провокацию. Хасан показал, что во всяком случае Дальневосточная армия обладала значительными боевыми качествами, превосходившими качества японской армии. Этот факт, конечно, соответствующим образом оценили — не могли не оценить — и английские аналитики. Так что вряд ли английское правительство воспринимало тогда Советский Союз как величину в военном смысле ничтожную. А отсюда очевидно, что аргумент о «советской слабости» и «малоценности» СССР как союзника против Германии вряд ли мог играть решающую роль в мюнхенских расчетах.

В последние годы в советских публикациях рассматривалась в основном англо-американская историография Мюнхенского соглашения⁷⁴. Что касается западногерманской историографии, то она была представлена здесь лишь в самых общих чертах. В связи с этим хотелось бы подробно остановиться на характеристике трактовки Мюнхенского соглашения в немарксистской историографии ФРГ.

В большинстве изданных в ФРГ исторических трудов история Мюнхенского соглашения освещается с консервативных и ультраконсервативных позиций. В них имеется много общих черт. Но вместе с тем в публикациях этих двух направлений есть и немало различий в подходе к отбору фактического материала и его интерпретации. И эти различия довольно существенны.

Консервативное направление представлено работами таких историков, как Д. Брандес, Х. У. Тамер, К. Хильдебранд, Г.-А. Якобсен и др. В них большое место отводится рассмотрению агрессивной политики гитлеровского правительства, показу, какую роль оно отводило захвату Чехословакии в подготовке к развязыванию войны за мировое господство. В работах историков этого направления, и это важно подчеркнуть, раскрываются попытки нацистской верхушки добиться внешнеполитической изоляции Чехословакии, подорвать обороноспособность этой страны изнутри при помощи руководимой и финансируемой ею фашистской Судето-немецкой партии⁷⁵.

В работах историков ультраконсервативного направления, таких, как Х. Дивальд, Ф. П. Хабель, Р. Хильф и А. Шиккель, вопрос о роли и месте готовившейся агрессии против Чехословакии в планах гитлеровцев практически не рассматривается, факты о том, что ирредентистское движение среди немецкого населения в Судетской области инспирировалось Берлином, замалчиваются или трактуются как несущественные. Причину чехословацкого кризиса они усматривают в Версальском мирном договоре, который закрепил включение Судетской области в состав Чехословакии, в нежелании чехов делить власть с судетскими немцами, в стремлении чехословацких властей «денационализировать» граждан немецкого происхождения и т. п. Скрывая имевшую место координацию подрывной деятельности судето-немецких фашистов в Чехословакии с агрессивной политикой гитлеровского правительства, некоторые из этих историков утверждают, что, мол, никто не виновен в том, что вопрос о «необходимости» отторжения Судетской области от Чехословакии «привлек внимание всего мира в то время, когда в Германии у власти был Гитлер»⁷⁶.

В работах ультраконсервативных историков Чехословацкое государство 30-х годов представлено в виде конгломерата, раздираемого противоречиями между чехами, словаками, немцами,

венграми и поэтому обреченного на неминуемый развал, подобно Австро-Венгерской монархии. К сожалению, критика подобной трактовки внутреннего положения в Чехословакии затрудняется тем, что в работах советских историков проблеме международных отношений в этой стране практически не уделяется внимания. Между тем историки ГДР предпринимали серьезные попытки выяснить истинную взаимосвязь между незавершенностью решения национальных проблем в Чехословакии того времени и нестабильностью ее международного положения⁷⁷.

О наличии консервативного и ультраконсервативного направлений в западногерманской историографии Мюнхенского соглашения свидетельствуют и различия в оценках, которые побудили правительства западных держав выступить за присоединение Судетской области к Германии. Историки первого из указанных направлений пытаются объяснить их готовность к компромиссу с Гитлером желанием сохранить Чехословацкое государство, спасти его от полного уничтожения, не допустить военного конфликта и тем самым сохранить мир в Европе и во всем мире. Они утверждают, что политике «умиротворения» якобы не было альтернативы, поскольку ни Англия, ни Франция не были тогда готовы дать вооруженный отпор агрессору⁷⁸. Историки же ультраконсерваторы предпочитают в данном случае оперировать модифицированными аргументами нацистской пропаганды. По их словам, западные державы в вопросе о передаче Германии Судетской области руководствовались прежде всего соображениями о том, что, мол, аморально было бы препятствовать осуществлению «прекрасной цели» — объединению всех немцев в одном государстве, что пришло время устранить «несправедливость», допущенную в Версале по отношению к судетским немцам, вернуть их право на самоопределение⁷⁹.

Исходя из характерной для них оправдательной аргументации, историки обоих направлений пытаются обелить мюнхенскую сделку. Одни из них заявляют, что благодаря ей «в очередной раз был спасен мир в Европе и во всем мире», «перечеркнут гитлеровский план вступления в Прагу осенью 1938 г.»⁸⁰. Другие же усматривают в Мюнхенском соглашении «справедливую акцию», которая восстановила «право судетских немцев на присоединение к Германии» и поэтому якобы «встретила всеобщее одобрение»⁸¹.

Вопросу о позиции СССР во время чехословацкого кризиса в немарксистской историографии ФРГ уделяется мало внимания. Он мимоходом затрагивается лишь в отдельных работах и только для того, чтобы убедить читателей в том, что будто советское правительство в 1938 г., как и правительства западных держав, не имело никакой возможности оказать военную помощь Чехословакии. При этом, как правило, указывается, что Польша и Румыния не дали согласия на пропуск советских войск через свою территорию в Чехословакию, к тому же Красная Армия была уже ослаблена сталинскими репрессиями⁸².

В целом в работах западногерманских историков подчеркивалось, что Мюнхенское соглашение воодушевило Гитлера на проведение новых агрессивных акций с целью расширения экономической и военно-стратегической базы для развязывания войны за мировое господство. Вместе с тем имеют место попытки представить СССР в качестве «совиновника» в развязывании войны. В соответствии с утвердившейся версией Мюнхенское соглашение вызвало у Сталина «мстительное недоверие» к западным державам, побудило его к отказу от последовательно проводившейся ранее СССР линии на создание в Европе системы коллективной безопасности и замене ее курсом на сближение с Германией, разжигание войны между капиталистическими державами. Итогом этого «нового курса» советской внешней политики некоторые историки ФРГ считают советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1938 г.⁸³ При этом не принимаются в расчет многочисленные советские исследования, где показаны предпринимавшиеся Советским Союзом еще весной и летом 1939 г. попытки склонить Англию и Францию к заключению оборонительного союза, а также антисоветские тенденции в политике западных держав, которые воспрепятствовали заключению такого союза.

Однако следует отметить, что история советско-германских отношений в 1939 г. советскими историками еще изучена слабо. Конец спекулятивным суждениям на этот счет может положить лишь углубленное изучение этого вопроса на основе широкого круга архивных документов и материалов.

В. Л. Мальков

Когда зашла речь об организации нашего «круглого стола», мы первоначально хотели сформулировать его тему так: «Мюнхен — новый угол зрения». Но нам сказали: какой новый угол зрения? У нас нет документов, и ничего нового сказать нельзя. Но сейчас я чувствую, что уместно было бы дать и такое название. Участники нашей встречи высказали много интересных (хотя порой и небесспорных) мыслей, в которых содержался призыв (а в ряде случаев и имеющийся опыт) к новому «прочтению» не только доступных нам документов, но и фактов истории. Выяснилось, между прочим, что, когда мы анализировали раньше тексты известных нам исторических источников, мы пользовались далеко не всеми возможностями научного истолкования. А многое вообще принималось в них за чистую монету, хотя речь шла о дипломатической истории, где критика источника должна предшествовать всякому исследованию.

Я не буду подводить какие-либо итоги, но хочу остановиться на ряде вопросов, которые, как показал обмен мнениями, являются для всех нас принципиальными, ключевыми.

Хотел или не хотел Запад войны? Я думаю, конечно, не хотел. Но не хотел какой войны? Это тоже вполне законный

вопрос. Вот, например, локальную войну Японии против Советского Союза англичане хотели, даже очень хотели, да и американцы тоже. Если бы такая война на нашем Дальнем Востоке началась, едва ли в Лондоне и Вашингтоне это вызвало бы серьезное беспокойство. Скорее наоборот. Ведь никто на протяжении 30-х годов по-настоящему не пришел на помощь Китаю, кроме Советского Союза. В американских архивных документах, начиная с Мюнхена, постоянно проскальзывает такой мотив: Гитлер повернул на Восток, и Советская Украина — это его цель. Причем все это воспринималось в достаточно позитивном духе, как некая альтернатива гибели западной цивилизации в результате конфликта между Англией и Францией с одной стороны и Германией — с другой. Восточное «склонение» гитлеровской агрессии, таким образом, считалось вполне приемлемым. Из двух зол выбирали меньшее. Поскольку Запад был не готов к серьезному противоборству, идею большой войны в Центральной и Западной Европе западные демократы гнали от себя прочь. Но как временное решение, снимающее напряжение с франко-германской границы и английских колоний, восточное «склонение» имело в глазах западных политиков все видимые и невидимые преимущества.

Вместе с тем наше привычное уже и такое упрощенное представление о тайных помыслах Запада руками Гитлера и милитаристской Японии задушить Советский Союз должно быть отвергнуто. Ни Англия, ни Франция, ни тем более США всерьез не были заинтересованы в полнейшем нарушении баланса сил как в Европе, так и на Дальнем Востоке в результате поражения СССР в войне с Германией или на два фронта. Кстати, заявление администрации Рузвельта об оказании помощи Советскому Союзу после нападения на него Германии 22 июня 1941 г. доказывает реализм тогдашнего политического руководства США, не поддавшегося в весьма противоречивой обстановке лета 1941 г. искушению выждать время, сыграть на изоляционистских настроениях и недоверии к СССР в общественном мнении США и покончить с большевизмом раз и навсегда. Хотя такие предложения и высказывались, но правительство США и конгресс с ними не согласились.

Мне кажется, сейчас многие исследователи испытывают соблазн, вполне объяснимый, видеть корни несговорчивости Англии и Франции, помешавшей Советскому Союзу найти поддержку выдвинутой им идеи коллективной безопасности, в моральной дискредитации сталинского руководства. И здесь, однако, следует избегать односторонности. Конечно, внутреннее положение в Советском Союзе влияло на позицию общественности Запада и не могло не влиять, так же как изоляционизм в США влиял на Англию и Францию (в особенности), лишая их (в известной мере) воли к сопротивлению агрессии Германии. Но нужно поставить вопрос: так ли уж сильно эти моральные соображения сказывались на военно-стратегических расчетах Лондона и Па-

рижа? Напомню, что самодержавие в России не помешало оформлению Антанты. Одним словом, у меня такое убеждение, что этот вопрос надо еще дополнительно исследовать. Различные слои оценивали происходящее по-разному. Огромные массы людей, настроенных антифашистски, видели в Советском Союзе, несмотря ни на что, единственный оплот сопротивления гитлеризму. И это не является выдумкой. Возьмем того же Джозефа Дэвиса (Рузвельт вполне доверял ему). Он, например, видя, как Сталин драконовскими методами укрепляет свой режим, считал, что это благо, поскольку, по его мнению, только сплоченный вокруг сильного руководства народ способен был противостоять нацистской Германии. Кстати, уроки аншлюса и Мюнхена многих заставляли думать таким же образом.

К сожалению, мы довольно часто сталкиваемся с явлением, которое можно назвать вторжением дилетантизма в процесс работы по ликвидации так называемых «белых пятен». Вольное обращение с фактами, забывчивость в отношении их общей связи, механический перенос обвинительного уклона в объяснении линии западной дипломатии в период мюнхенского кризиса и после него на действительность советской дипломатии, различные неточности не способствуют росту авторитета исторических исследований «нового поколения». Недавно историк и публицист В. Чубинский справедливо писал: «„Белые пятна“ ликвидировать необходимо. Но делать это нужно так, чтобы в головы читателей не вносилась новая путаница взамен старой и нужное дело не дискредитировалось неумелым исполнением. Ведь даже самая маленькая ошибка, будучи обнаруженной, подрывает доверие ко всему остальному»⁸⁴.

Я бы добавил к этому следующее. Никто не призывает вернуться к пресловутому консенсусу. Однако нам нужен активный поиск нового синтеза, ведущийся в условиях состязательности различных научных гипотез, каждая из них опирается на достоверное знание и профессиональную компетентность.

Сейчас идет энергичный процесс накопления новых данных, хотя, строго говоря, во многом он напоминает реабилитацию старых, намеренно «вычеркнутых» из истории вчера или основательно подзабытых нами самими. Усиление нарративистского крена для этой стадии вполне естественно и едва ли заслуживает упрека при условии, что мы не упустим из поля зрения главной задачи — создания в профессиональном отношении стоящих на современном уровне аналитических исследований по дипломатической истории предвоенного кризиса. В конце концов, мы ведь заинтересованы не только в том, чтобы рассказать, «как это, собственно, было», но и в том, чтобы осмыслить отдельные факты истории в контексте их диалектической взаимообусловленности, включив все частные и персональные моменты в обобщенную картину той катастрофы, которая постигла человечество и в сползании к которой такую существенную (если не решающую) роль сыграло предательство в Мюнхене.

- ¹ Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973. С. 77.
- ² Громыко А. А. Памятное. Кн. 1—2. М., 1988. Кн. 2. С. 322.
- ³ СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны: Документы и материалы. М., 1971. С. 45.
- ⁴ Там же. С. 46.
- ⁵ Там же. С. 50.
- ⁶ Там же. С. 202.
- ⁷ Там же.
- ⁸ Там же. С. 204.
- ⁹ Междунар. жизнь. 1988. № 1. С. 116.
- ¹⁰ Фальсификаторы истории: Ист. справка. М., 1948. С. 18.
- ¹¹ Новая и новейшая история. 1988. № 4. С. 129.
- ¹² Моск. новости. 1988. 3 сент. С. 8.
- ¹³ Внеочередная IV сессия Верховного Совета СССР, 28 августа — 1 сентября 1939 г.: Стеногр. отчет. М., 1939. С. 200.
- ¹⁴ Правда, в статье В. Матвеева испанский вопрос затрагивается вскользь, лишь в одной фразе.
- ¹⁵ Согласно последним публикациям, за спиной Литвинова уже с 1933 г. шла зловещая игра Сталина и Молотова с главарями нацистской Германии. Кульминацией этого двурушничества стал договор о дружбе и границе с фашистским рейхом от 28 сентября 1939 г.
- ¹⁶ Командарм Я. В. Смушкевич сражался в Испании под именем генерала Дугласа. П. В. Рычагов под псевдонимом Паланкар командовал в республике авиасоединением, сбившим 40 фашистских самолетов (из них шесть сбил лично Рычагов).
- ¹⁷ Всего, по официальным данным, погибло в боях с мятежниками 198 советских воинов (фактически больше).
- ¹⁸ Очевидно, по прихоти Сталин пощадил в то же время Н. Воронова, П. Батова, И. Эрэнбурга, Р. Малиновского, Н. Кузнецова и некоторых других «испанцев».
- ¹⁹ Всего в Испании сражалось свыше 42 тыс. антифашистов-добровольцев. Но силы оказались неравными: только армия германо-итальянских интервентов после Мюнхена достигла в Испании 300 тыс. солдат и офицеров. См.: История внешней политики СССР. М., 1976. Т. 1. С. 332.
- ²⁰ Library of Congress. Norman H. Davis Papers, box 51. Franklin D. Roosevelt to Davis. Aug. 30. 1933.
- ²¹—22 Library of Congress. Norman H. Davis Paper, box 63. Davis to Sumner Welles. Mar. 27, 1935.
- ²³ Gottwald K. Projevy a članky, 1949—1950. Pr., 1952. S. 148.
- ²⁴ Документы внешней политики СССР. М., 1977. Т. 21. С. 128—129.
- ²⁵ Fierlinger Z. Ve službach CSR. Pr., 1948. D. 1. S. 123.
- ²⁶ Ibid. S. 143—144.
- ²⁷ Beneš E. Mnichovaké dnu. Pr., 1968. S. 318—319.
- ²⁸ Междунар. жизнь. 1988. № 9. С. 12—13.
- ²⁹ XI пленум ИККИ. Вып. II. Военная опасность и задачи Коминтерна: Стенограф. отчет. М.; Л., 1931. С. 240—241.
- ³⁰ Полит. самообразование. 1987 № 1. С. 81. Письмо Г. Чичерина в ЦК ВКП(б) и в ИККИ от 20 июня 1929 г.
- ³¹ Советско-американские отношения, 1919—1933. М., 1934, С. 99, таблица; Междунар. жизнь. 1988. № 9. С. 123—124.
- ³² История внешней политики СССР, 1917—1985; В 2 т. Т. 1. 1917—1945 гг. М., 1986. С. 255.
- ³³ XVII съезд ВКП(б): Стенограф. отчет. М., 1934. С. 13—14.
- ³⁴ L. Preti i miti dell'Impero e della razza nell'Italia degli anni'30. Roma, 1965. P. 128—129.
- ³⁵ Magistrati M. L'Italia a Berlino, 1937—1939. Verona, 1956. P. 156.
- ³⁶ Toscano M. Le rigine diplomatiche del Patto d'Acciaio. Firenze, 1956. P. 19.
- ³⁷ Ciano G. L'Europa verso la catastrofe. Milano, 1948. P. 302.
- ³⁸ Ciano G. Diario, 1937—1938. Milano, 1948. P. 157.
- ³⁹ Смирнова Н. Д. Балканская политика фашистской Италии. М., 1969. С. 74—75.
- ^{39a} Там же.

- ⁴⁰ *Ciano G. Diario, 1939—1943. Milano, 1969. P. 6.*
- ⁴¹ Документы внешней политики СССР. М., 1975. Т. 19. С. 329.
- ⁴² Правда. 1987. 20 мая.
- ⁴³ Документы внешней политики СССР. Т. 21. С. 569.
- ⁴⁴ Там же. С. 519.
- ⁴⁵ *Майский И. М. Воспоминания советского дипломата. М., 1971. С. 397.*
- ⁴⁶ Documents on British Foreign Policy, 1919—1939. L., 1973. 3-d Ser. Vol. 2. P. 497—498 (Далее: DBFP).
- ⁴⁷ Ibid. P. 594.
- ⁴⁸ Foreign Relations of the United States, 1938. Wsh., 1955. Vol. 1. P. 657—658, 684—685.
- ⁴⁹ DBFP. 3-d Ser. Vol. 2. P. 584—593.
- ⁵⁰ League of Nations Official Journal Special Supplement. Geneve, 1938. № 183. P. 95.
- ⁵¹ Документы внешней политики СССР. Т. 21. С. 534.
- ⁵² Правда, 1938. 20 сент.
- ⁵³ Из документов В. Л. Малькова; USA. Library of Congress. W. Dodd Papers, box 56. C. Bowers to Dodd. Nov. 3, 1938.
- ⁵⁴ *Табуи Ж. Двадцать лет дипломатической борьбы. М., 1960. С. 440.*
- ⁵⁵ Известия. 1938. 1 нояб.
- ⁵⁶ Фальсификаторы истории: Ист. справка.
- ⁵⁷ Там же. С. 53.
- ⁵⁸ Там же.
- ⁵⁹ История внешней политики СССР. Т. 1. С. 387.
- ⁶⁰ Там же.
- ⁶¹ Сов. культура. 1988. 27 дек. С. 2.
- ⁶² *Кульков Е. Н., Ржевский О. А., Чельшев И. А. Правда и ложь о второй мировой войне. М., 1988.*
- ⁶³ Вопр. истории. 1988. № 6. С. 33.
- ⁶⁴ The Origins of the Second World War Reconsidered: The A. G. P. Taylor Debate After 25 Years. Boston, 1986. P. 155.
- ⁶⁵ Правда. 1939. 24 авг.
- ⁶⁶ История внешней политики СССР. Т. 1. С. 384—385.
- ⁶⁷ Известия. 1939. 28 сент.
- ⁶⁸ *Громыко А. А. Памятное. Кн. 2. С. 322. Кстати, это откровенное объяснение причины отставки М. М. Литвинова разительно отличается от объяснения, даного в «Фальсификаторах истории» (с. 18).*
- ⁶⁹ Guardian Weekly. 1988. Vol. 139, N 14. Oct. 2, P. 24.
- ⁷⁰ *Masny V. Russia's Road to the Cold War. N. Y., 1979. P. 55.*
- ⁷¹ *Ingrim R. After Hilter Stalin. Milwaukee. 1946.*
- ⁷² Ibid.
- ⁷³ Его вновь повторил Дуглас-Хьюм в упомянутом интервью.
- ⁷⁴ Критика основных концепций буржуазной историографии второй мировой войны. М., 1983. С. 44—64; Буржуазная историография второй мировой войны: Анализ современных тенденций. М., 1985. С. 80—99; Мюнхен — преддверие войны. М., 1988. С. 200—240.
- ⁷⁵ *Brandes D. The Politik des Dritten Reiches gegenüber der Tschechoslowakei / Hitler, Deutschland in die Mächte. Düsseldorf, 1977. S. 508—510; Thamer H. U. Verführung und Gewalt: Deutschland, 1933—1945. B., 1986. S. 584—585; Hildebrand K. Deutsche Aussenpolitik, 1933—1945. Stuttgart, 1977. S. 65—70. Idem. Das Dritte Reich. München, 1969. S. 34, 35 etc.*
- ⁷⁶ *Divald H. Geschichte der Deutschen. Frankfurt a/M., 1978. S. 136; Die sudetendeutsche Frage: Kurzdarstellung und Dokumentation. Manuskript F. P. Habel. München, 1985. S. 3, 6, 9; Schickel A. Die Deutsche und ihre slawischen Nachbarn. München, 1987. S. 44; Hilf R. Deutsche und Tschechen. Opladen, 1980. S. 69 etc.*
- ⁷⁷ *Hass G. Münchener Diktat. B., 1988.*
- ⁷⁸ *Brandes D. Die Politik des Dritten Reiches gegenüber der Tschechoslowakei. S. 512—513; Hildebrand K. Deutsche Aussenpolitik, 1933—1945. S. 76, 77 etc.*
- ⁷⁹ *Mann G. Deutsche Geschichte, 1919—1945. Frankfurt a/M., 1961. S. 150—151; Die sudetendeutsche Frage. S. 9.*
- ⁸⁰ *Hildebrand K. Des Dritte Reich. S. 36; Thamer H. U. Verführung und Gewalt. S. 559.*

- ⁸¹ Die sudetendeutsche Frage. S. 10; *Mann G.* Deutsche Geschichte, 1919—1945. S. 156.
⁸² *Achenbach R. M.* Gedanke über eine konstruktive Ostpolitik. Stuttgart, 1985. S. 101;
Brandes D. Die Politik des Dritten Reiches gegenüber der Tschechoslowakei. S. 514;
Freund M. Deutsche Geschichte. Gütersloh, 1973. S. 1250.
⁸³ *Hildebrand K.* Das Dritte Reich. S. 38; *Idem.* Deutsche Aussenpolitik, 1933—1945;
S. 77; *Mann G.* Deutsche Geschichte, 1919—1945. S. 158, etc.
⁸⁴ *Чубинский В.* Будем точны // Нева. 1989. № 2. С. 183.

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В 20—30-Е ГОДЫ *

«Круглый стол» Научного совета по историографии и источниковедению

И. Д. Ковальченко

(академик, председатель Научного совета по историографии и источниковедению)

Товарищи, наш «круглый стол», проходящий в рамках работы Научного совета по историографии и источниковедению, посвящен обсуждению проблем истории исторической науки 20—30-х годов.

Мы имеем в виду рассмотреть эту проблему в двух аспектах. Во-первых, 20—30-е годы — это время становления в стране марксистской советской исторической науки. Поэтому чрезвычайно важно выяснить, какую роль дискуссии по проблемам исторической науки 20—30-х годов играли в развитии науки, в частности в становлении советской марксистской историографии.

И второй аспект. Я думаю, что опыт проведения дискуссии 20—30-х годов представляет интерес и для нас при решении тех проблем, которые стоят перед исторической наукой в настоящее время. Короче говоря, речь идет о том, чтобы обобщить опыт проведения дискуссий, который был накоплен в 20—30-х годах, и по возможности использовать его в нашей работе.

Г. Д. Алексеева

(д.и.н., Институт истории СССР АН СССР)

Современная обстановка диктует нам и нашей науке самый серьезный взгляд на ее проблемы, на ее прошлое и современность. Средства массовой информации, бойкие журналисты и писатели навязали нам свое видение проблем 20—30-х годов — видение, не во всем всегда достаточно обоснованное, с обилием фальсифицированных фактов, предположений, гипотез.

Естественно, мы, историки, должны, с одной стороны, на это ответить каким-то образом, а с другой стороны, не упуская

* Материалы «круглого стола» подготовлены кандидатом исторических наук А. И. Алаторцевой.

тех позиций, которые мы завоевали в изучении истории советской исторической науки (а они совершенно определенно есть, я в этом глубоко убеждена), развивать дальше то, чего мы добились, переосмысливая, переставляя акценты, заполняя «белые пятна», которых у нас оказалось больше, чем мы предполагали.

Первый вопрос, на мой взгляд, самый трудный, самый тяжелый для нас, который мы фактически выбрасываем сейчас за рамки наших рассуждений, — это вопрос теоретического осмысления того процесса, который происходит в исторической науке в 20—30-е годы.

Когда такие теоретики, как Н. И. Бухарин, А. А. Богданов и др., были вычеркнуты из общего процесса развития, то хотим мы того или нет, но картина получалась искаженной. Сейчас мы возвращаем многие имена. И это крайне важно для нас. Для 20—30-х годов характерны несколько основных признаков, по которым мы можем объяснить общий процесс развития исторической науки без деформационных элементов. Некоторые называют это идеальной моделью, другие называют это скрытыми потенциями и так далее. Но во всяком случае, я считаю, что без этих признаков мы с места не сдвинемся!

Итак, первый признак. Он развивался историками 20-х годов на основании известной энгельсовской формулировки: «Наука есть отражение отношений и потребностей определенной эпохи»¹.

Мы забыли эту главную черту, имеющую, я считаю, фундаментальное значение для объяснения. А историки 20-х годов очень хорошо это помнили. Если вы возьмете протоколы Комакадемии, то увидите, что на эту формулу Энгельса постоянно ссылается руководство Комакадемии, в частности Покровский, Милютин и др. За что они борются? Они борются за новый тип науки, который характеризуется, по Ленину, Богданову, Бухарину и др., следующими чертами. Во-первых, утверждение в науке нового типа социальных отношений. Это основа. Потому что без этого не может быть утверждения новой марксистско-ленинской идеологии материализма и диалектики.

Вторая черта — утверждение марксизма-ленинизма в качестве идейно-теоретической основы развития науки, всех ее направлений.

Третья черта — новый тип управления наукой в виде партийного и государственного руководства. И сколько бы ни было совершено ошибок в 30—80-е годы, какие бы ни были недостатки, тем не менее эту важную черту советской исторической науки мы не назвать не можем. Это именно партийное и государственное руководство.

Четвертая черта. Новый тип организации науки. В понятие организации я включаю широкий круг проблем — от научных центров до организации руководства наукой, планирование, организацию творческого процесса отдельных ученых и крупных коллективов, микроколлективов и т. д. К новому типу организации науки относятся и периодика, архивы, музеи — словом, все эле-

менты науки. Все они важны для изучения тех процессов, которые протекали в 20—30-е годы.

Кстати сказать, эта организация нашей науки получила самую высокую оценку в Европе в конце 30-х годов. Это отразилось в сборнике «Наука в тупике» (М., 1938) с участием лауреатов Нобелевской премии, которые оценивают эту организацию по самому высокому счету, как новый тип организации науки вообще в истории человечества.

Следующая черта — новый тип подготовки кадров. Это и поиск новых форм, и использование старых, дореволюционных. Это — новый типа характера связи науки и практики, это то, что у Энгельса выглядит как выражение общественных потребностей, которые предъявляет эпоха к науке, новый тип связи с социальной практикой. Он был особенно многогранен в 20-е годы. Это изучение и использование опыта прошлого, это участие историков в идейной борьбе, это пропаганда исторических знаний, это образование и повышение культурного уровня народа, это воспитание советского патриотизма, интернационализма, дружбы народов, исторического оптимизма, без которого не может жить ни один народ, даже в самые трудные периоды своей истории.

Если внимательно рассматривать на конкретном фактическом материале эти принципы, как эти черты науки утверждались в те годы, то мы найдем очень много интересных фактов, которые свидетельствуют о том, что это сопровождалось успехами и большими трудностями и сложностями и целым рядом деформаций, особенно в 30-е годы, когда ленинские принципы руководства наукой были подменены иным типом — управлением и администрированием в худшем варианте.

Называя 20-е годы героическими, а 30-е годы трагическими и возражая против мнения некоторых коллег о том, что 30-е были логическим продолжением 20-х (нет, это был полный разрыв с традициями 20-х годов), я должна сказать, что в основе этого нового типа научной политики, конечно, лежало ленинское руководство. И главная черта этого руководства, что и мы можем взять оттуда, — это, конечно, самый широкий демократизм, глубокое понимание процесса развития науки, ее потребностей и трудностей, ее возможностей.

Приведу пример, он, по-моему, об очень многом говорит. Создается Истпарт — комиссия по истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (1920). Создается в системе Наркомпроса. Наркомпрос, поскольку там было обилие разных учреждений, не справлялся с работой. И Мария Ильинична Ульянова предлагает перевести Истпарт из системы Наркомпроса в систему ЦК — сделать его отделом ЦК. Ленин возражает, говорит: нет, это не надо, у ЦК и так много отделов, много проблем, зачем включать еще Истпарт. Она отвечает: я буду бороться за этот вариант. А Ленин ответил: вам виднее, решайте сами, вам работать. Мария Ильинична обратилась к Сталину. На Политбюро дважды обсуждался этот вопрос, все члены Политбюро под-

держали это предложение, и Истпарт из системы Наркомпроса переводится в систему ЦК РКП(б) и становится отделом (с 1921 г.)². Тем самым было решено сразу очень много проблем: Истпарт становится органом партийного руководства исторической наукой, у Истпарта появляются колоссальные возможности воздействия на науку, создания архива, библиотек, журналов. Таким образом, было принято решение, которое совершенно противоречило тому, что хотел В. И. Ленин. Но тем не менее это было очень перспективное и очень правильное решение со всех точек зрения.

И таких примеров можно привести очень много.

Словом, нашим историкам предстоит изучить все это на новом материале, с новыми подходами, учитывая, что многие имена теперь включены в процесс развития науки, имена, которых мы ранее не упоминали, поэтому у нас были все время пробелы и «белые пятна». Ленинское руководство наукой мы можем теперь изучить на новом, более высоком уровне, на более широком фактическом материале. И в том числе проблему, на мой взгляд, крайне важную — проблему демократического централизма как ленинском принципе управления наукой в социалистическом обществе.

Историки нередко упрекают, что мы изучаем историю без альтернатив. Это абсолютно неверно — через всю нашу историческую науку проходит проблема альтернатив. Нельзя читать и не видеть ничего, как это делает Ю. Н. Афанасьев, громящий все и вся, словно сам он вырос не в застойное время, жил и работал в другом мире, по другим законам.

Что предлагали Маркс и Энгельс в решении проблем организации? Они предлагали организацию всего общества в виде системы общественных ассоциаций, в том числе научных ассоциаций³. Они видели в будущем — при социализме — общество, развивающееся в форме свободных ассоциаций.

И мы создали эти ассоциации, и не одну — не только РАНИОН, Российскую ассоциацию научно-исследовательских учреждений, — ассоциация востоковедения была на Украине, масса других различных ассоциаций была в 20-е годы. И они развивались параллельно с другой системой — с системой, централизованной системой, которая подчинялась либо ЦК, либо ВЦИКу. Эти учреждения вы знаете: Истпарт, Институт В. И. Ленина, Институт Маркса и Энгельса, Комакадемия и т. д. И вот эти две системы существуют параллельно — вот вам реальная альтернатива развития науки в обществе. Что потом с ними произошло? Нам предстоит это изучить! Но это реально существовавшая, не придуманная кем-то альтернатива — это реальный вариант развития науки 20-х годов.

В 1928 г. по предложению М. Н. Покровского РАНИОН была ликвидирована. Для этого тоже были определенные основания. Нам все это надо объективно изучить на новом уровне, с новыми фактами, понять, какие факторы и как влияли на весь процесс

развития организационных основ советской исторической науки на рубеже 20—30-х годов.

Когда мы говорим о новом типе науки, пусть даже в идеале, как новой модели, рожденной после 1917 г., мы не должны забывать и о тех деформационных процессах, которые этому мешали, учитывать обстоятельства, которые этому сопутствовали, условия, в которых наука развивалась, факторы, которые, с одной стороны, как бы поддерживали процесс развития, а с другой — тормозили его. Таким переломным периодом стали 1928—1929 гг. В эти годы развиваются весьма сложные процессы в обществе, в партии, в исторической науке. Однако нам все еще недоступны материалы архивов, на основании которых мы могли бы ответить на ряд важных вопросов. Среди них и такие: почему стала свертываться работа Истпарта и его филиалов, почему прекратились многие важные начинания, особенно подготовка и издание словаря участников революционного движения, словаря провокаторов, осталось нереализованным издание «Архива истории партии» и др. Сложные процессы проходили и в самой партии, в ее руководящих органах, в идеологическом аппарате в местных партийных организациях, где шла острая борьба по самым различным вопросам, в том числе и историческим (о роли тех или иных лиц в событиях 1917 г. и гражданской войне). К этому же времени относятся первые политические процессы — «шахтинское дело», процесс «Промпартии», который мы сейчас оцениваем иначе, чем это делали раньше. Нам надо во всем этом разобраться, чтобы понять, как работал тот механизм, его внутренние рычаги и маховики, которые привели к свертыванию демократии в обществе, включая и науку. Ведь деформационные процессы в партии и обществе начались сразу же после смерти Ленина, а к концу 20-х они стали для всех очевидными. Чтобы это понять, надо иметь документы пленумов 1928—1929 гг., высших партийных органов, СНК. Мы их до сих пор не имеем. Это мешает установлению истины, исторической правды. Знание этих переломных годов — одна из важнейших задач, без нее мы ничего не решим и с места не сдвинемся. Нужны документы!

Ю. А. Мошков

(к.и.н., Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)

Нам, историографам, которые так или иначе связаны с историей советской исторической науки, сейчас приходится пересматривать или во всяком случае критически подходить к оценкам, характеристикам, к анализу, который давался в нашей предшествующей литературе.

Возникает, конечно, ряд вопросов. И среди них один из наиболее существенных — это вопрос о взаимоотношениях партии, государства и исторической науки после Октябрьской революции. В связи с этим обратимся к знаменитому постановлению об

исторической науке 1934 г., о котором мне хотелось бы высказать некоторые свои мысли.

Я думаю, что ту положительную оценку, которую мы давали не так давно постановлению 1934 г. о преподавании гражданской истории в школе и обо всем, что за этим последовало, мы все-таки должны подтвердить. Благодаря постановлению на первый план выдвигалась воспитательная функция исторической науки. Нарастание опасности второй мировой войны и возможное участие в ней Советского Союза сделали актуальным вопрос о воспитании патриотизма на широком историческом материале.

Но есть здесь и другая сторона. Известное письмо Сталина 1931 г. в журнал «Пролетарская революция», замечания Сталина; Кирова и Жданова на конспект учебника коллектива авторов под руководством Ванага и ряд других документов привели к ситуации, которую мы не можем оценить однозначно. По сути дела, один человек, непрофессионал, взял на себя функцию руководства всей исторической наукой.

Причем происходило это в обстановке, когда историческая наука была в значительной мере деморализована. Почему?

Вспомним прежде всего 1930 год. Это аресты историков старой школы. Здесь пострадала большая группа историков, как ленинградских, так и московских. Были взяты С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, затем ученики Платонова... Были арестованы А. И. Яковлев, С. В. Бахрушин, М. К. Любавский, Ю. В. Готье, Д. Н. Егоров и ряд молодых историков, а также Н. М. Дружинин, И. И. Полосин, М. Н. Тихомиров, Н. П. Макаров, С. А. Голубцов, Л. В. Черепнин.

Это нанесло колоссальный урон нашей исторической науке! Причем по разным направлениям. С одной стороны, аресты отлучили от науки на ряд лет крупных ученых, которые могли бы в это время создавать научные труды. С другой — подобные акции способствовали складыванию специфической атмосферы.

Гонения на науку усилились после смерти С. М. Кирова. В результате закрытия Коммунистической академии в 1935 г., репрессий историков-марксистов в 1927—1938 гг. историческая наука была в значительной мере разгромлена. В этих условиях уцелевшие историки, которые хотели что-то сказать, естественно, были ограничены в своих возможностях. У них не было стимула для активной творческой деятельности.

Поэтому, хотя в стране и было восстановлено историческое образование, научно-исследовательская работа в области истории во многих частях была ограничена. Здесь возникло определенное противоречие между «саморазвитием исторической науки», которое проходило в эти годы, и той мощной негативной струей, которая была связана с влиянием культа личности в исторической науке. В качестве примера можно привести изучение истории гражданской войны. Когда мы сейчас читаем эту литературу, то не находим в ней анализа наиболее важных событий гражданской войны, многих имен участников войны. Круг персоналий

был резко сужен. Все вы хорошо знаете, сколь хорошо была представлена пресса, скажем, о Чапаеве, а о других героях не говорилось совсем. Совершенно выпала роль В. И. Ленина как организатора, как председателя Совета Труда и Оборона, как одного из членов Политбюро. Случайный характер носили эпизоды, которые были выбраны из истории гражданской войны. Все это не способствовало созданию правдивой истории. Таким образом, дальнейшее изучение исторической науки необходимо вести под углом зрения тех процессов, которые происходили как внутри самой исторической науки, так и в обществе.

Другой вопрос связан уже с послевоенным временем. Сложилось впечатление, что организации, имеющие руководящее значение в области исторической науки (в том числе Институт истории Академии наук), не сформулировали концепции развития исторической науки в послевоенные годы. Литература того времени не дает представления о том, какие же задачи выдвигались перед исторической наукой. А развивалась стихийно та часть исторических исследований, которая шла от прошлых лет или была связана с проблемами, возникшими в дореволюционные годы.

Эти исследования были связаны прежде всего с историей далекого прошлого — скажем, с историей городов, с историей восстаний, с историей крестьянства на Руси, с восстанием Болотникова, декабристами и т. д.

Они были изучены в то время основательно и вошли в золотой фонд нашей историографии, отразили определенный прогресс развития советской исторической науки.

Что же касается директивных документов по истории культуры, то они еще более остро, чем раньше, поставили вопрос о методах управления всеми общественными науками, а также о руководстве партией и государством исторической наукой.

Эти документы оказывали двойное влияние на развитие нашей науки. Во-первых, создавали определенную атмосферу, в значительной мере отрицательную, в которой должна была и могла развиваться историческая наука. Во-вторых, содержали конкретные указания об интерпретации отдельных моментов истории. Например, постановление о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» прямо указывало, как рассматривать историю этой эпохи.

Или другой пример — оценка событий Октябрьской революции и гражданской войны на Северном Кавказе, данная в постановлении об опере «Великая дружба» Мурадели. Наконец, в постановлении о фильме Лукова «Большая жизнь» говорилось, как надо показывать процесс восстановления Донбасса.

Эти обстоятельства, безусловно, наложили отпечаток на исследование истории. Само понятие «лакировка» (сейчас-то мы редко употребляем это слово в таком контексте, а раньше оно все время употреблялось) возникло и действовало в исторической науке именно под сильным воздействием таких документов.

И. Д. Ковальченко

Товарищи, разрешите отвлечь ваше внимание на две минуты и высказать некоторые соображения по поводу хода нашей дискуссии. В центре внимания всех выступающих была проблема — историческая наука и политика, историческая наука и роль государства и партии в развитии исторической науки. И выступавшие очень хорошо показали процесс постепенного подчинения исторической науки чисто политическим задачам.

Но мне думается, что нашу дискуссию надо несколько расширить. Ведь прилагались, как здесь было отмечено, немалые усилия, для того чтобы историческую науку прибрать к рукам. Так что же собой представляла эта наука? Что хотели подчинить?

И второй вопрос. Видимо, в первой половине 30-х годов наступил период, когда историческую науку удалось «зажать», взять в свои руки и подчинить ее политическим интересам. Но ведь возникает вопрос: а что-нибудь осталось самостоятельного в исторической науке? Неужели подчинили всех и все или все-таки в чем-то историческая наука сумела сохранить свои позиции?

Я обращаю внимание на это для того, чтобы сообща добиваться правды и всей правды, как сейчас говорят. А для этого нам, видимо, следует несколько расширить круг проблем, о которых мы говорим.

В. А. Дунаевский

(д.и.н., Научный совет по историографии и источниковедению АН СССР)

Обращаясь к 20—30-м годам, необходимо сказать о соотношении истории и политики, о тех политических акциях, которые означали наступление на интеллигенцию.

Пользуясь возможностью, я хотел бы назвать те этапы этого наступления, без раскрытия сути которых, без их характеристики и без опубликования связанных с ними подлинных документальных материалов мы не сможем всего понять.

1928 год. «Шахтинское дело». Наиболее пронизательным современникам уже тогда было ясно, что это сплошная фальсификация. Среди них, например, человек, чье имя мы должны сегодня произнести с огромным уважением. Это Е. А. Гнедин, автор чрезвычайно интересных воспоминаний⁴, человек, которого никто не сломал и ничто не сломило — ни аресты, ни допросы, ни ссылки.

Здесь уже была названа дата следующего этапа — 1930 год — арест большой группы видных русских историков. И в конце того же года процесс так называемой «Промпартии», к которому был притянут академик Евгений Викторович Тарле. Ему инкриминировалось то, что он сначала якобы один, а затем вместе с П. Н. Милюковым должен был возглавить министерство иностранных дел в планируемом «Промпартией» правительстве. И это типичная фальсификация и, по сути дела, навет главного дей-

ствующего лица этого процесса — Л. К. Рамзина⁵. Присутствующий здесь Е. И. Чапкевич, исследуя творчество Е. В. Тарле, еще в 1967 г. обратился в военную коллегия Верховного суда по поводу вопроса о принадлежности Тарле к «Промпартии». Он получил ответ, в котором было сказано, что Е. В. Тарле реабилитирован за отсутствием «события преступления».

В 1930 г. прошла дискуссия на тему «Буржуазные историки Запада в СССР». И в качестве объектов зубодробительной критики были выбраны (помимо Тарле) самые достойные люди, гордость советской исторической науки, такие, как, скажем, Н. И. Кареев и В. П. Бузескул, причем это были люди восьмидесятилетнего возраста, которые не пережили этого потрясения. Они оба в 1931 г. скончались, но их переписка дает возможность убедиться в том, что политическая подоплека всего этого дела для них была полностью ясна, и сегодня об этом надо достаточно четко и определенно сказать. Очень важно изучить материалы «дела историков» 1930 года и их опубликовать.

Далее был процесс 1931 г., так называемой контрреволюционной организации «Союзное бюро» ЦК РСДРП⁶. Здесь важно отметить еще один факт. Совершенно случайно уцелел один из участников этого процесса — М. П. Якубович, который в 1966 г. написал объяснительную записку, где была полностью изложена суть этого дела и обнаружена его полная фальсификация. Чистой воды фальсификацией (о чем косвенно было сказано в связи с реабилитацией А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева и др.) явилось и заключение органов НКВД о наличии Трудовой крестьянской партии (ТКП).

Весьма важен вопрос о составе Специального судебного присутствия Верховного суда, которое вело эти процессы, дальнейшая судьба членов этого присутствия. Всем известна одиозная фигура А. Я. Вышинского, уже неоднократно фигурировавшего в нашей печати, особенно в последнее время. Но хотелось бы задать вопрос, почему только Вышинский? Почему в тени остается государственный обвинитель этих процессов Н. В. Крыленко. Если мы говорим, что не может иметь оправдания Г. Г. Ягода как ответственный исполнитель, то Крыленко был организатором всех тех отступлений от ленинских норм в сфере права, которые имели место в период со второй половины 20-х годов. Его гибель в 1938 г. никак не может явиться оправданием всего того, что сделано было им как государственным обвинителем. Он предал Ленина и ленинизм. Необходимо назвать и других членов этих присутствий: В. П. Антонов-Саратовский (также юрист, примыкавший ранее к меньшевикам), М. К. Муранов, Н. М. Шверник (председатель присутствия по делу меньшевиков). Все они остались живы.

Далее хотелось бы перейти еще к одной проблеме — о позиции Запада в связи со сталинскими репрессиями. Член-корреспондент АН СССР И. Р. Шафаревич, например, полагает, что там ничего не знали о нарушении прав человека в СССР⁷.

Это утверждение бесосновательно: Запад уже и тогда реагировал. Особенно когда был арестован Тарле. В его защиту сразу же выступил выдающийся французский историк Альбер Матъез. Ранее я уже приводил выдержки из его заявления. Это, я считаю, выдающийся человеческий документ. Он со всей убедительностью показал, что никаких оснований для обвинения Тарле нет. Матъез говорил о том, что «Промпартия» — явная фальсификация. Он писал о том, что русские ученые, которые еще не находятся в ссылке или тюрьме, будут устранены в обстановке вакханалии, массового психоза, развязанного Сталиным. «Но пусть не пытаются, — писал историк, — оправдаться они (т. е. те, кто безудержно рабелепствовал перед Сталиным) тем, что они хотя бы действительно послужили делу пролетарской революции. Дух этой революции уже не живет в них, потому что этот дух, который вдохновлял Ленина, был духом справедливости, а их дух является духом пассивной покорности. Сталинские историки могут нападать на меня, сколько им хочется. Пусть истина им отомстит»⁸.

Были и другие выступления в зарубежной печати в защиту наших выдающихся историков. В частности, в газете «Матэн» в январе 1931 г. был опубликован протест против заключения в тюрьму 48 советских ученых в сентябре 1930 г., и этот протест был подписан Пенлеве, Биуссоном, Полем Валери, Жоржем Дюамелем и многими другими выдающимися деятелями французской истории и культуры.

Почему же на рубеже 20—30-х годов эти выступления имели большой резонанс, а в дальнейшем так уже не звучали? Я думаю, что здесь в основе политика. Политика, потому что после прихода к власти Гитлера все передовое человечество видело в СССР единственный оплот, единственное государство, которое могло бы сдерживать германский фашизм. Вот что, как мне представляется, и определило то, что уже в дальнейшем за рубежом интеллигенция перестала так открыто выступать.

Следующий вопрос. Здесь уже была отмечена негативная роль письма И. В. Сталина в журнал «Пролетарская революция» (1931, № 6). Мне пришлось об этом сказать еще в 1966 г. в статье, опубликованной в сборнике к 80-летию со дня рождения академика Н. М. Лукина⁹, где было рассмотрено воздействие этой статьи на историческую науку и вообще на всю ситуацию в общественном мнении того времени.

Само появление письма Сталина как бы завершало тот ряд фактов, которые выше были рассмотрены.

Хочу еще подчеркнуть, что старое нас сегодня еще очень крепко держит. Приведу лишь один пример. В конце 1985 г. в Минске вышла книга В. Н. Михнюка о развитии исторической науки в Белоруссии в период с 1919 по 1941 гг. Там он поднимает на щит это самое письмо Сталина и говорит о том, какое благотворное влияние оказало оно на развитие белорусской науки. Думаю, нам необходимо к этому вопросу вновь и достаточно обстоятельно вернуться.

Важнейшая задача, которая стоит сегодня перед советской историографией, — это ввод в научный оборот источников. А иначе получаются чудовищные перекосы. Так, в газете «Комсомолец Армении» (1988, 18 ноября) была опубликована статья сотрудника Института этнографии АН СССР Н. Рутенского, где он говорит о том, что сталинизм сознательно и целенаправленно уничтожал верхние слои народа — интеллигенцию. Основания для подобного вывода у автора были, я с этого, собственно, и начал свое выступление. Но вот что пишет он дальше: это имело место, «видимо, во всех республиках, кроме России». Факты, которые я привел, в первую очередь факт ареста большой группы русских историков, свидетельствуют об ином. И это естественно в контексте тех явлений: именно русские историки составляли первые ряды советской интеллигенции, советской исторической науки в рассматриваемые нами годы.

В заключение хотелось бы сказать, что одна из основных задач, которая сегодня стоит перед историками, заключается в необходимости обращения к архивам. Пример тому — статья А. Борина «Ритуал» (Литературная газета, 1988, 23 ноября) о судьбе Н. М. Лукиной-Бухариной. Мне пришлось изучать жизнь и научно-педагогическую деятельность ее брата, академика Н. М. Лукина (также репрессированного), но, к сожалению, я не мог получить материал архива НКВД, который стал доступен Борину. Надеюсь, что это, может быть, удастся осуществить в дальнейшем.

В. А. Муравьев

(д.и.н., Московский государственный историко-архивный институт)

Совсем недавно мы мало или сравнительно мало отличались от историков, скажем, конца 20-х годов. В наших работах прослеживались две тенденции. С одной стороны, знание исторического материала, с другой — довлеющие формулировки, стереотипы. Мы сейчас задаемся вопросом, испытываем ли мы стыд за то, как писали? У меня такое ощущение есть. Оно вызвано, в частности, слишком прямолинейными оценками, которые в наших работах содержатся. Сейчас в изучении истории науки 20—30-х годов мы постоянно находимся перед двумя серьезными опасностями, и они дают знать о себе в печати, главным образом в публицистике. Первая — признать, что у исторической науки не было истории, что это был абсолютно какой-то искаженный, чудовищный путь, который не привел ни к каким результатам, а потому необходимо бросить все и начать сначала, в прошлом ничего не было.

Такая позиция, такая идея мне кажется неперспективной уже потому хотя бы, что мы не сможем ответить на вопрос: откуда же взялись силы для того, чтобы перестраивать историческую науку? Где они были, где они хранились?

Вторая опасность — пойти на поводу у обстоятельств, найти всему оправдание в тех чудовищных аберрациях, которым подверглось наше общество в 20—30-е годы.

Ни та ни другая точка зрения мне достаточно перспективной не представляется. Прежде чем мы не напишем серьезные, обстоятельные и глубокие труды по истории 20—30-х годов, мы мало что поймем в развитии исторической науки.

Надо учитывать, что и само развитие исторической науки (мы часто употребляем слово «развитие» только в прогрессивном смысле) было весьма неровным и весьма эклектичным. Это обусловлено тем, что нашу модель социализма мы строили из сколков разных укладов. Историческая наука не только отражала этот процесс, но его и оправдывала.

Отсюда нельзя смотреть на развитие нашей науки как на процесс только однородный, позитивный, восходящий, как мы это делали до сих пор. Это не означает, что внутри в нем не было достаточно отчетливых линий, противостоящих друг другу.

Представляется, что нам надо пересматривать и рубежи развития исторической науки. Не кажется теперь достаточно убедительным рубеж середины 30-х годов. Почему? Потому что сложные процессы происходили в конце 20-х. С одной стороны, вроде бы широкая публикация источников, овладение ленинской методологией, а с другой — давление формулировок и постановлений.

Наша историческая наука пережила в 20—30-е годы несколько очень серьезных разрывов в своем развитии. Молодая растущая марксистская наука, естественно, стремилась завоевать передовые рубежи, передовые позиции, порвать со старым и создать абсолютно новую науку. Это было сопряжено с развитием вульгарно-социологической линии: сужение поля исторического исследования, сужение проблематики, выработка особого отношения к старой исторической науке, к старой профессуре и т. д. Но приходит другая пора, и Сталин решает убрать тех, кто начинал разработку истории революционного движения, кто достаточно много знал, вернуть буржуазных историков и тем самым ощутить себя наследником прошлого страны и породить мифологизированную историю. И в этом смысле значение постановлений 1934—1936 гг. не так однозначно, как нам это представляется.

Вот почему при изучении истории исторической науки надо учитывать прерывистый эклектичный характер ее развития. Ее путь — это не только дорога, которая выводила к «светлым горным гирям» и к «великой исторической истине», но и узенькая тропочка, по которой брел одинокий, порой избиваемый исследователь и которая в конце концов выводила к исторической реальности.

А. А. Формозов

(к. и. н., Институт археологии АН СССР)

Сейчас широкий читатель требует издания трудов наших старых историков. Хорошо, что выходят сочинения С. М. Соловьева и В. О. Ключевского, что дошла очередь до Н. М. Карамзина, что планируется выпуск книг Н. И. Костомарова и И. Е. Забелина. Но, не говоря о том, что не все издания отвечают требованиям текстологии, поражает отбор имен. Пять издательств готовят труды И. Е. Забелина. Фонд культуры ратует даже за полное собрание сочинений, хотя большинство публикаций этого автора давно устарело. Между тем не печатают труды историков 1920—1930-х годов, отражающие гораздо более высокий уровень развития науки.

Почему бы при интересе к культуре нашего Севера не переиздать «Прошлое Русского Севера» (Пг., 1923) С.Ф. Платонова? Забыт М. К. Любавский. Вероятно, оба академика что-то писали и в годы ссылки. Надо создать комиссию по наследию ученых, ставших жертвой репрессий или не имевших возможности издать свои работы.

В США вышел перевод дневника Ю. В. Готье 1920-х годов, что расценивалось как антисоветская акция. Мы можем сегодня прочесть дневник другими глазами. Готье не эмигрировал, остался в Советской России, хотел помочь обновлению страны, много сделал для развития архивного, музейного, библиотечного дела. Он столкнулся с силами, мешавшими его добрым намерениям, нанесшими большой урон нашей культуре. Оценки Готье резки, но теперь мы знаем, что в основе он был прав. Журнал «Историк-марксист» квалифицировал хорошую археологическую книгу Готье «Железный век в Восточной Европе» как «идеологическую подготовку интервенции против СССР»¹⁰. Действовал он якобы заодно с Л. К. Рамзиным и А. Ф. Лосевым. Готье отправили в ссылку. Вернувшись в 1934 г., за десять лет он вроде бы ничего оригинального не создал. Может быть, продолжал свой дневник? Есть еще дневники С. В. Бахрушина и М. Н. Тихомирова. Из первого дозволили к печати незначащие отрывки, второй — для всех закрыт. Нормально ли это?

Нужно тотальное обследование архивов наших историков. Вероятно и те, чья судьба сложилась менее трагично, чем у Платонова и Любавского, издали далеко не все, что написали (П. П. Смирнов, Б. А. Романов, Б. Н. Сыромятников и многие другие). Эти рукописи надо выявить и сделать достоянием науки и народа, а не потворствовать нелепому культу давно устаревшего Карамзина, издавать безнадежно дилетантскую «Историю русской жизни» Забелина, все ту же «Русскую историю в самом сжатом очерке» М. Н. Покровского или дискутировать о том, принес ли Емельян Ярославский больше пользы или вреда. Пора научиться отличать науку как от обыденного сознания, так и от агитпропа и думать именно о науке.

То, что я говорю, касается и других республик. В Киеве идут бурные споры, издавать или нет М. С. Грушевского. Наш совет должен поддержать тех, кто добивается напечатания оставшихся в рукописях томов «Истории Украины—Руси» и переиздания более ранних работ Грушевского. Последние публикации Грушевского были в 1928 г., умер он в 1934. Он продолжал работать — написал несколько томов своей монументальной «Истории Украины—Руси», они есть в архиве. Ставится вопрос об их издании — не хотят. Совершенно очевидно, что этот крупнейший историк должен быть представлен не только в архивных документах, но и в печати. Мне кажется, что этот вопрос актуальный, и здесь его стоит поддержать.

Н. Н. Маслов

(д. и. н., Академия общественных наук при ЦК КПСС)

Уважаемые товарищи! Я помню, как лет 20 с лишним назад под руководством Милицы Васильевны Нечкиной совет по истории исторической науки обсуждал примерно ту же самую проблему — проблему состояния историко-партийной науки в 30-е годы. Мне тогда довелось выступить с докладом о «Кратком курсе истории ВКП(б)», его негативном воздействии на нашу историческую науку. И вот теперь снова, уже в конце 80-х годов, мы возвращаемся к той же самой проблематике. Возвращаемся после периода, в течение которого все повернулось назад, все пошло вспять. Все те оценки, которые звучали тогда по поводу «Краткого курса», вошли в мою главу для пятого тома очерков «Истории исторической науки в СССР». 20 лет этот том «мурыжили», наконец он в 1985 г. вышел, но совсем не тот, который был написан тогда, еще в середине 60-х годов.

Говоря о состоянии советской исторической науки в 20—30-е годы, мне бы хотелось остановиться на одной теме, которая уже была затронута в ряде выступлений и которая мне кажется чрезвычайно важной и существенной. Это тема взаимодействия общественных наук и политики, и в частности истории и политики.

Мы отлично знаем, что ленинский период развития исторической науки отмечен огромной помощью ей со стороны государства и партии. Это нашло свое отражение в создании научных учреждений и кадров историков, в формировании новой марксистско-ленинской диалектико-материалистической концепции исторического знания. Но уже с середины 20-х годов начинается процесс политизации истории, что было связано прежде всего с борьбой против Троцкого и троцкизма. Вы отлично помните, что именно в тот период изменяется, пересматривается собственно история Великой Октябрьской социалистической революции. Из нее не только вычеркивается Троцкий. Из нее, этой истории, делается такая история, которая на первое место выдвигает Сталина. Из нее делается такая история, которая принижает Ленина. Из нее делается такая история, которая в конце концов

исключает объективное изучение этого величайшего события и нашей, и мировой истории. Это вызывало тревогу у историков тех лет.

Не случайно В. И. Невский, выступая с докладом «История партии как наука» на Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов в конце 1928 — начале 1929 г., отмечал, что нельзя изучать историю партии как науку, потому что она слишком тесно связана с политикой. Политика управляет наукой, а не наука помогает политике решать те или иные ее проблемы.

Процесс политизации усиливался, разрастался. Здесь уже говорили, в частности, о письме Сталина и о постановлении 1934—1936 гг. о преподавании истории.

Письмо Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма» в «Пролетарскую революцию» я понимаю вовсе не как критику «троцкистствующих историков», а как средство взять в свои руки, под свой контроль, подчинить себе и, так сказать, обкорнать историческую науку. И те его заявления, которые в этом письме были походя брошены, имели решающее негативное значение для историков партийной науки. Вспомните хотя бы такую фразу: «Кто же, кроме безнадёжных бюрократов, может полагаться на одни лишь бумажные документы? Кто же, кроме архивных крыс, не понимает, что партии и лидеров надо проверять по их делам прежде всего, а не только по их декларациям?»¹¹ И все! Закрылись архивы, исчезла возможность исследования истории по источникам, следовательно, исчезла и историческая наука как таковая.

Есть интересное письмо Ярославского, обращенное к Сталину. Защищаясь от обвинений, которые были брошены в его адрес, он писал о том, что его четырехтомник по истории партии был инициативной книгой (вкладывая в понятие «инициативная книга» ту мысль, что там были какие-то новые идеи), что книга двигала вперед развитие науки. И дальше Ярославский говорил, что теперь инициативы в истории совсем не стало, «что Вы, Иосиф Виссарионович, бросили несколько фраз, несколько крылатых слов, вроде „троцкиствующие фальсификаторы“, вроде „исказители фактов истории“ и т. п. И вот эти фразы, эти летучие слова подхвачены — ими бьют направо и налево, и инициатива в исторической науке исчезла...»¹². Не случайно в качестве историков выступают начинают Каганович, Ворошилов, Берия. И наконец, «Краткий курс...», который становится энциклопедией сталинизма, хотя в то время он именовался энциклопедией марксизма-ленинизма.

Сейчас, в период перестройки, необходимо сказать, что историческая наука, как любая другая общественная наука, должна иметь право самостоятельного развития без подчинения ее политическим установкам, которые постоянно выдаются сверху. Кстати, в этом смысле мне понравилось интервью В. А. Медведова в «Коммунисте», опубликованное по поводу проблем общественных наук¹³. Правда, он больше говорит об экономической науке, но подчеркивает важную мысль о необходимости

самостоятельности общественных наук по отношению к политическим установкам. Я думаю, что это очень правильная идея. И если бы она была выдержана в дальнейшем, то мы получили бы возможность раскрыть правду истории. Я не согласен с Г. Д. Алексеевой, что мы всю правду истории никогда не узнаем. Когда-нибудь мы ее все-таки узнаем. Если не мы, то наши ученики, дай бог, как говорится! Но тем не менее узнать эту правду истории, учить на этой правде истории, воспитывать людей, народы на этой правде истории — дело абсолютно необходимое. У нас исчезло историческое сознание, или, во всяком случае, оно настолько деформировано, что о нем трудно говорить. И это благодаря «временщикам», которые, как Людовик XVI, говорят, что после нас хоть потоп. Это благодаря тем руководителям всех уровней, которым надо выполнить сегодняшний план (месячный, кварталный), а что потом? Волга пропадет, Аральское море высохнет, Каспийское заглохнет — это никого не касается.

Говоря о бережном отношении к историческому сознанию, необходимо соотносить себя и свои поступки с прошлым и будущим, уметь видеть далекие перспективы своих действий в любой сфере, в любом вопросе, в любой области (в том числе в руководстве хозяйством и политикой).

Отмечая связь политики и истории, не могу не сказать прежде всего о негативном ее воздействии на развитие исторической науки. Приведу примеры. В опубликованной в № 11 за 1988 г. журнала «Вопросы истории КПСС» статье о «Кратком курсе» я на архивных документах показал личный вклад Сталина в создание его ложной концепции. При этом Сталин никогда не стеснялся передергивать факты. Он делал это абсолютно спокойно. Так, публикуя 6 ноября 1918 г. в «Правде» статью об Октябрьской революции, Сталин в числе вождей ее называет Ленина и Троцкого, но при перепечатке в Собрании сочинений (т. 4) имя Троцкого вычеркнуто. Или его заявление о том, что у нас не было идеи мировой революции¹⁴. Ведь это полностью противоречит содержанию его работ (см.: Сталин И. В., Соч. Т. 4—7). Как видите, Сталин не стеснялся свои же собственные идеи отбрасывать.

И одно слово в порядке полемики о времени утверждения сталинизма. Здесь надо исходить из ленинской мысли, что не всегда можно точно указать внутренние рубежи тех или иных процессов. Проникновение сталинизма в историческую науку началось в 20-е годы, особенно усилилось с середины 20-х. Оно диалектически боролось с ленинской концепцией, которая продолжала еще господствовать в исторической науке. И продолжала господствовать не только до письма Сталина, но и после него. Это противоборство продолжалось до середины 30-х годов. Вот такая версия может быть предложена по поводу периодизации этого процесса.

А. И. Алаторцева

(к. и. н., Институт истории СССР АН СССР)

В нашем обществе сейчас на слуху выражение «время разбрасывать камни и время их собирать». Заседание «круглого стола» поставило множество интересных и принципиально важных проблем, которые нуждаются в пересмотре, новом осмыслении, что и предстоит сделать совместными усилиями. Одной из таких кардинальных проблем является проблема партийного и государственного руководства исторической наукой. В коротком выступлении невозможно раскрыть сложность и обозначить трудности ее изучения. Мы правомерно считаем 20-е годы периодом становления советской исторической науки, т. е. утверждения материалистического понимания всемирно-исторического процесса, методологии его познания, освоения марксистско-ленинского подхода. Именно В. И. Ленину принадлежат основополагающие идеи в области науковедения: понимание стоящих перед наукой советского общества задач, социальных функций, особенностей развития в условиях переходного периода, трудностей формирования марксистских кадров. Исключительное значение В. И. Ленин придавал проблеме использования духовного наследия буржуазной культуры и как части этой задачи — привлечению к строительству социалистической культуры и науки буржуазных специалистов через «данные своей науки»¹⁵. В первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции эти установки были положены в основу партийного руководства наукой, в том числе исторической, и нашли свое отражение в государственном плане ее организации¹⁶. Сохранив в целостности Российской Академии наук, партия и государство сосредоточили свои усилия на организации новых центров исторической науки (марксистских по духу), призванных решать задачи социалистического переустройства общественной жизни. Плюрализм в подходе сказался и в том, что был создан ряд учреждений переходного характера для совместной работы буржуазных ученых и ученых марксистского толка. Они могли бы способствовать взаимообогащению (а не перевоспитанию, как мы до сих пор толкуем) общественных и научных интересов и той и другой категории исследователей. Таков был начальный замысел. На практике, однако, возобладала идея борьбы, конфронтации, а не союза с буржуазными историками, лояльно настроенными к Советской власти, что привело к отказу от демократических традиций русской науки.

Вульгарно понимаемые партийность и гипертрофия классового подхода в условиях развития авторитарной системы привели к искажению ленинских идей в области науки. Эти деформации отразились в партийных постановлениях по вопросам идеологии и общественных наук, что ставит перед исследователями задачу неоднозначного (до сих пор главным образом положительного) толкования постановлений. К такому подходу

нас возбуждает и то, что сейчас мы все-таки в большей мере приобретаем к архивным материалам, которые дают нам импульс для пересмотра старых выводов. Ключом к пониманию происходивших (начиная с середины 20-х годов) процессов в научной и общественной жизни страны может стать всестороннее изучение такого явления, как усиление политизации науки. Только с учетом всех этих факторов можно всесторонне оценить характер партийного руководства исторической наукой в 20—30-е годы, выявить тенденции. При этом важен не только всесторонний и глубокий анализ постановлений, но и изучение механизма их реализации, того, как условия общественной жизни влияли на воплощение постановлений в практику. Приведу несколько примеров.

До сих пор при рассмотрении состояния исторической науки 20-х годов мало привлекается резолюция ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», принятая 18 июня 1925 г.¹⁷ В ней была сделана попытка сформулировать принципы отношения к интеллигенции в условиях новой экономической политики. Как очевидно из архивных материалов, выработка резолюции сопровождалась борьбой мнений, в ходе которой перевес оказался на стороне «неистовых ревнителей классовой чистоты — леваков»¹⁸. Это отразилось на ее содержании. Она несет печать времени. Более того, нетворческое применение положений резолюции привело на практике к нарушению союза «коммунистов с некоммунистами», к засилью комчванства, сектанства, к монополии власти руководителей рапповского толка. «Новым веяниям» вполне соответствовало закрытие РАНИОН, которая в свое время была создана для практического воплощения ленинских идей союза марксистов с буржуазными специалистами. В этой связи существующие в нашей историографии оценки несколько упрощенно трактуют причины ликвидации ассоциации, сводя их порой к «злой воле» М. Н. Покровского. Объяснять таким образом — значит просто нивелировать значение самого факта, снижать и принижать роль, которую была призвана сыграть (и отчасти сыграла) РАНИОН в исторической науке 20-х годов. А главное — не учитывать, игнорировать тенденцию политизации исторической науки в условиях утверждения авторитарной системы и культа личности Сталина. Выявляя причины такого волевого акта, необходимо более полное привлечение фактов не только общественной жизни, но и внутривнутрипартийной борьбы. Архивные свидетельства (и это подтверждается современниками) указывают на тесную связь поворота в отношении к историкам старой школы, наметившегося с 1928 г. (так называемое шахтинское дело), с разворачивающейся внутривнутрипартийной борьбой с «правым уклоном» и враждебным отношением к буржуазным специалистам (что сопровождалось репрессиями). Наиболее яркое выражение эта антиленинская политика получила в выступлениях Сталина на пленумах ЦК ВКП(б) 1928—1929 гг., на конференции аграрников-марксистов (1929 г.) и т.д.¹⁹ В них

содержались положения о якобы неизбежном усилении классовой борьбы по мере развертывания строительства социализма, о необходимости скорейшего преодоления отставания теоретической работы от практики социалистического строительства и в связи с этим о необходимости «непримиримой борьбы с буржуазными теориями». Эти установки надолго определили основные процессы в советской исторической науке.

Усиление административно-командного стиля руководства наукой отразилось и на судьбе научных учреждений марксистского профиля. До сих пор в нашей литературе однозначно положительно оцениваются такие явления, как слияние Истпарта с Институтом В. И. Ленина и слияние Института В. И. Ленина с Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса. Опять же архивные документы в контексте факторов общественно-политической жизни общества конца 20-х годов требуют всестороннего изучения и диалектического подхода к событиям. Возникает правомерный вопрос, всегда ли благо централизация научных учреждений, подчинение партийным органам? Очевидно, не случайно В. И. Ленин возражал на этапе становления Истпарта о подчинении его ЦК ВКП(б)²⁰. Слияние этих учреждений привело к значительным потерям кадрового состава, сужению проблематики исследований. Демократический дух, который преобладал в Истпарте в первые годы его существования, уже не устраивал в конце 20-х определенные круги партийного руководства исторической наукой. Таким образом, на переломе 20 — 30-х годов решающими стали тенденции бюрократизации науки, подчинения ее политическим притязаниям одного человека. В наиболее концентрированном виде эти устремления нашли свое воплощение в печально известном письме Сталина в журнал «Пролетарская революция» (1931 г.). Анализ письма, обстоятельств его появления и научной ситуации не оставляет сомнения в том, что Сталин стремился взять под контроль историю (прежде всего историю партии, а затем и всю историческую науку), научные центры, журналы, подчинить своему влиянию ученых, установить над ними личный диктат. Навязывалось субъективное понимание важнейших моментов истории, преследовалось любое движение в сторону от сталинской интерпретации сущности исторического процесса; все, что шло вразрез с официозом, объявлялось политически вредным. Возобладавшая практика преследования плюрализма идей была распространена и на людей, что нанесло невосполнимый урон развитию не только науки, но общественного сознания, морали. Начавшийся разгром советской исторической науки был закреплен, в частности, в постановлении 1936 г. „Об учебниках по истории“, в котором под видом критики „школы Покровского“ фактически были перечеркнуты все достижения марксистской науки, опорочены кадры²¹. Это была идейная казнь большинства советских историков, за которой последовала физическая расправа.

Е. И. Чапкевич

(д. и. н., Орловский государственный педагогический институт)

В настоящее время идет разговор о том, когда и как началась политизация исторической науки Сталиным во имя ее подчинения своим целям. Думается, что исходный момент этого процесса наступает уже в 1927—1928 гг. При этом действия Сталина против ученых, принадлежавших к русской исторической школе и заявивших о своем желании работать в условиях Советской власти, были в известной мере подготовлены атаками на них Общества историков-марксистов.

Если до 1927 г. ни М. Н. Покровский, ни П. О. Горин, ни Г. С. Фридланд, ни другие деятели Общества историков-марксистов не нападали на буржуазных ученых и даже признавали, что некоторые из них стали на путь освоения марксистской методологии, то в последующее время их отношение к ним резко меняется. И особенно злую роль здесь сыграл М. Н. Покровский. Он и его окружение уже в 1928 г. требуют ликвидации РАНИОН и подчинения ее институтов Комакадемии. Этого им удалось добиться в 1929 г., и они выступают после этого с требованием подчинения Комакадемии научных структур АН СССР.

В борьбе против буржуазных в прошлом историков Покровский и его сподвижники не очень-то стеснялись в выборе средств. Чаще всего их обвиняли в неспособности объективно освещать историческое прошлое, в фактологии, в неумении выявить исторические закономерности. При этом Покровский и его соратники монополизировали право изречь истину в последней инстанции. И в связи с этим хотелось бы обратить внимание участников «круглого стола» на статью Н. И. Бухарина «Нужна ли нам марксистская историческая наука», которая была опубликована 27 января 1936 г. в газете «Известия». В этом же номере газеты были опубликованы замечания Сталина, Кирова и Жданова на учебник истории СССР и критическое выступление по поводу школы Покровского. Однако Бухарин подходил к оценке творчества этого большого историка диалектически. Его сильную сторону как ученого и организатора советской исторической науки он видел в его неустанной борьбе за торжество марксистских идей. Но, с другой стороны, Бухарин указывал на схематизм концепции Покровского, на его попытки выхолостить живую историческую науку, на его нелояльность по отношению к представителям русской исторической школы. Думается, что такой подход к оценке деятельности Покровского сохранил свою актуальность и в настоящее время.

Позиция Покровского и его сторонников относительно многих представителей старой исторической школы во многом подготовила политику репрессий начала 30-х годов в исторической науке. Согласно данным английского историка Барбера, в 1929 г. в Москве, Ленинграде и некоторых других городах было арестовано около 130 историков. Среди них были С. Ф. Платонов, М. К.

Любавский, Е. В. Тарле, В. М. Пичета, Ю. В. Готье, С. В. Бахрушин, Б. А. Романов и многие другие крупные ученые. Все они были обвинены в принадлежности к контрреволюционно-монархическому заговору. Так называемое сфальсифицированное «академическое дело» представляло собой акцию, которая была составной частью политики Сталина, направленной против интеллигенции. В интеллигенции он видел потенциально оппозиционную силу насаждаемому режиму. Почти все историки, проходившие по «академическому делу», были осуждены на ссылку и высланы в отдаленные от Москвы и Ленинграда города.

Судьба многих из высланных историков стала меняться в связи с подготовкой известного постановления 15 мая 1934 г. о преподавании истории. Так как историческая концепция Покровского, исключавшая из курса истории страницы героического прошлого и биографии выдающихся деятелей, никак не устраивала Сталина, то он вынужден был опереться при выработке этого документа на историков старой школы. Именно поэтому Тарле одним из первых уже в 1932 г. был возвращен из ссылки и привлечен к выработке новых вузовских программ и учебников. Думается, что проблема создания новых учебников по истории для средней и высшей школы в связи с принятием постановления 1934 г. заслуживает специального изучения.

Составление и написание новых учебников по истории сопровождалось борьбой различных точек зрения, на которую наложила отпечаток позиция Сталина. Он считал для себя возможным вмешиваться в этот процесс и давать указания, подлежащие обязательному исполнению. Так, когда уже был создан макет учебника по новой истории, начинающий изложение материала с Английской буржуазной революции XVII в., А.С. Бубнов, возглавлявший работу, передал академику Н.М. Лукину, стоявшему во главе авторского коллектива, требование, чтобы изучение этого курса началось с событий Великой французской революции. Это требование исходило от Сталина, позднее изложившего свою точку зрения в известных «Замечаниях».

Изучение истории исторической науки в контексте требований сегодняшнего дня невозможно без обращения к архивным источникам. К сожалению, многие из них до сих пор остаются закрытыми. Думается, что создание полноценных работ по данной проблеме станет возможным лишь тогда, когда исследователи получат доступ к фонду Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) и ряду других фондов, пока остающихся закрытыми.

С. О. Шмидт

(д. и. н., Институт истории СССР АН СССР)

Изучение истории советской исторической науки 1920—1930-х годов не может ограничиваться изучением только дискуссий при всем интересе (особо живом в наши дни) к ним. Важно обратить внимание (хотя бы в постановочном плане) на более широкий

круг явлений в сфере историографии. И прежде всего таких, которым не находится пока должного места в обобщающего типа трудах — книгах, статьях, докладах.

Работа в области историографии в последние годы убеждает в том, что утверждается более широкое понимание этого предмета²². Становится все яснее, что историю исторической науки (и шире — развития исторической мысли, исторических знаний) нельзя сводить ни к концепциям (особенно глобально методологического характера или откровенно политической направленности), ни к деятельности только виднейших ученых — исследователей, создателей научных школ, крупных организаторов науки, знаменитых влиятельных публицистов (философов, литературных критиков или политических деятелей), ни к изучению немногих сочинений, оказывающих воздействие и на последующие поколения.

Тенденция сведения историографии прежде всего к изучению общеметодологических концепций — следствие узкой идеологизации, даже политизации науки, восходящей еще к М. Н. Покровскому и его системе оценок, когда развитие исторической науки пытались изобразить как прямое отражение классовых отношений, политической борьбы (и какой схематически-тенденциозной, примитивной и по сути своей совершенно ненаучной кажется теперь, к примеру, характеристика Покровским Н.М. Карамзина как историка в его лекциях 1923 г. «Борьба классов и русская историческая литература»!). В определенной степени именно таким взглядам хотел противостоять А. В. Луначарский, когда в докладе 1925 г., посвященном памяти В. И. Ленина, разъяснял, что ленинский призыв обязательно усвоить культурное наследие отношений и к «историческим работам», «которые могла делать буржуазная наука вне России и в России», что это «необходимейший элемент нашего культурного строительства»²³.

Действительно, в первые годы Советской власти, в период утверждения в сознании и широкой общественности, и ученых марксистско-ленинского понимания истории, классово-политические и идеологические противоречия казались и были на самом деле особенно острыми, что находило отражение и в прессе. Позднее же вопреки реальному ходу истории с господством сталинизма положение об обострении классовой борьбы было провозглашено как историческая закономерность, и это сказалось и на судьбах многих историков.

Однако до насильственного насаждения в 1930-е годы единогласия в науке имело место многообразие исторических взглядов, а также и представлений о путях поисков исторической истины. Между тем, характеризуя 1920-е годы, нередко все сводят к примитивной, излишне четкой схеме (иногда еще и с «навешиванием ярлыков») противостояния буржуазных (понимай — консервативных) взглядов и марксистских. Не учитываются при этом ни разнообразные формы воздействия марксистской мысли на «традиционную» науку уже в то время, ни зависимость отдельных построений марксистов (историков и социологов) от до-

марксистской или немарксистской мысли, ни неоднородность взглядов и сложность личных взаимоотношений виднейших тогда историков-коммунистов (М. Н. Покровский иначе относился к историографическому наследию, чем А. В. Луначарский или Д. Б. Рязанов: Покровский противодействовал Рязанову во время реформы Академии наук в 1929 г.; В. И. Невский и его ученики во многом не соглашались с Покровским; оценка И. А. Теодоровичем «Народной воли» не была поддержана большинством ветеранов Коммунистической партии и недавних выпускников Института красной профессуры и т. д. и т. п.). А в историографических работах в рамках написанного или сказанного видными коммунистами тех лет (точнее сказать, того немногочисленного из этого, о чем до недавнего времени можно было открыто писать и говорить) по прежней однолинейной схеме усматривают лишь взгляды или ленинские, или антиленинские; причем последние на проверку зачастую, оказывается, просто не совпадали с суждением Сталина, присвоившего себе право единственного толкователя марксизма-ленинизма. Это следствие не только въевшихся в сознание клише, закрепленных к тому же усвоением «Краткого курса» и основанной на его положениях литературы, но и явной недостаточности источниковой базы: труды едва ли не большинства авторов-коммунистов тех лет, относимые в нашем понимании к историографическим источникам, т.е. источникам по истории исторической мысли 1920-х годов, еще года три-четыре назад оставались недоступными для историографического рассмотрения.

Понимание истории исторической мысли преимущественно как истории концепций приводит и к вульгарной социологизации истории нашей науки. Не осмысливается должным образом то, что развитие всякой науки — это всегда и открытие новых источников и приемов их изучения, выявление новых фактов, уточнение прежних выводов. Не учитываются при таком подходе и законы саморазвития в любой сфере знания, когда то или иное открытие или новое толкование естественно вызывает появление новых исследований именно этой проблематики.

Историю науки нельзя сводить и к изучению творчества лишь немногих виднейших ее деятелей или лиц, оказывавших особое воздействие на ход ее развития. Наука для современников не только горы, которые остаются видными и потомкам, но и холмы, плоскогорья, долины, не только ураганы или молнии, грозы, но и каждодневный климат (подчас губительно удушающий), создающий атмосферу воспринимаемого современниками состояния науки и ее места в общественной жизни. И это запечатлено в большей мере не в монографиях, которым обеспечена долгая жизнь, а в журналах и газетах, подготовительных материалах к конференциям и директивным установкам, в протоколах заседаний, в дневниковых записях, переписке. (Как много дают, к примеру, для понимания высокого образа мысли коммуниста, вступившего в сознательную жизнь в годы революции, письма

П. П. Парадизова, продолжавшего в тюрьме, в 1935—1936 гг., размышлять о судьбе исторической науки²⁴).

Важно обратить внимание и на то, что самим современникам представлялось показателем развития и уровня исторической науки, а также распространения исторических знаний. И уж никоим образом не переносить оценки таких явлений, характерных для ситуации нынешней, на период первых десятилетий Советской власти. Между тем во многих обобщающего плана трудах по истории советской исторической науки оказались обойденными и музееведение, и архивоведение, и краеведение, и соответственно их взаимосвязи с «большой наукой» — деятельностью научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений. Обойдена, к сожалению, как правило, и имеющаяся уже немалая литература об этом. А в Советской исторической энциклопедии вовсе отсутствуют слова «краеведение» и «историческое краеведение», «архивоведение», «музееведение».

В 1920-е годы в музеях работали крупнейшие ученые старших поколений и образованнейшие из сподвижников Ленина, а для более молодых музейная деятельность становилась школой научного творчества. Достаточно вспомнить, что будущий академик М. Н. Тихомиров был основателем музея в городе Дмитрове, о многообразной — агитационно-пропагандистской, просветительской, научно-методической и исследовательской работе в музеях вплоть до середины 1930-х годов будущего академика Н. М. Дружинина²⁵, о начале именно в музеях научной биографии будущих академиков А. П. Окладникова в Иркутске, Б. Б. Пиотровского в Ленинграде (а с 1964 г. он возглавлял работу такого крупнейшего всемирно известного музея, как Эрмитаж), Б. А. Рыбакова — в Москве. Усилиями теоретиков и практиков музейного дела была создана новаторская система музееведения — описания и изучения музейных материалов, организации научно-пропагандистской работы.

Содружество науки и архивов ощутимо заметно уже в начале XX столетия, когда виднейшие ученые (среди них академики А. С. Лаппо-Данилевский и А. А. Шахматов, А. Е. Пресняков и др.) явились инициаторами архивной реформы, а также выработки правил научной публикации документальных памятников (новые — в основном архивные — данные об этом приведены в статьях С. В. Чиркова). Образовался Союз российских архивных деятелей (сплотивший и передовых ученых — историков, литературоведов, правоведов более молодого поколения); а затем началась невиданная по масштабам работа по сохранению и использованию документальных памятников, перешедших после революции в государственные хранилища. В трудах В. Н. Автократова, В. О. Седельникова, Е. В. Старостина и других показано, сколько нового внесли в мировую архивоведческую мысль советские историки-архивисты 1920-х годов, как тесны были тогда взаимосвязи у архивов и ученых академических учреждений и университетов. На многолетний опыт архивистов и источниковедов опирался

Д. Б. Рязанов и при подготовке Декрета 1918 г. о реорганизации и централизации архивного дела и первого в мире издания Собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Для выработки правил издания сочинений В. И. Ленина и позднее Декретов Советской власти был приглашен ученик Лаппо-Данилевского С. Н. Валк, прославившийся уже тогда изданием документальных памятников по истории революционного движения XIX в.

В IV томе «Очерков истории исторической науки в СССР» читаем, что «первые годы Советской власти отмечены бурным ростом краеведческой работы»²⁶, но золотому десятилетию в истории краеведения (1917/18—1928/29) уделено в книге два (!) абзаца. А между тем никогда не были более плодотворны взаимосвязи краеведения с «большой наукой», как в те годы, когда Центральное бюро краеведения возглавлял академик С. Ф. Ольденбург. Никогда не было и столь тесного взаимодействия краеведческих организаций с музеями и архивами. Краеведные центры в «провинции» были не только важнейшими очагами культуры, приобщавшими к ней и городскую и сельскую молодежь, но и соорганизаторами планирования социалистического строительства. В то же время в годы господства вульгарной социологии краеведение, а также музееведение и архивоведение способствовали обогащению источниковой базы науки и совершенствованию методики конкретного изучения прошлого, особенно по проблематике, интерес к которой был порожден революционными преобразованиями. Историческое краеведение и близкие к нему труды памятникоохранительной тематики предварили многое в развитии научной мысли последующих десятилетий и нашего времени. (В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с книгами С. Б. Филимонова²⁷.)

Разгром краеведения на рубеже 1920—1930 гг. явился ударом не только для просветительной и памятникоохранительной деятельности общества, воспитания экологического сознания, развития культуры на местах, но и для развития исторической науки. Попытки М. Горького в какой-то мере возродить краеведение, сосредоточив усилия уцелевших краеведов на работе по реализации его начинаний (прежде всего по истории фабрик и заводов, позднее городов и сел), имели кратковременный успех. В середине 1930-х годов был положен предел самостоятельному развитию исторического краеведения и «народной археографии». Для краеведов то, что теперь называем 1937-м годом, наступило в 1929—1930 гг. Краеведение было уничтожено первым. Это порождено было обстоятельствами, характерными для года «великого перелома», времени утверждения культа Сталина, бюрократизации и унификации нашей общественной жизни²⁸.

Важно отметить, что это совпало по времени с массивованным наступлением на интеллигенцию и ее культурно-исторические (и особенно религиозные) традиции (повсеместно разрушались храмы, в библиотеках рабфаков изымались именно тогда исторические сочинения Карамзина и Соловьева, даже тома энциклопедии Брокгауза—Ефрона). Необходимо подчеркнуть и то, что преследо-

вание краеведов (особенно в Ленинграде и Москве) связывали со сфабрикованным делом академиков-историков (С. Ф. Платонова, Е. В. Гарле и др.), ученых-экономистов (А. В. Чайнова, Н. Д. Кондратьева), позднее с «правым уклоном». Тогда же были отлучены от службы в архивах и музеях крупные ученые и их ученики.

Явления, признаваемые историографическими фактами, даже значительными, рассматриваются часто еще без установления взаимосвязи с другими синхронными явлениями общественно-политической жизни и конкретно в области культуры (особенно истории других общественных наук, литературы, искусства). Между тем такое синхронное рассмотрение помогло бы понять не только многое в ходе движения самой исторической науки, но и место исторической науки — и шире: исторических знаний — в обществе и то, как это понимали и видели и сами историки, и партийные руководители. Видимо, теперь — с раскрытием спецхранов библиотек и архивов — полезно было бы приступить к составлению детальной хроники истории советской исторической науки с учетом и других синхронных явлений в истории нашей культуры, в жизни интеллигенции. Это многое могло бы объяснить в истории науки и общественной жизни 1920-х — начала 1930-х годов, не говоря уже о трагических для всего общества и для будущего нашей (да и мировой) культуры событиях середины 1930-х годов.

Степень доверия к выводам и наблюдениям историографа обусловлена степенью овладения им материалом историографических источников (включающих, конечно, и концептуально-методологические положения трудов классиков марксизма-ленинизма, партийных документов). У нас же обнаруживается пока, как сказали уже здесь, огромное незнание материала — прежде всего периодики тех лет, архивных документов (и учреждений, и общественных организаций, и отдельных ученых). В этой ситуации трудно даже поставить вопрос о степени репрезентативности выявленных историографических источников, возможности уже теперь их сопоставительного изучения. Перед историками возникают проблемы не только, что и как изучать, но и на основании чего изучать?

То была пора докладов, дискуссий, слабо отраженных в печати и даже в архивных документах. Академик Б. А. Рыбаков в яркой статье, показывающей восприятие климата исторической науки тех лет, писал: «Выступления на дискуссиях не публиковались, и единственным источником оказывались воспоминания о слышанном докладе, о бурных прениях и темпераментных репликах». И заключает: «Это была эпоха грандиозного широкого поиска, к сожалению почти неизвестная во всем многообразии новым поколениям историков. Только память, только „фольклор“ старшего поколения может частично осветить то отдаленное время первых поисков и находок»²⁹. Архивные же материалы об этом лишь начинают привлекать (рискуя, однако, подчас делать далеко идущие выводы на основании лишь немногих «находок»). Записи

воспоминаний историков, несмотря на распространение методики «устная память», мало практикуются; к написанию мемуаров — или хотя бы комментариев к сохранившейся документации — ветеранов-историков не побуждают. А как много узнали полезного для себя историки из воспоминаний академика Д. С. Лихачева! Готовятся к публикации воспоминания историка культуры Н. П. Андиферова, воспроизводящие переживания времени его ареста! Сохранились воспоминания известного костромского краеведа В. И. Смирнова, подготовленные к печати его вдовой Л. С. Кичицыной. О том, как обогащаются наши знания такого рода воспоминаниями, можно судить и по выступлениям девяностолетних ветеранов исторической науки Е. Н. Кушевой, А. Б. Закс (с увлечением пишущей интересные и в плане исторической психологии воспоминания). Хорошо бы вовлечь в мемуаристику и других ветеранов нашей науки!

Надлежит тщательнее знакомиться с периодическими изданиями, особенно с изданиями краеведческого характера в центре и на местах. (Как выясняется, к ним не обращались при составлении библиографий даже самых известных ученых³⁰). Еще больше нового узнаем, знакомясь с архивами научных учреждений и обществ, личными фондами ученых. Здесь богатая информация имеется в собранных уже материалах для готовящегося по почину Археографической комиссии АН СССР Каталога личных фондов отечественных историков, включающего данные об архивах не только видных ученых, но и краеведов, музейных и архивных работников. Желательно, чтобы публикация обзоров таких фондов и библиографических перечней в «Археографических ежегодниках», в сборниках «История и историки», в трудах высших учебных заведений не прекращалась.

Середина 1930-х годов может по-прежнему оставаться вехой в периодизации истории исторической мысли, даже при переоценке явлений тех лет. Ибо с того времени стал невозможен плюрализм мнений, утверждались цитатнический догматизм, комментирование цитат как форма «исследований» и история откровенно политизировалась: и если песню со словами: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» — популяризировали в годы особенно жестоких репрессий, то опровержение утверждения, будто «история есть политика, опрокинутая в прошлое», имело место в годы особой идеологизации и политизации работы историков.

Но существенные предпосылки этих изменений в исторической науке следует искать ранее: когда «разоблачали» этнографов, краеведов, историков, связанных с Платоновым и Тарле, когда появилась статья Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма», утверждавшая недопустимость разномыслия в вопросах истории и презрительно характеризовавшая «безнадежных бюрократов», полагающихся «на одни лишь бумажные документы». (Нельзя не обратить внимания на то, что эта статья перепечатывалась в «Вопросах ленинизма», включая и один-

надцатое издание 1952 г.) Об этом свидетельствуют и форма критики инакомыслящих, и лексикон ее. Вероятно, одна из задач историографов, выявляя и изучая опубликованные и архивные материалы, сопоставлять их и в синхронном и в диахронном планах.

Историографические явления должны рассматриваться и оцениваться и с точки зрения уже наших современников. Это поможет определить вклад, внесенный в тот или иной период в поступательное движение науки. 1920-е — начало 1930-х годов — время напряженного творческого поиска путей понимания исторических явлений, хода исторического процесса, освоения богатства марксистско-ленинской мысли, что стало школой исторического мышления для прославившихся позднее ученых.

Это время продолжения исследований и в русле тематики, традиционной для дореволюционной науки, — истории древнего мира и средних веков (крупными достижениями науки остались труды и ученых, широко известных в начале столетия, — В. В. Бартольда, Д. М. Петрушевского, и начавших большой путь в науку в канун революции — Б. Д. Грекова, Е. А. Косминского, С. В. Бахрушина, П. П. Смирнова и др.), в сферах археологии и этнографии, источниковедения и археографии, сфрагистики (труды Н. П. Лихачева), исторической географии (книга М. К. Любавского). Однако нельзя не отметить отток даровитых историков более молодого поколения в изучение далекого прошлого. И тому есть объяснение. Изучая такие эпохи в те годы, особенно с середины 1930-х годов, можно было оставаться самим собой.

Хочется поддержать предложение о переиздании книг, вышедших в 1920—1930-е годы. Хорошо бы и подготовить сборники статей ученых той поры, издать новые библиографические указатели, включающие и те печатные труды, точнее, работы тех ученых, имена которых не позволяли упоминать ранее. И уж конечно, необходимо детально и последовательно, не опуская ни имен, ни фактов, продолжить исследование истории советской исторической науки 20—30-х годов. История науки — это история людей, творивших науку и воспринимавших результаты этой деятельности. И судьба науки тесно взаимосвязана с судьбой нашей интеллигенции. На широком фоне истории нашей интеллигенции, нашей общественной жизни, нашей культуры и следует изучать и показывать историографические явления.

В. И. Дурновцев

(д. и. н., Московский государственный историко-архивный институт)

Советская общественно-историческая мысль переживает пору необычайного подъема. Парадоксально, но одной из его зримых примет стала незрелость крайних, предельно заостренных, но претендующих на научную авторитетность суждений. Исторической памяти, оглушенной дившимися десятилетиями одическими песнопениями, сохранявшейся, как в седой древности, благодаря передаче «из уст в уста», возвращены законные права непосредственного участия в решении проблем настоящего и будущего.

В этих условиях неизбежны и типологически объяснимы проявления «детской болезни левизны».

Историческая наука подверглась острой и справедливой критике и ревизует ранее казавшиеся бесспорными ценности и достижения. При этом в массовое сознание активно внедряется предваряющая строгое исследование принципиальная версия: науки истории в СССР не существует, фальсифицирована вся история, дореволюционная и послеоктябрьская, национальная и всемирная. Суд над советской исторической наукой (отождествляемой в расчете на неискушенного читателя с историографией советского общества) строг и безапелляционен: это безжизненная, голая пустыня, над которой высятся редкие «горные вершины».

Историки, как и все обществоведы, действительно находились «в печальном порядке вещей»³¹. Поколения ученых несут научную и нравственную ответственность за низкий уровень исторического сознания советского народа, острый дефицит правды в пухлых монографиях. Но я отнюдь не уверен, что исследование истории складывания этого порядка (внутреннего и внешнего), анализ общественно-политической и внутринаучной ситуации на разных этапах истории советского общества непременно должны вестись с позиций безудержного, а то и вызывающего нигилизма. Гиперкритицизм, эмоционально оправданный, научно и социально обусловленный, направлен против мертвящих и готовых к реанимации традиций догматизма. Но слишком очевидно и подтверждено историографическим опытом, что рано или поздно он приведет к новому витку деформации научно-исторического и историографического знания.

Нынешний разговор о судьбах советской историографии нацелен на 20—30-е годы. Но научное освоение отдельных этапов предусматривает удержание в поле зрения целостной картины национального и мирового научно-исторического познания. В условиях обострения борьбы за выбор пути общественного развития, в периоды исторической неопределенности резко повышается историчность общественного сознания, возрастает престиж подлинно научного знания, сила аргументации фактами прошлого оказывается, как никогда, мощной и убедительной, а само оно становится важнейшим компонентом политической программы. Одновременно в едва ли не расхожий превращается тезис: истории как науки не существует. Им пользуются деятели различной социально-политической ориентации, сходящиеся, однако, в одном — оппозиции старому строю, который поддерживается и средствами исторической науки. Если об эпохе перерождения не судят по его сознанию, то и оценка реального состояния такой сложной, включающей множество звеньев системы, как наука, неизбежно политизирована и идеологизирована. Она приближается к объективности по мере исторического движения, на известном расстоянии, но не в момент крутого выража истории. С другой стороны, сущностное изменение идейно-политической и научной ситуации создает необходимые условия для поступательного развития науки, преодоления ею тяжелейшего кризиса.

Глубина историографического переворота прямо пропорциональна масштабу общественных преобразований. После Октябрьской революции ответственность за будущее науки истории взяли на себя адепты «разрушительной концепции», которые не оказались ни на научной, ни на нравственной высоте грандиозной задачи разработки марксистской концепции всемирно-исторического процесса. Вместо создания предпосылок для постепенного перехода старых специалистов к марксизму «через данные своей науки»³², допущения альтернативных вариантов изучения прошлого, сохранения историографического наследства они с готовностью стали наносить удар за ударом «по остаткам буржуазии внутри СССР», «потенциальным вредителям», которые на деле были гордостью русской науки. Организационно и интеллектуально обеспечив перерождение науки в идеологию, поставленную на службу сталинизму, они начали со сведения давних счетов со «старой» наукой, объявления едва ли не всех добытых и систематизированных ею данных ложными, стремления поскорее начать «с чистого листа». Выступая в 1929 г. на открытии Института истории при Комакадемии, М. Н. Покровский был категоричен: единственной наукой является наука историков-коммунистов³³. Был предельно сужен ареал научно-познавательной деятельности: в резолюции Общества историков-марксистов (1930 г.) с удовлетворением констатировалось отсутствие в Институте истории исследовательских трудов по древней, средней, русской всеобщей истории³⁴. Как известно, пять лет спустя сталинская идеология вернулась к формуле «гражданской истории». В 20-е годы был объявлен крестовый поход против «великодержавного национализма» В. О. Ключевского, С. В. Бахрушина, С. Ф. Платонова, М. К. Любавского. Через десять лет жертвами стали его инициаторы. Еще предстоит выяснить масштаб разрушительного действия на советскую историографию и другие общественные науки сталинской концепции обострения классовой борьбы в условиях социалистического строительства. Не забудем, однако, что историки-марксисты с готовностью подхватили сталинский лозунг.

Историческая наука действительно «имеет обязанность отвечать на вопросы жизни». Но за нею остается право надеяться, что ей будут задаваться действительно жизненные, действительно общественные вопросы, относящиеся к ее сфере, а не к задачам конъюнктурной идеологии и политики. Утилитарный, некомпетентный, скорее государственный, нежели общественный, заказ приводит к резкому снижению социальной значимости научно-исторического знания. Но ответим новейшим гиперкритикам: у науки есть свои правила, свои законы, обеспечивающие ей при всех, даже невыносимых, условиях достаточный и необходимый статус. В частности, она компенсирует некорректный характер связей с обществом и государством сосредоточением на проблематике, до известных пределов независимой от внешних условий бытия, осуществляет научный поиск в нейтральных сферах,

обеспечивает реализацию принципа свободы творчества. Жизнестойкость советской исторической науки находит объяснение и в ее методологическом фундаменте, полтора столетия выдерживающем испытание на прочность.

Э. Е. Писаренко

(к. и. н., Госагропром)

История — это и познание, и творчество, и этика. Деятельность историка нельзя отделить от решения как социальных, научных, так и этических задач. Соотношение нравственности и истории — важнейший методологический вопрос. Для гуманистов начиная с эпохи Возрождения свойственно осмысливать современность сквозь призму истории, находить в прошлом некие модели для ее объяснения. Это полностью относится и к нашей современной эпохе перестройки, ищущей образцы, модели в отечественной истории героических 20-х годов. М. С. Горбачев подчеркивает: «Непреодолимое значение не только по своим результатам, но и по опыту, по методологии имеет для нас начальный, ленинский этап формирования многонационального государства Советов»³⁵. В годы культа личности и застоя этим опытом историки, как правило, пренебрегали. Так, например, до настоящего времени осталась незамеченной публикация актуальной и в наши дни статьи А. Д. Цюрупы «Задачи Госплана по методологии перспективного планирования на пятилетие» в журнале «Плановое хозяйство» (1971, № 1), ряд его историко-экономических работ. Несомненную ценность представляют характеристика Цюрупой А. В. Чайнова, поддержка им Н. Д. Кондратьева, материалы о его тесном сотрудничестве с А. И. Рыковым. Документы подтверждают, что Цюрупа решительно противостоял отдельным ошибочным действиям Сталина, занимая принципиальную позицию по ключевым вопросам (нэп; формы, темпы, масштабы коллективизации)³⁶.

Случайно ли упоминание А. Д. Цюрупы в стенограмме судебного процесса Союзного Бюро ЦК РСДРП(м) в марте 1931 г.? Нет, не случайно. Подавляющее большинство окружения Цюрупы подверглось репрессиям 30-х годов. По этому процессу проходили его близкие сотрудники, такие, например, как В. Г. Громан (которого он знал по статистической, земской и революционной работе с 1900 г. и который существенно помог Цюрупе в становлении Наркомпрода, перестройке работы СТО и Совнаркома, реорганизации Госплана и Наркомторга) и Б. М. Берлацкий. Оба они были единомышленниками Цюрупы в неприятии командно-административных методов работы Сталина. Громан совместно с Е. В. Пашковским в конце 20-х годов опубликовал глубокое, точное биографическое эссе-портрет Цюрупы как статистика, организатора, государственного деятеля³⁷. К сожалению, в историографии нет даже упоминания об этой работе. Именно эти авторы постоянно вычеркивались цензурой и редакторами. Новейшие

историки их не знают. И отраднo, что в последнее время появляются попытки опубликовать списки репрессированных историков. Так, например, в журнале «Советская библиография» (1988, № 5) опубликован список репрессированных деятелей отечественной библиографии. Среди них более половины — историки: Е. А. Байдуртян, В. А. Барвинский, П. Витязев (Ф. И. Седенко), Р. А. Знаменская, М. В. Мелешко, В. И. Невский, П. П. Парадизов, Б. Э. Петри, Б. М. Пинес, академики Н. П. Лихачев, М. Н. Сперанский, С. Г. Струмилин. К этому следует добавить одну из составительниц библиографического словаря «Деятели революционного движения в России» — Е. Д. Никитину, автора монографии о Плеханове В. Ваганяна (В. А. Тер-Ваганяна) и многих других. Почти все они погибли в годы ежовщины. И наша задача сегодня состоит в том, чтобы, выявляя репрессированных историков 20—30-х годов, разыскать их архивы, документы, работы, тщательно и всесторонне проанализировать их, рассказав об этих историках правду, и только правду. Это наш долг. Профессиональный и гражданский.

Е. В. Гутнова

(д. и. н., Институт всеобщей истории)

Постановка проблем истории исторической науки 20—30-х годов имеет не только теоретическую, но и практическую значимость. Надо менять характер преподавания историографии в вузах, пересматривать те устоявшиеся позиции, которые до сих пор фигурируют в наших учебниках, учебных пособиях и научной литературе по истории советской исторической науки.

Для того чтобы правильно оценить развитие советской исторической науки в 20—30-х годах, необходимо прежде всего иметь в виду два момента. С одной стороны, нужно все-таки помнить, что история не есть чистая идеология, что история есть развивающаяся наука. И поэтому только давлением в политико-идеологическом плане нельзя исчерпать все то, что происходило в области истории и в 20-е, и в 30-е годы. Об этом нельзя забывать тогда, когда мы слышим чрезмерно нигилистические оценки советской исторической науки. Чтобы эта оценка была научно объективной, нужно конкретно представить себе, что делалось в исторической науке — и не только отрицательного, но и положительного.

Необходим исторический подход к тому, что происходило, оценки ситуации не только в историографии, но и в общественной жизни того времени.

Вспомним слова «Интернационала»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья. А затем мы наш, мы новый мир построим...» — и т.д. Эта всеобщая разрушительная тенденция в 20-е годы особенно господствовала в области гуманитарных наук.

И поэтому, когда мы говорим о партийном руководстве ис-

торической наукой, надо иметь в виду, что дело не только в руководстве сверху, но в самом самосознании людей того времени. Они, совершив и всей душой приняв Октябрьскую революцию, искренне считали необходимым уничтожить все, что было до нее. Поэтому если подходить к проблеме в таком общем контексте, то едва ли можно полностью возлагать ответственность за конкретные проявления разрушительного процесса на отдельных лиц, на отдельных руководителей. Конечно, они свою моральную ответственность несли (особенно если это были люди образованные), но в той атмосфере они зачастую просто не могли иначе поступать.

Здесь говорили о диктате, о распоряжениях, о гонениях в 20—30-е годы, о том, как постепенно ко второй половине 20-х годов историческая наука деградировала, а я хочу сказать о главном, с моей точки зрения, научном пороке тогдашнего подхода к исторической науке. Я вижу его даже не в диктате руководящих органов, но в вульгаризации марксистского понимания истории. Эта вульгаризация, к которой немало усилий приложил, в частности, и М. Н. Покровский, и вся его школа, привела к тому, что историю как науку всячески старались принизить и уничтожить. Я хорошо помню благодаря своему солидному возрасту, как и что преподавали нам в школе в 20-е годы. Это была история революций, начиная с английской XVII в. и кончая Октябрьской революцией, и весьма огрубленная характеристика общественных формаций без всякой конкретной истории. То же самое было и в вузах. А в дальнейшем, начиная с 30-х годов, в таком учреждении, как Московский университет, прекратилось вообще преподавание истории, то же в Ленинградском и во многих других университетах. Конечно, здесь, в частности, сыграл свою роль и Покровский, который возглавлял в это время исторический фронт. И конечно, он повинен за тот развал исторической науки, который наметился в начале 30-х годов. В данном случае М. Н. Покровский выступал как рупор определенных установок, которые он очень активно, энергично и с полным сочувствием к ним проводил в жизнь. Недавно была опубликована статья в «Вопросах истории» о Покровском, которая называлась «Историк-революционер»³⁸. Она произвела на меня очень странное впечатление, потому что автор ее, по-видимому, совершенно не представляет себе, какую именно роль Покровский играл в развитии исторической науки конца 20-х — начала 30-х годов. Он видит в нем только большевика, революционера, марксиста, несмотря на то что у Покровского есть очень много отхождений от марксизма, и в частности в сторону вульгаризации истории. Совершенно обходит автор статьи и тот момент, что эта вульгаризация истории и фактический отказ от исторической науки являются источником нашего сегодняшнего недостаточного знания своих исторических корней. Все то уничтожение памятников старины, весь тот разрыв с предшествующей культурой, которые мы сегодня так осуждаем, — это же

все порождение 20-х — начала 30-х годов. Ни в коем случае не оправдывая грубое вмешательство Сталина в решение многих исторических проблем и не снимая с него ответственности за это, приходится учесть, что и Сталин сам учился истории таким же образом, понимал ее смысл и значение так же. Отсюда — сохранение этих вульгаризаторских корней и в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Ведь и эта самая знаменитая, как ее называют, «пятичленка», за которую теперь справедливо ругают «Краткий курс», подчеркивая, что она отравила всю историческую науку, восходит в конечном счете к представлениям 20-х годов.

Поэтому мне кажется, что между 20-ми и 30-ми годами (до 1934 г.) в развитии исторической науки нет особенно резкого разрыва. То, что было в 20-х годах, продолжало развиваться и в 30-е годы, и даже после постановления 1934 г., хотя, казалось бы, оно внешне положило конец этому.

Это постановление оценивать не так просто. Отбросить его как совершенно ненужное, бесполезное и даже вредное в развитии исторической науки, как проявление исключительно только культа личности Сталина, мне кажется, неправильно. Потому что, какое бы оно ни было, как бы оно ни декларировало и ни утверждало руководящее вмешательство сверху в трактовку истории, оно тем не менее в какой-то степени возродило заглушенные традиции исторической науки, дало возможность развиваться ей и в последующие годы.

Конечно, сам факт государственного вмешательства в развитие исторической науки, стремления поставить ее на службу идеологии должен быть расценен, безусловно, отрицательно. Однако отрицательное влияние сказывалось не во всех областях истории в равной мере: в одних — в большей степени, в других — в меньшей степени. Это создавало возможность для исследовательской работы ученых там, где не было «запретных зон», и для создания немалого числа ценных работ. Как раз в конце 30-х годов сразу выдвинулась плеяда крупных историков, работы которых и сейчас не утратили своего научного значения и которые приобрели мировую известность. Поэтому надо очень взвешенно оценивать то, что произошло в 1934 г.

В. Ф. Борзунов

(д. и. н., Институт истории СССР АН СССР)

Хотелось бы обратить внимание на односторонность дискуссии, повернутой на выявление роли субъективного фактора в исторической науке. Значение этого фактора бесспорно. Однако выдвижение на передний план субъективного фактора истории создавало иллюзию его всемогущества. Отсюда неоправданное непрофессиональное вмешательство в развитие науки идеологов и политиков, которые выступали от имени классов, партии и государства.

Есть общая закономерность в связи духовного производства

со степенью экономической зрелости общества и с типом общественно-экономической формации. На первых стадиях развития общественной формации эта связь носит весьма поверхностный и узкий характер, едва прослеживается; культурная недостаточность победившего пролетариата отчасти возмещается культурой побежденной буржуазии; развитие общественной науки идет в русле общегуманитарном, демократическом, объединяющем все общество на равных основаниях. По мере политической и социальной консолидации общества происходит усиление влияния партии, классов и государства на развитие гуманитарных наук. Меняется соотношение науки и политики. Возникает и усиливается тенденция политизации и идеологизации науки, подмены науки политикой, превращения науки в служанку политики. Административная система с ее диктатурой личности над партией, государством, обществом укрепляет эту тенденцию, способствует усилению монополизма, в том числе над исторической наукой. Монополизм административно пытался направить ее развитие в русло узко понятых идейно-политических интересов господствующего пролетариата под флагом творческого осмысления действительности, но в силу своей природы направил ее в сторону догматизма и администрирования. И там, где в силу случайных обстоятельств историческая наука сохранила относительную самостоятельность от вмешательства вульгарной политики и догматической идеологии, были значительные достижения научной мысли. Там, где она непосредственно смыкалась с политическими расчетами лидеров, там она превращалась в служанку политики, нередко в подлинную антинауку. При этом, конечно, нужно учитывать уровень знания и сознания идеологов и политиков, руководивших наукой. Они шли от полузнания к знанию, нередко доводя до абсурда и вульгаризма классовый и материалистический подход. Разрыв с национально-культурными традициями в науке стал способом их самоутверждения. Есть принципиальное различие в результатах влияния на науку типа общественно-экономической формации. Эра социализма (особенно в его неразвитых формах) связана с тенденцией к тотальному уничтожению «старого мира», с уродливыми формами «классовости» в науке и культуре, с подчинением науки политике и господствующей идеологии. Отсюда колоссальные потери интеллектуальных сил самой науки, особенно гуманитарной, что определило трудный, сложный, мучительный путь ее восстановления и развития, борьбы за демократические условия ее жизнедеятельности. Сказалось и то объективное обстоятельство, что победивший пролетариат был менее культурным в сравнении с побежденными буржуазией и помещиками. Субъективный фактор (важный сам по себе) отражал эти объективные условия. Деятели науки, политики и идеологии, их судьбы — слепок с той действительности. Нужно в первую очередь учитывать эти закономерности и на этой основе проследить трагическую судьбу советской исторической науки и ее представителей.

П. Т. Петриков

(д. и. н., Институт истории АН БССР)

У меня вызвала большое удовлетворение организация данного «круглого стола». Тот идейный шквал, который обрушивается сейчас со страниц нашей печати, по радио и телевидению в адрес недостатков, имевших место в исторической науке, в жизни нашего общества, не должен нас сбивать с толку. Историки должны спокойно выявлять основные тенденции, закономерности развития исторической науки в 20—30-е годы. У меня сложилось впечатление, что все выступавшие по существу единодушны в том, что конкретные научные достижения и в тот период не должны быть выброшены или забыты. Обсуждаемые сегодня проблемы имеют актуальное значение и для Белоруссии. Мы также заняты сейчас более глубоким изучением личного вклада отдельных историков в науку, а также репрессий по отношению ко многим ученым.

Сегодня еще мало говорилось о том, что сделано конкретно, с учетом новых подходов, новых оценок, что уже опубликовано кем-то из историков. Аналогичное положение и у нас в Белоруссии. Но первые работы, в которых содержится попытка пересмотра старых, устоявшихся традиций, уже появляются. Так, в конце 1985 г. издана книга В. Н. Михнюка «Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии в 1919—1941 гг.». Несмотря на то что многие вопросы тогда еще не были так ясны, как сейчас, не были так научно-очерчены, автор по-новому подошел к идейно-теоретической борьбе «на историческом фронте», к проблемам организации науки, архивного дела.

Книга вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые лица чуть ли не кровную обиду увидели в том, что автор «посмел» поднять вопрос о «сионистских искажениях» истории Белоруссии. Особенно недовольны они были тем, что критика бундовских и сионистских взглядов, данная в книге, предшествовала критике белорусского буржуазного национализма. Считают, что и структурно, и методологически, со всех точек зрения это неверно. Как будто чей-то национализм лучше, а чей-то хуже. Не в месте тут дело.

Нам, историкам, надо объективно относиться к новым положениям и выводам коллег, которые, может быть, в чем-то заблуждаются, но хотят высказать свое мнение. Надо соблюдать культуру дискуссий, спорить по тому или иному поводу, но не принимать организационных оградительных мер. Время это давно ушло, и использование таких методов не приносило (и не принесет) пользы исторической науке.

Несмотря на сложность ситуации, неизученность проблемы, мы решили заняться очерками истории исторической науки в Белоруссии, включая и досоветский период. Задача очень трудная, но мы решили за нее взяться, так как без научного анализа пройденного пути, достижений и недостатков невозможна разработка исторического прошлого на новом этапе развития общества, в условиях его коренной перестройки. Это актуальное требование нашего времени, которое открывает возможности свободного творчества и решения неотложных проблем.

А. Н. Мерцалов

(д. и. н., Институт истории СССР АН СССР)

Сталинизм — понятие несравненно более широкое, чем культ личности. Сталинизм сплошь отрицателен, к нему неприменим прием «с одной стороны, с другой стороны». Он не ушел в небытие вместе со смертью Сталина, оказался более живучим, чем другие формы вождизма XX в. Это можно объяснить паразитированием сталинизма на реальном социалистическом строительстве, на марксизме-ленинизме, победе 1945 г., а также небезуспешными попытками выдать корыстные интересы диктатора за классовые и государственные, его преступления — за некую историческую необходимость. Авторитарная система охватила экономику, политику, идеологию, культуру. Сталинизм — это и своеобразная псевдонаучная методология общественнознания, в частности освещения прошлого. Сам «вождь» и его сообщники (Берия, Ворошилов, Жданов, Каганович, Молотов и др.), в качестве «историков» восхваляя или реабилитируя режим, создали многие ложные стереотипы.

Губительными для науки оказались их общие подходы к истории, директивные установки по важнейшим вопросам современности (неадекватные оценки капитализма, различных кругов буржуазии, фашизма, пацифизма, социал-демократизма; тезис об обострении классовой борьбы при социализме; метафизическое противопоставление узкоклассового и национального ограниченного общечеловеческому и др.).

Не нуждаясь в подлинной науке, Система целенаправленно деформировала историческое самопознание наций (уничтожение памятников культуры, повальное переименование городов, улиц и др.), воспитывала манкуртов, но не творцов. Место поиска заняла слепая вера. Историческую литературу в большой степени поставили на службу дурной пропаганде и опорочению лиц, неугодных Системе. Наука во многом отторгалась от практики, лишалась своей основной социальной роли. Ученые перестали изучать опыт минувшего, извлекать уроки в интересах настоящего и будущего. Альтернативы были вне закона: выбор «вождя» был всегда единственно правильным. Тезис «что было бы, если бы...» стал объектом неумных иронизирований.

Уже в 30-е годы многие разделы исторической литературы были лишены научного содержания. Восторжествовали анти-теоретичность, пренебрежение к методологическим, историографическим, источниковедческим исследованиям, фактографизм, беспроблемность, мелкотемье; сведение сущности явления к одной из его сторон (главным образом из апологетических и нигилистических побуждений), догматизм и цитатничество; подмена научного мышления обыденным, факта — мифологемой; персонификация и изгнание из прошлого народных масс; упрощенчество, черно-белая манера изображения; обращение к неразвитому интеллекту, к языческой культуре (культ Отца, воспевание жертвенности и пр.).

На целые десятилетия задержало развитие историографии чрезвычайное усиление различных ненаучных факторов. Отчуждение от нравственности породило разрыв между словом и делом, утрату учеными профессиональной чести, убогие писания под видом монографий и диссертаций, присвоение чиновниками от науки чужого труда в обезличенных многотомниках, ложном соавторстве и др. Стало правилом прикрытое вульгаризированной партийностью невежественное вмешательство в работу ученого больших и малых властителей, знакомых с предметом лишь по «Краткому курсу истории ВКП(б)». Науку подавил авторитет должностей и титулов. В издательском деле возобладали нетерпимость всесильных редакторов и «черных» рецензентов к оригинальности авторов, безбрежная перестраховка, экстенсивный рост посредственных публикаций.

Крайне идеологизированная ненависть к любому инакомыслию, комчанство создали многочисленные запретные для исследователя зоны; безмерно ограничивался доступ к архивам. Административное, подчас жестокое подавление плюрализма, унификация знания привели к возникновению официальной историографии, претендующей на монопольное владение истиной. Дискуссии, научная критика фактически запрещались. Для утверждения бесконфликтности советской историографии периодически проводились погромы тех или иных групп ученых с обязательными «оргвыводами». Эти же факторы обусловили и отлучение от науки всех немарксистских историков, сугубо конфронтационный подход к ним, своеобразную автаркию, нанесшую вред, может быть, в большей мере самой советской науке. Характерно, что все эти принципы сталинизма в историографии практически совпадают с аналогичными канонами буржуазно-консервативных историков. Подчеркивая ответственность режима за современное состояние советской исторической науки, нельзя представлять ее лишь в виде объекта сталинских или брежневских манипуляций. Апологетическая литература внесла свой вклад в становление Системы. Однако, к чести науки, лучшие ее представители и в тяжелые времена оставались учеными.

И. Н. Олегина

(к. и. н., Ленинградский государственный университет)

Мне хотелось бы остановиться на путях и методах утверждения марксистской исторической науки в России после Октября и в связи с этим — на ситуации, которая сложилась в буржуазной исторической науке. Практически общепризнанным является положение о том, что буржуазная историческая наука пережила кризис после революции. Этот кризис понимается как кризис методологический. Составной частью его была трудность познания новых явлений в жизни общества историками старой школы. Безусловно, Октябрьская революция была сложным объектом для исследования, для восприятия буржуазными историками.

Очевидно также и то, что русская буржуазная историческая наука оказалась на нисходящей линии не только в результате самопроизвольного развития.

Утверждение молодой марксистской историографии происходило при поддержке Коммунистической партии и Советского государства. На ее создание были брошены большие силы. Надо отметить, что тогда у части историков было горячее желание овладеть марксизмом. Много читали Маркса и Энгельса. Это положительный момент. А отрицательным моментом было то, что первоначальное усвоение марксизма широкими кругами историков происходило часто в вульгарной форме³⁹ и усугублялось административно-командными методами руководства наукой, которые возобладали с начала 30-х годов.

С конца 20-х годов начинает свертываться сотрудничество с учеными старой школы, придерживаться немарксистских взглядов стало практически невозможно. Весь полезный потенциал дореволюционной историографии использован не был. Буржуазная историческая наука в значительной степени была насильственно подавлена. Марксистская историческая наука, таким образом, уже в процессе утверждения лишилась своего оппонента и заняла монопольное положение. Нужно исследовать возможно полнее тот переломный период в развитии исторической науки (1928—1931 гг.), который завершился письмом Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция».

Если говорить о Покровском (я не принадлежу к тем, кто плохо к нему относится, при всей противоречивости этой фигуры), то сейчас необходимо сделать второй шаг в изучении его роли в процессе становления советской исторической науки (первый стал возможен в 60-е годы как последствие решений XXII съезда КПСС). Сейчас нужно показать роль М. Н. Покровского в создании той системы, жертвой которой он в конечном счете стал. Я имею в виду его посмертную судьбу (а не физическую смерть), судьбу его наследия после постановления 1936 г. К тому же тучи над ним сгущались уже в 1931 г.

В ряду событий 1931 г.— создание объединенного Института Маркса—Энгельса—Ленина. Этому предшествовало устранение Д. Б. Рязанова с поста директора Института Маркса—Энгельса, последовавшее за проведенным празднованием его 60-летия.

О политизации науки. Влияния политики на науку не избежать, но есть политизация и политизация. То, что было при Сталине,— это была не только политизация: историки были привлечены для обоснования культа и вовлечены в процесс манипулирования массами.

А. Н. Сахаров

(д. и. н., зам. председателя Научного совета историографии и источниковедения, Институт истории СССР АН СССР)

Это — «круглый стол», поэтому никаких специальных итогов здесь не может быть.

Мы вчера принимали английских историков, которые высказали свои взгляды по обсуждаемым вопросам. А сегодня у нас идет разговор по ключевым проблемам советского общества 20—30-х годов.

Сегодняшнее обсуждение и вчерашние выступления, и вообще весь уровень обсуждений последнего времени показывают, что наша историческая наука развивается колоссальными темпами. И мне кажется, что вчера и сегодня наши английские коллеги, которые прежде учили нас широкому подходу к истории, непредвзятым оценкам, научной демократии, либерализму, были ошеломлены остротой и откровенностью обсуждения актуальных проблем советской истории и «белых пятен». Если мы и дальше будем развиваться такими же темпами, то наша историческая наука сможет в короткое время выйти уже на необходимый исследовательский уровень, восполнить те недостатки, те огрехи, те поражения, которые она терпела в течение долгого времени. И этот уровень исторического мышления, уровень остроты обсуждения являются, по-моему, беспрецедентным событием не только в отечественной, но и в мировой науке, так как ни Европа, ни Америка таких откровенных и открытых обсуждений не знают.

Второе наблюдение, которое, наверное, надо иметь в виду, — это то, что и вчера, и сегодня делались упорные попытки отказаться от оценки событий, так сказать, с высоты 80-х годов и, напротив, понять события изнутри — с позиций классовых политических сил того далекого времени, человеческих характеров той поры, людей, которые действовали в то время соответственно с логикой тех дней, с расстановкой сил, с политическим мышлением, культурой той поры. И, мне кажется, сегодня это было прекрасно продемонстрировано.

Сегодня выявились, по-моему, две основные концепции в подходе к советской истории, которые ранее мы прослеживали только на Западе.

В западной историографии в последние десятилетия проявилось четкое размежевание взглядов на историю советского общества. Одни историки (вчера об этом говорили наши английские коллеги) считали, что 17-й год, ленинизм породил 30-е годы и вся наша история — это тоталитарная модель без каких бы то ни было изъянов и коррозии. И проф. Джеффри Хоскинг вчера это прекрасно показал.

Вторая концепция, отражением которой является книга Коэна, выражается в том, что 20-е годы по всем общественным параметрам надо резко отграничивать от годов 30-х, от периода сталинизма. Ну и далее — под звонкими лозунгами, под разного рода стереотипами, согласно концепции Коэна, шла упорная борьба кланов, политических групп, которая кончалась внутренними перемещениями, малыми и большими переворотами.

И вот сегодня оказалось, что в нашей аудитории прозвучали как раз эти две концепции, хотя и в другой модификации.

Мне кажется, что сегодня историки в какой-то степени, говоря

об этом мягко, чтобы меня не поняли как-то иначе, делаются не столько на советских историков и историков западных, сколько на ученых, разделяемых подходом к ключевым проблемам советской истории. Видимо, это закон развития мировой исторической науки, когда она свободно, непредвзято обсуждает дела в одной стране и дела во всем мире. И я думаю, что сегодняшнее наше с вами обсуждение прекрасно это показало.

- ¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 524.
- ² См.: Пролетарская революция. 1922. № 4. С. 363—364; 1930. № 5. С. 154—163.
- ³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 325.
- ⁴ Гнедин Е. А. Катастрофа и второе рождение: Мемуарные записки. Амстердам, 1977.
- ⁵ См.: Процесс «Промпартии» (25 ноября — 7 декабря 1930 года): Стенограммы судебного процесса и материалы, приобщенные к делу. М., 1931.
- ⁶ Процесс контрреволюционной организации меньшевиков (1 марта — 9 марта 1931 г.): Стенограммы судебного процесса, обвинительное заключение и приговор. М., 1931.
- ⁷ Московские новости. 1988. 12 июня.
- ⁸ Письмо Альберта Матъеза У. Фридлянду от 20 декабря 1930 г. (Архив АН СССР. Ф 377. Оп. 1. Д. 152. Л. 1, 1 об. Позиция Матъеза подверглась резкой и голословной критике на страницах советской исторической печати. См., например: Фридлянд Ц. Каизс Матъеза // Борьба классов. 1931. № 1).
- ⁹ См.: Дунаевский В. А. Большевики и германские левые на международной арене: Некоторые аспекты темы в освещении советской историографии конца 20-х начала 30-х годов // Европа в новое и новейшее время. М., 1966. С. 491—513.
- ¹⁰ Куришанак И. Как разрабатывают буржуазные историки идеологию диверсии // Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 115—118.
- ¹¹ Сталин И. В. Соч. М., 1949. Т. 13. С. 96.
- ¹² ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Д. 72. Л. 6, 7.
- ¹³ Медведев В. К познанию социализма: Ответы на вопросы журнала «Коммунист» // Коммунист. 1986. № 17. С. 3—18.
- ¹⁴ Беседа тов. Сталина с председателем американского газетного объединения «Скрипс Говард Ньюс-Пэйпес» г-ном Рой Говардом, 1 марта. 1936 г. М., 1937. С. 8.
- ¹⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 346.
- ¹⁶ См.: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1966. Т. 4.
- ¹⁷ Справочник партийного работника. М., 1929. Вып. 5. С. 349—352.
- ¹⁸ Как сообщал в письме к М. С. Ольминскому один из участников обсуждения — Г. Лелевич, на заседание Политбюро были приглашены также А. В. Луначарский, Ф. Ф. Раскольников. Докладывал И. М. Варейкис, выступили Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин и Г. Лелевич. Он же вместе с Бухариным и Луначарским был включен по предложению Сталина в комиссию по окончательной подготовке резолюции (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 91. Оп. 1 Д. 235. Л. 12).
- ¹⁹ Сталин И. В. Соч. Т. 11. С. 100, 130, 171; Т. 12. С. 10—12, 14, 16, 141—143; КПСС в резолюциях съездов, конференций, пленумов ЦК. 9-е изд. М., 1984. Т. 4. С. 48—49.
- ²⁰ См.: Пролетарская революция. 1930. № 5 (100). С. 8.
- ²¹ СЗР СССР. 1936. № 6. Ст. 45.
- ²² Шмидт С. О. Некоторые вопросы источниковедения историографии // Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 264; Шмидт С. О. О методике выявления и изучения материалов по истории советской исторической науки // Тр. Моск. гос. ист.-арх. ин-та. М., 1965. Т. 22.
- ²³ Луначарский А. В. Ленин и народное образование. М., 1960. С. 76—77.
- ²⁴ Никитин Е. Н. Архив историка П. П. Парадизова // Археограф. ежегодник за 1988 год. М., 1989.
- ²⁵ Часть работ этой тематики напечатана в разделе «Музейное дело» в кн.: Дружинин П. М. Избранные труды: Внешняя политика России. История Москвы. Музейное дело. М., 1988.

- ²⁶ Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1966. Т. 4. С. 255.
- ²⁷ *Филимонов С. Б.* Краеведение и документальные памятники, 1917—1929 гг. М., 1989; *Он же.* Историко-краеведческие материалы архива обществ по изучению Москвы и Московского края. М., 1989.
- ²⁸ Подробнее см.: *Шмидт С. О.* Краеведение — дело, значение которого не может быть преувеличено // Памятники Отечества. 1989. № 1, См. также: *Лексин Ю.* Первый перелом // Знание — сила. 1988. № 11. С. 67—75.
- ²⁹ *Рыбаков Б. А.* Учитель многих // Исследования по истории и историографии феодализма: К 100-летию со дня рождения академика Б. Д. Грекова. М., 1982. С. 117.
- ³⁰ *Филимонов С. Б.* Об использовании краеведческих изданий 1917 г.— 1930-х годов при составлении персональных указателей трудов видных ученых СССР // Археограф. ежегодник за 1985 год. М., 1987.
- ³¹ *Чаадаев П. Я.* Статьи и письма. М., 1987. С. 33.
- ³² *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 42. С. 346.
- ³³ *Покровский М. Н.* Институт истории и задачи историков-марксистов // Историк-марксист. 1929. № 14. С. 5.
- ³⁴ См.: Историк-марксист. 1920. № 15. С. 165.
- ³⁵ *Горбачев М. С.* Октябрь и перестройка: Революция продолжается. М., 1987. С. 12.
- ³⁶ Правда. 1988. 19 авг.
- ³⁷ Статистическое обозрение. 1928. № 5.
- ³⁸ *Чернобаев А. А.* М. Н. Покровский — ученый и революционер // Вопр. истории. 1988. № 8. С. 3—23.
- ³⁹ *Дружинин Н. М.* Воспоминания и мысли историка. М., 1967. С. 60.

ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ:

И. К. Пантин, Е. Г. Плимак, В. Г. Хорос.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТРАДИЦИЯ В РОССИИ
М., «МЫСЛЬ», 1986

А. Н. Сахаров

(д. и. н., зам. директора Института истории СССР АН СССР)

Книга вызвала большой интерес, споры. Она поднимает ряд новых проблем, ставят под сомнение некоторые устоявшиеся традиционные точки зрения. Необходимость сегодняшнего обсуждения исходит из того, что установка на бесспорность не может положительно отразиться на развитии научной мысли.

Предполагаются выступления не только работников Института истории СССР, но также АОН при ЦК КПСС, Института философии АН СССР, Московского университета, пединститута им. В. И. Ленина. На заседании присутствуют представители журналов «Вопросы истории» и «Истории СССР», издательства «Мысль».

Е. Г. Плимак

(Институт международного рабочего движения АН СССР)

Значение революционной традиции России определяется ее ролью. Традиция подготовила Октябрь 1917 г.— величайшее событие в истории человечества. В обсуждаемой книге исследуется более чем вековой процесс борьбы и исканий: дооктябрьское

прошлое помогает понять послеоктябрьский период развития страны. Выработка единой концепции позволила осмыслить обширнейший материал. В ее основе — суждение В. И. Ленина о России, стоящей на границе «стран цивилизованных» и «впервые втягиваемых в цивилизацию»¹. Это суждение — для Ленина последнее, итоговое — современная наука развернула в концепцию трех эшелонов развития мирового капитализма, где второй эшелон, к которому принадлежала Россия, отнюдь не копировал первый. Своеобразие России сохранилось и на монополистической стадии ее развития: сохранились повышенная роль абсолютистского государства, экономическое и культурное отставание страны, не вывоз, а ввоз капитала и техники, остатки помещичьего землевладения; в XX в. прибавилась неустойчивость всей социально-экономической системы, чреватой народными революциями.

Вся концепция книги увязана с ленинской периодизацией российского революционного движения: в условиях запоздалого, вторичного развития капитализма российская буржуазия не оказала влияния на формирование революционного авангарда страны — эту роль выполнили сначала интеллигенты — представители дворян и разночинцев, а затем пролетариат.

Тип запоздалого, вторичного развития определил и особенности формирования передового общественного сознания страны. В нем закономерно доминировала тема „Запад и Восток“, возникали сложные симбиозы западных социалистических идей с общинными концепциями русского происхождения; в конечном счете Россия творчески усвоила марксизм — самую передовую идеологию Запада. Существенное внимание уделено в книге тем особенностям буржуазного эволюционирования страны, которые определялись акциями «верхов». При крайней слабости противостоявших царизму сил это обусловило полукрепостнический характер всего царского реформаторства. В свою очередь, социально-экономические последствия половинчатого реформаторства XIX в. оказали влияние на весь характер классовой борьбы в XX в. 1861 год породил год 1905-й, да и год 1917-й.

Момент первый: хронологические рамки темы. Традиция и Октябрь — это в сущности единая тема: Октябрь дает масштаб для постижения традиции, а традиция — для понимания Октября. Советские историки в таком ракурсе тему почти не изучают. Не планируется такая работа и в Институте истории СССР АН СССР². Нам нужны труды именно по теме «Традиция и Октябрь», она ждет своего исследования.

Момент второй: наше отношение к ленинской концепции освободительного движения в России. Неблагополучие в этом вопросе мы зафиксировали, исследуя эпоху 1861 г. Но вопрос о ленинской концепции надо бы поставить более широко и принципиально. Оценки В. И. Ленина выработывались 60—80 лет назад. Если появились какие-либо новые данные, которые заставляют пересмотреть эти оценки, то такой пересмотр надо делать открыто, прямо. А что происходит у нас?

Обратимся к ленинской концепции Октября. Ее суть: социалистическая революция в стране, не завершившей формационной буржуазной перестройки. Эту суть — плохо ли, хорошо ли — мы пытались раскрыть в книге. В то же время эта именно суть обходится — причем «втихую», «под сурдинку» — в издаваемом ИМЛ при ЦК КПСС «Историческом опыте трех Российских революций» (М., 1985; М., 1986), в работах В. И. Бовыкина, В. Я. Лаверычева, П. Г. Рындзюнского и других товарищей. П. Г. Рындзюнский в своей книге «Утверждение капитализма в России» (М., 1978) вообще отнес процесс становления капиталистической формации в стране к середине 50-х—80-м годам XIX в., утверждая, что через стадию капитализма страна проходила «с необычайным динамизмом» — вплоть до «создания экономических, социальных и политических предпосылок выхода из нее»³. Но дело здесь не просто в каких-то отдельных непродуманных формулировках. Они, кстати, отсутствуют у академика Н. М. Дружинина, много занимавшегося проблемами генезиса русского капитализма. Дело в системе чрезвычайно тревожных фактов, касающихся нашего отношения к ленинскому наследию.

Из указанных выше работ ушло положение В. И. Ленина о России как стране «средне-слабого» капиталистического развития»⁴. Россия превратилась в страну «среднего» развития капитализма⁵. Ушли положения Ленина о том, что самые развитые формы капитализма у нас, «в сущности, охватили небольшие верхушки промышленности и совсем мало еще затронули земледелие»⁶. Нам доказывают: система финансового капитала приобрела в России «вполне законченный зрелый вид»⁷. Ушли данные о мизерности доли России в мировом промышленном производстве (2,6%, по другим данным — 3,14%), об экономическом отставании страны. Ленин приводил следующие пропавшие из наших работ цифры душевого потребления чугуна накануне первой мировой войны: в России всего 25 кг, в то время как в США — 233, в Германии — 136, Англии — 105. По поводу этих данных Ленин писал: «Россия остается невероятно, невиданно отсталой страной, нищей и полудикой, оборудованной современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки»⁸.

В своих последних работах сухановское положение о том, что «Россия не достигла такой высоты в развитии производительных сил, при которой возможен социализм», Ленин назвал «бесспорным» — это его собственные слова⁹. Но в то же время Ленин вскрыл убогость, недialeктичность сухановской концепции: недостаточная зрелость объективных предпосылок социализма в России компенсировалось (разумеется, в известных пределах и границах) развитостью, активностью субъективного фактора. Революционный пролетариат и крестьянство России по сути дела завоевали в годы первой мировой войны возможность — это ленинские слова — «иногo перехода к созданию основных предпосылок цивилизации, чем во всех остальных западноевро-

пейских странах»¹⁰. Они смели под руководством большевиков власть буржуазии, создали передовую политическую надстройку, а затем уже с ее помощью стали подтягивать отсталую страну к высотам мирового производства и культуры. Вскрытую Лениным «хитрую» диалектику реального исторического процесса и игнорируют иные наши труды. На первый взгляд они противостоят сухановской концепции: уровень производительных сил России теперь завывается до «среднего». Россия объявляется, причем по характеру, темпам развития ее экономики, равнозначной теперь другим «великим» державам»¹¹. На наш взгляд, эти труды недалеки ушли от сухановской методологии: из естественно-исторического процесса исключается, недооценивается активная деятельность людей, их воздействие на ход истории. При этом искажается и вся историческая перспектива России, развития страны. Если бы Россия накануне Октября была действительно страной «среднего» уровня развития капитализма, то зачем, спрашивается, потребовался бы нэп 21—28-х годов, потребовались бы перечеркнутые нэп индустриализация и коллективизация? Страну, конечно же, отбросили назад мировая и гражданская войны. Но ведь и к 1914 г. она не успела завершить ни промышленную революцию, ни «первоначальное накопление».

Историзм нарушается постоянно. В своей книге мы приводим обобщение академика М. В. Нечкиной: «Не увлечение западноевропейской философией, не заграничные походы, не примеры западноевропейских революций породили движение декабристов, его породило историческое развитие их страны»¹². Никто и не отрицает связи декабризма, как и любого другого явления российской жизни, с историческим развитием страны». Но ведь Россия — это подчеркивал и Ленин — была включена в систему всемирных связей. Как согласовать обобщение М. В. Нечкиной с ленинскими словами: дворянские революционеры «были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы»¹³. Как согласовать обобщение М. В. Нечкиной с огромным массивом свидетельств декабристов о роли Запада в их развитии? Уж если делать обобщения, то обобщения надо делать такого рода: в силу ограниченности собственного политического опыта в стране второго эшелона исключительное значение для формирования воззрений российских революционеров приобрели осмысление и пропаганда революционной практики ушедшего вперед Запада.

Выпали из наших работ основополагающие выводы Ленина о пассивности широких масс России XIX в.; тогда, говорил он, «историю творили горстки дворян и кучки буржуазных интеллигентов при сонных и спящих массах рабочих и крестьян. Тогда история могла ползти в силу этого с ужасающей медленностью»¹⁴. Жаль, что мы не привели в книге это положение. Но мы подробно останавливаемся на том, что даже эпоха 1861 г — эпоха относительного подъема крестьянского движения — была, по выражению Ленина, «эпохой полной неразвитости угнетенных масс»¹⁵. При этом мы решительно отвергаем попытки буквалистского истолко-

вания формулы: «реформа — побочный продукт революционной борьбы». Не надо, прикладывая общие определения к конкретным историческим ситуациям, превращать последние в иллюстрацию известных нам закономерностей. Надо, отталкиваясь от общих определений, вскрывать специфику исторических процессов.

Крымская война побудила царизм к реформаторским акциям, которые и вызвали движение масс. Крестьянские волнения 1858 г., правда слабые, последовали вслед за царскими рескриптами конца 1857 г. Более широкие волнения 1861 г. последовали вслед за обнаружением Положений 19 февраля. Снова своеобразнейшая перестановка «элементов исторического развития» и снова полное игнорирование ее историками. Доказывают М. В. Нечкина и ее коллеги в «Революционной ситуации в России в середине XIX века» следующую истину: реформа 1861 г. была вырвана «низами» у «верхов». Если бы это было действительно так, вся история России пошла бы иначе!

С величайшим трудом усваивается нами ленинское положение: Россия «поистине выстрадала марксизм». Редко в каком труде не фигурирует эта цитата, но попытка изучить процесс этого «выстрадывания» вызвала упорнейшее сопротивление. Ф. Прийма, Г. Шторм, М. Пинаев горой вставали против анализа «духовных драм» Радищева, Белинского, Чернышевского. Мы в своей книге смогли остановиться только на дискуссии вокруг Радищева. Скажу и о других именах. Известно, сколь ценил Ленин сурово-трагическую и вместе с тем реалистическую концепцию «Пролога» Чернышевского. На «Пролог» Ленин опирался, вырабатывая свою оценку эпохи 1861 г., но об этом нет упоминания в той же изданной в институте «Революционной ситуации...». Зато расхвалена незрелая «Молодая Россия».

И последний момент: историография данной отрасли исторической науки. Сводной историографии в нашей отрасли нет. А без нее нельзя выявить перспективные направления, предупредить от повторения ошибок прошлого, избавиться от буквалистского толкования марксистской методологии.

На одном моменте я задержусь специально. И в книге, и в моем выступлении посвящено много места критике М. В. Нечкиной. Я поставлю вопрос принципиально и совершенно открыто — о полемике в нашей отрасли исторического знания между школами М. В. Нечкиной и Б. П. Козьмина. Я не претендую на развернутую оценку этих школ. Но главное я все же подчеркну. М. В. Нечкина — об этом мы говорим во «Введении» к книге — была крупнейшим историком. Она строила смелые и всеобъемлющие концепции, создавала обширные труды, обладала немалым литературным талантом. Но ее концепция — этому мы уделили главное внимание — грешила изъянами, к тому же она часто сходилась с фактов на дорогу увлекательных домыслов и вымыслов. Кому многое было дано, с того и большой спрос. Б. П. Козьмин не достиг высоких званий и постов, он не строил обширных концепций. Но он достиг высшей объективности. Он умел строго

держаться на почве фактов, зачастую трагических, прискорбных, но разбивающих всякого рода иллюзорные построения.

Нам необходимо теперь, как говорят философы, «снять» содержание этих двух школ с их достоинствами и недостатками. Нам надо строить высшие концепции, но на почве твердых фактов, уметь ценить факты, но избавляться от ползучего эмпиризма, писать увлекательные книги, но без каких-либо вымыслов и домыслов.

К этому я бы еще добавил: и пора перестать рисовать традицию в облепленном, отлакированном, розовом свете. Это в русле того казенного оптимизма, который царил в недавние времена, но это отнюдь не соответствует задачам наших времен.

ВЫСТУПЛЕНИЯ

М. Г. Вандалковская

(Институт истории СССР АН СССР):

Авторы обсуждаемой книги поставили перед собой цель пересмыслить имеющиеся исторические факты или явления. Это осмысление проводится с помощью ряда ключевых идей, которые цементируют новую концепцию. Я позволю себе очень коротко перечислить эти идеи.

Это прежде всего идея о так называемых эшелонах развития, идея самопроизвольного развития капитализма в странах Западной Европы и искусственно-естественного развития капитализма в России. Это признание России отсталой страной второго эшелона, где Россия сравнивается с такими странами, как Турция, Греция, Япония; это идея заимствования Россией западноевропейской культуры и признание характерной особенностью русского развития высокой способности усвоения западноевропейской цивилизации.

Авторы признают общие закономерности европейского и российского развития, во-первых, в той мере, в какой капитализм развивается изнутри, и, во-вторых, в той, в какой мере ассимилируемые формы внешнего капитализма укореняются в самой российской действительности. Авторы признают огромное значение роли государства в экономическом и социальном развитии страны. Следует упомянуть также авторскую идею о низком уровне культуры России, т. е. о практическом отрицании культурного развития страны до XVIII в. Эти и другие взгляды не являются новыми; они были высказаны в дореволюционной исторической науке. Наиболее полное и концентрированное выражение они нашли в концепции Милюкова и особенно в его «Очерках по истории русской культуры». Милюков считал, что экономика России и Западной Европы развивалась по разным схемам. В Западной Европе это развитие шло снизу вверх, а в России — сверху вниз, т. е. от экономики к государству и от государства к экономике.

Милюков называл себя сторонником естественно-искусственного развития капитализма в России. Он активно спорил по этому вопросу с Туган-Барановским, защищавшим принцип органического развития российского капитализма. Общие закономерности европейского и российского развития Милюков признавал в той мере, в какой западноевропейские формы были пригодны для «наличного содержания российской жизни». А когда Милюкова спросили, что он считает особенностью русского характера, он ответил: способность воспринимать. В процессе исторического развития Милюков придавал огромное самодовлеющее значение государству. Государство он рассматривал как определяющий фактор экономического и социального развития. Феодализм и капитализм, с его точки зрения, развиваются при преобладающем влиянии не собственно экономических и социальных процессов, а под влиянием самодержавной политики. И наконец, Милюков говорил об особой духовной эволюции российского развития, имея в виду непреходимую грань между образованными классами и народом.

Если сопоставить таким образом идеи рецензируемой книги и концепции Милюкова, то обнаруживается бесспорное и существенное совпадение позиций. Я не берусь судить, отчего это произошло. Удивительно, что авторы отторгают себя от Милюкова в решении частных вопросов (например, о Радищеве), а в кардинальных вопросах очевидно значительное совпадение. Вопрос о преемственности дореволюционной и советской исторической науки — сложный вопрос, требующий внимательного отношения и осмысления. Так называемые «новые концепции» часто являются повторением «старых» концепций, которые необходимо тщательно изучать.

Второй вопрос — о понимании революционной традиции. Я не согласен с авторским пониманием проблемы.

Революционная традиция, с моей точки зрения, включает в себя идейно-теоретический арсенал, организационные принципы движения и опыт, приобретенный в соединении теории с практикой. Революционная традиция — это проблема наследства, проблема преемственности предшественников русской социал-демократии. Авторы книги весьма расширительно толкуют это понятие и включают в него нечаевщину. По квалификации самих авторов, нечаевщина — мнимая революционность. Включение мнимой революционности в революционную традицию по меньшей мере логическая несообразность. А вот опыт борьбы с нечаевщиной, с экстремизмом, анархизмом должен входить в историческую традицию. В подаче этого материала в книге смещены акценты. В этой связи следует заметить, что необходимо различать историческую и революционную традиции. Это разные понятия, а авторы смешивают их.

Вызывает возражение толкование авторами ленинской формулы «реформа — побочный продукт революционной борьбы», анализа крестьянской реформы. В авторской трактовке этой проблемы очевидна недооценка экономического развития страны, су-

щественная недооценка роли крестьянского движения как объективного фактора, влиявшего на проведение реформы.

Что касается Крымской войны, то это лишь ускоряющий фактор.

В общей системе признаков революционной ситуации авторы книги преувеличенное значение придадут кризису верхов. Это идет от их общих установок о преувеличенной роли государственной надстройки.

Важно отметить, что критика авторами коллективного труда «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.» не всегда академична и корректна.

Требует серьезных коррективов и освещение собственно революционного движения. Нельзя согласиться с завышенной оценкой социалистической традиции в ущерб политической. Русская революционная мысль, начиная с декабристов, вырабатывала традицию борьбы за политическую свободу. Республиканские традиции декабристов, антифеодальные демократические традиции Белинского, шестидесятников и Чернышевского дали большой опыт борьбы за политическую свободу. Авторы книги перекрывают эту традицию утопическим социализмом, не соблюдая пропорции и смещая акценты.

Мне хотелось бы возразить авторам по вопросу о хронологических рамках возникновения революционного и либерального лагерей. Конкретный материал — споры Герцена, Белинского, славянофилов, западников, Грановского о Французской революции, роли буржуазии, путях развития России — дает основание относить начало этого процесса к концу 30-х — началу 40-х годов.

Замысел книги заслуживает поощрения и внимания, но воплощение этого замысла должно было бы быть иным.

П. Г. Рындзюнский

(Институт истории СССР АН СССР).

Тема обсуждаемой книги широка. Я больше сосредоточусь на двух ее главах: третьей — о движении декабристов и шестой о реформе 1861 г.

Уже в главе о декабристах звучит мотив, который проходит через всю книгу и лежит в основе ее концепции. Это утверждение об отсталости России; ею объясняется много. Но можно ли так безоговорочно и однонаправленно утверждать этот тезис? При исчислении среднедушевого потребления промышленных товаров в дореформенной России мы получаем мизерный показатель по сравнению с передовыми странами, и это безусловно оправдывает тезис об отсталости страны. Но исчерпывается ли этим решение вопроса? Сравнение уровней развития экономики, а с ней и социального строя различных стран, — дело не простое. Оно должно обязательно происходить с учетом экономо-географических структур сравниваемых государств. Маленькая по территории Бельгия уже в первой половине XIX в. была переполнена ма-

шинной техникой. Но и в аграрной России примерно в тех же территориальных размерах были районы высокоразвитого промышленного производства, которые отнюдь не теряли своих специфических качеств от того, что за их пределами тянулись на сотни верст пространства с чуть ли не первобытными формами хозяйства. Поэтому проблемы индустриального и вообще экономического развития на путях становления капиталистической системы были актуальны в России уже в первые десятилетия XIX в. Надо понять (а это пока незаметно у авторов книги), что «отсталость» и «неотсталость» страны в определенное время могут быть не взаимоисключающими, а сосуществующими определениями, и потому говорить об одном из них, замалчивая другое,— значит проявлять однобокость в понимании эпохи, значит ее исказить.

Авторы уверены, что декабризм возник в условиях «громкой отсталости России» (с. 83), когда «об отсталости российского феодализма говорить пока не приходится» (Там же). По мнению авторов, экономическое развитие тогда еще происходило не вопреки феодальным институтам, которые сохраняли свою дееспособность. Здесь не место проводить серьезный сравнительный анализ состояния российской и зарубежной экономики с цифровыми выкладками. Приведу лишь один показательный факт. Известно, что исход военных действий зависит не только от энтузиазма и самоотверженности защитников родной земли. Конечно, этот фактор очень важен, но он должен быть подкреплен материальными средствами. Мы знаем, что справедливые войны против агрессоров не всегда, к сожалению, приходят к справедливому концу, если обороняющиеся страны не имеют достаточного экономического потенциала. В Отечественной войне 1812 г. и продолжавших ее заграничных походах 1813—1815 гг. накануне зарождения декабризма Россия не только изгнала из своей страны агрессора, но и заняла ключевые позиции в продолжавшейся антинаполеоновской коалиции. Успехи России нельзя объяснить лишь моральным фактором, по справедливости высоко нами оцениваемым. Он должен быть подкреплен материально. В работе Л. Г. Бескровного немало места отводится вопросу о соотношении производственных уровней в России и странах Европы, материальные ресурсы которых широко использовал Наполеон. По справедливому замечанию автора, «развитие капитализма в недрах феодального строя обеспечивало возможность изготовления современного, отвечающего требованиям времени вооружения... те же экономические процессы определяли возможности производства обмундирования и снаряжения, а также заготовки продовольствия. Во всех этих отношениях Россия не уступала буржуазной Франции»¹⁶. Заметим, что речь тут идет не только о специальной военной промышленности, но также и об общегражданском производстве. Отставание России дало знать о себе позднее, когда на Западе произошел промышленный переворот, а Россия только к нему приближалась.

Для нас важна не столько материальная, сколько социаль-

ная сторона развития. Ко времени декабристского выступления социальная структура России была куда более сложной и соответственно общественная жизнь в ней была более богатой, чем это принимается в рассматриваемой нами книге. Буржуазное развитие России породило в ней крупные кадры оппозиционных деятелей, не входивших в круг революционеров, но могущих в благоприятных условиях (а их создание во многом зависело от предварительных действий революционеров, если бы они к этому были способны) значительно развить и усилить дело активных борцов за освобождение. Известные слова о том, что заседания в Государственном совете зачастую напоминали собрания членов Союза благоденствия, имеют под собой основу. Все крупные буржуазные революции Запада происходили в мануфактурный период, который переживала Россия на первом этапе революционного движения. Следовательно, стадияльно она была подготовлена к революционному движению, она не отставала ни в экономическом отношении, ни в отношении общественного самосознания. Авторы книги делают слишком большой упор на знакомство передовых людей России с произведениями зарубежных авторов. Конечно, они содействовали их культурному и интеллектуальному развитию, но их воздействие могло быть лишь слишком общим для решения конкретных вопросов российской действительности. Вспоминается ответ Н. М. Дружинина на мой вопрос: где выразилась существенная экономо-политическая программа декабристского движения? Дружинин ответил мне кратко и безоговорочно: она полностью изложена в трактатах Н. С. Мордвинова.

Огорчает тенденция авторов притушить проявления свободолюбия народа и его влияние как на революционных идеологов, так и на правительственные круги. Это остро сказывается в главе о реформе 1861 г. Для укрепления своего понимания, что главным фактором, приведшим к реформе, было поражение в Крымской войне, автору главы пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы ослабить значение ленинского тезиса о реформе как побочном продукте революционной борьбы. Сказав, что эти слова — «аксиома для исследователей-марксистов» (с.164), автор в ряде мест главы постарался как-то ограничить их значение, притушить их. Например, упоминается, что выражение Ленина о побочном продукте, как «всякая общая истина, хотя и верно схватывает суть вещей, все же неизбежно бедна, узка, схематична» (с. 160). Далее порицаются те исследователи, которые те же ленинские слова понимают «отнюдь не в каком-то переносном, а в буквальном, прямом смысле этого слова» (с. 161). Автор не почувствовал необходимости разъяснения этих своих рискованных и очень туманных замечаний. Не раз цитируя слова Ленина о «побочном продукте», автор нигде не показывает, что его цитата — заключительная часть ленинской мысли, которая содержится в предыдущих его словах: «Революционеры — вожди тех общественных сил, которые творят все преобразования», и уже за этими словами говорится: «Реформа — побочный продукт революцион-

ной борьбы»¹⁷. Вначале констатируется взаимодействие движения масс с революционерами-идеологами, которое означало серьезный сдвиг к образованию из крестьянства революционного класса, и на этой основе его борьба смогла дать «побочный продукт». Таков смысл этой фразы. К сожалению, у нас до сих пор нет серьезного теоретического в плане исторического материализма разбора соотношения явлений: «революция снизу» и «революция сверху».

Огорчает тенденция (в главе о реформе) снизить историческое значение народных движений, утверждение, что в эпоху реформ они будто бы не столько предшествовали преобразованиям, т. е. не вызывали их, сколько были лишь ответом на преобразования. Это огорчает здесь так же, как сомнения, выраженные в главе о декабристах, относительно правильности слов: «Движение декабристов выросло на почве русской действительности... его породило историческое развитие их страны» (с. 82). Мне кажется, что сомнений в правильности этих слов быть не может.

Книга посвящена важному вопросу. Пленяет широта замысла. Мешает хорошему выполнению однобокость (плоскостность суждений, их недialeктичность), непризнание совмещения таких определений, как: Россия была отсталой и одновременно неотсталой страной, народные (крестьянские) движения были слабыми и одновременно сильными.

В. Ф. Пустарнаков

(Институт философии АН СССР)

Создается впечатление, что у нас уж слишком много стало появляться работ, из которых не ясно, действительно ли они написаны о России или о какой-то мнимой стране под названием Россия? И сейчас, решившись принять участие в обсуждении книги «Революционная традиция в России», я не могу не вспомнить хотя бы некоторые идеи других книг, так или иначе затрагивающих эту проблематику, книг, которые, как мне кажется, написаны о какой-то ненастоящей, неподлинной России. Обсуждаемая сегодня книга в целом, за малыми исключениями, — книга правдивая, книга о подлинной революционной традиции настоящей России, и противостоит она целому ряду книг, о которых этого сказать я не могу. Такое качество обсуждаемая книга приобрела, по-моему, потому, что весь анализ революционной традиции в России покоится в ней на адекватных представлениях о базисных, социально-экономических, а также культурных предпосылках этой традиции, и прежде всего на адекватных представлениях об уровне, формах и особенностях развития капитализма в России.

Какой рисовала Россию традиционная марксистская мысль? К. Маркс на вопрос о судьбах капитализма в России до конца жизни не вышел за рамки альтернативных ответов: «Если ка-

питалистическое производство должно восторжествовать в России...»¹⁸ — его формула 1881 г. Ф. Энгельс в 1894 г. полагал, что «в России были заложены все основы капиталистического способа производства»¹⁹.

Поскольку у нас в последние десятилетия очень многие любят говорить об «ортодоксальности» Г. В. Плеханова, стоит вспомнить о том, что он не верил «в близкую возможность социалистического правительства в России»²⁰ ни в 1883, ни в 1905, ни в 1917 г. и до конца своих дней полагал, что русская история еще не смогла той муки, из которой будет испечен «пшеничный пирог социализма»²¹.

Уже после 1917 г. в полемике с Н. И. Бухариным В. И. Ленин считал нужным говорить лишь об «известной высоте капитализма» в дооктябрьской России. Ленин всегда относил Россию к одной из наиболее отсталых из всех капиталистических стран со средне-слабым развитием капитализма²².

В 1915 г. В. И. Ленин резко критиковал Л. Д. Троцкого за то, что тот выдвигал лозунги, означавшие, что Россия стоит якобы прямо перед социалистической революцией²³. И лишь в апреле 1917 г. В. И. Ленин сделал вывод о том, что буржуазно-демократическая революция в России закончена, и поставил практически вопрос о ее перерастании в социалистическую революцию.

А что можно прочесть в новейшей советской литературе по этим вопросам? Выходит, например, книга П. Г. Рындзюнского «Утверждение капитализма в России» (М., 1978), в которой доказывается, что процесс утверждения капитализма в России в основном завершился к началу 80-х годов XIX в. И остаешься в недоумении: как же российский капитализм «утверждался» так ловко и так замаскировался, что это огромное событие не заметили даже основоположники научной теории, впервые объяснившей, что такое капитализм? И почему понадобилось еще 100 лет, чтобы обнаружить такое «утверждение»?

- Во многих работах, посвященных началу XX в., можно прочитать о том, что в это время в России уже проявились чуть ли не все закономерности стадии империализма и сложились вполне определенные и достаточные, внутренние, материальные и прочие предпосылки для социалистической революции. Какие-то оговорки при этом, конечно, делаются, но линия проводится вполне определенная: феномен Великой Октябрьской социалистической революции объясняется по преимуществу внутренними условиями развития России на рубеже XIX—XX вв.

Так и хочется спросить, о какой стране рассказывается в этих книгах? О той стране, о которой писали Маркс, Энгельс, Ленин, Плеханов и другие марксисты, или о какой-то другой стране?

Все эти вещи не случайные. Когда встречаешь почти безоговорочные высказывания о феодальном характере Киевской Руси, о генезисе капитализма в России еще с XVI в. (а недавно я услышал высказывание о 300-летней истории развития капита-

лизма в России) и потом вспоминаешь прогноз о построении материальной базы коммунизма и т. д. и т. п., то становится очевидным, что это звенья одной цепи, порождения одного стиля мышления, это не открытия, а изобретения. И мне кажется, что обсуждаемую сегодня (и уже некоторыми фактически осуждаемую) книгу следует оценивать прежде всего в контексте общей ситуации, существующей на сегодняшний день в историографии России, в контексте тех негативных тенденций, которые у нас накопились.

Мне лично книга представляется очень ценной не ее отдельными очерками, главами, хотя они сами по себе также интересны, а прежде всего ее общим духом, ее наиболее общими мотивами, методологическими и ценностными установками, конечными выводами и оценками. Сейчас говорят много о необходимости нового мышления. Конечно, это верно. Но думается, что нам сейчас не хватает даже доброго, старого, традиционного, ортодоксального марксистского мышления. Обсуждаемая сегодня книга хороша, между прочим, тем, что в ней очень обильно использована старая, но не устаревшая марксистская литература, относящаяся к предмету исследования. В ней идеи Маркса, Энгельса и Ленина, особенно те, которые в последние годы мало используются, используются творчески и плодотворно. Немножко занимаясь этими сюжетами, я хорошо представляю, как широко распространена в нашей литературе «фигура умолчания» по отношению к текстам классиков марксизма-ленинизма, относящимся к России, и как не менее широко распространено весьма вольное толкование других их текстов. В этом отношении обсуждаемая книга может служить примером бережного и творческого отношения к наследию классиков марксизма-ленинизма.

Я думаю, что авторы совершенно правы, когда говорят, что «до сих пор не преодолено заметное отставание теоретического, концептуального осмысления истории освободительного движения в России от ее фактографически-описательного освоения» (с. 5). У них же есть вполне определенная теоретическая концепция освободительного движения в России. И думается, что основаниями этой концепции являются следующие положения: 1) «Развиваясь по законам капитализма, российское общество так и не стало вполне капиталистическим» (с. 6); 2) «Российский капитализм далеко не в полной мере создал необходимую материальную и культурную базу для строительства социализма» (с. 55); 3) «Не будь войны (речь идет о первой мировой войне), страна могла бы прожить еще годы и даже целые десятилетия без революции против капитализма» (с. 316); 4) реальный социализм, помимо своих сущностных, внутренне присущих ему целей, вынужден осуществлять и задачи, недорешенные капитализмом (с. 56). За эти фундаментальные (в нынешней ситуации) идеи авторы обсуждаемой книги достойны того, чтобы воздать им должное и за глубину их исторического и социологического мышления, и за мужество, с которым они эти идеи развернули в своей книге. Хотелось бы отметить также принципиальное положение книги о том, что революционная традиция не выво-

дима лишь из внутреннего, национального контекста, что она может быть понята лишь на общемировом фоне (с. 14).

В каких-то конкретных случаях с авторами можно было бы поспорить относительно адекватности применения этой установки. Но, на наш взгляд, они правы в основном, в главном: взяв за методологическую основу тезис Маркса о том, что в каждом национальном сознании может отражаться не только собственный базис данного общества, но и противоречия между национальным сознанием этого общества и практикой более развитых стран, они сумели объяснить многие явления в истории русского освободительного движения глубже, чем их предшественники.

Есть у меня, конечно, некоторые расхождения с авторами. Прежде всего я с ними не согласен в решении вопроса, когда и как произошло внесение социализма в российское освободительное движение, когда политика и политические революции были признаны недостаточными, когда просветительская идеология в России отошла на второй план. Думаю, что в этих случаях у авторов есть забегание вперед. Но все эти и некоторые другие недостатки с лихвой окупаются несравненно большими достоинствами книги. В целом она представляет собой крупное явление в нашей историографии.

Б. С. Итенберг

(Институт истории СССР АН СССР)

Я хочу, во-первых, согласиться с мнением А. Н. Сахарова, что обсуждение это своевременно. Обсуждается книга, а не рукопись, и с ней могла ознакомиться широкая общественность. Таким образом, в нашем институте молчание нарушено. Мне кажется, что книга эта отвечает сегодняшнему дню. Задуманная в спокойное время, она теперь пришла как раз ко двору, когда мы пересматриваем свои позиции и решаем, что у нас верно, а что — нет. Мне нравится, что авторы провели испытание на прочность истории общественного движения. Экзаменаторы — люди не случайные. Их прежние исследования касались тем Радищева, Нечаева, народников, Чернышевского, проблем революционного процесса, революционного сознания и т. д.

Лет 20 назад Е. Г. Плимак с Ю. Ф. Карякиным явились возмутителями спокойствия, опубликовав книгу о Радищеве. Обсуждаемая монография — новаторская, она трактует проблемы в отходе от сложившихся стереотипов, показывает сложность исторического процесса, раскрывает проблемы подлинной и мнимой революционности, взаимодействие западноевропейского и русского освободительного движения в России. Я полностью соглашаюсь с критикой, которая высказана авторами по поводу первой революционной ситуации. Показательно, что в 1979 г. в «Вопросах философии» была опубликована критическая статья по поводу концепции первой революционной ситуации, написанная Плимаком и Пантиним. С тех пор прошло почти десять лет — и ни слова против этой статьи не прозвучало.

Я очень высоко ценю деятельность М. В. Нечкиной, особенно ее публикаторскую деятельность, заслуги в этом отношении и Е. Л. Рудницкой. Важную роль в науке играют те факсимильные издания, которые мы теперь имеем. Но я разделяю тревогу, прозвучавшую в выступлении Е. Г. Плимака относительно концепции М. В. Нечкиной.

Конечно, Милица Васильевна не была «монополистом» в области историографии первой революционной ситуации. Конечно, звучали отдельные голоса противников этой концепции — Ю. Н. Короткова, Н. А. Троицкого и др. Это были очень слабые голоса. Основное все-таки было в руках Милицы Васильевны. Всем памятна, наверное, блестящая полемика, которая развернулась в 50-е годы между Б. П. Козьминым и М. В. Нечкиной. Это была полемика двух достойных противников. После того как ушел Борис Павлович, равных в науке по калибру людей в этой области исторических знаний по сравнению с Милицей Васильевной не оказалось. Взгляды Нечкиной стали господствующими.

У меня сложилось впечатление, что некоторые разделы истории революционной ситуации придется переписывать: они не отвечают исторической правде.

Высоко оценивая новаторский подход авторов книги, я хотел бы высказать несогласие с рядом конкретных положений, указать на некоторые ее недостатки.

Мне думается, товарищи авторы, что ваша проблема революционной традиции несколько сужена. Она недоучитывает, что в условиях самодержавия в России большую роль играла российская публицистика. Закрывали один журнал — открывался другой, а когда закрывался другой и вообще не было революционной трибуны, революционные писатели высказывали свою точку зрения со страниц либеральной печати. Вспомните ту же газету «Правда». Это общая традиция революционно-демократической печати. Настроение общества определяется не только и не столько подпольной деятельностью, сколько общей направленностью всей цензурной и подцензурной печати.

Второе соображение касается роли религиозного фактора в народническом движении. Дело в том, что в книге сначала сказано для приличия: «Безусловно, религиозность среди народнической молодежи не имела ничего общего с традиционной религией». Далее говорится о неустоявшемся атеизме. Для того чтобы доказать какой-то религиозный аспект этого движения, авторы используют воспоминания участников народнической борьбы, касающиеся их детства. И многие из них действительно говорили, что в детстве испытывали религиозные чувства и были верующими. В этом нет ничего странного и удивительного. И Ленин до 16 лет был верующим. Ну и что? Это вообще не критерий, я считаю это надуманным. Я смотрел сотни архивных дел и знаю всю литературу по этому вопросу — эта концепция не подтверждается.

И последнее — о второй революционной ситуации. Я не согла-

сен с концепцией авторов книги. Здесь вторая революционная ситуация, если говорить упрощенно, почти не признается. Вы признаете, что действие оказывал только революционный террор, партия народовольцев осуществляла принуждение по отношению к правительству. Таким образом, вы отрицаете наличие в целом революционной ситуации, ссылаясь на то, что крестьянское движение было очень слабым — малое количество крестьянских волнений. Я не против того, чтобы какие-то положения в науке оспаривать, но давайте это делать квалифицированно. Дело не в количестве крестьянских волнений, а в том, в каком состоянии находились деревня, все общество. Посмотрите прессу, все журналы, которые были в это время, и вы увидите накал народного недовольства. Ваш аргумент — ссылка на количество крестьянских волнений — не выдерживает критики. Почему я говорю об этих недостатках? Книга вышла, ее читают, она пользуется успехом, она будоражит мысль, мне думается, что авторы учтут эти замечания.

Н. М. Пирумова

(Институт истории СССР АН СССР)

Обсуждаемая книга — первая в нашей литературе последних лет попытка теоретического осмысления кардинальных проблем освободительного движения в России. Книга раскованная, в ней много свежих неординарных мыслей, она написана людьми, не связанными догматическими представлениями, господствующими во многих наших работах. Книга написана авторами, взявшими на себя задачу анализа истории освободительной борьбы в контексте мирового революционного процесса. Казалось бы, это естественно, но таких попыток у нас не было. Поскольку факт причастности к мировому революционному процессу бесспорно сыграл свою роль, поскольку утопический и научный социализм пришли к нам с Запада, некоторая западная ориентация авторов представляется правомерной, она дает ряд преимуществ, позволяющих углубить и раскрыть суть проблемы, расширить анализ некоторых представлений. В целом книгу можно назвать новаторской, целостной, комплексной.

Я присоединяюсь к тем выступающим, которые по поводу проблем крестьянского движения накануне реформы говорили, что новых данных, меняющих решительно положение дела, нет. Количество крестьянских волнений было значительно меньше накануне реформы, чем после нее. Ленин прямо указывает на раздробленность одиночных стихийных выступлений крестьян и говорит об определяющем значении для реформаторской деятельности правительства поражения России в Крымской войне. В свете этого вызывает удивление утверждение некоторых авторов о том, что под натиском революционной «партии народа», во главе которой стоял Чернышевский, правительство вынуждено было решительно пойти на отмену крепостного права²⁴. Бес-

спорно, что крестьянское движение являлось *одним* из компонентов революционной ситуации, решающим в момент реформы оно не было.

Солидаризируясь с авторами по ряду вопросов о декабризме, о просветительстве, о нечаевщине, в то же время хочу сказать об издержках их общей постановки вопроса, их «западной линии». Анализ через призму общих социальных процессов, свойственных странам позднего развития капитализма, далеко не всегда удачен. Речь идет о национализме, историческую задачу которого авторы видят в «идейном преодолении отсталости», в том, что он служил «импульсом развития становящейся нации». Но ведь этот процесс следовало бы назвать становлением национального сознания, которое далеко не идентично национализму как таковому!

Далее, развивая свои представления об универсальном для всех непередовых стран национализме, авторы добавляют, что ему свойственно стремление «затушевывать» превосходство более развитых стран и всячески подчеркивать собственные национальные достоинства. Здесь, хотя и в мягкой форме, признаются главные признаки национализма, идеи национального превосходства, национальной исключительности.

Не споря о том, что где-то в экономически и социально отсталых странах именно так может обстоять дело, не могу согласиться с тем, что, как пишут авторы, «странная любовь» к России М.Ю. Лермонтова, вера в народ и желание деятельно участвовать в его судьбах А. И. Герцена, птица-тройка Н. В. Гоголя порождены их национализмом. Слова о «национализме любой страны», для любого исторического времени, определение этим сути творчества поэтов и мыслителей прошлого напоминают своей прямолинейностью социологические построения, имевшие место в начале становления советской исторической науки.

Я не согласна с авторами книги в трактовке теории «русского социализма» Герцена, которая дается вне развития, без изменения с того времени, когда Герцен впервые выступил с этой теорией.

Несколько слов о религиозных элементах сознания, присущих революционному народничеству. Мне кажется, что раздел этот написан недостаточно четко. Безусловно справедливы здесь приведенные в книге слова Дидро о том, что «атеизм и есть ваша религия», в общем верна характеристика этого явления Н. А. Морозовым: «Они...сделали из крестьян себе бога». Не вызывают возражения слова самих авторов книги о том типе сознания, в котором присутствует потребность веры, даже веры в постулат об отсутствии бога. Во всех случаях речь идет о недостаточном рационализме «группового сознания» народников, об их идеалистической в целом системе взглядов. Ее действительно можно назвать, как это делает Е. Б. Рашковский, на которого и ссылаются авторы. «разновидностью религиозного *по типу* сознания, проявляющегося в социальном утопизме, сознания, мифологизирующего представления о крестьянстве».

Все это так, но привлечение в качестве доказательств *фразеологии* народников, а также их детских впечатлений (Михайлов, Лизогуб) и, наконец, этических критериев представляется поверхностным и неосновательным.

При наличии целого ряда и мелких и крупных недостатков в этой работе я считаю, что мы должны приветствовать появление такой работы. Авторами сделан значительный шаг в изучении русской революционной традиции, но это, повторяю, только первый шаг, и дальнейшую работу по этой проблеме мы будем проводить вместе, потому что без нее нельзя создать полной картины развития русского освободительного движения.

И. А. Булыгин

(Институт истории СССР АН СССР)

Я коснусь в основном первой главы книги, названной «Предпосылки формационного порядка», в которой излагаются общие взгляды авторов на социально-экономическое и политическое развитие дореволюционной России. Она хотя и носит как бы вводный характер, но по своему значению, думается, занимает ключевое положение в работе. Я остановлюсь главным образом на начале развития капитализма в России, которое относится в книге к XVIII в.

В основе концепции русского капитализма у авторов лежит идея о его неорганическом, искусственном происхождении. Так, в самом начале своего изложения они заявляют, что внутренние предпосылки для принятия победившего на Западе буржуазного способа производства в феодальной России еще далеко не сложились. Уже из этого утверждения вполне вытекает, что Россия только «принимала», заимствовала капитализм извне, причем и для такого заимствования в ней еще не было внутренних условий и, следовательно, складывавшийся русский капитализм не мог носить естественного характера. В дальнейшем, несмотря на некоторые оговорки, авторы постоянно подчеркивают неорганичность буржуазного развития России, пересадку на феодальную российскую почву зрелых ростков европейского капитализма, импорт элементов буржуазной формации и т. п. Выходит, что общественно-экономическая формация возникает не в результате прежде всего внутреннего развития страны, а путем заимствования новых отношений извне.

Подобная теория имеет мало общего с марксистско-ленинским учением о возникновении и развитии общественно-экономических формаций и совсем не согласуется с фактами русской истории. Нужно отметить, что по своей сути она отнюдь не нова и во многом лишь повторяет взгляды народников об искусственности русского капитализма.

Другой важной особенностью развития капитализма в России в книге объявляется огромная роль государства, капитализм по существу насаждается «сверху». Но если обратиться к XVIII в.,

то и данный тезис не выдерживает критики. Наиболее значительный рост казенных предприятий наблюдался только в правление Петра I, но и он в конце своего царствования стал раздавать их в частные руки. И уже к середине XVIII в. количество казенных мануфактур было весьма небольшим и они не играли сколько-нибудь значительной роли в экономике страны.

Однако государство, как считают авторы, не только насаждало предприятия, но и загоняло их в «феодалные колодки», т. е. придавало им феодально-крепостнический характер. Фактически же для XVIII в. была показательна совсем другая политика. Например, Петр I лишь в 1721 г. разрешил покупку крестьян к мануфактурам, а до этого постоянно призывал заводить мануфактуры на наемном труде, приглашать на них «охочих» людей. А в 60-х годах XVIII в. Екатерина II вообще запретила покупку и приписку крестьян к мануфактурам.

Затрагивается в книге и вопрос о крупных русских предприятиях конца XVIII в., в частности в металлургии, которая занимала в то время первое место в Европе по выплавке железа. Но и здесь авторские оценки не соответствуют действительности. Совершенно неправомерно считать, что на крупных мануфактурах трудились главным образом крепостные рабочие. На многих из них использовались преимущественно или даже исключительно вольнонаемные работники. Нельзя крепостным трудом объяснять и успехи отечественной металлургической промышленности, в основе которых, как хорошо известно, лежала более передовая по сравнению с западноевропейскими странами технология производства железа.

Можно было бы привести немало и других примеров, когда факты подбираются в угоду выдвинутой схемы, одни замалчиваются, другие выпячиваются, а третьи вообще исключаются.

Таким образом, все основные положения книги о развитии капитализма в России XVIII в. не выдерживают критики, они несостоятельны как в методологическом, так и в конкретно-историческом отношении.

Случайно ли появление такой работы? Я думаю, нет. Нужно прямо сказать, что в нашей исторической науке в последнее время сложилось особое направление, которое ставит своей целью доказать извечную отсталость России, несамостоятельность ее исторического развития, ущербность русского народа. К этому направлению и принадлежит обсуждаемая книга.

В. А. Дьяков

(Институт славяноведения и балканистики АН СССР)

Сегодняшняя дискуссия очень важна для той области, которой посвящена обсуждаемая книга. Эту дискуссию можно сравнить с той, которая состоялась в 1966 г. и была посвящена периодизации движения революционных разночинцев. Конференция, на мой взгляд, была хорошо задумана и способна принести большую

пользу, но не принесла ее потому, что именно тогда начался тот раскол на две группы, которые и сегодня в определенной мере противостоят друг другу в этом зале. Хочу всех, в том числе себя, призвать к тому, чтобы думать прежде всего не о групповых интересах, а о существе дела. Тем более что обсуждаемая книга затронула многие существенные вопросы, связанные с историей общественного движения в России на протяжении всего допролетарского этапа. В пределах имеющегося регламента я коснусь некоторых из этих вопросов, стараясь держаться поближе к фактам и оторваться от личных симпатий и антипатий.

Первый вопрос — об отсталости России. Никто не сомневается в том, что Россия отставала от Западной Европы, от стран первого эшелона капитализма. Но я думаю, что наши авторы эту отсталость преувеличивают. Их сравнение России с Японией и Турцией представляется мне надуманным. Есть гораздо более близкие к уровню России страны, с которыми ее неоднократно сравнивали сначала Чернышевский, а позже Ленин. Вспомните работы, в которых Чернышевский критиковал австрийскую действительность, имевшую на самом деле очень много общего с российской, так как Австрия, подобно России, имела сравнительно развитое ядро и отсталую периферию. Если сравнивать Западную Европу середины XIX в. с Сибирью, Кавказом, Средней Азией, то три автора будут близки к истине. Если же говорить о России в целом, а тем более о европейской части страны, то результаты сравнения, изложенные в книге, едва ли будут правильными. Похоже, что авторы подчеркиванием отсталости хотят подкрепить свою общую схему о взаимодействии между двумя эшелонами капитализма, не вдумываясь в действительное положение вещей.

Отсюда же, думается, попытка обусловить начатые в 1861 г. реформы не первой революционной ситуацией, а главным образом, если не исключительно, Крымской войной. Между тем Россия в период кризиса феодализма пережила не одну войну, однако ни до реформ такого масштаба, ни до революционной ситуации дело не дошло. Значит, нужна была достаточная зрелость внутренних социальных противоречий и вызванный ею общественный кризис. Крымская война, утверждается в книге, недооценивается историками общественного движения, не учитывается в работах Нечкиной, в созданном под ее руководством коллективном труде о первой революционной ситуации²⁵. Но возьмите этот труд, сборники Группы по изучению революционной ситуации²⁶ — и сразу же убедитесь, что такое утверждение необоснованно. О Крымской войне говорится в каждой из семи глав первой части коллективного труда, в сборниках есть статьи И. В. Бестужева и А. З. Барабо, специально посвященные войне, о ней говорится во многих других статьях, говорится как об одном из факторов, которые привели к революционной ситуации, а затем и к реформам. И такая оценка значения Крымской

войны подтверждается множеством фактов, концепция же авторов книги держится на отвлеченных логических построениях.

Причины революционной ситуации рубежа 50-х и 60-х годов накапливались на протяжении предшествующих десятилетий, они включали и длительное нарастание крестьянского движения. Правда, накануне реформы оно было не очень активным, но утверждение, что совсем не было, с которым выступил здесь товарищ из Института философии, совершенно не соответствует истине. 40 тыс. участников антифеодалных выступлений — это не так много. Но ведь было еще около миллиона участников трезвенного движения 1859 г. — это цифра достаточно солидная. При невысоком уровне крестьянского сознания длительный отказ от употребления алкоголя — это вовсе не пустяк, а выступления против винной монополии вовсе не были безобидным делом — они имели антикрепостническое и антиправительственное содержание. Высмеивать трезвенное движение и сбрасывать его со счетов, как делается в книге, — значит не видеть существенных слагающих исторического процесса. Кроме массового крестьянского движения, были еще выступления предпролетарских слоев и солдатское движение. Последнее весьма заслуживает внимания, ибо речь идет о тех же крестьянах и рабочих, только одетых в солдатские шинели и имеющих в руках оружие.

Отдельно надо сказать о студенческом движении и об оппозиционных настроениях среди командного состава русской армии. Из 30-тысячного офицерского корпуса в революционных кружках было замешано около 3 тыс. человек. Студенты, офицеры, низшие слои чиновничества преобладали в составе первой «Земли и воли», в польских конспиративных организациях, которые оказались на переднем крае борьбы с царизмом.

В работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма» Ленин перечислил все факторы, обусловившие общественный подъем конца 50-х — начала 60-х годов. Все помнят, конечно, это место. Подчеркну лишь, что из своего перечня Ленин сделал следующий вывод: даже «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»²⁷. Три автора не признают фактически ни того, ни другого, хотя полемизируют не с Лениным, а с некоторыми своими коллегами по изучению эпохи падения крепостного права.

Конечно, в нашей литературе были преувеличения, когда утверждалось, что революционеры-шестидесятники «вырвали» реформу 1861 г.

Дело было не только в революционерах, но и не только в Крымской войне. Перекосы в одну сторону едва ли стоит исправлять перекосами в противоположную сторону.

Аналогичным образом склонны решать три автора и некоторые другие вопросы, о которых я могу высказаться лишь самым кратким образом. Они справедливо отмечают влияние западно-европейских прогрессивных идей на декабристов, участников

движения 30—40-х годов и последующего периода. Но иногда забывают сказать о том, что это влияние осталось бы пустым звуком, если бы не было определенных местных условий. В результате может сложиться и кое-где складывается впечатление, будто Россия только и делает, что сопротивляется прогрессу, что ее способны сдвинуть с места только военные поражения.

Об этом приходится сожалеть, поскольку книга в целом хорошо задумана, содержит интересный, прекрасно изложенный материал и немало плодотворных обобщающих суждений. Двойственность впечатления, мне кажется, связана с тем, что книга в значительной мере состоит из публиковавшихся ранее текстов полемического характера. Полемичность является несомненным достоинством книги, но она же, по-видимому, обуславливает ее основной недостаток — односторонность выводов и оценок по некоторым немаловажным вопросам.

Г. Д. Алексеева

(Институт истории СССР АН СССР)

Согласна, что мы очень давно не имели книги, которая будит мысль, заставляет раздумывать. Нам этого часто не хватает. В этом большое положительное значение книги.

Я буду говорить немного в другом русле, у меня другой взгляд на все эти проблемы. Мне хотелось бы поделиться соображениями, которые волнуют меня как проблемы будущего. Это взгляд читателя-историка.

Первое: чем страдает эта работа? Говоря о двух этапах революционного движения, следует отметить, что в работе нет глубокого осмысления допролетарского периода, много просчетов теоретического и методологического характера. Мне кажется, что, прежде чем ставить проблему традиций, надо продумать, что такое революционная традиция. То, что мы услышали сегодня от Е. Г. Плимака, — это не выдерживает никакой критики, это слова, а не глубокое научное решение вопроса с теоретической и конкретно-исторической точки зрения. Почитайте хотя бы историков 20-х годов — как они понимают революционную традицию, дискуссии о «Народной воле», о Чернышевском, выступления М. Н. Покровского, Э. Б. Генкиной и др. С методологической точки зрения я считаю, что это уровень, до которого мы не только не поднялись, но даже забыли об этом. Меня здесь удивил упрек историкам 20-х годов в том, что они объясняли уровень развития теоретической мысли представителями русского революционного движения состоянием развития производительных сил. А для меня ваша работа звучит почти так же — вы объясняете развитие общественной мысли типом развития капитализма. Ведь получается совершенно механистическое объяснение! Поэтому мне совершенно неясны мотивы действий революционеров (социальные, психологические, политические) — а почему они думали и действовали так, а не по-другому.

Я знаю авторов как представителей философской науки. Мы слышим сейчас много упреков в адрес историков и философов. Но дело в том, что эта работа тоже очень страдает с теоретической стороны. Вы берете революционную традицию и, когда речь идет о декабристах, показываете, что они думали. Далее идут Герцен и Чернышевский — что они думали. А вот как они реально участвовали в революционном движении — здесь об этом абсолютно ничего нет. Вы берете народников — и опять-таки не показываете, что они делали. Вы совершенно не ставили проблему: чем дворянская революционность отличается от буржуазной революционности, буржуазная — от мелкобуржуазной, мелкобуржуазная революционность — от пролетарской. Мы имеем набор общих рассуждений о революционности вообще, и отсюда простекает самая большая ошибка этой книги — отсутствие теоретической глубины в объяснении причин смены революционности разного типа, ее сущности.

Говоря о декабризме, вы пытаетесь показать их движение как интернациональное явление. Между тем интернационализм, — это качество пролетарской, а не дворянской революционности.

Революция обязательно включает исторический опыт, это неперемнное качество. А вы это совершенно не показываете. Вы говорите, что после декабризма наступил прерыв традиции, а дальше пишете о том, что последующие поколения продумывали опыт декабристов, их недостатки, задачи и т. д. Какой же здесь прерыв?! А М. А. Фонвизин в ссылке — это не традиция? Он же как декабрист был сослан в ссылку и думал над тем, что такое социализм, и дал нам работу, которую мы относили к лучшим памятникам утопического социализма. Это надо проанализировать и оценить.

Юбилей Радищева — все газеты народников публикуют работы о Радищеве. Работа Н. С. Русанова о Радищеве, которая вышла в начале XX в., дословно воспроизводится во всех наших учебниках. Дело в том, что осмысление этого опыта идет постоянно. Народники обращаются к декабристам, к Чернышевскому, к Добролюбову, и эту традицию надо проследить. Я согласна с М. Г. Вандалковской, что работа в этом направлении ведется крайне слабо и примитивно.

Другое дело, что поздние народники эту традицию деформируют в своих интересах, чтобы удержаться на уровне в борьбе с марксизмом-ленинизмом. В этом разделе книги отсутствует анализ теоретической мысли народников. Он должен быть включен в работу, обобщен, осмыслен. Тогда мы могли бы ответить на вопрос, который поставили еще историки 20-х годов: почему семидесятники в решении крупных философских проблем отошли от шестидесятников. И почему это был «шаг назад», о котором говорил Ленин; в этой книге мы должны были бы получить ответ на этот вопрос. А мы его не имеем.

В работе не сформулирована задача на будущее — это существенный дефект.

Мне кажется, нужны более четкие методологические критерии в тех случаях, когда речь идет о патриотизме, национализме и национальном самосознании. Об этих понятиях говорится в одном предложении, а это совершенно не годится.

И последний вопрос — о культуре и культурном уровне масс. О какой культуре идет речь? Авторы путают два понятия: культурный уровень народа и культурный уровень интеллектуальной элиты. А революционеры, о которых идет речь, относились именно к такой элите. И эта элита давала лучшие эталоны и образцы европейской культуры, что доказывает вся наша история и оценки русских мыслителей и русской культуры XIX в. передовым Западом.

А. Ф. Смирнов

(Институт славяноведения и балканистики АН СССР)

Мы сегодня обсуждаем очень интересную книгу. Такой обобщающей работы, где прослеживались бы революционные традиции в нашем Отечестве, до сих пор не было, и этим вызван интерес к книге, к тем поискам, которые в ней содержатся, в подходе к теме, ее трактовке. Перед нами книга смелая, местами даже дерзкая, она привлекает читателя непочтительностью к авторитетам, сейчас это модно.

Но если внимательно прочитать ее, то думаю, что ей не хватает внимания к русской действительности, к тем процессам, которые разворачивались в России, к тем ожиданиям, надеждам, упованиям, которыми были переполнены российский умы XIX в.

На заключительных страницах своей работы авторы цитируют мысль Ленина, что с Россией случилось то, что предрекали революционному движению в странах к востоку от Эльбы Маркс и Энгельс, а именно соединение пролетарской революции со вторым изданием крестьянской войны. Этот тезис имеет прямое отношение к огромной важности проблеме о месте и роли России в общеевропейском революционном процессе, о месте и роли нашего народа в европейской и мировой истории. Эти проблемы поставлены авторами, но решены не всегда убедительно и правильно, допущены и серьезные перекосы. Возвратимся к этим мыслям Маркса и Энгельса, к их страстной вере, страстным ожиданиям русской революции, выраженным в их письмах. Ленин подчеркивал, что эта вера проходит в них красной нитью — вера в русскую революцию, в ее огромное значение для судеб Европы и мира. И добавляет: они ошиблись в конкретных сроках, но они были правы во всемирно-историческом плане²⁸. Авторы обратили свое внимание на ошибку в конкретно-исторических сроках и забыли вторую сторону — то, что во всемирно-историческом плане основоположники марксизма были правы. Страстное ожидание скорой революции в России было присуще не только Марксу и Энгельсу, но и передовым русским деятелям, многим умам в России. И уж если мы говорим о революционной традиции в России, то ничем не может быть оправдано сужение темы,

ибо речь идет не только о великороссах, о развитии великоросского центра огромной многолюдной культурной страны, но и о всероссийском фронте освободительного движения, о всероссийских поисках.

Из вступительного слова Е. Г. Плимака я услышал, что они такой задачи перед собой не ставили. Но во вводной главе эту задачу можно было поставить, обозначить эти связи, отметить, что речь идет о формировании всероссийского фронта освободительного движения, в котором участвовали революционные силы не только русской нации, но и других народов нашей страны. Иначе мы эту проблему правильно решить не сможем.

Второй круг проблем связан с общей оценкой изучаемой эпохи. Эпоха перехода от феодализма к капитализму во всемирном масштабе — это эпоха одновременного формирования наций, национальных культур, национального самосознания. К востоку от Эльбы эта проблема стояла особенно остро, а в России — еще более остро. И с этой проблемой надо, видимо, связывать поиски правильной революционной теории. Гигантская задача стояла перед русскими деятелями — сплотить разноязычную, находящуюся на разных уровнях развития страну, ее разноязычное население в единый революционный поток. Если мы эту задачу не осознаем, как же можно говорить о Чернышевском, об «эпохе мысли и разума»? ²⁹ Ведь эта задача ставилась и до Плеханова, и до Ленина.

И в связи с этим я не могу принять (это третий круг проблем) оценку авторами 60-х годов. В книге немало интересных исследовательских наблюдений, но упущены некоторые существенные моменты, которые нельзя упускать в обобщающих работах, когда ставятся и решаются большие проблемы. Упущено, что дело не только в крестьянской реформе, был целый пакет реформ, осуществление которых растянулось на целые десятилетия. Значит, все 60-е и даже начало 70-х годов — это перелом, который вывел Россию на путь капиталистического развития. После 1861 г. капитализм начал развиваться в России в масштабах, достойных великой нации. Возникли споры вокруг этого, и черту под этими спорами подвел Ленин, начиная от полемики со Струве и кончая трудом о развитии капитализма в России.

Главное здесь в том, что реформы 60-х годов не были завершены, и не случайно В. О. Ключевский говорит о пореформенной России, напоминая слова А. Д. Меншикова, «...как о недостроенной храмине» ³⁰, ибо в стране так и не появились политические свободы. И борьба за конституционные свободы была центральной задачей у Чернышевского, которому принадлежит крылатая фраза: «России свобода нужна как воздух» ³¹. Это тоже наша революционная традиция, но анализа этой борьбы за политические свободы как первостепенной проблемы в книге нет. А ведь вопрос этот имеет громадное практическое и пропагандистское значение. Вновь и вновь до нас доносятся разные «голоса», что русский народ не имеет своих демократических традиций.

Я. С. Драбкин

(Институт всеобщей истории АН СССР)

Я с несколько странным чувством вышел на трибуну потому, что с этой же трибуны вчера выступал на партийном собрании Института всеобщей истории. Перед вами я не выступал с той поры, когда у нас был еще единый институт. Говорю об этом не случайно, а потому, что книга, которую мы здесь обсуждаем, посвящена именно тем проблемам, которые нам бы с вами следовало решать сообща. То, что они решались вне наших институтов, товарищами из других научных учреждений, разумеется, их большая заслуга. Но вместе с тем это серьезный укор нам.

Тот длинный список неудачных формулировок, просчетов и недоработок, который уже прозвучал, думаю, в большей мере связан с этим. О конкретных слабостях книги можно и нужно дебатировать. Но я прежде всего хочу сказать спасибо авторам за их научную смелость. В книге немало острых углов, и очень хорошо, что они рискнули оставить их не замазанными, не сглаженными и отлакированными. Именно это позволяет нам спорить, искать лучшие решения. А заодно вспомнить о недостатках и пробелах нашей собственной работы. Я не знаю намерений инициаторов разделения наших институтов. Не думаю, что они имели в виду возобновить споры и вражду между «западниками» и «славянофилами»; вероятно, они об этом вообще не задумывались. Но проблемы истории взаимоотношений между Россией и Западом, проблемы не только внешнеполитических отношений, а более глубокие проблемы путей развития от разделения явно пострадали. А то, что эти проблемы актуальны, что это проблемы сегодняшнего дня, убедительно показывает книга.

С позиций, так сказать, «западника» хочу прежде всего обратить внимание на то, что в главе о предпосылках формационного порядка авторами сформулирована методологическая линия, ставящая революционную традицию в России в рамки общемирового революционного процесса, причем процесс этот понимается как формационный. В этом контексте вводится и разъясняется тезис об «эшелонах мирового капитализма». Выделяются их три: к *первому* отнесены страны Западной Европы, период охватывает шесть веков (XIV—XIX); развитие *второго* отнесено к концу XVIII — середине XIX в., здесь мы видим Россию в обществе стран Балканского полуострова, Турции, Японии; страны *третьего* эшелона буржуазного развития (Азия, Африка, Латинская Америка) в книге лишь обозначены, ибо в центре внимания, естественно, находится «российский вариант буржуазной эволюции».

В принципе такой подход представляется правомерным, выделение стадий становления капитализма в различных регионах — продуктивным. Но надо иметь в виду, что он дает лишь первое приближение к проблеме определения места той или иной страны в мировом процессе. Хочу обратить внимание и на то, что авторы

книги — не первые, делающие такую попытку. Несколько лет назад Институт востоковедения АН СССР выпустил коллективную монографию «Эволюция восточных обществ». В ней один из блестящих наших востоковедов — Н. А. Симония выделяет четыре «модели» становления капиталистического общества: «классическая», первичная, вторичная и третичная. Симония рассматривает эти модели с точки зрения роли государства. К сожалению, авторы обсуждаемой книги на труд востоковедов даже не сослались.

Между тем в «нарезке» этих моделей-эшелонов нетрудно увидеть существенные различия. У Симонии к «первичным» отнесен вовсе не весь Запад, а только «первопроходцы» капитализма — Англия, Франция, США. А Германия, Австро-Венгрия и другие страны — вместе с Россией — отнесены ко «вторичным». Это существенно меняет картину. Замечу, что Германия, конечно, страна европейская, но сами немцы считают себя страной не Западной, а Центральной Европы, в той или иной мере отставшей от Запада. Это нашло свое выражение и в «Манифесте Коммунистической партии». Очевидно, что авторам обсуждаемой книги надо об этом серьезно подумать, точнее определить тот круг стран, к которому должна быть отнесена Россия.

Меня прежде всего интересует вопрос о сравнительно-историческом сопоставлении Германии (точнее, Пруссии, Австрии) с Россией. Этим занимаются и историки-марксисты в ГДР. В то время как мы по причинам, от исследователей не зависевшим, в течение многих лет не уделяли внимания сравнительно-историческим аспектам революционного процесса, в Лейпциге активно и интересно работает «Междисциплинарный центр по сравнительному изучению революций». Они выпустили восемь больших томов по разным аспектам революций нового времени, в том числе один том специально посвящен сопоставительному анализу революций от 1525 до 1917 г. Там можно найти материалы о революциях 20-х годов XIX в. в Европе и восстании декабристов. Широко рассматривается вопрос о «революциях сверху», в том числе о реформах Бисмарка; затрагивается в этом контексте и вопрос о пакете русских реформ 60-х годов. Разумеется, в этих сопоставлениях имеет значение не только общее, но и различное.

Обращаясь к авторам книги о революционной традиции в России, я хочу отметить, что ими поставлен вопрос о необходимости научного сравнения развития капитализма и в соответствии с этим формирования революционных традиций разных стран. Но работу в этом направлении лишь предстоит развернуть. И первое, что, мне думается, надо сделать, — основательно обсудить в кругу специалистов по разным странам и регионам вопрос о «моделях» и «эшелонах» капитализма, чтобы разработать действительно разносторонний и продуктивный подход к проблеме революционных традиций. Думаю, тогда удастся снять те недоумения, которые вызвало после прочтения к иги то место, которое в ней отведено России.

Вспоминаю, что и в прошлом вопрос о месте национальной истории во всемирно-историческом процессе нередко вызывал острые разногласия и споры в нашей среде. Когда-то Б. Ф. Поршнев (то было еще в объединенном институте) поставил вопрос так: «Мыслима ли история одной страны?» Это вызвало бурю со всех сторон. Что значит «мыслима» со знаком вопроса, когда есть Россия и ее особая история? Но у него была совсем другая мысль: о горизонтальном «срезе» истории разных стран для их сравнения. В той или иной форме вернуться к этой проблематике — это, вероятно, веление времени. За то, что авторы книги напоминают нам об этом, следует их поблагодарить.

Не очень трудно продолжить список тех или иных упущений в книге, как структурных, так и касающихся конкретных сюжетов. Я же хотел бы отметить еще одно ее достоинство. Книга написана тремя авторами. Они не скрывают, что она рождалась в дискуссиях между ними, и даже признают, что не все расхождения до конца преодолены. Но это действительно коллективный труд, работа единая по замыслу, по желанию обнажить и заострить нерешенные проблемы. Она выгодно отличается этим от традиционных «коллективных монографий», в которых все мы частенько участвуем и где все нивелировано под «средний, проходной» уровень.

Еще одно замечание. Читая книгу, я нашел, как мне казалось, на самой последней странице серьезную ошибку. Правда, не авторов, а издателей, когда те проставили тираж книги — 6 тысяч экземпляров. Но из сегодняшнего обсуждения я понял, что это не ошибка. Надеюсь, что в недалеком будущем эта книга будет переиздана, причем авторы смогут ее улучшить и развить то, что в ней пока только намечено. Такая работа сыграет несомненно положительную роль именно в наше время, когда так велика потребность в новом мышлении.

А. А. Преображенский

(Институт истории СССР АН СССР)

Круг проблем, обсуждаемых сегодня, очень важен и интересен, об этом специально говорить не приходится. Наша дискуссия 1987 года имеет свои примечательные черты, но есть и нечто еще от дискуссий прошлого, отметить итоги которых никоим образом нельзя. Напротив, мы должны брать их на вооружение, отказываясь от того, что не выдержало проверки временем.

Один из недостатков предыдущих дискуссий — приверженность к цитатам. К сожалению, подобный подход сегодня имел место в выступлении Е. Г. Плимака, грешит этим и книга. Я хочу призвать не устраивать соревнования цитат. У классиков марксизма-ленинизма можно при желании найти высказывания на все случаи жизни, подходящие рассуждения и «про» и «контра». Можно найти подтверждение того, что в крестьянских массах были элементы революционности, что она имела свои

корни и т. д. Можно найти слова и о том, что народ «спал» (в политическом и культурном смысле) и т. д. Всегда ли мы отдаем себе отчет в том, что надо сопоставлять эпохи и иметь в виду, применительно к какому уровню общественного развития и национального самосознания соответствующие высказывания относятся? Мы не должны уходить от вопросов методологии, но не превращать ее в цитатологию. Методологические вопросы теснейшим образом необходимо связывать с конкретным историческим материалом. Иначе грозит схоластика.

При всем интересе поставленных в книге проблем авторам не во всем удалось серьезно, глубоко по-научному разобраться в историческом материале. Требовался более ответственный подход к историографии, к источникам. Знакомство с книгой оставляет впечатление однобокого освещения истории России в феодальную эпоху. Прослеживается явная тенденция непременно принизить уровень социально-экономического развития страны до реформы 1861 года. При всех оговорках авторов красной нитью проходит мысль о таких особенностях исторического процесса в России, которые ставят под сомнение общие черты буржуазной эволюции, ее закономерности. Получается так, что российский капитализм чуть ли не «импортного» происхождения, отечественной почвы он почти не имел. К тому же насаждение капитализма шло, согласно авторам книги, преимущественно «сверху». А как же быть с многочисленными исследованиями советских ученых, утверждающих на основе огромного фактического материала совсем другое? Поэтому отнесение России ко «второму эшелону» капиталистического развития оказывается довольно искусственной конструкцией, за которой нет прочной базы фактов и аргументов. Несмотря на разногласия среди наших историков, вряд ли кто из специалистов присоединится к мнению авторов книги о том, что в пору декабристов и вслед за ней в России капиталистический уклад «только обозначился, третье сословие отсутствовало». Считая народ России самым отсталым, авторы монографии практически отрезают корневую систему той самой революционной традиции, которую взялись изучать. Опять-таки они игнорируют обширную литературу вопроса или пользуются выборочными, подчас случайными свидетельствами.

Тезис о принадлежности России ко второму (особому) эшелону капитализма изрядно абсолютизирован в книге. Почему же обойдены такие черты «первого» эшелона, которые сближают его по ряду показателей со вторым? Ведь в США долгое время существовало рабство, из Европы на Американский континент приехали «законтрактованные работники», мало чем отличавшиеся от русских крепостных мастеровых на мануфактурах. Вообще «чистых» форм генезиса капитализма история не знает.

Говоря о причинах малой политической активности русской буржуазии, ее зависимости от самодержавной власти, на мой взгляд, следует принять во внимание одну существенную черту исторического плана. Ранние этапы формирования российской буржуазии совпадают с эпохой четырех крестьянских войн.

Так что, напуганные еще в «люльке», представители нарождающейся буржуазии предпочли путь приспособления к условиям абсолютистско-крепостнического строя, искали с ним соглашения перед лицом обострившихся в стране социальных конфликтов. Без учета нарастающего крестьянского движения нельзя понять и отмену крепостного права. Только Крымской войной этот акт не объяснишь.

Остановлюсь на некоторых фактических ошибках, встречающихся в начальной главе книги. В конце XVIII в. Россия выплавляла не 10 млн тонн, а 10 млн пудов металла. Неверно, что первое высшее учебное заведение России — Славяно-греко-латинская академия возникла как церковное учреждение. В ней давалось светское образование. Культурное развитие Московской Руси изображено довольно мрачно. Есть неточности и в описании культуры времен Петра I.

Я не буду касаться других сюжетов, которые выходят за пределы моей профессиональной компетенции и интересов. Но поставленная в книге сложная проблема обязывает к строгому научному подходу, к нелицеприятному рассмотрению обширной литературы, к более взвешенному, объективному освещению исторического процесса. С этой точки зрения книга вызывает серьезные возражения.

Е. И. Дружинина

(Чл.-корр. АН СССР, Институт истории СССР АН СССР)

Я буду говорить как читатель, который специально не занимается историей общественной мысли. Считаю, что книга о революционной традиции в России нужна, в советское время не было еще работы на такую широкую тему. Книга Пантина, Плимака и Хороса будит мысль; показатель интереса к ней — наше собрание, которое проходит при переполненном зале. Правильно поступил Ученый совет Института истории СССР, организовав такую дискуссию. Очень хорошо, что в обсуждении книги принял участие, хотя и небольшое, Институт всеобщей истории. Можно надеяться, что обсуждение будет продолжено в разных коллективах.

Как читатель, как историк, я хотела бы фрагментарно остановиться на следующих моментах. Авторы утверждают, будто бы в начале XIX в. в нашей стране произошел «обрыв собственной революционной традиции, идущей от Радищева» (с. 83). Достаточно привести известные слова А. С. Пушкина: «Вослед Радищеву восславил я свободу», чтобы опровергнуть необоснованный тезис.

Вероятно, авторы сделали все, что могли, работали добросовестно. Однако складывается впечатление, что они недостаточно знают историю нашей страны. Например, для них не существует регионов, а ведь между центром и окраинами наблюдались разительные различия, без учета которых невозможно судить об уровне развития страны в целом. На с. 93 упоминается о возможности капиталистической эволюции разного типа, причем, кроме «прус-

ского» и «американского» путей, авторы называют еще какой-то «русский» путь. Все это крайне абстрактно, расплывчато. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно глубже проникнуть в сущность аграрных отношений. Знают ли авторы книги, что в Новороссии, равной по размерам Великобритании, с 1760-х годов не было дворянской монополии на землю, что там могли иметь землю и селить на ней вольных людей лица «всякого звания»; что еще до реформы 1861 г. в этом регионе складывались предпосылки развития капитализма по «американскому» пути? Походя, не изучив обстановки на юге страны, авторы бросают такую фразу: «В 1787 г. было совершено обставленное „потемкинскими деревнями“ путешествие Екатерины II на юг России» (с. 61). В действительности после выхода России на Черное и Азовское моря и обеспечения Степной Украины более прочными границами сюда хлынули беглые крепостные, иностранные колонисты и переселенцы. К моменту путешествия Екатерины II территория Северного Причерноморья покрылась не только сетью сел и деревень, но и многочисленными городами. Достаточно назвать Екатеринослав, Херсон, Николаев, Севастополь. В Севастополе Потемкин показывал императрице не бутафорский, а подлинный Черноморский флот, рождение которого явилось крупным событием в истории нашей страны. Остается пожалеть, что в трактовке данного вопроса авторы рассматриваемой книги проявили верхоглядство.

Видимо, с легкой руки журналиста-дилетанта Н. М. Молевой пошла гулять очень старая версия о «потемкинских деревнях», придуманная еще в XVIII в. саксонским дипломатом Гельбигом. В «Вопросах истории» появилась статья Молевой о якобы искусственных, фиктивных деревнях, устроенных Потемкиным для показа императрице³². Ложны в этой статье не деревни, а сноски, которые позволила себе сделать Молева. Я тогда же указала ей на бездоказательность ее утверждений и на то, что ее архивные сноски (ЦГАДА) не имеют никакого отношения к Потемкину. Она ничего не смогла возразить. К сожалению, историки имеют мало возможностей писать популярные работы и поле действий захватывают вот такие некомпетентные авторы.

Я совершенно согласна с теми, кто находит, что в книге о революционной традиции в России преувеличиваются отсталость страны и пассивность крестьянства (см., в частности, с. 93 о «полной отрешенности от политической жизни масс народа»). Неубедительно и второе (связанное с первым) утверждение, будто бы передовые идеи переносились, «импортировались» в Россию, однако попадали на неподготовленную почву. Тезис о «неорганичности буржуазного развития страны» (с. 26) на рубеже XVIII и XIX вв. противоречит выводам фундаментальных советских исследований.

В книге справедливо отмечается жгучий интерес декабристов к зарубежным конституциям, при этом делаются ссылки на труды Н. М. Дружинина. Но у Дружинина есть и другое. В своей ранней работе «Кто были декабристы и за что же они боролись?» (М., 1926) автор пишет следующее по поводу «Русской Правды»

Пестеля: «Рукою Пестеля водили интересы крестьянства, но он видел лучше и дальше людей своего времени: в его предложениях обобщить часть земельных угодий кроются первые, хотя и слабые, зародыши русского социализма»³³. В монографии «Декабрист Никита Муравьев» (М., 1931) говорится: «В лице Пестеля и еще отчетливее в лице „Соединенных славян” скрестились интересы профессиональной мелкобуржуазной интеллигенции и крестьянской демократической массы»³⁴.

Таким образом, по Дружинину, именно русская действительность породила идейные искания Пестеля и в связи с этим — интерес к конституциям Западной Европы и Америки.

В рассматриваемом коллективном труде проводится правильная и очень справедливая мысль о том, что отставшие в своем развитии народы получают возможность наверстать упущенное за более короткий срок и быстро двинуться вперед. Чернышевский образно выразил эту мысль словами об Истории, которая, как бабушка, особенно любит своих самых маленьких внучат, она им дает не кости, а костный мозг. Эту оптимистическую ноту хотелось бы видеть в заключительной части книги. В 1917 г. мы перегнали другие страны в политическом отношении. После Великой Отечественной войны другие страны с нашей помощью перешли к строительству социалистического общества, и теперь уже они — «самые маленькие внучат» Истории, которые, используя наш опыт, могут избежать ошибок и у которых мы многому можем научиться в борьбе за развитие экономики, социальных отношений и культуры труда.

Я считаю, что наша дискуссия прошла интересно и плодотворно. Хотелось бы, в частности, отметить очень хороший тон содержательного выступления В. А. Дьякова.

Л. В. Данилова

(Институт истории СССР АН СССР)

Прежде всего следует отметить плодотворность происходящей дискуссии. Как верно сказала Г. Д. Алексеева, это первая в нашем институте дискуссия после долгого молчания и глухоты, неблагоприятно отзывавшихся на состоянии исторической науки. Я целиком поддерживаю выступления тех коллег, которые оценили перспективность теоретико-методологического подхода в обсуждаемой книге. И прежде всего в этом плане я обратила бы внимание на то, что революционная традиция в России рассматривается авторами в связи с целостным комплексом общественных отношений — начиная от экономических и кончая политическими и идеологическими формами. Очень важно, далее, что те особенности общественного строя России, которые вылились в особенности революционной традиции, связываются в книге спецификой российского капитализма как капитализма второго эшелона. Этот теоретический подход позволяет объяснить сложность и остроту революционного движения в России, понять отличие последней

в этом отношении от западноевропейских стран. Концепция разных путей становления и развития капитализма в зависимости от реальной исторической обстановки — одна из самых перспективных и в общетеоретическом, и в конкретно-историческом плане.

Крайне удивлена, что и в книге, и в нынешнем выступлении Е. Г. Плимака концепция российского капитализма как капитализма второго эшелона теоретически обосновывается тезисом о положении России XIX — начала XX в. на границе цивилизованных стран и стран, втягиваемых в цивилизацию. Концепция трех эшелонов становления капитализма вытекает из самого существования марксистской концепции общественно-экономических формаций. Схема прогрессивно-последовательно сменяющихся общественно-экономических формаций — это логическая модель восхождения стадий общественной эволюции. Она отражает движение всемирно-исторического процесса в целом. Прямолинейное приложение этой схемы к одной, отдельно взятой стране (или даже региону) — что, к сожалению, длительно бытовало в нашей историографии и нанесло ей немалый урон — методологически неверно. Оно неверно потому, что возникновение любой общественной формации — результат взаимодействия обществ, стоящих на разных уровнях развития. Само собой разумеется, что интенсивность, характер и формы этого взаимодействия менялись. В целом историческое развитие шло по линии локальность—региональность—всемирность. Но общественное развитие, как и развитие вообще, происходит неравномерно. Начиная с эпохи возникновения производящего хозяйства всегда существуют исторический центр и периферия, подвергающаяся воздействию этого центра, деформации с его стороны. В силу этого возникновение нового способа производства и новой общественной формации в историческом центре и периферии протекает по-разному. Особенности становления любой формации зависят от стартовой площадки, с которой оно начинается, от характера эпохи, в которой происходит это становление, от конкретных исторических и экологических условий.

Генезис и развитие капитализма в западноевропейских странах (страны так называемого первого эшелона становления данной формации) и в странах Восточной Европы (страны второго эшелона) во многих существенных проявлениях происходили неодинаково. Особый вариант возникновения капитализма дают современные развивающиеся страны. Концепция разных эшелонов становления капитализма, опирающаяся на теоретико-методологическое наследие основоположников марксизма, была поднята нашей историографией уже в 20-е годы. В послевоенный период она активно и плодотворно разрабатывалась С. Д. Сказкиным, А. Н. Чистозвоновым, В. К. Яцунским (применительно к генезису капитализма в России и других странах Восточной Европы), К. Н. Тарновским (применительно к развитию российского капитализма). Эта концепция широко представлена в исследовательских и обобщающих работах по «третьему миру». В последних работах есть выход и к России. Однако в ряде современных иссле-

дований по развивающимся странам этот выход, на мой взгляд, весьма некорректный: российский путь развития капитализма подчас представляется как первое в мировой истории осуществление модели некапиталистического пути развития. В целом же, несмотря на все несогласия и споры между приверженцами концепции трех эшелонов развития капитализма, эта концепция безусловно плодотворна и перспективна.

Хотелось бы с полной определенностью подчеркнуть, что концепция трех эшелонов становления капитализма, учитывающая особенности процесса в разных странах, порождаемые характером исторической эпохи и совокупностью конкретно-исторических условий, имеет не только сугубо научное, но и практически-политическое значение. В прениях уже упоминалась конференция в Институте философии, прошедшая в декабре минувшего года, посвященная проблеме развития социализма в СССР. Чуть ли не каждый второй выступавший говорил о неэффективности общепринятой у нас философской модели социализма. Одним из главных источников этой неэффективности назывался тот факт, что модель исходит из модели предельно развитого капитализма. В ней не учитывается не только действительный уровень развития капитализма, но и тип российского капитализма, его специфика. В связи со сказанным я думаю, что мы должны приветствовать выход этой книги и происходящую ныне дискуссию.

Но одно дело — общетеоретический подход, другое — его конкретная реализация. По части реализации авторами книги общетеоретического подхода у меня имеются замечания принципиального порядка. Причем проистекают они не только из разницы субъективного восприятия реальной конкретной исторической действительности, оценки конкретных исторических фактов, но и из понимания некоторых аспектов теории общественно-экономических формаций.

Проблема трех эшелонов и в обсуждаемой книге, и в сегодняшнем выступлении одного из авторов рассматривается только в плане воздействия первого эшелона капиталистического развития на второй. В действительности же это проблема взаимодействия европейских регионов первого и второго эшелонов, что вытекает из самой сути теории общественно-экономических формаций. Становление любой формации — капиталистической тем более — это результат всемирно-исторического развития. Не стану напоминать общеизвестные факты великих географических открытий, развития мировой торговли, колониализма, сопровождавших зарождение и утверждение капиталистического способа производства. Задам авторам книги лишь один конкретный вопрос: мыслимо ли было развитие западноевропейской капиталистической мануфактуры без поступления восточноевропейского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, различного сырья, можно ли представить могущество английского флота без корабельного леса, льняного полотна, пеньки и т. п., поступавших из России? Ответ на этот вопрос не оставляет сомнения во вза-

имосвязанности исторического развития западноевропейского и восточноевропейского регионов, во взаимной обусловленности возникновения капиталистического очага в Западной Европе и феодальной реакции в Восточной. Соответственно взаимосвязано и взаимообусловлено развитие первого и второго эшелонов капитализма. По сути дела, это разное проявление единого общеевропейского процесса становления капиталистической формации.

Таково мое первое принципиальное расхождение с авторами книги. Второе касается характеристики существенных черт второго и третьего эшелонов капиталистического развития. В обсуждаемой книге практически ставится знак равенства между вторым и третьим эшелонами (хотя словесных заверений о различии там предостаточно). В ней содержится яркая характеристика общих черт второго и третьего эшелонов, показаны многоукладность, спрессованность, напластование разных фаз капиталистического развития (в странах Западной Европы занимавших последовательные хронологические периоды). О специфике же названных эшелонов развития капитализма, вызванных различиями эпохи и конкретной исторической ситуации, прежде всего различной силой и способностью капитализма метрополии перерабатывать традиционные уклады периферии, здесь ни слова. Более того, существование различий затушевывается некорректным описанием существенных черт обоих эшелонов. Автор одной из глав, будучи специалистом по „третьему миру“, не указал даже на такую принципиально важную черту развивающихся стран, как разрушение под воздействием капитализма традиционных структур без воссоздания или с ограниченным воссозданием национального буржуазного уклада. В странах второго эшелона развития капитализма воздействие нового способа производства на традиционные уклады периферии имело иные результаты. Деформация традиционных структур в России и вообще в странах Восточной Европы стала внутренним фактором развития капитализма. Она создавала предпосылки будущего развития капитализма. Стимулированное западноевропейским капитализмом возникновение феодальной реакции, превращение классической феодальной зависимости в ее крайнюю форму, в крепостничество, вели в конечном итоге к разрушению самих основ феодального строя. Для феодализма характерна экспроприация личности через землю. Это существенная черта данной общественной формации. Крепостничество основано на экспроприации личности как таковой, что роднит его с рабством. Вспомним, например, что в ряде стран Восточной Европы в позднее средневековье имело место даже «право меча».

Из-за лимита времени не имею возможности говорить о других деформациях феодальных отношений. Любая мануфактура на принудительном труде — это уже деформированные докапиталистические отношения. Это неотрадиционные отношения, новое явление, создающее предпосылку возникновения капитализма.

Заканчивая, хочу подчеркнуть неправомерность выведения

России из сообщества европейских государств. Автор первой главы усиленно акцентирует внимание в качестве одного из главных аргументов в пользу концепции на расположение России на двух материках. Но если не брать первобытные и раннеклассовые общества коренных насельников Сибири, то и Сибирь — это ведь тоже общество европейского типа. Характеристика же феодальной России, которая дается в первой главе книги, скорее приложима к азиатским деспотиям, чем к европейской стране. Кстати, цитаты из работ классиков марксизма используются здесь очень некорректно. Положения, касающиеся факта отсталости России, неправомерно возводятся в ранг формационных дефиниций. Весь текст первой главы книги устремлен на то, чтобы читатель поставил знак равенства между способами преодоления отсталости и становлением капитализма в России и в современных развивающихся странах. С этой направленностью главы, самой точкой зрения авторов согласиться совершенно невозможно. Россия начала XX в. с ее многоукладностью и острыми социальными противоречиями, как доказано в новейших теоретических исследованиях, являет собой модель не развивающихся стран, а современного мира в целом.

П. В. Волобуев

(Чл.-корр. АН СССР, Институт истории естествознания и техники АН СССР)

Я позволю себе начать с личного впечатления, поскольку давно не выступал в Институте истории СССР.

Обсуждение, которое состоялось, производит на меня какое-то двойственное впечатление: с одной стороны, воочию видишь последствия того глубокого застоя, особенно в области теории и методологии, свидетелями которого мы все были. Десять — пятнадцать лет застоя в исторической науке не прошли бесследно и дают о себе знать. Я уже не раз говорил на заседаниях Отделения истории о том, что главная причина нашего отставания и застоя заключается в подмене марксизма вульгарным социологизмом и экономическим детерминизмом, и сегодня это здесь проявилось. В самом деле, если не говорить уже об элементарном невежестве, которое тоже имеет место, то вот пример: И. А. Булыгин встал в позу марксиста и сказал, что капитализм не переносится в отсталые страны из передовых стран. Оглянитесь кругом, посмотрите, что делается в Азии и Африке, как там возникает и развивается капитализм: спонтанно или привносится извне. С другой стороны, обсуждение показало, что не все безнадежно в нашей исторической науке и что перспективы для перестройки и для движения исторической науки вперед есть — есть на кого и на что опереться.

Начну с главного — с книги. Является ли новаторской концепция авторов этой книги? Отвечу так: и да и нет. С одной стороны, да, новаторская. Новаторство заключается в том, что, как тут сказала Л. В. Данилова, книга рассматривает широкий круг вопросов. Нам, историкам, обычно присуща узость, а здесь рассмотрены все аспекты общественной жизни, в частности большое внимание

уделено идеологии, общественному сознанию, без чего понять Россию XIX и начала XX в. нельзя. Во-вторых, российские социально-экономические сюжеты введены в контекст всемирно-исторического развития, хотя по некоторым из них я как рецензент высказал известное несогласие с авторами.

В каком же смысле нельзя считать эту книгу новаторской, в частности концепцию «второго эшелона» капитализма? Собственно говоря, авторы воспроизвели ту концепцию социально-экономического развития России в XIX в. и в дооктябрьский период XX в. до 1917 г., к которой подошло к концу 60-х годов так называемое «новое направление» в исторической науке.

Это и проблема об особенностях России как страны, расположенной на границе Европы и Азии. Подход к России как стране «второго эшелона» развития капитализма, как показало обсуждение, не нравится ряду товарищей. Могу сказать, что им грозит жалкая участь плестись в обозе исторической науки, без этой идеи нельзя понять русскую историю XIX — начала XX в. Именно к этому подошли историки 60-х годов, наиболее активно разрабатывал и пропагандировал эту концепцию И. Ф. Гиндин.

В книге поставлена также проблема типа русского капитализма. Г. Д. Алексеева говорила, что эта проблема не имеет особого значения. Наоборот, заслуга авторов состоит в том, что они показали и подчеркнули важность понимания типа русского капитализма. Если мы обратимся к всемирной истории, то увидим, что характер исторического развития, его альтернативность зависят от того, какой тип капитализма был в той или иной стране. Без типологического анализа нельзя понять характер исторического процесса, а в нем нужно разбираться.

Далее, правильно поднимается вопрос о незавершенности в России буржуазно-демократических преобразований, а следовательно, и о незавершенности формационного развития в том смысле, что капиталистическая формация у нас не доросла до уровня зрелой формации развитых стран Запада. И я думаю, что характеристика российского капитализма как среднеразвитого в общем и целом является верной, и она не противоречит ленинской оценке его как среднеслабого, хотя ставить знак равенства между этими двумя понятиями неверно. Я не согласен с отрицанием среднеразвитости российского капитализма. Это понятие в исторической науке у нас принято давно.

Что получилось дальше? В начале 70-х годов административно-волевым путем нас потащили назад к антиисторическим схемам, согласно которым Россия по степени капиталистического развития была ничуть не ниже Франции и, может быть, даже выше, чем Англия. Была предпринята попытка, во-первых, всемерно завесить уровень развития российского капитализма, а во-вторых, изобразить капитализм, особенно финансовый капитализм, «чистым». Соответственно изображался империализм и т. д. Но все это в корне меняет понимание материальных предпосылок Октябрьской революции, поэтому с такими выводами нельзя согласиться. Не случайно, что развитие исторической науки и других об-

щественных наук на протяжении последних 15 лет шло по расходящимся путям.

Философы прошли мимо выводов историков последнего десятилетия о высокоразвитом российском капитализме и обратились к работам 15—20, а то даже и 30-летней давности. И правильно сделали, потому что эти выводы не подтверждались последующей практикой социалистического строительства. Заслуга авторов книги состоит в том, что они воспроизвели, развили дальше и обогатили ту концепцию, к которой пришла наша историческая наука в конце 50-х — начале 60-х годов. В то же время, на мой взгляд, нельзя не согласиться с теми, кто усматривает в книге тенденцию к некоторому умалению почвенности русского капитализма.

Считаю, что авторы правы, говоря об отсталости России. По этому вопросу у нас в исторической науке преобладают не научные, а эмоциональные оценки. П. Г. Рындзюнский сказал здесь, что нельзя считать Россию такой уж отсталой страной. Вспоминая в связи с этим, что лет 30—40 назад, выступая на конференции по генезису капитализма, один уральский историк так и говорил: «Горько и больно сознавать, что капитализм в России начал развиваться позже, чем в Англии».

Псевдопатриотическая позиция в этом вопросе до сих пор сохраняется. Нельзя же путать: были громадные достижения в области художественной и научной культуры, Россия действительно дала миру высокие образцы художественного и научного творчества, выдающихся деятелей культуры и науки, и та же самая Россия была накануне революции страной, где две трети населения было неграмотным. Отсталость страны характеризуется по наиболее общим показателям, а не по высшим достижениям, которые, конечно, тоже надо учитывать.

В исторической науке, как известно, нельзя поставить эксперимент и доказать убедительность той или иной концепции. Но вместе с тем в этом отношении дело обстоит не так уж безнадежно. И у нас исторический эксперимент в известном смысле поставлен. Октябрьская революция и строительство социализма показали, какое наследие мы получили. Не случайно философы разводят руками: что историки делают, рисуя такую высокоразвитость, и непонятно почему мы сталкивались и сталкиваемся с такими трудностями, вытекающими из того, что нам не хватало капиталистической «школы» и выучки. А мы продолжаем «дудеть в старую трубу», не считаясь с тем, что наши выводы не подходят для других обществоведов.

Из-за того, как мы решаем вопрос о материальных предпосылках Октябрьской революции, философы вынуждены были признать, что применительно к России надо ставить вопрос не о предпосылках социализма, которых было недостаточно, а о предпосылках социалистической революции. Я с этим разделением одной проблемы на две не согласен, но это имеет место в философской науке в значительной степени по нашей вине.

Здесь говорилось о необходимости правильного подхода к ле-

нинскому идейному наследию. В этом вопросе мы грешим постоянно. Авторы книги существенно продвинулись вперед, поставившись взять ленинскую концепцию в целом.

Проблема реформ. Эта проблема почему-то сводится только к внутрироссийским условиям. Но ведь реформу 1861 года надо поставить в мировые, по крайней мере в европейские, рамки! То была эпоха завершения целой полосы буржуазно-демократических революций в Европе и утверждения капитализма. Тогда можно будет понять и смысл ленинского положения о реформе как побочном результате революции применительно к 60-м годам. А забывать о том, что Ленин не раз говорил о слабости революционных элементов в России в 60-е годы XIX в., забывать о том, какой в итоге получилась реформа, нельзя.

Наука ставит перед нами задачу глубоко исследовать с марксистских позиций, с позиций историзма не только то общество, в котором мы живем, но и то общество, в котором жили наши предки, и с этой задачей мы справляемся плохо. Между тем никаких объективных причин для этого нет, есть только субъективные. Я понимаю заинтересованность определенного круга людей в старых концепциях, их приверженность к устаревшим взглядам. Но сейчас нужен отказ от стереотипов, от догматического мышления, и заслуга авторов обсуждаемой сегодня книги в том, что они ведут нас в этом направлении.

С.В. Мироненко

(Институт истории СССР АН СССР)

В спорах рождается истина, но на протяжении ряда последних лет мы были свидетелями того, что призывы к дискуссиям, к обсуждению каких-либо проблем оставались только призывами и ни дискуссий, ни споров, ни серьезных обсуждений не было. Полностью согласен с высказанным здесь мнением, что книга трех авторов как раз и будит мысль, заставляет думать, ставит те вопросы, обсуждение и разрешение которых необходимо для дальнейшего развития исторической науки.

Есть ли в этой книге спорное? Конечно, есть. Например, положение о том, что поражение восстания декабристов отбросило Россию на десятилетия назад. Согласиться с этим нельзя.

Однако я не буду останавливаться на негативных моментах, которые в этой работе присутствуют. Хочу сказать несколько слов о том, что заставляет думать, и о том, что положительного я вижу в этой книге. Прежде всего, как любая полемически заостренная работа, книга обнаруживает нерешенные проблемы, например, близкий мне вопрос о крестьянском движении. Я уверен, что авторы не отрицают его влияния на революционную борьбу, на формирование революционной идеологии, на правительственную политику, не преуменьшают его воздействия, вопреки тому, что говорили некоторые из выступавших, на формирование декабристской идеологии. Дело здесь, как мне кажется, в другом. В нашей историографии совершенно не изучен механизм

влияния крестьянского движения на все названные процессы. И то, что вызвало критику в обсуждаемой работе, лишь указывает на настоятельную необходимость изучения этой проблемы. Из работы в работу мы пишем, что крестьянские выступления усилились и что это привело к изменению правительственной политики, к росту революционной сознательности и т.п. Но всегда ли существовала такая прямолинейная зависимость, не слишком ли упрощенно представляется реальная ситуация? Думаю, что в определенные исторические периоды крестьянское движение влияло на идеологию и на правительственную политику больше самим фактом своего существования, чем силой и размахом. И именно об этом пишут авторы обсуждаемой книги.

Теперь вопрос об историографической традиции. Я думаю, что высказанное здесь М. Г. Вандалковской соображение о влиянии дореволюционной традиции на изучение проблемы совершенно необоснованно. Нужно говорить прежде всего о влиянии советской марксистской историографии, которое совершенно очевидно. Без той огромной литературы о русском революционном движении, которая создана за семь последних десятилетий, обсуждаемая книга просто не смогла бы появиться. И если о чем-либо влиянии надо говорить, я бы сказал о влиянии работ М. В. Нечкиной. Авторы резко полемизируют со многими положениями М. В. Нечкиной и в пылу полемики не замечают, как много они восприняли из работ ученого (не говорю уже о фактической канве исследуемых явлений). Приведу только один пример. Авторы придерживаются мнения, что в годы движения декабристов в стране складывалась революционная ситуация. Тем, кто общался с М. В. Нечкиной в последние годы ее жизни, хорошо известно, что это было одно из самых близких ей положений, нашедших свое воплощение в замысле создания коллективной монографии, посвященной этой проблеме (замысел остался незавершенным). Подобные примеры можно умножать.

Наконец, о главном. Мне кажется чрезвычайно верной и плодотворной основная мысль авторов обсуждаемой монографии. Передовая идеология в своем развитии опережала развитие базиса в России этого времени. Не осознав этого, мы не сумеем понять и объяснить закономерности русского революционного движения. Тем, кто отстаивал мнение о достаточно высоком уровне развития капиталистических отношений в первой четверти XIX в., я хотел бы напомнить о неудачных попытках самодержавия решить в это время крестьянский вопрос. Александр I, издавая в 1803 г. указ о вольных хлебопашцах, был уверен, что, поскольку уже давно доказана экономическая невыгодность крепостного труда, доказано, что он не соответствует «духу времени» и т.п., помещики тут же воспользуются указом и начнут постепенно освобождать крестьян. Не тут-то было. Помещики вплоть до 1861 г. (что хорошо проявилось во время подготовки реформы в губернских комитетах в 1850-х годах) противились освобождению крестьян, противились уничтожению крепостного права. Неудача указа 1803 г. показала, что экономически Россия тогда еще не была достаточно зрелой, явно не было хоть сколько-

нибудь заметно развитых капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Поэтому мы никогда не сможем объяснить возникновение декабристского движения и декабристской идеологии (буржуазных по своей сути), исходя только из социально-экономического развития России. Авторы, как мне кажется, здесь совершенно верно говорят о значении западного влияния. Оценка этого влияния в процессе формирования революционной идеологии в России, данная в книге трех авторов, кажется мне сбалансированной и верной. Они показывают, что декабризм возник как нерасторжимое единство национального и интернационального. В книге вовсе не отрицается национальная почва движения, но хорошо показано место и роль буржуазной идеологии Просвещения в процессе становления декабризма. Россию отличала недостаточная зрелость предпосылок буржуазной революции, и отсюда особенности русской революции первой четверти XIX в., которые отличали Россию от Испании, Италии.

Закончу словами благодарности авторам, которые в своей книге поставили многие острые вопросы, и Ученому совету, который дал возможность их обсудить.

А. И. Володин

(Институт философии АН СССР)

Рассказывают, однажды на заседании Союза коммунистов один из его членов выступил с критикой по адресу Энгельса. Он был возмущен тем, что, в то время как другие члены Союза заседают, решая серьезные вопросы, Энгельс отправился с кем-то на прогулку. Маркс признал справедливость этого упрека: действительно Энгельс поступил нехорошо, не явившись на заседание. Но, кроме этого совершенно очевидного недостатка, у Энгельса есть несомненно большие заслуги перед движением; по этим-то заслугам прежде всего и следует его оценивать. «Что же касается вас,— сказал будто бы Маркс, обращаясь к незадачливому критику Энгельса,— то вы не имеете даже тех недостатков, которые есть у Энгельса». Мне показалось, что товарищи, которые сегодня здесь выступали с резкой критикой обсуждаемой книги, не имеют даже тех недостатков, которые приписаны ее авторам.

Не является ли парадоксальной ситуация: книга о революционной традиции в России написана вне стен Института истории СССР? Не представляется ли вам несколько неестественным факт, что написали ее не те профессиональные историки, которым по самому роду их деятельности положено было бы создать обобщающий труд по истории революционного движения в России, а исследователи, занимавшиеся прежде изучением истории отечественной философии. Действительно, странные явления происходят в нашем обществоведении...

Много ли недостатков в обсуждаемой книге? Много. Все дело, однако, в том, что это за недостатки и как их следует оценивать.

Я тоже неудовлетворен тем, каким образом в книге решаются некоторые проблемы. Понятно, почему в главе «У истоков „рус-

ского социализма” авторы обратились к понятиям „национальная форма”, „национально-патриотическое чувство”, „национализм” и т.п. — потому, что до сих пор при рассмотрении вопроса о возникновении утопическо-социалистической мысли в России связь этого процесса с процессом формирования национального самосознания российского общества, по существу, игнорировалась. Проблема поставлена важная и интересная, однако то, как она в конце концов решается авторами, меня не удовлетворяет.

Понятно, почему в главе «Хождение в народ» авторы столь много места уделили рассмотрению действительного народничества как «феномена группового сознания». Потому, что настало, видно, время от общих рассуждений о народниках вообще переходить к более дифференцированному изучению этого не только социально-исторического и социально-политического, но и социально-психологического образования. И, начиная этот переход, авторы делают ряд интересных наблюдений над сложной структурой социально-утопического народнического умонастроения. Но то, как они решают эту проблему в целом, меня опять-таки не устраивает.

Понятно, почему в центре авторского повествования оказалась тема о различении и противостоянии подлинной и мнимой революционности. Потому что без убедительного рассмотрения этой темы можно деформировать само понятие «революционная традиция». Но не кажется ли вам, что так называемая проблема нечаевщины уже достаточно освещена в нашей литературе, в том числе и авторами книги в их предшествовавших работах? Место, занятое ею в данной книге, невольно затеняет сюжет, который требовал пристального внимания, — вопрос о противоречивом характере самой подлинной революционности, о причинах, сути и последствиях острых споров, столкновений между различными деятелями, ее олицетворявшими, о размежеваниях между ними, о том, как в ходе этих столкновений и размежеваний происходило распадение истины на отдельные моменты и как трудно шел процесс их воссоединения.

Есть в книге и другие недостатки, ошибки. Но дело не в них. Книга написана интересная, нужная, полезная. И не только ее плюсы, но и минусы ее объясняются тем, что авторы намеренно заостренно выступили против определенных трафаретов, шаблонов, навязывавшихся нашей исторической науке десятилетиями.

Одним из них была мнимометодологическая установка на выведение всего и вся, имевшего место в России (в области общественного движения, культуры, социально-философской мысли и т. д.), исключительно или преимущественно из внутренних социально-экономических условий. И одним из важнейших, если не самым важным, позитивных аспектов обсуждаемой книги является то, о чем уже говорил здесь П. В. Волобуев, — стремление авторов включить отечественную революционную традицию в общеисторический, общемировой контекст. А то, что при этом они в ряде пунктов анализа, как говорится,

«перегнули палку», так это, вероятно, оттого, что все еще сохраняет свою действенную силу закономерность, подмеченная Н. Г. Чернышевским: «Когда палка искривлена в одну сторону, ее можно выпрямить, только искрививши в противную сторону: таков закон общественной жизни. Будем уважать его, хотя он прискорбен; будем признательны даже к ошибавшимся за их ошибку, если она содействовала исправлению других более важных и гибельных ошибок»³⁵.

В. Я. Лаверычев

(Институт истории СССР АН СССР)

Мы обсуждаем сегодня работу интересную, содержащую ряд любопытных находок, еще большее количество спорных соображений и несколько положений, которые, с моей точки зрения, неверны.

Здесь уже об этом много говорилось. Что касается вопроса развития революционных традиций, то многое из того, что сказали сотрудники нашего института, я бы поддержал. Авторы не оправдывает то, что они в борьбе с «перегибами» сами допустили значительные «перегибы». Тем более в условиях перестройки это не тот подход к развитию исторической науки. Именно «перегибы» рождают в конечном счете очередные «перегибы». Сейчас такое время, когда требуется серьезное исследование научных проблем без «перегибов». Вот по поводу одного из них я хочу сказать. Я остановлюсь на главе первой, она небольшая, 40 страниц, но в ней поставлены важные, принципиальные вопросы, притом вопросы, выходящие за пределы анализа непосредственно революционных традиций. Во вступительном слове было сказано, что авторы относят эти вопросы к проблемам Великого Октября. Так оно и есть. Ставятся вопросы предпосылок Октябрьской революции, а решаются далеко не все и освещаются не точно. И здесь никакие ссылки на «реакционеров-консерваторов» не помогут авторам и тем, кто пытается защитить их позицию. В этих вопросах нужно разбираться спокойно и обстоятельно. Думаю, что общая исходная позиция не очень убедительная, она свидетельствует о том, что здесь какие-то изъяны есть в общем построении. Я попытаюсь доказать наличие подобных «перегибов».

Во-первых, я не согласен, что уровень социально-экономического развития России дан достаточно точно. Мне кажется, всю работу понижывает тенденция принижения уровня социально-экономического развития России. Это совершенно определенная тенденция, связанная с тем «перегибом» в сторону преувеличения влияния зарубежных идеологических течений, о котором уже говорилось.

Я не согласен с тем, что в советской историографии освещения этого влияния не было. По-моему, рассмотрение этой проблемы в литературе последних десятилетий имело место.

Категорично утверждается, что сделанное в течение последних десяти—двенадцати лет в плане разработки социально-экономической истории России — это чуть ли не реакция, отступление назад. Я с этим совершенно не согласен, ибо в деле разработки этой проблемы сделано немало. Что касается определенной идеализации уровня социально-экономического развития страны, то надо прежде всего вернуться к обобщающим трудам двадцатилетней давности. В частности, в шестом томе многотомной истории СССР содержится положение, явно преувеличивающее степень социально-экономического развития России. Там, Россия, например, подтягивается к уровню западноевропейских государств по вопросу о наличии материальных предпосылок социализма. В последние годы предпринимались усилия по корректировке этих оценок на основе изучения нового фактического материала, введения его в научный оборот. Я думаю, это плодотворная работа, идущая в направлении реального решения научных проблем.

Первое положение, которое вызывает сомнение, — это не очень ясное в тексте, но достаточно определенно выраженное во вступительном слове заявление о том, что в России капитализм еще не до конца оформился в капиталистическую формацию. Мне это утверждение не очень понятно. Достаточно пространно рассуждая о развитии капитализма в России, авторы упорно избегают называть страну капиталистической. Акценты переносятся в иную плоскость. Всячески подчеркивается, что в России вплоть до 1917 г. можно говорить лишь о становлении буржуазной формации, что, «развиваясь по законам капитализма, российское общество так и не стало вполне капиталистическим» (с. 8—9, 15, 29, 44, 45, 53, 55). Если с этим критерием подходить, то в современном мире можно найти немало капиталистических государств, где капитализм не утвердился в качестве формации. Думаю, что критерий должен быть другой — был ли капиталистический уклад в России перед Октябрьской революцией господствующим или нет.

Что касается пережитков феодальных отношений, мы их не отрицаем. Думаю, что решать вопрос нельзя, не выделяя основополагающего: капиталистическим является тот строй, где товарное производство существует на основе капиталистических производственных отношений, где самая важная и значительная часть средств производства и обращения товаров принадлежит большому по своей численности классу лиц, где большинство населения состоит из пролетариев и полупролетариев. Эти положения достаточно известны. Если их учесть, — я коротко излагаю то, что есть в партийных документах, утвержденных при участии Ленина³⁶, — то наверное вопрос о том, был ли капитализм в России формацией, не является дискуссионным. Исследования Н. М. Дружинина, П. Г. Рындзюнского, И. Д. Ковальченко подтверждают это. Я в принципе не согласен с рядом выступлений об особой важности изучения многоукладности в России. Я за то,

чтобы изучать уклады в России конкретно, основательно, а не заниматься общими разговорами на этот предмет.

Второй вопрос, который дает право утверждать, что при освещении уровня экономического развития России налицо определенная односторонность. Авторы настойчиво стремятся привязать Россию ко второму эшелону капитализма. Утверждение о трех эшелонах капиталистического развития модно. Если взять развитие капитализма в глобальном масштабе, это, возможно, продуктивная точка зрения. Но я совершенно не согласен с тем, как понятие „второго эшелона“ интерпретируется авторами, проецируется на Россию. В самой работе содержится определенная оговорка, что нет неразрывной грани между этими эшелонами, но все важнейшие принципиальные положения выводятся из этого факта. Я за то, чтобы показать специфику, но показать не таким образом, как предпринято в работе, когда Россия сопоставляется с Балканскими странами, с Турцией. Мне такой подход кажется странным.

Нельзя забывать другой оценки, которая содержится у Ленина. Особенно если взять конец 1917 г., можно ли ограничиваться категорией второго эшелона? У Ленина есть совершенно однозначное определение: Россия и Япония относятся к числу великих держав, а Турция относится к числу полуколоний³⁷.

Как же можно ограничиваться только таким формальным сопоставлением? Что это дает для конкретно-исторического изучения? Те попытки, которые мы предпринимаем в деле реального сравнительно-исторического освещения социально-экономических процессов истории России, показали, что нам многое удастся понять при сопоставлении с Германией, с Японией.

Думаю, что определение места России в системе мирового империализма грешит неточностью и при приведении конкретного материала. Я не обвиняю авторов в том, что они это делают сознательно. В своей книге они приводят цифровые данные о месте России в мировом промышленном производстве (1,72% — 1840 г., 1,88% — 1890 г. и 3,14% — 1913 г.). Однако для 1913 г. известны и другие данные — от 4 почти до 6%. Разница существенная. Возьмем ту цифру, которую дает журнал «Коммунист», — более 4%³⁸. Много это или мало? Я в своих статьях приводил факты экономической отсталости России по сравнению с более развитыми капиталистическими странами. Но ведь есть и другие данные, которые нельзя не приводить, нельзя не учитывать, определяя место России в системе мирового империализма уровень ее экономического развития. Какое место в мире занимала Россия по производству промышленной продукции накануне революции? Цифры эти известные, они никогда не были секретом: по уровню промышленной продукции Россия занимала пятое место в мире, первое — второе — по нефти, первое — по марганцу. Особенно важно, что по машиностроению Россия занимала четвертое место в мире; это следует учесть, когда мы анализируем и уровень развития капитализма, и место России

в системе мирового империализма я готов признать все остальные факты, но нельзя игнорировать и этого! Ведь такие страны, как Япония, Австро-Венгрия и Италия, по уровню промышленного производства стояли ступенькой ниже. Ленин Австро-Венгрию и Италию, не относя их к числу великих держав, ставит по уровню развития ниже России, и мы не можем, не имеем права игнорировать эти ленинские положения!

Авторы утверждают, что в России в 1913 г. доля сельскохозяйственной продукции в 2,2 раза превышала уровень промышленной продукции. Мы располагаем другими данными, опубликованными ЦСУ и в ряде еще довоенных работ, где Россия объявлялась даже полуколонией. В совокупности производства уровень сельского хозяйства — 50,7%, промышленности — 42,1%. Мне кажется, это разница принципиальная, характеризующая другой уровень развития страны, подтверждающий, что Россия была аграрно-индустриальной страной.

И еще один вопрос. Здесь была предпринята попытка похвалить авторов за то, что они полно и точно используют ленинские положения. Мне кажется, что мы имеем дело с тем, когда Ленин используется выборочно, в угоду предвзятой концепции, избранной авторами. Я позволю себе это подтвердить только двумя примерами. В тексте это прослеживается достаточно ясно и отчетливо. Первое замечание. Авторы приводят выдержку из работы Ленина: «Самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм». В контексте изложения материала, когда акцентируется внимание на пережитках крепостничества и на отсталости, подобные оценки В. И. Ленина при игнорировании ряда других его взглядов приобретают одиозное звучание.

У Ленина наряду с положением, которое приводят авторы, есть и другие оценки уровня развития России.

Если мы занимаемся творческим изучением Ленина, если мы хотим по-новому рассмотреть исторические проблемы, то какое право имеем игнорировать другие положения и оценки Ленина в работах более концепционно значимых, чем те, которые цитируют авторы. Работа «Сущность аграрного вопроса» (1912), в частности, имеет программное значение. Там определенно сказано, что капитализм широко развит в нашей промышленности и значительно развит в нашем земледелии. Капитализм — черным по белому. И мы можем найти не одно такое положение.

Другое замечание касается положения о среднеслабом уровне развития капитализма в России. Я долго искал, где же это. Ссылка дана на Ленинский сборник (т. XI), который стал библиографической редкостью. Там содержатся ленинские замечания на книжку Бухарина. Эти материалы переизданы в 40-м Ленинском сборнике. Не уверен, что на основе вырванной из текста заметки можно полагать, что Ленин считал капитализм в России среднеслабым. Во-первых, надо учитывать, что это ленинские заметки для себя в ответ на текст Бухарина, у ко-

того не очень четко высказана мысль о слабом звене и далее говорится о системе мирового капитализма. Бухарин пишет кратко: мировой социализм начинается с наиболее слабых систем. Ленин поправляет этот «слабый» на «среднеслабый». Поэтому здесь совершенно другое звучание, т. е. выражена мысль, которую мы признаем вроде бы безраздельно — Россия — слабое звено мирового империализма. Но самое главное не в этом, авторы обрывают ленинскую пометку, вторую часть ее, более ясную, они почему то сочли возможным опустить. А далее следует в ответе на замечание Бухарина о самой слабой системе — «без известной высоты капитализма у нас бы ничего не вышло»³⁹. Вот вам наглядный показатель тенденциозного подхода. Поскольку свои рассуждения авторы доводят до Великой Октябрьской социалистической революции, они обязаны были воспроизвести и эту вполне ясную ленинскую оценку, которая Великий Октябрь обуславливает не отсталостью России, а определенным уровнем развития капитализма.

С. О. Шмидт

(Институт истории СССР АН СССР)

Я буду говорить об общих впечатлениях, и в основном о первой главе. Думаю, что сейчас, когда стали предъявляться требования общественности и руководящих органов к усилению роли общественных наук, эта книга является чрезвычайно своевременной, она посвящена животрепещущим вопросам революционной традиции в нашей стране, вопросу, почему именно в нашей стране произошла социалистическая революция, об общем и особенном в развитии нашей страны и развитии других стран, о взаимосвязи базиса и надстройки, о взаимосвязи национального и интернационального. Надо сказать и о самом характере книги, форме, в которой она написана. Книга ставит вопросы, сочетая определенную полемичность с элементами историографическими (хотя недостаточно использована полемика и литература 20-х годов). Это попытка по-новому прочитать Ленина — причем те ленинские сочинения, которые в последние годы не слишком часто цитировались, — исходя из основного ленинского понятия революционной традиции. Ленину принадлежит мысль, что марксизм был выстрадан русским освободительным движением путем достижений и ошибок, и эти достижения и ошибки показаны авторами.

Главное, что мне кажется новым в самой постановке вопроса, — это подчеркивание вариантности путей развития во многих странах и в одной стране. Экономика — это ключ, только (как подчеркивали Маркс и Ленин) в России он выглядит иначе, чем в Германии. Если мы почитаем ленинские Философские тетради, то увидим, как и у Гегеля, он ищет различные толкования вариантов, он считал, что в рамках марксистского мировоззрения тем более могут и должны быть разные точки зрения. Особенно важен вопрос, понимаемый по-разному, — это соотношение истории

России и Запада, характер их взаимодействия. Думаю, что это можно сформулировать достаточно четко и ясно. Сегодня воздействие на Россию, а затем, начиная с XX века, ни с чем не сравнимое влияние России на Запад, особенно после Октября.

В этой связи хочу оспорить не вполне корректное положение И. А. Булыгина, приписывающего авторам книги мысль о заимствовании капитализма в России. Речь идет о бюрократически насаждавшемся капитализме сверху по сравнению с другими странами, о государственном капитализме. Это обосновано Н. М. Дружининым. Речь идет в основном об уровне развития, но ведь следует рассматривать и производственные отношения.

Думаю, что неверно рассматривать Россию, даже ссылаясь на малый листаж, не подчеркивая, что это была многонациональная страна, с неравномерным развитием ее частей.

Вопрос о революционной ситуации — это вопрос общепринципальный и важно, что он правильно поставлен, как и вопрос о том, какое огромное влияние имела надстройка. Эти надстроечные явления у нас в литературе зачастую недостаточно учитывались.

Главное — это то, что мы после многих лет дождались книги, о которой хочется и говорить, и спорить, — книги, которая возбуждает мысли, которая собрала такую аудиторию; дождались того, что наш Ученый совет проводит столь интересное заседание, когда институт начинает наконец оправдывать свое положение головного института. Нужно проследить за тем, чтобы в наших журналах была самым подробным образом напечатана информация о нашем обсуждении.

Здесь правильно говорили, что книга вышла небольшим тиражом, что несомненно назрела потребность в ее переиздании с учетом высказанных замечаний, с учетом этой полемики. В конце концов, мы должны поблагодарить авторов за то, что они отвоевывают историю у художников слова и кино, показывают, что и ученые умеют писать интересно и об интересном для всех.

К. Ф. Шаццло

(Институт истории СССР АН СССР)

Мы заседаем уже пять часов, и о книге сказано много. Я прочитал эту книгу с большим интересом, с большой пользой для себя. Я не являюсь специалистом по революционному движению XVIII—XIX вв., но мне понравилась первая глава, поскольку она ближе к моим научным интересам. Хотелось бы сказать не столько о самой книге, сколько о характере дискуссии, которая здесь развернулась.

Во-первых, должен отметить, что сравнительно мало навешивается друг на друга всяких «измов», хотя такие попытки и делались. Во-вторых, в споре мы должны попытаться понять точку зрения другого, а не упорно на протяжении десятилетий повторять одно и то же, одну и ту же свою мысль. Илья

Андреевич (Булыгин.— *Ред.*), сколько трудов выходит в нашем институте о том, когда начал развиваться капитализм в России, а вы их игнорируете, продолжая «тянуть» капитализм с начала XVII в. Сколько раз мы от вас слышим, что восстание декабристов — это неудавшаяся буржуазная революция?

С другой крайностью выступал здесь наш гость, доктор философских наук, человек высокой профессиональной квалификации, а доказывал, что в России капитализма не было, и забыл о том, что, хотя Энгельс писал о недостаточном развитии капитализма в России, Ленин, используя огромный фактический материал, писал книгу о развитии капитализма в России, книгу, от которой он никогда не отказывался и не говорил, что в ней он переоценил уровень развития капитализма. Мне кажется, что нам надо перестать друг друга хлестать цитатами. У меня тоже в кармане лежат две опровергающие друг друга цитаты (зачитывает.— *Ред.*). Одни будут стоять на позициях одной цитаты, другие — другой. Мы слышали, что Россия первоклассная, но не вполне самостоятельная империалистическая держава. Но в каком контексте это было сказано? Когда Ленин делит империалистические государства по степени их влияния в мировой империалистической системе, когда говорит о степени участия в развязывании первой мировой войны. Стало быть, здесь учитывается не только уровень развития капитализма, но и состояние армии, мощь флота и т. д. Давайте же не вырывать цитаты из контекста, давайте говорить по существу проблематики.

Призывали к фактам. Я сейчас написал работу о военной промышленности России XX в., и оказалось, что большинство заводов военной промышленности в XX в. были организованы почти так, как и в XVII в. Почему же не хотят понять того, что написано в разбираемой книге? В XVIII в. все эти предприятия уже существовали, и авторы об этом пишут, связывая их со «вторым эшелонам» развития капитализма.

В книге четко написано, что капитализм в России развивался и «сверху» и «снизу», а вы (обращаясь к И. А. Булыгину.— *Ред.*) утверждаете, что он, по мнению авторов, импортировался только из-за границы.

Теперь о трех эшелонах. Мне эта идея очень импонирует, она давно утвердилась в науке, хотя с делением, которое есть в книге, где Россия ставится на один уровень с Грецией и Турцией, я не согласен. Думаю, что Японию и Россию в этом плане можно рассматривать и сопоставлять. А вообще идея о трех эшелонах, о том, что в России особенный путь развития капитализма, не такой, как в классических странах первого эшелона, верна, давно надо согласиться с этим.

Что оказывается в реальности? Даже при изучении крупной промышленности XX в. не обойтись без учета существования самых современных, самых модернизированных частных военных предприятий с отсталыми казенными, полуфеодальными по методам управления. В отличие от многих моих коллег, которые

считают неудобным вспоминать о том, что они писали ранее, я готов сейчас подписаться под каждой фразой, которую писал 30 лет назад, — о высоком уровне развития финансово-монополистического капитализма в военной промышленности. Но одновременно существовали казенные заводы, которые действовали на особых основаниях, в которых капитализм был деформирован, капиталистические понятия — «цена», «себестоимость», «прибыль», «амортизация» — не были известны казенным чиновникам. Попытка представить исторический процесс однолинейно бесплодна. Еще в XIX в. была высказана мудрая мысль: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Одна шестая земли! Как же вы хотите загнать ее в прокрустово ложе однозначных формулировок. Здесь было сказано о своеобразии исторического развития России, и давайте эту специфику изучать.

Книга будит мысль, полезна для того, кто занимается революционным освободительным движением. Я высоко оцениваю и первую главу о социально-экономическом развитии России, хотя в ней и есть вещи, против которых хочется возражать.

В. И. Бовыкин

(Институт истории СССР АН СССР)

Многие говорили здесь, что книга хорошая, потому что она будит мысль. Видите, до какой жизни мы дошли: выходит, что книга, которая будит мысль, у нас уже событие. Это, конечно, повод для раздумий. Одно из двух — либо мы отвыкли читать книги, которые публикуются, либо действительно они ничего не дают ни уму ни сердцу. Мне этот вопрос представляется в дискуссии неясным.

А. И. Володин, хваля книгу, высказал даже сожаление, что она родилась вне стен этого института. А вот мне не жаль! Ему кажется, что ее выход свидетельствует о том, что у философов дела идут хорошо, а у историков — плохо, а я думаю, что наоборот.

В некоторых выступлениях прозвучала «агитация» за то, что это хорошая книга потому, что в ней заложены новые идеи. Однако, как отметила уже давно в одном из своих выступлений М. В. Нечкина, новизна не есть доказательство истинности. Если в работе по-новому ставятся какие-то старые вопросы, то это неплохо, но это скорее предмет для обсуждения, нежели для восхищения.

В работе поставлена интересная и важная проблема: почему Россия стала центром мирового революционного движения. Ее решают уже сто лет и будут дальше решать наши последователи, и каждый внесет в ее решение свою лепту. Так складывается определенная преемственность, историографическая традиция. Почему не стала центром мирового революционного движения, например, Турция, которая, как кажется авторам обсуждаемой книги, очень близка к России по характеру и

уровню своего развития? Почему не США, которые ввозили капитала и техники не меньше России? Почему именно Россия? И мне представляется, что решение этого вопроса, которое предлагают авторы, необоснованно. Они исходят из противопоставления объективных и субъективных факторов. Они исходят из того, что объективные факторы в России не сложились и их восполнила «революционная традиция», подготовив то, чего не могли подготовить объективные факторы. Коль это так, то основной вопрос: почему в России не сложились объективные факторы? Между тем освещение этого вопроса страдает, как мне представляется, большими изъянами. Здесь об этом уже говорилось. Я хочу отметить лишь необъективность авторов. Руководствуясь заранее заданной концепцией, они одни труды использовали, другие игнорировали. Здесь П. В. Волобуев говорил, что очень хорошо, что авторы не читали новейших исследований, что этого и не нужно было делать. Почему же? Среди них есть очень достойные работы: Н. М. Дружинина, П. Г. Рындзюнского, И. Д. Ковальченко и др. Они доказывают, что в России победил капитализм. А авторы исходят из того, что его не было, потому что и быть не могло.

Е. Г. Плимак

Прочитайте, пожалуйста, хоть одно место, где бы мы говорили, что не было капитализма.

В. И. Бовыкин

Не буду. Вы же не возражали одному из выступавших, вашему «защитнику», который утверждал, что и Маркс не видел капитализма в России. Противопоставляя цитаты из Маркса результатам исторических исследований, этот выступавший хорошо показал, что в основе некоторых современных новаций лежит дремучий догматизм.

Содержащееся в обсуждаемой книге противопоставление объективных и субъективных условий нелогично даже чисто теоретически. Ибо если в России не существовало объективных условий для революции, то каким образом могли возникнуть социальные силы, способные ее совершить?

Для книги характерно и противопоставление идей авторов историографической традиции. Однако новизна многих идей сомнительна. Это противопоставление себя традиции мало плодотворно, оно лишает авторов и их концепцию жизненной силы.

Но противопоставление историографической традиции плохо и потому, что эта традиция освещается необъективно. Е. Г. Плимак во вступительном слове говорил, что ряд авторов «под сурдинку» протаскивают что-то. Почему же «под сурдинку». Мы публикуем результаты своих исследований. Спорьте с ними по существу. А вы пытаетесь бросить тень и лишить нас права вести равно-

правный спор. В этой связи не могу не коснуться выступления П. В. Волобуева. Агитируя здесь не читать новейшие исследования, он утверждал, что в отличие от предшествовавшей литературы их авторы из соображений лжепатриотизма преувеличивают уровень капитализма в России. Я должен напомнить вам о вашей собственной брошюре «Монополистический капитализм в России», которую авторы обсуждаемой книги почему-то не взяли на вооружение. Мне представляется, что большего преувеличения уровня капитализма в России нет нигде (П. В. ВОЛОБУЕВ: Грешил, грешил в молодости!). Тогда не нужно обвинять других в лжепатриотизме. Только честный спор будет плодотворным.

Л. Г. Сухотина

(Томский государственный университет)

Мне кажется, в спорах наметился определенный крен. Выступили прежде всего специалисты, занимающиеся проблемами социально-экономической истории России, поэтому отошли от главного в этой книге — в чем суть революционной традиции. Правомерна ли такая постановка проблемы?

Современные западные авторы полагают, что ни одна интеллигенция не была столь радикально настроена, как русская революционная интеллигенция. И они-то стремятся найти объяснение этим причинам, а мы, к сожалению, только пытаемся этим заниматься. Мы, говоря о каких-то изъянах концепции, предлагаемой авторами, не вникаем в суть этой концепции.

Мне кажется, что достоинством книги является то, что всем своим содержанием она спорит с концепцией буржуазных авторов, с их концепцией русского революционного движения. Согласно буржуазным авторам, своеобразие русского революционного движения заключается в мученичестве русской революционной интеллигенции, и это мученичество состояло в том, что она была оторвана от действительности. Авторы данной книги как раз пытаются доказать обусловленность этой революционной традиции, они очень умело полемизируют с современной буржуазной концепцией.

В этом зале прозвучала мысль о том, что в книге противопоставлены субъективная и объективная стороны революционного процесса. Мне кажется, что это не так. Субъективная сторона революционного движения обусловлена в книге уровнем и своеобразием исторического развития России. Совершенно естественно, что вопрос этот вызвал споры в этой аудитории. Но мне кажется, что авторы отнюдь не хотели подчеркивать большую экономическую отсталость России. Изъян их концепции я усматриваю в том, что не совсем конкретно ставится проблема своеобразием социально-исторической обстановки в России в период развития революционного движения, а оно заключалось в том, что существовал большой разрыв между уровнем промышленного

развития и уровнем развития сельского хозяйства. Можно сколько угодно цитировать Ленина, приводить сколько угодно статистических данных. На каждый факт можно привести контрфакт. Но нельзя забывать то, о чем Ленин писал еще в начале XX столетия. В письме Скворцову-Степанову от 16 декабря 1909 г. Ленин писал о том, что не произошел еще тот диалектический перелом, который снял вопрос о борьбе двух революций в России⁴⁰. Мне кажется, что если бы авторы подчеркнули эту мысль, этот разрыв между уровнем промышленного развития и уровнем сельскохозяйственного развития страны, было бы понятно то положение, которое так трагически переживала российская революционная интеллигенция, тогда была бы понятна ее активность, на которой акцентируют внимание авторы.

Заканчивая, скажу, что это очень интересная, очень своевременная книга.

А. В. Семенова

(Институт истории СССР АН СССР)

Работа И. К. Пантина, Е. Г. Плимака и В. Г. Хороса «Революционная традиция в России» затрагивает широкий круг проблем. Остановлюсь на истории движения декабристов. Интерпретация его авторами книги вызывает возражения.

Далеко не в полной мере используя обширный фактический материал, допуская ошибки и неточности, авторы зачастую воскрешают некоторые положения либеральной историографии, давно развенчанные советской исторической наукой. В книге ставится под сомнение определяющее воздействие русской действительности на зарождение и развитие декабризма как революционного движения. Одновременно преувеличивается степень влияния западных идейных теорий и конкретного революционного опыта на формирование воззрений и тактики декабристов, в том числе на их конституционные проекты.

С проблемой генезиса декабризма связано в книге и положение о прерывистости («обрыве») в России конца XVIII — начала XIX в. революционной традиции, идущей от Радищева. По мнению авторов, якобы именно отсутствие собственной революционной традиции и порождало особое внимание первых русских революционеров к опыту Запада. Между тем это утверждение весьма спорно. В литературе убедительно доказана важная роль поэтов-радищевцев И. П. Пнина, В. В. Попугаева и других в деле сохранения и продолжения революционных традиций в России. Нельзя игнорировать также иные проявления вольномыслия в конце XVIII — начале XIX в.: деятельность кружка А. М. Каховского — А. П. Ермолова, издание «Санкт-Петербургского журнала» И. П. Пниным и А. Ф. Бестужевым, отцом будущих декабристов, и другие явления подобного характера. Более того, имеются прямые свидетельства влияния на декабристов книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Несмотря на стремление декабристов на следствии

умолчать о чтении запрещенных книг, о сочинении Радищева упомянули В. К. Кюхельбекер, В. И. Штейнгель. Кюхельбекер также отмечал, что «Путешествие» Радищева стоит в ряду тех книг, которые «переписывают с жадностью и дорожат каждым дерзким словом, которое находят в них». Младший из братьев Бестужевых, Петр, заявил, что свободные мысли зародились в нем вследствие чтения разных рукописей, в их числе упомянуто «Путешествие» Радищева⁴¹. Николай Тургенев в юные годы был знаком с книгой Радищева и анализировал ее в своем дневнике⁴². Сочинения Радищева имелись в библиотеке Никиты Муравьева.

Говоря о генезисе декабризма и о перспективах возможной победы декабристов, необходимо коснуться и уровня развития России первой четверти XIX в., который неоправданно принижается в работе. В книге подчеркивается якобы «громадная отсталость России», где «капиталистический уклад... только-только обозначился, третье сословие отсутствовало, крестьянство было проникнуто монархическими настроениями» (с. 88, 113). Однако подобные общеисторические построения находятся в явном противоречии с современной историографией. Капиталистический уклад развивался в России со второй половины XVIII столетия. Примерно с 30-х годов XIX в. обозначился кризис феодально-крепостнической системы, а по мнению некоторых исследователей, он начался еще ранее. Во всяком случае, даже в школьных учебниках по истории СССР время первой половины XIX в. характеризуется как период разложения феодального строя. Несостоятельно положение и о полном отсутствии третьего сословия в России, так как признание развития капиталистического уклада подразумевает наличие этого самого «третьего сословия». Конкретно-исторический материал наглядно свидетельствует об этом⁴³.

Авторы книги оперируют понятием «монархические настроения крестьянства». Однако следует обратить внимание на то, что такое понятие не однозначно монархизму класса дворян-крепостников. Без учета этого весьма существенного различия невозможно правильно оценить идеологию крестьянства той поры. То, что именуется «наивным монархизмом крестьянства», в действительности выступало в качестве проявления антикрепостнических настроений этого класса-сословия. Крестьянство возлагало надежды на социальные преобразования, и прежде всего на отмену феодально-крепостнической зависимости, когда уповало на «доброе», «хорошего» царя и «монаршую милость».

Учитывая все эти обстоятельства, нельзя согласиться с тезисом авторов о некоем «забегании вперед» со стороны декабристов и недостаточной социально-экономической обусловленности движения.

Также странно выглядит утверждение о бедности собственного политического опыта России (с. 88). Здесь полностью игнорируется бурная политическая жизнь России XVII — начала XIX в.

Есть серьезные замечания к позиции авторов по конкретным вопросам истории первого этапа русского революционного движения. Фактически в оценке Союза благоденствия авторы приближаются к либеральным историкам, утверждавшим мысль о либеральном, а не революционном характере этой организации. Эти положения в свое время были убедительно опровергнуты советскими историками С. Н. Черновым, М. В. Нечкиной, В. Г. Базановым. Между тем в книге мы встречаем утверждения о том, что Союз благоденствия не стремился к освобождению крестьян — здесь были лишь случаи частной инициативы. Это заявление основывается на отсутствии в уставе организации — «Зеленой книге» — подобного положения. Однако, во-первых, умалчивается доказанный ныне факт существования 2-й части «Зеленой книги» с изложением «сокровенной цели» общества. Укажем здесь, что подготовленные ныне к печати следственные дела членов Союза благоденствия В. А. Глинки и С. Н. Бегичева дают новые убедительные свидетельства существования 2-й части устава, которая не дошла до нас. Во-вторых, имеется множество документальных свидетельств разного происхождения (донос М. К. Грибовского, показания на следствии И. Д. Якушкина, П. И. Колошина, П. И. Пестеля и др.), говорящих о требовании освобождения крестьян как основной задаче Союза благоденствия. Члены организации подавали правительству записки о вреде крепостного права (известны записки А. Н. Муравьева, Н. И. Тургенева).

Деятельность Союза благоденствия в книге сводится лишь к легальной форме, да и та определяется как крайне мало эффективная. Это неверно. Известно, что в определенный период Союз благоденствия руководил общественным мнением в столице. Борьба с голодом в начале 20-х годов XIX в., проводимая членами организации, вызвала серьезную озабоченность Александра I. Он высказывал опасения, говоря о размерах и значении деятельности Союза благоденствия, о котором ему стало известно.

Вызывает возражение явное преувеличение степени разногласий между Северным и Южным обществами.

Нельзя принять термин «революционный дилетантизм» применительно к декабризму — передовому движению, определившему собой в идейном плане всю первую четверть XIX в., оставившему яркие творения политической мысли, давшему нашей истории явления героизма и самопожертвования, открывшему эпоху вооруженных революционных выступлений.

Создавая работы, претендующие на широкие обобщения, необходимо более глубокое знание фактического материала, изучение и использование всей предшествующей литературы, а не отдельных выборочных работ.

И. К. Пантин

(Институт международного рабочего движения АН СССР)

Давно известно, и науковеды подтвердили этот факт, что каждая идея проходит три стадии. Сначала все дружно говорят, что это чепуха. На второй стадии говорят, что в ней что-то есть, а на третьей стадии ее воспринимают положительно.

Для нашего времени характерно, что идеи книги уже не просто отвергаются и объявляются чепухой, а обсуждаются.

Эта книга не завершение, а продолжение нашей работы, и мы будем и далее заниматься этой проблемой, замыслив новые книги, статьи, и все замечания — и те, с которыми мы согласны, и те, с которыми не согласны, — мы постараемся учесть. Один из выступавших сказал, что эта книга возникла не случайно. Да, книга возникла не случайно, потому что в последние 20—30 лет целая отрасль общественных наук сделала колоссальный рывок вперед. Это востоковедение. Идея третьего эшелона — это общее место востоковедения, и плохо это или хорошо, эта идея проверена в востоковедении, а по отношению к России эта идея оказалась проработанной недостаточно. Не случайно то, что на эту проблематику вышли люди, которые занимались и русской историей и которым приходится заниматься проблематикой всеобщей истории. Да, мы сознательно шли на то, чтобы использовать то теоретическое движение, которое зародилось в других науках и которое историкам было использовать нелегко. Конечно, мы не всю литературу знаем. Я целиком должен признать, что кое-где у нас зияющие пробелы, но меня утешает, что и выступавшие не всю литературу знают. Например, знаете ли вы работу Крылова, это же работа должна быть одной из настольных работ русских историков, а она среди русских историков еще недостаточно известна. Каждый из нас в меру сил знает ту или иную литературу, но, когда нам говорят: прочтите эту работу, проработайте этот сюжет, конечно, мы будем читать.

Я хотел сказать о некоторых выступлениях. Мне больше всего понравилось выступление Л. В. Даниловой; выступления же В. Я. Лаврычева и В. И. Бовыкина показали, что мы, конечно, стоим на разных точках зрения.

Отмечу упорное непонимание того, что хотели сказать авторы этой книги. Мы написали, что со многими прежними положениями не согласны. Но при всех наших разногласиях В. Я. Лаврычев говорит: главный критерий — был ли капитализм в России или нет? Для нас здесь дилеммы не существует. Да, был.

Вопрос другой — более конкретный и более важный: какого типа был этот капитализм? Ведь в России при резко выраженном капитализме существовали еще уклады первобытнообщинный, патриархальный. Решать этот вопрос следует, опираясь на труды Маркса и Ленина.

В. И. Бовыкин возражал против идеи о том, что объективные факторы не созрели для революции, а восполняющим их яв-

лялся субъективный фактор. Ленин также отмечал, что в стране не существует ряда объективных условий для построения социализма. А идея нэпа как раз и заключается в том, чтобы на почве диктатуры пролетариата создавать эти условия. Объективные же условия были в том смысле, что развивался капитализм, был современный революционный пролетариат. Но к сожалению, этому пролетариату пришлось, опираясь на свою власть, догонять многие передовые страны, и мы знаем, какой ценой пришлось это сделать.

И последнее. Когда М. Г. Вандалковская изящно начала нашу родословную с Милюкова, я схватился за голову: а ведь я плохо знаю Милюкова. Но в данном случае Вандалковская, процитировав Милюкова, сблизила его с Марксом.

И последнее. Я с большим удовольствием выслушал выступление Г. Д. Алексеевой — эмоциональное, логичное, интересное. Но в одном я никак не могу с нею согласиться. Революционная традиция и ее осмысление обновляются с каждой исторической эпохой, и поэтому, когда вы заявляете, что нельзя говорить об интернационализме по отношению к революционной традиции, — в этом я никак не могу с вами согласиться. Вспомните слова Чернышевского, Ленина и других о том, что интернационализм — живой интерес к тому, что делается вне России, — есть традиция русской революционной мысли, и мы смеем надеяться, что развиваем эту интернациональную традицию.

А. Н. Сахаров

Настоящая дискуссия показала, что в Институте истории СССР живы и крепки традиции острых, принципиальных обсуждений независимо от устоявшихся концепций, от сложившихся точек зрения. Сегодняшняя дискуссия — это шаг, один из первых на этом пути. Споры, и даже острые споры — нормальное явление в науке. Думаю, что в дальнейшем научные проблемы частного и общего характера нам нужно переводить на рельсы крупных, открытых, смелых обсуждений, начало чему положено сегодня.

Значение настоящей дискуссии состоит в том, что по данной проблеме, согласны мы с оппонентами или нет, мы по-прежнему писать уже не сможем, что по-прежнему писать мы уже не вольны, как не вольны по-прежнему писать и сами авторы, выслушав те выступления, которые здесь сегодня прозвучали. Особенно важно это в канун подготовки Институтом истории СССР нового обобщающего труда «Освободительное движение в России XIX века», и то, что мы сегодня услышали, хочется нам этого или нет, мы обязаны будем учесть в этой большой и важной работе.

Авторы книги и выступавшие сегодня поставили ряд очень важных вопросов, которые нам предстоит решать, — о характеристике российского капитализма (был он капитализмом «особого типа», или отражал некие универсальные процессы), о

России как «втором эшелоне» европейского капитализма, об «органичности» западного капитализма и «неорганичности» российского. Но прежде всего мы должны спросить себя: правомерна ли сама постановка проблемы в том общем виде, как это было сделано?

Мы часто негодуем по поводу того, как можно так социологически обще поднимать проблемы, но потом понимаем, что такая постановка возможна, что при всех ее издержках это дает и определенные плюсы, когда вся история просматривается целиком. Обсуждение показало, что смысл такого подхода к истории надо видеть и тем, кто изучает более ранние периоды истории России — XVI—XVII вв. Такой подход, возможно, единственно правильный при решении крупных обобщающих проблем.

Еще один вопрос — о том, какое место занимают вопросы отечественного освободительного движения в истории взаимоотношений народов. Мне представляется, что и авторы, и выступавшие оказались волей-неволей в рамках европоцентризма. Это существенный недостаток. Европа и Россия постоянно оказываются то стоящими друг против друга, то дополняющими друг друга. Причем отсчет идет, как правило, от Европы. Вопрос, видимо, следует ставить более широко, о соотношении исторических процессов не только Европы и России, но также России и Азии. Об этом было сказано вскользь, но эта проблема существует, мы ее разрабатываем слабо, между тем вопросы истории Востока и Запада являются слитными и разделить их нельзя. Сугубо региональный подход здесь неправомерен.

Наконец, еще одна очень важная проблема: соотношение освободительного движения центра и национальных районов страны. Национальные районы, огромные по своей территории, равные целым европейским государствам, оказывали всестороннее влияние на освободительное движение в центре, как и центр оказывал мощное влияние на развитие освободительного движения во всех регионах страны. Необходимо учитывать специфику и традиции, общее и особенное в освободительном движении центра и других регионов страны. Эти проблемы разрабатываются также недостаточно. Авторы и выступающие это хорошо выявили, и это дело будущего. Мне хочется поблагодарить Е. Г. Плимака, И. К. Пантина и В. Г. Хороса за то, что они откликнулись, пришли к нам, выступили, участвовали в полемике. Мне хочется поблагодарить и других участников дискуссии. Остается пожелать нашему Ученому совету и всем здесь присутствующим, институту в целом не забывать эту традицию, на этом пути, надеемся, нас ждут научные успехи.

¹ Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 379.

² Лаверычев В. Я., Пирумова Н. М. Некоторые проблемы истории освободительного движения в России XIX в. // История СССР. 1986. № 2. С. 28—55.

³ Рындзюнский П. Г. Утверждение капитализма в России. М., 1978. С. 294.

⁴ Ленинский сборник. М., 1930. XII. С. 425.

- ⁵ Сидоров А. Л. Исторические предпосылки Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1970. С. 68; Исторический опыт российских революций: Генеральная репетиция Октября. М., 1985. С. 12, 86—87 и др.
- ⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 7.
- ⁷ Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала в России. М., 1984. С. 248.
- ⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 23. С. 360.
- ⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 380.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ Лаврычев В. Я. Государство и монополии в дореволюционной России: Проблемы вмешательства абсолютистского государства в экономическую жизнь и водействия капиталистических монополий на государственный аппарат. М., 1982. С. 3, 173.
- ¹² Нечкина М. В. Декабристы. М., 1982. С. 7.
- ¹³ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 318.
- ¹⁴ Ленин В. В. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 81.
- ¹⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 178.
- ¹⁶ Бескровный Л. Г. Отечественная война 1812 года. М., 1962. С. 251.
- ¹⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 179.
- ¹⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 412.
- ¹⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 450.
- ²⁰ Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. М., 1956. Т. 1. С. 102.
- ²¹ См.: Единство. 1917. № 69. 20 июня.
- ²² Ленинский сборник. М., 1985. Т. XL. С. 425.
- ²³ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 80.
- ²⁴ Эта формулировка содержится, в частности, в работах: Новикова Н. Н., Клосс Б. М. Н. Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 года: Некоторые итоги и перспективы исследования. М., 1981. С. 38; Пинаев М. Зоркость и предвидения художника-мыслителя // Наш современник. 1978. № 11. С. 158.
- ²⁵ Революционная ситуация в России в середине XIX века / Под ред. М. В. Нечкиной. М., 1978.
- ²⁶ См.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1960. Т. 1; М., 1963. Т. 3 и т. д.
- ²⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 30.
- ²⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 247, 249.
- ²⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 331.
- ³⁰ Ключевский В. О. Курс русской истории. Пг., 1923. Ч. 4. С. 326.
- ³¹ Чернышевский Н. Г. Письма без адреса. М., 1983. С. 43.
- ³² Молева Н. М. Потемкинские деревни // Вопр. истории. 1967. № 4. С. 212—215.
- ³³ Дружинин Н. М. Кто были декабристы и за что же они боролись? М., 1926. С. 65.
- ³⁴ См.: Дружинин Н. М. Избранные труды: Революционное движение в России в XIX в. М., 1985. С. 95.
- ³⁵ Чернышевский Н. Г. Избр. филос. соч. М., 1950. Т. 2. С. 429.
- ³⁶ КПСС в резолюциях... М., 1983. Т. 2. С. 71—73.
- ³⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 377; Т. 28. С. 178.
- ³⁸ Коммунист. 1987. № 2. С. 124.
- ³⁹ Ленинский сборник. Т. XL. С. 425.
- ⁴⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 226—232.
- ⁴¹ Восстание декабристов: Документы. М.; Л., 1926. Т. 2. С. 167; М., 1976. Т. 14. С. 176—326.
- ⁴² Тургенев Н. И. Дневники и письма за... 1806—1811 годы. СПб., 1911. Т. 1. С. 64, 428.
- ⁴³ Рожкова М. К. Промышленность Москвы в первой трети XIX века // Вопр. истории. 1946. № 11/12; История Москвы. М., 1954. Т. 3; Очерки экономической истории России первой половины XIX века. М., 1959.

ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

*

СОВЕТСКАЯ МЕДИЕВИСТИКА С СЕРЕДИНЫ 30-х ДО КОНЦА 60-х ГОДОВ

Е. В. Гутнова

В наши дни в условиях перестройки и выработки нового мышления во всех сферах жизни общества возникает настоятельная потребность осмыслить с современных позиций предшествующий путь советской исторической науки в целом, в том числе медиевистики.

Предлагаемая статья не претендует на полное и всестороннее освещение истории советской медиевистики за 70 лет, для чего потребовалась бы целая книга. Задачей автора лишь является рассмотрение основных направлений ее развития, и притом в ограниченный период — с середины 30-х до конца 60-х годов¹. Эти хронологические рамки определяются следующими соображениями.

До начала 30-х годов советская марксистская медиевистика еще только формировалась, часто в острой борьбе с сохранявшимся до середины или даже конца 20-х годов влиянием дореволюционных историков, далеких от марксизма или даже враждебных ему. Не устоялись еще в 20-е годы и марксистские взгляды на многие важные проблемы истории средневековья. В среде историков-марксистов господствовало вульгарно-социологическое понимание марксистской исторической теории, при котором изучение конкретной истории общества в разные эпохи подменялось изучением социально-экономических формаций как социологических категорий; исключение делалось только для классовой борьбы и революций. История как целое уступила место «обществоведению» в науке и образовании. Работа с источниками, конкретные исследования зачастую третировались как атрибут старой буржуазной науки. В конце 20-х годов преподавание истории средних веков и исследования в этой области прекратились.

В таких условиях постановление партии и правительства от 16 мая 1934 г., открывшее возможности для исследований и преподавания гражданской истории всех формаций, способствовало развитию советской медиевистики, и в этом смысле оно стало определенной вехой в этом развитии.

Верхний рубеж данной статьи — конец 60-х годов — тоже не

случаен. Он замыкает наиболее сложный, противоречивый период в развитии советской медиевистики: ее существование в условиях культа личности, открытого административно-командного давления на науку, полной оторванности от зарубежной историографии. Последствия этих неблагоприятных условий далеко не сразу стали преодолеваться даже после 1956 г., они сказывались на протяжении 60-х годов. Важные сдвиги к концу 60-х годов произошли и во внутреннем развитии советской медиевистики. Несмотря на давление сверху, даже усилившееся после 1966 г., она все больше стала переходить на позиции комплексного подхода к прошлому.

1. Советская медиевистика с 1934 по 1945 г.

Реализация на практике постановления от 16 мая 1934 г. привела к повышению престижа изучения истории докапиталистических формаций. История средних веков была признана нужной и полезной отраслью исторической науки, а сам этот период — необходимым и в целом прогрессивным этапом в мировой истории. Перед учеными, специалистами в этой области возникла конструктивная задача — разработать целостную концепцию истории средневековья, опирающуюся не только на общетеоретические положения исторического материализма, но и на новые конкретно-исторические исследования. Необходимость в этом подкреплялась теперь практической потребностью средней школы и вузов в систематизированных учебных пособиях по истории средних веков, в кадрах учителей и вузовских преподавателей. Все это привело к заметному оживлению медиевистики в СССР.

В течение 1935—1945 гг. ведущими центрами исследований в области медиевистики стали кафедры истории средних веков и всеобщей истории восстановленных в 1934 г. исторических факультетов университетов, в первую очередь Московского (кафедру средних веков возглавил Е. А. Косминский), Ленинградского (кафедрой заведовал О. Л. Вайнштейн) и Горьковского (кафедрой руководил С. И. Архангельский), а также пединститутов Москвы и Ленинграда и Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ), влившееся в МГУ уже во время войны. Исторические факультеты, на которых изучалась история средневековья, были созданы и в других университетах и пединститутах.

Важным общесоюзным центром медиевистских исследований после создания в 1936 г. Института истории Академии наук стал образованный там сектор истории средних веков, возглавленный сначала Д. М. Петрушевским, затем А. Д. Удальцовым. Большая работа, особенно в области источниковедения и средневековой палеографии, велась в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград) под руководством члена-корреспондента АН СССР О. А. Добиаш-Рожественской (1874—1939).

Бедущие кадры советских медиевистов в это время принадлежали к тому поколению ученых, которое, будучи воспитанным в дореволюционный период И. В. Лучицким, В. К. Пискорским, Д. М. Петрушевским, А. Н. Савиным, А. К. Дживилеговым и другими, еще в юности испытало на себе большее или меньшее влияние марксизма. Одни из них — А. Д. Удальцов (1883—1958), О. Л. Вайнштейн (1894—1980) уже в 20-е годы сложились как историки-марксисты. Другие — Е. А. Косминский (1886—1959), С. Д. Сказкин (1890—1973), В. В. Стоклицкая-Терешкович (1885—1962), В. М. Лавровский (1891—1971), С. И. Архангельский (1882—1958), Н. П. Грацианский (1886—1945) стали все более переходить на марксистские позиции в конце 20-х — начале 30-х годов. К этому времени советская медиевистика получила и молодое пополнение из ученых, получивших образование уже в советских вузах. Это были основательно подготовленные в марксистской исторической теории питомцы аспирантуры Института истории РАН ИОН — А. И. Неусыхин (1898—1969), М. М. Смирин (1895—1950), Б. Ф. Поршнев (1905—1972), Я. Н. Зутис (1893—1962), В. Ф. Семенов (1896—1973), А. С. Самойло (1893—1974), ленинградцы А. Д. Люблинская (1902—1980), Е. Ч. Скржинская (1897—1981), М. А. Гуковский (1898—1971) и др.

Однако постановление от 16 мая 1934 г. имело и отрицательные последствия. Оно создало основу для последующего открытого командно-административного вмешательства в науку со стороны партийных и государственных органов с целью решения тех или иных исторических проблем в духе, продиктованном идеологическими задачами современности, иногда в прямом противоречии с историческими фактами.

Кроме того, развитие исторической науки стесняла тенденция к абстрактному социологизированию, сохранявшаяся, хотя и в видоизмененной форме, и после 1934 г. Провозгласив необходимость изучения гражданской истории, Сталин заключил ее в жесткие рамки упрощенно понятой теории формаций, продолжая в этом вопросе традиции 20-х годов. Эта теория была зафиксирована в «Кратком курсе истории ВКП(б)», вышедшем в 1938 г. в виде так называемой «пятичленки», которая грешила экономическим детерминизмом, недооценкой роли надстроечных явлений и субъективного фактора в истории. Боязнь отклониться от этой схемы приводила, даже при отсутствии явного вмешательства сверху, к таким негативным последствиям, как постоянная самоцензура историков, ограничения в тематике исследований, стремление опираться в своих выводах на цитаты из трудов классиков марксизма, а нередко и Сталина, догматизм в дискуссиях. В последних научная аргументация зачастую подменялась взаимными обвинениями в антимарксизме, навешиванием всевозможных ярлыков отдельными историками и группами, пытавшимися монополизировать «звание» историков-марксистов.

Успешное развитие советской медиевистики затруднялось условиями того времени и в другом. Резко отрицательное отно-

шение к немарксистской историографии других стран, возникшее в 20-е годы, еще более усилилось в 30—40-е годы. Это вело к отрыву советской медиевистики от общего развития этой науки, порой весьма несправедливой и тенденциозной критике трудов всех зарубежных историков только на том основании, что их авторы не были марксистами. Так же обстоит дело и с работами русских дореволюционных историков. Советская медиевистика в 30—40-е годы, таким образом, развивалась в некоторой самоизоляции и вне отечественных научных традиций, что рано или поздно должно было сказаться на ее результатах.

Наконец, одним из наиболее негативных факторов в истории медиевистики этого периода было то, что ее представители, включая самых крупных ученых, с начала 30-х годов были надолго лишены возможности работать в архивах тех стран, которые они изучали, а следовательно, мобилизовать в своих трудах не изученные ранее источники.

И все же вопреки этим трудностям и помехам советская медиевистика в период 1934—1945 гг. сильно продвинулась вперед.

Одним из главных направлений в эти годы становятся конкретные исследования, главным образом в области социально-экономической, особенно аграрной, истории средневековья. Интерес к этой тематике в то время был вполне закономерен. Утверждая марксистские взгляды на историю средних веков как на время господства феодальной формации, советские медиевисты в первую очередь должны были обратиться именно к изучению экономического базиса феодального общества в его становлении и развитии. Однако, закрепившись в дальнейшем в качестве своего рода стереотипа, такой подход оборачивался до середины 50-х годов пренебрежением к изучению истории государства и особенно культуры.

Уже в эти годы определилось одно из важных направлений советской медиевистики — исследование генезиса феодализма. Этому были посвящены исследования А. Д. Удальцова, начатые им еще в 20-е годы². Опираясь на материалы фландрских картуляриев каролингского периода, Удальцов подверг убедительной критике буржуазные концепции об исконности частной собственности и вотчинного строя, установил, что и в Западной и в Восточной Фландрии даже в IX в. крупное, в частности монастырское, землевладение сосуществовало еще со свободной общиной — маркой.

Существенный вклад в изучение проблемы генезиса феодализма в Западной Европе внесла монография Н. П. Грацианского, возглавлявшего тогда кафедру истории средних веков Государственного педагогического института имени К. Либкнехта, по аграрной истории Бургундии X—XII вв.³, написанная еще в конце 20-х годов. Выступив против буржуазной вотчинной теории, Грацианский вместе с тем отошел от упрощенной схемы генезиса феодализма, принятой тогда многими советскими историками. С по-

мощью новой методики изучения картулярного материала противопоставленной им методике буржуазных историков Б. Витиха и Г. Каро, советский ученый установил, что наряду с крупными и мелкими вотчинниками и зависимыми крестьянами в Бургундии X—XII вв. сохранялся весьма широкий слой свободных крестьян-собственников (аллодистов). Из установленного им факта пестроты социальной структуры средневековой Бургундии Грацианский сделал вывод о том, что ее аграрный строй целиком восходит к строю Римской империи, недооценив влияние бургундского завоевания и общины-марки. В последующие годы Грацианский в значительной мере пересмотрел этот вывод. Итогом его дальнейших (конец 30-х — начало 40-х годов) исследований, опирающихся в основном на «варварские правды», явилось признание значительной роли общины в процессе генезиса феодализма у ряда германских народов, в частности у бургундов в V в.⁴

Значительные сдвиги к концу 30-х годов наметились и в изучении с марксистских позиций ряда существенных проблем аграрной истории периода развитого феодализма (XI—XV вв.). В наиболее полном объеме они были специально поставлены в исследованиях Б. А. Косминского.

В капитальном труде Е. А. Косминского на материале аграрной истории Англии XIII в.⁵ по-новому был поставлен и решен ряд общих вопросов, важных для аграрной истории Западной Европы второго периода средних веков в целом. Автор впервые стал рассматривать аграрные отношения в Англии XIII в., исходя из понимания феодализма как социально-экономической формации. Это дало ему возможность определить феодальную вотчину в Англии — манор не как простой хозяйственный комплекс (подобно сторонникам классической вотчинной, в Англии — манориальной, теории), но как социальную «организацию зависимого крестьянства с целью извлечения из него феодальной ренты». Такое определение значительно расширяло понятие «манор» и позволяло включать в него земельные и хозяйственные комплексы не только определенной структуры, но и более пестрого характера. Косминский подчеркнул, что при любой организации манора производственные отношения феодализма получали свое непосредственное выражение прежде всего в характере рент.

Е. А. Косминский отметил значительное развитие товарно-денежных отношений в английской деревне XIII в. Однако в отличие от буржуазных критиков «натурально-хозяйственной» теории (Допша и др.) он не отождествлял эти новые явления с капитализмом, но утверждал, что развитие рыночных связей в деревне вело не только к коммутации ренты, расслоению крестьянства и частичной эмансипации крестьянской верхушки, но иногда и к явлениям сеньориальной реакции и общему усилению эксплуатации крестьян. Косминский показал, что в маноре шла упорная, повседневная борьба за ренту, общинные угодья,

личное освобождение виллианов. Выводы Е. А. Косминского опирались на огромный статистически обработанный материал источников, в том числе и архивных документов⁶, никогда еще не подвергавшихся специальному всестороннему исследованию, — «Сотенные свитки 1279—1280 гг.» и «Посмертные расследования» конца XIII в. При этом были применены новые методы группировки материала и подсчетов, взятые позднее на вооружение многими советскими исследователями-аграрниками.

В области аграрной истории позднего средневековья работал один из зачинателей и виднейших представителей советской средневековедения С. Д. Сказкин. В 30-е — начале 40-х годов он исследовал аграрные отношения во Франции эпохи кануна французской буржуазной революции⁷, а также проблемы абсолютизма в Западной Европе в XVI—XVII вв. Принципиальный интерес для аграрной истории этого периода представляла его статья о понятии «цензивы» во Франции этих столетий⁸. Вопросами аграрной истории Германии конца XV — начала XVI в. стал заниматься М. М. Смирин. Аграрную историю Англии XVI—XVII вв. изучали В. Ф. Семенов, а также С. И. Архангельский, которому принадлежит капитальный труд по аграрному законодательству английской революции.

Внимание советских историков привлекла и история средневекового города, ранее почти не разрабатывавшаяся в исследовательском плане. Существенный вклад здесь уже в 30-е годы внесла профессор МГУ В. В. Стоклицкая-Терешкович. Исследуя немецкий средневековой город на сравнительно поздней стадии развития⁹, она на материале разнообразных городских документов установила факт значительного имущественного расслоения среди горожан и даже полного разорения значительной их части. На этом основании она сделала вывод о начале там процесса разложения феодальных и зарождения элементов капиталистических отношений (в XV в.). Удачной в книге является характеристика непрекращавшейся и обострявшейся от XIV к XV в. социальной борьбы в городах. Ряд статей по истории средневековых городов и ремесел в 30-х — начале 40-х годов были написаны Ю. А. Корховым, В. И. Рутенбургом, А. Д. Эпштейном; по истории международной торговли — М. П. Лесниковым.

Надстроечные явления советскими средневековедцами в 30—40-е годы изучались слабо. История феодального государства привлекала их внимание в основном в связи со спорным в то время определением сущности абсолютизма. Решение этой проблемы требовало прежде всего тщательного изучения конкретной истории, однако такая разработка в целом велась недостаточно.

Это особенно отчетливо обнаружилось в дискуссии, которая разгорелась на страницах печати в 1940 г.¹⁰ Все ее участники были едины в признании классовой природы абсолютизма как эксплуататорского государства, но часть историков продолжали считать его органом политического господства «торгового капитала», другие же, в частности Б. Ф. Поршнев, З. В. Мосина,

справедливо подчеркивая феодальную природу этого государства, сводили причины возникновения абсолютной монархии в Западной Европе только к очередному обострению классовой борьбы между крестьянами и феодалами в XVI—XVII вв. При этом они недооценивали роль в этом процессе противоречий между нарождающейся буржуазией и дворянством¹¹. С. Д. Сказкин, опираясь на тщательный анализ взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса по этому вопросу¹², также рассматривал абсолютизм как наиболее централизованную форму феодального государства. Однако эти черты абсолютизма, по мнению С. Д. Сказкина, не могут быть поняты только в рамках антагонизма между феодалами и крестьянами, без учета взаимоотношений в этот период между носителями раннекапиталистических отношений — буржуазией и дворянством. Между этими двумя классами устанавливается временное равновесие сил, которое, обеспечивая центральной власти возможность лавирования между ними, создает условия для ее значительного усиления. В том виде, в каком эта концепция была высказана в 1939—1940 гг., она тоже страдала известной односторонностью, так как недооценивала роль всего комплекса классовых противоречий — между феодалами и крестьянами, буржуазией и предпролетариатом — в процессе складывания абсолютной монархии.

Несмотря на цитатный характер, дискуссия была полезна: она выявила взгляды основоположников марксизма по этому вопросу, основные расхождения между участниками спора и острую необходимость конкретного изучения проблемы.

Беднее всего в советской медиевистике тех лет были представлены исследования в области средневековой культуры и идеологии. Это было связано не только с трудностью изучения этой тематики, но и с резко отрицательным отношением к церкви и религии, которое преобладало в обществе и отражалось в чисто негативной оценке их роли в развитии средневековой культуры. Несколько небольших статей Б. Я. Рамма и А. А. Фортунатова, посвященных в основном отдельным аспектам культуры раннего средневековья, — все, что было написано в те годы на эту тему.

Из работ более общего характера, посвященных гражданской истории средневековья в целом, выделялась научно-популярная книга ленинградского историка А. Е. Кудрявцева, положившая начало изучению советскими историками средневековой Испании¹³, а также работы И. В. Арского по истории средневековых Арагона и Каталонии¹⁴.

Положительное значение для того времени имел выход в свет курса лекций ленинградского профессора П. П. Щеголева по истории позднего средневековья, отражавшего марксистскую точку зрения по основным вопросам этого периода, в частности по вопросам о теории «торгового капитализма» и об абсолютизме¹⁵.

Свой вклад в развитие советской медиевистики внесли в эти годы и уцелевшие ученые старой дореволюционной формации.

Д. М. Петрушевский в 1941 г. подготовил и издал со своим предисловием и комментариями перевод поэмы английского средневекового поэта Уильяма Ленгленда «Видение Уильяма о Петре Пахаре», О. А. Добиаш-Рождественская в 1936 г. подготовила новое дополненное издание своего очень полезного пособия по латинской палеографии¹⁶. В 1937 г. под редакцией Е. А. Косминского вторым изданием вышли лекции А. Н. Савина по истории английской революции.

Исследовательский характер носили в те годы не только специальные курсы и семинары, но часто и лекции общего курса истории средних веков, поскольку к середине 30-х годов еще не были созданы стабильные учебные пособия и общая марксистская концепция истории средневековья.

Важным этапом на пути создания такой концепции стали издававшиеся в 30-х годах лекции общих курсов, читавшиеся в разных вузах, особенно лекции Е. А. Косминского, Н. П. Грацианского, А. Д. Удальцова, С. Д. Сказкина, а также С. И. Архангельского, О. Л. Вайнштейна. На основе этих, а также ряда специальных курсов был создан и вышел из печати в 1938—1939 гг. первый советский учебник по истории средних веков для вузов в двух томах, подготовленный большим коллективом ведущих медиевистов Москвы и Ленинграда¹⁷. Этот учебник для своего времени был значительным научным достижением. В нем отчетливо прозвучало понимание феодализма как социально-экономической формации и средних веков как эпохи господства этой формации. Учебник давал не только социологический анализ развития феодальной формации, но и систематическое изложение гражданской истории эпохи средних веков в Западной Европе, Византии, в южных и западно-славянских странах, включал историю культуры, церкви и ересей. Принятая для этого учебника общая структура курса средних веков в основном выдержала испытание временем.

Был издан ряд учебно-вспомогательных пособий. Помимо трехтомной хрестоматии средневековых источников под редакцией С. Д. Сказкина и Н. П. Грацианского (первое издание вышло в 1939—1941 гг.), рассчитанной на студентов, учителей и отчасти школьников, почти все ведущие медиевисты приняли участие в подготовке тематических сборников переводов средневековых источников, предназначенных для студенческих семинаров. Под руководством С. Д. Сказкина коллективом авторов была подготовлена трехтомная «Книга для чтения по истории средних веков». Первый том ее вышел в 1941 г., а остальные только в 50-е годы. В 1940 г. О. Л. Вайнштейн опубликовал первый в советской литературе учебник по историографии средних веков с V в. по конец 30-х годов XX в.¹⁸ В настоящее время этот учебник во многом устарел, он грешил конспективностью, некоторой недооценкой русской дореволюционной историографии и роли идейной борьбы в развитии исторической науки. Однако для своего времени он был полезным пособием, содержал богатый

справочный материал, характеристику взглядов классиков марксизма-ленинизма по проблемам средневековья и предлагал единую структуру сложного курса историографии истории средних веков, которая в своей основе закрепились в советской медиевистике.

В 1940 г. коллективом ученых был подготовлен и издан первый советский учебник по истории средних веков для шестых и седьмых классов средней школы под редакцией Е. А. Косминского, позднее неоднократно переиздававшийся.

Медиевисты принимали участие и в коллективных трудах. Е. А. Косминский и С. Д. Сказкин написали ряд глав для первого тома «Истории дипломатии»¹⁹. Эти же ученые, а также Н. П. Грацианский и А. И. Неусыхин подготовили серьезные критические статьи для сборника «Против фашистской фальсификации истории», изданного АН СССР в 1939 г.

Великая Отечественная война прервала нормальное развитие советской медиевистики. Большинство тогда начинающих специалистов в этой области, позднее ставших известными учеными (А. И. Данилов, Н. А. Чистозонов, Ю. М. Сапрыкин, С. М. Стам, Я. Д. Серовайский, В. И. Рутенбург, В. В. Дорошенко), в течение всей войны сражались в рядах Советской Армии. Многие аспиранты МГУ и МИФЛИ, а также молодые ученые, успевшие защитить кандидатские диссертации (Л. Букштейн, И. В. Арский, Н. А. Загрядский, Панов, В. Д. Вейс, Г. Б. Громков, Б. Б. Пыхтеев), погибли на фронтах.

Историки более старшего поколения, находясь в большинстве своем в эвакуации, оказались оторваны от исследовательских баз — библиотек и архивов. Их внимание переключилось на задачи патриотического воспитания масс. Большое значение имели научно-популярные статьи и публичные лекции (Е. А. Косминского, Н. П. Грацианского, С. Д. Сказкина, А. И. Неусыхина, Я. Я. Зутиса, Б. Ф. Поршнева) об исторических корнях прусского и германского милитаризма, о немецкой экспансии в средние века. За разоблачение фашистской фальсификации истории западнославянских народов с большой энергией взялся Н. П. Грацианский, написавший во время войны ряд научных статей по этим вопросам. В военные годы Грацианский работал также над новым полным переводом «Салической правды», который был издан уже после его смерти.

Несмотря на трудности военного времени, в 1942 г. вышел в свет первый выпуск сборника «Средние века», с начала 50-х годов превратившегося в периодическое издание, которое стало главным печатным органом медиевистов СССР. К 1967 г. вышло 30 выпусков этого сборника.

С середины 1943 г. многие ученые смогли вновь вернуться к прерванному войной исследованиям, результаты которых в основном получили отражение в книгах, вышедших уже после войны.

За сравнительно короткий срок с середины 30-х годов до начала Великой Отечественной войны в стенах университетов

и пединститутов было подготовлено значительное количество специалистов по истории средних веков. Большой заслугой названных выше советских медиевистов старшего поколения была их большая педагогическая работа, формировавшая вокруг них группы учеников и последователей. Так сложились школы Н. П. Грацианского (по истории раннефеодального периода, а также по аграрной истории средневековой Франции), Е. А. Косминского (по истории средневековой Англии, не только аграрной, но также городской и социально-политической), С. Д. Сказкина (по истории аграрных отношений в феодальной Европе, а также по истории средневековой культуры, включая гуманизм и Возрождение), А. И. Неусыхина (в основном по проблеме генезиса феодализма у германских народов) и др.

2. Советская медиевистика с 1946 г. по конец 60-х годов

Внутри этого более чем 20-летнего периода выделяются два этапа.

Первый из них — послевоенное десятилетие, когда советская медиевистика наиболее остро ощутила командно-административные методы управления наукой. В период 1948—1952 гг. она была постоянным объектом проработочной критики в печати и на всякого рода обсуждениях. Многие ее представители (Е. А. Косминский, В. М. Лавровский, А. И. Неусыхин) неоднократно обвинялись в «объективизме», «экономическом материализме», «эволюционизме». Не миновала их и борьба с «космополитизмом», когда жестокой, хотя и маловнятной критике подверглись В. М. Лавровский, А. И. Неусыхин, О. Л. Вайнштейн, Ф. А. Коган-Бернштейн и некоторые другие.

Развенчивание культа личности Сталина в 1956 г. на XX съезде КПСС положило конец шумным проработочным кампаниям. Начался второй этап развития медиевистики этого периода, когда она получила более широкие возможности для научных исследований и более свободных дискуссий, начала выходить из изоляции от медиевистики других стран. Однако эти положительные сдвиги, как отмечалось, не произвели одномоментного переворота в медиевистике и стали сказываться на ее судьбах уже только в 60-е годы. Командно-административные методы воздействия на историческую науку, хотя и в более завуалированной и смягченной форме, продолжались и в эти годы. Вместе с тем развивались и многие положительные традиции 30-х годов, действовали внутренние импульсы развития медиевистики. Учитывая все это и признавая 1956 г. важной вехой, мы не видим оснований выделять отмеченные два этапа структурно, хотя в ходе изложения будем отмечать то новое, что было характерно для второго из них.

Для всего рассматриваемого периода в целом характерно заметное расширение тематики медиевистских исследований и углубление их содержания. Значительно выросли в эти годы

кадры советских медиевистов, которые к началу 50-х годов насчитывали уже не единицы, а десятки ученых. Новое пополнение пришло в конце 40-х — начале 50-х годов, главным образом за счет бывших студентов и аспирантов, подготовленных в исторических вузах после 1934 г.

Наряду с перечисленными выше научными центрами изучения истории средних веков появились новые, в частности в Томском, Саратовском, Горьковском и Уральском университетах, Ивановском пединституте и другие. Важным научным и организационным всесоюзным центром для советских медиевистов стал, хотя и не без трудностей, сборник «Средние века». После выхода в свет в 1946 г. второго выпуска сборника, посвященного памяти умершего в 1942 г. Д. М. Петрушевского, на это издание в печати обрушилась разносная проработочная критика²⁰. Поводом к ней послужил ряд мемориальных статей, написанных учениками Д. М. Петрушевского Е. А. Косминским, В. М. Лавровским, А. И. Неусыхиным, В. В. Стоклицкой-Терешкович, в которых оценивался вклад ученого в отечественную науку, отмечалась близость его выводов по ряду вопросов к марксистским. Критические статьи не только отрицали научное значение трудов Д. М. Петрушевского, но и бездоказательно обвиняли его учеников в «объективизме», апологии «антимарксиста» Д. М. Петрушевского, а их собственные труды — «в экономическом материализме». Под вопрос было поставлено существование сборника. Только неоднократные публичные покаяния критикуемых позволили в 1951 г. издать третий выпуск сборника. С 1953 г. он стал выходить ежегодно.

Прогрессивный и естественный процесс дифференциации исторической науки привел к выделению из общей истории средних веков сначала средневековой истории восточных народов, а затем южных и западных славян. Известную самостоятельность в рамках медиевистики приобрело также византиноведение.

Возможность специализации по истории западноевропейского средневековья способствовала дальнейшему углублению и детализации работы медиевистов. Стала активно изучаться история стран, ранее не привлекавших их внимания, — Италии, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Ирландии, получили дальнейшее развитие исследования по истории Испании. Расширился и круг проблем — с конца 50-х годов стали появляться работы по истории средневекового государства, по истории средневековой культуры.

Попытка, во многом удачная для того времени, всемирно-исторической характеристики эпохи средневековья с марксистских позиций была сделана в третьем и четвертом томах «Всемирной истории»²¹. Здесь были подведены итоги развития советской медиевистики (включая византинистику, востоковедение, славистику и историю СССР эпохи феодализма) как в теоретико-методологическом, так и в конкретно-историческом плане. В то же время были выявлены нерешенные, а иногда даже не ставившиеся прежде проблемы.

С середины 60-х годов все большую роль в качестве важных центров медиевистики стали играть созданные при Отделении истории АН СССР две секции Научного совета «Закономерности исторического развития общества и переход от одной социально-экономической формации к другой»: «Генезис капитализма» и «Генезис и развитие феодализма». Эти секции координировали работу специалистов по истории феодализма в Западной Европе, у славянских народов, в России и странах Востока.

По-прежнему важное место, особенно в первое послевоенное десятилетие, занимала социально-экономическая, и в частности аграрная, тематика. В центре последней оставалась проблема генезиса феодализма в Западной Европе, ведущее место в разработке которой принадлежало в эти годы А. И. Неусыхину и его школе. Итоги многолетних исследований ученого в этой области, начатых еще в 40-х годах, были подведены Неусыхиним в монографии, посвященной возникновению класса зависимого крестьянства в Западной Европе²². Мастерски владея сравнительно-историческим методом, Неусыхин использовал материалы не одного, а многих германских народов — франков, саксов, лангобардов, бургундов, баваров. Изучая «варварские правды», свой главный источник, А. И. Неусыхин применил новую методику, позволившую ему вскрыть их хронологическую многослойность и обнаружить в содержании отражение различных этапов развития германских обществ в направлении феодализма. При этом он выявил особенности этого процесса у отдельных народов, не испытавших воздействия римского рабовладельческого строя. В этом плане работа Неусыхина имела большое значение не только для медиевистов-«западников», но и для славистов и историков русского феодализма. В 1961 г. книга была издана на немецком языке в ГДР²³. Вместе с тем с современной точки зрения подход А. И. Неусыхина к проблеме генезиса феодализма в Западной Европе несколько искусственно изолировал этот процесс от римских традиций даже там, где они были достаточно сильны.

В своей второй монографии, хронологически продолжающей первую²⁴, А. И. Неусыхин, опираясь на данные картуляриев, проследил дальнейший ход феодализации Германии вплоть до ее окончательного завершения в XII в., показав особенности этого процесса в стране в целом и в отдельных ее областях. Автор установил замедленность развития феодализма в Германии, длительное (до начала XII в.) сосуществование в некоторых частях ее территории крупной феодальной вотчины со свободной крестьянской аллодиальной собственностью и соседской общиной. Занимался Неусыхин также историей средневековой Германии в целом, до XV в. включительно²⁵.

Проблемами аграрной истории раннесредневековой Германии в разных аспектах занимались ученики А. И. Неусыхина А. И. Данилов (1916—1980)²⁶ и Л. Т. Мильская. В монографии по аграрной истории Германии VIII—IX вв., основываясь на источ-

никах церковного происхождения, Мильская показала роль мелкой светской вотчины в процессе генезиса феодализма и закрепощения крестьянства ²⁷.

-Несколько продвинулось также изучение аграрного развития в раннее средневековье на территории Франции. Помимо А. И. Неусыхина, этой проблемой занимался А. В. Конокотин (Ивановский пединститут), Я. Д. Серовайский (университет Алма-Аты), изучавший аграрные отношения в Бургундии раннего средневековья. Особенности процесса феодализации Шампани стали предметом исследования А. Я. Шевеленко.

В послевоенные годы впервые в советской медиевистике началось изучение аграрной истории раннесредневековой Италии. Самый ранний этап генезиса феодализма в этой стране в период господства остготов получил наиболее полное освещение в капитальной монографии З. В. Удальцовой «Италия и Византия в VI в.» (М., 1959). В ней на материале весьма разнообразных источников были показаны сложные переплетения и ожесточенная борьба старых рабовладельческих и зарождающихся феодальных отношений в аграрном и социальном строе остготской Италии, различные проявления социальной борьбы этого времени. Автор приходит к выводу, что в результате остготского завоевания в Италии начался процесс феодализации, однако крайне замедленный в силу большой прочности на этой территории римских рабовладельческих отношений. Более поздний, лангобардский период в истории Италии изучал А. И. Неусыхин ²⁸.

Другой вариант «синтезного» пути генезиса феодализма на материале вестготской Испании изучался А. Р. Корсунским (1914—1979). Итогом его многолетних исследований явилась книга по истории Испании VI—VII вв. ²⁹, в которой автор, обнаружив известное влияние на испанскую деревню аграрных распорядков вестготской общины, пришел к выводу, что в складывании основных классов феодального общества, особенно класса зависимых крестьян, основную роль играли не вестготские, а испано-римские элементы, тогда как в политическом строе вестготской Испании превалировало влияние варварской политической организации.

Путь генезиса феодализма в странах, где не было или почти не было римского влияния, применительно к истории англосаксов исследовался А. Я. Гуревичем и М. Н. Соколовой ³⁰. Оба автора констатировали значительное своеобразие процесса феодализации у англосаксов: длительное сохранение общинных отношений и свободного крестьянства, медленность формирования аллода. Исходя из этого, Соколова утверждала, что складывание феодальных отношений у англосаксов началось только в IX в. и не завершилось полностью до нормандского завоевания. Гуревич, напротив, считал, что длительность процесса разложения общины и формирования аллода у англосаксов компенсировалась активной политикой королевской власти, которая своими земельными и иммунитетными пожалованиями в пользу церкви и дружин-

ников способствовала созданию феодальной земельной собственности и закреплению целых общин, что привело к завершению феодализации Англии уже в X в. Гуревич изучал также другой вариант бессинтезного пути развития феодализма — норвежский. В основу его оригинальной концепции, отраженной в многочисленных статьях, а затем в специальной монографии³¹, лег тезис о том, что в Норвегии так же, как и в других странах Западной Европы, сложился феодализм, хотя и со значительным опозданием (к концу XII в.) и большими особенностями: сохранением личной свободы, отчасти земельной собственности и политического полноправия у значительной части крестьянства (бондов), слабым развитием четко оформленной вотчины и законченной ленной системы.

Всесоюзная научная сессия по проблеме генезиса феодализма в Западной Европе, проходившая весной 1966 г. в Институте истории АН СССР под председательством З. В. Удальцовой, отчетливо выявила, что советская медиэвистика выделяет два основных типа и пути формирования феодализма в этом регионе — путь германо-романского синтеза (у франков, в Италии и Испании) и бессинтезный или почти бессинтезный путь (у зарейнских германских племен, англосаксов, скандинавов). Вместе с тем стало очевидно, что в рамках каждого из этих основных типов намечаются также различные варианты развития³². В докладе, сделанном на этой сессии, А.И. Неусыхин выдвинул теорию «дофеодального периода» у германских народов как переходного от варварского к раннефеодальному, которая вызвала оживленную дискуссию.

Значительно продвинулось в послевоенный период изучение аграрной истории Западной Европы XI—XV вв. Большой вклад в него внесла книга Е. А. Косминского, вышедшая в 1947 г. и переведенная в 1956 г. на английский язык³³. В ней ученый поставил ряд совершенно новых в историографии проблем, в частности о характере свободного крестьянства и рабочей силе в маноре, установил феодальный характер наемного труда в этот период. Впервые в литературе была вскрыта экономическая и социальная основа различий между крупной и мелкой вотчиной, определявшая противоречия между баронством и рыцарством в Англии. Эта книга выводила автора на более общие проблемы истории средневековой Англии: ее социального и политического строя, классовой борьбы и самосознания крестьянства, в какой-то мере предвосхищая тот комплексный подход к истории средневекового общества, который получил столь широкое развитие в мировой медиэвистике в наши дни. Эта работа принесла Косминскому широкую известность и признание не только в СССР, но и за рубежом, прежде всего в Англии, где она используется до сих пор. К сожалению, в 1948 и 1949 гг. книга была подвергнута разностной и несправедливой критике в ряде статей в связи со вторым выпуском «Средних веков», а позднее в специальной рецензии в газете «Культура и жизнь». Е. А. Косминского

бездоказательно обвиняли в «объективизме», «экономическом материализме», «недооценке роли классовой борьбы в истории»³⁴.

В своих работах 50-х годов, посвященных аграрной истории Англии в XIV—XV вв., Е. А. Косминский дал марксистский анализ спорной и «модной» в то время в зарубежной историографии проблемы «кризиса феодализма» в Европе этих столетий³⁵. Он высказал мысль о том, что применительно к Англии этого времени нельзя говорить об общем «кризисе феодализма» и даже о полном экономическом упадке, но лишь о кризисе барщинной системы манориального хозяйства и отдельных проявлениях экономической депрессии. Позднее против теории «кризиса феодализма» в Англии XIV—XV вв. высказался и М. А. Барг³⁶.

Аграрными отношениями и классовой борьбой крестьян в Англии XII—XV вв. занимались также Ю. Р. Ульянов, Е. В. Кузнецов, Ф. Я. Полянский, К. Д. Авдеева, Е. В. Гутнова и др.

Большое значение для разработки аграрной истории Англии XI—XIII вв. имела монография М. А. Барга³⁷. В основу ее легло предпринятое впервые в историографии сплошное сопоставление статистически обработанных данных двух поземельных кадастров «Книги Страшного суда 1086 г.» и «Сотенных свитков 1279 г.». В отличие от Е. А. Косминского ключом к пониманию аграрного развития Англии с конца XI по конец XII в. Барг считал не смену форм феодальной ренты, но эволюцию феодальной собственности и способов ее распределения между разными слоями феодалов. Им была предложена новая трактовка фригольда как земельного держания, которое в подавляющей массе находилось в руках не лично свободных крестьян, но или феодалов, или торговло-ремесленных элементов. Автор в отличие от Косминского видел в феодальной реакции конца XII—XIII в. не одну из различных тенденций аграрной эволюции английской деревни XIII в., но главную и ведущую.

Аграрной истории Франции XI—XV вв. были посвящены труды А. В. Конокотина (1901—1981). В многочисленных статьях и обобщившей их монографии «Очерки по аграрной истории Северной Франции в IX—XIV вв.»³⁸ А. В. Конокотин на материале французской деревни поставил ряд проблем, аналогичных тем, которые Е. А. Косминский решал на материале Англии. При этом он показал более прямолинейный, чем в Англии, путь аграрной эволюции от барщинной системы к крестьянской цензиве, от сервежа к личной свободе крестьян, протекавший без ярких проявлений феодальной реакции. Свое второе исследование «Жагерия 1358 г. во Франции» А. В. Конокотин опубликовал в 1964 г.³⁹ Впервые в отечественной литературе он детально проследил предпосылки и ход восстания, цели и требования повстанцев.

Вопросами аграрной эволюции северо-восточной Франции занимался В. Л. Керов, Бургундии XI—XII вв. — Я. Д. Серовайский, Северной Франции и Северо-Западной Германии XII—XIII вв. — Ю. Л. Бессмертный. Последний, в частности, исследовал развитие товарности сельского хозяйства в этих районах и ее воздействие на

структуру феодальной собственности, рентные отношения, положение крестьянства, а также отношения внутри крестьянства и класса феодалов. Выводы автора по этим вопросам позднее были обобщены в монографии ⁴⁰.

Особенно заметны были в 50—60-е годы успехи советской медиевистики в изучении аграрной истории Италии XI—XV вв. Начало данному направлению было положено С. Д. Сказкиным, который поставил применительно к Италии основную для всего этого периода проблему о влиянии городов и развития товарно-денежных отношений на деревню ⁴¹. На весьма обширном материале проблема затем разрабатывалась Л. А. Котельниковой. В ряде статей и монографий ⁴² она вескими данными подтвердила факт преобладания в Средней Италии денежной ренты уже в XI—XII вв., но вместе с тем выяснила, что дальнейшая эволюция форм ренты в связи с бурным развитием городов шла в этом регионе в XIII—XIV вв. очень своеобразно, с преобладанием в ряде районов натурального оброка и испольщины, законсервировавшихся здесь на долгое время. Котельникова также показала, что города, содействуя личному освобождению крестьян (однако без земли), ставили их в положение тяжелой экономической зависимости от себя. Она пришла к выводу, что элементы прокапиталистических отношений в итальянской деревне XIV в. были весьма слабы и непрочны и не означали коренных, качественных сдвигов в ее социальной структуре. Сходные явления по данным частично русских, частично итальянских архивов констатировали также Л. М. Брагина и В. В. Самаркин (1933—1977), ленинградские историки Е. В. Бернадская, А. Х. Горфункель, Л. Г. Катушкина. Особенности аграрного развития Южной Италии были посвящены работы М. Л. Абрамсон, установившей общую замедленность процесса феодализации в этой части страны, завершившегося, по мнению автора, лишь к середине XIII в. ⁴³

Значительно продвинулось также изучение испанской деревни XI—XV вв. В статьях С. В. Фрязинова и И. С. Пичугиной получили освещение некоторые вопросы аграрной истории Кастилии XII—XV вв. Л. Т. Мильская исследовала аграрные отношения в Каталонии X—XII вв., выявив особенности формирования крепостной зависимости и феодальной собственности в условиях реконкисты ⁴⁴.

Аграрные отношения в Германии XI—XV вв. исследовались М. М. Смирным, В. Е. Майером (Ижевский пединститут) ⁴⁵. Аграрной историей Венгрии занимался В. П. Шушарин ⁴⁶, Швеции — А. А. Сванидзе ⁴⁷.

Заметных успехов добились советские медиевисты и в изучении аграрных отношений позднего средневековья. В 1949 г. появилось капитальное исследование В. Ф. Семенова по аграрной истории Англии XVI в. ⁴⁸, в котором на большом статистическом материале автор нарисовал конкретную картину огораживаний, их особенностей в разных графствах, выяснил социальный состав

огораживателей. Он подверг также тщательному изучению многочисленные крестьянские восстания XVI в., особенно крупнейшее восстание Роберта Кета (1549 г.), установив их тесную связь с огораживаниями. В последующие годы Семенов продолжал исследования в этой области. Аграрной историей Англии в XVI—XVII вв. занимались также С. И. Архангельский⁴⁹ и В. М. Лавровский⁵⁰.

С начала 50-х годов интерес советских медиевистов стала привлекать аграрная история Ирландии с XII по XVI—XVII вв. В монографии Ю. М. Сапрыкина⁵¹ прослежена эволюция аграрного строя Ирландии под влиянием английского завоевания, которое задержало нормальное развитие страны. Колонизация и ограбление этой страны послужили важным источником первоначального накопления и развития капитализма в Англии. Борьба ирландцев за независимость рассматривалась в монографии Сапрыкина «Ирландское восстание XVII в.» (М., 1967), а также в книге Т. С. Осиповой⁵².

Менее систематично разрабатывалась аграрная история позднего средневековья других стран Западной Европы. Применительно к истории Франции указанного периода в широком проблемном плане эти вопросы затрагивались главным образом не в специальных исследованиях, а в работах А. Д. Люблинской, посвященных истории этой страны в целом. Аграрные отношения в позднесредневековой Германии продолжали изучать М. М. Смирин и В. Е. Майер⁵³.

Специфика переплетения старых феодальных и новых зарождающихся капиталистических отношений в нидерландской деревне XVI в. и особенности процесса первоначального накопления в Нидерландах были прослежены А. Н. Чистозвоновым в работах, посвященных предпосылкам нидерландской революции и классовой и идейной борьбе той эпохи⁵⁴.

Значительную роль в обобщении накопленного конкретно-исторического материала по аграрной истории средневековья сыграли работы С. Д. Сказкина, расцвет научной и педагогической деятельности которого относится к рассматриваемому периоду. Многосторонний и щедрый на идеи историк, Сказкин в эти годы возглавил целый ряд направлений медиевистики. В конце 60-х годов он выпустил обобщающую монографию по аграрной истории и истории крестьянства в Западной Европе в средние века⁵⁵. Книга Сказкина содержит большой конкретный материал по основным проблемам аграрной истории средневековья, в частности по истории развития производительных сил и техники сельского хозяйства. Наряду с этим она ставит и наиболее важные теоретико-методологические вопросы. Сказкин полагал, что основу феодальных производственных отношений составляла феодальная собственность на землю, а не внеэкономическое принуждение, которое, по его мнению, служило лишь средством извлечения ренты из хозяйства крестьян. Главное противоречие феодального строя он видел в противоречии между мелким индиви-

дуальным характером производства, базирующегося при феодализме на мелком крестьянском хозяйстве, и крупной феодальной собственностью. Ряд важных теоретических вопросов поставил Сказкин и применительно к аграрной истории Европы в позднее средневековье. В противовес многим зарубежным историкам, утверждавшим, что «кризис феодализма» и зарождение капиталистических отношений в странах Западной Европы, особенно в Англии, начались уже в XIII—XIV вв., Сказкин утверждал, что даже высокий уровень развития товарности сельского хозяйства со всеми вытекающими из этого последствиями сам по себе не является признаком кризиса феодальных и зарождения капиталистических отношений в деревне, если ему не сопутствует процесс первоначального накопления.

Особенно плодотворным не только для историков средневековья Западной Европы, но и для славистов и специалистов по аграрной истории Центральной и частично Восточной Европы тех лет оказалось рассмотрение Сказкиным проблемы так называемого второго издания крепостничества. В связи с ней он впервые в советской литературе четко поставил вопрос о двух типах или путях аграрного развития Европы в целом в период позднего средневековья: в странах Западной Европы, развивавшихся по первому, более прогрессивному пути (Франция, Англия, Италия и др.), в XVI—XVII вв. барщинное хозяйство фактически исчезает, безусловно преобладает самостоятельное мелкое хозяйство лично свободных крестьян. К востоку от Эльбы (в Восточной Пруссии, Польше, Венгрии, Чехии, Австрии) в тот же период, напротив, господствуют барщинное хозяйство, производящее продукты на рынок, и эксплуатация крепостных крестьян⁵⁶.

В послевоенный период значительно возрос интерес советских медиевистов к истории городов. Проблеме возникновения средневековых городов в 40—50-е годы были посвящены статьи Ю. А. Корхова, Я. А. Левицкого, Б. И. Рыськина, А. Я. Шевеленко; городскому ремеслу и его цеховой организации — статьи Е. А. Тимофеевой, А. А. Сванидзе и др. Вопросы социальной структуры городов и городского самоуправления исследовались А. А. Кирилловой (1904—1984), С. М. Стамом и др.; внутренняя и внешняя торговля и колонизационная политика городов — М. П. Лесниковым, Е. Ч. Скржинской, А. П. Горбачевой и др. Классовой и политической борьбой в городах специально занимались Н. А. Бортник, М. М. Себенцова, Н. А. Сидорова, А. К. Горфункель и др. Вопрос об участии и роли городов в общеполитической борьбе той или иной страны исследовался в работах М. М. Смириня, Л. М. Баткина и др. В середине 60-х годов А. Р. Корсунским впервые был поставлен вопрос о специфике раннесредневековых городов на материале готской Испании.

Объектом исследования советских медиевистов теперь являлись города многих стран Западной Европы. Это позволило к началу 60-х годов поставить вопрос также об общем и особенном в развитии средневековых городов разных стран. Первую для того

времени удачную попытку представляла собой последняя работа В. В. Стоклицкой-Терешкович⁵⁷, в которой автор вскрывала, анализировала и сравнивала наиболее важные аспекты истории городов Франции, Германии, Италии и Фландрии. В книге были намечены основные этапы развития городов и происходившей в них политической и социальной борьбы. Рисуя своеобразие последней в разных странах, особенно борьбы городов с сеньорами, автор показывает, что в политически децентрализованных странах города добивались большей самостоятельности, чем в централизованных. Подробно были освещены вопросы, связанные с происхождением цехов, их организацией и политикой. Специально проблеме цеховой организации ремесла в средневековых городах была посвящена монография Ф. Я. Полянского, в которой рассматривалась структура и различные стороны деятельности цехов, экономическая основа их происхождения, общие черты и особенности цеховой системы в разных странах Западной Европы⁵⁸.

По-новому трактовалась проблема возникновения и ранней истории средневекового города в Англии в книге Я. А. Левицкого (1906—1970)⁵⁹. Опираясь на тщательный анализ широкого круга источников: хартий, англосаксонских законов, «Книги Страшного суда», ранее почти не привлекавшейся для этой цели, Я. А. Левицкий проследил начало процесса отделения ремесла от сельского хозяйства в донормандской Англии (с VII в.) и весьма конкретно показал, как на этой основе в X—XI вв. возникали города на базе маноров, торговых сел, соляных и рудных разработок и т. д. Автор подчеркивал в основном ремесленное происхождение средневековых городов в противовес господствовавшим в то время на Западе концепциям А. Пиренна об их чисто торговом происхождении⁶⁰. Книга Я. А. Левицкого показала также неразрывную связь возникновения городов с общим развитием производительных сил в сельском хозяйстве и ремесле и широко ставила новый в литературе вопрос о зарождении и развитии внутри-рыночных связей в Англии X—XII вв.

Более поздней истории английских городов была посвящена монография А. А. Кирилловой «Классовая борьба в городах Восточной Англии в XIV в.» (М., 1969). В ней на обильном материале источников освещалось экономическое развитие английских городов в XIV—XV вв., особенно в области сукноделия, эволюция ремесленных цехов и основные проявления социальной борьбы в городах, сделана попытка их типологизации. В книге убедительно была показана значительная роль городских движений во время восстания 1381 г.

Истории средневековых городов на материале Италии были посвящены работы В. И. Рутенбурга. Исследуя торговые книги флорентинских компаний XIV в., он пришел к выводу, что их деятельность уже тогда носила по существу капиталистический характер, хотя протекала под покровом цеховых форм⁶¹. Исходя из этого, автор пришел к заключению, что восстание «чомпи»

1378 г. было результатом новых, капиталистических форм эксплуатации и возглавлялось флорентинским предпролетариатом. Эта мысль легла в основу монографии В. И. Рутенбурга, специально посвященной городским восстаниям в Италии XIV—XV вв. и частично написанной на материале итальянских архивов⁶². В ней он пришел к новому в литературе выводу о том, что восстание «чомпи» было не изолированным, но лишь самым крупным в ряду других выступлений предпролетариата, происходивших в это время во всех наиболее промышленно развитых городах Средней Италии.

Выводы автора о наличии в ряде городов Средней Италии, особенно во Флоренции, раннекапиталистических отношений уже в XIII—XIV вв. вызвали дискуссию по проблеме генезиса капитализма. Истории итальянской городской республики другого, преимущественно торгового типа была посвящена монография Н. П. Соколова⁶³.

Историю шведского города впервые в советской медиевистике осветила А. А. Сванидзе в книге «Ремесло и ремесленники средневековой Швеции» (М., 1967). На обильном материале разнообразных источников она показала, что и в этой стране города в первую очередь являлись центрами ремесла и торговли и стимулировали развитие рыночных связей. Вместе с тем были обнаружены и многие особенности шведского городского ремесла, слабое развитие цехов, сильная конкуренция со стороны сельских промыслов и др.

К концу 60-х годов советские медиевисты разработали целостную концепцию истории средневекового города, опирающуюся на широкий круг конкретных исследований. Наиболее общие положения этой концепции, разделяемые большинством советских историков, сводились к следующим: возникновение средневековых городов рассматривалось как следствие отделения ремесла от сельского хозяйства в ходе прогрессивного развития производительных сил феодального общества; главное отличие города от деревни состояло не в правовом или политическом статусе, но в превращении городов в центры товарного производства и обмена; цеховой строй характеризовался как специфическая форма феодальной организации ремесла. Советские медиевисты видели в городских движениях яркое проявление острой социальной и политической борьбы эпохи средневековья.

Однако в этой области медиевистики оставалось много спорных и нерешенных проблем. Неясным являлся вопрос о различиях в характере античных и средневековых городов и связанный с ним мало изученный вопрос о специфике «городов» раннего средневековья. Но, пожалуй, более всего споров вызывал в 60-е годы (и вызывает до сих пор) вопрос об общей роли городов, товарного производства и обмена в феодальном обществе.

До начала 60-х годов этот вопрос решался однозначно и прямолинейно: город рассматривался как чужеродный элемент в феодальном обществе, который с момента своего возникновения

противостоял ему как зародыш новых капиталистических отношений и главный носитель прогресса в средние века. Однако серьезное изучение как истории самих городов, так и других сторон развития феодального общества побудило часть советских медиевистов пересмотреть эти взгляды. К середине 60-х годов многие из них стали видеть в городах и товарном производстве вообще неотъемлемый элемент феодальной экономики на определенной стадии ее развития, подчеркивать их органичность для феодального общества, несамостоятельную их роль в нем и предостерегали от того, чтобы считать их зародышем капиталистического строя. Эта точка зрения была наиболее отчетливо выражена в поздних работах Я. А. Левицкого⁶⁴.

В то же время другие ученые по-прежнему подчеркивали «автономность» городской экономики по отношению к феодальным производственным отношениям, положение городов как центров зарождения новых отношений, противоречивших феодализму⁶⁵. Научное решение этого спора потребовало нового подхода к истории городов, при котором последнюю следовало изучать в тесной взаимосвязи с особенностями развития внутреннего рынка и аграрных отношений в той или иной стране. Попытки такого плодотворного подхода предпринимались в советской медиевистике еще в 60-е годы, с одной стороны, аграрниками, с другой — историками города⁶⁶.

Много споров в 50—60-е годы вызывал также связанный с этой проблемой вопрос о генезисе капитализма и раннекапиталистических отношений в Западной Европе. Впервые с особенной остротой он встал в советской медиевистике в связи с выходом в свет упомянутой монографии В. И. Рутенбурга о флорентинских компаниях. Многие участники дискуссии по этой книге оспаривали вывод Рутенбурга о капиталистической природе флорентинских компаний XIII—XIV вв., считая, что он преувеличил капиталистический характер господствовавших в итальянских городах того времени производственных отношений, переоценил их влияние и территориальное распространение. В дискуссии были поставлены важные теоретические вопросы: о том, возможно ли развитие капиталистической мануфактуры в рамках цеховых организаций, или она могла возникнуть только вне цехов и вопреки им, о принципах разграничения категорий товарного и капиталистического производства⁶⁷.

Дискуссия не привела к единству мнений, но оказалась полезной тем, что выявила недостаточность конкретно-исторической разработки проблемы. В последующие годы появилось большое количество исследований, посвященных конкретному изучению генезиса капиталистических отношений в промышленности разных стран Западной Европы. Применительно к Франции эти сюжеты разрабатывались А. Д. Люблинской, М. А. Молдавской, Т. П. Вороновой, М. А. Покровской и др., к Италии — В. И. Рутенбургом, А. Д. Роловой, к Англии — Н. А. Мещеряковой и М. М. Ябровой. Генезис капиталистических отношений в Нидер-

ландах исследовался А. Н. Чистозвоновым и отчасти М. М. Громыко, в Испании — Э. Э. Литавриной, в Германии — М. М. Смирным, А. Д. Эпштейном, А. Л. Ястребицкой.

Был накоплен большой конкретный материал, который уже к концу 60-х годов позволил говорить о значительном многообразии конкретных путей генезиса капитализма в промышленности, о возможности его зарождения как в рамках цехового строя, так и вне и вопреки цехам, в формах рассеянной и централизованной мануфактуры. Выявились, что даже в наиболее передовых странах Западной Европы — Англии, Нидерландах, Франции — в XVI и первой половине XVII в. преобладал более консервативный путь генезиса капитализма, связанный с господством купца в промышленности и рассеянной мануфактуры над централизованной, с длительным сохранением цеховых организаций в городах. Все эти важные конкретные выводы получили достаточно полное освещение и поставили новые спорные вопросы на Всесоюзной теоретической конференции по этой проблеме, созванной в Москве в мае 1966 г. секцией «Генезис капитализма» Научного совета «Закономерности исторического развития общества и перехода от одной социально-экономической формации к другой». На конференции при обсуждении доклада А. Н. Чистозвонова наиболее спорными оказались вопросы о критериях разграничения процессов разложения феодальных производственных отношений и собственно генезиса капитализма в промышленности, о соотношении последнего по содержанию и во времени с процессом первоначального накопления капитала, о специфических особенностях раннекапиталистических отношений и ранней буржуазии по сравнению с уже сложившимися капитализмом и буржуазией⁶⁸.

* * *

Разработка проблем истории феодального государства началась лишь с середины 50-х годов. До этого времени исследования в этой области тормозились в числе прочих причин и упрощенным пониманием сущности социально-экономических формаций в духе экономического детерминизма, которое делало «малопрестижным» изучение надстроечных явлений. Преодолевая эту позицию, в конце 50-х — начале 60-х годов советские медиевисты стали разрабатывать вопросы возникновения и развития раннефеодального государства в странах Западной Европы. Наиболее значительные работы по этой тематике — уже упоминавшаяся монография З. В. Удальцовой «Италия и Византия в VI в.» (М., 1959) и книга Н. Ф. Колесниченко по истории раннефеодального государства в Германии⁶⁹. Колесницкий тщательно изучил особенности его развития, затянувшегося в этой стране ввиду общей замедленности процесса феодализации до начала XII в. Длительное сохранение в Германии относительно сильной королевской власти автор объяснял наличием там значительного слоя сво-

бодных крестьян, оставшихся непосредственными подданными короля, а также внешнеполитической экспансией Германии того времени, спланировавшей феодалов вокруг императоров. Начавшийся с XII в. процесс формирования территориальных княжеств за счет падения влияния королевской власти Колесницкий рассматривал как результат развития городов и товарно-денежных отношений, которые создавали значительное количество вневотчинного или межвотчинного населения, для эксплуатации и организации которого нужна была более широкая политическая организация, чем примитивная вотчинная власть. Такую политическую организацию и представляли в Германии, где экономические связи складывались в локальных масштабах, территориальные княжества.

Развитие феодального государства в Германии X—XII в. освещалось в работах А. И. Данилова, посвященных эволюции иммунитетов, в частности возникновению привилегий «округа банна» и фогства в этой стране. Автор рассматривал эти институты не в чисто политико-юридическом плане, но как одну из форм реализации феодальной собственности на землю, нуждавшейся для осуществления эксплуатации крестьян в сосредоточении в руках феодала-вотчинника этих орудий политической власти⁷⁰.

В наиболее общем плане вопрос о многообразии генезиса и развития раннефеодальных государств был поставлен в монографии А. Р. Корсунского⁷¹. Анализируя фактический материал по истории различных варварских королевств V—VIII вв., автор сделал вывод о двух типах формирования раннефеодального государства у западноевропейских народов: первый складывался на основе синтеза остатков римской государственности с пережитками военной демократии и характеризовался ускоренным развитием, второй, бессинтезный, формировался в ходе более длительной эволюции, связанной со спонтанным внутренним разложением первобытнообщинной системы управления. Автор подчеркивал при этом ряд особенностей, отличавших раннефеодальное государство и от позднеримского, и от уже сложившегося феодального.

История феодального государства в XI—XV вв., в период феодальной раздробленности и складывания сословно-представительных монархий, разрабатывалась советскими медиевистами преимущественно на материале Франции, Англии, Германии, Норвегии⁷².

Существенные вопросы формирования сословной монархии в странах Западной Европы были поставлены в работах Е. В. Гутновой по истории английского государства⁷³. Главные экономические и социальные предпосылки складывания парламента английской сословной монархии в целом, по мнению автора, заключались в быстром развитии в стране экономических связей и значительном усилении и расширении классовой борьбы крестьян в XII—XIII вв. Эти сдвиги усиливали тенденцию к поли-

тической централизации как в среде самого класса феодалов (особенно мелких и средних), так и в среде свободного крестьянства и горожан. Однако усилившееся государство подчас ущемляло интересы даже тех социальных слоев, на которые оно опиралось, вызывая с их стороны политическую оппозицию. В целом же политика государства прежде всего была направлена в пользу господствующего класса, в чем проявлялась его феодальная природа.

В работах Гутновой поставлен и исследуется ряд вопросов, важных для решения некоторых общих проблем сравнительной истории средневековых представительных учреждений и вообще государств типа «сословной монархии».

В монографии М. М. Смириня по истории Германии накануне Реформации и крестьянской войны⁷⁴ история немецкого государства рассматривалась совсем в другом плане, в связи с ожесточенной социально-политической борьбой того времени. Одной из главных целей этой борьбы автор считал политическое объединение страны, в котором были по-настоящему заинтересованы лишь бюргерство и крестьянство. Феодалы же даже в период массовых народных движений не могли отказаться от своего сепаратизма, о который разбивались все попытки имперских реформ. Книга Смириня, в которой очень много внимания уделяется также крестьянским и городским движениям XV в., дает материал для уяснения социально-политических предпосылок Реформации и Крестьянской войны в Германии.

В изучении феодального государства позднего средневековья внимание советских медиевистов по-прежнему было сосредоточено на проблеме абсолютизма. Ранее выдвинутая Б. Ф. Поршневым точка зрения на социальные истоки и природу абсолютной монархии (см. выше) неоднократно отстаивалась им и в более поздних работах⁷⁵. Продолжал отстаивать свою концепцию абсолютизма и С. Д. Сказкин⁷⁶, хотя и внес в нее ряд уточнений и дополнений. Он пришел к выводу, что между буржуазией и дворянством на первом этапе абсолютизма существовал не открытый антагонизм, но лишь соперничество, не мешавшее вплоть до момента назревания ранних буржуазных революций их взаимному объединению под главенством короля для подавления демократических и крестьянских движений. Еще резче подчеркивал ученый и феодальную сущность абсолютистского государства как мощного централизованного аппарата для выкачивания ренты с крестьян и всякого рода поборов с буржуазии в интересах дворянства в целом.

В 50-е годы началась более углубленная разработка конкретной истории абсолютных монархий, главным образом французской и английской. Отметим две капитальные, основанные на архивных материалах, хранящихся в Ленинграде, монографии А. Д. Люблинской по истории Франции начала XVII в.⁷⁷ В качестве одной из своих главных задач Люблинская в первой из этих книг ставит исследование специфики процесса перво-

начального накопления во Франции, которую видит в том, что там вместо массовой быстрой экспроприации крестьянства, как это было в Англии, шла постепенная утрата земли беднейшими крестьянами в результате продажи их участков и превращения цензитариев частично в пауперов, частично в краткосрочных арендаторов. Причина разорения крестьянства — его задолженность ростовщикам и все возрастающий налоговый гнет абсолютистского государства. Автор выясняет развивавшиеся в стране социальные и классовые противоречия и характер вытекавшей из них острой политической борьбы начала XVII в., в частности внутри самого господствующего класса. Буржуазия в то время должна была еще приспособляться к существующим порядкам. Во второй книге, хронологически и тематически примыкающей к первой (переведена на английский язык)⁷⁸, история Франции XVII в. рассматривается А. Д. Люблинской в контексте экономического и социально-политического развития Западной Европы того времени, что придает книге значение, выходящее за рамки лишь конкретной истории французского абсолютизма.

Продвинулось в 50—60-е годы и изучение английского абсолютизма. Аграрная политика английской монархии XVI в. рассматривалась в уже упоминавшейся выше работе В. Ф. Семенова, впервые показавшего двойственный характер этой политики: она, с одной стороны, стремилась замедлить ход огораживаний, а с другой — укрепить экономические позиции нового дворянства и фермерства с помощью секуляризации и последовавшей за ней распродажи монастырских земель. Колонизационной политике английского абсолютизма в XVI—XVII вв. (кроме охарактеризованной выше книги Ю. М. Сапрыкина) была посвящена также книга А. С. Самойло (1893—1974), показавшего, что в Северной Америке (как и в Ирландии) аграрные мероприятия английского абсолютизма активно содействовали первоначальному накоплению капитала и формированию нового дворянства метрополии за счет насилий и ограбления местного населения⁷⁹.

Торговой и колониальной политике английского и французского абсолютизма были посвящены также статьи М. М. Ябровой (Саратов), Э. М. Шахмалиева (Баку), А. А. Басова (Горький), Н. К. Иванова и др.

В более широком плане экономическая и социальная политика абсолютизма эпохи Тюдоров получила освещение в работах В. В. Штокмар (1914—1984)⁸⁰, которые на большом конкретном материале полностью подтвердили двойственность аграрной и торгово-промышленной политики Тюдоров, лавировавших между интересами класса феодалов, с одной стороны, нового дворянства и буржуазии — с другой.

Несмотря на значительные успехи в изучении проблемы абсолютизма, она не была решена полностью в рамках рассматриваемого периода не только в конкретно-историческом, но и в теоретическом плане. Оставались неизученными эволюция дворянства в позднее средневековье, его взаимоотношения с го-

сударством, значение военно-политического фактора в процессе формирования абсолютных монархий, многообразии их форм в разных странах.

* * *

Новым в послевоенной медиевистике был интерес к истории международных отношений и военно-политической истории эпохи средних веков. Марксистское освещение получила история крестовых походов в работах М. А. Заборова⁸¹. В них вскрываются социальные причины этих военно-колониционных движений XI—XIII вв., роль в них различных социальных элементов, в том числе крестьянства, прослеживаются основные этапы. Особое внимание в работах Заборова уделяется идейной и организационной роли католической церкви и папства в крестовых походах, которая оценивается как однозначно реакционная.

В конце 50—60-х годах появились работы по истории великих географических открытий XV—XVI вв. и зарождения колониальной системы. Международные отношения позднего средневековья также привлекали внимание советских медиевистов⁸².

Новая проблема — место и роль России в международных отношениях первой половины XVII в. в связи с Тридцатилетней войной — была почти одновременно поставлена О. Л. Вайнштейном и Б. Ф. Поршневым. Оба автора показали значительную роль России в ходе и исходе этой войны, ранее не учитывавшуюся ни в отечественной, ни в зарубежной историографии⁸³.

* * *

Одной из наиболее прочных и старых традиций советской медиевистики был постоянный интерес к проблемам классовой борьбы во всех ее проявлениях. Однако научная база исследований по этой тематике была недостаточно разработана в 20—30-е годы. Различные проявления классовой борьбы рассматривались часто в отрыве от ее конкретных экономических и социальных предпосылок, а потому работы того времени грешили известной модернизацией и скудостью фактического материала. К середине 30-х годов была заложена основа для более глубокого и историчного подхода к этим проблемам. Классовая борьба стала рассматриваться как органический элемент общественной жизни средневекового общества на всех его этапах, как порождение его социально-экономического развития. Поэтому во всех крупных работах советских историков, о которых говорилось выше, какой бы теме они ни были посвящены, вопросам классовой борьбы всегда отводилось существенное место.

В послевоенный период появилось большое количество работ, специально посвященных конкретной истории тех или иных народных движений⁸⁴. Среди них выделялась монография Б. Ф. Поршнева, посвященная народным движениям во Франции первой

половины XVII в.⁸⁵ На основе рукописных материалов, хранящихся в Ленинграде, Поршневу нарисовал широкую картину народных движений в селах и городах Франции этого периода и выяснил, что эти движения были ответом главным образом на возраставший налоговый гнет и направлялись не столько против отдельных феодалов, сколько против абсолютистского государства и его администрации. В своей книге Поршневу выдвинул также оригинальную, но вызвавшую споры трактовку Фронды, в которой видел раннюю буржуазную революцию, неудавшуюся из-за предательства буржуазии.

В отличие от утвердившегося к этому времени в советской медиевистике понимания классовой борьбы как порождения общих экономических и социальных процессов Б. Ф. Поршневу и некоторые другие историки в 40—50-е годы считали классовую борьбу первоосновой исторического процесса, определяющей экономическую, социально-политическую и идейную жизнь общества. Они сводили, по сути дела, историю в целом к истории классовой борьбы, как это делалось в 20-е годы.

Одним из проявлений такого подхода являлась концепция так называемой революции рабов, выдвинутая в конце 30-х годов некоторыми античниками, а затем в 40-е годы получившая распространение и среди медиевистов. Ее сторонники трактовали крушение рабовладельческой Западной Римской империи как прямое следствие народных движений III—V вв., в которых видели «революцию», происходившую под гегемонией рабов. При этом они опирались на слова Сталина о том, что «революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся». Наиболее яркое конкретно-историческое воплощение эта концепция нашла в работах А. Д. Дмитрева⁸⁶. Но и в них она подменяла научный анализ социальной борьбы в империи абстрактными рассуждениями о роли народных масс в революциях вообще. Это вело к модернизации, когда роль рабов в переходе от античности к средним векам трактовалась наподобие роли буржуазии в буржуазных, пролетариата — в социалистических революциях.

Однако появление этой концепции стимулировало изучение народных движений III—V вв. Выяснились их неорганизованность, стихийность, разнородный социальный состав, то, что среди них совсем не было чисто рабских восстаний, отсутствие у них положительных программ и неизбежность их поражений. В результате концепция «революция рабов» в ее чистом виде утратила влияние уже в самом начале 50-х годов. Началось действительно научное, основанное на фактах исследование других аспектов кризиса Римской империи III—V вв., которое открывало путь к пониманию специфики социальной революции при переходе от античности к средним векам⁸⁷.

В 1949—1951 гг. происходила дискуссия более общего методологического характера — о месте и роли классовой борьбы в развитии феодального общества, а по существу вообще в ис-

тории. Вопрос этот поднял Б. Ф. Поршнева. В серии его статей, опубликованных в 1948—1950 гг., ставилась проблема воздействия классовой борьбы между крестьянами и феодалами на развитие феодального общества и государства в целом⁸⁸.

Автор включал в понятие «классовая борьба» все действия крестьян в экономической сфере, направленные на улучшение их материального положения. С этой точки зрения рост производительных сил в сельском хозяйстве, разделение труда между ремеслом и земледелием, рост городов и товарного производства, эволюция ренты от отработочной к денежной, смягчение личной зависимости — все это, по мнению Поршнева, было исключительно проявлением и результатом классовой борьбы крестьянства, так как господствующий класс феодалов в своей необузданной жажде насилия и наживы давно истощил бы базу феодальной экономики — крестьянское хозяйство, если бы не сопротивление крестьян. В крестьянстве Поршнева видел также главную и единственную до конца революционную силу в буржуазных, в том числе и ранних, революциях, считая, что даже на первых этапах своей истории буржуазия не являлась революционным классом. Процесс централизации феодального государства он объяснял исключительно страхом феодалов перед крестьянскими движениями. Поэтому феодальное государство на всех этапах его истории рассматривалось Поршневым как абсолютно реакционная сила. Всех советских ученых, не разделявших эту концепцию, Поршнева обвинял в «экономическом материализме» и антимарксизме, что в тогдашних условиях могло поставить их под удар.

Статьи Б. Ф. Поршнева тем не менее вызвали широкую открытую дискуссию сначала (в 1950 г.) на кафедре истории средних веков МГУ, а затем (в начале 1951 г.) в Институте истории АН СССР, которая получила широкий отклик в периодической печати⁸⁹. Часть медиевистов солидаризировались с концепцией Б. Ф. Поршнева. Но большинство выступило с ее критикой: С. Д. Сказкин, Е. А. Косминский, В. В. Стоклицкая-Терешкович, Н. А. Сидорова, А. Н. Чистозвонов, Ю. М. Сапрыкин, В. В. Бирюкович, М. М. Смирин, А. Д. Эпштейн, Ю. Л. Корхов и др. Все оппоненты Поршнева признавали новизну и важность поставленных в его статьях проблем и необходимость дальнейшей конкретной разработки поднятых им вопросов. Но в то же время они высказывали мнение, что концепция Поршнева носит абстрактно-социологический характер, отмечали, что феодалы далеко не всегда действовали как разрушители собственного материального благополучия, а рост крестьянских движений не был единственной причиной централизации феодального государства. Все оппоненты особенно настойчиво критиковали Поршнева за полный отрыв классовой борьбы от ее экономических и социальных основ и особенно за то, что он неправомерно расширяет понятие классовой борьбы и подменяет ею прогрессивное развитие производительных сил и производственных отношений.

И сам Поршневу, и его оппоненты широко пользовались принятым в то время методом цитатной аргументации, обвинением друг друга в «антимарксизме» и «ревизионизме». Тем не менее эта дискуссия показала необходимость конкретных исследований влияния классовой борьбы на жизнь феодального общества в целом и выявила наиболее сложные и спорные стороны этого вопроса, а также полную неразработанность политической экономики феодализма. К изучению последней обратился Поршневу, дав во многом интересную интерпретацию основных категорий феодальной экономики⁹⁰.

Дискуссия 1950—1951 гг. показала несогласие с Б. Ф. Поршневым большинства медиевистов, но она возникла спонтанно, без административно-командного вмешательства сверху и не привела к установлению единой точки зрения на спорную проблему⁹¹. В 1964 г. вышла новая монография Б. Ф. Поршнева «Феодализм и народные массы», в которую в существенно доработанном виде вошли его работа по политэкономии феодализма и дискуссионные статьи 1949—1950 гг.⁹² В новой книге Поршневу шире, чем в статьях 1948—1950 гг., пользовался фактическим материалом, накопленным в предшествующие годы советскими медиевистами-«западниками», историками СССР и стран Востока, пытался связать классовую борьбу с политэкономией феодализма. Однако его концепция классовой борьбы как первоисточника общественного развития не претерпела существенных изменений, что вызвало ее противоречивую оценку в печати⁹³. После перевода книги Поршнева о крестьянских движениях XVII в. на французский язык⁹⁴ эта проблема привлекла внимание зарубежных историков и вызвала споры в их среде. Представления Поршнева о роли классовой борьбы при феодализме оказали и продолжают оказывать некоторое влияние на марксистские и радикальные течения западной медиевистики.

Многое было сделано в изучении такого важного аспекта истории классовой борьбы, как ранние буржуазные революции. В работах А. Н. Чистозвонова новое освещение получила нидерландская революция конца XVI в.⁹⁵ Он, в частности, обоснованно доказал, что события в Нидерландах конца XVI — начала XVII в. являлись не просто освободительной или религиозной борьбой, а были первой удавшейся буржуазной революцией мануфактурного периода и в них немаловажную роль сыграло движение городского плебса и крестьянства.

В советской историографии в послевоенные годы сложилась законченная и в целом аргументированная концепция английской революции XVII в.⁹⁶ ведущую роль в разработке которой в то время играли историки-медиевисты Е. А. Косминский, Н. А. Левицкий, С. И. Архангельский, В. Ф. Семенов, Ю. М. Сапрыкин, Г. Р. Левин, В. М. Лавровский, М. А. Барг.

В работах М. М. Смирнова⁹⁷ на большом и новом материале были тщательно проанализированы предпосылки, движущие силы и идейные течения Реформации и Крестьянской войны XVI в. в

Германии, которые Смирин, следуя за Ф. Энгельсом, определял как первую неудавшуюся буржуазную революцию в Европе. Однако эта точка зрения не была подкреплена достаточной разработкой в советской медиевистике проблемы генезиса капитализма в Германии конца XV — начала XVI в. Этим вопросом занялся сам Смирин. В серии его статей, посвященных этой теме, а затем в монографии⁹⁸ он аргументированно показал, что в Германии с начала XVI в. уже формировался класс буржуазии, заинтересованный в ликвидации феодальных отношений⁹⁹, противостоявший как прогрессивная социальная сила не только еще средневековому бюргерству и городскому патрициату, но и крупным торгово-промышленным и ростовщическим компаниям (Фугеров, Вельзеров и др.), которые, как полагал Смирин, представляли еще феодальные тенденции в торгово-промышленной среде.

* * *

Советская медиевистика значительно продвинулась в 50—60-е годы в области изучения идеологии феодального общества, его духовной жизни и культуры, которым до этого времени почти не уделяли внимания. Это было следствием не только приоритета исследований по экономическим и социальным проблемам, но и односторонней резко отрицательной оценки исторической роли католической религии и церкви. Поскольку средневековая культура развивалась под их постоянным воздействием, она тоже ставилась как бы вне закона, третировалась, как во всем реакционная, а потому не заслуживавшая изучения. Лишь постепенно и с большими трудностями шло в среде советских медиевистов преодоление этого стереотипа. Наибольшее внимание долгое время привлекали лишь те проявления идейной и духовной жизни средневековья, которые носили ярко выраженный антифеодальный и антицерковный характер: народные ереси, творчество народных масс, культура средневековых городов и связанные с ней ростки свободомыслия в период с XI по XV в., прогрессивная политическая мысль XIV—XV вв. В этой области работали Н. А. Сидорова, Н. А. Бортник, Б. Я. Рамм, С. М. Стам, С. Д. Сказкин и др.

Первой и наиболее значительной из работ по этой теме была книга Н. А. Сидоровой (1910—1961) «Очерки по истории ранней городской культуры во Франции» (М., 1953). Культурная и идейная жизнь Франции XII в. рассматривалась в этой книге под углом острой социально-политической борьбы реакционных и прогрессивных сил. Автор показал реакционную роль феодалов-сепаратистов и значительной части высшего католического клира в борьбе с государственной централизацией, народными движениями, ересями, мирской культурой и образованностью, зарождавшейся в городах той эпохи, философским свободомыслием. В центре внимания автора оказалась борьба прогрессивных сил общества против ортодоксальной церковной идеологии.

Идейным центром, в котором скрещивались во многом противо-

речивые социальные и политические тенденции той эпохи, Сидорова считала раннюю городскую культуру, а одним из главных ее представителей — замечательного средневекового мыслителя Петра Абеляра. Под покровом его отвлеченных философско-теологических споров с католическими ортодоксами скрывались злободневные в Европе XII в. вопросы о соотношении веры и разума, об использовании античного наследия и др., от решения которых во многом зависели перспективы дальнейшего развития прогрессивных течений культуры средних веков. Сидорова одна из первых в современной ей медиэвистике поставила вопрос о существовании и развитии в средние века народной культуры, ушедшей своими корнями в толщу народных традиций, пережитков язычества и во многом противостоявшей официальной церковной культуре. Эта идея Сидоровой в известной мере предвосхитила тот всплеск интереса к народной культуре средних веков, который возник в 60—70-е годы в зарубежной, а несколько позднее и в советской медиэвистике.

Совершив прорыв в запретную ранее зону исследований, книга Н. А. Сидоровой, однако, несла печать ряда односторонних стереотипов своего времени. Нарисованная ею картина культурной жизни Франции XII в. была слишком упрощенной, как бы черно-белой, роль католической религии и церкви в развитии культуры выглядела слишком однозначно-реакционной. Несмотря на отдельные оговорки, автор недооценивала их воздействия и на городскую культуру, и на свободомыслие той эпохи. Книга была отягощена огромным количеством цитат из К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, а также И. В. Сталина, авторитетом которых автор пытался оградить себя от обвинений в «неактуальности» и ненужности избранной темы. Тем не менее книга Сидоровой открыла путь для активизации исследований в области истории средневековой культуры.

В 1965 г. вышла работа Л. М. Баткина «Данте и его время», в которой особое внимание уделялось общему мировоззрению и политической теории поэта. В 1966 г. Е. В. Гутновой была впервые поставлена задача комплексного изучения общественного сознания средневекового крестьянства в его развитии и предложены некоторые общие принципы подхода к теме¹⁰⁰.

В истории культуры и идеологии более позднего периода наиболее пристально изучались в те годы проблемы гуманизма, Возрождения и Реформации. С конца 40-х годов советская медиэвистика накопила большое количество конкретного материала по этим проблемам. Прежде всего следует отметить капитальный труд М. А. Гуковского по истории итальянского Возрождения¹⁰¹, в котором культура этой эпохи рассматривается на широком фоне экономической и социально-политической истории Северной и Средней Италии XIII — середины XV в. и расценивается как по сути уже буржуазная. Вопросам истории гуманизма были посвящены также работы В. И. Рутенбурга, Л. М. Брагиной, Л. С. Чиколлини, А. И. Хоментовской, Н. В. Ревякиной, Ф. А. Коган-

Бернштейн (1899—1976), Б. Ф. Поршнева, М. М. Смирин, В. Г. Левина, А. Н. Немилова, В. М. Володарского, В. А. Майера, И. Н. Осинковского. А. Э. Штекли написал в серии «Жизнь замечательных людей» ряд научных биографий видных представителей гуманистической и реформационной мысли XVI—XVII вв.¹⁰²

Новые исследования расширили представления о гуманизме и Возрождении, обнаружив их значительную многогранность и особенности в разных странах, часто весьма противоречивую социально-политическую окраску. Эти наблюдения дали основания для споров о социальной сущности новой культуры. Большинство историков того времени трактовали культуру Возрождения и гуманизма как выражение раннебуржуазной идеологии (С. Д. Сказкин, М. А. Гуковский, В. И. Рутенбург); другие предлагали трактовать ее как культуру городских ремесленников и вообще широких трудящихся масс (А. С. Самойло); третьи, напротив, преувеличивали влияние на нее дворянской, феодальной культуры.

На этой почве в 1957 г. возникла дискуссия, организованная Сектором истории средних веков Института истории АН СССР и кафедрой истории средних веков МГУ. Принципиальное значение имел доклад С. Д. Сказкина, открывший дискуссию¹⁰³. Автор ряда конкретных работ по этой проблематике, докладчик наметил основные методологические принципы подхода к ней. Исходным моментом исследования истории гуманизма и Возрождения он считал изучение общественной жизни, положения разных классов общества и их экономической деятельности. Затем, по его мнению, следует подняться к рассмотрению форм отражения этих материальных отношений в области морали и этики и лишь после этого — к обоснованию последней в мировоззрении в целом и, наконец, к отражению общественного бытия в эстетике. Пользуясь этой методологией и проанализировав с такой позиции конкретные данные советской и зарубежной медиэвистики, С. Д. Сказкин пришел к выводу, что они не дают оснований отказаться от представления о культуре Возрождения и гуманизма как выражении реальных интересов и вкусов нового класса — зарождавшейся буржуазии. Поэтому, хотя культура Возрождения включала в себя и крестьянско-плебейские, и бюргерские, и дворянские идеи и культурные течения, ее основные идейные истоки лежали в мировоззрении буржуазии в период ее формирования из среды городского сословия. Споры по этому вопросу продолжают в советской историографии и в наши дни.

Для изучения не менее важных и сложных вопросов Реформации в странах Западной Европы особенно важное значение имела уже упоминавшаяся работа М. М. Смирин. В центре внимания автора находился процесс формирования радикально-демократической, крестьянско-плебейской народной Реформации, возглавлявшейся Томасом Мюнцером. Выяснив, что было заимствовано Мюнцером у его идейных предшественников — Иоахима Флорского, немецких мистиков XIV в., гуситов, М. М. Смирин

с помощью тщательного сопоставления их взглядов со взглядами самого Мюнцера показал, что его мировоззрение в целом отличалось от мировоззрения этих его предшественников и что отдельные заимствования у них не меняют дела. М. М. Смирин выявил также, что революционное, активное, доступное широким массам учение Мюнцера возникло прежде всего под влиянием той социальной атмосферы, в которой он жил и действовал, и отражало социальные требования и чаяния крестьянско-плебейских масс в нарастающей классовой борьбе Германии его времени. Эпицентр идейного конфликта между Мюнцером и Лютером М. М. Смирин перенес из области конфессиональной в область социальную, дав ценную модель для подхода к анализу идеологических явлений вообще. Вместе с тем автор несколько преувеличил значение Мюнцера в событиях 1524—1525 гг. и, напротив, недооценил в них роль Лютера, утверждая абсолютную реакционность его позиций в борьбе с Мюнцером.

Большое значение для изучения проблемы Реформации и в познавательном и в методологическом смысле имели исследования А. Н. Чистозвонова, завершившиеся изданием монографии по истории реформационного движения в Нидерландах XVI в.¹⁰⁴ Чистозвонов с позиций марксистской методологии подошел к исследованию идеологических проблем, в частности к анализу анабаптизма — одного из главных течений «народной реформации XVI века». Книга основана в значительной степени на материалах голландских архивов. Подчеркнув переходный характер экономики и социальных отношений в Нидерландах XV—XVI вв., автор показал, что главной особенностью процесса первоначального накопления здесь было то, что дворянство и горожане, экспроприируя крестьян, сами не вели капиталистического хозяйства в деревне, оставаясь лишь получателями ренты. Носителями же капиталистических отношений в деревне являлись фермеры, эксплуатировавшие наемный труд. Автор пришел к выводу, что свое наиболее яркое открытое и революционное проявление анабаптизм нашел только в Нидерландах и в пограничной с ними Вестфалии, в частности в «Мюнстерской коммуне» 1531 г. Чистозвонов обнаружил тесные организационные и идейные связи между мюнстерскими и нидерландскими анабаптистами, внимательно проследил разногласия в лагере мюнстерцев, их программу, тактику, религиозные и этические воззрения. Он пришел к выводу, что «коммунизм» анабаптистов был проявлением интуитивного стихийного протеста угнетенных масс против несправедливостей существующего строя и показал общую незрелость, ограниченность и утопичность воззрений анабаптистов.

При всем разнообразии тематики работ перечисленных авторов общим для них являлся новый по сравнению с немарксистской историографией подход к проблемам истории средневековой культуры и идеологии. Духовная жизнь средневекового общества рассматривалась ими не в плане саморазвития тех или иных идей

и культурных явлений, но в первую очередь как идеологическое выражение социально-политических процессов и классовой и социальной борьбы, происходивших в феодальном обществе, включалась как важный элемент в комплексное изучение истории феодального общества.

С середины 60-х годов в советской медиевистике был поставлен вопрос о необходимости изучения не только идеологического, но и социально-психологического фактора в истории ¹⁰⁵.

* * *

Советские медиевисты в послевоенный период создали ряд коллективных трудов: уже упоминавшиеся третий и четвертый тома «Всемирной истории» и «Историю английской революции». С конца 60-х годов большой коллектив ученых, возглавлявшийся тогда академиком С. Д. Сказкиным, приступил к написанию капитально обобщающего труда по истории европейского крестьянства эпохи феодализма (включая историю крестьянства славянских стран и народов европейской части России) ¹⁰⁶.

К числу коллективных обобщающих работ советской медиевистики по справедливости следует отнести также и некоторые вузовские учебники по этому предмету. В 1952—1954 гг. вышло новое издание двухтомного учебника по истории средних веков ¹⁰⁷, значительно переработанное по сравнению с первым изданием 1938—1939 гг. Однако в некоторых вопросах и он грешил догматизмом и излишеством цитатной аргументации. В 1964 г. вышел новый однотомный учебник для пединститутов ¹⁰⁸. Коллектив ученых, организованный кафедрой истории средних веков МГУ и Сектором истории средних веков Института истории АН СССР, издал в 1966 г. новый двухтомный учебник по истории средних веков для университетов ¹⁰⁹. Он охватывал только западноевропейский регион, имел новую структуру и ряд заново написанных глав.

В. Ф. Семеновым были написаны учебники для учительских ¹¹⁰, а позднее для педагогических институтов (первое издание вышло в 1956 г.). Было также подготовлено несколько хрестоматий: переработанное издание довоенной хрестоматии под редакцией С. Д. Сказкина и Н. П. Грацианского ¹¹¹, два тома новой хрестоматии, задуманной как материал к средневековым томам «Всемирной истории» ¹¹², и специальная хрестоматия по истории феодального государства и права, в подготовке которой принял участие ряд медиевистов ¹¹³. В начале 50-х годов было завершено издание трехтомной книги для чтения по истории средних веков ¹¹⁴.

* * *

На новую ступень в 50—60-е годы поднялись советские исследования по историографии средних веков. Уровень разработки историографических проблем в конце 40-х — начале 50-х годов

не отвечал тем требованиям, которые предъявляло к советским ученым общее состояние исторической науки того времени. Не были разработаны марксистские методологические принципы подхода к историографическим проблемам. В историографических работах резко преобладал обвинительный уклон в оценке всей историографии XIX — начала XX в., в том числе русской, особенно же немарксистской зарубежной историографии первой половины XX в. Исходным моментом в оценках исторической литературы была идейно-методологическая и политическая позиция историка или целого направления, тогда как научно объективные результаты его работы, новаторские выводы, методика исследований, место в развитии научных знаний почти не учитывались. Историографическая критика чаще всего носила разносный характер. Малейшие попытки отойти, хоть немного, от этого стереотипа сурово пресекались. Это проявилось в отмеченной выше критике второго выпуска сборника «Средние века», а также учебника О. Л. Вайнштейна по историографии средних веков, вышедшего еще в 1940 г., но подвергшегося во многом несправедливой критике в 1949—1950 гг. в пору кампании по борьбе с «космополитизмом»¹¹⁵. При всех его недостатках в целом этот учебник был написан с марксистских позиций. Обвинения автора в объективизме, отсутствии патриотизма и других грехах носили во многом надуманный характер.

Между тем стали появляться специальные исследования по этим сюжетам.

В 1949 г. вышла первая большая монография М. А. Алпатова (1903—1980), посвященная политическим идеям французской историографии XIX в.¹¹⁶ Эта книга содержала много ценного материала о политических взглядах французских историков и их эволюции, которую автор, однако, чрезмерно однозначно толковал как движение в сторону реакции от начала к концу XIX в. Центральное место в ней занимали политические и методологические воззрения Фюстеля де Куланжа и судьба его идей в последующей историографии. При этом, однако, автор несколько односторонне осветил исторические концепции ряда крупнейших историков XIX в., например Гизо, Токвиля, Фюстеля де Куланжа и др., недооценив научные достоинства их работ и то положительное, что они внесли в развитие исторической науки.

С таких же позиций была написана большая статья А. И. Данилова «Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков»¹¹⁷, в которой резко критиковались неокантианские увлечения Д. М. Петрушевского 10—20-х годов XX в., но в значительной мере игнорировались достоинства большинства научных исследований этого историка, конкретные выводы которых нередко приближались к марксистским представлениям.

Однако к концу 50-х годов подход советских медиевистов к историографическим проблемам несколько изменился.

В этом повороте особенно большую роль сыграли две работы:

лекционный курс Е. А. Косминского, читавшийся в МГУ в 1938—1946 гг., но опубликованный только посмертно в 1963 г.¹¹⁸, и книга А. И. Данилова (1916—1980) по немецкой историографии раннего средневековья¹¹⁹. Хотя книга Косминского была издана по стенограммам ранних лекций, в них уже высказаны были идеи, созвучные тем, которые оформились окончательно только к концу 50-х годов. Курс Косминского, опирающийся во всех своих разделах на собственные исследования автора, давал историю медиэвистики на широком фоне развития исторической, философской, экономической мысли, сочетал тонкий анализ с широкими обобщениями. Критически вскрывая классовые основы историографии прошлого, автор вместе с тем подходил к ней исторично, без какого-либо упрощения, четко определял прогрессивные и реакционные тенденции в развитии медиэвистики, прослеживал развитие методологических принципов, методических приемов, проблематики, изменения в характере привлекаемых источников. Такой же характер носят и другие историографические работы Косминского, публиковавшиеся в 40—50-е годы¹²⁰.

Что касается упомянутой работы А. И. Данилова, то, будучи посвящена вполне конкретной историографической проблеме, она имела также большое общеметодологическое значение. Данилов отошел в книге от прежнего стереотипа, сумел теоретически осмыслить и убедительно показать сложность и многогранность задач подлинно научного историографического исследования. В таком исследовании, как он считал, надо было установить влияние на развитие исторической науки социально-политической борьбы и политических идей, исследовать теоретико-методологические основы каждого направления исторической мысли, установить их связь с предшествующим и последующим этапами ее развития, проанализировать характер концепции исследовательских методов историка и даже целых школ, использованных ими источников. Все эти теоретические положения, четко сформулированные во введении к книге, нашли свое практическое воплощение в последующих ее частях.

Как Е. А. Косминский, так и А. И. Данилов в названных работах подчеркивали неправомочность сведения историографии к развитию политических идей историков и к смене методологических принципов. Они видели в ней историю исторической мысли и науки, а следовательно, накопление исторических знаний, источников, методических приемов, развитие концепций.

Этот подход в 60-е годы получил широкое распространение в советской медиэвистике. Он лег в основу работы центра исследований по историографии и методологии истории, созданного А. И. Даниловым в Томском университете, где работали его ученики Б. Г. Могильницкий, Н. И. Смоленский, В. А. Гавриличев, Г. К. Садретдинов, В. В. Иванов и др. С 1963 г. в Томске стал выходить ежегодный сборник статей по этой тематике — «Методологические и историографические вопросы исторической науки» (ответственным редактором которого был А. И. Данилов), продолжающий выходить и теперь¹²¹.

В 60-е годы значительно расширился круг историографических проблем, разрабатываемых медиевистами. Большое внимание уделялось изучению русской дореволюционной медиевистики в статьях Е. А. Косминского, С. И. Архангельского, И. Н. Бороздина, Б. Г. Вебера, Л. Н. Большаковой, М. Д. Бушмакина и др.

В 1955 г. вышла в свет первая в советской историографии книга о Т. Н. Грановском С. А. Асиновской «Из истории передовых идей в русской медиевистике (Т. Н. Грановский)», основанная на широком использовании архивных материалов, в частности записей лекционных курсов Грановского.

По истории русской медиевистики 70-х годов XIX — начала XX в. появились и работы обобщающего характера: соответствующие разделы первого—третьего томов «Очерков истории исторической науки в СССР» (М., 1957—1963), написанные М. А. Алпатовым, Б. Г. Вебером, Н. И. Бороздиным, Б. Г. Могильницким, А. И. Даниловым. В книге Б. Г. Могильницкого «Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX в.— начала 900-х годов» (Томск, 1969) были детально и в целом объективно рассмотрены взгляды по основным вопросам философии истории в целом и средневековой истории в частности И. В. Лучицкого, М. М. Ковалевского, Н. И. Кареева, Д. М. Петрушевского, А. Н. Савина и др. Вышла книга Б. Г. Сафронова «Ковалевский как социолог» (М., 1960).

С конца 50-х годов началось систематическое изучение истории советской медиевистики. В статьях Е. А. Косминского, А. И. Данилова, Е. В. Гутновой, С. А. Архангельского, О. Л. Вайнштейна, А. Д. Люблинской, Н. А. Сидоровой, А. Е. Москаленко (1909—1984) рассматривались основные этапы ее развития с 1917 г. по конец 60-х годов. Вышла обобщающая книга О. Л. Вайнштейна «История советской медиевистики (1917—1966)» (Л., 1968 г.), в которой был дан подробный обзор развития этой отрасли исторической науки с весьма содержательной характеристикой основных работ и дискуссий по этой тематике.

Продолжалась также разработка вопросов развития исторической мысли и науки на Западе со времен средневековья до середины XX в. О. Л. Вайнштейн издал книгу «Западноевропейская средневековая историография» (М.; Л., 1964). Она представляла собой первый в советской исторической литературе систематический специальный очерк развития средневековой историографии (с VI по начало XVII в.).

Подавляющее большинство работ по истории западной медиевистики прошлого и настоящего было издано в виде статей, которые перечислять здесь невозможно. Однако и в 60-е годы советской медиевистике не удалось полностью освободиться от некоторых стереотипов, утвердившихся в подходе к историографии. Наиболее живучим из них оказалась концепция «общего кризиса» буржуазной историографии, начавшегося, как считалось, на рубеже XIX и XX вв. и продолжавшегося в последующие десятилетия XX в. Этот кризис трактовался как начало полной

деградации буржуазной исторической науки, на которую она с тех пор обречена. Если эта концепция отчасти отражала ситуацию конца XIX и первых десятилетий XX в., когда немарксистская историография находилась во власти субъективизма, релятивизма, интуитивизма (хотя и тогда в ней были прогрессивные течения), то в 50-е и особенно в 60-е годы эта догма оказалась в противоречии с реальными успехами прогрессивных течений западной медиевистики в области исторических обобщений, междисциплинарных исследований, новых исследовательских методов. Чем дальше, тем больше эта концепция затрудняла правильную интерпретацию, а следовательно, и возможность использовать в нашей научной практике немалые достижения немарксистской историографии 50—60-х годов¹²². Обратной стороной утверждения концепции «общего кризиса» немарксистской историографии было чрезмерно оптимистическое, приглаженное изображение развития советской марксистской медиевистики как неизменно поступательного процесса, протекавшего якобы без всяких недостатков и трудностей.

* * *

Развивались в конце 50—60-х годах и вспомогательные дисциплины медиевистики, без которых невозможен был ее дальнейший прогресс. Это прежде всего относится к школе ленинградских латинских палеографов, созданной еще к середине 30-х годов О. А. Добиаш-Рождественской. После ее смерти в 1939 г. во главе школы стала А. Д. Люблинская. В ее статьях и работах ее учеников был поставлен ряд важных проблем латинской палеографии на базе богатейшего рукописного фонда Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Люблинской при участии ее учеников (В. Л. Романовой, Л. И. Киселевой, В. М. Малова) был написан новый учебник по латинской палеографии для университетов¹²³.

А. Д. Люблинская написала и издала первый учебник по источниковедению средних веков¹²⁴. Источниковедческие исследования вела А. И. Неусыхин (о различных текстах Салической правды), В. Е. Майер (об общинных уставах в Германии XIV—XVI вв.), А. В. Конокотин (о французских рукописях XIV в.) и др.

Важным достижением советской медиевистики в 50—60-е годы была активная публикация средневековых рукописных источников, хранившихся в архивах и библиотеках СССР. Среди них особую значимость имели: «Документы по истории Франции середины XVI в.», опубликованные Т. П. Вороновой и Е. Г. Гурари под редакцией А. Д. Люблинской (СВ. М., Вып. 12—15, 19); «Документы по истории гражданской войны во Франции 1561—1563 гг.» под редакцией А. Д. Люблинской (Л., 1962); «Документы по истории внешней политики Франции 1517—1548 гг.» под редакцией А. Д. Люблинской (Л., 1963); «Акты Кремоны XIII—XVI вв.» в собрании АН под редакцией В. И. Рутенбурга

и Е. И. Скржинской (М.; Л., 1961); неизданные кремонские акты XVI в., опубликованные А. М. Конопленко (СВ. М., 1964. Вып. 26).

Были также опубликованы: «Хроника Дино Компаньи» под редакцией Л. М. Баткина (СВ. М., 1960. Вып. 23), новое издание Салической правды¹²⁵, «Законы шведского короля Магнуса Эриксона» под редакцией С. Д. Ковалевского (СВ. М., 1964. Вып. 26), регистры ремесленных цехов Парижа и другие средневековые источники (в переводах)¹²⁶. Вышли в свет переводы отдельных трудов П. Абеляра¹²⁷.

В 1961 г. был опубликован впервые подготовленный С. А. Асиновской большой корпус тех записей лекций Т. Н. Грановского, которые ранее не публиковались.

* * *

За сравнительно короткий период с 1946 по 1967 г. советская медиевистика достигла заметных успехов. Значительно расширилась тематика исследований, объектом которых стали почти все страны Западной Европы, и не только социально-экономические процессы в них, но и в той или иной степени все надстроечные явления. Советские медиевисты разработали и успешно применили в своих трудах ряд новых исследовательских методов, расширивших возможности изучения истории средневековья. Ими был поставлен ряд важных общетеоретических вопросов истории феодализма, проведены дискуссии по этим вопросам, предложены их новые решения. Значительно углубилось понимание основных закономерностей развития феодальной формации: многочисленные конкретные исследования позволили обнаружить большое многообразие в складывании, развитии и разложении феодализма даже в пределах одной лишь Западной Европы. Тем самым был сделан большой шаг в постижении диалектики развития феодальной формации как закономерного этапа в истории, соотношения общего и особенного в эволюции этой формации в разных странах. Усилились тенденции к комплексному, синтетическому изучению средневекового общества с учетом не только объективных закономерностей его развития, но и субъективного фактора. Эти тенденции более полно реализовались уже в 70—80-е годы. Было решительно отвергнуто одностороннее отрицательное отношение к эпохе средневековья, широко распространенное в советской историографии 20-х — начала 30-х годов. Значительно выросли в послевоенный период и кадры медиевистов, и число их работ.

С конца 50-х годов советская медиевистика стала постепенно выходить на международную арену. Многие советские работы по истории средних веков, как отмечалось, были переведены на иностранные языки так же, как третий и четвертый тома «Всемирной истории», «История английской революции» и вузовский учебник 1952—1954 гг. Статьи советских медиевистов по разным вопросам стали печататься в иностранных исторических

журналах; периодический сборник «Средние века» стал привлекать интерес зарубежных историков, статьи которых с начала 60-х годов печатались в этом издании¹²⁸. Многие медиевисты успешно выступали на различных международных встречах с учеными многих, в том числе и капиталистических стран. В 1955 г. после долгого перерыва они приняли участие в работе X Международного конгресса историков в Риме, в 1960 г. — XI конгресса в Стокгольме, в 1965 г. — XII конгресса в Вене¹²⁹. Началось более или менее постоянное взаимодействие между марксистской и немарксистской историографией, оказавшееся плодотворным для обеих сторон.

Как было отмечено выше, развитие советской медиевистики и в эти годы не обходилось без трудностей. Мы видели на ряде примеров, как в 40-х — начале 50-х годов на нее оказывали заметное давление догматизм и цитатничество, грубые проработочные кампании 1948—1952 гг. Догматические представления вроде теории о «революции рабов» или об абсолютной реакционности христианской религии и церкви в средние века задерживали развитие новых исследований, создавая в тех областях, где они господствовали, как бы «запретные зоны». Недостаточная разработка этих вопросов, в свою очередь, благоприятствовала закреплению отдельных догматических и априорных представлений.

Более широкие возможности получения информации из-за рубежа обнаружили в некоторых вопросах (в частности, в области междисциплинарных исследований, а также изучения социальной психологии и вообще духовной жизни средневековья, истории господствующего класса) заметное отставание советской медиевистики.

Все это, однако, не дает оснований зачеркивать ее достижения в рассматриваемый период. Сам по себе марксистский подход к изучению средних веков, несмотря на его в ряде случаев догматическую интерпретацию, позволил советским ученым во многом по-новому осмыслить историю этого периода и поставить вопросы, не привлекавшие внимание ученых, далеких от марксизма. Большинство проблем истории средних веков, выдвинувшихся на первый план к концу 60-х годов, были впервые поставлены еще в конце 30—50-х годах. Тогда же появился ряд ценных трудов. Конечно, по современным меркам кое-что в некоторых из них устарело, но многое сохраняет свое значение и сегодня. Гипотезы советских историков, выдвинутые в 50—60-е годы по ряду кардинальных вопросов медиевистики, тогда же оказали большое и во многом плодотворное влияние на эту область исследований в социалистических странах; в 70-е же и 80-е годы часть этих гипотез получила подтверждение и в работах западных историков, и не только марксистов (о ремесленном происхождении многих городов, о месте последних в феодальном обществе, о значительной роли классовой борьбы в его развитии, о классовом характере государств того времени, о наличии в

средние века особой народной культуры и др.). Возникшие в советской медиевистике дискуссии при всех своих недостатках даже в 30—50-е годы были вызваны потребностями живой развивающейся науки и ставили перед ней новые проблемы. В 60-е же годы в целом они приобрели более свободный, творческий характер, освободились от цитатной аргументации. Конечно, отдельные попытки командно-административного вмешательства в историческую науку делались и в эти годы, затрудняя ее развитие, но они были уже бессильны помешать более творческому подходу советских медиевистов к общетеоретическим положениям марксистского понимания истории, постепенному снятию некоторых сложившихся ранее догматических стереотипов.

Каким бы сложным и тернистым ни был ход развития советской медиевистики в 30—60-е годы, в конце этого периода она наметила пути для решения новых многочисленных задач, ставших перед ней в последующем.

- ¹ Полную библиографию работ советских медиевистов за эти годы см.: Средние века. М., 1959—1973. Вып. 15, 16, 20—22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. (Далее: СВ). См., также указатель и примечания к книге: *Вайнштейн О. Л.* История советской медиевистики (1917—1966 гг.). М., 1968.
- ² *Удальцов А. Д.* Из аграрной истории каролингской Фландрии. М.; Л., 1935.
- ³ *Грацианский Н. П.* Бургундская деревня в X—XII столетиях. М.; Л., 1935. Проявлением тех негативных явлений, о которых говорилось выше, явилось анонимное разное предисловие к этой книге, в котором она обвинялась в антимарксизме, буржуазных тенденциях и т. п.
- ⁴ *Грацианский Н. П.* О разделах земель у бургунов и вестготов // СВ. М., 1942. Вып. 1; *Он же.* Из социально-экономической истории средневековья. М., 1960.
- ⁵ *Косминский Е. А.* Английская деревня в XIII в. М.; Л., 1935.
- ⁶ Эти архивные материалы были изучены им в Лондонском публичном архиве в 1925—1926 гг.
- ⁷ По принятой до того время периодизации позднее средневековье охватывало XVI—XVIII вв. (до начала французской революции 1789 г.).
- ⁸ *Сказкин С. Д.* Февдист Эрве и его учение о цензиве // СВ. М., 1942. Вып. 1.
- ⁹ *Столицкая-Терешкович В. В.* Очерки социальной истории немецкого города в XIV—XV вв. М.; Л., 1936.
- ¹⁰ Отчет об этой дискуссии см.: Историк-марксист. 1940. № 6.
- ¹¹ *Поршнев Б. Ф.* Чем было третье «сословие» // Историк-марксист. 1940. № 2.
- ¹² *Сказкин С. Д.* Маркс и Энгельс о западноевропейском абсолютизме // Учен. зап. Моск. гор. пед. ин-та. 1941. № 3.
- ¹³ *Кудрявцев А. Е.* Испания в средние века. Л., 1937.
- ¹⁴ *Арский И. В.* Очерки по истории средневековой Каталонии до соединения с Арагоном (VIII—XII вв.). Л., 1941; и др.
- ¹⁵ *Шеголев П. П.* Очерки истории Западной Европы в XVI—XVIII вв. Л., 1938.
- ¹⁶ *Добиаш-Рождественская О. А.* История письма в средние века. М.; Л., 1936.
- ¹⁷ История средних веков. М., 1938. Т. 1; История средних веков. М., 1939. Т. 2. В авторский коллектив входили С. Д. Сказкин, М. П. Лесников, М. А. Гукровский, М. М. Смирин, А. Е. Кудрявцев, В. М. Лавровский, Я. Я. Зутис, В. В. Столицкая-Терешкович, Н. А. Смирнов.
- ¹⁸ *Вайнштейн О. Л.* Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней. М.; Л., 1940.
- ¹⁹ История дипломатии. М., 1941. Т. 1.
- ²⁰ Лит. газ. 1948, 8 сент.; Культура и жизнь. 1948. 21 сент.; Вопр. истории. 1948. № 1.
- ²¹ Всемирная история. М., 1957. Т. 3, 4.
- ²² *Неусыхин А. И.* Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956.

- ²⁴ *Neussychin A. J.* Die Entstehung der abhändigen Bauernschaft als Klasse der frühfeudalen Gesellschaft im West Europa vom 6. bis 8. Jahrhundert. В., 1961.
- ²⁴ *Неусыхин А. И.* Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964.
- ²⁵ См.: его опубликованный посмертно спецкурс, долгие годы читавшийся в МГУ «Очерки истории Германии в средние века» в кн.: *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. М., 1974.
- ²⁶ *Данилов А. И.* Немецкая деревня второй половины VIII — начала IX в. в бассейне нижнего течения Неккара // СВ. М., 1956. Вып. 8.
- ²⁷ *Мильская Л. Т.* Светская вотчина в Германии VIII—IX вв. и ее роль в закреплении крестьянства. М., 1957.
- ²⁸ См. его статьи: СВ. М., 1939. Вып. 1; М., 1946. Вып. 2; М., 1957. Вып. 10; М., 1959. Вып. 15; и др.
- ²⁹ *Корсунский А. Р.* Готская Испания. М., 1969.
- ³⁰ *Гуревич А. Я.* Английское крестьянство в X — начале XI в. // СВ. М., 1957. Вып. 9; *Соколова М. Н.* Свободная община и процесс закрепощения крестьян в Кенте и Уэссексе в VII—X вв. // Там же. М., 1955. Вып. 6; и др.
- ³¹ *Гуревич А. Я.* Свободное крестьянство в феодальной Норвегии. М., 1967.
- ³² Материалы сессии см.: СВ. М., 1968. Вып. 31. На ней выступили с докладами А. Д. Люблинская, М. Я. Сюзюмов, А. И. Неусыхин, А. Р. Корсунский, А. Я. Гуревич. По всем докладам велись оживленные прения, в которых приняли участие все ведущие медиевисты тех лет.
- ³³ *Косминский Е. А.* Исследования по аграрной истории Англии в XIII в. М., 1947; *Kosminsky E. A.* Studies of Agrarian History of England in the Thirteenth Century. Oxford, 1956.
- ³⁴ *Полянский Ф. Я.* О русских буржуазных историках английской деревни // Вопр. истории. 1949. № 3; *Мосина З. В., Лиллат А.* За высокий идейный и научный уровень: О журнале «Вопросы истории» // Культура и жизнь. 1949. № 11. 21 апр.
- ³⁵ *Косминский Е. А.* Вопросы аграрной истории Англии в XV в. // Вопр. истории. 1948. № 1; *Он же.* Были ли XIV и XV вв. временем упадка европейской экономики // Докл. сов. делегации на X Междунар. конгр. историков в Риме. М., 1955; и др.
- ³⁶ *Барг М. А.* О так называемом «кризисе феодализма» в XIV—XV вв. // Вопр. истории. 1960. № 8; и др.
- ³⁷ *Барг М. А.* Исследования по истории английского феодализма. М., 1962.
- ³⁸ Учен. зап. Иванов. пед. ин-та. Ист. науки. 1958. Т. 16.
- ³⁹ Там же. 1964. Т. 35.
- ⁴⁰ *Бессмертный Ю. Л.* Феодальная деревня и рынок в Западной Европе XII—XIII вв. М., 1969.
- ⁴¹ *Сказкин С. Д.* Исторические условия восстания Дольчино // Докл. сов. делегации на X Междунар. конгр. историков в Риме; и др.
- ⁴² *Котельникова Л. А.* Итальянское крестьянство и город: По материалам Северной и Средней Италии XI—XIV вв. М., 1967. Эта монография дважды издавалась в Италии.
- ⁴³ *Абрамсон М. Л.* Положение крестьянства и крестьянские движения в Южной Италии в XII—XIII вв. // СВ. М., 1951. Вып. 3; и др.
- ⁴⁴ *Мильская Л. Т.* Очерки из истории деревни в Каталонии X—XII вв. М., 1962.
- ⁴⁵ *Майер В. Е.* Имущественное положение крестьянства в Юго-Западной Германии на рубеже XIV—XV вв. // СВ. М., 1957. Вып. 28; и др.
- ⁴⁶ *Шушарин В. П.* Крестьянское восстание в Трансильвании 1437—1438 гг. М., 1963.
- ⁴⁷ *Сваанидзе А. А.* Особенности хозяйственной деятельности шведских бондов и их рыночные связи в XIV—XV вв. // СВ. М., 1965. Вып. 27.
- ⁴⁸ *Семенов В. Ф.* Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI в. М., 1949.
- ⁴⁹ Итоги исследований подведены в посмертно опубликованной книге: *Архангельский С. И.* Крестьянские движения в Англии 40—50-х годов XVII в., М., 1960.
- ⁵⁰ *Лавровский В. М.* Проблема исследования земельной собственности в Англии XVII—XVIII вв. М., 1958; *Он же.* Исследования по аграрной истории Англии XVII—XIX вв. М., 1966.

- ⁵¹ *Сапрыкин Ю. М.* Английская колонизация Ирландии в XVI — начале XVII в. М., 1958.
- ⁵² *Осипова Т. С.* Освободительная борьба ирландского народа против английской колонизации (вторая половина XVI — начало XVII в.). М., 1962.
- ⁵³ *Смирин М. М.* Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. М., 1952. Гл. 1; *Майер В. Е.* Уставы как источник по изучению положения крестьянства в Германии в конце XV — начале XVI в. // СВ. М., 1957. Вып. 8.
- ⁵⁴ *Чистозвонов А. Н.* Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958; и др.
- ⁵⁵ *Сказкин С. Д.* Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. М., 1968.
- ⁵⁶ Хотя отдельные положения этой обобщающей концепции С. Д. Сказкина впоследствии подвергались пересмотру, именно она легла в основу трехтомного коллективного труда «История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма», опубликованного в 1985—1986 гг.
- ⁵⁷ *Стоклицкая-Терешкович В. В.* Основные проблемы истории средневекового города (X—XV вв.). М., 1960.
- ⁵⁸ *Полянский Ф. Я.* Очерки социальной политики цехов в городах Западной Европы XIII—XV вв. М., 1952.
- ⁵⁹ *Левицкий Я. А.* Города и городское ремесло в Англии в X—XII вв. М., Л., 1960.
- ⁶⁰ В 60-е годы концепция Я. А. Левицкого стала известна на Западе в качестве «ремесленной теории» и побудила многих историков-немарксистов обратиться к изучению процесса отделения ремесла от аграрной сферы в ходе общественного разделения труда.
- ⁶¹ *Рутенбург В. И.* Очерки из истории раннего капитализма в Италии: Флорентийские компании. М., 1951.
- ⁶² *Рутенбург В. И.* Народные движения в городах Италии XIV — начала XV в. М.; Л., 1958.
- ⁶³ *Соколов Н. П.* Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963.
- ⁶⁴ *Левицкий Я. А.* Некоторые проблемы истории западноевропейского города периода развития феодализма // *Вопр. истории.* 1969. № 9.
- ⁶⁵ Отчасти подобная точка зрения отразилась в статье С. М. Стама «Движущие противоречия развития средневекового города» (*Вопр. истории.* 1965. № 7). Близкие позиции тогда занимал В. И. Рутенбург, отчасти А. А. Кириллова.
- ⁶⁶ В работах Ю. Л. Бессмертного, Л. А. Котельниковой, В. В. Самаркина, Е. В. Вернадской, Л. М. Брагиной, А. Я. Левицкого, А. А. Сванидзе.
- ⁶⁷ Материалы дискуссии см.: СВ. М., 1953. Вып. 4; М., 1954. Вып. 5; М., 1955. Вып. 6. Итоги дискуссии подводятся в последнем сборнике.
- ⁶⁸ *Чистозвонов А. Н.* Некоторые теоретические проблемы генезиса капитализма в европейских странах. М., 1966.
- ⁶⁹ *Колесницкий Н. Ф.* Исследование по истории феодального государства в Германии (IX — первая половина XII в.). М., 1959.
- ⁷⁰ *Данилов А. И.* К вопросу эволюции фогства как одной из форм права феодальной собственности // *Тр. Том. ун-та. Сер. ист.-филол.* 1948. Т. 103; и др.
- ⁷¹ *Корсунский А. Р.* Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963.
- ⁷² *Венкстери Л. В.* Идеи политической централизации в трактовке легистов начала XIV в. // *Учен. зап. Иванов. пед. ин-та.* 1957. Т. 11; *Денисова (Хачатурян) А. А.* Из истории политической борьбы во Франции в начале XIV в. // СВ. М., 1961. Вып. 20; *Маслов Р. А.* Борьба правительства Людовика XI за Прованс // *Учен. зап. Башк. ун-та.* 1963. Вып. 12. Сер. ист. наук. № 2; *Косминский Е. А.* О некоторых характерных чертах английского феодализма // СВ. М., 1960. Вып. 18; *Кузнецов Е. В.* Крестьяне и горожане в войне Алой и Белой Розы (1469—1470) // *Науч. докл. высш. шк. Ист. науки.* 1960. № 3; *Гуревич А. Я.* Свободное крестьянство и феодальное государство в Норвегии // СВ. М., 1961. Вып. 20; и др.
- ⁷³ *Гутнова Е. В.* Возникновение английского парламента: Из истории английского общества и государства в XIII в. М., 1960; *Она же.* Экономические и социальные предпосылки процесса государственной централизации Англии в XII—XIII вв. // СВ. 1957. Вып. 9; и др.

- ⁷⁴ *Смирин М. М.* Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. М., 1952.
- ⁷⁵ *Поршнев Б. Ф.* Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623—1648) — М., 1948; *Он же.* Феодализм и народные массы. М., 1964.
- ⁷⁶ *Сказкин С. Д.* Проблема абсолютизма в Западной Европе // Из истории средневековой Европы, X—XVII вв. М., 1957.
- ⁷⁷ *Люблинская А. Д.* Франция в начале XVII в. (1610—1620). М.; Л., 1969; *Она же.* Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.; Л., 1965.
- ⁷⁸ *Lublinskaja A. D.* French Absolutism: The crucial Phase, 1620—1629. Cambridge, 1968.
- ⁷⁹ *Самойло А. С.* Английские колонии в Северной Америке. М., 1963.
- ⁸⁰ *Штокмар В. В.* Очерки по истории Англии в XVI в. М., 1957; *Она же.* Экономическая политика английского абсолютизма. Л., 1962.
- ⁸¹ *Заборов М. А.* Крестовые походы. М., 1956; *Он же.* Папство и крестовые походы. М., 1960; и др.
- ⁸² *Жордания Г. Г.* Очерки по истории франко-русских отношений конца XVI и первой половины XVII в. Тбилиси, 1959. Ч. 1, 2; *Чистозвонов А. Н.* Английская политика по отношению к революционным Нидерландам, 1572—1585 // СВ. М., 1954. Вып. 5.
- ⁸³ *Вайнштейн О. Л.* Россия и Тридцатилетняя война. М.; Л., 1947; *Поршнев Б. Ф.* Московское государство и вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну // Ист. журн. 1945. № 8.
- ⁸⁴ Подробнее см.: *Гутнова Е. В.* Проблемы классовой борьбы западноевропейского крестьянства в период развитого феодализма в советской медиэвистике // История и историки, 1976. М., 1979.
- ⁸⁵ *Поршнев Б. Ф.* Народные движения во Франции перед Фрондой (1623—1648). М.; Л., 1948.
- ⁸⁶ *Дмитрев А. Д.* Движение багаудов // Вестн. древней истории. 1940. № 3; *Он же.* Восстание вестготов за Дунаем и революция рабов // Там же. 1950. № 1; и др.
- ⁸⁷ *Корсунский А. Р.* Проблема революционного перехода от рабовладельческого строя к феодализму в Западной Европе // Вопр. истории. 1964. № 5.
- ⁸⁸ *Поршнев Б. Ф.* Современный этап марксистско-ленинского учения о роли масс в буржуазных революциях // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. 1948. Т. 5, № 6; *Он же.* История средних веков и указание товарища Сталина «об основной черте феодального общества» // Там же. 1949. Т. 6, № 6; *Он же.* Формы и пути крестьянской борьбы против феодальной эксплуатации // Там же. 1950. Т. 7, № 3; *Он же.* Сущность феодального государства // Там же. № 5.
- ⁸⁹ См.: Вопр. истории. 1951. № 6; Изв. АН СССР. Сер. ист. и филол. наук. 1951. Т. 8, № 2; Вестн. МГУ. Сер. обществ. наук. 1951. № 4; *Косминский Е. А.* О проблеме классовой борьбы в эпоху феодализма: (По поводу статей Б. Ф. Поршнева) // Изв. АН СССР. Сер. ист. и филол. наук. 1951. Т. 8, № 3; *Бирюкович В. Н.* О некоторых вопросах развития феодального общества // Вопр. истории. 1952. № 2.
- ⁹⁰ *Поршнев Б. Ф.* Очерки политэкономии феодализма. М., 1956.
- ⁹¹ Уже после завершения дискуссии в редакционной статье журнала «Коммунист» (1953, № 2) позиция Б. Ф. Поршнева была признана ошибочной, после чего он согласился с этой оценкой в письме в редакцию журнала «Вопросы истории» (1953, № 4).
- ⁹² *Поршнев Б. Ф.* Феодализм и народные массы. М., 1964.
- ⁹³ *Любимов П. Я.* К вопросу о роли народных масс в истории // Вопр. истории. 1965. № 9; *Гулыга А. Б., Келле В. Ж.* Письмо в редакцию // Там же. 1966. № 5; *Голога А. И.* Рец. на кн.: Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы // Вопр. философии. 1965. № 5.
- ⁹⁴ *Porshnev V. F.* Les soulèvements populaires en France au XVII siècle. P., 1963.
- ⁹⁵ *Чистозвонов А. Н.* Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958.
- ⁹⁶ Английская буржуазная революция / Под ред. Е. А. Косминского, Я. А. Левицкого. М., 1951. Т. 1, 2; *Барг М. А.* Кромвель и его время. М., 1950; *Лавровский В. М., Барг М. А.* Английская революция в XVII в. М., 1958; *Барг М. А.* Народные низы в английской буржуазной революции XVII в. М., 1967.

- ⁹⁷ *Смирин М. М.* Народная реформация Т. Мюнцера и Крестьянская война в Германии. М., 1947, 2-е изд. М., 1957.
- ⁹⁸ *Смирин М. М.* К истории раннего капитализма в германских землях. М., 1969.
- ⁹⁹ Эта точка зрения М. М. Смирин, так же как и его оценка Реформации и Крестьянской войны в Германии, подкреплялась многочисленными исследованиями историков ГДР, но оспаривалась большинством ученых ФРГ.
- ¹⁰⁰ *Гутнова Е. В.* Некоторые проблемы идеологии крестьянства эпохи средневековья // *Вопр. истории.* 1966. № 4.
- ¹⁰¹ *Гуковский М. А.* Итальянское Возрождение. Л., 1947—1961. Т. 1, 2.
- ¹⁰² *Штекли А. Э.* Кампанелла. М., 1959; *Он же.* Томас Мюнцер. М., 1961; *Он же.* Джордано Бруно. М., 1964.
- ¹⁰³ *Сказкин С. Д.* К вопросу о методологии истории Возрождения и гуманизма // *СВ. М.*, 1958. Вып. 11. Материалы этой дискуссии см.: *Вопр. истории.* 1956. № 2.
- ¹⁰⁴ *Чистозонов А. Н.* Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. М., 1964.
- ¹⁰⁵ *Гуревич А. Я.* Некоторые аспекты изучения социальной истории: (Общественно-политическая психология) // *Вопр. истории.* 1964. № 10; *Поршнев Б. Ф.* Социальная психология и история. М., 1966.
- ¹⁰⁶ Вышел в трех томах в 1985—1986 гг.
- ¹⁰⁷ *История средних веков* / Под ред. Е. А. Косминского, С. Д. Сказкина. М., 1952. Т. 1; Т. 2 / Под ред. С. Д. Сказкина и др. М., 1954.
- ¹⁰⁸ *История средних веков* / Ред. кол. М. А. Абрамсон и др. М., 1964.
- ¹⁰⁹ *История средних веков* / Под ред. С. Д. Сказкина и др. М., 1966. Т. 1; Т. 2.
- ¹¹⁰ Вышел двумя изданиями в 1949 и 1951 гг.
- ¹¹¹ *Хрестоматия по истории средних веков* / Под ред. Н. П. Грацианского, С. Д. Сказкина. М., 1949. Т. 1; М., 1950. Т. 2; М., 1950. Т. 3.
- ¹¹² *Хрестоматия по истории средних веков* / Под общ. ред. С. Д. Сказкина. М., 1961. Т. 1. / Под ред. Л. В. Симоновской, М. А. Барга. М., 1961. Т. 2 / Под ред. Л. В. Симоновской и др. М., 1963.
- ¹¹³ *Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы* / Под ред. В. И. Корецкого. М., 1961.
- ¹¹⁴ *Книга для чтения по истории средних веков* // Под ред. С. Д. Сказкина. М., 1940. Ч. 1; М., 1951. Ч. 2; М., 1953. Ч. 3.
- ¹¹⁵ В ходе этой кампании О. Л. Вайнштейн был снят с заведования кафедрой истории средних веков истфака ЛГУ и на несколько лет отправлен преподавать в Ташкент.
- ¹¹⁶ *Аллатов М. А.* Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в. М., 1949. ¹¹⁷ СВ. М., 1955. Вып. 6.
- ¹¹⁸ *Косминский Е. А.* Историография средних веков V в.—середины XIX в.: Лекции / Под ред. С. Д. Сказкина и др. М., 1963.
- ¹¹⁹ *Данилов А. И.* Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX в. М., 1958.
- ¹²⁰ См. его историографические статьи в книге: *Косминский Е. А.* Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963.
- ¹²¹ До 1967 г. вышло пять сборников.
- ¹²² В настоящее время в нашей литературе понятие «общего кризиса» буржуазной историографии ставится под сомнение. Оспаривается суждение о том, что он охватил всю немарксистскую историографию в целом, вел ее только к реакции и полной деградации, оказался перманентным и продолжается до наших дней. Вопрос этот, впрочем, требует дальнейшего специального изучения.
- ¹²³ *Люблинская А. Д.* Латинская палеография. М., 1969.
- ¹²⁴ *Люблинская А. Д.* Источниковедение истории средних веков. Л., 1955.
- ¹²⁵ *Салическая правда* / Пер. Н. П. Грацианского; Под ред. В. Ф. Семенова // *Ученые зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина.* 1950. Т. 12.
- ¹²⁶ *Регистры ремесел и торговли города Парижа* / Пер. Л. И. Киселевой с предисл. А. Д. Люблинской // СВ. М., 1957. Вып. 10.
- ¹²⁷ *Абеляр Петр.* История моих бедствий // Изд. подг. Д. А. Дрбоглав и др.; Отв. ред. Н. А. Сидорова. М., 1959.
- ¹²⁸ См.: СВ. М., 1961. Вып. 19; М., 1961. Вып. 20; М., 1963. Вып. 24; М., 1965. Вып. 27; М., 1965. Вып. 28; М., 1967. Вып. 30; М., 1968. Вып. 31.
- ¹²⁹ *Отчеты о проблемах медиевистики на этих конгрессах см.:* СВ. М., 1956. Вып. 7; М., 1961. Вып. 20; М., 1967. Вып. 30.

ДИСКУССИЯ О «НАРОДНОЙ ВОЛЕ» В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ КОНЦА 1920-х — НАЧАЛА 1930-х ГОДОВ

А.И. Алаторцева

«В хорошо организованном споре рождается истина», — любил повторять И. А. Теодорович, один из участников и историков революционного движения России. В этом крылатом выражении была заключена специфическая черта новой науки, формирование которой началось после победы Великой Октябрьской социалистической революции и которая характеризовалась огромной ролью дискуссий в познании закономерностей исторического процесса, в выработке его материалистического понимания.

Дискуссия — это поиск истины, столкновение позиций, борьба мировоззрений. Дискуссия — это показатель степени демократизации общества. Вот почему наше время подъема общественного сознания отмечено бурным возрождением столь важной формы научного творчества и пристальным вниманием к идейным спорам 20-х годов. Последнее обстоятельство обусловлено и стремлением извлечь опыт прошлого для настоящего (и будущего) и желанием понять особенности становления советской исторической науки.

Отсюда интерес прежде всего к теоретико-методологическим аспектам ряда проблем, к числу которых относится освободительное движение России, его этапы, классовое содержание, организации и т. д. Особенно широкий размах носили споры о значении партии «Народная воля» (1879—1881 гг.).

Советская историография имеет, как известно, традиции в изучении указанной дискуссии. Оно велось (и ведется) главным образом в рамках истории революционного народничества¹. Наряду с этим наметились подходы к выявлению вклада дискуссии в историю самой исторической науки².

Цель данной статьи — дальнейшее углубленное исследование дискуссии о «Народной воле» в контексте общественно-политической и научной обстановки тех лет на основе не только новых (извлеченных главным образом из архивов), но и ранее не использованных, не принятых во внимание, преданных забвению фактов. Такой ракурс позволит уточнить хронологические рамки споров, проанализировать соотношение политических и научных задач, которые стояли перед участниками обсуждения, проследить тенденцию дальнейшей политизации советской исторической науки.

Несколько общих замечаний. Становление марксистской науки включало утверждение в ней материалистического понимания всемирно-исторического процесса, изучение которого в 20-х — первой половине 30-х годов шло выборочно. Внимание историков привлекали события революционного характера, в ряду которых цен-

тральное место отводилось истории революционного движения XIX — начала XX в. в России. При этом отличительной чертой явилось то, что формирование проблематики шло параллельно с накоплением источникового материала. Методологически важным было и то, что история революционного движения рассматривалась в тесной связи с историей Коммунистической партии, а потому главное внимание было обращено на пролетарский этап революционного движения. Предыдущие рассматривались как предыстория.

Буржуазная наука, изучая общественное движение, накопила большой фактический материал, сформулировала принципы изучения, имела прочные традиции в освещении общественного движения. Историки-марксисты осознавали необходимость преодоления буржуазных и мелкобуржуазных (главным образом народнических) традиций в оценке значения российского революционного движения.

Сторонники одной из них (к их числу принадлежали М. Н. Покровский, В. И. Невский, Н. Н. Батулин, М. С. Ольминский, Б. М. Ярославский) недооценивали революционность декабристов, народников 70-х годов, группы «Освобождение труда», подчеркивали их либеральный характер. Сторонники другой чрезмерно преувеличивали их роль, видели в них прямых предшественников социал-демократии и большевиков (к числу таких относились С. И. Мицкевич, И. И. Скворцов-Степанов, Ю. М. Стеклов, И. А. Теодорович, Д. Б. Рязанов). Наличие указанных точек зрения, а также необходимость борьбы с буржуазными и мелкобуржуазными трактовками российского революционного движения и вызывали споры и полемику.

В центре всех этих дискуссий стояла проблема «наследства» революционного прошлого. Вот почему, обращаясь к дискуссии о «Народной воле», необходимо рассматривать ее в органической связи с дискуссиями о декабристах, Н. Г. Чернышевском, М. А. Бакунине, П. Н. Ткачеве, С. Г. Нечаеве, Г. В. Плеханове. Выбор этих узловых моментов истории революционного движения был обусловлен не только научными интересами, но и практикой общественно-политического развития общества. Своеобразными вехами изучения событий революционного движения были юбилеи памятных дат, которые стали смотрами состояния разработанности проблемы, выявляли потребности в формировании и расширении источниковой базы, уточнении тематики, привлечении кадров, определении перспектив, пропаганде исторических знаний. Характерно, что каждый юбилей сопровождался дискуссиями. Не составил исключения и 50-летний юбилей партии «Народная воля». Более того, как писала М. В. Нечкина, дискуссия о «Народной воле» «далеко предвосхитила своим размахом последующие дискуссии»³.

Дискуссию датируют в нашей историографии 1929—1930 гг. Это правомерно, если говорить о наивысшем этапе ее развития, о пике. Изучение обстоятельств появления дискуссии, ее хода

позволяет сделать вывод о важности ее предыстории. Это не просто расширяет границы дискуссии, включает большее число участников, уточняет характер дискутируемых вопросов, но и дает возможность более полно проследить ее влияние на последующую судьбу проблемы народовольчества и народничества в советской историографии, ответить на поставленный в ней вопрос, почему логическим завершением дискуссии не стало монографическое решение выдвинутых в процессе ее проблем...

Рамки статьи не позволяют даже бегло охарактеризовать все то богатство мемуарного и документального материала, накопление которого стало возможно в условиях победы Великого Октября, когда были открыты архивы, созданы исторические учреждения и журналы, обратившиеся к исследованию революционной тематики, скоординированы усилия не только исследователей, но и бывших участников народнического движения. Огромную роль в изучении и пропаганде революционных традиций отечественной истории сыграло Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев и его журнал «Каторга и ссылка». Активные участники народнического движения — В. Н. Фигнер, Н. А. Морозов, А. В. Якимова-Диковская, М. Ф. Фроленко, А. П. Прибылева-Корба, А. В. Прибылев и др. — не только выступили с воспоминаниями о прошлых событиях и людях «героической поры», но объединили вокруг себя профессиональных историков, в том числе молодежь, и совместными усилиями развернули колоссальную работу по созданию истории революционного движения России, в том числе и «Народной воли».

В 1925 г. в преддверии 45-летия событий 1 марта 1881 г. по инициативе редколлегии журнала «Каторга и ссылка» было созвано совещание участников народовольческого движения, явившееся толчком для создания в Обществе бывших политкаторжан кружка народовольцев⁴. Этот кружок в течение 1925—1928 гг. провел 100 заседаний, материалы которых публиковались как в журнале, так и в виде отдельных сборников. Еще более обширная программа была составлена в связи с предстоящим 50-летием «Народной воли»⁵. Она включала всемерное развертывание лекционной, пропагандистской и научной работы, выпуск серии изданий документов и воспоминаний о «Народной воле», ее деятелях, журналистике. Был объявлен конкурс написание картин: Заседание Липецкого съезда, покушение на Александра II 1 марта 1881 г. и казнь первоапрельцев. Была создана специальная комиссия по организации юбилея, в отделения Общества направлены письма с рекомендациями придать юбилею возможно более широкое общественно-политическое звучание, ознаменовать изучением важнейших этапов деятельности «Народной воли» и народовольцев, подготовить юбилейные номера журналов и т. д. В этом документе были определены хронологические границы юбилея: его предполагалось начать в конце августа, наиболее важные заседания, в том числе юбилейное заседание пленума Центрального совета общества, намечались на конец декабря 1929 г.,

юбилей должен был продлиться до 1931 г. Таким образом, охватывался период от Липецкого съезда (начальная дата «Народной воли») до событий 1 марта 1881 г.

Инициатива Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев была одобрена ЦК ВКП(б) и оформлена в виде постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 30 августа 1929 г. Проведение юбилея возлагалось на комитет, в который должны были войти представители Общества бывших политкаторжан, Комакадемии и Института В. И. Ленина, а именно М. Н. Покровский (председатель), Н. И. Бухарин, А. С. Енукидзе, А. В. Якимова-Диковская, В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко, А. В. Прибылева, Н. А. Морозов, Ф. Я. Кон, И. А. Теодорович, Е. М. Ярославский, Д. Б. Рязанов, Н. К. Крупская, М. С. Ольминский, М. А. Савельев, А. И. Криницкий, А. П. Смирнов, М. А. Брагинский, М. П. Шебалин, А. А. Биценко. Вскоре состоялись заседания совета Общества историков-марксистов и дирекции Института В. И. Ленина, которые делегировали в комитет своих представителей: Б. И. Горева, В. И. Невского, В. Ф. Малаховского (от ОИМ), В. В. Адоратского, Д. Я. Кина, Э. Я. Газганова (от института)⁶. Как видно из состава комитета, юбилей должен был носить широкий представительный характер, объединить как ветеранов народнического и социал-демократического движения, так и историков-профессионалов. В подготовке юбилея участвовал Ем. Ярославский, который имел отношение к разработке программы юбилея, осуществлял связь Общества бывших политкаторжан (а именно там была сосредоточена основная работа) и комитета с директивными органами⁷.

Однако не все ветераны революционного движения положительно отнеслись к предстоящему юбилею. Свой пространный отказ участвовать в работе комитета прислал М. С. Ольминский. В письме в дирекцию Института В. И. Ленина от 25 сентября 1929 г. (под письмом дата: 25 сентября. 12-й год революции) он возражал против празднования 50-летия «Народной воли», мотивируя это тем, что оно будет «на руку сторонникам меньшевизма и эсеров (вплоть до возрождения террористической деятельности среди интеллигенции и кулачества с благословения нечаевщины)»⁸. Указывая на мелкобуржуазный характер народовольческой организации (по его мнению, чуждый), он делал вывод, что политика эсеров и «плехановцев» в 1917 г. «логически вытекала из позиций народников 70-х годов». Единственное, что М. С. Ольминский признавал положительным в деятельности «Народной воли», — «чистоту их нравственных побуждений». Это выступление показательное для понимания научной и общественной атмосферы и свидетельствовало о преобладании политических (а не научных) оценок сложных явлений исторического прошлого. М. С. Ольминский не являлся каким-то исключением: историк тех лет стремился связать изучение исторических проблем с задачами сегодняшнего дня, придать своим выступлениям актуальный характер, что в ряде случаев вело к вульгаризации, упрощенчеству, неисторизму и модернизации. Все эти

явления нашли свое место в дискуссии о «Народной воле», были усилены привходящими обстоятельствами, о которых разговор ниже.

Юбилей тем временем набирал силу: к празднованию подключились многочисленные научные учреждения страны. 30 декабря в Ленинграде состоялось торжественное заседание, в почетный президиум которого были избраны И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, В. Н. Фигнер и Н. К. Крупская. С докладом о значении партии «Народная воля» выступил один из соратников В. И. Ленина, в прошлом участник народнического и социал-демократического движения И. А. Теодорович⁹. Докладчик поставил вопросы: почему страна празднует юбилей «Народной воли», воздавая должное «маленькой партии, не поднявшей массы на борьбу, партии, раздавленной своим врагом» (царизмом), и каково наследство, оставленное «великой партией Народной воли», что в этом наследстве «исторически ценного, важного», что «будило в свое время и толкало вперед сознание масс»?

И. А. Теодорович подытожил организационный и тактический опыт народовольцев, проанализировал их теоретические представления. Многие положения этого доклада совпадали с положениями опубликованной в юбилейном номере журнала «Каторга и ссылка» статьи Теодоровича «Историческое значение партии „Народная воля“». Она и послужила началом обширной дискуссии¹⁰.

Обратив внимание на неизученность ряда принципиальных вопросов народничества и народовольчества, Теодорович сделал попытку (одну из немногих попыток в историографии) выявить роль и место их в русском революционном движении. Статья была написана на основе работ К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, а также программных документов «Народной воли», журналистики революционного подполья и мемуаров. Отталкиваясь от высказываний классиков марксизма-ленинизма (которые в таком объеме были использованы впервые), Теодорович отвергал «веховскую» интерпретацию народовольцев как узкоинтеллигентской организации, не имевших корней в русском освободительном движении. С этих позиций он обличал меньшевистскую концепцию народничества и народовольчества, которая отрицала их революционно-демократическое содержание. Автор критиковал взгляды эсеров, которые считали себя продолжателями дела народников и идеализировали их. Пафос его статьи был обращен против народнических, а также плехановских тенденций в историографии. Большой критический заряд был направлен против точки зрения М. Н. Покровского, которую он оценивал как ничего не имеющую общего с ленинской.

И. А. Теодорович остановился на рассмотрении вопроса о генезисе «Народной воли», теоретическом и программном ее обосновании, классовой принадлежности, отношении к пролетариату, неоднородности течения и т. д.

Наряду с сильными сторонами позиция И. А. Теодоровича

имела и слабые стороны. Игнорирование социально-экономических основ народничества в целом, некритическое отношение к программным документам народовольцев привели автора к убеждению, что революционное народничество и народовольцы — это «прямые предшественники большевизма», что многие задачи пролетарской революции (слово государственного аппарата после взятия власти, возвращение элементов социалистической экономики, необходимость переходного периода и др.) якобы уже «нащупаны» народовольцами¹¹. По мнению автора, в теоретических установках «Народной воли» были заложены в «зародышевой форме» многие положения марксизма-ленинизма. В качестве связующего звена между ним и народничеством Теодорович выдвигал понятия «пролетарий-отец» и «пролетарий-сын». Историческое значение «Народной воли» он видел в организации крестьянства для «единой мировой социалистической революции», в накоплении громадного политического, тактического и организационного опыта, который якобы умело использовал марксизм. В стремлении рассмотреть проблемы революционного прошлого с точки зрения созвучия их текущим событиям своего времени и обосновать закономерность появления в России большевизма и его генетическую связь с предшествовавшим революционным движением он сближает народовольчество с научным социализмом. Подобная концепция вызвала возражения со стороны историков.

Первым в дискуссию включился критико-библиографический журнал «Книга и революция», опубликовав обзор марксистской литературы Э. Б. Генкиной и статью М. А. Поташа «К вопросу об оценке народовольчества»¹². В центре внимания участников дискуссии стал вопрос о революционных традициях и идейных предшественниках российской социал-демократии, о «наследстве». Они видели «наследство» народовольцев не в их теории социализма, а в области демократических требований и борьбе с крепостничеством. Этот вывод лейтмотивом пройдет через всю дискуссию, и (что характерно) для его обоснования будет привлекаться все большее число ленинских работ¹³, в то время как круг исторических источников останется весьма узким.

Если проанализировать выступления участников дискуссии, то это (за небольшим исключением) какая-то дуэль на цитатах, стрельба, фейерверк: одна цитата сменяет другую, перетекает в нее, дополняется, уточняется и т. д. Каждый черпал в ленинских работах аргументы для своих рассуждений, порой приспособившая цитаты к своим схемам. Шел процесс освоения ленинских идей (своего рода распространение ленинских идей «вширь»), который приобрел массовый характер и сопровождался издержками роста. Но были и другие обстоятельства, которые закрепляли подобный метод дискуссий, не оставляя возможности для собственных размышлений. В этом плане дискуссия о «Народной воле» первая, которая в полной мере испытала давление факторов общественно-политической жизни конца 20-х — начала 30-х годов.

Можно буквально по месяцам проследить, как менялся ха-

рактик обсуждения, как научная критика сменилась проработками, а объективные оценки отступили перед ярлыками. В дискуссию оказались втянуты журналы, газеты, исторические учреждения, директивные органы. Статьи, доклады, письма, докладные, резолюции, даже монографии были вызваны к жизни дискуссионными страстями. И везде повторялось прежде всего и главным образом имя Теодоровича. «В самом деле, кто же теперь говорит о Народной Воле? — вопрошал в разгар дискуссии М. Н. Покровский. — Все говорят о т. Теодоровиче. Но ведь не его же юбилей справляется. Крайне редкий и, конечно, нежелательный случай — фигура одного из „приветствующих“ заслонила юбиляра»¹⁴. Кто же он? В наше время мало кто знает это имя, его работы о нэпе оказались забытыми, судьба трагической (в 1937 г. необоснованно репрессирован).

Биография Ивана Адольфовича Теодоровича во многом схожа с биографиями многих и многих участников революционного движения, стоявших у истоков создания Коммунистической партии, — тюрьмы, аресты, ссылки, эмиграция. В социал-демократическом движении с 1895 г., с 1907 г. — член, а с 1917 г. — кандидат в члены ЦК. После победы Октябрьского вооруженного восстания входил в первое Советское правительство. В. И. Ленин ценил его, считал одним из образованнейших членов партии. Действительно, страницы его работ отражают образ человека эрудированного, остроумного, темпераментного, волевого, убежденного коммуниста. Он пользовался большим авторитетом в партии, члены Общества бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев оказали ему доверие, избрав в руководство. С осени 1929 г. он возглавил журнал общества «Каторга и ссылка»¹⁵, в течение ряда лет — директор Аграрного института Комакадемии, член ее Президиума.

Судя по работам Теодоровича, он был горячим сторонником ленинского кооперативного плана и стремился провести его в жизнь, будучи в 1923—1927 гг. председателем Земплана Наркомзема РСФСР. В начале 1928 г. он был снят с этой должности, по его выражению, «получил предостережение от партии»¹⁶. Причина заключалась в его несогласии с линией И. Сталина по вопросу о введении чрезвычайных мер в ходе кризиса хлебозаготовок. Недолгим было и пребывание Теодоровича на посту генерального секретаря Крестинтерна. В связи с шахтинским делом, расправой с буржуазными специалистами, а затем и борьбой с правыми И. А. Теодорович осенью 1929 г. подвергся уничтожающей критике на страницах «Правды» в статье под громким названием «Против буржуазной идеологии. Против укрывательства кондратьевщины» (автор Г. Боярский). Теодорович был обвинен в том, что якобы не разделяет генеральную линию партии в крестьянском вопросе, а рядколлегия, в свою очередь, инкриминировала ему «непонимание кооперативного плана Ленина», «нечеткое отмежевание» от Кондратьева и др.¹⁷ В такой обстановке появилась статья Теодоровича о «Народной воле» и началась дискуссия. И если статья Боярского была опубликована в разгар ноябрьского пленума ЦК ВКП(б), то

первые статьи с политической оценкой концепции И. А. Теодоровича о «Народной воле» появились в «Правде» и «Известиях» в конце 1929 — начале 1930 г. вслед за конференцией аграрников-марксистов, на которой Сталин, в частности, поставил задачу «выкорчевывания» буржуазных теорий¹⁸. Сталинские идеи нашли свое полное воплощение в резолюции конференции, которая высказалась за решительную борьбу «за выкорчевывание всех остатков неонароднической идеологии» (Чаянов, Челинцев), за «беспощадный разгром всех реакционных буржуазных теорий» (Кондратьев), за «неослабную борьбу с идеологией правого уклона» (Бухарин), который был назван на данном этапе «главной опасностью»¹⁹. Статьи В. Ф. Малаховского, И. Л. Татарова, П. О. Горина несли отпечаток сложившейся идеологической ситуации: И. А. Теодорович как историк был отнесен к тем из них, кто пытался обосновать взгляды, «чуждые современному курсу партии», и создать концепцию, «чуждую марксизму»; его оценка значения «Народной воли» была расценена как попытка воскрешения неонародничества, как идеализация мелкого товаропроизводителя и «домарковского социализма», ему было приписано «родство» с буржуазной концепцией Кондратьева²⁰.

Авторы статей ставили вопрос о том, что нужно считать «наследством», вошедшим в арсенал большевизма, — социалистические принципы «Народной воли» или ее революционно-демократическую борьбу против самодержавия, и справедливо упрекали Теодоровича в модернизации. Надо сказать, что на первых порах редколлегия «Правды» и «Известий» не безоговорочно поддержали критику в адрес Теодоровича, более того, отметили его заслуги в критике плехановской концепции народничества. Было высказано предложение перенести дискуссию в научные журналы.

Центральным событием дискуссии стало обсуждение проблемы «Народной воли» и народничества в Обществе историков-марксистов на открытых заседаниях Секции истории ВКП(б) и ленинизма 16 и 25 января и 4 февраля 1930 г.²¹ Весьма представительным был состав участников — историки старшего поколения, участники революционного движения (В. И. Невский, И. А. Теодорович, С. И. Мицкевич, М. А. Савельев, Е. М. Ярославский, В. Ф. Малаховский), среднее поколение, чья научная деятельность совпала с Октябрьской революцией (П. О. Горин, Г. С. Фридлянд, М. А. Поташ, А. Ф. Рындич, Э. Я. Газганов, Э. Б. Генкина, И. Л. Татаров, М. С. Югов), научная молодежь. Последняя хотя и не выступала, но своими репликами создавала воинственную атмосферу в зале, живо реагируя на позицию очередного оратора. Что показательно, обсуждение шло среди историков-марксистов, в дискуссии не участвовали историки немарксистского направления, не было среди приглашенных и бывших участников народнических организаций. Это свидетельствовало об усилении сектантских настроений в среде советских историков.

Три доклада — В. И. Невского, И. А. Теодоровича и И. Л. Татарова — отразили три точки зрения на народничество. Теодорович выступил с защитой положений, выдвинутых им в статьях

и докладах, и в целом остался на прежних позициях (некоторые изменения им были внесены в оценку классовой базы народничества, он отказался от тезиса о «пролетарском социализме» народовольцев). Невский склонился к трактовке революционных народников как либералов, что было довольно распространенным среди той части историков, которая некритически восприняла плехановскую концепцию. Позиция Татарова была наиболее близкой к ленинскому пониманию народничества.

Внимание выступавших было сосредоточено на ленинских оценках идеологии «Народной воли» как теории крестьянского социализма, на выявлении классового состава народовольцев, этапов движения. Продолжая ленинскую критику, советские историки отвергали существовавшие в прошлом и настоящем утверждения меньшевистских идеологов о том, что большевизм якобы не имеет ничего общего с марксизмом и «заимствовал» свои идеи у народников. Критически была воспринята и эсеровская концепция, для которой было характерно затушевывание классовой основы движения народников. Историки выступили против отождествления взглядов В. И. Ленина и Г. В. Плеханова на народничество. Обсуждение на ограничилось вопросом об историческом значении партии «Народная воля», а поставило проблему «идейного наследства» большевизма, корней ленинизма. Не случайно подчеркивалась связь этой дискуссии с предшествующими: о русских «якобинцах» (1923 г.), Н. Г. Чернышевском (1928 г.), М. А. Бакуanine (1926 г.). Во всех случаях шел спор о взаимоотношении крестьянства и пролетарской революции.

Обсуждение историками комплекса важнейших проблем российского революционного движения свидетельствовало об определенном этапе в освоении ленинского теоретического наследства, в то же время подводило к мысли о необходимости дальнейшего изучения конкретной истории народничества, накопления фактов, привлечения источников. Именно дискуссия открывала возможность творческого использования знаний, могла помочь коллективной выработке научных идей. Процесс освоения научной концепции, естественно, должен был сопровождаться поиском истины, предполагал наличие различных подходов, был не застрахован от ошибок. Однако в условиях укрепления авторитарной системы, сосредоточения власти в руках группы лиц формировалась обстановка нетерпимости во всех сферах духовной жизни и в науке. Именно такая обстановка стала складываться в исторической науке с конца 20-х годов. Под предлогом борьбы с буржуазной идеологией и уклонами внутри партии утверждалось стремление к выработке единственной точки зрения, а всякое отклонение от нее квалифицировалось как враждебное, носящее политический характер. Тому ярчайшее подтверждение — обстановка, в которой проходило обсуждение проблем «Народной воли» в Обществе историков-марксистов.

По существу, в критике «потонуло» все то положительное,

что было в работах Теодоровича: предпринятое впервые в историографии широкое обращение к трудам классиков марксизма-ленинизма, постановка вопроса о соотношении утопического социализма и народовольческой идеологии, об эволюции народничества и народовольчества, об участии народовольцев в первых рабочих кружках. Остро критически была воспринята попытка Теодоровича указать на различия в понимании Лениным и Плехановым сущности народничества и народовольцев (часть историков весьма однозначно оценивала Г. В. Плеханова и его общетеоретический анализ народничества, без учета политических выводов). Но особенно неприязненно была встречена критика в адрес М. Н. Покровского, считавшего, что народовольчество вообще не несло в себе социалистических элементов, что народовольцы были либералы «с бомбой». В защите взглядов М. Н. Покровского, противоречащих ленинским положениям и отличавшихся известной вульгаризацией, его ученики (даже те, кто обнаружили знание ленинских взглядов) проявили полную необъективность и желание во что бы то ни стало отстоять свои групповые интересы, не останавливаясь перед искажениями аргументов оппонентов, замалчиванием недостатков или напротив напористо вносящая, что критика в адрес Покровского тождественна критике в адрес Ленина (ввиду полного «совпадения» их позиций).

Грубые выпады, стремление любой ценой доказать немарксистский характер точки зрения И. А. Теодоровича (и поддержавших его С. И. Мицкевича и А. Ф. Рындича) побудили его после окончания дискуссии обратиться с письмом к членам Политбюро, в котором он отмечал необоснованные обвинения в ревизии ленинизма²². Действительно, заключая дискуссию, М. А. Савельев остановился на политических ее итогах, главным из которых считал решительное «отмежевание от попытки ревизии Ленина», которая, по его мнению, была дана Теодоровичем, Мицкевичем и Рындичем. Несомненно, делал вывод Савельев, подобные попытки ревизии «протягивают нити к реставрации неонароднических идей», недооценке кулачества, роли диктатуры пролетариата, генеральной линии партии²³. Более развернутые оценки дискуссии было решено дать в резолюции.

Вслед за дискуссией в Обществе состоялось Всесоюзное совещание преподавателей по истории партии, ленинизму и истории Коминтерна (февраль 1930 г.). И докладчики (Ем. Ярославский, Д. Я. Кин) и выступавшие в прениях (в том числе и Теодорович) вновь продолжили обсуждение проблемы «Народной воли». И опять в резолюции отмечалось стремление Теодоровича «к идеализации роли народничества», которая в современных условиях приводит «к идеализации роли мелкого производителя»²⁴. Такая немаловажная деталь — отныне вся проработанная кампания сосредоточилась вокруг имени только Теодоровича.

Тучи сгущались. Обвинения усиливались. В этих условиях в защиту Теодоровича был поднят только один голос — Е. М.

Ярославского. Надо сказать, что и во время обсуждений в Обществе его выступление было наиболее объективным, содержало перечень как положительных сторон работ Теодоровича, так и ошибочных. Основные идеи его были опубликованы им в статьях газеты «Правда»²⁵, затем развиты и дополнены в журнале «Большевик»²⁶. Весьма характерно, что в этом же номере было дано письмо И. А. Теодоровича «Надо рассеять недоразумение» (отклик на критику Ярославского), которое увидело свет только по настоянию Ярославского, о чем свидетельствовало его письмо в редколлегия²⁷.

Воздавая должное эрудиции Ярославского, Теодорович не согласился с ним ни по одному пункту критических замечаний. «Прямо горько слышать от Ярославского», писал Теодорович, что я якобы «смазал принципиальную разницу» между политической программой, которая была у партии «Народная воля», и взглядами большевизма.

Нет, отвечал Ярославский, нельзя проводить аналогии между политической программой «Народной воли» и большевизмом, нельзя увлекаться внешним сходством, забывать о совершенно иной обстановке, о принципиально иной постановке этих вопросов в различные эпохи. Требуя серьезного разбора ошибок Теодоровича, он справедливо писал, что критика игнорировала положительные стороны концепции. Но больше всего Ярославский выступал против характеристики Теодоровича как ревизиониста, «чуть ли не как правого оппортуниста» («против этого мы решительно возражаем»)²⁸.

Анализируя уроки дискуссии, Ярославский отмечал опасность для науки такого положения, когда та или иная «группа товарищей» объявляет ревизией все то, что не укладывается «в ее схему». Призывая активнее включиться в дискуссию исторические журналы, он надеялся на их объективность, протестовал против «приклеивания друг другу неподходящих ярлыков» (сам он в это время тоже оказался под обстрелом в связи с дискуссией по проблемам революции 1905—1907 гг.). Приглашая к дальнейшему обсуждению вопроса о значении «Народной воли» и ее борьбы «для последующих поколений революционеров», а также к выявлению принципиального отличия марксистской теории от народнической, Ярославский возражал против сосредоточения критики только против Теодоровича, против сведения всего спора к его ошибкам.

Отстаивая свою позицию, Ем. Ярославский обратился за поддержкой к М. Н. Покровскому. Письмо не сохранилось, но суть его очевидна из ответного письма Покровского от 27 февраля 1930 г.²⁹ Это весьма интересный документ эпохи. Вот его начало: «Дорогой товарищ Емельян! Тов. Теодоровича никто не «калечит». Его «прорабатывают», как «прорабатывали» в «Большевике» меня в 1924 г., как «прорабатывали» меня с тех пор в Институте красной профессуры, как «прорабатывали» меня в Обществе историков-марксистов (дискуссия о Чернышевском

и в последний раз по поводу книги Дубровского)»³⁰. «В своих ошибках, — продолжал Покровский, — я каялся очень охотно — никогда не изображая собой непогрешимого папу». Именно этого и ждали от Теодоровича. По мнению Покровского, тот отстаивал неправильную точку зрения, «неправильность его позиции бьет в глаза — а никаких с его стороны уступок не видать (понятие «самокритика» ему совершенно чуждо)³¹; он упорно выдает эсеровскую концепцию, так хорошо памятную мне еще по дискуссии 1905 г., за ленинскую».

Но Теодорович не желал «каяться». Здесь было и чувство собственного достоинства (отчасти и превосходства), выработанное в годы революционных испытаний, жизненная позиция (идти к цели, не отступая), внутреннее неприятие атмосферы (все более утверждавшейся в науке) зажатости, оглядывания на авторитеты.

И. А. Теодорович оказался в таком положении, что не мог выступить со своей позицией в центральном историческом журнале. Это вынудило Ярославского (да и самого Теодоровича) обратиться к авторитету Покровского, чтобы получить разрешение на публикацию в «Историке-марксисте» (выступление Теодоровича в журнале так и не состоялось). Как можно оценить подобную обстановку в науке? Этот вопрос возникает и при дальнейшем чтении письма. Речь идет о резолюции Общества историков-марксистов по итогам проведенной дискуссии о «Народной воле», точнее, о резолюции фракции ВКП(б) Общества (возникновение на переломе 20—30-х годов комфракций в общественных организациях свидетельствовало о дальнейшем росте сектантских настроений в науке).

Позиция М. Н. Покровского в вопросе о резолюции и оценке в ней Теодоровича была двойственной: с одной стороны, он был против вынесения резолюции, с другой — не считал для себя возможным «зажать самокритику» своим личным авторитетом («из этого ничего не получится, писал он, кроме потери мной этого авторитета»). Он советовал Ярославскому в случае несогласия того с оценкой Теодоровича «как близкого теоретически к народничеству» («о правом уклоне, — добавлял он, — в резолюции прямо не сказано». При этом слово «правый» было подчеркнуто) обратиться в ЦК ВКП(б) («поставить вопрос перед ЦК»), так как все равно резолюция не может быть опубликована (слово «опубликована» тоже подчеркнуто) без согласования там. Итак, создавая культ авторитетов (будь-то личный или директивного органа), руководители исторической науки сами стали жертвами своей системы, способствовали установлению в науке ненаучных методов грубого давления, проработок апелляций «наверх». Они, сами не ведая того, воспитали (и продолжали воспитывать) в этом духе новое поколение историков, которое испытывало давление авторитарной системы и служило ей.

Этот вывод можно сделать и на основании другого документа тех лет — письма М. Н. Покровского секретарю ЦК ВКП(б)

В. М. Молотову, датированного 3 марта 1930 г.³² Как отмечал сам автор, оно написано по поводу дискуссии о «Народной воле».

М. Н. Покровский отрицал какую-либо предвзятость в подходе к И. А. Теодоровичу, который, как известно, критиковал его («нападал, как он писал, на меня», но и «не один он»). Вновь повторяя свое мнение о близости точки зрения Теодоровича к точке зрения эсеров периода 1905 г. («народовольцы прежде всего социалисты»), Покровский сообщал, что собирается писать ответ именно «по этой линии» (слово «этой» подчеркнуто). Необходимость борьбы с подобной позицией обусловлена, по его мнению, «происходящей сейчас классовой борьбой в деревне» (т.е. массовой коллективизацией и ликвидацией на ее базе кулака как класса). Но было еще одно обстоятельство, которое торопило его со статьёй. Это нетерпение молодежи, которая «до последней степени накалена» «вызывающим тоном» Теодоровича на диспуте с защитой его «ответственными партийными товарищами с тов. Ярославским во главе». Говоря об этом, Покровский имел в виду не только выступление Ярославского в Обществе историков-марксистов, но и статьи в «Правде». Появление их было расценено как отступление центрального органа партии от последовательной критики Теодоровича (ЦО, по образному выражению Покровского, «занял буферную позицию»: и противники Теодоровича правы, и он сам относительно прав). И далее, как бы развивая мысль редколлегии газеты, писал: Теодорович-де «неправ в деталях» (подчеркнуто автором), но народовольцы «все же были социалисты (подчеркнуто автором) прежде и больше всего», а не революционными демократами, «которыми их считал и Ленин, и мы все до сих пор». Это ставило Покровского в трудное положение, так как его выступление на страницах «Историка-марксиста» было бы фактически направлено против «Правды», «чего мне очень не хотелось бы», — заключал он. «Не найдет ли возможным ЦК по этому поводу дать какие-нибудь указания?» — спрашивал автор.

Сам он предлагал ускорить обсуждение и публикацию тезисов Отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(б), посвященных «Народной воле». По мнению Покровского, надо было как можно скорее напечатать тезисы в «Правде», тогда его спор с Теодоровичем, Ярославским и др. «войдет в обычные литературные рамки» и полемика между историками «будет разрешена соответствующим образом» (что это значило? поражение Теодоровича?). Нужен ли комментарий к столь красочному описанию состояния дела и к воцарившимся в науке нравам?

Между тем с момента письма М.Н. Покровского прошло более месяца, прежде чем Тезисы к 50-летию «Народной воли» Отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) были опубликованы в газете «Правда»³³. Это был плод коллективного творчества (в рабочую группу, по всей вероятности, входили М. Н. Покровский, Ем. Ярославский, В. Ф. Малаховский, И. Л. Татаров, Б. М. Таль и др.). Тезисы содержали комплекс вопросов: о корнях народни-

чества, о возникновении «Народной воли», ее деятельности, идейных и тактических принципах, классовой оценке, о соотношении социализма и политической борьбы, о современных спорах и др. Специальные разделы были посвящены анализу взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса, а также В. И. Ленина. Тезисы взяли все то позитивное, что было достигнуто в изучении «Народной воли» и получило отражение в журнальных статьях В. Ф. Малаховского, Э. Б. Генкиной, М. Н. Покровского, Ем. Ярославского, И. Л. Татарова и др.³⁴

По-прежнему узкой оставалась источниковая база исследований, но историки продвинулись в освоении ленинской концепции народничества. Это позволило в тезисах четко сформулировать оценку «народовольческого наследства», развернуть критику меньшевистской недооценки революционного народничества как революционно-демократического течения, равно как неонароднической трактовки его как «родоначальника» большевизма. Тезисы не ограничились постановкой вопроса о значении «Народной воли», но фиксировали внимание на проблеме взаимоотношения пролетариата и крестьянства на различных этапах революционной борьбы.

Особенно остро эта проблема встала, как отмечалось в тезисах, в условиях коллективизации. А потому предпринятая И. А. Теодоровичем попытка «смазать различие между научным и утопическим социализмом», попытка «приукрасить» народничество рассматривалась в тезисах как возрождение старой народнической теории, согласно которой крестьянство «самостоятельным путем», «самотеком» пойдет к социализму³⁵. Сторонников такого подхода тезисы называют со ссылкой на Сталина «крестьянскими философами»³⁶.

Еще более категорически была оценена концепция Теодоровича в статье «Правды», в которой фиксировались политические итоги дискуссии и которая была опубликована вместе с тезисами.

Отмечая, что в своем значении дискуссия о «Народной воле» переросла рамки чисто исторического спора, редакционная статья квалифицировала «неонародническую» позицию Теодоровича «политически вредной», ведущей к «пересмотру» ленинского понимания «революционного наследства», вошедшего в арсенал ВКП(б)³⁷. Скрыть «ревизионистские» оценки народничества не помогла, по мнению редколлегии, и попытка Теодоровича сознательно «пустить» дискуссию по пути «пошленьких анекдотов».

Выступление «Правды» и тезисы Отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) подводили черту под дискуссией, отражали ленинские подходы к изучению проблем народничества и народовольчества. В то же время в них была выведена прямая связь научных задач с задачами идеологической борьбы партии с «правым уклоном», что повлияло на последующие обсуждения и оценку взглядов их участников³⁸.

Итак, директивное слово было сказано, были даны «установки». Это, однако, не остановило И. А. Теодоровича. Не сумев

пробиться в центральные исторические журналы («Историк-марксист» и «Пролетарская революция» его не печатали, единственной возможностью оставался журнал «Каторга и ссылка»), он выпустил книгу «Историческое значение партии „Народная воля“» (М., 1930), куда вошли все его выступления в ходе дискуссии и статья о М. Ф. Фроленко. Появление книги было воспринято противниками Теодоровича как вызов. Особое возмущение вызвала публикация в приложении к книге Тезисов к 50-летию «Народной воли», оценки которых шли вразрез с позицией автора. Содержание книги свидетельствовало, что научная концепция И. А. Теодоровича сохранилась без принципиальных изменений, в то же время собранные факты о ходе дискуссии говорили о таких антинаучных методах, как голословность утверждений, зажим критики, политическое шельмование, субъективизм, групповщина, наклеивание друг другу «неподходящих ярлыков» и др. Эти приемы, делал вывод автор, ничего общего не имели (и не имеют) с поиском истины. Он предостерегал против подмены интересов партии интересами группы, пытающейся «монополизировать право на исследовательскую работу», и считал, что в этом случае науке может угрожать «монопольное загнивание». Весьма к месту и пророчески оказался и призыв (со ссылкой на Н. И. Бухарина как автора): «Будьте людьми! Мало быть ходячим параграфом партийного устава — будьте людьми!»³⁹

Выход книги И. А. Теодоровича совпал с очередным обострением идеологической борьбы, вызванным, как отмечалось в резолюции ЦК ВКП(б) «Об итогах работы и новых задачах Комакадемии» (от 18 июня 1930 г.), «прорывами на важнейших теоретических фронтах» (так называемые «деборинщина», «рубинщина», «перевразевщина» и др.) и необходимостью критики этих «оппортунистических» течений. В этом ряду упоминалась и дискуссия о «Народной воле»⁴⁰.

Авторы рецензий Э. Б. Генкина и И. Л. Татаров (как и другие участники дискуссии) прошли мимо поставленных Теодоровичем проблем соотношения утопического и научного социализма, о возможностях некапиталистического пути развития, а сосредоточились на вопросах о социальной базе и классовых корнях народофильства, о месте и значении «Народной воли» в общем ходе развития классовой борьбы, о характере социализма народников и его отношении к социализму пролетарскому⁴¹. Они справедливо упрекали Теодоровича в выборочном использовании ленинских высказываний, некритическом восприятии источников, а также в неправильной методологии. Напряженность обстановки в стране и в науке сказалась в подходе к его ценной в фактическом отношении работе. В этих условиях идеализация народничества и народофильства (а именно это в первую очередь было вменено ему), провозглашение их идейными «предшественниками» большевизма не соответствовали исторической реальности и наносили, по мнению рецензентов, политический вред, означали воскрешение народнической идеологии и

«идеализацию мелкого производителя». Рецензии изобиловали политическими оценками, резкими формулировками, прямолинейными выводами (чего стоили даже названия рецензий: «Тов. Теодорович в плену у народнической методологии» и «Правооппортунистическая апология „Народной воли“»). Они соответствовали не только уровню развития историографии своего времени, но и общественно-политическому настрою и психологическому климату в исторической науке. Обсуждение книги И. А. Теодоровича сопровождалось новой «проработкой». Об этом свидетельствовала переписка Ярославского и Татарова в связи с написанием последней статьи об итогах дискуссии.

Статья была написана в обстановке развертывания выполнения решений XVI съезда ВКП(б) об усилении темпов социалистического строительства, о критике «правых уклонистов» по вопросу о темпах индустриализации и социалистического переустройства сельского хозяйства⁴². В ней нашли отражение многие положения И. В. Сталина, сформулированные им в выступлениях на съезде, в частности о необходимости продолжения непримиримой борьбы на два фронта, о сущности каждого из уклонов («левого» и «правого»), об отношении к уклонистам как агентуре классового врага, о правом уклоне как главной опасности («отражает кулацкую опасность»), а также выдвинутое им требование к бывшим лидерам правого уклона отмежеваться и заклеить эту линию⁴³. Исходя из этого, И. Л. Татаров, повторив по существу уже неоднократно звучавшие критические замечания по поводу научных взглядов И. А. Теодоровича, сосредоточил свое внимание на рассмотрении его политической платформы. Он обвинил Теодоровича в недооценке индустриализации, в отрицании необходимости коллективизации и объявил его идеологом кулачества, сторонником Кондратьева и правого уклона⁴⁴.

Статья предназначалась в журнал «Историк-марксист» и в ходе обсуждения была послана на отзыв Ярославскому как члену редколлегии. Она вызвала решительные возражения Ярославского по всем указанным обвинениям (письмо от 28 октября 1930 г.)⁴⁵. Кроме того, он отмечал, что статья Татарова, написанная «по поводу» книги Теодоровича, как раз анализа ее и не содержала и, претендуя на итоговый характер, поднимала ряд новых проблем⁴⁶. Тот вынужден был согласиться с отдельными требованиями Ярославского. Он расширил раздел о «Народной воле» и дискуссии и под хлестким названием «Правооппортунистическая апология «Народной воли» опубликовал в «Историке-марксисте» (о ней речь шла выше)⁴⁷. «Политическая часть», дополненная критикой книги Теодоровича, в виде статьи «Куда ведет неонародничество» была напечатана в журнале «Большевик»⁴⁸⁻⁴⁹.

В своей «исторической части» эта статья содержала пересказ основных установок тезисов о «Народной воле». Отмечая наличие двух «неленинских» позиций в характеристике народничества и народоульчества: меньшевистской — с недооценкой

роли крестьянства и неонароднической — с его идеализацией, Татаров критиковал работу И. А. Теодоровича, называя его «крестьянским философом», «перестраивающим ленинское понимание революционного наследства, вошедшего в арсенал ВКП» (при этом он отмечал, что Сталин применил «удачное выражение» — «крестьянский философ»). В центре внимания рецензента — понимание Теодоровичем сущности «крестьянского социализма» и взаимоотношений пролетариата с крестьянством, особенно в период строительства социализма. Упрекая Теодоровича в ошибочной трактовке этих вопросов, он делал вывод, что в условиях классовых борьбы и ее обострения в стране она привела его к «соскакиванию с ленинских рельс» и приближению, «пусть невольному», «к классовому врагу»⁵⁰.

Татаров не только не отказался от своих политических обвинений в адрес Теодоровича, против которых возражал Ярославский, но и усилил их. Для их иллюстрации он прибегнул к анализу позиции И. А. Теодоровича по таким кардинальным проблемам, как понимание нэпа, задач индустриализации, борьбы с оппозицией и др. В качестве источника была использована работа Теодоровича «Вопросы индустриализации и сельского хозяйства», изданная в 1927 г., в основу которой было положено выступление его на Уральском областном совещании земельных работников. Не имея возможности в данной статье рассмотреть взгляды Теодоровича на строительство социализма в нашей стране (это непременно должно стать темой отдельного исследования), необходимо отметить их теоретический характер и близость к ленинскому кооперативному плану. Для понимания последующих событий, связанных с Теодоровичем и дискуссией, остановимся коротко на одном моменте выступления Татарова.

Речь шла об объяснении Теодоровичем хозяйственных затруднений 1926—1927 гг., которые он, в частности, видел в подмене «реальной» индустриализации «сверхиндустриализацией», и хотя понимал «добрые намерения» и стремление поскорее создать мощную индустрию, тем не менее считал, что перегиб в этом направлении ведет не к улучшению, а к ухудшению положения⁵¹. Татаров ставил вопрос: кто эти «сверхиндустриализаторы»? Кого имел в виду Теодорович в то время, когда оппозиция была разбита? И если бы он «метил» в троцкистов, то наверное прямо это и сказал, замечал Татаров⁵². Вывод напрашивался сам собой: там, в 1927 г., корни «правого уклона» Теодоровича. Его линия идет вразрез с линией большинства партийного руководства — подобный вывод, конечно, не принадлежал одному Татарову и был не им сформулирован. Критика исторических взглядов Теодоровича (и здесь свою лепту вносил Татаров) была призвана подкрепить ту кампанию борьбы «с правыми», которая шла полным ходом.

Между тем обстановка в стране делалась все более напряженной: росли темпы и масштабы насильственной коллективизации и переселения крестьян, разворачивался процесс над так

называемой Промпартией, готовился процесс над так называемой Трудовой крестьянской партией, продолжалась критика «правых», «выкорчевывание» остатков троцкистов. Позиция И. А. Теодоровича стала предметом разбирательства фракции ВКП(б) Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Готовились самые суровые санкции. Его молчание рассматривали как «нежелание дать объяснение», сообщал в письме Ярославскому член Центрального совета Общества Я. Б. Шумяцкий, и этим он «взрывает всех членов фракции»⁵³.

В ответном письме Ярославский (от 18 ноября 1930 г.) как староста поддержал идею специального заседания с заслушиванием Теодоровича. Одновременно сообщал, что тот написал заявление во фракцию ВКП(б) Общества («его письменное заявление есть факт, с которым нельзя не считаться»). Далее важное место письма: «Я послал его т. Сталину, т. Сталин считает, что его надо опубликовать в „Правде“»⁵⁴. Заканчивалось оно советом: «Выводить его после этого заявления из Президиума, по моему, не следует» (к сожалению, неизвестно, как проходило заседание, но Теодорович до момента закрытия Общества оставался членом Центрального совета).

Заявление И. А. Теодоровича с признанием своих ошибок было напечатано в «Правде» 22 ноября 1930 г.

Перед нами исповедь человека, отдавшего Коммунистической партии 35 лет своей жизни, из которых 17 лет — это пребывание в тюрьмах, на каторге, в ссылке. С горечью отмечал он, что его взгляды не всегда совпадали с «линией партии». Вот и в данное время, не разделяя положений «правого уклона», он своими ошибками (сотрудничал с буржуазными специалистами и расширительно толковал ленинские идеи нэпа) объективно содействовал им в борьбе с генеральной линией партии, а потому партия «вправе» квалифицировать его ошибки как «правооппортунистические»⁵⁵. Признание ошибок, по мнению Теодоровича, давало ему моральное право отдать «все знания, силы и способности для торжества родной партии и для победы в деле строительства социализма». В этом выводе была заключена главная идея Теодоровича — служение партии и социализму.

Те же настроения звучали и в замечаниях Ярославского на посланный ему Теодоровичем первый вариант заявления. Ознакомившись с текстом, он дал ряд пространственных советов: обязательно сказать о правом уклоне, борьбе с ним и о наличии у Теодоровича ошибок «правооппортунистического характера». При этом Ярославский полагал, что без четкости и заостренности получится документ, который «вряд ли удовлетворит партийное общественное мнение», а потому надо сделать все, чтобы «улучшить использование его в *интересах партии*»⁵⁶. Получив советы Ярославского, Теодорович, учтя все, кроме одного (о чем несколько ниже), 16 ноября адресовал первый экземпляр своего заявления И. В. Сталину (копии Поскребышеву и Мехлису)⁵⁷. Можно предположить, что именно Ярославский передал

это заявление Сталину, если он в письме к Шумяцкому написал: «Я послал...»

Так или иначе, но уже 18 ноября Ярославский вернул Теодоровичу исправленный текст его заявления, сопроводив короткой запиской. Вот ее начало: «Тов. Теодорович, вычеркиваю места по совету т. Сталина, который правильно считает...» и т. д.⁵⁸ Замечание Сталина относилось к тому месту письма, где речь шла о работе Теодоровича в Крестинтерне. «Остальное прие́млемо», — добавлял Ярославский и рекомендовал Теодоровичу пойти на заседание фракции Общества политкаторжан и «объясниться с тов. по большевистски».

Что же отверг Теодорович, к чему не прислушался? Речь шла все о той же дискуссии о «Народной воле». Ярославский в который раз повторял о недопустимости «смазывания принципиальной разницы между народничеством и большевизмом», использования далеко идущих аналогий и др.⁵⁹ И опять, в который раз, Теодорович не каялся, а отвергал обвинения.

Однако через год с небольшим И. А. Теодорович вынужден был вновь выступить на страницах «Правды» с критикой своих ошибок⁶⁰. И опять советчик и редактор — Ярославский⁶¹. К тому времени ему самому в связи с письмом Сталина в журнал «Пролетарская революция» пришлось каяться. Он признал, что «недостаточно заострил борьбу» против ошибок Теодоровича⁶². А «ошибки Теодоровича» в дискуссии о «Народной воле» фигурировали во всех документах, где шла речь об исторической науке, обрастали ярлыками (оппортунистическая путаница, гнилой либерализм и др.)⁶³. На протяжении ряда лет (1931—1933 гг.) велась постоянная атака на Теодоровича как редактора журнала «Каторга и ссылка», что было лишь частью той большой «проработки», которой подвергся И. А. Теодорович по партийной линии⁶⁴.

А. И. Теодорович продолжал работать над историей «Народной воли», лишь изредка публикуя статьи в журнале «Каторга и ссылка». Наконец новая книга готова: в нее вошли и ранние публикации и новые разделы. Но никто не торопился издавать труд опального революционера. Чтобы добиться публикации, Теодорович обратился в ноябре 1934 г. в ЦК ВКП(б) и добился приема у секретаря ЦК Л. М. Кагановича (при встрече присутствовал заведующий Отделом культуры и пропаганды А. И. Стецкий). Разговор длился больше часа. Каганович не видел препятствий к публикации книги, считая, что отдельные «неверные» места автор легко исправит.

Затем последовал монолог Кагановича, данный в записи Теодоровича. Эта запись сохранилась благодаря тому, что была включена Теодоровичем в текст его письма, адресованного Ем. Ярославскому (от 9 декабря 1934 г.)⁶⁵. Перед нами сцена с двумя действующими лицами, один из которых четко знает, чего хочет от другого (Каганович), другой пытается прорваться через дебри комплиментов и понять, чего от него хотят. Весьма поучительно звучит признание Кагановича, что Теодорович не «пра-

вый» и даже «не примиренец». «У вас есть скепсис, покачивание головой», — продолжает Каганович. И задает вопрос: «Почему же вы сидели в углу в эти тяжелые годы, когда мы вели такую борьбу за генеральную линию партии?» А затем последовало предложение «дать» большую статью, которая бы «разбила» «в пух и прах» народническую фантазию, «правых», ошибки самого Теодоровича в Наркомземе («Ведь они были у вас, т. Теодорович?!»). Главное — показать, что собой представляет коллективизация⁶⁶.

Теодорович очарован собеседником, убежден, что его дело будет решено положительно.

Вскоре ему пришлось убедиться в другом. Собранные отрицательные рецензии на рукопись были посланы секретарям ЦК ВКП(б) Сталину, Кагановичу, Жданову. При мимолетной встрече с Кагановичем (она произошла 1 декабря, как пишет Теодорович, «за час, за два, — до выстрела Николаева») во время проводимого им совещания секретарей обкомов он ограничился фразой о том, что Теодорович как автор имеет право потребовать комиссию из компетентных людей, которые должны разобраться в этом деле. Но, по словам Теодоровича, «разразилось гнусное дело в Ленинграде — и ответа нет». Письмо кончается горестным призывом к Ярославскому помочь человеку, который не может найти «правды, испытывает ужас и невыразимую тяжесть»⁶⁷.

К письму приложено обращение к Сталину, Кагановичу и Жданову, в котором Теодорович в общей форме рассказывает о замысле книги, отвергает «чудовищные извращения мыслей» рецензентами, подчеркивает актуальность и своевременность такого рода исследования. В нем встречаются бесконечные ссылки на высказывания Сталина. Дело доходит до того, что Теодорович рассматривает непоследовательную позицию Сталина в 1928 г. и в 1929—1930 гг. в отношении кулаков как «диалектический» подход⁶⁸. Он делает вывод, что Сталин прав в обоих случаях: и когда считал раскулачивание «глупостью» и когда «с железной твердостью начал политику ликвидации кулака как класса»⁶⁹.

Страстно звучат слова Теодоровича о его «полнейшей солидарности» с генеральной линией партии, об отсутствии «разномыслия»⁷⁰. Заканчивая свое обращение к секретарям, он писал: «Я работал во имя партии, во имя ее идей». И последнее: «Неужели меня нужно растоптать?»

¹ Особенно обстоятельно дискуссия о «Народной воле» рассмотрена в работах: *Седов М. Г.* «Народная воля» перед судом истории // *Вопр. истории.* 1965. № 12. *Он же.* Героический период революционного народничества. М., 1966. *Валк С. С.* Народная воля, 1872—1882. Л., 1966.

² См.: *Очерки истории исторической науки в СССР.* М., 1966. Т. 4. (автор раздела «Русское революционное движение XIX в. в советской историографии» М. В. Нечкина); *Алаторцева А. И.* Журнал «Историк-марксист», 1926—1941 гг. М., 1979; *Она же.* Советская историческая периодика, 1917 — середина 1930-х годов. М., 1989.

- ³ Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 4. С. 362.
- ⁴ Алаторцева А. И., Удальцова М. И. «Каторга и ссылка» и его роль в изучении истории революционного движения в России / История СССР. 1982. № 4. С. 110.
- ⁵ Каторга и ссылка. 1929. № 8/9. С. 360.
- ⁶ Архив АН СССР. МО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 32. Л. 143; ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 91. Оп. 1. Д. 173. Л. 25.
- ⁷ ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 5. Д. 55. Л. 1, 3, 4.
- ⁸ Там же. Ф. 347. Оп. 1. Д. 60. Л. 7.
- ⁹ ЦГАОР. Ф. 533. Оп. 1. Д. 109. Л. 1.
- ¹⁰ Каторга и ссылка. 1929. № 8/9.
- ¹¹ Там же.
- ¹² Книга и революция. 1929. № 24.
- ¹³ В их числе работы В. И. Ленина: Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? // Полн. собр. соч. Т. 1; Экономическое содержание народничества и критика его в кн. г. Струве // Там же; К характеристике экономического романтизма // Там же. Т. 2; Развитие капитализма в России // Там же. Т. 3; Гонители земства и Аннибалы либерализма // Там же. Т. 5; Что делать? // Там же. Т. 6; «Крестьянская реформа» и пролетарско-крестьянская революция. // Там же. Т. 6; По поводу юбилея // Там же. Т. 20; Памяти Герцена // Там же. Т. 21; О народничестве // Там же. Т. 22.
- ¹⁴ Историк-марксист. 1930. № 15. С. 74.
- ¹⁵ ЦПА ИМЛ. Ф. 135. Оп. 1. Д. 188. Л. 80; Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989. Стб. 139—145.
- ¹⁶ ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 5. Д. 59. Л. 2.
- ¹⁷ Правда. 1929. 22 нояб.
- ¹⁸ Сталин И. В. Соч. М., 1949. Т. 12. С. 141—172.
- ¹⁹ Вестн. Комакадемии. 1930. № 37/38. С. 126—128.
- ²⁰ Известия. 1929. 27 дек.; 1930. 9, 17 янв.; Правда. 1929. 20, 27 дек.
- ²¹ Историк-марксист. 1930. № 15; Вестн. Комакадемии. 1930. № 37/38; Дискуссия о «Народной воле». М., 1930.
- ²² ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 5. Д. 36. Л. 1—4.
- ²³ Историк-марксист. 1930. № 15. С. 143.
- ²⁴ Вестн. Комакадемии. 1930. № 37/38. С. 131—132, 142—143.
- ²⁵ Правда. 1930. 20 янв., 4 февр.
- ²⁶ Большевик. 1930. № 3/4.
- ²⁷ ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 7. Д. 49. Л. 50.
- ²⁸ Большевик. 1930. № 3/4. С. 122.
- ²⁹ ЦПА ИМЛ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 52. Л. 1, 10б.
- ³⁰ Там же. Л. 1.
- ³¹ Лозунг «самокритики» был сформулирован Сталиным в докладе на XV съезде ВКП(б) (Сталин И. В. Соч. М., 1949. Т. 10. С. 330—331). Он означал допустимость критики внутри партии, практически был использован против лиц, не разделявших его точку зрения.
- ³² ЦПА ИМЛ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 36. Л. 54—55 об.
- ³³ Правда. 1930. 9 апр.; Дискуссия о «Народной воле».
- ³⁴ Историк-марксист. 1930. № 15; Пролетарская революция. 1930. № 2/3, 5; Каторга и ссылка. 1930. № 1. См. также: Малаховский В. Ф. На два фронта. М., 1930.
- ³⁵ Как известно, выступая на конференции аграрников-марксистов, Сталин посвятил специальный раздел критике буржуазных теорий, в том числе теории «самотека» (Сталин И. В. Соч. Т. 12. С. 147).
- ³⁶ «Крестьянский философ», по Сталину, человек, который смотрит назад, а не вперед, немарксист, неленинец // Сталин И. В. Соч. Т. 11. С. 213.
- ³⁷ Правда. 1930. 9 апр.
- ³⁸ В ходе подготовки тезисов Ярославский сделал еще одну попытку смягчить оценки в адрес Теодоровича («я против спорных выводов» — подчеркнуто им). Он вообще считал неправильным и односторонним упоминание в тезисах имен Теодоровича и Мицкевича, мотивируя это тем, что не названы имена «ряда других товарищей, ошибавшихся не меньше» в оценках «Народной воли» (ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Д. 43. Л. 3).

- ³⁹ Теодорович И. А. Историческое значение партии «Народная воля». М., 1930. С. 34.
- ⁴⁰ Вестн. Комкадемии. 1930. № 37/38. С. 7; ЦПА. Ф. 147. Оп. 1. Д. 33. Л. 89.
- ⁴¹ Пролетарская революция. 1930. № 9; Историк-марксист. 1930. № 18/19.
- ⁴² XVI съезд ВКП(б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1984. Т. 4.
- ⁴³ Сталин И. В. Соч. Т. 12. С. 353—361; Т. 13. С. 8—14.
- ⁴⁴ ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 8. Д. 44. Л. 23—26.
- ⁴⁵ Там же. Л. 23.
- ⁴⁶ ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 8. Д. 44. Л. 23.
- ⁴⁷ Историк-марксист. 1930. № 18/19.
- ^{48—49} Большевик. 1930. № 23/24.
- ⁵⁰ Там же. С. 14.
- ⁵¹ Теодорович И. А. Вопросы индустриализации и сельского хозяйства. Свердловск, 1927. С. 25—27.
- ⁵² Большевик. 1930. № 23/24. С. 26.
- ⁵³ ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 5. Д. 59. Л. 3.
- ⁵⁴ Там же.
- ⁵⁵ Там же. Л. 1, 2.
- ⁵⁶ Там же. Л. 6.
- ⁵⁷ Там же. Л. 1 (пометка рукой Теодоровича на копии).
- ⁵⁸ Там же. Л. 6.
- ⁵⁹ Там же. Л. 8.
- ⁶⁰ Правда. 1932. 29 янв.
- ⁶¹ ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 5. Д. 59. Л. 1.
- ⁶² Большевик. 1931. № 21. С. 85.
- ⁶³ ЦПА ИМЛ. Ф. 72. Оп. 3. Д. 5. Л. 1, 2.
- ⁶⁴ Там же. Ф. 89. Оп. 5. Д. 58. Л. 45, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 88, 99, 101, 112; Большевик. 1931. № 1; ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 8. Д. 44. Л. 31—33, 35, 37.
- ⁶⁵ ЦПА ИМЛ. Ф. 89. Оп. 7. Д. 49. Л. 171, 171 об.
- ⁶⁶ Там же. Л. 170 об.
- ⁶⁷ Там же. Л. 169. об.
- ⁶⁸ Там же. Л. 176, 177.
- ⁶⁹ Там же. Д. 181.
- ⁷⁰ Там же. Л. 184, 185.

ИДЕИ И СУДЬБЫ



А. А. КИЗЕВЕТТЕР: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА В ЕГО ЖИЗНИ

М. Г. Вандалковская

Имя Александра Александровича Кизеветтера, известного историка, профессора Московского университета и талантливого лектора, неоправданно забыто или почти забыто в нашей историографии.

Участие Кизеветтера в кадетской партии, затем вынужденная эмиграция создали определенный предел в изучении его научного творчества. О трудах Кизеветтера по истории русского города или законодательства Екатерины II иногда упоминалось в специальных исследованиях и общих работах. Однако оценка вклада Кизеветтера в историческую науку сводилась к констатации введения им огромного документального материала и утверждения, находящегося не в полном соответствии с истиной, что все его исследования написаны в плане изучения генезиса конституционных идей в России¹.

Политизация исторической науки сказалась и на обращении к ее прошлому.

Разумеется, соотношение в научном творчестве ученого политики и истории, исторической концепции и политических взглядов, особенно если речь идет о политических деятелях такого масштаба, как Милюков или Кизеветтер, — сложный, но не абстрактный вопрос.

В общественном знании накоплен определенный опыт подхода к решению этого вопроса: установлены взаимосвязь, взаимозависимость общественно-политических, мировоззренческих и научных сторон в творческом процессе исследователя. Однако каждый творческий процесс подобного рода — процесс конкретно-исторический. Судить о том, что преобладало в научных трудах того или иного историка — историк или политик, насколько его политические устремления отражались на его научных построениях, проблематике и методике исследования, каков характер взаимовлияния этих сторон, можно, изучив лишь документальный, фактический материал, который характеризует его творчество и личность. Доступность архива Кизеветтера, переданного из Праги, где историк провел последние годы жизни, а также ряда эмигрантских изданий в совокупности с его трудами позволяют восстановить творческий облик этого незаурядного человека, определить значение его научных достижений, а также понять, насколько причастность к политике влияла на его

научные выводы, и тем самым способствовать решению проблемы о соотношении исторических и политических взглядов.

А. А. Кизеветтер родился 10 мая 1866 г. в Петербурге. Предки его происходили из Тюрингии: прадед со стороны отца был кузнецом в Зондерегаузене; дед был музыкантом и, переселившись в Россию, жил в Петербурге уроками музыки; отец окончил юридический факультет Петербургского университета, работал инспектором Коммерческого училища, заведовал архивом Главного штаба²; мать — Александра Николаевна Турчанинова, была внучкой протоиерея, церковного композитора, и дочерью воспитанника Духовной академии и преподавателя истории, автора известной книги о церковных соборах в России, окончила Смольный институт. Кизеветтер органически врос в русскую жизнь, был русским по духовному укладу и привычкам.

«Я по типу лица и по характеру вышел более в турчаниновский род матери»³, — писал впоследствии Кизеветтер и от этого источника вел свои литературные и ораторские способности. Однако роль отца в формировании духовного облика Кизеветтера была значительной, от него он заимствовал независимость и прямоту суждений, решительность и правдивость.

Во второй половине 60-х годов семья переехала в Оренбург, где отец служил представителем военного ведомства в совете при оренбургском генерал-губернаторе. В Оренбурге семья прожила 16 лет, вплоть до 1884 г., т. е. до поступления Кизеветтера в Московский университет.

Кроме Александра, в семье росли старшая сестра Анна и младший брат Иван. В 1882 г. 7-летней девочкой в семью вошла Наталья Николаевна (по мужу Раевская) — дочь умершей сестры матери Кизеветтера.

Среди детей Иван выделялся особой музыкальностью, учился игре на скрипке. Позднее он брал уроки у знаменитого первого скрипача и концертмейстера Большого театра К. А. Клармота, кстаи уроженца Тюрингии, и у А. А. Колаковского, солиста оркестра Большого театра. Но профессиональным музыкантом он так и не стал.

По воспоминаниям Натальи Раевской, Саша Кизеветтер был веселым и остроумным ребенком, обладал даром улавливать комические стороны жизни, выступал режиссером домашнего детского театра⁴.

Жизнь в Оренбурге отличалась патриархальностью и размеренностью. В то время здесь не было железной дороги, гимназии и учительский институт были единственными учебными заведениями. Местная интеллигенция увлекалась чтением, обсуждением литературных новинок, постановкой любительских спектаклей.

В эти годы Кизеветтер пристрастился к чтению. В семье дети читали Пушкина, Лермонтова, Андерсена, Диккенса, занимались математикой для развития логического мышления; родители воспитывали в них «чувство демократического равенства в противоположность барской спеси»⁵.

Из гимназической оренбургской жизни Кизеветтер вынес глубокий интерес к истории. Под влиянием местного историка Н. Е. Северного и под впечатлением от вышедшей в 1881 г. «Боярской думы Древней Руси» В. О. Ключевского Кизеветтер уже в те годы определил свой жизненный выбор.

В 1884 г. семья переехала в Москву, и в сентябре этого же года Кизеветтер стал студентом историко-филологического факультета Московского университета.

В первый год пребывания в университете Кизеветтер слушал лекции Ключевского, который «прочитывал полный курс русской истории в течение двух лет». «Этот курс,— вспоминал Кизеветтер,— пленял неотразимо необыкновенным сочетанием силы научной мысли с художественной изобразительностью изложения и с артистическим искусством произнесения. Те, кто слушали этот курс из уст самого Ключевского, хорошо знают, каким существенным дополнением к его словам служили виртуозные интонации его голоса»⁶.

Курс по историографии всеобщей истории, по истории Рима, эпохе Реформации и Великой французской революции читал В. И. Герье, блестящий и талантливый популяризатор. Его любимыми темами были различные этюды по истории политических и историософских идей. «Профессор вводил нас в избранное и поучительное общество корифеев исторической мысли. Вико, Нибур, Рубино, Шwegлер, Моммзен и многие другие выступали перед нами в живых очертаниях, и вместе с тем на конкретных примерах выяснялись методологические приемы исторического исследования и последовательной смены главнейших историографических школ»⁷.

Настоящей школой научного исследования явились лекции и семинары по всеобщей истории П. Г. Виноградова, которому был присущ особый дар спланировать ученым. «...Гостеприимная квартира П. Г. Виноградова в небольшом домике священника Словцова в Мертвом переулке была тогда центром оживленного общения московских историков. На этих собраниях мы слышали доклады Милюкова, Фортунатова, Виппера, А. Гучкова, Корелина, Иванова, Шамонина, Беляева, Кудрявцева, Петрушевского, Гусакова, Бруна, Мануйлова и многих других... Здесь мы видели Ключевского в непринужденной приятельской обстановке и наслаждались блеском его юмора, здесь Милюков, с головой ушедший тогда в архивы, излагал свои открытия по истории петровских реформ»⁸.

С. Ф. Фортунатов, блестящий знаток политической истории, ознакомил с этюдами из жизни английского парламента, Н. Я. Грот учил искусству философских прений, М. М. Троицкий читал логику и психологию, иногда из Петербурга приезжал Н. И. Кареев, из Киева — И. В. Лучицкий⁹.

П. Н. Милюков, бывший уже приват-доцентом университета, читал специальные курсы по историографии, истории колонизации Руси¹⁰. Лекции Милюкова, по словам Кизеветтера, производили на студентов сильное впечатление именно тем, что

он вводил слушателей в свою лабораторию. Вскоре он организовал занятия в своем доме. «...Эти посещения, — вспоминал Кизеветтер, — были не только приятны по непринужденности завязывавшихся приятельских отношений, но и весьма поучительны. Тут уже воочию развертывалась перед нами картина кипучей работы ученого, с головой ушедшего в свою науку. Его скромная квартира походила на лавочку букиниста. Там нельзя было сделать ни одного движения, не задев за какую-нибудь книгу. Письменный стол был завален всевозможными специальными изданиями и документами. В этой обстановке мы просиживали вечера за приятными и интересными беседами»¹¹.

Историю русской литературы преподавал Н. С. Тихонравов, который применял сравнительно-исторический метод в изучении русской литературы; историю всеобщей литературы — Н. И. Стороженко и Алексей Н. Веселовский (брат А. Н. Веселовского). Ф. Ф. Фортунатов вел курс сравнительного языкознания, в котором, по словам Кизеветтера, «заклю­чались крупные научные открытия»¹². Большое впечатление на студентов производили лекции по истории античного искусства И. В. Цветаева, отца М. Цветаевой¹³. В этой атмосфере ярких и талантливых преподавателей прошли студенческие годы Кизеветтера.

В 1888 г. он окончил Московский университет и был оставлен для подготовки к магистерскому званию на кафедре русской истории, которую возглавлял В. О. Ключевский.

Сохранились некоторые данные о его магистерских экзаменах. Они позволяют судить об уровне подготовки профессионалов-историков в то время. В отчетах за 1889 и 1890 гг. содержится далеко не полный перечень вопросов, которые Кизеветтер готовил для сдачи экзаменов: о составе Сильвестровского свода, о местном управлении Московского государства в XVII в., о законодательстве Московского государства относительно служилого землевладения, о реформе Петра I в области администрации, о губернских учреждениях Екатерины II, о реформе центрального управления при Александре I и др.¹⁴ Подготовка этих вопросов неизбежно должна была включать их историографическое изучение и обеспечить тем самым глубину и самостоятельность суждений о них.

Кроме двух экзаменов по русской истории, в общий магистерский экзамен входили также экзамены по всеобщей истории и политической экономии. Экзамены по русской истории были сданы 11 марта и 22 апреля 1892 г.; по всеобщей истории — 24 февраля 1893 г. и по политической экономии — 27 апреля 1893 г.¹⁵ О последнем экзамене сохранилась дневниковая запись Кизеветтера: «...Слушали Чупров, Виноградов, Ключевский. Отвечал об исторической школе в политической экономии. Спрашивали недолго, все шло гладко, и я прилетел домой с облегченным духом. Больше ни одного экзамена в жизни! Этим как бы закончился первый этап моей биографии — годы учения»¹⁶.

Вокруг Кизеветтера уже сложился определенный круг близких людей — единомышленников. Одни из них были старше и по возрасту и по положению и питали ту духовную атмосферу, в которой жил Кизеветтер; другие — его сверстники — были

объединены общими научными и общественными интересами. К первым принадлежали В. О. Ключевский, П. Г. Виноградов, отчасти П. Н. Милюков. Ко вторым — А. А. Кудрявцев, ученик П. Г. Виноградова, с которым Кизеветтер, по его словам, «слился душой», О. П. Герасимов, В. Н. Сторожев, Д. М. Петрушевский, известный историк, «человек серьезный, чувствующий, приправленный едким юмором», Беляев — «чисто русский тип», «живущий в мире идей и книг, с святой силой ума, широко образованный, бескорыстно увлеченный интеллигентскими интересами», а также Вишпер, у которого в деревне под Подольском Кизеветтер вместе с Петрушевским был частым гостем¹⁷.

Самым близким другом Кизеветтера был А. А. Кудрявцев. Он работал преподавателем истории в Лазаревском институте восточных языков, одновременно читал на театральных курсах историю драмы. С Кудрявцевым Кизеветтера сближали не только общие научные, духовные интересы, но и любовь к театру, музыке, русской культуре¹⁸. Смерть Кудрявцева в 1893 г. в 30-летнем возрасте глубоко потрясла Кизеветтера. «Со смертью Кудрявцева, — писал он в дневнике, — для меня как будто перевернулась одна и началась другая страница моей жизни... исчезла опора... Я привязываюсь туго, но крепко и сильно»¹⁹.

Через год Кизеветтер женился на вдове Кудрявцева — Е. Я. Кудрявцевой, урожденной Фраузенфельдер, и принял на себя воспитание ее двоих детей: Всеволода и Натальи. В 1895 г. у них родилась дочь Екатерина, которая жила с отцом до последних дней его жизни. Семейная жизнь Кизеветтера оказалась счастливой. Свои интересы Е. Я. Кизеветтер целиком подчинила интересам мужа.

По окончании университета Кизеветтер преподавал историю в средней школе, географию и историю в Лазаревском институте восточных языков, читал лекции по русской истории на так называемых «коллективных уроках», в обществе воспитателей и учительниц, на педагогических курсах, историю русской литературы в Московском художественном училище живописи, ваяния и зодчества.

В 1897 г. Кизеветтер начал читать специальные курсы в университете: по истории крестьянской реформы 1861 г., по внутренней политике России в первой половине XIX в., по русской историографии. В 1898 г. он стал уже приват-доцентом Московского университета²⁰.

Преподавательскую деятельность Кизеветтер вел и на Высших женских курсах, куда его пригласил В. И. Герье. Однако Кизеветтеру удалось прочитать лишь несколько лекций. Студенческие волнения в высших учебных заведениях начала 900-х годов, естественно, отразились на настроениях слушательниц курсов. В ответ на их требования демократизации обучения и предоставления высшим учебным заведениям автономии Герье запретил двум наиболее активным курсисткам посещать занятия.

После одной из лекций учащиеся рассказали об этом Кизеветтеру, и он согласился с их мнением о своеволии Герье²¹.

«Я пригласил Вас прочесть курс лекций русской истории,— возмущенно писал Герье Кизеветтеру,— а вовсе не для того, чтобы содействовать организации вольной женской республики с популярными трибунами. Ваш резкий образ действий я объясняю Вашей житейской неопытностью...»²² Кизеветтер отвечал Герье не менее непримиримо: «Я лишился возможности Вам кланяться ...когда узнал, что Вы способны предпочесть открытым и откровенным сношениям с вашими сотрудниками и бывшими учениками по поводу возникших недоразумений окольный путь административного на них давления»²³. На этом их отношения были прерваны и чтение лекций на ВЖК прекращено.

По собственному признанию Кизеветтера, его в эти годы манила «легальная общественная деятельность», которую он признавал единственно возможной формой борьбы за свои идеалы²⁴.

Первым уроком подобного рода явилась работа в Московском комитете и затем в комиссии грамотности, созданной при учебном отделе Общества по распространению технических знаний. Председателем этой комиссии был П. Г. Виноградов, ее членами, помимо Кизеветтера, — В. И. Вернадский, В. О. Ключевский, В. А. Гольцев, А. И. Чупров, Н. И. Стороженко, П. Н. Милюков, П. И. Новгородцев, П. Н. Сакулин и др. Комиссия занималась изданием программ для самообразования по отраслям знаний и систематического домашнего чтения, составляла книги для чтения по разным предметам. В Книге для чтения по истории средних веков, вышедшей под редакцией П. Г. Виноградова, автором одной из глав выступал А. А. Кизеветтер. При комиссии было создано лекционное бюро, которое одно время возглавлял Кизеветтер, сам он читал лекции по русской истории не только в Москве, но и в Твери, Нижнем Новгороде и в других городах России²⁵.

Чтение лекций и специальных курсов, большая общественно-просветительская деятельность Кизеветтера шли параллельно с его научно-исследовательской работой уже с третьего курса университета. Два последних года учебы в университете он «с головой погрузился в памятники исторической старины», изучая историю служилого землевладения в России в XVI—XVII вв. под руководством Ключевского²⁶.

Не без участия Ключевского была выбрана и тема магистерской диссертации — «Посадская община в России XVIII столетия».

«Семь лет почти ежедневно сидел я в архиве от 9 часов утра до 3 часов дня и накопил такую гору выписок из архивных документов, что для их обработки потребовалось еще около двух лет»²⁷, — писал в своих воспоминаниях Кизеветтер. Работа над диссертацией длилась, таким образом, с 1896 по 1903 г. Часы

архивных занятий всегда вспоминались ему как «отраднейшие часы» жизни²⁸.

«...Окидывая мысленным взором все свое прошлое, — продолжал он, — я могу „в твердом уме и полной памяти“ сказать, что истинное душевное удовлетворение я испытывал только там, в архиве, погружаясь мыслью в смысл старинных текстов, стараясь не пропустить в них ни малейшего намека, ни малейшей черточки, которые могли бы доставить мне какой-либо блик света на занимавшие меня исторические вопросы»²⁹.

Исследовательский интерес к истории XVIII в. и к посадской общине Кизеветтер объяснял двумя причинами.

Во-первых, причиной чисто научного свойства. Исторические труды Л. О. Плошинского, А. П. Пригары, И. И. Дитятина, посвященные анализу государственных актов, политических учреждений, он считал «недостаточными» и не объясняющими возникновение и развитие самих общественных отношений.

Вторая причина диктовалась его убеждением конституционалиста, которым он себя считал и был в действительности, — искать исторические предпосылки представительных учреждений в истории России.

К этим мотивам присоединялся еще один, касавшийся, как он писал, «не возможных результатов, а самого процесса... работы. Меня манила к себе такая работа, при которой мне пришлось бы воссоздавать картину известного исторического процесса на основании мозаичного подбора мельчайших фактов»³⁰. Научные побуждения, таким образом, преобладали в подходе автора к теме.

Приступая к изучению посадской общины, он стремился найти свой, новый угол зрения в ее освещении, «выяснить те реальные условия, в которых протекала фактически жизнь городской общины»³¹. Это означало изучить «социальный грунт», на котором воздвигались центральные и областные правительственные учреждения и те общественные силы, «которые приводили в движение или тормозили его колеса»³².

Огромный архивный материал, извлеченный из Главного и городских магистратов, Камер-коллегии и Сената, Комиссии о коммерции и др., составил документальную базу исследования. Посадская община русского города изучалась Кизеветтером с трех сторон: со стороны ее социального состава, посадской службы и тягла и самоуправления. Хронологические рамки исследования Кизеветтер ограничивал периодом от муниципальной реформы Петра I до издания Городового положения Екатерины II в 1785 г.

В итоге изучения определяемые автором разряды посадского населения совпадали с делением общины на экономические группы, т. е. купечество трех гильдий, цеховые ремесленники и «подлые люди». Этот вывод позволил Кизеветтеру нарисовать «бытовую социальную физиономию» посадской общины, определить тенденции ее социально-экономического развития и реальный экономический уровень русского города XVIII в. в целом. Анализ

посадских служб и платежей привел его к заключению о полной зависимости посадской общины от «первостатейных людей», которые «перелагали» податную тягость на низшие слои населения и забирали в свои руки «направляющую и распорядительную роль» в административных органах.

Посадское самоуправление Кизеветтер также рассматривал в «прочной» зависимости от посадского общинного тягла. Изучение архивных данных по личному составу мирских сходо даю основание утверждать, что, «будучи юридически общепосадским, фактически сход превращался по преимуществу в собрание первостатейных тяглецов»³³ и это свидетельствовало о низком уровне правосознания города в целом.

Работа Кизеветтера имела новаторский характер. Он изучил общественный организм (посадскую общину) с позиций его социального состава и доказал на основе впервые введенного в научный оборот нового документального материала тесную связь различных социальных категорий населения с их экономическим положением, а также обусловленность правового статуса населения уровнем его социально-экономического развития.

Защита магистерской диссертации прошла успешно. На диспуте выступали В. О. Ключевский и М. К. Любавский³⁴. Ключевский сделал лишь частные замечания, и, как писал Кизеветтер, «лучшей наградой» являлся его «тон без язвительности»³⁵, означавший признание научных заслуг диссертанта. В эти дни Кизеветтер получил множество поздравлений от слушателей педагогических курсов и коллективных уроков, от М. Н. Покровского, знакомого по семинарию П. Г. Виноградова³⁶, и т. д.

Книга Кизеветтера о посадской общине имела широкий научный резонанс. Обществом истории и древностей российских в составе Д. И. Иловайского, С. А. Белокурова, В. О. Ключевского, М. К. Любавского и др. Кизеветтеру была присуждена премия имени Г. Ф. Карпова, известного историка Украины, профессора Харьковского университета, а рецензентам М. М. Богословскому и Е. В. Петухову — золотые медали³⁷.

Вскоре Академия наук обратилась к Кизеветтеру с предложением подготовить для серии памятников русского законодательства «Жалованную грамоту городам 1785 г.». Текст был подготовлен, но не издан.

Научная работа в эти годы занимала существенное место в его жизни. Кроме книги-диссертации, он публиковал статьи в журналах «Русская мысль», «Русское богатство», «Образование», «Журнал для всех». Статьи о «Домострое», «Иване Грозном и его оппонентах», о реформах Петра I, о городских наказах Екатерининской комиссии 1767 г. и другие являлись итогом его работы над специальными и лекционными курсами и свидетельствовали о глубоко научном подходе лектора к задачам преподавания.

С 1903 г. Кизеветтер по приглашению В. А. Гольцева вошел

в состав редакции «Русской мысли», а после его смерти в 1907 г. возглавил ее; с 1905 г. он начал сотрудничать в «Русских ведомостях». Работа в редакциях сблизила Кизеветтера с многочисленными общественными и политическими деятелями, писателями.

Он посещал знаменитые Телешевские среды, встречался с Л. Андреевым, И. Буниным, М. Горьким, Б. Зайцевым, Ф. Шаляпиным, находился в дружеских отношениях с А. Чеховым, заведовавшим беллетристическим отделом «Русской мысли». По делам журнала в 1904 г. Кизеветтер посетил Чехова в Ялте. «Эта простая и непринужденная беседа, — вспоминал он, — оставила во мне сильное впечатление, и мне показалось, что, наблюдая в тот вечер за всей повадкой Чехова, я схватил ключ к основному мотиву творчества этого изящного певца русских „сумерек“»³⁸. Чехов тосковал по изящной жизни, основанной «на сродстве человеческих душ, на тонком понимании людьми интимных душевных движений другого человека» и жалел людей³⁹. Проницательный и тонкий ум Кизеветтера уловил глубокий смысл творчества Чехова, его интеллект и поэзию мысли.

Связь с литературной средой Кизеветтер сохранял и в эмиграции, вступив в союз писателей и журналистов Чехословакии.

Особая склонность к искусству, глубокое, с юношеских лет увлечение театром определили сближение Кизеветтера и с широким кругом театральных деятелей. Он был знаком с М. Н. Ермоловой, Г. Н. Федотовой, А. П. Ленским, А. И. Южиным-Сумбатовым. Их встречи часто происходили в доме Н. В. Давыдова, одного из близких друзей Л. Н. Толстого, которому Давыдов давал в свое время темы для пьес «Власть тьмы» и «Живой труп»⁴⁰. Давыдов долгое время был председателем Московского окружного суда, затем ректором Университета Шанявского (куда пригласил к сотрудничеству Кизеветтера), председателем литературно-театрального комитета Малого театра, актером. Кизеветтер признавал в Давыдове особый талант — талант объединять людей.

У Давыдова в Левшинском переулке, вспоминал Кизеветтер, «по пятницам в продолговатой столовой... усаживался в тесноте, да не в обиде цвет науки, литературы и искусства... На одном краю стола садились всегда рядом Ключевский и актер Ленский. Далее вперемежку следовали философ Лопатин, актриса Федотова, актеры Южин, Фехт, Садовская, Яблочкина, профессор Мануйлов...»⁴¹. Привязанность Кизеветтера к театру воплотилась в создании трудов по его истории и портретных характеристик известных актеров Федотовой, Савиной, Ленского, Ермоловой, Южина-Сумбатова, в заметках о театральных постановках⁴² и т. д.

В эпоху революции 1905—1907 гг. четко обозначились общественная роль всех классовых сил, степень их радикализма и демократизма, возможности и пределы политической активности. Оформились политические партии и их программы. По-

литическая устремленность в полной мере проявилась и в деятельности Кизеветтера. Он принял участие в обсуждении программы журнала «Освобождение» и был одним из организаторов его тайного распространения в России. По программным вопросам Кизеветтер занимал позицию, близкую к позиции Струве. Борьба с бюрократией и необходимость политических реформ, признание руководящей роли земства в выработке программы русского либерализма, создание широких политических форм и объединение всех усилий оппозиционных самодержавию сил, мирный путь эволюционного развития⁴³ — таковы были основные программные положения журнала. По свидетельству Струве, они в полной мере соответствовали взглядам Кизеветтера⁴⁴.

Деятельность Кизеветтера как члена кадетской партии была активной и разнообразной. На II съезде партии он был избран в состав ее Центрального комитета; принимал участие в руководстве (совместно с П. Д. Долгоруковым, В. А. Маклаковым, Ф. Ф. Кокошкиным) Московским губернским комитетом, являлся членом комитета своего городского района. Кизеветтер был автором очерка о лидере кадетов П. Н. Милюкове, ряда статей и брошюр о кадетах и их программе. После выхода Манifestа 17 октября 1905 г. он написал листовку, в которой выразил отношение к нему кадетов; позднее, во время выборной кампании во II Думу, совместно с В. А. Маклаковым он создал своего рода пособие для кадетских ораторов, получившее название «кизеветтеровского катехизиса»⁴⁵.

Кизеветтер выступал на политических собраниях и митингах, ездил по стране, проводя беседы и читая лекции о программе и задачах кадетской партии. Он неоднократно выступал в Политехническом музее, в Земледельческой школе, в Арбатском районе и т. д., агитировал за кадетов в Петербурге, Рязани, Пензе, Орле, Туле, Тамбове, Кемерове, Смоленске и других городах.

Дневниковые записи жены Кизеветтера сохранили впечатления об этих выступлениях. Так, 27 января 1906 г. в зале Политехнического музея Кизеветтер выступал с критикой программы Торгово-промышленной партии и Союза 17 октября⁴⁶. 2 февраля того же года на публичном диспуте в Хамовнической земледельческой школе он сделал доклад с обзором программ правых и левых партий и их отношения к программе кадетской партии. Н. А. Рожков, коллега по научным архивным разысканиям и в то же время политический противник Кизеветтера, социал-демократ, оспаривал истинность кадетской свободы, говорил, что аграрная программа кадетов выгодна землевладельцам и партия эволюционирует вправо. Кизеветтер отвечал ему, что он приветствует появление в России всяких политических партий как признак оживления политической жизни, что он не берется судить, чего больше в программе социал-демократов — критики или пророчества, что диктатура, о которой говорят социал-демократы, несовместима со свободой⁴⁷ и т. д.

Споры представителей различных политических партий по

программным вопросам, о формах будущего государственного устройства, о методах борьбы были обычным явлением в эпоху революции. Кизеветтер резко критиковал как правые, так и левые политические партии. Октябристов он называл «сторонниками старого порядка», «политическими маниловыми», которые «не связывали руки бюрократии» и выступали против истинного парламентаризма и конституционных свобод⁴⁸. Он призывал к осуждению программы и деятельности левых, и в частности социал-демократической партии, революционных методов борьбы, созыву Учредительного собрания⁴⁹.

Принадлежность к партии кадетов и активная деятельность по пропаганде ее программы не исключала и критического отношения Кизеветтера к своей партии. Он считал необходимым избавиться от нерешительности и аморфности в отношении к революционному движению и настаивал на том, чтобы партия специальной резолюцией определенно высказала свое осуждение действий «крайней партии», ее работы по организации вооруженных выступлений⁵⁰.

Жена Кизеветтера писала в своем дневнике: «Саша заявил, что если кадетская партия будет отмалчиваться, то он уйдет из нее»⁵¹.

Сторонник парламентских государственных форм, Кизеветтер наряду с Ф. Ф. Кокошкиным и В. А. Маклаковым был одним из самых ярких ораторов во время кампании по выборам в I и II Государственные думы.

«Выборгское воззвание», так называемое обращение к «Народу от народных представителей», выпущенное после разгрома I Думы, с призывом оказывать правительству лишь пассивное сопротивление Кизеветтер признавал политической ошибкой и поворотом в сторону левых политических течений. Избранный депутатом II Думы, он придерживался по ряду вопросов правокадетских позиций; выступал против уступок социал-демократам, в то же время призывал оказывать сопротивление напору на Думу самодержавия⁵².

Несмотря на то что Кизеветтер был очень занят как лидер кадетской партии, политическая деятельность целиком никогда не поглощала его. В дневнике его жены имеется такая запись: «...Саша себя не считает общественным деятелем, говорит, что его тянет целиком к научным занятиям. Но,— говорю я,— не может же он сейчас не принимать участия в общественной деятельности — стремились, стремились к изменению государственного строя, а как к этому дело стало подходить, так и запереться в кабинете?»⁵³ Та же мысль выражена в воспоминаниях самого Кизеветтера, писавшихся позднее: «...Я по природе вовсе не политик, я ученый и писатель»⁵⁴. Он, по собственным словам, не испытывал к политической деятельности «внутреннего вкуса» и «непосредственного влечения», но считал гражданским долгом в трудные периоды истории участвовать в общественной жизни⁵⁵.

Работу над новой темой о законодательстве Екатерины II Кизеветтер начал еще в 1904 г., но, прерванная политической деятельностью, она активно возобновилась лишь в 1908 г. Он «погрузился» в любимое дело.

В 1909 г. книга «Городовое положение Екатерины II: Исторический комментарий» была готова. Эту книгу он защищал в качестве докторской диссертации.

Работа явилась логическим продолжением исследования о посадской общине. Сам автор назвал свой труд историческим комментарием. По существу «Городовое положение...» — источноковедческое исследование. Автор проанализировал многочисленные черновые проекты и редакции «Городового положения». Последовательно воссоздавая ход составительской и редакторской работы законодательницы, он поставил задачу выявить источники «Городового положения». Ими являлись «Жалованная грамота дворянству», иностранные (остзейские, шведские, немецкие и др.) законодательства и проекты, делопроизводство частных компаний из Уложенной комиссии 1767 г. Кизеветтер установил, что давал для «Городового положения» каждый из названных источников, как использовала их Екатерина и как на практике осуществлялось применение этого законодательного акта. Изучение фактического материала убедило автора в продворянской политике Екатерины II и тенденциозном, в интересах правящих кругов, толковании иностранных источников при составлении «Городового положения». Автор доказал, что провозглашенная законодательством всесословной Общая городская дума на деле оказалась купеческо-ремесленным учреждением, ее деятельность, так же как и шестигласной Думы, находилась в полной зависимости от губернского правления и коронной администрации⁵⁶.

Ю. В. Готье, выступая оппонентом на защите, отмечал, что Кизеветтеру принадлежит неоспоримая заслуга в том, что «научно-объективный метод разработки архивного материала» он «почти впервые» применил к явлениям недалекой от современности истории, а главное — широко понял задачу критического исследования. Именно всесторонний источноковедческий анализ способствовал решению конкретно-исторических вопросов: как думала Екатерина, под влиянием какой культурной и правовой рецепции сложилось «Городовое положение» и как общество осуществляло на практике мысль закона⁵⁷.

Один из учеников Кизеветтера, известный публицист, находившийся с Кизеветтером в эмиграции, — А. Изюмов вспоминал о докторской защите Кизеветтера: «...официальные оппоненты М. К. Любавский и Ю. В. Готье, оба не обладали ораторскими дарованиями. Александр Александрович отвечал метко, с достоинством и явным превосходством перед своими оппонентами в умении говорить с кафедры»⁵⁸.

Многие труды Кизеветтера, опубликованные позднее как в России, так и в эмиграции, свидетельствовали о стабильности его научного интереса к истории XVIII в., эпохе Екатерины,

ее законодательной и социальной политике и т. д. и продолжали разработку начатых в магистерской и докторской диссертациях сюжетов. Труды Кизеветтера дали новую оценку деятельности Екатерины II. Кизеветтер выступил против общепринятой схемы, подкрепляемой трудами В. А. Бильбасова и А. Г. Брикнера и отчасти П. Н. Милюкова, о том, что Екатерина II, охваченная идеями Просвещения, цель своей политической программы видела в уравнивании сословий, уничтожении деспотизма и крепостного права, и лишь во второй период своей деятельности она стала истинно «дворянской царицей».

Опираясь на основательное изучение законодательных мер и социальной политики Екатерины, Кизеветтер утверждал, что Екатерина II с самого начала своего правления защищала интересы дворянства и никогда не помышляла об отмене крепостного права; в этом она следовала традициям Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы; восприятие идеологии просвещенного абсолютизма не противоречило самодержавно-дворянской направленности ее политики⁵⁹.

Кизеветтера глубоко интересовала социально-психологическая проблема: в чем источник победоносных успехов Екатерины II? Он полагал, что страстность натуры и расчетливое самообладание при выборе средств для достижения целей, а также реклама, рассчитанная не на тонких наблюдателей, а на рядовую массу, служили прочной основой венценосной деятельности императрицы. Екатерине II чужды были сомнения и разочарования — свойство творческих натур, «промахов и неудач не полагалось в формуляре ее деяний»⁶⁰, а ее способность к публицистическим и драматическим опусам находилась на уровне дилетантизма. «Все это хорошо ровно настолько, — писал он, — чтобы не опуститься ниже общепризнанных литературных потребностей своего времени»⁶¹.

Значительным было внимание Кизеветтера к вопросам общественного сознания. Оно проявлялось и в изучении общественной инициативы русского общества в период законодательной деятельности Екатерины, и в интересе к историко-культурным процессам и явлениям эпохи.

Решение вопроса об уровне общественной самодеятельности екатерининского времени он ставил на почву документального анализа губернских наказов, источников и способов их составления и реализации в практике городской жизни. Выступая против априорного вывода об «убожестве» политической подготовки русского общества, он в то же время доказывал, что имеющий место принцип сословности в реальной жизни «вступал в коллизию с историческими прецедентами», т. е. каждая группа населения составляла свои требования особо, а не вырабатывала их совместно. Поэтому «торжественно провозглашенное Екатериной объединение всего города в одно сословное общество... — писал он, — оказалось шпигитым белыми нитками»⁶².

Наблюдения Кизеветтера о культуре и идеологии эпохи

содержались во многих его статьях, но особенно яркое выражение нашли в созданном им олицетворяющем время портрете Ф. В. Ростопчина. Ему, по мнению Кизеветтера, были свойственны идеалы независимого гражданина и идеи политического рабства, убежденность в том, что благо общества достигается бесправием. Корни подобных суждений Кизеветтер видел в защите незыблемости дворянских привилегий и крепостной зависимости крестьян⁶³. Социальный фактор, таким образом, ставился историком в основу понимания общественных явлений.

При изучении XVIII в. особый интерес Кизеветтер проявлял к истории народных движений. Он написал ряд статей, посвященных восстанию Пугачева, рассматривая его как соединение казацкого и крестьянского потоков. Последний он называл русской Жакерией, поражение ее связывал с отсутствием подготовки, плана, единения с казаками, неумелым руководством Пугачева, которого считал дюжинным человеком, неспособным к руководству большим движением. Характерно, что причины казацких и крестьянских выступлений он усматривал в социальной противоречивости, порожденной всем укладом тогдашней России⁶⁴.

30 мая 1909 г. Кизеветтер был утвержден в степени доктора русской истории⁶⁵. Работа, которую он продолжал вести в Московском университете, совмещая ее с преподаванием в Университете Шанявского и на Высших женских курсах, поглощала много времени.

Жена Кизеветтера записала в своем дневнике распорядок его рабочих дней за неделю. Эта запись относится к июню 1908 г. «Понедельник, утро — университет, вечер — университет; вторник — университет; среда — день редакции, вечер — Шанявский; четверг, пятница — университет, вечер — прием; суббота днем — редакция, вечер — курсы; воскресенье — дома — дела»⁶⁶.

В университете Кизеветтер читал общие и специальные курсы по истории России XVIII и XIX вв.

Особенностью лекций Кизеветтера было то, что при популярной и выразительной форме они отражали достижения современной науки, были по сути своей глубоко научными. В курсах лекций уделялось значительное место теории и методологии истории. Он читал и специальный курс под названием «Введение в историю», сохранившийся, к сожалению, в черновых отрывках. Кизеветтер относил себя к сторонникам научно-реалистической школы, последователям позитивизма. Задачу истории он видел в изучении реальных закономерных связей между элементами исторического процесса и их многообразных сочетаний⁶⁷.

В традициях своих предшественников и учителей (Соловьев, Ключевский) он признавал общие закономерности исторического развития как органического, объективного процесса и в то же время подчеркивал его своеобразие, обусловленное конкретно-историческими условиями (территория, население, географиче-

ский фактор, роль колонизационных процессов и т. д.). Актуальной Кизеветтер считал проблему личности в истории, отрицал значение личности как творца исторического процесса и в то же время предостерегал от ее недооценки.

В лекциях Кизеветтера ставился вопрос о необходимости следовать научному подходу в осмыслении исторического материала. Он подчеркивал особую значимость историко-философских обобщений, тесно связанных с мировоззренческими позициями исследователей, ставил сложную методологическую задачу определения связи этих обобщений с детальным изучением исторических явлений. Применение сравнительно-исторического метода исследования признавалось им подлинно научным при соблюдении горизонтального и вертикального анализа рассматриваемых явлений, что обеспечивало использование конкретно-исторического подхода и принципа историзма⁶⁸.

Истинно научное и относительно полное знание, по мысли Кизеветтера, должно быть основано на изучении не только источников, но и различных его толкований, точек зрения. Поэтому развитие научной мысли невозможно без дискуссий. «Споры, — писал он, — выражают внутреннее содержание движения науки»⁶⁹, их прекращение он считал «смертью научного прогресса». Изучение научных контrovers представлялось ему плодотворным путем проникновения в сущность изучаемого предмета.

Взгляды сторонников исключительного своеобразия русской истории, так же как и ее полного тождества с историей западноевропейских стран, представлялись ему «противоположными крайностями», не согласными с «основами научного миросозерцания»⁷⁰.

В истории России он видел те же процессы, которые были характерны и для европейских стран. Вместе с тем он считал, что эти процессы «протекают сравнительно более медленным темпом и принимают сравнительно более тусклые очертания»⁷¹. История России, таким образом, считал он, представляет одну из местных вариаций того общего исторического процесса, который разворачивается во всех странах европейской культуры.

Общая канва русской истории представлялась Кизеветтеру в следующем виде. VIII—IX вв. древней истории он заполнял значительными колонизационными процессами, в истории древних славян усматривал зародыши государственной формы, отрицая мнение об их низком, «звероподобном» образе жизни; признавал факт призвания, но не завоевания варягов. Историю древнерусской государственности Кизеветтер вел не от приднепровской, а от северо-восточной Руси. Киевская Русь представляла для него лишь чисто археологический интерес. В политических объединениях государственного типа он усматривал только зародыши феодализма, понимая последний в политическом и социальном плане; окончательное установление единой державы в борьбе с удельным периодом относил к XVI в. Эпоха правления Петра I

и Екатерины II олицетворялась им с неограниченной монархией, опирающейся на закрепощение всех разрядов населения и резкое социальное неравенство.

Согласно его исторической схеме, в традициях предшественников со второй половины XVIII в. в России происходил процесс раскрепощения общества, как дворянства, так и крестьянства. Последующий ход русской истории — XIX век характеризовали глубокие изменения: рост промышленности, отмена крепостного права и буржуазное развитие. Ко второй половине XIX в. относились «первые усеченные элементы правового строя» в виде земского самоуправления и новых судов. Дальнейшее развитие капитализма и правового строя Кизеветтер связывал с установлением конституционной монархии.

В лекциях Кизеветтера, впрочем так же как и в его статьях, проявлялся живой интерес к исторической личности. Это сказывалось в созданных им портретах исторических деятелей: Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II, Александра I, Сперанского, Аракчеева, Александра II, деятелей реформ 60-х годов и общественного движения XX в. Научные позиции историка отражали передовой уровень русской исторической науки конца XIX — начала XX в.

И не случайно Ключевский, когда стало очевидным, что он по болезни не может возглавлять кафедру русской истории в университете, посчитал своим лучшим преемником Кизеветтера⁷². Сохранилась характеристика, которую он написал Кизеветтеру в 1910 г. в связи с предполагавшимся замещением им должности профессора.

«Честь имеем, — писал Ключевский, — рекомендовать историко-филологическому факультету приват-доцента А. А. Кизеветтера для замещения экстраординатуры по кафедре русской истории; ...Факультет, хорошо зная Кизеветтера как прекрасного, образованного, опытного и талантливого преподавателя, в минувшем академическом году поручил ему обязательный курс по новейшей истории. Два капитальных исследования по русской истории и 21 год преподавательской деятельности, из коих 11 лет посвящены Московскому университету, смеем думать, достаточно ручаются за то, что в господине Кизеветтере факультет приобретает испытанного и вполне надежного сотрудника»⁷³.

Однако Министерство народного просвещения не утвердило Кизеветтера профессором университета. Примерно в это время произошла история, которая заставила Кизеветтера надолго покинуть университет.

1910—1911 годы в истории Московского университета отмечены были большим накалом революционных настроений. Фактическое уничтожение университетской автономии, открытое вмешательство полицейских властей в жизнь университета привели к возникновению митингов протеста, студенческих сходок. Университетская администрация в этих условиях бессильна была обеспечить нормальный ход учебного процесса.

Ректор университета А. А. Мануйлов и два его помощника — профессора М. А. Мензбир и П. А. Минаков подали в отставку. «Весь Совет (университета.— М. В.), кроме Брандта, — записала в своем дневнике Е. Я. Кизеветтер, — одобрил подачу в отставку ректора и его помощников»⁷⁴. Кизеветтер был очень озабочен этой историей, ездил к В. И. Вернадскому, разговаривал с Д. М. Петрушевским, осуждал уклончивую позицию Виппера⁷⁵.

Когда же министерство Кассо уволило из университета подававших в отставку профессоров, которые на занимаемые ими должности были выбраны Советом университета, то большая группа профессоров, в том числе и Кизеветтер, покинули университет. В их числе были К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев, Н. А. Умов, Н. Д. Зелинский, С. А. Чаплыгин, В. И. Вернадский, В. К. Церасский, В. П. Сербский и многие другие. Чувство протеста против давления сверху, а также солидарность и честь, свойственные этим ученым, ярко проявились в этом факте.

Последующая преподавательская деятельность Кизеветтера сосредоточилась в Университете Шанявского, на Высших женских курсах, в Коммерческом институте.

Народный университет имени Шанявского Кизеветтер считал «удивительным явлением в истории русской культуры», в истории русского образования, в котором органически соединились задачи науки и просветительства⁷⁶. Он был создан А. Л. Шанявским при помощи А. И. Чупрова и М. М. Ковалевского в 1905 г. и просуществовал более 10 лет. Университет состоял из научно-популярного (как средняя школа) и академического отделений. Академическое отделение являлось «высшей университетской школой» и делилось на две группы: естественную и общественно-философскую. Кроме этого существовали еще специальные циклы библиотековедения, школьно-педагогический, по истории кооперации, по местному самоуправлению и т. д.

В 1911 г. вместе с Кизеветтером из Московского университета в Университет Шанявского перешли Н. В. Давыдов, Вл. Соловьев, С. Трубецкой.

«Я читал свои курсы, — вспоминал Кизеветтер, — в главной большой аудитории... Какая пестрая картина, какое смешение возрастов, костюмов, типов! Я видел сидящими рядом офицера Генерального штаба и вагонновожато городского трамвая, университетского приват-доцента и приказчика от Мюра и Мерилиза, барыню с пушистым боа на шее и монаха в затрапезной рясе»⁷⁷.

В эти годы он издал два сборника — «Исторические очерки» (1912) и «Исторические отклики» (1915), составленные в основном из ранее опубликованных статей по русской истории XVIII и XIX вв. В 1915 г. вышла из печати его книга «Гильдия московского купечества», написанная по просьбе Московского купеческого общества. Книга продолжала темы, затронутые в исследованиях о посадской общине и «Городовом положении» 1785 г. На основе архивных материалов автор доказывал, что самостоятельность городских учреждений на протяжении всего

XVIII и XIX вв. определялась ролью первостатейного купечества, которую оно играло благодаря своему экономическому положению.

Февральская буржуазно-демократическая революция не оставила Кизеветтера безучастным. Ее принятие естественно следовало из убеждений и деятельности Кизеветтера как члена кадетской партии.

Жена Кизеветтера записывала в дневнике от 3 марта 1917 г. впечатления от революционных событий тех дней: «...Не сон ли все, что произошло. В три дня все сметено, все! От старой власти ничего не осталось... Сейчас последнее сообщение по телефону из „Русских ведомостей“. Розенберг сообщает: „Николай отрекся от престола“... Саша сидит и торопится писать воззвание от комитета партии народной свободы... и читает мне заголовок своей статьи: „Отречение Николая II“»⁷⁸.

Статья под этим названием была опубликована 4 марта 1917 г. в «Русских ведомостях». Факт отречения Николая II Кизеветтер оценивал как «величайшую дату» в истории страны, как освобождение от деспотизма. В газетных статьях этого времени он неоднократно высказывался за парламентскую республику, буржуазную свободу, он осуждал большевизм и его программу; присоединял свой голос к сторонникам доведения империалистической войны до победного конца⁷⁹.

Как член ЦК кадетской партии он довольно активно пропагандировал идеи своей партии, отражая общий процесс ее поправления. В период июльского кризиса на заседании ЦК кадетской партии (19—20 июля 1917 г.) Кизеветтер находился в числе тех, кто обсуждал вопрос об установлении в стране открытой кадетской диктатуры⁸⁰.

Логика убеждений Кизеветтера, как очевидно, не могла привести его к признанию Великой Октябрьской социалистической революции. Он был принципиальным противником революционных методов преобразования российской действительности.

В первые годы Советской власти до эмиграции в 1922 г. продолжалась его преподавательская и просветительская работа. Еще в марте 1917 г. по возвращении Мануйлова в качестве ректора Московского университета вернулся в университет и Кизеветтер.

С декабря 1918 г. по приглашению Южина-Сумбатова, бывшего в то время директором Малого театра, он читал лекции по русской истории на Драматических курсах при Малом театре⁸¹. Однако в 1920 г. Кизеветтеру, Випперу и Богословскому как проводникам старой буржуазной культуры было запрещено чтение лекций в высших учебных заведениях; их деятельность ограничивалась работой с начинающими учеными. Материальные трудности заставили Кизеветтера какое-то время работать чиновником архива Министерства иностранных дел. В качестве члена культурно-просветительского отдела Московской области «Союза кооперативных объединений» он ездил по стране с чте-

нием лекций перед небольшими аудиториями (Ярославль, Тверь, Тула и др.).

Кизеветтер принимал участие в заседании в Художественном театре, где обсуждался вопрос об организации Общества друзей чеховского музея. По словам участника событий Н. М. Мендельсона, Кизеветтер на этом заседании говорил умно и предостерегал от тенденции основывать новые музеи, не охраняя и не оберегая старые. В январе 1922 г. он выступал на вечере в память В. Г. Короленко, в марте — на юбилейном заседании, посвященном 60-летию со дня вступления в труппу Малого театра Г. Н. Федотовой⁸², и др.

Сложная обстановка первых лет Советской власти, неоднозначное отношение к старой дореволюционной интеллигенции тяжело отразились на судьбе Кизеветтера. Как бывший член ЦК кадетской партии он привлекал пристальное внимание ВЧК. За период с 1918 по 1921 г. его трижды арестовывали. Во время одного из пребываний в Бутырской тюрьме в течение 3,5 месяца он перевел на русский язык книгу «Charbe Poux Napoleon III, Alexandre II et Gortchakoff». Книга была принята к печати издательством Сабашникова, но осталась неизданной.

Когда Кизеветтера арестовали во второй раз, его жена, по свидетельству А. Флоровского, одного из самых близких людей Кизеветтера эмигрантских лет его жизни, обратилась за помощью к М. Н. Покровскому. Последний, однако, советовал ей «успокоиться на мысли, что все хлопоты напрасны и что Кизеветтера не выпустят»⁸³. Сам же Кизеветтер предполагал, что на этот раз в его освобождении из тюрьмы могли сыграть роль заботы Д. Б. Рязанова (чтившего Кизеветтера как крупного ученого и преподавателя) и хлопоты швейцаров и служителей Университета Шанявского, хорошо знавших известного профессора, привлекавшего их своим демократизмом.

В третий раз Кизеветтер был арестован в 1922 г. в Иваново-Вознесенске, где он читал лекции в эвакуированном туда Рижском политехникуме. Кизеветтер был препровожден в Москву и около месяца находился в заключении.

В августе 1922 г. в квартире Кизеветтера был произведен очередной обыск, а сам он был оставлен под домашним арестом⁸⁴.

В конце 1922 г. из страны готовилась депортация большой группы старой интеллигенции.

В дневнике хорошо знавшего Кизеветтера историка литературы Н. М. Мендельсона содержатся записи от 27 августа и 3 сентября 1922 г.: «Из Москвы высылают около 60 человек. Наверное, высылаются Бердяев, Кизеветтер, Стротонов, Розенберг, Айхенвальд, Ясинский... Из Петербурга — Лосского, Селиванова... Мотивы: за пять лет существования советской власти ничем активно не проявили своего сочувственного к ней отношения»⁸⁵. И далее: «Говорят... что Кизеветтер прощен и не высылается. А он все распродал, квартиру передал и сейчас не знает, как быть»⁸⁶. И действительно, расписка от 10 сен-

тября 1922 г. подтверждала, что А. А. Кизеветтер «продал обстановку квартиры» В. А. Кудрявцеву (пасынок Кизеветтера оставался в России) и получил 200 тыс. руб. образца 1922 г.⁸⁷

Последнее сохранившееся свидетельство о жизни Кизеветтера в России принадлежит тому же Мендельсону. 18 сентября 1922 г. он записывал в своем интересном фактами дневнике: «Видел А. Кизеветтера. Простился с ним. По застенчивости не сказал всего, что хотелось сказать этому милому человеку»⁸⁸.

Московская группа профессуры, предназначавшаяся к высылке из России, получила разрешение на выезд в Германию.

Вечером 28 сентября 1922 г. из Петрограда на немецком пароходе «Oberbürgermeister Naken» Кизеветтер с семьей отбыл в Штеттин. Оттуда все были отправлены в Берлин и затем разъехались по разным странам. Кафедра русской истории Лейпцигского университета предложила Кизеветтеру работу, но он отклонил это предложение ввиду необходимости читать лекции на немецком языке, что было для него затруднительно. Вместе с небольшой группой ученых он был вызван в Прагу, где в 1921 г. правительство Масарика учредило ряд вакансий для русских ученых-эмигрантов. 1 января 1923 г. Кизеветтер переехал в Прагу, где и прожил оставшиеся 10 лет своей жизни.

В Чехословакии к этому времени образовалась уже большая русская колония. Начало «русской акции» здесь было положено в 1921 г. организацией Комитета помощи русским студентам и Автономной учебной комиссией, задача которой состояла в том, чтобы обеспечить профессиональной работой русскую профессуру и ученых⁸⁹.

В Праге были созданы профессиональные корпорации: Союз русских академических организаций за границей, Педагогическое бюро по делам средней и высшей школы, Объединение русских учительских и студенческих организаций. Все эти корпорации состояли из ряда групп, союзов, организаций. Так, в Союз русских академических организаций входили Общество русских ученых за границей и другие группы.

В Праге были основаны Русский юридический институт по принципу и с правами русских государственных университетов, Училище техников путей сообщения, Кооперативный институт, коммерческо-бухгалтерские курсы, русская реальная гимназия в составе 6 классов и с приготовительным отделением.

Кизеветтер сразу же был захвачен всей этой деятельностью. Он вошел в состав Академической группы, Педагогического бюро, был председателем историко-филологического отделения Учебной комиссии, являлся членом Русского института в Праге, профессором русской истории в Русском юридическом институте, возглавляемом П. И. Новгородцевым, в Русском педагогическом институте. Вместе с Новгородцевым он принимал участие в создании и деятельности Русского народного университета в Праге;

читал курс русской истории на филологическом факультете Карлова университета.

По поручению Русского народного университета Кизеветтер много ездил по Чехословакии, где были русские или русско-чешские культурные объединения, и читал лекции о русской истории и культуре. Ему приходилось читать лекции и в среде местного населения, на курсах преподавателей в городах Подкарпатской Руси, Прибалтики.

Как член Русского научного института в Берлине он читал там лекции по курсу русской истории; в 1929 г. более месяца — в Русском научном институте Белграда.

Лекции Кизеветтера пользовались огромным успехом и собирали многочисленные аудитории учащихся, учителей, любителей истории, поклонников его ораторского искусства. В одном из своих писем от 16 апреля 1927 г. из Белграда к родным он писал, что «все сербские газеты поместили его портреты и приветственные речи», а в одной из газет было написано, что «успеху Кизеветтера могут позавидовать Анна Павлова и Шаляпин». Здесь же он шутливо добавлял, что они не могут позавидовать его гонорару⁹⁰.

Современники считали Кизеветтера самым популярным оратором и лектором Праги и всей русской эмиграции.

А. Флоровский, задумываясь над особенностями лекторского искусства Кизеветтера, писал, что его лекции не были «бурным проявлением внутреннего жара», энтузиазма и «свободного слова»; в речах и выступлениях Кизеветтера «всегда присутствовали внутренняя дисциплина... сдержанность... Запас вдохновения и внутреннего подъема в его речах поддавался сдерживающей обработке внешней гармонии и размеренности»⁹¹. Флоровский и Милюков успех Кизеветтера связывали с его умением сохранить традиции «величайшего искусства» публичных выступлений его учителя Ключевского. «Самые его достоинства и таланты, — вспоминал о Кизеветтере Милюков, — его искрящееся остроумие и блестящий талант изложения невольно влекли его к подражанию нашему несравненному Василию Осиповичу»⁹².

Нравственную сторону личности Кизеветтера характеризовала его верность традициям учителя, что проявлялось и в научной концепции, и в лекторской манере, и в памяти об учителе, открывшем для него главное в жизни — постоянную потребность к «высшим радостям» — научной работе. Очевидно, в этом коренились психологические корни творчества Кизеветтера.

Ключевскому Кизеветтер посвятил более 30 статей и заметок. И не случайно его первой статьей в эмиграции был очерк о Ключевском.

Ни одно сколько-нибудь крупное культурное событие в среде русской эмиграции не происходило в эти годы без участия Кизеветтера. В сентябре 1928 г. он был участником съезда ученых и съезда писателей в Белграде. В числе 12 членов съезда ученых Кизеветтеру была вручена звезда Св. Саввы — один из самых

высоких орденов Югославии. В 1930 г. он был выбран председателем V съезда русских ученых за границей, на котором присутствовали И. Куприн, П. Б. Струве, Е. Ф. Шмурло, С. В. Завадский. Значение этих съездов для русских эмигрантов было огромным: встречи, воспоминания, единение в пропаганде русской науки и культуры. Почти ежегодно Кизеветтер выступал на так называемых Днях русской культуры, проводившихся по инициативе специально созданного эмигрантского комитета.

Кизеветтер приехал в Прагу, когда ему было 57 лет. Первые годы жизни в Праге были сопряжены с материальными трудностями. В Прагу с Кизеветтером приехали жена, дочь Екатерина и большая падчерица Наталья.

Через несколько лет эмиграции Кизеветтер жил в «комфортабельном большом доме на одной из главных артерий Праги, недалеко от теперешней высотной гостиницы „Интернациональ”»⁹³. В этом доме жили также В. М. Чернов, писатель Е. Н. Чириков, профессор гражданского права, известный знаток А. С. Пушкина С. В. Завадский, А. В. Флоровский.

«Жители дома, — вспоминал Д. И. Мейснер, эмигрант, в 60-х годах возвратившийся в Россию, — могли видеть, как по утрам» Кизеветтер, «этот высокоталантливый лектор и оратор — многим русским эмигрантам живо памятливы его лекции о прошлом их страны, о деятельности Петра I и об эпохе Екатерины II, — выходит из своего дома бодрым, стремительным, но не совсем верным шагом... Кизеветтер торопится к трамваю на лекцию, собрание, в библиотеку, с маленьким складным стулом под мышкой в большой пражский парк — Стромовку, где он и располагался в тени, обложенный книгами и рукописями. Иногда он задумчиво, а то и очень темпераментно беседует сам с собой, прохаживаясь по аллеям парка. В другой же раз, спеша по улицам Праги, тихонько напевает какие-то бравурные песенки. Маленький, старый, с большой уже побелевшей бородой, с живыми беспокойными глазами и с неистощимым красноречием, щедро отмеренным ему судьбой»⁹⁴.

Фактом огромного культурного значения было создание Русского заграничного исторического архива в Праге. Основной целью создания этой организации было собирание материалов по истории русских революций 1905 и 1917 гг., мировой войны, а также документов, связанных с русской эмиграцией. Кизеветтер возглавил совет архива и его учебно-административную комиссию. Вслед за ним в работу включились В. А. Мякотин, Е. Ф. Шмурло, А. В. Флоровский, Д. И. Мейснер. В итоге их деятельности был собран огромный фонд русских, как дореволюционных, так и советских газет и журналов, русских эмигрантских изданий с центрами в Нью-Йорке, Париже, Праге, Берлине, Белграде, Софии, Шанхае и в других городах, журналов на славянских и других иностранных языках. Специальный отдел архива содержал источники по различным вопросам русской истории.

После Великой Отечественной войны Русский заграничный исторический архив был передан чехословацким правительством Академии наук СССР. В числе работников архива, принимавших участие в его передаче, находился Д. И. Мейснер.

Научно-патриотический смысл Кизеветтер видел и в своей деятельности в Русском историческом обществе, организованном в 1925 г. в Праге. Он являлся одним из учредителей этого общества, входил в состав его президиума, был товарищем председателя, а после ухода в 1930 г. с этого поста Е. Ф. Шмурло стал его председателем. Русское историческое общество в Праге заботилось о консолидации историков, их связях, сохранении «русской исторической школы» в эмиграции, научных традиций и передаче их молодому поколению.

В годы эмиграции Кизеветтер много писал. Он постоянно печатал свои статьи и рецензии в эмигрантских изданиях: в сборнике «Крестьянская Россия», в журналах «На чужой стороне», «Воля народа». Он опубликовал второе издание книги о Щепкине, брошюру о Московском университете, участвовал в создании истории Московского университета, на чешском языке вышла его книга о выдающихся русских артистах. Им был составлен курс истории России для французского читателя под редакцией П. Н. Милюкова, Сеньбоса и Эйземана⁹⁵.

Его научные статьи почти не содержали каких-либо новых материалов или новых подходов. Как правило, это было изложением ранее опубликованных статей, иногда в новой внешней подаче, а по существу с сохранением старых позиций. Подобный характер имела его книга «Исторические силуэты. Люди и события» (Берлин, 1931), состоящая в основном из ранее опубликованных в России очерков о Екатерине II, Потемкине, Грановском и ряда литературоведческих статей о «Воине и мире» Толстого и «Горе от ума» Грибоедова.

Однако значительный научный интерес для уяснения общетеоретических взглядов в последний период жизни Кизеветтера представляли его статьи об «Общих построениях русской истории в современной литературе» и о евразийстве⁹⁶. Он выступил против точек зрения Б. Э. Нольде и И. Бунакова. Первый из них утверждал, что русский народ не способен к «государственному творчеству», апатичен и анархичен; второй считал, что свойством русской души является склонность к крепостническому укладу, эталоном которого служит Московское царство.

Кизеветтер выступал, таким образом, как против построений, в которых русская история совершалась без русского народа, так и против мнения о том, что русский народ лишен истории. Остро и решительно он осуждал идею признания России Евразией. По теории евразийства во главу угла ставилась мысль о месторазвитии (Восточноевропейская равнина, Сибирь, Средняя Азия), которое якобы предрекало преобладание в историческом развитии России восточных, азиатских элементов.

Историю России Кизеветтер рассматривал как историю, в кото-

рой участвовал народ, признавал присущие ей общие с европейскими странами в социальном и политическом плане черты, видел специфические особенности ее замедленного развития и ставил Россию в ряд с другими европейскими государствами.

Истинным событием и для самого Кизеветтера и для всех читающих его труды и в эмиграции и в России был выход его высокохудожественных, со свойственным ему чувством исторического такта «Воспоминаний».

Эта книга была последней значительной работой Кизеветтера, итогом пройденного пути, книгой размышлений о прошлом. Не случайно выход этой книги почитатели его таланта, эмигранты связывали с его юбилеем, от проведения которого он отказался. «В своей новой, прекрасной книге,— писал Кизеветтеру известный деятель кадетского либерализма И. И. Петрункевич,— Вы изобразили так прошлое, да и наше прошлое, как никакие застольные речи и никакие адреса сделать этого не могли бы. На примере собственных переживаний Вы дали нам картину старой Москвы... Славная плеяда ваших предшественников... Грановский, Ключевский, Чупров.... нашли в Вашем лице... достойного продолжателя... Вырванный из родной почвы политической бурей, Вы и на чужбине не изменили своему призванию проповедника русской культуры, и ревностью апостола Вы разносите драгоценнейшие ее дары по всем пределам временного расселения русских изгнанников»⁹⁷. Эти слова были высокой оценкой роли Кизеветтера, принявшего эстафету русской национальной культуры от его великих русских предшественников.

Заполненная преподавательско-просветительской и научной работой жизнь Кизеветтера не могла заглушить его тоски по России.

Поездка в 1927 г. в Ригу вызвала у него ассоциации с Россией. «Хожу по улицам,— писал он,— и наслаждаюсь, все в снегу, солнце сияет и мороз 10—15°. Россия!»⁹⁸.

В письме к дочери из Юрьева в 1929 г. он писал: «Проснулся утром, испытал удивительное чувство: точно я волшебством перенесся в Россию. В коридоре слышались русские голоса, а с улицы доносился звон колоколов православной церкви»⁹⁹.

В день своего шестидесятилетия Кизеветтер написал стихотворение, которое глубоко выражало его душевное состояние:

Опять свершился круг годичный,
И, снова грусть в душе тая,
Певучий щебет мелодичный
Все в той же роще слышу я.
Я неподвижен поневоле,
Но глубже грусть в душе моей,
И мне мучительно до боли —
В Россию хочется скорей¹⁰⁰.

По словам его дочери, Екатерины Александровны (в замужестве Максимович), Кизеветтер постоянно думал о России. Однако в Россию он так и не возвратился. В годы эмиграции

он похоронил жену, падчерицу, болел диабетом и чувствовал себя безмерно одиноким. Он скоропостижно скончался в Праге, в своей квартире 9 января 1933 г.

«Мне невыразимо грустно, — писала одна из эмигранток в соболезновании дочери Кизеветтера, — что Александр Александрович кончил в чужой земле, так пламенно любя Москву, так верно и долго любя Россию»¹⁰¹.

Смерть Кизеветтера была большой нравственной потерей для всей русской эмиграции. Его жизнь в Праге глубокими нитями была связана с русской землей.

«Он привез с собой в Прагу Россию, Москву, — вспоминала жившая в Праге О. А. Васнецова, родственница художников Васнецовых, — и теперь без него особенно чувствуется, что мы в чужой стране. Бывало, сидишь у вас за столом, слушаешь его и забудешь, что находишься в Чехии, кажется, что выйдешь на улицу и услышишь русскую речь, увидишь Кремль и пойдешь к себе в квартиру в Замоскворечье»¹⁰².

Кизеветтера похоронили на Ольшанском кладбище в Праге 11 января 1933 г. На его могиле стоит памятник, воздвигнутый на средства русских эмигрантов, собранные Русским историческим обществом.

Задумываясь над судьбой ученого, невольно обращаешься к особенностям его творческой личности, нравственным устоям, которые в конечном счете определяли истоки его научной деятельности.

Верность традициям предшественников, высокий профессионализм, строгость в применении научного метода, неприятие конъюнктуры и спекулятивных суждений обеспечивали научность и обоснованность результатов его исследований. В подходе к осмыслению исторического процесса он призывал опираться на изучение реальных общественных отношений; в объяснении исторических явлений выдвигал социальные основы. Это было особенно заметно в основных трудах Кизеветтера по истории XVIII в. и свидетельствовало о приверженности его передовым идеям исторической науки.

Разумеется, в интересе Кизеветтера к формам самоуправления, уровню самосознания в изучаемом им обществе XVIII в. отражались и его политические взгляды, стремление усмотреть ростки правовых начал в историческом прошлом. Однако политическая сторона никогда не преобладала в его научном творчестве и не перекрывала его научных результатов.

¹ Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. С. 344—345.

² РО ГБЛ. Ф. 566. К. 3. Д. 6. Л. 1.

³ Там же. Л. 41.

⁴ Там же. К. 36. Д. 16. Л. 7—15.

⁵ Там же. К. 3. Д. 6. Л. 58.

⁶ *Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий: Воспоминания. Прага, 1929, С. 50, 51.

⁷ Там же. С. 64.

- ⁸ Там же. С. 71.
- ⁹ Там же. С. 71, 81—86, 89.
- ¹⁰ Там же. С. 86.
- ¹¹ Там же. С. 87.
- ¹² Там же. С. 77.
- ¹³ Там же. С. 81.
- ¹⁴ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 4. Д. 1. Л. 1.
- ¹⁵ Там же. К. 3. Д. 11. Л. 1.
- ¹⁶ Там же. Д. 5. Л. 6.
- ¹⁷ Там же. Л. 2, 6, 8; *Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий. С. 258—269.
- ¹⁸ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 1. Д. 4. Л. 12—13; Памяти Кудрявцева. А. А. Кудрявцев. М., 1893; А. А. Кудрявцев // Русские ведомости. 1893. 10 марта, 22 апр.
- ¹⁹ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 3. Д. 5. Л. 1.
- ²⁰ ЦГИА г. Москвы. Ф. 418. Оп. 487. Д. 213. Л. 1—7.
- ²¹ РО ГБЛ. Ф. 70. К. 32. Д. 3. Л. 29—30; Д. 7. Л. 2.
- ²² Там же. Ф. 566. К. 28. Д. 13. Л. 3.
- ²³ Там же. Л. 4.
- ²⁴ *Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий. С. 170.
- ²⁵ Там же. С. 235—241.
- ²⁶ Там же. С. 183.
- ²⁷ Там же. С. 276.
- ²⁸ Там же. С. 275.
- ²⁹ Там же.
- ³⁰ Там же. С. 267—268.
- ³¹ *Кизеветтер А. А.* Посадская община в России XVIII ст. М., 1903. С. IV.
- ³² *Кизеветтер А. А.* Речь перед диспутом // Русская мысль. 1904. Кн. 1. С. 159.
- ³³ *Кизеветтер А. А.* Посадская община в России XVIII столетия: Ист. очерки. М., 1912. С. 260.
- ³⁴ Диспут А. А. Кизеветтера // Ист. вестн. 1904. Февр. С. 803—807; Русские ведомости. 1904. 19 дек.
- ³⁵ *Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий. С. 277—278.
- ³⁶ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 28. Д. 1. Л. 6—7.
- ³⁷ Чтения в Историческом обществе истории древностей российских при Московском университете: Отчет об одиннадцатом присуждении премии Г. Ф. Карпова. М., 1906. Кн. 4.
- ³⁸ *Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий. С. 363.
- ³⁹ Там же. С. 364—365.
- ⁴⁰ Там же. С. 358—366; *Телешов Н.* Записки писателя. М., 1952. С. 33.
- ⁴¹ *Кизеветтер А. А.* На московском журфиксе // Руль. 1930. 7 сент.
- ⁴² *Кизеветтер А. А.* Первый общедоступный театр в России. М., 1901; *Он же.* Театральные заметки: Анатема — Цезарь и Клеопатра // Русская мысль. 1909. № 11; *Он же.* Театральные заметки: Московская драматическая сцена // Там же. 1911. № 5, 12; 1912. № 2, 5; *Он же.* Театр в России в эпоху Отечественной войны // Там же. 1912. № 11. *Он же.* М. С. Щепкин: Эпизод из истории русского сценического искусства. М., 1916; *Он же.* Театр: Очерки, размышления, заметки. М., 1922; и др.
- ⁴³ *Шаццлло К. Ф.* Русский либерализм накануне революции 1905—1907 гг. М., 1985. С. 110—111.
- ⁴⁴ *Флоровский А.* Александр Александрович Кизеветтер // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага; Нарва. 1937. Кн. 3. С. 178.
- ⁴⁵ *Кизеветтер А. А.* Нападки на партию народной свободы и возражение на них. М., 1906. *Он же.* Вторая Государственная дума // Русская мысль. 1907. № 7. *Он же.* Партия народной свободы и ее идеология. М., 1917; *Он же.* П. Н. Милюков. М., 1917; *Он же.* На рубеже двух столетий. С. 390—466.
- ⁴⁶ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 19. Д. 1. Л. 5, 9, 13—17, 46, 99, 139—140 и др.; *Кизеветтер А. А.* Союзники старого порядка // Русская мысль. 1907. Кн. 1. С. 46—55; *Он же.* На рубеже двух столетий. С. 411—466.
- ⁴⁷ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 19. Д. 1. Л. 20—21.
- ⁴⁸ *Кизеветтер А. А.* Союзники старого порядка // Русская мысль. 1907. Кн. 1. С. 46—55.
- ⁴⁹ Там же. С. 27; РО ГБЛ. Ф. 566. К. 19. Д. 1. Л. 20—21.

- ⁵⁰ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 19. Д. 1. Л. 5.
- ⁵¹ Там же.
- ⁵² Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий. С. 413—466; Шелозаев В. В. Кадеты — главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905—1907 гг. М., 1983. С. 260, 270, 279.
- ⁵³ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 19. Д. 1. Л. 27.
- ⁵⁴ Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий. С. 466.
- ⁵⁵ Там же.
- ⁵⁶ Кизеветтер А. А. Городовое положение Екатерины II. М., 1909.
- ⁵⁷ Говье Ю. В., Кизеветтер А. А. Городовое положение Екатерины II // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1909. Сент. С. 206—219.
- ⁵⁸ Изюмов А. Страничка воспоминаний // Записки Русского исторического общества в Праге. Кн. 3. С. 210.
- ⁵⁹ Кизеветтер А. А. Екатерина II как законодательница: Речь перед докторским диспутом / Русская мысль. 1909. № 12; *Он же*. Историческое значение царствования Екатерины Великой // Образование. СПб., 1896. № 11.
- ⁶⁰ Кизеветтер А. А. Екатерина II: Ист. силуэты: Люди и события. Берлин, 1931. С. 24.
- ⁶¹ Там же. С. 27.
- ⁶² Кизеветтер А. А. Происхождение городских депутатских наказов в Екатерининскую комиссию 1767 г.: Ист. очерки. М., 1912. С. 231.
- ⁶³ Кизеветтер А. А. Ф. В. Ростопчин: Ист. отклики. М., 1915.
- ⁶⁴ Кизеветтер А. А. Россия // Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Т. 55, [кн.] XXVII. СПб. 1899; *Он же*. Крестьянство в истории России // Крестьянская Россия: Сб. ст. по вопросам общественно-политического и экономического. Прага, 1923. Т. 3; *Он же*. Пугачевщина: Ист. силуэты: Люди и события; и др.
- ⁶⁵ ЦГИА г. Москвы. Ф. 418. Оп. 487. Д. 213. Л. 1—7.
- ⁶⁶ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 19. Д. 1. Л. 165.
- ⁶⁷ Там же. К. 7. Д. 12. Л. 27, 35; Кизеветтер А. А. История России XIX века. М., 1909. Ч. 1. С. 6.
- ⁶⁸ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 4. Д. 15. Л. 3; К. 7. Д. 3. Л. 23; К. 7. Д. 12. Л. 1—3, 7, 11, 20, 35.
- ⁶⁹ Там же. Ф. 261. К. 16. Д. 7. Л. 3.
- ⁷⁰ Кизеветтер А. А. История России XIX века. Ч. 1. С. 3—6; *Он же*. Россия на рубеже XVIII и XIX столетий: Вступительные лекции профессоров Московского императорского университета. М., 1909. С. 15—18; РО ГБЛ. Ф. 566. К. 9. Д. 3. Л. 1; К. 4. Д. 15. Л. 1; Ф. 218. Д. 822. Л. 1—10.
- ⁷¹ Кизеветтер А. А. Россия на рубеже XVIII и XIX столетий. С. 17.
- ⁷² Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 457—458.
- ⁷³ Там же.
- ⁷⁴ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 19. Д. 1. Л. 307.
- ⁷⁵ Там же.
- ⁷⁶ Кизеветтер А. А. А. Л. Шаняевский и университет его имени // Русская мысль. 1915. Дек.; *Он же*. Университет имени Шаняевского // На чужой стороне. Берлин; Прага, 1923. Кн. 3.
- ⁷⁷ Кизеветтер А. А. Университет имени Шаняевского. С. 175—176.
- ⁷⁸ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 19. Д. 1. Л. 486.
- ⁷⁹ Кизеветтер А. А. Амнистия // Русские ведомости. 1917. 8 марта; *Он же*. Партия народной свободы и республика // Там же. 18 марта; *Он же*. Партия народной свободы и Временное правительство // Там же. 9 (22) июля; *Он же*. Из думских впечатлений // Там же. 25 июля (7 авг.); и др.
- ⁸⁰ Думова Н. Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988. С. 179.
- ⁸¹ РО ГБЛ. Ф. 165. К. 1. Д. 8. Л. 38. Д. 9. Л. 1.
- ⁸² РО ГБЛ. Ф. 165. К. 1. Д. 6. Л. 41; Ф. 556. К. 9. Д. 1. Л. 510.
- ⁸³ Флоровский А. Александр Александрович Кизеветтер. С. 191.
- ⁸⁴ РО ГБЛ. Ф. 165. К. 1. Д. 1. Л. 2.
- ⁸⁵ Там же. Л. 4.

- ⁸⁶ Там же. Л. 8.
⁸⁷ Там же. Ф. 566. К. 3. Д. 11. Л. 1.
⁸⁸ Там же. Ф. 165. К. 1. Д. 11. Л. 10.
⁸⁹ Воля России. Прага, 1922. Дек. VII; Морской журнал. Прага, 1940. 22 марта; На чужой стороне. 1925. Кн. 12.
⁹⁰ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 28. Д. 54. Л. 12.
⁹¹ Флоровский А. Александр Александрович Кизеветтер. С. 196.
⁹² Милоков П. Три поколения // Записки Русского исторического общества в Праге. Кн. 3. С. 15.
⁹³ Мейснер Д. Миражи и действительность. М., 1966. С. 206.
⁹⁴ Там же. С. 206—207.
⁹⁵ Кизеветтер А. А. М. С. Щепкин: Эпизод из истории русского сценического искусства. Прага, 1925; Он же. Московский университет, 1855—1930: Ист. очерк. Париж, 1930; и др.
⁹⁶ Кизеветтер А. А. Об общих построениях русской истории в современной литературе: Ист. силуэты: Люди и события. С. 264—307; Он же. Евразийство и современная русская литература // Руль. Берлин, 1926. 13 февр.; Он же. Русская история по-евразийски // Там же. 1927. 27 нояб.
⁹⁷ РО ГБЛ. Ф. 566. К. 28. Д. 53. Л. 9.
⁹⁸ Там же. Д. 54. Л. 6.
⁹⁹ Там же. Д. 52. Л. 26.
¹⁰⁰ Там же. Л. 19.
¹⁰¹ Там же. Ф. 506. К. 32. Д. 8. Л. 4.
¹⁰² Там же. Ф. 566. К. 27. Д. 17. Л. 4.

О ФИЛОСОФСКИХ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ

Н. А. РОЖКОВА

(по работам 1893—1907 гг.)

Н. Н. Тарасова

Николая Александровича Рожкова можно смело назвать одной из наиболее интересных и оригинальных личностей нашей истории начала XX в. Он был историком и активным революционным деятелем. Его взгляды дают представление о сути кризиса буржуазной исторической и философской мысли и разнообразии форм его проявления. С именем Рожкова связан противоречивый процесс формирования и утверждения марксистского направления в русской и советской историографии.

Жизнь и труды Рожкова отразили сложные искания русской интеллигенции на рубеже веков, ее пути в революциях 1905 и 1917 гг. Рожков-политик неотделим от Рожкова-историка. Эта особенность личности делает возможным изучение механизма взаимовлияния общественной и научной деятельности, философских и политических взглядов.

К сожалению, имя Н. А. Рожкова было забыто на долгие годы. Несмотря на большое количество воспоминаний, архивных документов, биография Рожкова практически неизвестна современному читателю. Между тем игнорирование биографических данных при

изучении истории идей ведет к абстрактному социологизму, потере индивидуальной неповторимости ученого¹.

Николай Александрович Рожков родился 2 февраля 1868 г. в г. Верхотурье Пермской губернии в «захудалой и обедневшей дворянской семье», как пишет он в автобиографии. Его отец был учителем, затем инспектором народных училищ в Екатеринбурге. Семейная обстановка, по словам Рожкова, «была типично мелкобуржуазная... Традиции были консервативные, самодержавные и православные»².

Под влиянием внутривоспитательской обстановки в стране в 80—90-е годы XIX в., особенно под воздействием процесса перемартовцев, Рожков еще в годы учебы в Екатеринбургской гимназии увлекся общественной жизнью, посещал собрания одного из революционных кружков города, был близок с П. В. Точисским.

Интерес к истории у Рожкова появился очень рано. В детстве он пристрастился к историческому чтению. Рожков вспоминал, что, учась в 5-м классе гимназии, он прочел Бокля, который оказал на него определяющее влияние: изучение исторической закономерности стало с тех пор целью его жизни³. Кроме Бокля, на формирование первоначального исторического мировоззрения Рожкова оказали влияние труды А. И. Тургенева, Д. И. Писарева, Г. Спенсера, П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского, Ф. Лассаля. С марксизмом Рожков познакомился по книгам одного из первых популяризаторов и пропагандистов экономического учения К. Маркса в России — Н. И. Зиберы, в работах которого не была отражена революционно-критическая сторона учения К. Маркса.

Видимо, столь разноречивое воздействие: во-первых, позитивизма географической и органической школ (Г. Бокль и Г. Спенсер); во-вторых, мелкобуржуазного социализма и оппортунизма; в-третьих, народнической идеологии; в-четвертых, материалистической философии и утопического социализма Д. И. Писарева и, наконец, в-пятых, искаженного, зиберовского марксизма — во многом предопределило эклектичность теоретико-методологических взглядов Рожкова, которая сохранилась в его исторической концепции и в более позднее время, несмотря на изменения после непосредственного знакомства с работами К. Маркса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова.

После гимназии, в 1886 г. Рожков поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Московского университета и был учеником В. О. Ключевского. По окончании университета он с 1891 по 1897 г. был учителем древних языков в Пермской гимназии. В эти годы появились в печати его первые научно-литературные труды⁴.

В 1896 г. Рожков выдержал магистерский экзамен по русской истории в Московском университете и с осени 1898 по 1906 г. читал там лекции в качестве приват-доцента. По воспоминаниям современников, он «был в то время единственным в университете историком с марксистским уклоном... ушел студентов не только технике исторического исследования, но и научил своих

слушателей применять материалистический метод к изучению исторических явлений, освещать их с точки зрения марксистской социологии»⁵.

В 1899 г. вышла в свет магистерская диссертация Рожкова «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в.», которая принесла автору большую Уваровскую премию Академии наук. И сам Рожков и все позднейшие исследователи его творчества считали, что это сочинение сыграло значительную роль в изменении теоретико-методологических взглядов ученого. Сам он безоговорочно считал себя с этого момента «фактически марксистом». Рожков отмечал, что специально изучал «Капитал» для магистерского экзамена, а «самостоятельное историко-экономическое исследование открыло... новые перспективы, дало ключ к пониманию социальной и политической истории». Впоследствии Рожков познакомился с работами П. Б. Струве, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, которые, по его словам, «довершили воспитание в духе теоретического марксизма и поставили практические вопросы»⁶.

Тематика работ Рожкова этих лет свидетельствует о значительном разнообразии его профессиональных интересов. Помимо уже отмеченных теоретико-методологических исследований, он пишет труды, затрагивающие широкий спектр проблем русской истории VI—XIX вв. (в том числе «Обзор русской истории с социологической точки зрения» в 2 частях); занимается публицистикой, вопросами социальной психологии, работает над учебниками для школ и гимназий, методикой преподавания истории⁷.

В начале 900-х годов происходит его сближение с большевиками. С 1903 г. Рожков читает публичные лекции, сборы от которых идут в пользу РСДРП. В 1904 г. Рожков входит в редакцию с.-д. журнала «Правда», весной 1905 г. вступает в большевистскую фракцию РСДРП. Обосновывая свое вступление в партию, Рожков писал, что убежден «в полной и совершенной контрреволюционности либеральной буржуазии», поэтому идейно и организационно присоединяется к большевикам⁸. «Служить пролетариату и вместе с ним идти к великой цели — вот единственно достойный путь. Его предписывали мне и научный прогноз и чувство собственного достоинства»⁹.

Как член РСДРП Рожков активно работал в литературной группе при Московском комитете большевиков: читал лекции, вел кружки, был членом редакций большевистских газет «Борьба» и «Вперед», автором и инициатором ряда партийных сборников («Текущий момент», «Вопросы дня»). В ходе революции 1905—1907 гг. Рожков знакомится с В. И. Лениным. Весной 1906 г. его избирают в Московский городской комитет РСДРП.

Рожков участвовал в подготовке проектов резолюций V (Лондонского) съезда РСДРП, как делегат съезда был избран членом ЦК партии от большевиков, а также вошел в состав большевистского центра, созданного ленинской фракцией. После съезда представлял ЦК РСДРП в III Думе, был членом Русского бюро ЦК, работавшего в подполье. В годы первой революции ясно про-

явились разногласия Рожкова с большевиками по аграрному вопросу.

В годы активной партийной деятельности Рожковым было написано значительное число публицистических работ по различным вопросам общественной жизни¹⁰. Для характеристики политических взглядов Рожкова особенно важны брошюры «Капитализм и социализм» и «Судьбы русской революции». Первая написана в подлинно марксистском духе и популярно рассказывает об основных чертах капитализма, социализма и путях смены одной формации другой. Вторая представляет собой попытку осмысления событий 1905—1907 гг. и прогнозирования дальнейшего развития революционного процесса в стране. Рожков пишет, что в своих рассуждениях опирается на единственно правильную научную теорию—марксизм, однако допускает, что может ошибаться в его понимании и применении¹¹. Ошибки действительно были — он считал возможной революцию в стране лишь через несколько десятилетий.

В апреле 1908 г. Рожков был арестован вместе с рядом других членов партии и привлечен к суду по делу Московской организации РСДРП. Он провел в тюрьме 25 месяцев и был приговорен к ссылке на поселение с лишением гражданских прав. Так закончился период наиболее активной работы Рожкова в центральных органах партии и большевистской фракции. Оценивая позднее, в 1911 г., работу Рожкова тех лет, В. И. Ленин писал, что это человек, «послуживший рабочей партии в годы подъема с преданностью и энергией»¹².

В начале 1910 г. Рожков по этапу был отправлен в Сибирь. После отбывания срока ссылки, в 1915 г., он был приписан к крестьянам Александровской волости Читинского уезда. Его общественно-политическая деятельность не прекратилась в эти годы, главной областью работы стала легальная партийная печать. В Сибири он участвовал в издании 10 газет и журналов.

Будучи оторванным от научных центров, лишенным необходимой литературы и архивов, Рожков тем не менее продолжал научную работу — в ссылке были написаны статьи и рецензии по проблемам русской и зарубежной истории, философии, социологии, краеведению и др.¹³

За годы жизни в Сибири произошли серьезные изменения политической позиции Рожкова: он отходит от большевиков, присоединяясь к меньшевикам-ликвидаторам. Его ошибки резко критиковал В. И. Ленин, отмечая, что они коренятся в оценке роли классов и представлении об уровне развития капитализма в России¹⁴. Однако В. И. Ленин и большевистский центр не считали Рожкова человеком, потерянном для партии, связи с ним не прерывали.

К сожалению, в советской литературе тезис о ликвидации Рожкова дается декларативно. В то же время товарищи по ссылке не дают однозначных оценок Рожкову как ликвидатору. По их мнению, подобные настроения сказывались лишь в

его теоретических рассуждениях, но не в практической работе¹⁵. Представляется необходимым более подробное изучение политических взглядов Рожкова в Сибири — они были неоднозначны и не сводились только к ликвидаторству. Понять их — значит сделать шаг вперед в понимании мировоззренческих основ Рожкова-историка.

После победы Февральской революции Рожков возвращается в Москву. В мае 1917 г. он становится товарищем министра почт и телеграфов во Временном правительстве, но в июне выходит из него по политическим причинам.

В советское время Рожков полностью отошел от политической деятельности. Порвав с меньшевиками в 1920 г., он до конца жизни оставался беспартийным, хотя и был убежденным сторонником новой власти. В автобиографии Рожков объяснял, что остался вне партии «ввиду разногласий с ВКП(б) в экономической и просветительской политике, а положение оппозиции внутри партии считал нецелесообразным»¹⁶.

В последние годы жизни¹⁷ Рожков занимался педагогической и научно-литературной деятельностью¹⁸. Он работал в Ленинградском и Московском государственных университетах, Институте красной профессуры, Академии комвоспитания, был директором Исторического музея.

В 1918 г. начал выходить в свет главный труд его жизни — 12-томная «Русская история в сравнительно-историческом освещении». Эта работа, построенная на принципах материалистического понимания истории, стала одной из первых попыток марксистского осмысления прошлого России. Концепция Рожкова освободилась от многих прежних методологических недостатков. Несомненным достоинством исследований являлось то, что отечественная история была вписана в контекст мирового исторического процесса.

Огромное научное наследие¹⁹ Рожкова еще не стало предметом обстоятельного историографического анализа.

В дореволюционной историографии не было попыток оценить взгляды Рожкова в целом, определить теоретико-методологические основы его концепции. Оппоненты спорили с ним по отдельным конкретно-историческим сюжетам²⁰. Интерес к его теоретическим, философским взглядам возник в советское время, на этапе становления марксистской исторической науки²¹. В работах, написанных главным образом в 1927—1930 гг., в первую очередь выяснялось, можно ли считать Рожкова историком-марксистом. Положительно в этом смысле оценивали Рожкова В. И. Невский, Е. А. Мороховец, А. Большаков²². Однако уже и в эти годы ряд авторов высказывали мнение о недостаточной выдержанности, ортодоксальности его марксистских позиций²³. Диаметральная разница оценок — Рожкова одновременно объявляли идеалистом, экономическим материалистом, позитивистом, марксистом — во многом объясняется тем, что в конце 20-х — начале 30-х годов теория и методология марксизма не были еще догмати-

зированы. Разноречивость суждений о научном наследии ученого является свидетельством тех трудностей, через которые проходила историческая наука на этапе становления нового общества.

Широко известна характеристика взглядов Рожкова, данная В. И. Лениным. Он писал, что Рожков «заучил ряд положений марксизма, но не понял их», что он «последовательнейшим образом, от начала до конца, подменяет марксизм либерализмом», что ему свойственно «типично профессорское извращение марксизма»²⁴. Однако необходимо учитывать, что эти слова Ленина относились к высказываниям Рожкова «о настоящем моменте», т. е. о положении дел в России после поражения первой русской революции. Иными словами, Ленин оценивал отношение Рожкова к сложившейся политической ситуации, его понимание задач борьбы рабочего класса в те годы, а не общую концепцию историка.

С середины 30-х и до начала 60-х годов советские историки практически не обращались к изучению исторических воззрений Рожкова. Исключение составляет небольшой очерк в общем курсе «Русской историографии» Н. Л. Рубинштейна²⁵. Подчеркивая эклектизм концепции Рожкова, Рубинштейн утверждал, что «движение к историческому материализму» не получило у Рожкова значения «действенного направляющего принципа», «практически не отразилось на методологии историка»²⁶.

В советской литературе 60—80-х годов вопрос об оценке исторических взглядов Рожкова ставился главным образом в общих работах, посвященных истории развития советской исторической науки²⁷. Было опубликовано несколько статей об отдельных аспектах концепции Рожкова²⁸. В этих работах его взгляды характеризуются в основном как экономический материализм, хотя и говорится о присутствии ряда марксистских положений в его построениях.

В научной литературе отмечены крупные достижения Рожкова-историка. Среди них понимание истории как единого и закономерного процесса; серьезное изучение социально-экономических вопросов путем применения марксистской методологии; доказательство типологического сходства развития Западной Европы и России, рассмотрение русской истории в сравнительно-историческом плане; обширная источниковая база работ; постановка новых проблем и др. К основным недостаткам исторической концепции Рожкова исследователи относят узкое понимание экономики; отрыв базиса от надстройки, политики от экономики; непосредственное выведение духовной культуры из материальных основ общества; увлечение схемой в ущерб анализу источников. Авторы работ о Рожкове единодушно отмечают две особенности его взглядов — эклектичность и эволюцию на протяжении всей жизни историка. Однако существует значительная разница в определении направления этой эволюции, в характеристике составных частей и источников учения Рожкова о развитии общества.

Необходимо заново и всесторонне оценить теоретико-методологические основы исторической концепции Рожкова. Во-первых, это даст возможность установить его приверженность той или иной философской доктрине, а значит, и выявить место Рожкова в исторической науке того времени. Во-вторых, позволит определить то новое, что присутствует в исторических построениях Рожкова по сравнению с либерально-буржуазной социологией, и оценить его вклад в развитие русской советской исторической науки. В-третьих, подобный подход расширит наши представления о ходе утверждения марксистско-ленинской методологии в исторической науке нашей страны. «...Процесс усвоения теории исторического материализма... был далеко не разовым актом. Советские историки овладели марксистско-ленинской методологией в упорной идейной борьбе с буржуазными теориями и концепциями»²⁹.

Поэтому изучение проблем методологии в историографическом аспекте имеет особое значение, что неоднократно отмечалось советскими историками³⁰.

Наиболее интересны с данной точки зрения ранние работы Рожкова, написанные в первый период его научной деятельности (приблизительно до 1907 г.). В эти годы он много и специально занимается проблемами методологии истории, теории исторического процесса и теории исторического познания — идет формирование мировоззренческих основ начинающего исследователя. Этот процесс был особенно сложен, поскольку совпал с кризисом в исторической науке на рубеже веков. Борьба школ, течений и направлений, опирающихся на различные философские доктрины, заставляла историков четко формулировать и обосновывать свои позиции.

Теоретические работы Рожкова этих лет неравноценны — они различны по объему, охвату проблем и глубине их разработки³¹. Однако в целом они являют собой последовательный ряд трудов, содержащих постепенную разработку определенной теории от зачатков до вполне завершенного состояния; они наглядно демонстрируют развитие, углубление и конкретизацию единой концепции, которая в развернутом виде содержится в обобщающем социологическом труде, изданном в 1907 г., «Основные законы развития общественных явлений (Краткий очерк социологии)».

Отправной точкой социологии Рожкова послужили его философские воззрения. В начале 900-х годов Рожков неоднократно заявлял о своей приверженности позитивизму, но на деле расходился с позитивистами в трактовке ряда важных гносеологических проблем. В частности, Рожков в отличие от «классического» позитивизма признавал не только эмпирическую, но и теоретическую стадию познания человеком окружающего мира. Доказывая относительную природу морали и нравственности, подчеркивая их историческую обусловленность, он сделал познаваемыми явления этой категории³².

В философских построениях Рожкова много внимания уделено вопросам сущности и характера человеческого знания, формам его организации.

Потребность в приобретении знаний, считает Рожков, естественна для человека и изначально присуща ему. Однако не всякое знание является наукой. Этому превращению предшествует длительный этап накопления разрозненных фактов и наблюдений. В науку знание превращается только тогда, «когда связь отдельных явлений становится внутренней, необходимой, когда возникает понятие причинности или необходимой последовательности явлений»³³. Это определение представляет собой шаг вперед по сравнению с позитивистским положением о том, что наука отвечает не на вопрос «почему», а лишь на вопрос «как». Рожков утверждал, что «изучить какое-либо явление — значит понять, как оно происходит и почему оно происходит так, а не иначе»³⁴. Правда, Рожков не сумел подняться до диалектического понимания причинности. Следуя за родоначальником позитивизма О. Контом, он трактовал причинность не как внутреннюю, генетическую, сущностную связь явлений, а всего лишь как одну из форм упорядоченной последовательности.

Установление причинной связи является наиболее очевидной, но не единственной целью науки. Высшую цель науки Рожков выводит из самой структуры научного знания: его первый этаж, по мнению Рожкова, составляют знания эмпирические, на которых затем выстраиваются знания теоретические, при этом абстрактным формулам и общим законам развития изучаемых явлений обязательно предшествует ряд первоначальных, элементарных обобщений. Значит, «истинная, конечная цель всякой науки и заключается в открытии... высших обобщений, научных законов»³⁵. Законом же называется «установление причинной зависимости обширных групп изучаемых явлений»³⁶.

Все науки, в представлении Рожкова, имеют один общий объект — мироздание³⁷, но каждая из них изучает лишь его отдельную сторону. Подобный подход отнюдь не означает дискретности самого объекта и не приводит к отрывочности и дробности наших знаний о нем. Наоборот, выделение одной из сторон действительности и абстрагирование при ее изучении от всех других помогает глубже и всесторонне понять и непосредственный предмет данного исследования и объект в целом. Последнее возможно путем синтеза знаний, полученных различными науками³⁸.

Однако это положение обесценивается типично позитивистской трактовкой Рожковым вопроса о месте философии в системе наук. Он видел в философии лишь сумму общих выводов естественных и общественных наук и был далек от понимания ее методологической, интегрирующей роли по отношению к другим областям знания.

Из представлений Рожкова о едином объекте всех наук и специальном предмете каждой из них закономерно вытекает его

классификация наук, которую он заимствовал у О. Конта и Д.-С. Милля. В основе классификации лежит принцип убывающей абстрактности и увеличивающейся сложности изучаемых явлений: астрономия, физика, химия, физиология, психология, социология³⁹.

В соответствии с позитивистскими представлениями Рожков считал, что содержание каждой из основных шести наук в значительной мере базируется на результатах наук, ей предшествующих: «...явления, изучаемые каждой наукой, слагаются из совокупного действия явлений, рассматриваемых всеми науками, предшествующими ей иерархически, причем наибольший материал для разъяснения возникающих вопросов дают выводы ближайшей высшей науки...»⁴⁰ Помимо связи объектов, изучаемых различными науками, и определенной связи содержания наук в целом, Рожков выделяет еще один тип связи — понятийный. Он состоит в том, что каждая нижестоящая наука берет из вышестоящей основное понятие, гипостазировывает его, т. е. превращает в «нечто данное», поставленное над остальным материалом, исследуемым данной научной отраслью, и из него объясняет все явления⁴¹. Этот закон взаимоотношений распространен Рожковым на все науки, в том числе и на социологию. В полном соответствии с подобными представлениями находится и провозглашенный Рожковым принцип познания — монизм, предполагающий рассмотрение и объяснение всего многообразия явлений мира из единого элементарного начала⁴².

Все базовые науки, названные в классификации, делятся на теоретические и прикладные, причем первые, в свою очередь, дифференцируются на абстрактные и конкретные⁴³. «Конкретные науки занимаются изучением отдельных явлений в определенной, тоже конкретной, среде или обстановке, причем имеют в виду установить причинную связь этих явлений. Но эта задача важна не сама по себе: цель состоит в том, чтобы сформулировать более общие абстрактные выводы — высшие научные законы. Рожков целиком разделяет взгляд О. Конта на эту проблему: абстрактные науки открывают законы явлений, а конкретные изображают частные случаи их применения в конкретной действительности. Науки абстрактные и конкретные находятся в неразрывном единстве и взаимосвязи, они невозможны друг без друга. Конкретная наука систематизирует свой материал и излагает его в связи с общими законами изучаемых явлений, формулируемыми наукой абстрактной. В свою очередь, последняя должна обязательно строить свои выводы на почве конкретных данных, собираемых и классифицируемых соответствующими конкретными науками, — иначе она превратится в метафизическое умозрение⁴⁴.

Через взаимосвязь абстрактных и конкретных наук реализуется практическая направленность научного знания. Этому обстоятельству Рожков придавал особое значение, считал применение полученных знаний на практике отличительной чертой

подлинной науки⁴⁵. Он полагал, что знания должны помочь индивиду и обществу не только в решении насущных задач сегодняшнего дня, но и в определении (хотя бы приблизительно) перспективы дальнейшего пути развития, поскольку «предвидение есть необходимое условие действия»⁴⁶.

Анализ взглядов Рожкова на науку и научное знание позволяет говорить о близости его позиций к позитивизму. С этим философским течением Рожкова объединяют положение о необходимости систематизации всякого рода знания; принцип развития любой науки на эмпирической, опытной основе; тезис об относительности научного знания; классификация наук; понимание причинности в духе О. Конта; толкование взаимоотношения философии и всех остальных наук; идея практической направленности научных знаний.

В то же время в некоторых случаях Рожков идет дальше позитивистского понимания проблем. Можно сказать, что, принимая тезисы позитивизма и вводя их в свои работы, он наполняет их несколько иным содержанием. Так, например, Рожков не сводит познание к эмпиризму, не абсолютизирует ощущения в этом процессе, что было свойственно авторитетам позитивизма — О. Конту и Д. С. Миллю. Получение эмпирического знания Рожков считал лишь первым этапом всего процесса познания, на котором базируется этап теоретического анализа конкретного материала. Эта позиция приводит к отличиям от позитивизма по ряду других вопросов. Меняется характер практической направленности знаний: во-первых, жизненность знаний понимается не прямолинейно, а диалектично; во-вторых, речь идет уже о знаниях не описательных, а аналитических, не эмпирических, а теоретических, что предполагает более эффективное и верное воздействие на окружающий мир; в-третьих, изживается позитивистский отрыв теории от практики. Закономерности, устанавливаемые наукой в различных объектах, вытекают не из описания внешних черт явлений — этого недостаточно для формулирования законов, а из всестороннего изучения и анализа этих явлений, следовательно, косвенным образом признается познаваемость сущности явлений. Резко отличает Рожкова от позитивизма и признание необходимости изучения наукой причинной связи явлений. Во взглядах Рожкова отсутствует подчиненность развития общества этапам эволюции науки, свойственная позитивистам. Рожков отвергает периодизацию познания, выделяющую этапы теологического, метафизического и научного знания, и обосновывает свое понимание процесса превращения знаний в науку.

Рассуждения Рожкова свидетельствуют, что он косвенно признает существование объективной, независимой от воли и сознания людей действительности, единство материального мира и его познаваемость и этим противоречит своим же субъективистским утверждениям о том, что человек познает лишь состояния собственного сознания. Рожков правильно понимает

функции науки как выработку и теоретическую систематизацию знаний о действительности и ее цели как описание, объяснение и предсказание процессов и явлений окружающего мира на основе открываемых ею законов. Рожков видит поэтапное развитие науки, постепенное усложнение и приращение знаний. Он признает анализ и синтез как две стороны процесса познания, сочетание которых дает более полное и всестороннее представление об изучаемом объекте. Наконец, ему свойственно глубокое понимание связи и взаимодействия практики и научного знания. Он не разделял тезиса о практике как критерии истины, но, можно сказать, находился на пути к этой идее. Все это свидетельствует о том, что, будучи изначально позитивистскими, философские взгляды Рожкова имели явную материалистическую подкладку, — этим и был вызван ряд противоречий и заметная незавершенность его построений.

В соответствии со своими воззрениями на природу и характер научного знания Рожков подразделял историческую науку на собственно историю и социологию. Считая себя в этом вопросе продолжателем взглядов Г. Бокля и О. Конта, он формулирует этот тезис следующим образом: «История известного народа — наука конкретная, потому что она изучает законы развития определенного, данного общества в разные периоды его жизни. Социология, или теория общественной жизни, имеет целью исследование общих законов общежития независимо от какой-либо конкретной обстановки; следовательно, она — наука абстрактная»⁴⁷. Видимо, это следует понимать так: история является хотя и самостоятельной, но подчиненной социологии наукой. Однако было бы ошибкой считать, что Рожков отводит истории лишь эмпирический уровень знания, а социологии — теоретический. Историк, в его представлении, занимается преимущественно сбором фактов, но при этом одновременно проводит их первичную систематизацию и обобщение вплоть до обоснования законов общественного развития на разных этапах. Полученный результат становится исходным материалом для формулирования законов высшего порядка.

Рожков определяет историю как «научное изображение процесса развития человеческих обществ»⁴⁸. В центре ее он помещает человека, взятого не изолированно от окружающих явлений природы и общества, а в совокупности всех имеющихся с ними связей⁴⁹.

Предметом исторической науки он называет «исторический процесс, связную цепь фактов»⁵⁰. Конкретизируя понятие «факт», он вступает в полемику с Н. И. Кареевым и отвергает его деление исторических фактов на культурные (состояния, формы быта) и прагматические (деяния лиц, события). Рожков утверждает неразрывную связь фактов обоих видов. «Отдельное событие, взятое вне связи с другими, ему подобными, тем более поступок лица, не может быть предметом исторического изучения... так называемая „история лиц“ интересна для психолога и биогра-

фа»⁵¹. Для историка же единичные, отдельно взятые прагматические факты вообще не существуют, так как «событие только тогда приобретает интерес... когда сближается с другими звеньями цепи, в состав которой входит... Отдельные события имеют научное историческое значение лишь постольку, поскольку они служат проявлением известного исторического процесса»⁵². Факты прагматические группируются и выстраиваются в важную для историка последовательность только благодаря фактам культурным и лишь через призму последних могут рассматриваться исследователем»⁵³.

Сам Рожков к фактам, подлежащим изучению в исторической науке, относит все, «что входит в естественный, экономический, социальный, политический и психологический процессы в истории»⁵⁴. Одновременно он отмечает, что «современная историческая наука изучает по преимуществу, если не исключительно, явления экономического, социального и политического порядка»⁵⁵.

Таким образом, можно сказать, что Рожков правильно считает предметом истории (объектом в современном понимании) прошлое человеческого общества, исторический процесс, однако у него отсутствует должная четкость и определенность в попытках детализировать или более конкретно обозначить этот предмет. Наиболее важным моментом в определении предмета исторической науки является неоднократно подчеркнутая Рожковым взаимосвязь всех процессов и явлений в истории, что говорит о его диалектическом понимании хода исторического развития в целом.

Истории, по мнению Рожкова, присущи отличительные черты любого научного знания — систематическая организация материала и стремление к применению теоретических выводов на практике. Задачей каждого историка и всей исторической науки является обобщение фактического материала, открытие законов общественного развития⁵⁶. Они призваны «представить... в простейшем виде, в стройной системе все многообразие и сложность исторической жизни, объяснить ее из немногих основных начал, из сочетаний некоторых простейших элементов»⁵⁷. Следовательно, главным принципом познания и интерпретации событий прошлого провозглашается исторический монизм, что закономерно вытекает из общефилософских воззрений Рожкова. В соответствии с этим принципом Рожков старался найти в истории человеческого общества главный эволюционный процесс и проследить его влияние на все остальные⁵⁸. Он также подчеркивает, что историческая наука, как и всякая другая, должна изучать причины происходивших явлений и процессов⁵⁹.

По мнению Рожкова, история не является наукой, обращенной исключительно в прошлое, — ее целью является не только достижение понимания прошлого, но и осмысление настоящего и предвидение будущего⁶⁰. Подобное представление об истории как науке, взгляд на ее предмет, цели и задачи в обществе сложился

не сразу, считает Рожков, — история проделала типичный для всех областей знания путь превращения накопленной информации в науку. В древнейшее время история никогда не рассматривалась как наука, а служила материалом для развлечения или нравственного поучения, назидания⁶¹. На смену моралистическому подходу к истории пришел метафизический, рассматривающий исторический процесс как постепенное воплощение в действительность абсолютного нравственного идеала и оценивающий историю различных народов с точки зрения вклада в этот процесс⁶². Другой подход к изучению прошлого отвечает практическим потребностям минуты, связан с борьбой партий и интересов и состоит в обосновании историческими примерами и аналогиями событий настоящего⁶³. Особенно грубым и несостоятельным взглядом на историческую науку Рожков считал «псевдопатриотический» вариант, когда целью изучения истории провозглашается возбуждение патриотических чувств, что ведет зачастую к необоснованному возвышению прошлого своей страны и намеренному замалчиванию темных сторон. То же происходит, если историческое изложение ориентировано на какую-либо политическую доктрину. В угоду ей идеализируются деятели и события, порицается и затемняется все, что не укладывается в прокрустово ложе предвзятых понятий.

Критика различных подходов к изучению прошлого дает возможность понять ретроспективное видение Рожковым процесса становления истории как науки и понимание поставленной проблемы им самим. Рожков отвергает голое морализирование на почве истории, отказывается совмещать ее с метафизикой, отвергает сиюминутность и политическую тенденциозность в подходе к историческим событиям. Практическую общественную ценность и применимость научных исторических изысканий и их выводов Рожков видит в том, что они дают основание для научной морали, служат опорой для научной политики и прогнозирования пути дальнейшего развития общества⁶⁴.

Переходя в своих рассуждениях от истории к социологии, Рожков пишет, что для решения вопроса о современных направлениях в исторической науке важны социологические выводы, к которым она приводит, и социологические принципы, которые применяются в исторических исследованиях⁶⁵. Теоретическое значение социологических основ истории определяется также их влиянием на жизнь и практическую деятельность, воздействием на систему общественных идеалов и их осуществление⁶⁶. Подобное понимание Рожковым роли социологии в науке и обществе проистекает из главной задачи социологических теорий — «открыть такой процесс, который сильнее всех причинно воздействует на остальные и менее последних подчиняется причинному воздействию с их стороны»⁶⁷, т. е. из задачи монистического объяснения всего предшествующего развития человеческого общества, его настоящего и реально прогнозируемого будущего.

В определении предмета социологии как науки Рожков допускает нечеткости, вернее, он недостаточно дифференцирует предметы истории и социологии, вновь обращаясь к понятию культурных и прагматических фактов и пяти процессов в истории. Для обозначения своего понимания «факта» истории он вводит новое понятие — «общественное явление»⁶⁸, которое в его системе и обозначает предмет социологии. Рожков пытается уйти от неизбежной в его построениях двойственности истории и социологии, нерасчлененности предмета их изучения. Он говорит, что и история, и социология изучают одни и те же общественные явления, но подходят к ним с разных точек зрения. В конечном счете Рожков лишает обе науки собственного предмета исследования, хотя именно предмет определяет самостоятельность науки, ее место в системе других дисциплин, раскрывает ее специфику.

Общественное явление рассматривается Рожковым как «определенное отношение между людьми в их совместной деятельности»⁶⁹. Их совокупность, как и общественные процессы, он дифференцирует на пять классов: естественные, экономические, социальные, политические и психологические.

В социологии как абстрактной науке о законах развития общественных явлений Рожков вслед за О. Контом выделяет два раздела — статику и динамику. Это деление аргументируется тем, что человеческое общество можно изучать в двух состояниях — в состоянии покоя (т.е. исследовать строение общества в определенном момент) и в состоянии движения (т.е. изучать функции и развитие общества)⁷⁰.

Различные подходы социальной статики и социальной динамики к историческому прошлому обуславливают и своеобразие задач этих наук. Социальная статика как один из отделов социологии «изучает не частности, не детали, а то общее, что свойственно всем общественным союзам в разные периоды их развития»⁷¹. Из конкретного исторического материала самых различных регионов и времен «социальная статика должна извлечь общие выводы, одинаково применимые ко всем обществам в разные периоды их существования»⁷².

В соответствии с пониманием целей и задач социальной статики Рожков в своих трудах формулирует законы этой дисциплины. И если в ранних работах эти формулировки были «сырыми», страдающими излишней детализацией, то уже через несколько лет они были доведены до высокого уровня обобщения и абстракции⁷³. Рожков различал в социологии законы внутренней взаимосвязи составных элементов каждого из пяти общественных процессов и законы взаимоотношений этих процессов между собой.

Рожков неоднократно подчеркивает, что «законы социальной статики применимы к каждому общественному союзу в любой период его исторического существования»⁷⁴. Эти законы, во-первых, позволяют «представить каждый момент развития об-

щества как органически связанное целое», во-вторых, помогают уяснить принцип деления истории на периоды и, в-третьих, служат основой для установления законов социальной динамики⁷⁵.

В отличие от статистики социальная динамика изучает законы общественной жизни в ее движении. Эта наука «берет каждое общество не в отдельный, произвольно выбранный момент его развития и сравнивает его не с произвольно же выбранным моментом истории другого общества, — она берет весь процесс исторического развития каждого общества и сравнивает его с процессами других обществ, чтобы путем этого сравнения и на основе выводов социальной статистики построить законы общественного движения, смены общественных порядков и учреждений»⁷⁶.

Из работ Рожкова следует, что в основу законов социальной динамики он положил два принципа: периодизации истории и классификации исторических процессов. Для каждого из четырех основных периодов исторического развития человеческого общества⁷⁷ Рожков выводит по четыре закона (пятый процесс — естественный — он опускает как не являющийся чисто общественным). Эти законы фиксируют соотношение различной степени развития общественных процессов и порядок их взаимообусловленности⁷⁸.

Итак, возвращаясь к соотношению истории и социологии в системе научных знаний Рожкова, необходимо подчеркнуть утверждаемую им неразрывную взаимосвязь этих наук. «Социология, — писал он, — может и должна быть построена... именно на исторической основе: вот истина, которую не сокрушит никакая критика»⁷⁹. При этом он отмечал, что взаимное сближение этих двух наук является залогом их дальнейшего плодотворного научного развития⁸⁰.

История декларируется как подчиненная социологии наука. Но и сама социология, согласно позитивистской классификации наук, не является свободной от внешних влияний. Она в значительной мере должна быть обусловлена психологией, которая предшествует ей. В социологических построениях Рожкова и его конкретно-исторических исследованиях влияние психологии не стало преобладающим, однако вылилось в развитую систему психических типов, проявляющуюся в историческом процессе⁸¹.

Рассуждения Рожкова о предмете, содержании, практическом назначении исторической науки показывают, что он в значительной степени преодолел узкое позитивистское понимание истории, которое формально продолжал декларировать. Когда Рожков писал о конкретных проблемах истории или социологии, то вопреки собственным утверждениям воспринимал эти науки нерасчлененно. Прочная связь, которую он фактически устанавливал между ними, не вписывалась в прямолинейную схему позитивизма, что вызывало противоречия в построениях Рожкова. Он отвергал узкое понимание предназначения истории как собирательницы фактов, говорил о ее конкретно-историческом

характере, о формулировании ею законов, однако выведение закономерностей отдал социологии, считая ее теоретической дисциплиной. Можно сказать, что Рожков сделал значительный шаг вперед от позитивизма в понимании смысла исторической науки. Он раскрыл неразрывную связь конкретики и теории в истории, понимая, что только благодаря их синтезу можно познать закономерности исторического развития, но не сумел облечь эти мысли в четкие формулы и привести в стройную систему.

Рожков не поднялся до понимания цельности исторической науки, диалектической связи теории и конкретного материала. Устанавливая обязательность и необходимость фактических данных для теоретических выводов, он не увидел обратной связи, важности теоретических выводов для развития методологии науки и, следовательно, для вычленения конкретного материала и его обработки. В силу двойственного, «двухслойного» понимания истории он не смог определить ее как науку, исследующую конкретный ход развития человеческого общества — процесс закономерный и единый при всей своей разносторонности и противоречивости. Однако ряд догадок в этой области и «смешение» истории с социологией привели к тому, что понимание и анализ прошлого не выродились у Рожкова ни в фактографию, ни в абстрактное социологизирование. Привнесение социологии как теории исторического процесса в непосредственно историю позволило ему избежать индивидуализации и излишней психологизации истории, помогло не превратить ее в идиографическую науку, а исторический процесс в лишенное закономерностей нагромождение событий, что было свойственно либерально-буржуазным историкам той эпохи.

Признавая объективность исторического процесса, Рожков пытался открыть его закономерности, что и выразилось в его социологических законах. Он был близок к пониманию общественной закономерности как объективной, повторяющейся существенной связи явлений или этапов исторического развития. Однако его взгляды в данном вопросе не лишены противоречий. В ряде рассуждений у Рожкова встречается тезис о возможности внесения в историческую науку и гипостазируемая в ней какого-либо элемента из другой научной сферы в случае невозможности объяснить события социальной жизни исходя из внутренне присущих истории законов⁸². И хотя в собственные социологические построения Рожков не вносит какого-либо чужеродного гипостазируемого элемента из других областей знания, он все-таки аксиоматично кладет в их основу один из выделяемых им общественных процессов — экономический, доминированием которого затем и объясняет все происходившее в прошлом. Очевидно, что подобный подход соответствует его представлениям о строении мира, классификации наук и провозглашенному им принципу монизма в научных исследованиях.

Вопрос о движущих силах исторического развития в своих

ранних трудах Рожков практически не поднимает. Лишь в одной из работ 1905 г. он указывает, что для научного предвидения будущего и правильного построения основ идущего на смену современности общественного строя необходимо исходить «из тех сил, которыми движется жизнь, — из классовых интересов»⁸³. Безусловно, эти слова нельзя считать свидетельством последовательно марксистского понимания проблемы Рожковым. Однако они важны для общей оценки его взглядов, так как решительно выводят его из рядов идеалистов и приближают к действительно марксистской точке зрения.

В своих работах Рожков утверждал единство исторического процесса. Под этим углом зрения он рассматривал и историю отдельных народов, и внутреннюю связь различных сторон и явлений общественной жизни, их эволюции⁸⁴. Рожков не разрывал и не противопоставлял друг другу исторические судьбы различных народов. Он считал, что существуют единые законы и этапы исторического развития для всех стран и народов. Отстаивая свою точку зрения в данном вопросе, Рожков резко критиковал индивидуально-моралистическую концепцию в исторической науке. Критике подвергался не только идеалистический тезис о воплощении в истории абсолютного нравственного идеала, но и деление общей истории человечества на значимую и незначимую, а целостного человеческого общества на народы культурные, которые двигают историю и, следовательно, важны для изучения, и некультурные, история которых не имеет никакого значения для общего прогресса⁸⁵. Он отвергал и концепцию культурно-исторических типов национального развития, трактовавшую историю каждого народа как совершенно своеобразный и индивидуальный процесс, не повторяющийся ни в целом, ни в подробностях⁸⁶.

Широко и многоаспектно понимал Рожков связь явлений в истории. Он считал, что все «отдельные явления в жизни природы и человеческого общества связаны друг с другом, образуют одно целое, *одни явления развиваются из других*. Если бы мы взяли какое-нибудь явление отдельно от других, мы не в состоянии были бы его правильно понять»⁸⁷. Таким образом, Рожков придает исключительное значение понятию связи как для развития общества, так и для процесса познания. Крупнейшим достижением исторической науки своего времени Рожков считал выделение двух типов связи явлений и процессов в прошлом — эволюционной и причинной.

Эволюционную связь Рожков понимал как генетическую, суть которой выражается в органической последовательности и взаимосвязи различных форм и этапов развития одного и того же явления или процесса. «В человеческом обществе, — считает Рожков, — ничто не происходит сразу, вдруг, без всякой подготовки, без всяких причин. Все готовится и постепенно изменяется, развивается»⁸⁸. Он считает, что все изменения и новообразования, которые общество имеет в какой-либо опре-

деленный, данный момент, генетически связаны с каким-то явлением в прошлом. В каждый период развития общества в нем имеются как господствующие, доминирующие черты, характерные именно для данного времени, так и новообразования, которые подготавливают будущее. При этом они возникают и развиваются именно в явлениях родственных. Это справедливо по отношению ко всем сферам общественной жизни — экономической, социальной, политической и др.⁸⁹ Данный тип взаимосвязи и развития явлений и процессов в истории Рожков называет эволюцией, расшифровывая ее как «известный ряд фазисов в неизбежной и необходимой последовательности», которые проходит явление или процесс, развиваясь в силу присущих им внутренних свойств, на основе собственных ресурсов⁹⁰.

Вторым типом связи в истории является связь причинная. Она воплощается не в чередовании форм одного и того же явления или процесса, как эволюционная, а во взаимообусловленности и взаимозависимости явлений различных классов. В истории, по мнению Рожкова, причинная связь абсолютно естественна и вытекает, во-первых, из единства самого объекта (общества), явления которого подверглись классификации, и, во-вторых, из определяющей роли объектов одного класса по отношению к остальным. «Каждый процесс,— пишет Рожков,— находится под влиянием всех других процессов, которые на него воздействуют,— вот причинная связь»⁹¹.

Таким образом, исходя из общих философских положений о сущности окружающего мира и о том, что науке «надо понять и *само явление* и его *причину*»⁹², Рожков выводит две линии связи в истории и во избежание недоразумений и для большего выделения различий даже называет «эволюционную связь связью внутренней причинности... а связь причинную — связью внешней причинности»⁹³. Очевидно, что Рожков пытался совместить несоединимое: гибкое и разностороннее понимание связи явлений и процессов в истории, идущее от изучения конкретно-исторического материала, и жесткую схему соподчинения элементов, предписанную позитивистской социологией.

В развитии единого исторического процесса Рожков выделяет несколько периодов. Можно сказать, что он исходит главным образом из принципа причинности и уже затем из принципа эволюции, поскольку периоды вычлениаются на основе этапов развития именно доминирующего, направляющего общественного процесса — экономического. Рожков подчеркивает условность всякой периодизации. Он считает ее лишь средством «отчетливо представить себе процессы развития общественных явлений, потому что человеческий ум нуждается в схематизации материала»⁹⁴. Для самой же истории периодизация имеет весьма относительное значение. Во-первых, между периодами нет резких переломов и внезапных скачков, и, во-вторых, невозможно найти какое-либо общество в любой данный промежуток времени застывшим, вне развития. Однако, верно обозначив условность

периодизации, Рожков смазывает качественное своеобразие каждого периода, делая резкий крен в сторону абсолютизации эволюции в истории. Условность периодизации объясняется главным образом тем, что она важна не так для истории, как для историков и вызвана особенностями человеческого познания.

Эти представления Рожкова об исключительно эволюционном характере развития исторического процесса, высказанные в работах 1903 г., несколько изменились к концу изучаемого периода. В 1906 г. он вводит в свои работы понятие «социальная революция», определяя ее как величайший переворот в истории⁹⁵. Говоря о социалистической революции, он считает, что она «возможна только при превосходных машинах и способах производства, обеспечивающих за обществом несметные количества необходимых и полезных вещей, и при полной сознательности и единстве рабочего класса»⁹⁶. Рожков не конкретизировал место нового понятия в системе своих построений, нигде не поставил вопроса о соотношении эволюции и революции. Думается, что это явление еще не стало для него понятным во всей сложности и многогранности. Но в определении Рожковым революции есть четкая тенденция — он говорит о необходимости материальной зрелости общества и при этом не упускает из виду субъективный фактор. Само признание Рожковым революции, ее близости и реальности принципиально отличает его от всех школ либерально-буржуазной исторической науки.

Следующий комплекс взаимосвязанных вопросов, характеризующих представления Рожкова об историческом процессе, — это проблемы повторяемости и аналогии, общего и особенного, типического и индивидуального в истории. Он критиковал историков, считающих каждое историческое явление уникальным и неповторимым. Рожков утверждал: законы общественных явлений едины для всех, значит, и в развитии общества, бесспорно, существует значительное число общих повторяющихся форм и этапов⁹⁷. Причем Рожков не абсолютизирует сходство явлений и процессов в истории. Он считает общими лишь их главные, определяющие типические черты, признавая и различая индивидуальные особенности их проявления⁹⁸. Раскрывая в этом тезисе диалектику исторического процесса, Рожков боролся против тех течений в исторической науке, которые вообще отказывали ей в научности из-за якобы абсолютной индивидуальности исторических фактов и, следовательно, отсутствия причинной связи между ними.

В соответствии с представлениями о единстве исторического процесса во всемирном масштабе, о закономерности и познаваемости общественного развития Рожков отдавал предпочтение в своей научной работе сравнительно-историческим исследованиям. Выделение общих типологических черт в истории европейских стран и России, Запада и Востока, безусловно, принадлежит к научным достижениям Рожкова-историка. Правда, увлеченность сравнительно-историческим методом порой подводила его. В ряде

случаев он отождествлял явления и процессы, схожие лишь по форме, но глубоко отличные по сути, относившиеся к различным социально-экономическим формациям⁹⁹.

Познание исторических законов служит для Рожкова основой для социального прогнозирования. Важность этой функции исторического знания обусловлена двумя причинами. Прежде всего необходимо обосновать практическую деятельность по переустройству общества. «Конечно, — отмечает Рожков, — наши знания о законах развития общественных явлений настолько еще ограничены, что предсказать будущее во всех его подробностях и тем более отдаленное будущее мы не в состоянии. Год, месяц, день, час того или иного конкретного события непредвидимы»¹⁰⁰. Особые трудности в деле прогнозирования обусловлены исключительной сложностью социальных явлений, недостаточной разработанностью общественных наук и относительностью наших знаний. Говоря об обществе своего времени, Рожков предсказывает ему социалистическое будущее. Он основывает это пророчество на научном анализе, доказывающем, что социализм выходит из капитализма. Разъясняя конкретный ход смены общественного строя, Рожков пишет, что социализм придет в общество через социальную революцию, которой будет руководить рабочий класс, и затем утвердится у власти посредством диктатуры пролетариата. «Завоевание социализма, — подчеркивает Рожков, — становится все более возможным и близким. Теперь социализм уже не мечта, а практическая, жизненная задача»¹⁰¹.

Другая важная роль социального прогнозирования состоит в проверке «правильности приемов, методов и теорий, применение которых дало материал для известного понимания прошлого и настоящего и для предвидения будущего»¹⁰².

Эти положения весьма существенны в системе взглядов Рожкова. Они свидетельствуют, что он поставил задачу научного управления обществом, сознательного и планомерного строительства будущего и приблизился к пониманию практики как критерия истинности. Подобные суждения заметно отличали Рожкова от представителей либерально-буржуазной науки его эпохи.

Рожков много занимался проблемами общественного сознания. Он считал, что любое идейное течение вызывается жизнью, имеет корни в реальной действительности¹⁰³. Вместе с тем Рожков предостерегает от грубого, прямолинейного объяснения «всей идеологии общества *непосредственно из экономических отношений*, в частности из классовых интересов»¹⁰⁴, которое, по его мнению, присуще марксизму. Сам он допускает непосредственное влияние экономических отношений на идеологию, духовную культуру лишь отчасти, указывая, что в большинстве случаев хозяйственный строй влияет на психический склад общества через посредство других явлений общественной (социальных, политических). Влияние хозяйства надо понимать не только как воздействие классовых интересов, но и как влияние экономи-

ческой организации в целом¹⁰⁵. В то же время можно говорить о признании Рожковым определенного обратного влияния идей на общественный уклад. Он пишет: «Для того чтобы осуществить в жизни какое-либо преобразование, недостаточно одной подготовки его в жизнь хозяйственными условиями времени — для этого необходимо еще осознание обществом настоятельности и нужды такого преобразования»¹⁰⁶.

Очевидно, что мысли Рожкова по данному вопросу очень противоречивы. Он ставит идеи на материальную почву, усматривает их истоки в жизни, понимает значение идей для общественного развития и признает их классовую обусловленность. В то же время Рожков всячески стремится избежать жесткой однонаправленной детерминации духовной сферы жизни человека экономическим строем. В результате, его тезисы далеко не всегда четки и последовательны. Иногда Рожков критикует марксизм, на деле поддерживая его тезис о диалектической и многосторонней, частично опосредованной связи экономических отношений общества и его идеологии. Главное, однако, состоит в том, что Рожков отверг идеалистические варианты решения проблемы соотношения общественного бытия и идеологии как формы общественного сознания.

Оригинальны взгляды Рожкова на роль личности в истории. Он отмежевался от популярных среди историков того времени концепций «героя и толпы», ведущей роли личности и личной инициативы в общественном развитии. Рожков полагал, что признание определяющего значения отдельной личности в истории ведет к выводу о несостоятельности и невозможности науки о прошлом, ибо появление на свете той или иной личности и ее дальнейшая судьба абсолютно случайны и не могут быть объяснены научно. Поэтому Рожков утверждает: «Я не признаю важной роль личности в истории... *Исторический* результат деятельности личности, *взятой изолированно*, ничтожен»¹⁰⁷. Следовательно, справедливо критикуя одну ошибочную точку зрения, он впадает в другую ошибку, не понимая социальной предопределенности появления выдающейся личности, временной и исторической обусловленности ее деятельности и зависимости успеха этой деятельности от соответствия прогрессивным задачам эпохи.

Суммируя историко-теоретические воззрения Рожкова, можно сказать, что его понимание сущности и хода исторического процесса весьма своеобразно. Взглядам Рожкова присущ историзм, который он понимает и как черту развития общества, и как принцип познания. Он близок к диалектическому объяснению взаимосвязи явлений и процессов прошлого. Рожков вычленяет общее и особенное в истории, при этом типологически сходные явления в судьбах отдельных народов он объясняет целостностью всемирно-исторического процесса и единством его законов.

Тем не менее взгляды Рожкова на теорию исторического процесса нельзя назвать ортодоксально марксистскими. Безусловно, он далеко ушел от либерально-буржуазной науки. Но переход ученого на традиционно понимаемые позиции истмата в эти годы не произошел, в том числе и из-за фрагментарного знакомства с первоисточниками. Рожков почти безупречен, когда пишет, опираясь на детальную разработку каких-либо сюжетов марксистской теорией (например, при характеристике капитализма как общественно-экономической формации), но он не сумел творчески применить категории исторического материализма при анализе историко-теоретических и конкретно-исторических проблем.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что научное мировоззрение Рожкова складывалось в сложное и противоречивое время. Ломалась не только внешняя сторона жизни — происходила смена коренных философских, мировоззренческих, идеологических основ общественного бытия. Марксизм, синтезирующий в себе и теорию революционной борьбы, и практическое руководство по переустройству общества, и общетеоретическую, философскую доктрину, оказывал глубочайшее влияние на умы.

Это воздействие на воззрения Рожкова очевидно. Причем можно говорить о прямом влиянии марксизма — Рожков не принадлежал к врагам этого учения, открыто заявлял о своей приверженности к нему. В условиях идейного кризиса, поисках выхода из концептуального тупика происходило размежевание исторических сил. Передовая часть прогрессивных ученых «тянется к историко-материалистическим решениям, движется — иногда впотьмах и ощупью — к материалистическому пониманию истории, к марксизму, к историко-материалистической методологии»¹⁰⁸.

Рожков пытался овладеть марксизмом, его диалектико-материалистическими принципами. В отличие от буржуазного историзма, сохранявшего органическую связь теоретико-методологических основ с идеализмом, Рожков сумел уйти от него. Его философские, теоретико-методологические взгляды сформировались как позитивистские, затем были наполнены материалистическим содержанием и развивались в направлении марксизма. Этот процесс продолжался в течение всей научной деятельности историка и нуждается в подробном исследовании на материале работ 20-х годов.

¹ Социологическая мысль в России: Очерки истории немарксистской социологии последней трети XIX — начала XX века. Л., 1978. С. 29. *Петряев К. Д.* Вопросы методологии исторической науки. Киев, 1976. С. 160—169.

² Памяти Николая Александровича Рожкова: Сб. ст. М., 1927. С. 7. (Далее: Памяти Н. А. Рожкова).

³ Там же.

⁴ *Рожков Н.* Опыт объяснения основной трагедии Эсхила «Прикованный Прометей». Пермь, 1893; *Он же.* Поводы к началу процесса по «Русской Правде» //

- Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1895. № 4; *Он же*. Очерки юридического быта по «Русской Правде» // Там же. 1897. № 11, 12.
- ⁵ *Мороховец Е. Н.* А. Рожков // Вестн. просвещения. 1927. № 3. С. 119—120.
- ⁶ Памяти Н. А. Рожкова. С. 8.
- ⁷ Материалы для библиографии трудов Н. А. Рожкова. М., 1928. С. 11—20, 45—46.
- ⁸ Цит. по: *Волобуев О. В.* Н. А. Рожков в годы первой русской революции: К 100-летию со дня рождения Н. А. Рожкова // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. М., 1968. Т. 238, вып. 4. С. 108.
- ⁹ *Рожков Н.* 1906 г. Воспоминания // Каторга и ссылка. 1925. № 6/19. С. 55.
- ¹⁰ См. работы Н. А. Рожкова «К аграрному вопросу», «Аграрный вопрос в России и его решение в программах различных партий», «Проект социал-демократической аграрной программы», «Теоретические предпосылки решения аграрного вопроса», «Судьбы русской революции», «Капитализм и социализм», «Дифференциация либеральной буржуазии» и др.
- ¹¹ *Рожков Н.* Судьбы русской революции. СПб., 1907. С. 4.
- ¹² *Ленин В. И.* Поли. собр. соч. Т. 20. С. 396.
- ¹³ Материалы для библиографии. С. 20—35, 46.
- ¹⁴ *Ленин В. И.* Поли. собр. соч. Т. 20. С. 319—321, 396—410; Т. 24. С. 161—165.
- ¹⁵ Памяти Н. А. Рожкова. С. 17, 23, 26 и др.; *Невский В. И.* Николай Александрович Рожков: Беглые заметки памяти // Науч. работник. 1927. № 4.
- ¹⁶ Памяти Н. А. Рожкова. С. 16.
- ¹⁷ Н. А. Рожков умер в 1927 г.
- ¹⁸ Материалы для библиографии. С. 35—44.
- ¹⁹ В целом за 34 года научной деятельности Н. А. Рожковым было написано более 300 работ.
- ²⁰ *Ключевский В. О.* Собр. соч. М., 1959. Т. 8.; *Кареев Н.* К вопросу о понимании истории // Образование. 1899. № 2; *Сторожев В.* Очерки русской историографии: (Общественный строй и сословные отношения в Смутное время: О работах С. Ф. Платонова и Н. А. Рожкова) // Образование. 1900. № 11, 12; *Багин П. (Шишко Л. Э.)*. Русская история в ее новейшей переработке // Русское богатство. 1902. № 8; *Семевский В.* По поводу статьи г. Рожкова «К вопросу об экономических причинах падения крепостного права в России» // Русская мысль. 1902. № 4; *Ефременков В.* По поводу обзора русской истории, печатаемого в журнале «Мир божий». Тифлис, 1903.
- ²¹ *Нечкина М. В.* Русская история в освещении экономического материализма: Историогр. очерк. Казань, 1922; *Большаков А. Н.* А. Рожков как ученый // Науч. работник. 1927. № 5—6; *Мороховец Е. Н.* А. Рожков // Вестн. просвещения. 1927. № 3; *Цвибак М.* Рожков-историк // Ком. мысль. Ташкент, 1927. № 4; *Сидоров А.* Исторические взгляды Н. А. Рожкова // Историк-марксист. 1929. Т. 13; *Мильтштейн А. А.* Оценка движущих сил революции 1905 г. и Октябрьской 1917 г. Н. А. Рожковым и М. Н. Покровским // Науч. труды Индустр. пед. ин-та им. Либкнехта. Соц.-экон. сер. Вып. 2. 1930; *Петрова А. Н.* А. Рожков как историк России // Русская историческая литература в классовом освещении. М., 1930. Т. 2; *Бродовский П. К.* Философские взгляды Рожкова // Учен. зап. Казан. ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина. Казань, 1930. Кн. 3—4; *Покровский М. Н.* Н. А. Рожков: Стенограмма доклада в Обществе историков-марксистов, 14 февраля 1927 г. на заседании, посвященном памяти Н. А. Рожкова; *Покровский М. Н.* Историческая наука и борьба классов. М.; Л., 1933.
- ²² *Мороховец Е. Н.* А. Рожков. С. 118; *Большаков А.* Рожков как ученый. С. 157—158; *Рожков Н.* Русская история в сравнительно-историческом освещении. М.; Л., 1928. Т. 1. С. 1—6.
- ²³ *Покровский М. Н.* Н. А. Рожков. С. 224—229; *Мильтштейн А. А.* Оценка движущих сил. С. 7—9; *Цвибак М.* Рожков-историк. С. 3—4, 10; *Сидоров А.* Исторические взгляды Н. А. Рожкова. С. 118—119; *Бродовский П. К.* Философские взгляды Рожкова. С. 750, 760.
- ²⁴ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 399; Т. 24. С. 462.
- ²⁶ *Рубинштейн Л. Н.* Русская историография. М., 1941. С. 559—575.
- ²⁶ Там же. С. 488, 560.

- ²⁷ Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963—1965. Т. 3—4; *Шаниро А. Л.* Русская историография периода империализма. Л., 1962; *Сазаров А. М.* Историография истории СССР: Досоветский период. М., 1978; и др.
- ²⁸ См., напр.: *Волобуев О. В.* Н. А. Рожков — методист-историк // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. Т. 121, вып. 5. М., 1965; *Дулов А. В.* Дореволюционные историки о роли географической среды в истории России (период феодализма) // Сиб. ист. сб. Иркутск, 1975. Вып. 3; *Степанова З. Н., Чеботарева Н. Ф.* История стран Востока в освещении Н. А. Рожкова // Из истории нового и новейшего времени. Воронеж, 1969. Вып. 2; *Черепнин Л. В.* К вопросу о сравнительно-историческом методе изучения русского и западноевропейского феодализма в отечественной историографии // Средние века. М., 1969. Т. 32; и др.
- ²⁹ *Сазаров А. М.* Некоторые вопросы методологии историографических исследований // Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1977. Вып. 1. С. 55—56.
- ³⁰ *Сазаров А. М.* Методология истории и историография. М., 1981. С. 110; *Черепнин Л. В.* Русская историография до XIX в. М., 1957. С. 5; *Данилов А. И.* Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии. М., 1958. С. 7; *История и историки.* М., 1965. С. 12; и др.
- ³¹ См. работы Рожкова Н. А.: «Успехи современной социологии в их соотношении с историей» (1895); «Социальный материализм» (1899); «Несколько спорных социологических вопросов: (Ответ проф. Карееву)» (1899); «Значение и судьбы новейшего идеализма в России» (1903); «Обзор русской истории с социологической точки зрения» (1902—1905); «Научное мирозерцание и история» (1903); «Эволюция хозяйственных форм» (1905); и др.
- ³² *Рожков Н.* Исторические и социологические очерки. М., 1906. Ч. 1. С. 8—9.
- ³³ *Рожков Н.* Обзор русской истории с социологической точки зрения. М., 1905. Ч. 1. С. 5.
- ³⁴ *Рожков Н.* Капитализм и социализм. М., 1917. С. 3.
- ³⁵ *Рожков Н.* Основные законы развития общественных явлений: Крат. очерк социологии. М., 1907. С. 4.
- ³⁶ Там же. С. 9.
- ³⁷ *Рожков Н.* Социальный материализм // Образование. 1899. № 11. С. 42; *Он же.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 3.
- ³⁸ *Рожков Н.* Социальный материализм. С. 37.
- ³⁹ Там же; *Рожков Н.* Успехи современной социологии в их соотношении с историей // Образование. 1898. № 12. С. 28.
- ⁴⁰ *Рожков Н.* Успехи современной социологии в их соотношении с историей. С. 28—29.
- ⁴¹ *Рожков Н.* Социальный материализм. С. 42.
- ⁴² *Рожков Н.* Успехи современной социологии в их соотношении с историей. С. 26.
- ⁴³ *Рожков Н.* Социальный материализм. С. 41; *Он же.* Значение и судьбы новейшего идеализма в России: (По поводу книги «Проблемы идеализма») // Вопр. философии и психологии. М., 1903. Кн. XVII: Март—апрель. С. 322).
- ⁴⁴ *Рожков Н.* Социальный материализм. С. 41; *Он же.* Значение и судьбы новейшего идеализма в России. С. 322; *Он же.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 1—2; и др.
- ⁴⁵ *Рожков Н.* Социальный материализм. С. 37; *Он же.* Значение и судьбы новейшего идеализма в России. С. 320—321; *Он же.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 7; *Он же.* Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 2; *Он же.* Основные законы развития общественных явлений. С. 4.
- ⁴⁶ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 17.
- ⁴⁷ Там же. С. 2.
- ⁴⁸ *Рожков Н.* Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 3.
- ⁴⁹ *Рожков Н.* Основные законы развития общественных явлений. С. 5.
- ⁵⁰ *Рожков Н.* Успехи современной социологии в их соотношении с историей. С. 19.
- ⁵¹ Там же. С. 18.
- ⁵² Там же.
- ⁵³ *Рожков Н.* Несколько спорных социологических вопросов: (Ответ проф. Карееву) // Образование, 1899. № 3. С. 84.
- ⁵⁴ Там же.
- ⁵⁵ *Рожков Н.* Успехи современной социологии в их соотношении с историей. С. 26.

- ⁶⁶ *Рожков Н.* Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 2.
- ⁵⁷ Там же. С. 3.
- ⁵⁸ *Рожков Н.* Успехи современной социологии в их соотношении с историей. С. 26; *Он же.* Несколько спорных социологических вопросов. С. 85; *Он же.* Научное мировоззрение и история. С. 107.
- ⁵⁹ *Рожков Н.* Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 16.
- ⁶⁰ Там же. С. 3.
- ⁶¹ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 123; *Он же.* Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 3—4.
- ⁶² *Рожков Н.* Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 4—7.
- ⁶³ Там же. С. 7—8.
- ⁶⁴ Там же. С. 10—18.
- ⁶⁵ *Рожков Н.* Успехи современной социологии в их соотношении с историей. С. 17.
- ⁶⁶ Там же.
- ⁶⁷ *Рожков Н.* Несколько спорных социологических вопросов. С. 84—85.
- ⁶⁸ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 4.
- ⁶⁹ *Рожков Н.* Основные законы развития общественных явлений. С. 5.
- ⁷⁰ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 2. С. 142; *Он же.* Основные законы развития общественных явлений. С. 7.
- ⁷¹ *Рожков Н.* Основные законы развития общественных явлений. С. 8.
- ⁷² Там же.
- ⁷³ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 2. С. 158—160; *Он же.* Основные законы развития общественных явлений. С. 43—44.
- ⁷⁴ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 2. С. 160.
- ⁷⁵ Там же.
- ⁷⁶ *Рожков Н.* Основные законы развития общественных явлений. С. 8—9.
- ⁷⁷ Первый период — натуральное хозяйство (с преобладанием добывающей промышленности и первобытного скотоводства). Второй — натуральное хозяйство (при наличии уже определенной дифференциации стран по уровню развития). Третий — зарождение и первоначальное развитие денежного хозяйства. Четвертый — расцвет денежного хозяйства. См.: *Рожков Н.* Основные законы развития общественных явлений. С. 83—86.
- ⁷⁸ Там же. С. 83—87.
- ⁷⁹ *Рожков Н.* Основные законы развития общественных явлений. С. 7; *Он же.* Социальный материализм. С. 41.
- ⁸⁰ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 2.
- ⁸¹ Подробно см.: *Волобуев О. В.* Вопросы социальной психологии в трудах Н. А. Рожкова // *История и психология.* М., 1971.
- ⁸² *Рожков Н.* Социальный материализм. С. 42.
- ⁸³ *Рожков Н.* К аграрному вопросу. М., 1905. С. 3.
- ⁸⁴ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 2; Ч. 2. С. 142—143; См. также: *Рожков Н.* Эволюция хозяйственных форм. СПб., 1905.
- ⁸⁵ *Рожков Н.* Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 4—5.
- ⁸⁶ Там же. С. 16—17.
- ⁸⁷ *Рожков Н.* Капитализм и социализм. С. 3.
- ⁸⁸ Там же. С. 14.
- ⁸⁹ *Рожков Н.* Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 6, 17; *Он же.* Социальный материализм. С. 40; *Он же.* Обзор русской истории. Ч. 2. С. 181, 193; и др.
- ⁹⁰ *Рожков Н.* Несколько спорных социологических вопросов. С. 84.
- ⁹¹ Там же; *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 2. С. 159, 193; Ч. 3. С. 101; и др.
- ⁹² *Рожков Н.* Капитализм и социализм. С. 3.
- ⁹³ *Рожков Н.* Несколько спорных социологических вопросов. С. 85.
- ⁹⁴ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 6.
- ⁹⁵ *Рожков Н.* Капитализм и социализм. С. 34.
- ⁹⁶ Там же.
- ⁹⁷ *Рожков Н.* Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 11—12. *Он же.* Значение и судьбы новейшего идеализма. С. 323; *Он же.* Эволюция хозяйственных форм. С. 4, 22; *Он же.* Обзор русской истории. Ч. 1. С. 166; Ч. 2. С. 31, 46, 80, 142; Ч. 3. С. 101; и др.
- ⁹⁸ *Рожков Н.* Обзор русской истории. Ч. 2. С. 159—160; Ч. 3. С. 57; и др.

- ⁹⁹ Черепнин Л. В. К вопросу о сравнительно-историческом методе изучения русского и западноевропейского феодализма в отечественной историографии // Средние века. М., 1969. Т. 32.
- ¹⁰⁰ Рожков Н. Исторические и социологические очерки. Ч. 1. С. 16.
- ¹⁰¹ Рожков Н. Капитализм и социализм. С. 46.
- ¹⁰² Рожков Н. Обзор русской истории. Ч. 1. С. 7.
- ¹⁰³ Рожков Н. Значение и судьбы новейшего идеализма. С. 314.
- ¹⁰⁴ Там же. С. 327.
- ¹⁰⁵ Там же.
- ¹⁰⁶ Рожков Н. История крепостного права в России. Ростов-на-Дону, 1905. С. 36.
- ¹⁰⁷ Рожков. Н. Успехи современной социологии. С. 21—22; см. также: Рожков Н. Несколько спорных социологических вопросов. С. 85.
- ¹⁰⁸ Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. С. 6—7.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: Д. М. ПЕТРУШЕВСКИЙ И А. И. НЕУСЫХИН

28—29 марта 1988 г. в рамках Научного совета «Общие закономерности и особенности всемирно-исторического процесса» проводилась сессия, посвященная 125-летию со дня рождения академика Дмитрия Моисеевича Петрушевского и 90-летию со дня рождения его ученика, многолетнего сотрудника Института истории АН СССР Александра Иосифовича Неусыхина¹.

Председатель Научного совета В. Л. Мальков приветствовал участников сессии и подчеркнул важность вынесенных на сессию проблем. В кратком вступительном слове Е. В. Гутнова отметила значительную роль Д. М. Петрушевского и А. И. Неусыхина в развитии советской медиевистики, а также недостаточное внимание к их научному наследию. Она напомнила, что их труды неоднократно подвергались в 20—50-е годы необоснованной и ненаучной критике. Указав на то, что теоретические воззрения Д. М. Петрушевского по некоторым вопросам расходились с марксистскими, Е. В. Гутнова вместе с тем подчеркнула, что в своих замечательных и не утративших научного значения конкретных исследованиях ученый порой близко подходил к марксистским выводам. Высоко оценивая научные достоинства трудов А. И. Неусыхина, Е. В. Гутнова указала на то огромное воздействие, которое он оказал на историков, изучающих раннее средневековье, и призвала молодых ученых-медиевистов, развивая добрые научные традиции Д. М. Петрушевского и А. И. Неусыхина, двигаться вперед в изучении истории средних веков по пути поисков новых подходов к ней и новых исследовательских проблем.

В предлагаемой ниже подборке публикуются только доклады мемориального характера, сделанные на сессии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСТОРИКОВ

Л. Т. Мильская

В 1988 г. совпали две памятные даты — 125 лет со дня рождения Д. М. Петрушевского и 90 лет со дня рождения А. И. Неусыхина — учителя и ученика¹. «Союз их кровный, не случайный» (Тютчев), они при всем различии их исследовательского почерка были очень близки друг другу и научно и по-человечески.

Конец 20-х годов лег черной тенью на развитие многих наук, в том числе и исторической. Страдал почти до последних лет жизни от последних дискуссии 1928 г. по книге Петрушевского и Неусыхин, поддержавший тогда своего учителя. Когда осенью 1954 г. администрация сектора истории средних веков сняла с обсуждения представленную для рекомендации к печати в Ученый совет Института истории монографию Неусыхина с требованием дать в предисловии к книге критику и осуждение взглядов Петрушевского, Неусыхин категорически отказался это сделать и обратился с письмом в Ученый совет института². К чести тогдашнего Ученого совета Института истории, он не поддержал требования администрации сектора. Книга А. И. Неусыхина «Возникновение независимого крестьянства в Западной Европе VI—VIII веков» — главный труд его жизни — вышла в 1956 г. в свет без ненужных добавлений и «осуждений».

Несправедливость к Петрушевскому, двойственность по отношению к нему сохранялась и посмертно. Сборник «Средние века»³, выпущенный в память Петрушевского его коллегами и учениками, подвергся резкой и необоснованной критике. Лишь в 1975 г. появилась статья Б. Г. Могильницкого⁴, целью которой было не очернить, а понять и оценить значимость научного творчества Петрушевского.

Долгий жизненный путь Петрушевского был нелегким и сложным. Он многое сделал для сохранения и дальнейшего развития высоких достижений отечественной науки в сфере всеобщей истории; он оказал большое влияние и на становление ученых и педагогов и других специальностей, в том числе и по русской истории.

В знаменитых семинарах Петрушевского прошли строгую школу профессиональной подготовки Е. А. Косминский и А. И. Неусыхин, В. М. Лавровский и М. М. Смирин, Н. А. Машкин и А. С. Ерусалимский, Л. В. Черепнин и А. С. Насонов, Н. В. Устюгов и И. С. Макаров и многие другие; полный перечень учеников Петрушевского, его слушателей и участников семинаров очень велик.

Плодотворная деятельность Петрушевского была прервана дискуссией 1928 г. Его книги переиздавались и в 30-х годах,

но этот рубеж остался болевой полосой и в его жизни и в жизни Неусыхина. Многое пришлось им вынести и преодолеть, но они никогда не жертвовали своей совестью, своими научными убеждениями, они не воспринимали науку вне этики.

В письме близкому другу, написанном по получении известия о кончине Д. М. Петрушевского, А. И. Неусыхин писал: «...он был для меня более 20 лет недосыгаемым образцом истинного морального пафоса и подлинного служения науке и главное — *человеком* — одним из тех, кто был человеком в лучшем смысле этого слова и останется таким для всех знавших его навсегда»⁵. О правдивости, искренности и прямоте научной мысли Дмитрия Моисеевича писал Е. А. Косминский: «Он учил честному, точному, научному историческому мышлению и этим делал большое культурное дело»⁶. Многие ученые в отзывах и письмах не раз подчеркивали именно это сочетание умственной силы и высокого нравственного благородства и в жизни и в трудах Петрушевского.

Окончив в 1886 г. Киевский университет, Петрушевский по представлению своего руководителя И. В. Лучицкого был оставлен при университете на кафедре всеобщей истории. В 1894—1897 гг. он приват-доцент Московского университета. После защиты магистерской диссертации в Киевском университете в 1897 г. он был избран экстраординарным профессором Варшавского университета (с 1902 г. — ординарным профессором), где преподавал 9 лет. В 1906 г. был снова приглашен в Московский университет, который в знак протеста против реформы Кассо покинул в 1911 г. До 1917 г. он преподавал в вольном университете Шанявского, в Петербургском политехническом институте и лишь после революции вернулся в Московский университет. В 1921 г. был избран директором научно-исследовательского Института истории при факультете общественных наук Московского университета, откуда ведет свое происхождение Институт истории РАН ИОН, предшественник Института истории АН СССР; в 1929 г. был избран действительным членом Академии наук СССР.

Более полувека — с 1889 по 1941 г. — продолжалась публикация научных трудов Д. М. Петрушевского. В его научном наследии заметное место занимают статьи, публикации источников; большое внимание он уделял знакомству с иностранными работами, выступая инициатором, переводчиком и редактором переводов (Д. Брайса, У. Д. Эшли, У. Ризона, Г. фон Бюлова, Макса Вебера). Но главное место в его научном наследии нужно отнести книгам, которые имеют редкую, необычную для специальных исследований судьбу. Его труды выдержали несколько изданий.

В дни празднования 35-летия научной и педагогической деятельности Д. М. Петрушевского в 1925 г. Н. П. Грацианский, отмечая, что Петрушевский более 25 лет занимает одно из первых мест среди медиевистов, сказал: «Вам посчастливилось найти

то, что редко выпадает на долю специалиста-исследователя, именно массового читателя своих произведений...»⁷

Е. А. Косминский, относивший Петрушевского ко второму поколению русских историков Англии, в 1947 г. писал об «Уоте Тайлере»: «Книга эта уже свыше сорока лет сохраняет значение основного труда по аграрной истории Англии в XIV в. и по истории крестьянского восстания в 1381 г.»⁸ Объясняя значимость трудов Петрушевского, Косминский писал, что Дмитрий Моисеевич «всегда умел ставить общие проблемы широчайшего исторического значения»⁹.

А. И. Неусыхин считал, что «Восстание Уота Тайлера» — огромный шаг вперед даже по сравнению с фундаментальными трудами П. Г. Виноградова, ибо в этой книге на конкретном материале той же страны преодолены чисто аналитические построения Виноградова; он подчеркивал сочетание анализа и синтеза в трудах Петрушевского, его умение связывать индивидуальное и целое в живое и неразрывное единство¹⁰, его склонность к целостности построения, диалектическое понимание эволюции, величайшее мастерство исторического реализма.

Весной 1942 г. Дмитрий Моисеевич, желая подвести итоги пройденного пути, обратился к своему ученику, давно уже ставшему его близким другом, с просьбой дать отзыв о его работах. А. И. Неусыхин безотлагательно выполнил эту просьбу¹¹. В ответ Петрушевский писал: «Ваш отзыв не ограничивается общей характеристикой и дает детальный, можно сказать, технический анализ методического облика моих работ, и этот анализ создает очень глубокое построение, освещающее мои работы с таких сторон, с которых они становятся ясными вполне для меня самого только после ознакомления с ним и углубления в него... все, что я писал и пишу, я писал и пишу без заранее обдуманного плана и без черновика... писание это, как и чтение лекций, является для меня скорее импровизацией, чем обычной научной работой с заранее составленным планом, с вполне различным анализом и синтезом... м[ожет] б[ыть], поэтому анализ и синтез в моих работах так тесно и неразрывно связаны. Ваш замечательный (я не могу назвать его иначе) отзыв о моих работах научно обогащает меня самого, внося собою нечто новое в историческую науку. Так освещать мои построения разных периодов средневековой истории, как это делаете Вы, значит с своей стороны участвовать в творческой работе автора, делать ее результаты вполне понятными и для читателя, и для самого автора. Такой отзыв, получив более широкое распространение, стал бы объективным достоянием исторической науки. От всей души благодарю Вас за него»¹².

А. И. Неусыхин считает основной чертой работ Д. М. Петрушевского наличие конкретно-исторического синтеза в контексте исторического процесса. В «Уоте Тайлере» этот конкретный синтез строится непосредственно на архивных материалах. В «Очерках средневекового общества и государства» автор идет иным

путем, давая широкую картину перерождения всего общественного строя Западной Римской империи, а потом прослеживая три варианта варварской государственности в связи с процессом возникновения феодализма. «Но это, — пишет Неусыхин, — обобщение конкретного хода развития... ибо общие закономерности и могут быть поняты посредством наглядного изображения этих конкретных процессов»¹³. Вместо готовых формул читателю предлагается целостное постижение процесса в осуществлении задачи «искать и находить индивидуальное в общем и общее в индивидуальном». В «Очерках экономической истории» автор стремился дать не параллельные ряды, а как бы восходящую линию развития средневекового общества, каждое звено на различном конкретном материале — Рим и германцы; франкское поместье; эволюция средневекового поместья на примере Англии; наконец, город. Автор стремится дать наиболее типическое, но при этом вскрыть индивидуальную сущность.

Один из основных вопросов, трактуемых Петрушевским и призывающий все его работы, — соотношение и взаимоотношение общества и государства. С этой важнейшей проблемой, имеющей отнюдь не только академическое значение, связана и концепция «политического» феодализма, за которую Петрушевский подвергался критике. Однако он рассматривает лишь одну из сторон исторического процесса, не считая государство демиургом социальной и экономической жизни. Его подход к вопросу о государстве сложен. Считая, что государство создало сословия военное и крестьянское, он подчеркивает обусловленность действий государственной власти наличной социальной действительностью, говорит об общем процессе феодализации западноевропейского общества, процессе своеобразного приспособления общества к потребностям государства, отмечает большую роль королевской власти в процессе социальной дифференциации. Отношения между базисом и надстройкой сложнее, чем это принято думать, — пытался разъяснить концепцию Петрушевского Неусыхин, выступая в дискуссии 1928 г.¹⁴

Проблемы взаимодействия общества и государства вновь приобретают важное значение в развитии средневековья, остаются актуальными для понимания природы феодализма и истоков европейской истории.

Для Петрушевского при известной эволюции взглядов, связанной с неустанным исканием научной истины, способов ее постижения, вместе с тем характерно определенное единство творческого пути, строго очерченный круг интересов, философская широта и социологичность мышления. В последний год жизни, в Казани, оторванный от своего архива и книг, он строит планы дальнейшей работы, показывающие две его черты: устойчивость и последовательность научных интересов и постоянный поиск. В апреле 1942 г., когда дни его уже были сочтены, он пишет Неусыхину: «...мне хотелось бы выполнить такой план: 1. Социальная сторона политичес[еского] кризиса в Англии второй

половины XIII в. и в связи с этим дополнить соответствующую главу моих «Очерков из истории англ[ийского] государства и общества в ср[едние] в[ека]». 2. Пересмотр моих «Очерков из экон[омической] ист[ории] средневеков[ой] Европы» (прежде всего философск[ого] введения и последней главы о средневеков[ом] городе и средневековом хозяйстве). 3. Вернуться к вопросу об экон[омической] и соц[иальной] эволюции средневеков[ой] Европы и для этого использовать свои собранные по этому вопросу историографические материалы. 4. Воспользоваться как предлогом спором, поднятым в англ[ийской] историч[еской] науке об англосак[сонском] феодализме и еще раз пересмотреть общий вопрос о феодализме, привлекая новую литературу и европ[ейскую], и русскую...»¹⁵. Этим планам не суждено было осуществиться. А это, быть может, позволило бы иначе взглянуть и на «Очерки экономической истории», книгу, подвергавшуюся наиболее резкой критике.

Весь пафос этой книги, а она ярко полемична, направлен не против марксизма — такой задачи автор себе никогда не ставил, — а против вотчинной теории и ее сильных реминисценций в исторической науке¹⁶. Полемицировал Петрушевский и с натуральнохозяйственной концепцией К. Бюхера и с теорией Доуша, в «рабском следовании» которой необоснованно упрекал Петрушевского М. Н. Покровский. Критика же самого Петрушевского шла не по линии анализа мыслей и наблюдений автора, а по поводу употребляемых им терминов («государственный социализм», «социалистическое государство» у Платона, «капиталистические элементы») и без попытки определить, какой смысл вкладывал в них Петрушевский. Таким образом, это был спор о словах, а не об идеях (Е. А. Косминский). Вотчинная и натуральнохозяйственная теория, которые оппоненты Петрушевского необоснованно связывали с марксизмом¹⁷, исключали, по существу, возможность всякого движения, всякого развития, представляя собой чисто механистический взгляд на историческую действительность, ее схематизирование и упрощение.

Этот взгляд на труды Петрушевского нашел свое отражение и в книге О. Л. Вайнштейна «История советской медиевистики» (1968).

Труды Д. М. Петрушевского — фундамент, на котором выросла школа социально-экономической истории раннего и классического европейского средневековья в нашей медиевистике¹⁸.

Одним из выдающихся учеников Д. М. Петрушевского был Александр Иосифович Неусыхин. Многие А. И. Неусыхин взял у своего учителя, их научное наследие можно рассматривать как разные стадии единого историографического процесса. Интерес к истокам европейской истории, конкретность исследований и вместе с тем социологичность построений в лучшем смысле этого слова, склонность к философскому осмыслению предпосылок и результатов своих изысканий — все это роднит их, несмотря на различие методов и материала.

Д. М. Петрушевский высоко ценил своего ученика, не раз писал ему: «Решительно возражаю против Вашей упорной скромности»; он подчеркивал, что А. И. Неусыхин — один из глубоких и лучших знатоков истории древних германцев и раннего средневековья¹⁹, хотя главные работы Александра Иосифовича были еще впереди и учителю не довелось их увидеть.

А. И. Неусыхин окончил Московский университет в 1921 г. и начал печататься с 1922 г.; его последняя работа, вышедшая при жизни, датирована 1968 г., за ней следуют посмертные публикации вплоть до 1985 г.

А. И. Неусыхину принадлежат три монографии²⁰, главная из которых — «Возникновение зависимого крестьянства...» — в существенно расширенном и дополненном виде (превышает русское издание на 10 печатных листов) вышла в немецком переводе в ГДР²¹; посмертно издан сборник преимущественно ранее не опубликованных трудов — «Проблемы европейского феодализма» (1974), который содержит список печатных трудов Неусыхина по год издания²². Несколько книг Неусыхина остались лишь в замыслах: «Проблемы исторического мышления» (в рукописи проспекта этой работы, опубликованного в посмертном издании, была пометка Неусыхина: «Книга, которая никогда не будет напечатана»); «Очерки из истории Германии» — работа над этой монографией была остановлена в 1949 г. (опубликована посмертно в упомянутом сборнике); «Экономическое учение Фомы Аквинского» — неосуществленный замысел, толчок которому был дан этюдом Петрушевского о Фоме Аквинском в «Очерках из экономической истории», высоко ценимых Неусыхиным. Задумывал Александр Иосифович и труд о развитии средневековых теорий о государстве. Предполагалось также издание сборника избранных статей Неусыхина, который был составлен им самим, но, к сожалению, не увидел свет.

Помимо многочисленных рецензий, которые часто превращались в развернутые историографические статьи, Неусыхину принадлежит более двух десятков исследовательских статей, несколько глав по истории Германии, Италии и Испании во «Всемирной истории», «Истории Италии», «Истории крестьянства в Европе» — для этого последнего издания он очень много сделал в качестве ответственного редактора первого тома, посвященного раннему средневековью²³. Был Неусыхин ответственным редактором посмертного сборника статей Н. П. Грацианского²⁴.

Среди статей Неусыхина особое место занимают работы, посвященные ранней общине, серия статей по источниковедению «Салической правды» и две статьи об особенностях дофеодального периода, представляющие собой сокращенный и развернутый варианты проблемного обобщающего исследования, где сформулирован ряд важных мыслей о природе переходного периода от первобытнообщинного строя к феодальному.

После выхода в свет «Возникновения зависимого крестьян-

ства...» в письме Т. И. Райнову Неусыхин писал, что его главный научный интерес направлен именно на переходный период, что его интересуют главным образом эти «между» — характерные особенности и конкретно-исторические процессы, составляющие самую душу исторического развития и для историка самые важные²⁵. В своих трудах Неусыхин глубоко исследовал внутренний строй варварского общества, сознательно вычленив его, как бы сделав срез, подобно препаратору, и абстрагируя его от существующих в исторической действительности связей с римским обществом, всю силу воздействия которых он отчетливо понимал. «Процесс возникновения феодализма в Западной Европе, взятый в целом, — писал он, — имеет две неразрывно связанные и одинаково существенные стороны: разложение рабовладельческого способа производства и зарождение предпосылок феодализма в разлагающемся первобытнообщинном строе. Мы избрали своей задачей изучение второй стороны этого процесса, разумеется принимая при этом во внимание и ее связь с первой его стороной»²⁶.

Логическим завершением его исследований и стали сформулированные им в двух статьях последних лет его жизни положения о существовании переходного дофеодального периода²⁷. Он полагал, что необходимо выделение особого периода в качестве дофеодального, ибо «развитию феодализма в европейских странах предшествовала такая общественная структура, которая не может быть отождествлена ни с первобытнообщинным, ни с раннефеодальным строем»²⁸. А. И. Неусыхин считает эту структуру необходимой предпосылкой возникновения элементов феодального строя. Следующим этапом работы он считал исследование взаимодействия варварского строя с рабовладельческим, переход к этому этапу прослеживается в главе «От античности к средневековью» в коллективном труде «История Италии», вышедшем в свет уже после кончины Неусыхина. Ряд мыслей относительно характера догосударственных объединений германцев и проблем перехода от античности к феодализму развит в его обширной статье — рецензии на книгу А. Р. Корсунского²⁹.

Если Александр Иосифович Неусыхин сравнивал труды Д. М. Петрушевского с горными вершинами, с высот которых можно было обозреть течение исторического процесса в рамках, взятых для исследования, то сам он спускался в самые глубины этого процесса, более всего интересуясь переходами, градациями, многозначностью понятий и институтов, показывал разные этапы и типы единого в своем многообразии процесса генезиса и формирования феодализма, самые истоки европейской истории, где «первообразы кипят». Важно отметить, что Неусыхин первым отчетливо сформулировал требование трактовать понятия варварского и раннефеодального мира в терминах и категориях, внутренне присущих этому миру: «...социально-экономические отношения таких переходных периодов, в течение которых только еще складывается классовое общество, не поддаются определению и истолкованию при помощи категорий этого последнего. Отсюда

возникает настоятельная необходимость попытаться понять специфику этих отношений без перенесения на них категорий феодального или буржуазного общества...»³⁰ Важность концепции переходного периода, сформулированной Неусыхиным, не оценена в полной мере и до сих пор.

Как и Д. М. Петрушевский, А. И. Неусыхин придавал очень большое значение преподавательской деятельности, занимавшей на протяжении почти четырех десятилетий значительное место в его жизни. Его влияние на многочисленных учеников было огромным и благотворным.

Родило учителя и ученика признание высокой ценности исторической науки — и строгого научного исследования, его философской значимости и просветительства. Оба они вслед за Г. Г. Шпетом, с которым Петрушевского связывали дружеские отношения и который оказал несомненное влияние на Неусыхина, считали историю основой образования культурного человека, наукой особого методологического значения³¹. Это налагает на историка и особую ответственность. Понимание меры этой ответственности сказывается и в том, что оба исследователя всеми своими трудами демонстрируют неослабевающую волю к пониманию богатства и неисчерпаемости реальной жизни, которая улавливается в «сети» науки всегда лишь частично и неполно, хотя в идеале и адекватно. Эту меру приближения к действительности историк обязан понимать и оценивать. К этому стремились Д. М. Петрушевский и А. И. Неусыхин. Именно это стремление назвал Александр Иосифович в своей статье о Петрушевском «историческим реализмом», и этот реализм объективно ближе к марксизму, чем догматизм, всегда обреченный на схематизм. В их трудах и отдельных высказываниях ясно ощущается воля к умению отдавать себе отчет «о всей неизмеримой сложности исторического процесса и всей трудности его ясного научного уразумения».

Ответственность историка заключается и в умении не утратить веру в цену выработанного годами упорного труда, выстраданного собственного мнения. При этом важно понимать, что историк, как и всякий ученый, должен иметь право на ошибку. Без этого права всякая возможность подлинно исследовательской работы уничтожается. Но историк, и, быть может, более, нежели всякий другой ученый, не имеет права на ложь и умолчание — ибо тогда распадается связь времен. Наконец, историки обязаны бережно относиться к богатому наследию, полученному от прежних поколений, не расточать его, не отбрасывать, с легкостью используя этикетку «буржуазный» историк, а хранить и в меру сил приумножать.

О ПРИНЦИПАХ ПОДХОДА К НЕМАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ, УРОКИ А. И. НЕУСЫХИНА

Б. Г. Могильницкий

Овладение новым политическим мышлением требует решительного отказа от сложившихся стереотипов в освещении немарксистской историографии. Нуждаются в переосмыслении сами принципы подхода к ее изучению. Не конфронтация, а стремление к диалогу, воссоздание объективной картины развития западной историографии с присущими ему закономерностями должны составлять существенное содержание ее марксистского изучения.

Это, разумеется, не отменяет значения принципа классового анализа, который сохраняет свое основополагающее место в марксистском историографическом исследовании. Историческая наука всегда отражает и защищает определенные классовые интересы, поэтому изучение ее истории необходимо предполагает выяснение социально-классовых истоков исторических концепций и теорий, равно как и их идейной направленности. Однако классовый подход не должен превращаться в универсальную отмычку, подменяющую собственно историографический анализ, и тем более сводиться к навешиванию идеологических ярлыков. Подобная практика, имевшая место в прошлом, лишь компрометировала принцип классового анализа, не позволяла раскрыть его действительно большие познавательные возможности. Очищенный от всевозможных догматических извращений, он выступает эффективным орудием познания подлинных закономерностей развития исторической науки.

В числе этих закономерностей одну из важнейших образует взаимодействие между марксистской и немарксистской историографической мыслью. Вопрос об этом взаимодействии принадлежит к числу наименее разработанных в советской науке. Распространенный взгляд, подчеркивающий антагонистический характер отношений между марксистской и немарксистской, прежде всего буржуазной, историографией, далеко не исчерпывает всего их действительного содержания; их характеризует не только конфронтация, но и определенное взаимовлияние, без учета которого невозможно понять закономерности развития исторического познания во второй половине XIX—XX в.

Разработка принципов подхода к немарксистской историографии должна опираться на лучшие традиции в ее освещении. В этом плане значительный интерес представляет историографическое наследие А. И. Неусыхина, в особенности его работы 20-х годов. До настоящего времени эти работы не привлекали специального внимания исследователей. Между тем они созвучны

сегодняшним поискам ученых по вопросу о характере и целях историографического исследования, общих принципах взаимоотношения между марксистской и немарксистской наукой.

В исторической науке, как и в обществоведении в целом, шла острая борьба между творческим и догматическим марксизмом. А. И. Неусыхин рано понял опасность догматизации марксизма. Уже в 1924 г. в рецензии на книгу В. В. Адоратского «Научный коммунизм Карла Маркса» (М., 1923) он, усматривая основной ее недостаток в догматичности, подчеркивал: «Черта очень опасная, ибо она может вызвать у неподготовленного читателя представление о самом методе Маркса как о чем-то догматическом, что, конечно, было бы искажением его характера»³². Актуальным остается предостережение молодого ученого о недопустимости декларативного подхода в изучении марксистского исторического метода. «Мало твердить о гибкости метода Маркса и о диалектичности исторического развития,— писал он,— нужно уметь живо и наглядно **показать** эту гибкость и диалектичность»³³.

Позже А. И. Неусыхин пронизательно отмечает другое опасное и «весьма печальное для всякого искреннего и желающего прогресса научной мысли марксиста» явление — «это власть слов, это то, что Бэкон Веруламский называл «*idola fori*». Поясняя свою мысль, он продолжает: «У нас ведь принято так говорить: „Раз Риккерт — то уже все с ним связанное — от дьявола. Все, что от Маркса, уже тем самым хорошо, не потому, что это хорошо, а потому, что от Маркса”»³⁴.

Действительно, в исторической практике объективный анализ той или иной исторической концепции зачастую подменяла «власть слов», когда данная концепция априорно отвергалась (или, напротив, принималась) в зависимости от идеологической оценки ее автора.

В 20-е годы эта «власть слов» особенно ярко проявилась в ходе известного диспута о книге Д. М. Петрушевского «Очерки из экономической истории средневековой Европы» (М., 1928), проходившего на заседаниях социологической секции Общества историков-марксистов 30 марта и 6 апреля 1928 г. Без сколько-нибудь серьезного разбора содержащейся в книге концепции она была заклеямена большинством участников диспута как антимарксистская на том основании, что автор разделял некоторые положения М. Вебера и А. Допша. Именно против такого способа полемики решительно выступили на диспуте А. И. Неусыхин и Е. А. Косминский. Они, в особенности Неусыхин, подверглись за это жесткой критике³⁵. Однако именно высказанные ими соображения в наибольшей степени отвечают современным требованиям марксистского историографического анализа.

В своем выступлении на диспуте Неусыхин противопоставил «власти слов» в историографическом исследовании принцип всестороннего изучения рассматриваемой теории. «Критика всякой теории прежде всего должна быть имманентна, т. е., — по-

яснял он, — должно понять эту теорию изнутри и затем уже преодолеть ее соответствующим образом»³⁶. Но означает ли такая критика отказ от мировоззренческого подхода к рассматриваемому объекту?

На первый взгляд кажется, что Неусыхин давал своим критикам определенное основание для подобного обвинения. Он прямо говорил: «...когда мы изучаем какое-либо явление действительности, то мы можем и должны изучать его объективно в том смысле, что мы субъективно должны отвлечься от тех элементов нашего общего мировоззрения, которые могут быть привнесены в самый процесс изучения». Еще более уязвимо для догматической критики другое положение ученого, высказанное на том же диспуте. «Я считаю, — заявлял он, — что то или иное решение конкретных специальных проблем истории, т. е. самый результат специального исследования, — особенно по отношению к другим эпохам, — в сущности говоря, индифферентно к марксизму»³⁷.

Однако сопоставление этих высказываний в общем контексте развивавшихся Неусыхиным взглядов на природу исторического и историографического познания позволяет прийти к иным выводам. По существу здесь идет речь не об отказе от мировоззренческого подхода в историческом (и историографическом) исследовании, а о недопустимости подмены такого исследования идеологическими спекуляциями.

Борьба Неусыхина за объективность исторического познания имела большое значение в условиях складывавшегося культа личности Сталина и его всевозраставшего негативного влияния на советскую историческую науку. Мировоззренческий же подход, свободный от идеологических спекуляций, составлял у Неусыхина неотъемлемый элемент его «имманентной критики» немарксистских теорий.

В 1927 г. в журнале «Под знаменем марксизма» был опубликован большой очерк А. И. Неусыхина «„Эмпирическая социология“ Макса Вебера и логика исторической науки», который сохраняет свое значение как пример подлинно научного подхода к освещению немарксистской историографии.

Цель своей работы Неусыхин сформулировал следующим образом: «Выделить из богатого идейного наследства М. Вебера то, что представляется автору особенно ценным, и указать, какие выводы могут быть сделаны из некоторых идей и методологических приемов М. Вебера»³⁸. Отмечая влияние на построения Вебера идей Г. Риккерта и К. Маркса, он считал необходимым выделить обе эти струи в творчестве немецкого мыслителя и определить основное направление его эволюции³⁹. В статье, однако, он рассмотрел лишь одну струю (влияние Маркса).

Отмечая большое влияние исторического материализма на историко-социологические обобщения М. Вебера, Неусыхин подчеркивал, что «во-первых, это влияние не было пассивно воспринято Вебером, а очень своеобразно им переработано; во-

вторых, оно не вытеснило влияния Риккерта, а переплелось с ним, превратив ориентирующую нить Риккерта в сложный клубок оригинальных и интересных мыслей»⁴⁰.

Распутывая этот клубок, Неусыхин обращался к тем работам Вебера, «в которых ему удалось соединить историческое и социологическое освещение явлений» и благодаря этому предложить «чрезвычайно оригинальные способы и методы решения» конкретно-исторических проблем. Это «Город» и в особенности «Протестантская этика и дух капитализма», которые и подвергаются тщательному анализу под указанным автором углом зрения.

Подчеркивая, что «в процессе изложения историко-социологических построений Вебера перед нашим умственным взором все время вырисовывается... силуэт мыслителя, как бы незримо руководящего Вебером», и отмечая, что «это несомненно силуэт Маркса»⁴¹, Неусыхин подвергает в этом плане глубокому исследованию сам метод изучения немецким ученым протестантизма. Ибо влияние марксизма сказалось прежде всего именно на методе Вебера, равно как и на проблематике его исследований. От К. Маркса, указывает Неусыхин, шел интерес к самой проблеме капитализма и понимание его историчности как общественной формации. «Только это понимание... — продолжает он, — и сделало возможной постановку вопроса о происхождении капитализма в качестве центральной проблемы всего веберовского исследования религиозной этики протестантизма»⁴².

Итак, внимание обоих мыслителей привлекала одна и та же проблема, но подходили они к ее изучению с разных сторон. В то время как К. Маркса привел к ней анализ производственных отношений капиталистического общества, М. Вебера интересовал вопрос о генезисе хозяйственной идеологии буржуазии. Так он пришел к своему пониманию «капиталистического духа» и вопросу о его возникновении. При этом Неусыхин справедливо подчеркивает, что в такой постановке вопроса нет ничего идеалистического и тем более мистического. Это «в высшей степени реальный исторический феномен, представляющий собою известную совокупность норм хозяйственной этики, приемов и методов хозяйствования»⁴³. Обосновывая это положение, ученый на большом историографическом материале раскрывает несомненное сходство К. Маркса и М. Вебера в оценке протестантизма как буржуазной идеологии.

Однако, отмечая моменты, сближающие позиции этих мыслителей, Неусыхин отнюдь не преувеличивает их действительное значение, не пытается «улучшить» Вебера, как-то обойти его борьбу против марксистской философии истории. Напротив, он подчеркивает решительное отрицание немецким ученым всякого философского рассмотрения общественного развития, его принципиальный эмпиризм. Но здесь-то и начинается самое интересное для нас. Главные усилия Неусыхина обращены не на критику Вебера за его расхождение с Марксом и стремление преодолеть материалистическое понимание истории, а на выяс-

нение того, что может дать веберовский эмпиризм историческому познанию. Его значение усматривается в попытках конкретизации Марксовых абстракций в процессе исследовательской работы. «Ибо,— продолжает Неусыхин,— попытки Вебера представляют собою поучительный пример того, как можно соединить широкие социологические обобщения с величайшей конкретностью исторического изложения, как можно материалистически (по методу, по крайней мере) анализировать тончайшие нюансы идеологии, ни на минуту не впадая в схематизм»⁴⁴.

По своей теоретической значимости эта постановка вопроса вышла далеко за пределы оценки веберовской «эмпирической социологии». По существу, здесь впервые в советской науке была сформулирована принципиально важная проблема, которая получила дальнейшую разработку в нашей историко-теоретической литературе лишь после XX съезда КПСС: о месте марксистской теории в конкретно-историческом исследовании. Едва ли не первым в советской историографии Неусыхин предостерегал, что простое отрицание Марксовых схем еще далеко не достаточно для историка. Оно чревато схематизацией и догматизацией исторического процесса, если не будет сопровождаться доскональным изучением самой исторической действительности, которая сложнее любой самой правильной схемы⁴⁵.

Спустя четверть века в письме Петрушевскому Неусыхин вновь возвращается к этой мысли. Он подчеркивает, что единственно адекватным исторической действительности способом решения той или иной исторической проблемы является целостное постижение процесса вместо подведения его под готовые формулы. Смысл процесса читатель сможет понять лишь в конкретных понятиях, складывающихся в процессе такого постижения⁴⁶. Здесь, по существу, идет речь о необходимости выработки исторической теории как среднего звена между социологической теорией и исторической действительностью⁴⁷. Важно при этом подчеркнуть, что Неусыхин не ограничивался одними лишь теоретическими рассуждениями. Его известные исследования по раннему западноевропейскому средневековью являются в своей совокупности не чем иным, как обоснованием специфической исторической теории, объясняющей конкретные закономерности становления феодальных отношений у германцев. Эта теория, разумеется, исходит из общих положений марксистского учения об общественно-экономических формациях и их закономерно смене. Но эти положения не образуют жесткого каркаса некоей схемы, насилующей реальную историческую действительность. Скорее, это ориентиры, помогающие постичь последнюю во всем ее многообразии и противоречивости.

Возвращаясь к неусыхинскому анализу историко-социологической теории Вебера, отметим любопытную и, как представляется, весьма плодотворную мысль о возможности «перевода на марксистский язык» некоторых ключевых понятий веберовской социологии. Иными словами, здесь ставится вопрос о возможности

и даже необходимости включения в марксистский контекст результатов, полученных другим путем. Это вопрос о возможности обогащения категориального аппарата марксистской науки за счет понятий, выработанных немарксистской историко-теоретической мыслью зачастую не без прямого или опосредованного влияния марксизма.

В качестве опыта такого перевода Неусыхин приводит несколько примеров. Одним из наиболее интересных в их числе является обращение к понятию «харизма». Как известно, харизматическим господством Вебер назвал «такой тип господства, который психологически основан на каких-либо качествах властителя, выходящих за пределы обычного и повседневного. „Харизма“ иррациональна и враждебна всякому традиционализму; ее психологический источник — авторитет властителя и авторитетность и неоспоримость его высказываний, а отнюдь не уважение к правовым или политическим нормам»⁴⁸.

Давая «перевод» этого понятия, Неусыхин отмечает, что «под „повседневностью“ Вебер разумеет исторически сложившийся экономический строй данного общества, а под „харизмой“ — те явления духовного порядка, которые выражают идеологию и психологию нового хозяйственного строя, идущего на смену старому»⁴⁹. Интересна и мысль Вебера о превращении «харизмы» в повседневность, которую приводит Неусыхин: «Харизматический властитель, резко порывающий с традиционными формами экономического быта, вначале относится отрицательно ко всякой традиции, ко всякому быту как таковому. Но как только его деятельность находит отклик в массах, так сейчас же в ней начинают появляться известные элементы традиционализма. Вначале они малозаметны, но постепенно вместо старой традиции создается новая: политический властитель обрастает целым штатом нового чиновничества... Люди, окружающие харизматического властителя, вербуются из новых общественных слоев, идущих на смену старым; он сам — homo novus, и новые люди окружают его...»⁵⁰

Не продолжая далее этот ход мыслей, подчеркнем только, что понятия «харизма», «харизматическая личность» в «марксистском переводе» могут сослужить хорошую службу в осмыслении многих непростых фактов нашей истории. В их числе — и культ Сталина, имевшего несомненные признаки харизматического властителя.

В заключение остановимся на неусыхинской трактовке самой известной и вызывающей в течение многих десятилетий оживленную полемику категории веберовской социологии — категории «идеального типа». К большому сожалению, рассматриваемая здесь работа Неусыхина осталась неоконченной. Не написана ее вторая часть, которая, судя по авторскому замыслу, всецело посвящалась характеристике логической структуры идеально-типических понятий, выяснению того, как Вебер представлял связь идеально-типического и каузального рассмотрения исторических

явлений, как ему удалось преодолеть логику Риккорта и избежать схематизма и т. д. Но даже то небольшое, что содержится в первой части очерка, позволяет более адекватно понять существенное содержание и научное значение этой веберовской категории, чем вся «разоблачительная» литература. Суть последней достаточно точно выражена в Философском энциклопедическом словаре, где утверждается, что «концепция идеальных типов направлена против идеи объективной закономерности и служит методологическим обоснованием плюрализма как принципа исследовательской деятельности»⁵¹. Кстати, в списке литературы к статье о М. Вебере в этом издании работа Неусыхина, конечно, отсутствует. Между тем на сегодняшний день это, пожалуй, единственное в советской литературе специальное исследование, объективно освещающее историко-социологические взгляды М. Вебера вообще и его трактовку идеально-типических понятий в частности.

А. И. Неусыхин и здесь прибегает к переводу веберовской конструкции на «марксистский язык», но к такому переводу, который не только не искажает оригинал, но и помогает понять его более глубоко и адекватно. Начнем с того, что он совершенно справедливо рассматривает обоснование Вебером категории идеально-типического понятия как определенное преодоление риккорттианства. Ведь главные отличительные признаки риккертского понятия «исторический индивидуум», от которого отталкивается Вебер,— его неповторимость и своеобразие. Именно неповторимость и делает известное историческое явление историческим индивидуумом. Основная же цель Вебера, замечает Неусыхин,— «нахождение повторяющегося в своеобразном, общем в индивидуальном»⁵².

А. И. Неусыхин настойчиво подчеркивает объективно-историческую фактуру идеально-типического понятия. Для его конструирования в исторической действительности «отыскиваются именно те... черты, которые являются наиболее характерными и существенными для нее», но они «взяты в их идеальном виде, т. е. в том виде, в котором они никогда не могут существовать ни в какой конкретной действительности, но который они примут, если логически продумать их до последних пределов»⁵³. В то же время ученый указывает на инструменталистский характер идеально-типического понятия. «...Идеально-типическая конструкция,— поясняет он,— представляет собой своего рода масштаб... для измерения действительных отношений»⁵⁴.

Будучи орудием исторического познания, идеальный тип, таким образом, не тождествен исторической действительности, и в этом смысле он является утопией. Но вместе с тем, подчеркивал Неусыхин на диспуте о книге Петрушевского, он и не трансцендентное должествование. Это «мыслительное усиление известных реальных отношений действительности»⁵⁵. Едва ли поэтому можно безоговорочно согласиться с бытующим у нас взглядом, будто «античность, феодализм, капитализм для

Вебера не объективно существующие отношения, а способы идеальной типизации»⁵⁶⁻⁵⁷. Вся проблематика историко-социологических исследований немецкого ученого непреложно свидетельствует о том, что, например, ранний капитализм был для него бесспорной объективной реальностью. Другое дело, что для объяснения этой реальности он прибегал к мыслительной конструкции — идеально-типическому понятию капитализма. В своем очерке А. И. Неусыхин на конкретных примерах показывает механизм конструирования Вебером идеально-типических понятий, а также их эвристическое значение для исторического познания. Все это позволяет поставить вопрос о возможности использования понятия идеального типа в марксистском историческом исследовании и условиях, ее обеспечивающих.

Я не ставлю своей целью дать общую оценку неусыхинской работе о М. Вебере. Важно показать сам принцип подхода к немарксистской историографии как к диалогу, взаимодействию. В обосновании такого подхода, его практическом осуществлении и состоит поучительный для нас урок выдающегося советского историка-марксиста.

К ИСТОРИИ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Д. М. ПЕТРУШЕВСКОГО

Ю. Ф. Иванов

13 марта 1897 г. Д. М. Петрушевский защитил в Киевском университете магистерскую диссертацию «Восстание Уота Тайлера», ч. 1 (СПб., 1897). 6 апреля он, только получивший магистерскую степень, пишет В. К. Пискорскому: «Сижу в Москве и предаюсь обычным занятиям: поездка в Киев, а потом спешная работа (редактирую Ashley. Economic history and theory. 2 vol.) несколько оторвали меня от занятий 2-й частью «Тайлера». Теперь опять принимаюсь и летом можно бы написать (1-я глава уже готова) все»⁵⁸. Следовательно, первая глава «Черная смерть и рабочее законодательство четырнадцатого века» была готова до поездки в Киев, т. е. до магистерского диспута. Защита прошла успешно, гонорар за книгу У. Д. Эшли, переведенную им, на некоторое время укрепил материальное положение. Впереди же имелись все шансы получить место экстраординарного профессора в Варшавском университете, где на кафедре всеобщей истории открылась вакансия.

В конце сентября 1897 г. Д. М. Петрушевский приехал в Варшаву и приступил к занятиям. К лету он свой труд закончить не успел. Он в университете читал общий курс средних веков, историю Рима, спецкурсы. Первые же лекции принесли ему успех. В письме к Л. Я. Барскову профессор похвалился,

что слушатели ему «иногда даже аплодируют. И сам я доволен своим курсом: он выходит именно таким, как я хотел»⁵⁹. Мысль об удовлетворении учебной работой звучит и в других письмах. Студенты сразу же оценили достоинства нового преподавателя: его увлеченность, эрудицию. И хотя с чисто внешней стороны Петрушевский был неважным лектором, его лекции пользовались успехом. Он ставил сложные философско-теоретические проблемы, не загромождал память слушателей мелкими деталями. Об исторических деятелях Петрушевский сообщал лишь самые необходимые сведения. Для него важно было разъяснить суть социально-экономических процессов на разных этапах исторического развития. С такой постановкой изложения материала лекций студенты еще не встречались. Она для них была новой, захватывающей.

Интерес слушателей к лекциям Петрушевского со временем не ослабевал. Занятия отнимали у профессора много времени. Учитывая отсутствие необходимых пособий, он задумал издать свои лекции литографическим способом. На их подготовку ушло много времени. 31 января 1900 г. в одном из писем Петрушевский ставит в известность В. Э. Грабаря, что курс, отпечатанный по его рукописи, уже увидел свет и он предоставил студентам возможность готовиться к экзаменам «по этому изданию»⁶⁰. Ученый гордится успехом опубликованных лекций, тем, что немало экземпляров выпуска разошлись «за пределы Варшавы (в Петербург, на Кавказ и др.)»⁶¹. На диссертацию же времени не оставалось. «Диссертация пока должна ждать своей очереди, как ни прискорбно это для меня», — жалуется ученый Пискорскому⁶². Пришлось также отложить несколько других работ (статей, рецензий), которые могли бы дать дополнительный заработок.

Лето 1898 г. Петрушевский вместе с семьей провел на Немане. Не столько отдыхал, сколько готовился к следующему учебному году, занимался усовершенствованием читанных и составлением новых общих и специальных курсов.

У Петрушевского зреет мысль получить годичный творческий отпуск, чтобы закончить работу. «С января думаю уехать всем домом за границу, о чем по моему прошению Совет университета уже возбудил ходатайство перед министерством. Вот тогда-то (если отпустят, конечно, и дадут просимые 1 1/2 тысячи рублей в дополнение к жалованию) я и приступлю к писанию своей второй книги ничем не смущаем. Книга будет очень объемистой, так что, пожалуй, придется публиковать ее в двух томах»⁶³. Петрушевский полагал, что необходимые исследования уже проделаны, «за исключением некоторых пунктов»⁶⁴, и остается лишь облечь свои мысли в хорошую литературную форму. Всю работу он считал возможным завершить за год.

Однако на пути заграничной поездки стояли немалые препятствия. Товарищ министра народного просвещения Н. А. Зверев отказал Петрушевскому в деньгах. Ученый с 1891 г. находился

на заметке у Департамента полиции в связи с подозрительным знакомством, его письма содержали нелестные характеристики университетских коллег консервативного направления.

После отказа министерства на месте было решено выдать Петрушевскому 600 руб. из факультетских сумм и 900 руб. из университетских. Предстояло утвердить это решение на Совете тайным голосованием. Баллотировка состоялась в последних числах октября 1898 г. Петрушевский чрезвычайно выразительно изложил ее результаты: «...28-ю против 20 голосов провалили решение факультета выдать мне 600 р. из своих факультетских командировочных денег, решение, словесно одобренное и самим же Советом в предшествующем заседании. Факт исключительный, свидетельствующий о тех чувствах, какие я успел внушить к своей особе среди большинства заседающих в Совете. Конечно, провалили прежде всего свои же факультетские, трусливо молчавшие, когда дело обсуждалось и открыто решалось еще в факультете»⁶⁵. Петрушевский справедливо полагал, что ему отомстили за то, что он не скрывал антипатии к их убеждениям и поведению.

Однако отказаться от поездки Петрушевский не мог. Из Варшавы он с семьей выехал в конце декабря 1898 г. в Дрезден. Ему хотелось побывать и в Лондоне, чтобы поработать в английских архивах и собрать дополнительный материал.

Работал Петрушевский в Дрездене над книгой усердно. Иногда он отвлекался от работы. Жизнь во всех ее проявлениях его увлекала. Выехав на несколько дней в Берлин, чтобы позаниматься в Королевской библиотеке, он осмотрел достопримечательности немецкой столицы, побывал в рейхстаге, прослушал выступление А. Бебеля⁶⁶. В Лондоне, куда Петрушевский приезжал на короткое время для работы в Record Office, он, несмотря на интенсивные занятия, не удержался от посещения Школы экономических и юридических наук при Лондонском университете, чтобы услышать лекции знаменитого немецкого ассириолога А. Деймеля и старого знакомого Эшли, «приезжавшего на летние каникулы из своей Америки, где он даже успел приобрести американский акцент»⁶⁷. Не утратил Петрушевский и постоянной тяги к художественной литературе. Самой громкой новинкой в 1899 г. был роман «Воскресение» Л. Н. Толстого, и ученый настоятельно просит друзей достать и возможно скорее прислать это произведение.

Следит Петрушевский и за тем, что происходит в России. Министром просвещения тогда стал Н. П. Боголепов, проводивший реакционный курс на подавление студенческого движения самыми жестокими мерами, увольнение неугодных профессоров. Конечно, Петрушевский не мог в письмах сообщить все, о чем думал. Он старался писать иносказательно: «Отечество очень меня огорчает. О деянии человека из участка я, конечно, знаю из газет и из устных и письменных сообщений московских и петербургских приятелей. Единственно, на что я на-

деюсь, это на отставку этого зловредного исчадия квестуры»⁶⁸. Упомянув римское полицейское учреждение, Петрушевский хотел быть уверенным, что В. К. Пискорский, которому предназначались эти строки, поймет, что имеется в виду Боголепов, являвшийся в свое время профессором римского права в Московском университете.

Получив известие, что из Петербургского университета удален Н. И. Кареев, ученый, пользовавшийся европейской известностью, Петрушевский тотчас торопливо набрасывает текст сочувствия: «Мне нет надобности распространяться о том, в какой степени возмутил меня этот не имеющий названия по своей гнусности подвиг новоявленного Аракчеева российского просвещения и наглость его». Петрушевского поражает, что «общество позорно безмолвствует при виде этого неслыханно наглого надругательства над русской наукой и просвещением». Он считает, что Кареев, отвергнув всякие компромиссные предложения, совершил «теперь столь редкий в нашем обществе гражданский подвиг»⁶⁹. Чувство горечи, которое испытывал Петрушевский, все эти отрицательные эмоции затрудняли работу. Но все же не эти мимолетные отвлечения мешали быстро закончить монографию. Просто на каждом шагу приходилось преодолевать трудности, которые возрастали по мере углубления «в самые дебри экономических и социальных распорядков феодальных»⁷⁰. Петрушевский отмечает, что все вопросы, которые ему приходится рассматривать, «не тронутые почти наукой» и он «принужден самостоятельно пролагать пути»⁷¹. По мере приближения срока возвращения, а вернуться он должен был к началу января 1900 г., поскольку уже 7-го полагалось начать читать лекции, настроение его падает. В ноябре историк жалуется, что все «сражается пером со своими собственными мыслями, вгоняя их в прокрустово ложе докторской диссертации. До сих пор еще не справился с этой, временами довольно-таки несносной работой, но не теряю надежды поставить таки какую-нибудь точку, прежде чем опять увижу в январе отечественный дым»⁷².

Мечты вернуться в Варшаву «не иначе как с диссертацией под мышкой»⁷³ не сбылись. Пришлось ее доделывать параллельно с учебными занятиями и в обстановке усиления недоброжелательства со стороны реакционной части профессуры. Петрушевский ушел в себя, замкнулся в семье: «Живу я здесь в этой помойной яме прескверно. Правда, я по возможности изолировал себя от ее помойной атмосферы. Но эмансипировав себя от дурного воздуха, я остался всего лишь в безвоздушном пространстве»⁷⁴. Научная работа затормозилась. Из Варшавы Петрушевский делится с П. И. Новгородцевым: «Тайлер мой что-то положительно заупрямился, вернее, завяз, и, несмотря на все усилия, не могу сдвинуть его с места, что доставляет мне истинное мучение»⁷⁵.

В довершение всех трудностей у Петрушевского в результате перенесенных неприятностей, интенсивной работы и непрерывных

житейских забот, связанных с постоянной нехваткой денег, распались нервы. Ученый сетует на то, что это обстоятельство существенно тормозит его «докторство; сидишь иногда несколько часов, и кроме уныния никаких других ученых результатов от этого не достигается; а между тем все давным давно обдуманно, решено и подписано, остается только исполнить»⁷⁶.

На лето 1900 г. ученый с семьей перебрался в имение Демьяново, расположенное в трех верстах от Клина (ныне в черте города). Оно принадлежало В. И. Танееву, с которым Петрушевский был давно знаком. В. И. Танеев был интересным человеком. Карл Маркс назвал его «преданным другом освобождения народа»⁷⁷. В. И. Ленин, выдавая в 1919 г. Танееву специальную охранную грамоту, вспомнил эти слова и подтвердил их⁷⁸.

Вся обстановка имения импонировала Петрушевскому. Красивая природа, которую он всегда ценил, общество, в котором нуждался. В Демьянове часто отдыхали либеральные профессора, в частности К. А. Тимирязев. Идеалами хозяина являлись Робеспьер и Пугачев. Танеев собрал обширную коллекцию изображений предводителя крестьянской войны в России XVIII в. Одно из них, очевидно, особенно нравилось владельцу. Оно было помещено у входа в библиотечную залу, и, вводя туда гостя, В. И. Танеев объяснял: «Вот самый замечательный, умный, талантливый русский человек»⁷⁹. Уже один интерес к крестьянским движениям сближал Петрушевского с Танеевым, а были и другие точки соприкосновения: любовь к истории, философии, свободомыслию.

Обстановка Демьянова благоприятно повлияла на ученого, и он приехал туда на следующий год, хотя сухое жаркое лето и пожары торфяников не способствовали отдыху. Здесь в августе 1901 г. он наконец-то завершил свой труд. Причем перед этим его постигло большое горе. Умерла его годовалая дочь Мария, ее памяти и посвятил Петрушевский вторую часть «Тайлера».

Даже в начале 1901 г. он еще был уверен, что диссертация в скором времени будет закончена. А. Н. Савину, с которым он не был близок, писал в более мажорном тоне: «Все собираюсь окончить свою работу, да все никак не могу поставить последнюю точку. Не теряю, однако, надежды сделать это в скором времени, так что книга явится если не к концу этой весны, то во всяком случае не позднее начала следующей осени. Книга может оказаться несколько более, чем следует, теоретической»⁸⁰. Последней фразой ученый как бы предупреждал возможную критику позитивистски настроенных рецензентов. Буквально через полмесяца Петрушевский пишет минорное письмо В. Э. Грабарю, с которым всегда был совершенно откровенен: «Начинаю приходить к не особенно утешительному для меня заключению, что мое докторантство осуществится едва ли раньше будущей осени»⁸¹. Так и вышло. Предисловие писалось в августе, когда книга была уже в наборе.

Первоначально Петрушевский намеревался отдать диссертацию в Киев, как всегда поступали ученики И. В. Лучицкого⁸². Затем

вдруг изменил решение и подал прошение о принятии ее к защите на историко-филологический факультет Московского университета⁸³. Трудно сказать, что вызвало такую перемену. Возможно, то, что отношения между учеником и учителем стали более прохладными. А скорее всего желанием установить с Москвой более тесные связи. Ведь Петрушевский питал надежду перейти когда-нибудь в Московский университет.

Защита диссертации состоялась 4 ноября 1901 г. Диспуты, особенно докторские, были тогда крупным событием. К сожалению, стенографирование диспутов не практиковалось, и о его ходе мы можем узнать лишь по газетной информации: Скуп так же протокол защиты. Из него видно, что на защиту Петрушевского из членов факультета явились лишь прогрессивные профессора. Отсутствовали представители консервативного направления, например, В. И. Герье, И. В. Цветаев, С. И. Соболевский и др. Не пришел и декан факультета А. И. Кирпичников. За него протокол о присвоении Петрушевскому степени доктора всеобщей истории подписал В. О. Ключевский⁸⁴. Официальными оппонентами выступали П. Г. Виноградов и Р. Ю. Виппер. Они отметили использование неопубликованных архивных документов, важность выводов докторанта для исторической науки и указали лишь на некоторые второстепенные недостатки⁸⁵. Попытка сорвать защиту не удалась.

Рассмотренный материал показывает, что Д. М. Петрушевский в период 1897—1901 гг. остро переживал казенную атмосферу, царившую в Варшавском университете. Он отдавал себе отчет, что она не местное порождение, а результат определенной правительственной политики. Его оценки свидетельствуют об его оппозиционных настроениях. За то, что ученый не скрывал своих убеждений, не подлаживался к официальной линии, его ущемляли. Он являлся единственным в Российской империи профессором, не имеющим чина и орденов. Недружелюбная атмосфера мешала работе, замедляла ее. Отдушиной являлись только занятия со студентами; у него была большая аудитория. Несмотря на все трудности, Петрушевский закончил книгу, ставшую научным событием.

А. И. НЕУСЫХИН О ПРИРОДЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Т. Д. Сергеева

Александр Иосифович Неусыхин — историк-мыслитель по преимуществу, его пристальное внимание всегда привлекали сам процесс познания прошлого, обстоятельства поиска истины исследователем-историком.

Среди богатого научного наследия этого выдающегося советского историка большой интерес представляют его наблюдения

о природе исторического познания. Они не получили развернутого изложения, но на протяжении всей своей научной деятельности он сохранял живой интерес к этим вопросам.

В изданном посмертно сборнике избранных трудов А. И. Неусыхина «Проблемы европейского феодализма» (М., 1974) был опубликован план задуманного им в середине 1931 г. исследования о природе исторического мышления. В нем намечены следующие пункты: 1) история и политика; 2) история и метафизика; 3) история и искусство; 4) история и естествознание; 5) история и социология; 6) история и психология.

Говоря об истории, ученый различал историю как процесс и историческую науку как предмет изучения, анализируя историческое мышление применительно к этому различию. Предпринятая нами попытка развернуть эти наблюдения Неусыхина на основе материалов многочисленных небольших рецензий и критических статей, написанных им в 20-е годы⁸⁶, позволяет изложить их в виде некоей системы взглядов.

В общей структуре человеческого мышления, по мнению Неусыхина, каждой науке присущ вполне определенный, имеющий свою специфику стиль мышления. Историческое мышление по самой своей природе имеет много общего с политическим, философским, естественнонаучным и художественным стилями мышления, но вместе с тем оно существенным образом отличается от них. Историческая наука, конечно, не может обойтись без известного абстрагирования от исторического процесса, однако полный отрыв мышления исследователя от исторической действительности, по его мнению, не только существенно обедняет, но и извращает наше понимание истории. Соотношение истории и социологии представлялось ему гораздо сложнее; следует подчеркнуть, что эти мысли высказывались им в годы широкого распространения в отечественной науке вульгарного социологизма в понимании исторического процесса, а соответственно и задач исторической науки. В свое время Неусыхин противостоял утверждавшимся в отечественной науке и высшей школе взглядам, будто бы теория исторического материализма вполне заменяет собой историю, и отстаивал свои позиции на открытых научных диспутах и в печати.

Историческое мышление, по его словам, «остается на почве исторического процесса. Это историзм в истории — и только»⁸⁷. «Научное изображение социально-экономической и духовной культуры прошлого, составляющее одну из задач науки истории, — писал он в середине 20-х годов, — стремится обычно к установлению причинной связи явлений, к отысканию общих закономерностей всего хода исторического процесса, всего развития данного общества в целом. И хотя такое причинное объяснение явлений, имевших место в прошлом, и составляет сущность истории как науки, но оно носит всегда по необходимости несколько схематический характер: ибо даже там, где дело идет не об общих тенденциях развития, а об отдельных конкретных

явлениях, историку-исследователю приходится намечать лишь основное их содержание, отвлекаясь от многих частных: иначе он не может дать никакого построения, то есть ничего не сможет объяснить»⁸⁸. Только таким образом — через постижение того, что, на первый взгляд кажется частностями, — только через непосредственное восприятие конкретных реальностей прошлого историческая наука в состоянии будет понять и основные тенденции исторического развития. Неусыхин отмечал, что «историческое мышление не тождественно ни простому эмпиризму, ни чистому логицизму. В отличие от первого оно ставит себе задачи, выходящие за пределы конкретного исторического исследования, в отличие от второго — не ограничивается чисто формальным анализом понятий, которыми оперирует историческая наука.

Историческое мышление есть особый тип научно-философского мышления, являющийся продуктом понимания различных исторических образований во всей их конкретности, т.е. в их своеобразии и общности одновременно»⁸⁹. Развивая эти мысли, можно сказать, что историческому мышлению как особому типу научно-философского мышления свойственно стремление понять прошлое с точки зрения не только современных исследователю абстрактных логических категорий, но и тех, которые имели место в исторически конкретное время, например в средние века, и соответственно объяснить средневековое общество исходя из присущих ему категорий осознания действительности. Конечно, надеяться на успех такого объяснения можно лишь при непосредственном обращении к историческим источникам, и это Неусыхин не устал повторять своим оппонентам в 20-е годы и позднее. Остаться на почве истории, по его мнению, исследователю позволит только такое направление мысли, которое предполагает в качестве своего отправного момента анализ понятий, нашедших отражение в исторических памятниках и, в свою очередь, отражающих реальные общественные отношения прошлого.

Таким образом, историческое мышление, в трактовке Неусыхина, — это феномен, как выходящий за рамки простого эмпиризма, так и не укладывающийся в прокрустово ложе чистого логицизма. Вместе с тем историческому мышлению в качестве его определенных моментов присущ эмпирический характер, свойственна логичность в осознании исторического процесса; оно неразрывно связано с философско-аксиологическим и художественно-эстетическим аспектами; кроме того, историческое мышление развивается в тесной связи с современностью. Историческое мышление находится, по его мнению, на той грани, где совокупность этих (и некоторых других) моментов перерастает в качественно новое отношение к миру общественных явлений.

Исследование о природе исторического мышления так и не было осуществлено Неусыхиным ни в 30-е годы, ни позднее.

Эти наблюдения ученого нашли претворение в его исследовательской практике.

В 60-е годы Неусыхин по-прежнему, как и в начале своей научной деятельности, был убежден в большом социальном и познавательном значении исторической науки. Ученый полагал, что, несмотря на большую специфичность предмета и методов исторического познания по сравнению с другими гуманитарными и естественными, или точными, науками, между ними есть много общего. По его словам, «не нужно противопоставлять одни науки другим, но их нужно сопоставлять и при этом разграничивать»⁹⁰, ибо историческая наука, как и любая другая, стремится к установлению закономерностей. Полагая, что историческое мышление субъективно по самой своей природе, он усматривал в этом не слабость или ограниченность, а то своеобразие, которое делает его особым типом научно-философского мышления. Вместе с тем Неусыхину, по-видимому, отнюдь не был чужд тацитовский идеал, стремление познавать прошлое без гнева и пристрастия. Не случайно выбрал он предметом своих специальных исследований историю аграрного строя раннего средневековья. Эта тема, конечно, непосредственно вытекала из той, которая явилась предметом его первой диссертации «Общественный строй древних германцев» (М., 1929).

Журнал «Историк-марксист» за 1936 г. в разделе «Хроника» сообщал, что А. И. Неусыхин работает над темой по истории идеологии «Экономическое учение и политическая теория Фомы Аквинского»⁹¹. Но уже в начале 40-х годов ученый признавался в одном из своих писем: «Погружение в мир идей прошлого ближе к непосредственным нашим запросам, но именно поэтому нередко оставляет неудовлетворенность у людей, любящих строгое научное мышление»⁹².

В книгах А. И. Неусыхина «Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв.» (М., 1956), «Судьбы свободного крестьянства в Германии» (М., 1964), его статьях, рецензиях и письмах содержатся высказывания по многим проблемам теории исторического познания: о соотношении общего и особенного, о значении конкретных исследований и построения завершенной системы взглядов, о критериях истинности, о соотношении субъективного и объективного в труде историка-исследователя, о возможности и целесообразности применения количественных методов и т. д. Не случайно к трудам А. И. Неусыхина часто обращаются, их широко цитируют ученые, исследующие гносеологические вопросы исторической науки (М. А. Барг, А. В. Гулыга, Э. Н. Лооне, Б. Г. Могильницкий, А. И. Уваров и др.).

В основе исследований Неусыхина по истории раннего средневековья лежит, как правило, комплекс исторических памятников, но главное место занимают источники юридического происхождения: варварские правды, капитулярии, картулярии, формулы и пр. Ученый хорошо понимал, что изучение истории

путем анализа юридических памятников таит в себе многие опасности. Его труды, однако, убедительно продемонстрировали тот факт, что юрицизм, свойственный очень многим историкам прошлого в их подходе к анализу правовых источников, вовсе не является прямым и неизбежным злом этого типа исторических памятников. Юрицизм буржуазных ученых, по мнению Неусыхина, проистекает из характерных черт присущей им методологии, является следствием их юридического мышления. Интересно, что Неусыхин не только видел недостатки источников юридического происхождения — отставание права от социальной действительности либо опережение им этой действительности, но сумел разглядеть и их достоинства. Правовые памятники, по его мнению, заслуживают особого внимания со стороны историка в силу того, что в них содержится, как он говорил, «типический материал», характеризующий общественную жизнь именно в типичных для нее проявлениях. Юридические источники как бы уже заключают в себе предварительную обработку сырого материала исторической действительности, и осуществляется она в данном случае не историком-исследователем, а современным и творцом отраженных в источнике явлений. Таким образом, в фокусе размышлений Неусыхина в данном случае оказывается опять проблема взаимодействия субъекта исторического познания и отраженной в источниках социальной действительности прошлых эпох. Эта проблема каждый раз вставала перед ним заново, когда он принимался за изучение того или иного исторического памятника, когда он писал рецензии на работы советских и зарубежных ученых.

Объект и субъект в исторической науке, по мнению Неусыхина, связаны таким образом, что она «представляет собою мышление человека об общественном человеке прошлого в терминах и этого прошлого и того настоящего, к которому принадлежит познающий субъект»⁹³. Историческая наука всегда решает эту двуединую задачу, и это именно ее специфическая задача: с одной стороны, историку необходимо понять и объяснить прошлое, исходя из тех терминов и понятий, которые нашли отражение в исторических памятниках, свидетельствах современников изучаемой эпохи; а с другой стороны, ученый должен объяснить прошлое с точки зрения современных ему представлений об обществе. Уделяя большое внимание конкретному анализу источника, его терминологии прежде всего, Неусыхин придавал первостепенное значение и той роли, которую играют в процессе исторического познания общетеоретические воззрения историка. Весьма интересны в этой связи его высказывания о познавательной ценности исторического источника в подлиннике и переводе.

Еще в середине 20-х годов в рецензии на перевод Н. П. Грацианским источников по социально-экономической истории Западной Европы в средние века А. И. Неусыхин, в целом высоко оценивая эту работу, писал, что «никакой, даже самый лучший,

перевод исторического источника не в состоянии всецело заменить подлинник»⁹⁴. Затем он не раз возвращался к этим мыслям, в частности обращаясь к работам известного западногерманского историка К.-З. Бадера⁹⁵. Дело в том, что, рассматривая в своих капитальных исследованиях о средневековой немецкой деревне⁹⁶ вопрос о форме поселения у салических франков, Бадер использовал текст Салической правды в переводе К.-А. Экхардта⁹⁷. Последний, давая сплошной перевод Салической правды на немецкий язык, перевел термин *villa*, неоднократно встречающийся в различных текстах этого исторического памятника, немецким словом *Gehöft*. Подразумевая, по-видимому, под этим словом поселение вообще, Экхардт своим расширительным переводом дал повод самым различным толкованиям, ибо *Gehöft* в одинаковой мере можно понимать и как отдельный двор, хутор, и как деревню или поместье. Будучи сторонником гипотезы хуторного расселения салических франков, Бадер использовал этот перевод в качестве совершенно достоверного и уже доказанного толкования термина *villa* как хутора. В подтверждение своей интерпретации XLV главы Салической правды «*de migrantibus*», которая, как известно, породила многочисленные споры среди медиевистов самых различных времен и направлений, Бадер прямо ссылается на ее текст в переводе Экхардта⁹⁸. Немецкий исследователь при этом не обращает должного внимания на анализ конкретного содержания данного термина в этой главе обычного права салических франков, не сопоставляет он его значение и с другими случаями употребления слова *villa* в различных текстах этого памятника, равно как и других, близких ему.

Рассмотренный пример наглядно свидетельствует о том, что придавать переводу значение подлинника — значит заранее обрекать себя на искажение исторической реальности. В данном случае единообразный перевод термина *villa* просто невыполним, поскольку в различных текстах Салической правды он обозначает разные явления. Неусыхин считал, что, даже предпринимая сплошной перевод текстов Салической правды, слово *villa* целесообразнее оставить без перевода, как, например, это было сделано Н. П. Грацианским во всех русских переводах Салической правды. Он писал: «Всякий перевод исторического памятника есть его толкование. Ценность перевода в значительной степени зависит поэтому не только от эрудиции переводчика, но и от его общей концепции значения и характера переводимого источника»⁹⁹.

В работах самого Неусыхина мы найдем детальное рассмотрение встречающихся в источнике значений тех терминов, которыми обозначены интересующие ученого явления общественной жизни. Применяемые в его трудах конкретные исследовательские методы весьма разнообразны. Обращался он и к применению количественных методов. Вопрос о возможности, целесообразности и условиях применения математических методов в историческом

познании особенно остро встал перед советскими исследователями-историками и теоретиками-обществоведами, пожалуй, в 60-е годы. Тогда высказывались мнения о необходимости поднять историю до уровня математики и т. д. В этой связи Неусыхин напоминал о своеобразии объекта и методов его исследования в исторической науке: он полагал, что «превратить историю в математику невозможно»¹⁰⁰. Применение количественных методов в историческом познании, по его мнению, всецело зависит от качественного анализа данных, даже и в том случае, когда в источнике они выражены в форме чисел. В своих исследованиях ученый обратил внимание на то обстоятельство, что за строгостью математической формы выводов в исторической науке порой скрываются совершенно ошибочные концепции. Причем их критический анализ вовсе не облегчается благодаря численному выражению результатов, а, напротив, значительно этим затруднен. Отнюдь не являясь противником количественных методов в историческом познании, он тем не менее полагал, что сами по себе они еще отнюдь не гарантируют объективности результатов исследования. Последние целиком и полностью, по его мнению, зависят от общеметодологических позиций исследователя, а среди способов проверки истинности выводов в исторической науке также на первый план выдвигались им методы качественного анализа.

В контексте методологических исканий советских историков в 20—60-е годы творческие поиски А. И. Неусыхина, его попытки выяснить природу исторического мышления представляются очень поучительными для определения дальнейшего развития отечественной историографии, ее идеалов и первоочередных задач. Дать полную картину взглядов А. И. Неусыхина по проблемам исторического познания — задача весьма заманчивая и очень своевременная. Обновленное советское общество интересуется теперь уже не только готовые научные выводы, но и тот путь, которым они были добыты; современное поколение советских людей хочет быть уверенным в том, что пути искания истины в исторической науке истинны, или иметь понятие о том, насколько они вообще могут быть истинными. Однако нужно помнить, что высказывания А. И. Неусыхина о природе исторического мышления неразрывно связаны с той исследовательской почвой, которая их породила, — историографией истории западноевропейского средневековья и, вырванные из нее, они не всегда могут быть правильно поняты и оценены.

С. М. Стам

Когда мыслью снова и снова обращаешься к нашим учителям, к тем удивительным людям, которые заложили прочный фундамент советской медиевистики, невольно задаешься вопросом: где источник их силы, почему, занимаясь историей достаточно отдаленной эпохи, они сумели высоко поднять значение ее познания, сделать историю средневековья интересной и важной не только для медиевистов, но и гораздо шире — для исторической науки в целом?

В плеяде тех, кого с полным правом должно назвать корифеями советской медиевистики, достойное место принадлежит Александру Иосифовичу Неусыхину. Я снова обратился к его научному наследию, ища в нем ответа на поставленный вопрос. Прежде всего к двум его фундаментальным монографиям, к его докторской диссертации и к некоторым статьям. И опять испытал восхищение мастерством историка. Неотразимо привлекают по крайней мере две присущие ему черты. Во-первых, четкость, теоретическая обоснованность постановки вопросов и редкая ясность и последовательность хода мысли. Во-вторых, равная привязанность ученого к обеим сторонам процесса исследования — к анализу и к синтезу. И равная сила мастера в обеих этих сферах творчества: скрупулезный, ювелирно тонкий анализ источников и смелые, взвешенные, глубоко аргументированные обобщения.

Как известно, в своей главной монографии «Возникновение независимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII веков» А. И. Неусыхин проследил процесс эволюции и разложения варварской общины и вызревания предпосылок и ранних форм феодальной эксплуатации. Сделано это на основании анализа многообразных памятников, прежде всего варварских правд, а также юридических формул, картуляриев, полиптиков, королевских капитуляриев, соборных актов, нарративных источников. При этом охвачен обширнейший круг германских племен: франки (салические и рипуарские), алеманы, бургунды, бавары, тюринги, фризы, саксы, лангобарды. Такая широта была по силам только историку огромной эрудиции, научной смелости и твердости методологических позиций.

С самого начала определены марксистские координаты методологии исследования: во главу угла поставлен пристальный анализ структуры производственных отношений, прежде всего в их главном выражении как отношений собственности. Анализ источников с этих позиций позволил исследователю блестяще защитить материалистическую концепцию общины, доказать господство свободнообщинных отношений у варваров, показать их диалектически противоречивое развитие, а затем во всей слож-

ности их разложение, начиная с переломной стадии так называемой домовой общины.

Убедительно выявлена ее структурная основа — большая семья. Со всем вниманием прослежено демографическое строение этого своеобразного организма, обусловленное опять-таки наличными отношениями собственности и пользования¹⁰¹. Двойственность этих отношений в земледельческой общине, выясненная еще К. Марксом, служит исследователю ключом к пониманию последующих кардинальных сдвигов в позднерварварском обществе.

Рассмотрение процесса выделения малых семей и индивидуально-семейных хозяйств обнаруживает его обусловленность развитием производительных сил и возникшими на этой почве новыми экономическими потребностями. Вместе с тем показана медленность, противоречивость этого процесса: отдельные малые семьи продолжают сохранять между собой хозяйственные связи и родовые традиции еще не отмирают, а главное, несмотря на закрепление индивидуально-хозяйственного наследования пашенных участков, широкий круг сельскохозяйственных работ и нужд удовлетворяется в рамках общинных распорядков и община остается еще экономической реальностью. Очень убедительно это показано, например, на материале «Баварской правды»¹⁰².

На этой противоречивой почве медленно, неравномерно, но неодолимо разворачивается процесс складывания частной собственности на землю. Шаг за шагом, скрупулезно анализируя косноязычные свидетельства варварских правд, исследователь прослеживает извилистые пути и перепутья этого процесса у различных германских племен, выявляя его особенности, продиктованные данными конкретными условиями, и вместе с тем высвечивая единство общих закономерностей всего движения.

Объяснения феномена прочности общины-марки А. И. Неусыхин ищет в ее экономической сути, поскольку она обеспечивала возможность ведения мелкого самостоятельного хозяйства отдельными семьями, уровень экономического развития которых еще требовал сохранения нераздельной собственности на альменду. Именно эти качества марки как своеобразной производственной организации и обусловили ее живучесть даже в условиях сложившегося феодализма, хотя она уже утратила свою свободу и стала составной частью иного, эксплуататорского поместного организма.

Как известно, в наиболее четких, рельефных формах процесс становления аллода как отчуждаемой частной собственности протекал во франкском обществе. И именно на франкском материале А. И. Неусыхин воссоздает наиболее яркую и стройную картину этого процесса. Искусно анализируя труднейшие, порой ставящие в тупик параграфы таких титулов «Салической правды», как «О горсти земли», «О переселенцах», «О рейпусе», «Об аллодах». Неусыхин сумел убедительно реконструировать важнейшие жизненные черты франкского общества префеодалного периода. Домовая община предстает как основная ячейка

хозяйственной деятельности. И столь же выразительно рисуется обусловленный хозяйственным развитием процесс дробления этих больших семей и выделения семей малых и их индивидуально-семейных домохозяйств. Нацеленный прежде всего на познание социально-экономических основ процесса, такой анализ одновременно позволяет прояснить и хозяйственные распорядки, и систему поселений, и вопросы демографии, брака и родства.

Выявляя важнейшие вехи процесса нарастания экономических возможностей и потребностей сельского хозяйства у франков этой эпохи, исследователь показывает, как в условиях даже ограниченных форм индивидуально-семейного наследования земли эти экономические силы все настойчивее толкали к возникновению частной собственности на землю. Извлекая бесценные данные из источников, тонко и остроумно их анализируя, сопоставляя и противопоставляя, Неусыхин сумел со всей научной достоверностью и жизненной конкретностью проследить противоречивость и неравномерность складывания аллодиальной собственности на различных видах сельскохозяйственных угодий¹⁰³.

Убедительно показано, что с нарастанием имущественного неравенства на почве частной собственности на движимость, скот, дом и двор возникновение права общинника отчуждать свой земельный аллод должно было резко ускорить процесс расслоения свободных, а затем и их социальную дифференциацию.

Но никакой схематизации. Учет глубокой противоречивости тех условий, в которых этот процесс протекал, позволил Неусыхину проникнуть в самую сердцевину расплывчатой и неоднозначной юридической терминологии варварского законодательства и обнаружить ее подлинный смысл. Один из блестящих примеров — раскрытие реального исторического содержания такого двойственного термина лангобардского права, как *fulcfree*. Шаг за шагом проходя замысловатыми лабиринтами различных правовых ситуаций, Неусыхин выводит читателя к убедительному выводу, что двойственность этого термина не есть следствие юридической неразборчивости варваров, но отражает двойственность самой жизни, где процесс расслоения массы свободных создавал целый ряд ступеней свободы и зависимости¹⁰⁴.

За подвижностью юридических формул скрывалась реальность пришедших в интенсивное движение социальных отношений. Более того, исследователь убедительно показывает, что правовая терминология отставала от действительного хода социальной дифференциации в поздневарварском обществе: «Понятия изменялись медленнее, чем скрывавшиеся под ними реальные отношения»¹⁰⁵. Юризм всегда был глубоко чужд научному методу Александра Иосифовича. Весь ход упомянутого анализа и выводимые на его основе обобщения Неусыхина могут служить великолепными образцами материалистического анализа правовых источников.

Процесс поглощения формирующимся крупным землевладением мелкой аллодиальной собственности общинников, а затем и их свободы в полном соответствии с конкретным ходом исто-

рии рассматривается Неусыхиним как следствие взаимосвязанного влияния двух сил, действовавших в едином направлении: внешнего давления со стороны ранее сложившихся церковных и королевских крупных вотчин и внутреннего социального расщепления общины, порождавшего слой мелких вотчинников. При этом первейшей и решающей предпосылкой этого поглощения было широкое хозяйственное оскудение аллодистов и их экономическое подчинение вотчине. Так, на материале «Баварской правды» с полной убедительностью показано, что личное закрепление свободных почти всегда являлось лишь заключительным моментом длительного процесса втягивания обедневшего общинника в экономическую зависимость от того или иного вотчинника¹⁰⁶.

Раскрывая объективный смысл крестьянских «дарений» вотчинникам, Неусыхин убедительно выявляет за фасадом правообоснованности зачастую скрытое насилие и почти всегда экономическую вынужденность.

Скруплезно прослеживая процесс классовобразования в варварских обществах, исследователь выясняет первые формы разгорающейся классовой борьбы вотчинников за землю и несвободную рабочую силу, против массы разоряющихся общинников. И нарастающее сопротивление этой массы. При этом Неусыхин учитывает всю сложность и неоднозначность этих процессов: одновременно с выявлением основной линии антагонистических противоречий прослеживаются и попутные, но также закономерные линии борьбы внутри складывающегося класса крупных землевладельцев — между его светской и церковной фракциями, борьбы тех и других против выраставших из общины мелких вотчинников, борьбы магнатов (*potentes*) против герцогской власти (например, в Баварии) — с использованием при этом в своих интересах недовольства широких масс разоряемых и закрепощаемых общинников¹⁰⁷. Это — с одной стороны.

С другой стороны, на материале истории лангобардского общества путем тщательного анализа таких сложных источников, как Эдикт Ротари, исследователь показал, как процесс понижения реального экономического и социального статуса рядовых общинников вел их к социальному сближению с рабами и даже к сближению политическому — к совместному участию в открытых выступлениях и «заговорах».

В монографии и в специальной статье¹⁰⁸ Неусыхин дал научное истолкование этих народных движений. Как известно, их понимание осложняется тем, что их лозунги были обращены в дофеодалное прошлое (достаточно вспомнить восстание Стеллинга). Только широкий, исторически перспективный подход и четкое разграничение субъективной и объективной сторон этих движений позволили Неусыхину убедительно раскрыть их закономерность и прогрессивность: это был исторически необходимый отпор свободных, закрепощаемых, а частью уже и закрепощенных общинников возникающему феодальному гнету. Этот отпор сдер-

живал непомерные эксплуататорские аппетиты вотчинников, вынуждал их к фиксации повинностей, заставлял их считаться с силой крестьян, с элементарными потребностями их хозяйства.

Работы А. И. Неусыхина привлекают прежде всего мастерским, тонким анализом источников. В этом даже среди крупнейших представителей нашей науки мало кого можно поставить с ним вровень. Поистине, он умел заставить говорить даже самые немые и несловоохотливые источники.

Но никогда анализ не был для Неусыхина самоцелью. Его мысль всегда стремилась к генерализации данных анализа, к большим историческим обобщениям. Проницательный анализ служил основой для глубокого, взвешенного и смелого синтеза; синтез, в свою очередь, теоретически питал и активизировал силу анализа. Все это — в лучших традициях отечественной, в первую очередь советской, медиевистики.

Отталкиваясь от некоторых глубоких соображений К. Маркса, которые прежде не привлекли к себе достаточно пристального внимания историков, и опираясь на прочный фундамент огромного материала источников, Неусыхин выдвинул и обосновал понятие «дофеодальный период»¹⁰⁹ как особого этапа развития варварского общества, когда в условиях земледельческой общины уже возникло посемейно-частное наследственное владение пашней и, значит, экономический субстрат первобытнообщинного строя уже разрушился, а отношения феодальной эксплуатации еще не сложились. Следует признать, что эта концепция значительно обогащает материалистическое понимание процесса подготовки феодализма.

Исследования Неусыхина проникнуты глубоким историзмом. Каждое конкретное явление социальной жизни данного предфеодального общества соотносится исследователем с той стадией развития, которую проходило данное варварское общество: так, хронологически более поздние явления в социальной жизни саксов получают адекватное осмысление только с учетом их объективно-исторического отставания по сравнению с франками или алеманами. Поэтому научное полотно, созданное исследователем, не мозаика историй отдельных племен, а цельная картина социальной трансформации варварского мира на перевале от доклассового общества к классовому.

Историческому мышлению Неусыхина была органически присуща диалектичность. Ни одно социальное явление варварского общества не выглядит застылым, неизменным, все рассматривается в живом движении и превращении. В земледельческой общине Неусыхин вслед за Марксом видит начало нового этапа развития, который уже не укладывается в рамки первобытнообщинного строя. Он последовательно раскрывает всю противоречивость этого этапа, борьбу в нем старых, коллективно-родовых и новых, индивидуально-владельческих начал. Именно такой подход позволил Неусыхину убедительно показать внутреннюю противоречивость основной хозяйственной ячейки земледельческой общины —

большой семьи как формы и дальнейшего развития и одновременно разложения общинных отношений. Столь же диалектически противоречивыми представлены и поняты собственность и свобода общинников в процессе зарождения и победы аллода¹¹⁰. История возникновения мелкокрестьянской свободной частной собственности силой самого развития превращается в историю ее исчезновения, поглощения феодальным крупным землевладением.

При этом экономическое развитие не выступает у Неусыхина как некая абстрактная сила. Она имеет социальное лицо, за нею стоят определенные социальные интересы. Анализируя, например, залоговое право у баваров, исследователь отмечает, что, ограничивая и даже запрещая залог домашнего скота, это право разрешало брать в залог у обедневшего человека даже его последнюю скотину, и делает обоснованный вывод, что упомянутые запреты и ограничения были призваны защищать интересы зажиточных общинников¹¹¹. Вывод о ведущей роли церкви в кодификации баварского обычного права и его приспособлении к интересам церковного крупного землевладения находит обоснование в дважды повторенной декларации «Баварской правды» о праве любого свободного человека совершать дарения в пользу церкви и о запрещении даже герцогу или королю чинить в этом препятствия¹¹².

От частных обобщений исследователь поднимается к более широким. Завершающая глава первой монографии Неусыхина содержит не только цельное, синтетическое осмысление всего богатейшего конкретно-исторического материала, проанализированного выше, но, что очень важно, дает перспективу дальнейшего хода процесса складывания класса зависимого крестьянства в условиях раннефеодального общества.

Естественным продолжением первой монографии явилось второе фундаментальное исследование Неусыхина, где с тех же марксистских позиций, на материале трех регионов Германии VIII—XII вв. рассмотрен сам процесс превращения свободных аллодистов-общинников в эксплуатируемых феодально зависимых крестьян¹¹³. Опираясь на этот анализ, Неусыхин подверг убедительной критике построения историков того консервативного направления, которое сложилось в западногерманской историографии 50—60-х годов (Теодор Майер, Данненбауэр, Босль и др.) и которое пыталось отрицать изначальную свободу массы варваров-германцев, исконность их общинного строя и массовость процесса поглощения вотчиной мелкокрестьянской земельной собственности. При этом Неусыхин подверг глубокой критике и саму исследовательскую методику этих историков, лишенную необходимого историзма и грешащую облегченным подходом к источникам.

Важно отметить, что в 1-й главе монографии 1964 г., как бы подхватывая тот синтез, которым завершается первое исследование, Неусыхин развернул еще более высокое концепту-

альное осмысление закономерностей становления феодальной формации.

Есть и еще одна важная сторона в научном методе Неусыхина, весьма актуальная в наше время. Широчайший охват материала истории различных варварских обществ, тщательное сопоставление этого разнообразного материала в русле единого процесса перехода от доклассового общества к классовому — все это заставляет видеть в трудах Неусыхина, и прежде всего в его первой монографии, выразительный пример мастерского применения марксистского сравнительно-исторического метода (чего так недостает нашей современной историографии). Двигаясь этим путем, Неусыхин сумел сделать важный шаг вперед в осмыслении диалектического единства общего и особенного в экономическом и социальном развитии германских племен на путях от доклассового общества к феодальному.

Очевидно, именно в четкости методологических позиций, в тяготении к философскому синтезу, в глубине марксистского теоретического осмысления сложных процессов генезиса феодализма следует видеть источник могучего научного влияния исследований Неусыхина.

При всех индивидуальных отличиях, характерных для необычайно ярких личностей ученых, что стояли у колыбели советской медиевистики, указанные черты присущи также и научному методу и Е. А. Косминского и С. Д. Сказкина — старших соратников, вместе с которыми Александр Иосифович закладывал основы нашей науки. И вот почему без глубокого изучения их фундаментальных исследований о далеких средних веках не может обойтись никто, если он хочет основательно, на конкретном историческом материале постичь теорию общественно-экономических формаций и сложные вопросы перехода от одной формации к другой.

Научное наследие А. И. Неусыхина — это классика советской, марксистской медиевистики. Давно уже пора переиздать его труды — для начала хотя бы первую монографию: за 30 лет она стала библиографической редкостью. Переиздать с переводом тех дополнительных глав, которые были добавлены автором для ее издания в ГДР¹¹⁴. Эта книга необходима для правильного научно-методологического и исследовательски-методического воспитания нашей молодежи, вступающей на поприще исторической науки.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ А. И. НЕУСЫХИНА

Я. Д. Серовайский

Интерес к историческому взаимодействию общества и природы в условиях глобализации экологической проблемы является правомерным. Но обращение к этому сюжету с исследовательскими целями в 20-е годы, на заре формирования марксистского общественного сознания, когда угроза экологической катастрофы и связанная с ней задача экологизации науки еще не осознавались, представляет явление уникальное, оставшееся незамеченным в историографии.

Свой интерес к проблеме взаимодействия общества и природы, навеянный трудами К. Маркса, Ф. Энгельса и Г. В. Плеханова, А. И. Неусыхин впервые творчески реализовал в двух рецензиях на переводные издания, опубликованных в 1924 г.¹¹⁵ В ходе их написания он пришел к выводу о том, что указанная проблема — это одна из центральных и малоразработанных тем социологии, которая ждет своих исследований. Кроме того, он уточнил свои представления о путях реализации данной идеи в конкретно-исторических исследованиях. Эти представления, которые стали играть в его творчестве роль методологического принципа, можно охарактеризовать как экосоциальный подход. Рассмотрим его применение при решении только одного вопроса — хозяйственной деятельности древних германцев в связи с их военно-переселенческим движением.

В древнегерманском обществе как объекте исследования Неусыхин видел благоприятный материал для изучения взаимодействия общества и природы. Но изучение этого процесса должно осуществляться не обособленно, а принимать конкретно-историческое выражение. Иными словами, конкретно-историческое изучение древнегерманского общества должно быть построено так, чтобы оно способствовало решению социологической проблемы взаимодействия общества и природы¹¹⁶. Этим принципом Неусыхин руководствуется при анализе хозяйственной деятельности древних германцев.

В этом вопросе Неусыхину предшествовали две точки зрения. И обе вызвали критическое отношение с его стороны. Представители одной из них считали древних германцев скотоводами и объясняли их подвижность особенностями хозяйствования. Но обнаружившаяся несостоятельность номадной теории исключила возможность объяснения с ее помощью военно-переселенческого движения германцев¹¹⁷. Представители другой концепции рассматривали древних германцев как оседлых землевладельцев. Для обоснования своих воззрений они не ограничивались свидетельствами античных авторов, но привлекали также данные лингвистики и археологии¹¹⁸.

Раскопки последних лет, производившиеся на территории ФРГ и Дании, усилили позиции сторонников этой идеи¹¹⁹. Но в их построении обнаруживается уязвимый пункт — неспособность объяснить причины военно-переселенческого движения древних германцев. Остаются без ответа два вопроса.

1. Почему эти племена совершали военные походы с целью захвата новых земель, оставляя огромные лесные массивы с большим потенциалом естественного плодородия, где их потомки создадут мощный земледельческий ареал?

2. Как известно, каждая оседло-земледельческая общность адаптируется к окружающей среде в качестве активного субъекта экосистемы. Ее переориентация на другие почвенно-климатические зоны бывает только вынужденной и болезненной. Почему же в таком случае древнегерманские племена, которым приписывают абсолютную оседлость, легко оставляли насиженные места и столь же легко во время великого переселения народов приспособлялись к самым различным географическим ареалам?

На эти вопросы, оставшиеся в тени историографического процесса, ответил А. И. Неусыхин.

Отправным пунктом ему служат два положения. 1. Древние германцы являлись землевладельцами. Но их хозяйство представляло «низший тип оседлого хлебопашества»¹²⁰ с особым экологическим отношением. 2. Девственный лес (Urwald), в окружении которого они жили, не был и не мог быть ареной их систематической хозяйственной деятельности. Новейшие данные археологии¹²¹ в некоторой степени ограничивают однозначность этого вывода, но не могут его поколебать. Последующая история неопровержимо доказывает, что Urwald составлял резерв феодального, но не древнегерманского земледелия, к тому же древние германцы не видели в лесе особую хозяйственную ценность. В отличие от своих потомков они считали признаком хорошей земли не качество почвы, а степень обжитости и свободы от лесного покрова¹²².

Естественные условия, где доминирующим элементом являлся лес, определяли функционирование древнегерманского земледелия. По словам Неусыхина, они «были таковы, что, с одной стороны, давали германцам полную возможность достигнуть стадии оседлого хлебопашества, а с другой — препятствовали их переходу к новым формам хозяйственной жизни»¹²³. В чем же заключались эти препятствия?

Неусыхин объясняет это следующим образом: в условиях экстенсивного земледелия постоянно возникал дисбаланс между площадью истощенной земли, выбывшей из обработки, и потребностью в новых землях, необходимых для прокормления увеличивавшегося населения. При существовавших технике и профессиональном опыте недостаток земли не мог компенсироваться систематическими расчистками. Германцы не достигли еще уровня природопреобразователей, и у них оставался лишь один путь получения недостающей им земли — военные захваты. Следова-

тельно, пишет Неусыхин, потребность самого земледелия не-престанно вынуждала германцев «с оружием в руках завоевывать саму возможность заниматься земледелием»¹²⁴.

Военная форма удовлетворения земледельческих потребностей осложняла внутригерманские отношения. Различные племена переселялись одновременно в разных направлениях. Им приходилось переходить с боем через соседние владения или захватывать их. Таким образом вовлекались в движение большие группы племен. Их целью являлся уже захват земель не только для агрикультуры, но и для места поселения. Но это движение не приобретало характера внутренней колонизации. Следовательно, вторжения на территорию Римской империи, подогреваемые жадной грабежа, составляли растянувшуюся во времени цепную реакцию процессов, зародившихся ранее в недрах германского племенного общества.

Итак, экологическое отношение древних германцев к природе, по мнению Неусыхина, характеризовалось устойчивой традицией хозяйственного освоения новых земель при помощи меча. Отсюда и органическая связь земледелия и войны, отразившаяся в быте, психологии и социально-политической структуре общества. Но в этих отношениях была заложена обратная связь, игравшая роль воспроизводящего фактора. Растрчивая возраставший потенциал общественной энергии (материальной и духовной) на войны и связывая с ними свои главные интересы, германцы не совершенствовали свое прямое производственное воздействие на окружающую среду. А. И. Неусыхин говорит даже о тенденциях деформации их земледелия. Поэтому германцы не могли преодолеть барьеры, поставленные природой процессу интенсификации их хозяйства, и соответственно не выходили за традиционные рамки военного освоения окружающей среды для нужд агрикультуры. Поэтому потенциал их адаптации оказался нереализованным до момента водворения на территории созданных ими варварских королевств.

Итак, как вытекает из построения Неусыхина, присущее древним германцам отношение «общество—природа» представляло особую и закрытую систему, воспроизводившую себя столетиями примерно на одном и том же уровне. Она образовывала мир нереализованных возможностей по осуществлению территориальной адаптации, хозяйственной интенсификации и формирования культурных ландшафтов. Столь плодотворную идею можно было развить дальше и добавить, что нереализованными были также потенции социальной дифференциации древнегерманского общества. Но этот вывод, который логически вытекает из всего его построения, Неусыхин, к сожалению, не сделал.

Данное обстоятельство, объясняемое состоянием науки того времени, явилось главной причиной того, что работы Неусыхина о древних германцах не получили должной оценки в историографии¹²⁵. Между тем их значение очень велико.

1. Они представляют первый опыт применения экосоциального подхода к изучению исторических явлений — опыт, подтвердивший плодотворность и перспективность данного научного направления.

2. Благодаря применению этого подхода получают научное объяснение причины столь крупномасштабного явления, как великое переселение народов, и его дальнейшее влияние на развитие европейских стран. Эти его исследования в сочетании с работами о раннем средневековье показали, что с образованием варварских королевств изменилось экологическое отношение древних германцев. Они превратились в открытые общества (по отношению к окружающей среде и — иноплеменного состава), оказавшиеся в состоянии реализовать потенциал адаптации — хозяйственную интенсификацию и классовобразование.

3. В свете этих идей стало очевидным, что начальной вехой истории европейского крестьянства явились изменения не во внутриобщественных отношениях, а в системе «общество—природа», обусловившие профессионализацию земледельческого труда.

4. Идея Неусыхина об особом характере общественного отношения германцев к природе составляет лучшую основу для наступательного диалога с немарксистской историографией. Абсолютизация оседлости их земледелия, выдержанная в духе антропоцентризма, всегда являлась и сейчас является теоретическим фундаментом для экстраполяции в древнегерманское прошлое частной земельной собственности и классовых отношений.

Результаты конкретно-исторического исследования древнегерманского общества, помимо своей прямой задачи, должны были, по идее Неусыхина, «составить Beitrag к решению социологической проблемы взаимодействия общества и природы»¹²⁶. Этот аспект задачи отчетливо обнаруживается в его работе. Отвергая теории географического детерминизма, Неусыхин, однако, считал природную среду активным фактором общественного развития. Но эта активность, по его мнению, не вытекала из внутренних импульсов самой природы и не представляла постоянно действующую величину («ускоряла или замедляла общественное развитие»). Активность окружающей среды представляла величину переменную, изменяющуюся в зависимости от уровня воздействия на нее со стороны общества, а точнее — от каждого достижения в развитии производительных сил. Иначе говоря, активность окружающей среды реализовалась в историческом взаимодействии с обществом.

Работы о древних германцах явились иллюстрацией одного из проявлений активности окружающей среды. Оказавшись недоступной для хозяйственного освоения этническим группам низкого уровня, она толкала их на путь военно-переселенческого движения. В последующих исследованиях Неусыхин покажет, как та же самая природная среда станет ареной бурной хозяй-

ственной деятельности более развитых общностей. Аналогичные взгляды встречаются в современной литературе¹²⁷.

Исследования А.И. Неусыхина, посвященные древним германцам, несмотря на свою шестидесятилетнюю давность, не только не устарели, но находятся на переднем крае науки. Их главное достоинство — преодоление тенденций антропоцентризма в объяснении исторических явлений. Современный уровень научных знаний и состояние окружающей среды настоятельно требуют, чтобы исторический процесс рассматривался как процесс развития системы «общество—природа». Это, с одной стороны, расширит познавательные возможности исторической науки, укрепит ее интегративные связи с общественными и естественными областями знаний, а с другой — повысит ее роль во всех сферах общественной жизни, и особенно в системе воспитания.

¹ Тема сессии: «Традиции и новации в изучении генезиса и развития феодализма в Западной Европе». Материалы ее полностью будут опубликованы в специальном сборнике.

² Это письмо сохранилось в архиве ученого. Фонды А. И. Неусыхина и Д. М. Петрушевского хранятся в Архиве АН СССР.

³ Средние века. М., 1946. Вып. 2. (Далее: СВ). Там же опубликован полный список трудов Д. М. Петрушевского и работ о нем. После 1946 г. о Д. М. Петрушевском были защищены кандидатские диссертации: *Афонюшкин В. А.* Д. М. Петрушевский как историк средневековой Англии (Воронежский гос. университет, 1955); *Могильницкий Б. Г.* Д. М. Петрушевский как историк западноевропейского феодализма (Томский гос. университет, 1955), а также опубликован ряд статей — см. ниже.

⁴ *Могильницкий Б. Г.* Академик Д. М. Петрушевский // СВ. 1975. Вып. 38.

⁵ А. И. Неусыхин — Е. Е. Слуцкому от 27 декабря 1942 г. (Фонд А. И. Неусыхина в Архиве АН СССР).

⁶ *Косминский Е. А.* Дмитрий Моисеевич Петрушевский // СВ. 1946. Вып. 2. С. 10.

⁷ *Грацианский Н. П.* Дмитрию Моисеевичу Петрушевскому в ознаменование 35-летия научной и литературной деятельности: Речь, произнесенная на торжественном заседании Института истории РАН ИОН, 20 декабря 1925 г. // Учен. зап. Ин-та истории РАН ИОН. М. 1929. Т. 3. С. 12.

⁸ *Косминский Е. А.* Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М.; Л., 1947. С. 8.

⁹ *Косминский Е. А.* Дмитрий Моисеевич Петрушевский // СВ. 1946. Вып. 2. С. 9.

¹⁰ *Неусыхин А. И.* Дмитрий Моисеевич Петрушевский: Опыт характеристики // СВ. 1946. Вып. 2. С. 18.

¹¹ *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. М., 1974. С. 509—513. К сожалению, письмо Д. М. Петрушевского, часть которого приводится, не попало тогда в поле зрения составителей издания.

¹² Д. М. Петрушевский — А. И. Неусыхину от 20 июля 1942 г. (Фонд А. И. Неусыхина в Архиве АН СССР).

¹³ *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 510.

¹⁴ Диспут о книге Д. М. Петрушевского // Историк-марксист. 1928. № 8. С. 125.

¹⁵ Д. М. Петрушевский — А. И. Неусыхину от 3 апреля 1942 г.

¹⁶ Эта книга Д. М. Петрушевского была высоко оценена Г. Г. Шпетом, научное наследие которого после долгих лет небытия вновь возвращается к читателям. См.: *Митюшин А. А.* Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому (16.IV—6.V.1928) // Вопр. истории естествознания и техники. 1988. № 3. С. 120—128.

¹⁷ Это повторилось в редакционном введении к книге Н. П. Грацианского «Бургундская деревня в X—XII столетиях». (М.; Л., 1935).

¹⁸ *Базрушин С. В.* Д. М. Петрушевский и русские историки // СВ. 1946. Вып. 2; *Данилов А. И.* Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков // СВ. 1955. Вып. 6.

- ¹⁹ Д. М. Петрушевский — А. И. Неусыхину от 1 июля 1942 г. (Фонд А. И. Неусыхина в Архиве АН СССР. Там же хранятся отзвывы Д. М. Петрушевского о А. И. Неусыхине).
- ²⁰ *Неусыхин А. И.* Общественный строй древних германцев. М., 1929; *Он же.* Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII веков. М., 1956; *Он же.* Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII веках. М., 1964.
- ²¹ Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft als Klasse der frühfeudalen Gesellschaft in Westeuropa vom 6. bis 8. Jahrhundert. В., 1961. Книга вызвала многочисленные рецензии за рубежом.
- ²² После 1974 г. были опубликованы переводы отдельных его работ на итальянский (глава «От античности к средневековью» из кн. «История Италии». М., 1970. Т. 1.) См.: Storia d'Italia. Vol. 1. Milano, 1979) и японский языки (статья «Крестьянство и крестьянские движения в Западной Европе раннефеодального периода (IX—XI вв.)». 1955/В издании серии «Гуманитарные науки» университета Сэнсю, № 21 (5). Токио, 1978). Опубликована глава «Эволюция общественного строя варваров от ранних форм общины к возникновению индивидуального хозяйства» в кн. «История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма» (М., 1985. Т. 1); Два литературоведческих этюда: Основные темы поэтического творчества Рильке // *Рильке Р. М.* Новые стихотворения. М., 1977; Тютчев и Гельдерлин: Неизданный доклад А. И. Неусыхина/Публ. Е. А. Огневой-Неусыхиной // Лит. наследство. Т. 97, кн. 2. Федор Иванович Тютчев. (в печати).
- Научному творчеству и жизни А. И. Неусыхина после 1974 г. посвящена диссертация и ряд статей: *Сергеева Т. Д. (Шакина)*. А. И. Неусыхин как историк раннесредневековой Германии: К вопросу о генезисе феодализма в Западной Европе: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1981; *Она же.* Первый период научной деятельности А. И. Неусыхина, 1922—1931 // СВ. 1978. Вып. 42; *Она же.* Гносеологическая природа исторической закономерности: (На материале трудов А. И. Неусыхина) // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1979. Вып. 13. Опубликована также переписка А. И. Неусыхина и Н. И. Кареева (СВ. 1978. Вып. 42).
- ²³ После кончины А. И. Неусыхина его сменил А. Р. Корсунский, затем З. В. Удальцова. Представляется несправедливостью, что имена первых редакторов и вдохновителей этого издания — А. И. Неусыхина, А. Р. Корсунского, С. Д. Сказкина, Л. В. Черепнина, А. Д. Люблинской — не были помещены, как это принято во всех научных изданиях, на титульном листе соответствующих томов.
- ²⁴ *Грацианский Н. П.* Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. М., 1960; В этом сборнике опубликована и большая статья А. И. Неусыхина «Н. П. Грацианский как историк-медиевист» (в ней раздел 2 принадлежит А. И. Данилову).
- ²⁵ *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 513—515.
- ²⁶ *Неусыхин А. И.* Возникновение зависимого крестьянства... С. 7.
- ²⁷ *Неусыхин А. И.* Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному: (На материале истории Западной Европы раннего средневековья) // *Вопр. истории.* 1967. № 1; Под тем же названием расширенный вариант в кн.: Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968. Кн. 1. СВ. 1968. Вып. 31. С. 45.
- ²⁸ *Неусыхин А. И.* Рецензия на кн.: Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1962 // СВ. 1966. Вып. 29.
- ³⁰ *Неусыхин А. И.* Возникновение зависимого крестьянства... С. 32; ср.: *Он же.* Проблемы европейского феодализма. С. 35—36; См. также: *Бессмертный Ю. Л.* Некоторые черты А. И. Неусыхина как исследователя. // *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 20—32.
- ³¹ *Шпет Г. Г.* История как предмет логики // *Ист.-философ. ежегодник* '88. М., 1988 (впервые опубликовано в 1922 г.); *Митюшин А. А.* Из архива Густава Шпета: вопросы исторического познания и полемика с Баденской школой // *Вопр. истории естествознания и техники.* 1988. № 3; Там же см. публикацию письма Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому об отношении Г. Г. Шпета к Д. М. Петру-

- шевскому и о штудировании историко-философских трудов Г. Г. Шпета; *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 512—513.
- ³² Печать и революция. 1924. № 3. С. 166.
- ³³ Там же. С. 166—167.
- ³⁴ Историк-марксист. 1928. № 8. С. 99.
- ³⁵ Так, один из самых ревностных догматиков — Ц. Фридлянд прямо обвинял А. И. Неусыхина в немарксизме и даже «издевательстве над марксистами». (Историк-марксист. 1928. № 8. С. 127).
- ³⁶ Там же. С. 99.
- ³⁷ Там же. С. 102.
- ³⁸ *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 444, сноски.
- ³⁹ Там же. С. 414.
- ⁴⁰ Там же.
- ⁴¹ Там же. С. 444.
- ⁴² Там же.
- ⁴³ Там же. С. 446.
- ⁴⁴ Там же. С. 457.
- ⁴⁵ Там же.
- ⁴⁶ Там же. С. 510—511.
- ⁴⁷ В новейшей советской историко-теоретической литературе этот вопрос получил наиболее основательную разработку в кн.: *Барг М. А.* Категории и методы исторической науки. М., 1984.
- ⁴⁸ *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 452.
- ⁴⁹ Там же. С. 453.
- ⁵⁰ Там же.
- ⁵¹ Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 75.
- ⁵² *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 460. Ср. Философский энциклопедический словарь, где утверждается, будто Вебер разрабатывал концепцию идеальных типов «совместно с Риккертом» (С. 75).
- ⁵³ *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 460.
- ⁵⁴ Там же.
- ⁵⁵ Историк-марксист. 1928. № 8. С. 124.
- ⁵⁶⁻⁵⁷ Философский энциклопедический словарь. С. 75.
- ⁵⁸ ОР ГВЛ. Ф. 604 (В. К. Пискорский). К. 14. Ед. хр. 38. Л. 1. Упомянутая в письме книга У. Б. Эшли «Экономическая история Англии в связи с экономической теорией» в переводе и под редакцией Д. М. Петрушевского была издана в 1901 г. Работа над этим изданием захватила Петрушевского целиком. В письме к Я. Л. Барскову 2 апреля 1897 г. он объяснял: «...денно и ночью изнемогаю под бременем редактирования перевода книги Эшли...» (ОР ГВЛ. Ф. 16. (Я. Л. Барсков). К. 3. Ед. хр. 84. Л. 9).
- ⁵⁹ Там же.
- ⁶⁰ Там же. Ф. 376. К. 10. Ед. хр. 10. Л. 13 об.
- ⁶¹ Там же. Л. 14. Речь, вероятнее всего, идет о лекциях, изданных как «Курс всеобщей истории, читанный в Варшавском университете в 1900/1901 акад. году, литограф». Св. 1946. Вып. 2. С. 406.
- ⁶² Там же. Ф. 604. К. 14. Ед. хр. 38. Л. 6 об.
- ⁶³ Там же.
- ⁶⁴ Там же.
- ⁶⁵ Там же. Ф. 376. К. 10. Ед. хр. 10. Л. 3—4 об.
- ⁶⁶ Там же. Ф. 604. К. 14. Ед. хр. 38. Л. 11 об.
- ⁶⁷ Там же. Л. 23.
- ⁶⁸ Там же. Л. 15.
- ⁶⁹ Там же. Ф. 119 (Н. И. Кареев). К. 10. Ед. хр. 97. Л. 1.
- ⁷⁰ Там же. Ф. 376. К. 10. Ед. хр. 10. Л. 11.
- ⁷¹ Там же.
- ⁷² Там же. Л. 1.
- ⁷³ Там же. Л. 8.
- ⁷⁴ Там же. Л. 27.
- ⁷⁵ Там же. Л. 13. Письмо к Новгородцеву оказалось среди бумаг В. Э. Грабаря.
- ⁷⁶ Там же. Л. 11.
- ⁷⁷ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 35. С. 185.

- ⁷⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 383.
- ⁷⁹ Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М.; Л., 1929. С. 138.
- ⁸⁰ ОР ГБЛ. Ф. 263 (А. Н. Савин). К. 30. Ед. хр. 11.
- ⁸¹ Там же. Ф. 376. К. 10. Ед. хр. 10. Л. 15.
- ⁸² Письмо Е. В. Тарле — Е. А. Кивлицкому от 28 сентября 1910 г. // Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М., 1981. С. 182.
- ⁸³ Прощение Д. М. Петрушевского разбиралось на факультете 12 сентября 1901 г. ЦГИАМ. Ф. 418 (Московский университет). Он. 476. Ед. хр. 28. Л. 33 об.
- ⁸⁴ Там же. Л. 41.
- ⁸⁵ Русские ведомости. 1901. 5 нояб.
- ⁸⁶ Подробнее об этом см. нашу статью: Первый период научной деятельности А. Н. Неусыхина, 1922—1931 // СВ. 1978. Вып. 42. С. 264—281.
- ⁸⁷ Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. С. 503.
- ⁸⁸ Неусыхин А. И. Рецензия на кн.: Тарасов Н. Г. и Моравский С. П. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV—XVII вв. М., 1925 // Печать и революция. 1925. № 1. С. 205.
- ⁸⁹ Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. С. 503.
- ⁹⁰ Там же. С. 507.
- ⁹¹ Лавровский В. М. О работе сектора истории средних веков Института истории АН СССР // Историк-марксист. 1936. Кн. 6(56). С. 250.
- ⁹² Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. С. 518.
- ⁹³ Там же.
- ⁹⁴ Неусыхин А. И. Рецензия на кн.: Грацианский Н. П. Западная Европа в средние века: Источники социально-экономич. истории. М.; Л., 1925 // Печать и революция. 1925. № 8. С. 189.
- ⁹⁵ Neussychin A. I. Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft als Klasse der frühfeudalen Gesellschaft in Westeuropa vom 6. bis 8. Jahrhundert. В., 1961. S. 136—137, Ann. 3; Неусыхин А. И. Новые данные по источниковедению «Салической правды». Очерк 4 // СВ. 1967. Вып. 30. С. 53.
- ⁹⁶ Bader K.-S. Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtsbereich. Weimar, 1957; Ders., Dorfgenossenschaft und Dorfgemeind. Köln; Graz, 1962.
- ⁹⁷ Lex Salica. 100 Titel — Text / Hrsg. von K.-A. Eckhardt. Germanenrechte neue Folge, Abt. Westgermanisches Recht. Weimar, 1953.
- ⁹⁸ Bader K.-S. Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtsbereich, S. 91, Ann. 3, Ders., Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde, S. 46—47, 136—138.
- ⁹⁹ Неусыхин А. И. Рецензия на кн.: Иордан: О происхождении и деяниях гетов (Gética). М., 1960 // Византийский временник. 1963. Т. 22. С. 315.
- ¹⁰⁰ Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. С. 507.
- ¹⁰¹ Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства... С. 75—96, 233—234; 328—330.
- ¹⁰² Там же. С. 287—296.
- ¹⁰³ Там же. С. 106—122.
- ¹⁰⁴ Там же. С. 255—261.
- ¹⁰⁵ Там же. С. 260.
- ¹⁰⁶ Там же. С. 350—364.
- ¹⁰⁷ Там же. С. 281—284, 361—373.
- ¹⁰⁸ Неусыхин А. И. Крестьянство и крестьянские движения в Западной Европе раннефеодального периода (VI—IX вв.) // Из истории социально-политических идей. М., 1955.
- ¹⁰⁹ Неусыхин А. И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному: (На материале истории Западной Европы раннего средневековья) // Вопр. истории. 1967. № 1; см. также в кн.: Проблема истории докапиталистических обществ. М., 1968. Кн. 1. С. 596—617.
- ¹¹⁰ Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства... С. 32—35, 133, 151, 352—353, 361—365. Он же. Проблемы европейского феодализма. С. 35—210.
- ¹¹¹ Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства... С. 354.
- ¹¹² Там же. С. 360, 353, примеч. 4.
- ¹¹³ Неусыхин А. И. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964.

- ¹¹⁴ Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft als Klasse der frühfeudalen Gesellschaft in Westeuropa vom 6. bis 8. Jahrhundert.
- ¹¹⁵ Печать и революция. 1924. № 4. С. 35—44; № 6. С. 172—175.
- ¹¹⁶ *Неусызин А. И.* Проблемы европейского феодализма. М., 1974. С. 377—378.
- ¹¹⁷ *Неусызин А. И.* Общественный строй древних германцев. С. 94—110.
- ¹¹⁸ Там же. С. 55—110.
- ¹¹⁹ История крестьянства в Европе. М., 1985. Т. 1. С. 90—113.
- ¹²⁰ *Неусызин А. И.* Общественный строй древних германцев. С. 110.
- ¹²¹ История крестьянства в Европе. Т. 1. С. 95—112.
- ¹²² *Неусызин А. И.* Общественный строй древних германцев. С. 30—54. Специальная глава данной монографии, трактующая этот вопрос, представляет первое советское исследование истории ленных отношений.
- ¹²³ *Неусызин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 387.
- ¹²⁴ *Неусызин А. И.* Общественный строй древних германцев. С. 83.
- ¹²⁵ Характерная для того времени неакадемическая критика монографии А. И. Неусызина о древних германцах на многие десятилетия погасила интерес советских ученых к разработке данного сюжета.
- ¹²⁶ *Неусызин А. И.* Проблемы европейского феодализма. С. 378.
- ¹²⁷ *Епископов Г. Л., Домченко В. М.* Плеханов о роли географической среды в жизни общества // Вести. МГУ. Сер. 7, Философия. 1983. № 4. С. 35—36; *Астапова О. Д., Боряз В. Н., Мещеряков В. Т.* К проблеме полифункциональности географической среды в общественном развитии // Роль географической среды в истории докапиталистических формаций. Л., 1984. С. 52—53.

Н. И. БУХАРИН О РАЗВИТИИ НАУКИ В XX В.

Г. Д. Алексеева

В истории мировой марксистской мысли первой трети XX в. Н. И. Бухарин принадлежит к числу видных теоретиков, оказавших заметное влияние на формирование научной концепции социализма. Крупный политический и государственный деятель, один из лидеров Коммунистической партии и Октябрьской революции, талантливый экономист и социолог, яркий публицист, Бухарин воплотил в своем творчестве многие черты, свойственные тому поколению революционеров, к которому он принадлежал. Это — беззаветная преданность делу революции, активный поиск в области социалистической теории, демократизм и революционный романтизм, целеустремленность и убежденность в победе коммунизма не только в России, но и во всем мире. Разработке проблем социализма, занимавших главное место в творчестве Бухарина, были подчинены другие вопросы, включая проблемы науки, искусства, литературы, формирования массового общественного сознания, путей его развития в новых социальных условиях, рожденных победой социалистической революции в октябре 1917 г.

Проблемы науки и ее развития в начале XX в., в период, который Бухарин оценивал как эпоху непримиримой борьбы двух систем — капитализма и социализма¹, решались им в тесной связи с социальными процессами, происходившими в СССР и во всем мире. И хотя ряд явлений, имевших место в науке того времени, он не смог объяснить правильно, не сумел предвидеть всех последствий научно-технической революции для всего мира, тем не менее его идеи представляют для нас, ученых конца XX в., большой интерес.

К анализу проблем науки Бухарин подходил с исторической, социологической, экономической, науковедческой точек зрения. Подобный подход оказался весьма перспективным и ценным для познания проблем науки. Особенно привлекательна его общая концепция науки, которую можно оценить как первый, начальный этап познания науки и ее развития в условиях XX в., который войдет в историю человечества как век науки и техники.

Можно выделить ряд причин, обусловивших обращение Бухарина, как и других лидеров Советского государства, к проблемам развития науки, ее роли в прогрессе человечества вообще и строительстве социализма в особенности.

Во-первых, будучи убежденным сторонником марксистского направления общественной мысли, т. е. материалистического объяснения процессов общественного развития, Бухарин, как и другие представители этого направления, видел главное достижение науки, главный успех марксистской концепции общественного разви-

тия в победе Октябрьской революции, первой революции в истории человечества, осуществленной на основе научной теории, т. е. теоретически предсказанной и проведенной по заранее разработанной программе. Поэтому он писал об Октябрьской революции как триумфе марксизма, выдающейся победе Коммунистической партии и российского пролетариата, вооруженного в борьбе со своими классовыми врагами наукой². Следовательно, первое и главное в оценке Бухариным достижений науки в начале XX в. — это успехи большевиков в реализации марксистской теоретической доктрины в сфере политики.

Второе обстоятельство — это успехи мировой и русской науки в конце XIX — начале XX в., которое Бухарин очень высоко оценивал, посвятив им ряд статей (например, о Ч. Дарвине и др.). С европейской наукой он был знаком как политэмигрант, проживавший в странах Запада в 1911—1917 гг. О знании европейской науки и научной мысли свидетельствуют его труды, в которых при освещении проблем науки использованы исследования К. Пирсона, Ж. Пуанкаре, Э. Маха и др.

Третье обстоятельство — это понимание важности использования достижений мировой науки и всемерного содействия отечественной науке, необходимости государственного обеспечения научно-технического прогресса, без которого невозможно построение социализма. Для Бухарина социализм — это общественная система, опирающаяся в своем формировании и развитии на науку и служащая базой для всестороннего прогресса науки, т. е. система, обеспечивающая безграничные возможности для развития науки и использования ее достижений на благо человека и всего общества³.

Из этой позиции вытекало четвертое обстоятельство — потребность в теоретическом осмыслении проблем науки и ее развития в условиях двух различных социальных систем — социализма и капитализма, осмыслении процесса развития науки в тесной связи с общим прогрессом человечества, создании теоретической базы для выработки и обоснования научной политики государства, регулирующего процесс развития науки и использование ее достижений. И хотя последний вопрос относился преимущественно к политике социалистического государства, тем не менее он имел отношение и к науке, развивавшейся в условиях капитализма.

Таким образом, концепция развития науки в XX в., разработанная Бухариным, основывалась: 1) на учете реальных социальных условий ее развития, сложившихся в начале столетия; 2) на связи науки с социальной практикой проведения революции и построения социализма; 3) на глубоком убеждении в громадных преимуществах социализма как общественной системы, хотя интересующие нас работы создавались Бухариным в 20—30-е годы, когда эти преимущества еще не могли в полной мере проявиться, как, впрочем, и недостатки развития науки, обнаружившиеся позднее.

Прежде чем приступить к раскрытию содержательной стороны проблемы, т. е. концепции науки, созданной Бухариным в 20—30-е годы, следует сказать и о формах его выступлений по вопросам науки. Большинство его работ носило популярный характер: это либо изложение проблем общественного развития, в том числе науки, на страницах учебной литературы («Азбука коммунизма», «Теория исторического материализма»), в популярных статьях и брошюрах, либо публичные выступления на конференциях по вопросам науки (1-я Всесоюзная конференция по планированию научно-исследовательской работы), на международных конгрессах по истории науки (Лондон, 1931 г.). Фундаментальных трудов в рассматриваемой области Бухарин создать не успел, хотя все предпосылки для этого были.

Следует учитывать и влияние его политической позиции на разработку проблем развития науки в условиях советской действительности, особенно левокоммунистических ошибок, что проявилось в отношении Бухарина к ученым старой формации, работавшим в СССР в 20—30-е годы, в отношении к наследию прошлого в области культуры и просвещения, к высшей школе.

Нельзя не учитывать и такое немаловажное обстоятельство, как сочетание хорошего знания западноевропейской литературы по вопросам науки, о чем свидетельствует использование трудов ряда авторов (Г. Спенсера, К. Пирсона, Ж. Пуанкаре и др.), и недостаточное знакомство с русской литературой по вопросам науки конца XIX — начала XX в. Об этом свидетельствует отсутствие в перечне привлекавшихся авторов В. И. Вернадского, К. А. Тимирязева и др., которые успешно занимались вопросами развития науки в условиях начала XX в. применительно к России с учетом мирового научного прогресса. Современного исследователя удивляет и отсутствие ссылок на труды А. А. Богданова, одного из видных теоретиков в этой области, которого Бухарин хорошо знал и идеи которого нередко использовал.

Рассматривая и оценивая взгляды Бухарина по вопросам развития науки, следует выделить три важнейших периода в эволюции его воззрений, связанных с осмыслением проблем науки XX в.

Самым ранним обращением к этой теме является, на наш взгляд, освещение проблемы в первые годы революции, при подготовке «Азбуки коммунизма» (в соавторстве с Е. Преображенским). Эта работа была опубликована в 1919 г. в качестве популярного объяснения Программы Российской Коммунистической партии. В специальном разделе, посвященном политике партии в области народного просвещения, Бухарин комментировал основные положения Программы, делая упор на ликвидации старой дореволюционной системы образования, невозможности использования старых преподавательских сил, включая и ученых, на важности коренного разрушения всей старой системы и создания новых рабоче-крестьянских кадров, преданных революции и социализму⁴. В этой позиции четко проявилась платформа «левого коммунизма», от которого Бухарин не мог еще отка-

заться, перенеся свое отношение к «старому миру» на проблемы развития образования, культуры и науки. Эта позиция явно противоречила установкам В. И. Ленина, которые он не раз давал Наркомпросу, А. В. Луначарскому и М. Н. Покровскому⁵.

Следующим важным этапом в идейном развитии Бухарина, в осмыслении им проблем науки стали 20-е годы. Здесь особо следует отметить книгу Бухарина «Теория исторического материализма». Эта работа интересна для нас тем, что в ней вопросы развития науки рассматриваются на теоретическом уровне, в тесной связи с социальной практикой, т. е. с борьбой за новое, социалистическое общество. В советской литературе тех лет эта попытка была новаторской как в систематизации и популяризации марксистской концепции общественного развития, так и в постановке в связи с этой концепцией вопроса о развитии науки вообще и социальных наук в особенности. Позднее советские философы заметно отошли от подобного подхода к изложению основ исторического материализма, а между тем он заслуживает внимания. Не со всеми утверждениями Бухарина как теоретического, так и исторического характера можно согласиться, ряд идей вызывает серьезные возражения, следует отметить элементы упрощения и вульгаризации марксизма. И тем не менее при всех этих недостатках книга Бухарина стала заметным явлением в литературе начала 20-х годов. К сожалению, это недооценивается в современной литературе о Бухарине, выходящей на Западе.

Не все поставленные в этой книге вопросы Бухарин смог решить, но в ряде случаев его отношение к вопросам развития науки было весьма перспективным и новаторским, особенно в связи с освещением роли науки в развитии социалистического общества. При этом большое внимание уделялось как развитию науки вообще, так и общественных наук в условиях социализма и капитализма. Такой широкий подход выводил автора на уровень глубоких теоретических наблюдений, что имело важное значение для создания теоретических основ такой научной дисциплины, как науковедение, одним из основоположников которой был Н. И. Бухарин.

В «Теории исторического материализма» обращает на себя внимание постановка такой проблемы, как практическое значение социальных наук. В условиях революционной эпохи Бухарин видел его в борьбе за социальное освобождение⁶. Такой же практический характер имеют, по мнению Бухарина, общественные науки и для буржуазии: «Ей они помогают разобраться в сложной общественной жизни и взять правильный курс, чтобы решать практические жизненные задачи»⁷. Однако позднее, в работах конца 20-х — начала 30-х годов, Бухарин фактически отказался от этой точки зрения и стал утверждать, что все общественные науки в условиях капитализма носят реакционный характер, переживают глубокий кризис, не способны к развитию. Эта точка зрения получила широкое распространение в 30—50-е годы в

советской литературе по вопросам развития науки в капиталистических странах. Бухарин был одним из первых, кто ее утверждал уже в 20-е годы.

Второй аспект, на который Бухарин обращает внимание при рассмотрении вопроса о развитии общественных наук,— это классовый⁸. Все науки об обществе являются классовыми: у пролетариата — одна наука, у буржуазии — другая. По мнению Бухарина, это два качественно различных явления. Буржуазия наука нужна для сохранения своего господства, пролетариату — для его разрушения и социального освобождения. Марксистской концепции классового характера науки буржуазия противопоставляет концепцию «чистой» науки. Эту идею марксизм отвергает⁹. К этой теме Бухарин и позднее часто обращался, доказывая, что в классовом обществе не может быть независимой, «чистой» науки.

Общественная наука пролетариата, по мнению Бухарина, выше буржуазной науки по своему уровню, так как способна видеть дальше. Мы, марксисты, писал Бухарин, «имеем полное право считать истинной именно пролетарскую науку и требовать ее общего признания»¹⁰. Эти идеи и в дальнейшем пронизывали все выступления Бухарина по вопросам науки и в нашей стране и за рубежом.

Большой интерес представляют рассуждения Бухарина об общественных науках, их роли в жизни общества, о соотношении истории (науки конкретной) и социологии (теоретической, абстрактной науки), получающей факты из исторических исследований. Бухарин склонен к отрицанию права исторической науки на теоретические обобщения. Оно принадлежит только социологам. Научная социология, по Бухарину, это исторический материализм.

Рассматривая науку как часть духовной жизни общества, Бухарин определял ее (духовную жизнь) как «функцию производительных сил», зависящую якобы лишь от состояния материального производства¹¹. Эта позиция является грубым искажением материалистического положения об относительной зависимости духовной культуры от социальных отношений общества и относительной самостоятельности процессов духовной жизни общества, которые должны учитываться при рассмотрении и оценке таких явлений, как наука, искусство, литература. Эти идеи не однажды развивали К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин в трудах по проблемам культуры. В концепции Бухарина имеет место иное понимание проблемы, которое, кстати сказать, он ничем не аргументирует. Для него это — марксистская точка зрения. Иногда Бухарин пытается оговаривать свою позицию, однако от этого она не становится яснее и сводится к рассуждениям о зависимости науки («прямой или косвенной») от состояния производительных сил¹².

Еще одну проблему хотелось бы отметить. Это отношение Бухарина к вопросу о главной задаче науки. Ее он усматривает в познании закономерностей общественного развития¹³, что позволяет предвидеть его перспективы¹⁴.

Главным в подходе Бухарина к проблеме развития мировой и отечественной науки является принцип, выраженный в формуле: капитализм не способен обеспечить подлинный прогресс науки и использование ее достижений в интересах человека, социализм — принципиально новый общественный строй, создающий неограниченные возможности для развития науки в интересах широких народных масс.

Каковы основные положения Бухарина о развитии науки в новых исторических условиях, в условиях построения социалистического общества? Коренной поворот в развитии науки в России произошел в результате победы Октябрьской революции. Революция победила в результате научного предвидения хода общественного развития и возможности его изменения революционными силами, вооруженными научным знанием. Поэтому победа революции — это победа пролетарской науки, т. е. марксизма. После успеха в проведении социалистической революции началась революция в самой науке. Бухарин видел ее содержание в перевороте метода (утверждение материализма и диалектики), в организации научного труда, в изменении соотношения развития отраслей науки, в изменении характера теоретических и эмпирических исследований ученых, в расширении круга научных проблем¹⁵. Главное в этом научном прогрессе — победа единого научного метода, диалектического материализма. Новое в процессе развития науки в период построения социалистического общества Бухарин усматривал и в том, что росла производительность научного труда, повышались роль и престиж науки в обществе, наука становилась всепроникающей силой, превратившись в мощный рычаг общественного преобразования. Бухарин отмечал и такой важный факт, как появление в стране сети научных учреждений и институтов, охвативших все отрасли знания¹⁶.

Бухарин справедливо и одним из первых отмечал, что социализм создал реальную основу для самопознания науки¹⁷. Однако эта идея звучала у Бухарина как возможность, как перспектива, хотя в стране уже в 20-е годы появились работы, посвященные этой проблеме, и не совсем понятно, почему Бухарин не отмечал их появление (труды о развитии науки А. А. Богданова, П. Б. Боричевского и др.).

Меньше внимания уделял Бухарин проблеме трудностей, с которыми столкнулась страна и наука в 20-е годы. Они были весьма значительны (недостаток средств, разбросанность и несогласованность действий в руководящих органах, самих научных центров, ненормально складывавшиеся отношения со старым поколением ученых). Всю проблему Бухарин сводил к малочисленности квалифицированных кадров науки, создание которых он видел в пробуждении талантов из народа, в разумном отборе, в выдвижении наиболее талантливых ученых и энергичных организаторов науки для руководства научными коллективами¹⁸. В целом постановка проблемы научных кадров была правильной,

хотя в чем-то слишком абстрактной, как и вообще многие построения Бухарина 20-х годов. Так, из его рассуждений о науке совершенно выпадала такая проблема, как высшая школа, которая переживала трудный период становления и от результатов работы которой зависело развитие науки в стране. Страна нуждалась не только в теоретическом осмыслении проблем науки, но и в определении реальных, практических путей обеспечения ее развития (поиск новых форм организации, совершенствование аппарата управления наукой, рациональное финансирование и др.).

К концу 20-х — началу 30-х годов относятся выступления Бухарина по вопросам планирования научно-исследовательской работы. Плановость Бухарин считал одной из важнейших черт развития науки в условиях социализма, что противопоставлялось им такому явлению, как стихийность, свойственная буржуазной науке.

Постановка проблем планирования и его практическое осуществление вызвали определенное сопротивление некоторых ученых как в СССР, так и за рубежом. Бухарин уделил большое внимание этому вопросу в докладе на 1-й Всесоюзной конференции по планированию научно-исследовательской работы в стране, состоявшейся в Москве в апреле 1931 г. Бухарин выступил с основным докладом «О планировании научно-исследовательской работы». Он был прочитан с большим успехом и получил полную поддержку представителей науки и политических деятелей.

Доклад был построен под девизом: «Все силы на службу социалистическому строительству и обороне пролетарской страны». Это, говорил Бухарин на конференции, центральная директива всей нашей научно-исследовательской работы¹⁹. Он видел два обстоятельства, способных помешать решению проблемы соединения «сил революции и сил науки»²⁰. Это угроза мировой войны и империалистической интервенции и сопротивление социалистическому строительству старых кадров, оставшихся от дореволюционного времени. Если с первым доводом Бухарина можно согласиться, то второе обстоятельство связано с преувеличением, а точнее, с ошибочной оценкой буржуазных специалистов, включая и ученых, их участия в культурном возрождении страны, которое большинство из них приветствовало с большим энтузиазмом. Этот упрек можно сделать на основании изучения проблемы привлечения и использования старых специалистов, которую впервые выдвинул В. И. Ленин, упорно защищая свою позицию от левозэкстремистских и пролеткультовских настроений ряда деятелей тех лет, отрицавших возможность и необходимость использования культурного и научного наследия прошлого для строительства социализма. Тем более к концу 20-х годов основная масса ученых старой формации проявила себя как большая и активная творческая сила. Их реальный, практический вклад в дело социалистического строительства был необычайно велик.

Они успешно разрабатывали фундаментальные проблемы науки, достаточно назвать имена В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского, В. М. Бехтерева, прославивших своими выдающимися трудами не только отечественную, но и мировую науку. Успешно работали в условиях советской действительности математики, физики, химики, биологи, геологи, представители гуманитарного знания: академики С. Ф. Ольденбург, В. В. Бартольд, В. М. Алексеев и многие другие. В этих условиях заявления Бухарина о том, что старые кадры способны мешать социалистическому строительству, были серьезной ошибкой. А практическое осуществление этой позиции отрицательно влияло на процесс привлечения и использования наследия прошлого для строительства новой социалистической культуры, включая и науку. Одним из активных проводников этого неверного взгляда стал Бухарин, который упорно защищал его в своих выступлениях конца 20-х — начала 30-х годов.

Из этой ложной посылки Бухарин делал и следующий неверный вывод, имевший трагические последствия для судеб науки и специалистов старой формации. Пролетарская революция, заявлял он, «имеет не меньше оснований на решительную оборону и на истребление вредителей, чем якобинская диктатура — на истребление своих контрреволюционеров». И далее: рабочие и крестьяне «обязаны перед историей предложить саботажникам, подрывникам своего труда, агентам империалистической разведки физическую или моральную гильотину»²¹. В обстановке, сложившейся в СССР в начале 30-х годов, при малочисленности квалифицированных научных сил, сложностях финансового и организационного характера, эта позиция имела далеко идущие отрицательные последствия еще и потому, что ее отстаивал видный деятель Советского государства. . .

В докладе о планировании научно-исследовательской работы Бухарин вновь развивал свои идеи о характере развития науки в условиях капитализма и социализма, о неспособности буржуазных ученых дать серьезные исследования, о «глубоком внутреннем кризисе буржуазного знания», отмечал отход буржуазных ученых к «агностицизму, идеализму и мистике»²². Он утверждал: «Развитие науки подводит к научной революции, к обобществлению научного труда, к планированию научно-исследовательской работы. Но загнивающий капитализм отбрасывает науку назад, к реакционным формам мышления, тормозит размах науки, делает невозможным обобществление ее достижений»²³. В противоположность этому, говорил Бухарин, «революция пролетариата и строительство социализма дают выход и расширяют в огромной степени ее горизонты»²⁴. Главное в этом процессе Бухарину виделось в смычке между теорией и практикой, позволяющей науке стать «всепроникающим принципом»²⁵.

Магистральный путь развития советской науки Бухарин видел в следующем: «Только бешено развивая научно-исследо-

вательскую работу, повышая ее темпы, применяя новые социалистические методы, решительно расширяя сеть научно-исследовательских учреждений, повышая удельный вес науки во всей общественной жизни Союза; только смело соединяя ее с промышленностью и сельским хозяйством прежде всего, — мы сможем выдержать предстоящий нам великий всемирно-исторический экзамен»²⁶.

Конкретные задачи науки Бухарин видел в изучении всех богатств страны и организации рационального использования природных ресурсов, разработке и внедрении новых технологических процессов. С развитием науки и техники связывались проблемы культурной революции. Они рассматривались не столько с точки зрения создания новых культурных ценностей, сколько с точки зрения изменения самого рабочего класса, т.е. человека, его психологии, сознания, производственных навыков, характера труда. В связи с этим ставилась задача разработки проблем педагогики, физиологии, организации труда и управления²⁷.

Чтобы успешно управлять экономическими процессами, отмечал Бухарин, их необходимо хорошо знать. Вместе с тем он не ограничивал вопросы экономики только проблемами социализма. «Изучение экономики капитализма необходимо нам, как воздух»²⁸.

В рассуждениях Бухарина вопросы науки в условиях социалистического строительства не ограничивались проблемами естествознания и техники. Они рассматривались в тесной связи с процессом культурной революции, с интенсивной разработкой таких научных дисциплин, как история, лингвистика, этнография, педагогика²⁹. Такая постановка вопроса имела важное и практическое, и теоретическое, и науковедческое значение. В ней отсутствовало деление наук на первостепенные и второстепенные, они все были нужны для строительства нового общества. У каждой науки был свой круг задач, которые она решала в тесной связи с практикой социалистического строительства.

Одной из самых привлекательных идей в наследии Бухарина, имевшей важное значение для развития науки в 30-е годы и сохраняющей его для решения ее современных проблем, является планирование науки. Этот вопрос Бухарин решал весьма обстоятельно, продумывая все основные его аспекты — условия (строительство социалистического общества), цель науки, пути (направления) ее развития, принципы подхода, формы и методы конкретного и общего планирования науки. Однако главной в этой позиции была идея о важности и практической необходимости создания теории планирования, которая бы охватывала все важнейшие проблемы, вопросы и стороны планирования, его средства и формы. Сам Бухарин многое сделал в этой области. Важно отметить, что в подходе к проблеме планирования он связывал воедино подъем жизненного уровня масс и органическое соединение плановости в развитии народного хозяйства и науки³⁰. План, говорил Бухарин, — это классовая политика

пролетариата в области науки³¹. Он указывал на важность концентрации внимания на узловых и наиболее важных проблемах организации и планирования коллективных разработок различных тем на основе широкого обмена опытом, устранения параллелизма, использования достижений мировой науки. По мнению Бухарина, планом должна быть охвачена вся наука: ее государственное финансирование, создание сети и размещение научно-исследовательских центров на территории всей страны, подготовка и распределение квалифицированных и вспомогательных кадров, определение наиболее важных и перспективных проблем и их решение на основе повышения производительности научно-исследовательского труда, научно обоснованные сроки выполнения плановых заданий, ускорение темпов развития науки, реализация научных достижений в практике социалистического строительства³². План, говорил Бухарин, — это единое целое³³. Эти идеи Бухарина развивались в тесной связи с решением общих проблем планирования всего народного хозяйства.

Поскольку идеи планирования науки вызвали большое сомнение некоторых ученых, особенно старой школы, Бухарин обрушился на них весьма темпераментно, а в чем-то и несправедливо.

Сомнения, колебания, связанные с непониманием этой сложной и новой для всех проблемы науки, вызвавшие определенное сопротивление некоторых представителей старой интеллигенции, Бухарин оценивал как сознательное вредительство, как активное сопротивление строительству социализма. Он говорил по этому поводу: «Нередко открытые протесты или глухое ворчание про себя против планирования научно-исследовательской работы имеют глубочайшие классовые корни: это есть протест против социалистического плана, против социалистических установок»³⁴. В связи с этим он призывал энергично бороться против всех и всяких проявлений враждебной пролетариату идеологии. Строительство социализма, еще раз подчеркивал он, неотделимо от классовой борьбы пролетариата³⁵.

В противовес доводам «противников» планирования Бухарин развивал весьма интересные идеи о том, что планирование отвергает кустарничество, стихийность, заметно повышает уровень организации научной работы, обеспечивает успех научного поиска.

Гениальные догадки, чутье, озарения, интуиция, якобы не подлежащие регулированию, а тем более планированию, Бухарин оценивал как функцию «систематически организованной работы». Коллективная организация труда не отвергает талант, как думали некоторые, а, напротив, утверждал Бухарин, дает ему возможность успешно развиваться, ибо по-настоящему, в полной мере он раскрывается в коллективе³⁶. План не нарушает свободы научного исследования, он его стимулирует, организует, делает целенаправленным³⁷.

Идеи планирования имели важное практическое и теорети-

ческое значение и для науки и для всего общества в целом. Следует учитывать, что все это делалось впервые в мире, поэтому многое было неясным, не хватало опыта, сказывалась молодость советской науки. Тогда многие, в том числе и Бухарин, думали, что идеи планирования науки могут реализовываться только в условиях социализма, но жизнь показала, что они могут внедряться и в практике развития науки в капиталистическом обществе. Эти идеи были заимствованы другими странами и получили всемирное распространение, конечно с учетом конкретных социальных условий. Однако следует напомнить, что пионерами в разработке этой важной проблемы — возможности и целесообразности планового развития науки в XX в. — были ученые СССР, в том числе Бухарин.

Летом 1931 г. на Международном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне Бухарин выступил с докладом «Теория и практика с точки зрения диалектического материализма». Этот доклад ценен тем, что в нем было поставлено большое количество теоретических проблем, которые развивали марксистскую концепцию. Бухарин рассматривал такие проблемы, как соотношение между теорией и практикой, социологией и историей, теорию познания, культурный прогресс. Для Бухарина представляла интерес проверка теоретической концепции гигантским опытом революции, определение перспектив дальнейшего развития, т. е. прогноз на будущее. Основой для углубленного и во многом творческого решения поставленных задач, как и прежде, служила теория исторического материализма. Бухарин давал материалистическое истолкование теории и практики, что имело первостепенное значение для развития науки, понимания ее сущности, роли в системе общественных отношений. Примечательно, что Бухарин рассматривал теорию и практику не только как область деятельности, но и как сущность деятельности самого общественного человека. Он говорил: «И теория и практика есть деятельность общественного человека. Если рассматривать теорию не как застывшие „системы“, а практику не как готовые продукты, т. е. не как „мертвый“, застывший в вещах труд, а как *in actu*, то перед нами будет два вида трудовой деятельности, раздвоение труда на труд умственный и физический, „духовный“ и „материальный“, теоретическое познание и практическое действие. Теория есть аккумулированная и конденсированная практика, поскольку она обобщает практику материального труда, является качественно особым и специфическим продолжением материального труда; она сама есть качественно особая теоретическая практика, поскольку она деятельна (ср., например, эксперимент), практика, обработанная мышлением. С другой стороны, практическая активность использует теорию и постольку сама практика теоретична. Реально мы имеем во всяком классовом обществе разделенный труд и, следовательно, противоречие между умственным и физическим трудом, т. е. противоречие между теорией

и практикой. Но, как всякое разделение труда, и здесь оно является живым единством противоположностей. Действие переходит в познание. Познание переходит в действие. Практика толкает вперед познание. Познание оплодотворяет практику». И далее: «И теория и практика являются моментами в совокупном процессе воспроизводства общественной жизни»³⁸.

С этих позиций Бухарин давал критический разбор субъективного идеализма, агностицизма. Он рассматривал большой круг проблем, имеющих важное теоретическое значение для решения вопросов человеческого познания и его проверки практикой: о соотношении в научном познании абстрактного и конкретного, о прикладных и теоретических науках, о функциях различных наук, о влиянии науки на развитие производительных сил, о внутренних связях теоретических дисциплин, о зависимости связи теории и практики от уровня развития общества, их историческом характере. Все эти идеи имеют важное значение для изучения истории науки, для разработки проблем науковедения применительно к науке XX в., которая стала важнейшим фактором социального и интеллектуального прогресса общества.

Подводя итоги проделанной работы в области изучения теоретических воззрений Н. И. Бухарина по вопросам развития науки XX в., следует сказать, что многие выдвинутые им идеи до сих пор имеют практическое и теоретическое значение, хотя, как и в каждой концепции, находящейся в стадии формирования, у него были и ошибки и недостаточная продуманность и обоснованность отдельных положений.

¹ Бухарин Н. И. Борьба двух миров и задачи науки: (Наука в СССР на всемирно-историческом перевале) // Бухарин Н. И. Этюды. М.; Л., 1932.

² Бухарин Н. И. Наука в СССР. М., 1928. С. 3.

³ Бухарин Н. И. Атака: Сб. теоретических статей. М., 1924. С. 15.

⁴ Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма: Популярное объяснение Программы Российской Коммунистической партии большевиков. М., 1921. С. 166, 169—170.

⁵ См.: Ленинский сб. Т. 34. С. 406; Покровский М. Н. Воспоминания о Ленине. М., 1933. С. 18—21.

⁶ Бухарин Н. Теория исторического материализма: Популярный очерк марксистской социологии. М., 1923. С. 7.

⁷ Там же. С. 8.

⁸ Там же. С. 9, 11 и др.

⁹ Там же. С. 9.

¹⁰ Там же. С. 11.

¹¹ Там же. С. 61, 62.

¹² Там же. С. 183.

¹³ Там же. С. 15, 16, 42.

¹⁴ Бухарин Н. Наука в СССР // Большевик. 1927. № 17. С. 10—12.

¹⁵ Бухарин Н. И. Этюды. С. 15—17 и др.

¹⁶ Большевик. 1927. № 17. С. 18.

¹⁷ Там же. С. 14.

¹⁸ Там же. С. 19; Бухарин Н. Борьба за кадры. М., 1926. С. 23, 35.

- ¹⁹ I Всесоюзная конференция по планированию научно-исследовательской работы, 6—11 апр. 1931: Стеногр. отчет. М.; Л., 1931. С. 15.
- ²⁰ Там же. С. 26. ²⁹ Там же. С. 13.
- ²¹ Там же. С. 18. ³⁰ Там же. С. 35.
- ²² Там же. С. 27. ³¹ Там же. С. 40.
- ²³ Там же. ³² Там же. С. 35.
- ²⁴ Там же. С. 28. ³³ Там же. С. 39.
- ²⁵ Там же. ³⁴ Там же.
- ²⁶ Там же. ³⁵ Там же. С. 40.
- ²⁷ Там же. С. 32. ³⁶ Там же. С. 36.
- ²⁸ Там же. ³⁷ Там же. С. 35.
- ³⁸ Бухарин Н. Теория и практика с точки зрения диалектического материализма. М.; Л., 1932. С. 6.

ИДЕЙНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ Н. И. БУХАРИНА: ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

С. Л. Леонов

Теоретическая деятельность Николая Ивановича Бухарина отличалась многосторонностью: на всем протяжении своей идейной эволюции он разрабатывал многие проблемы ряда общественных наук. Вместе с тем не будет преувеличением сказать, что наибольшее значение в его творчестве имели труды, в которых он развивал и пропагандировал экономическую теорию марксизма. Не случайно, что именно это направление его теоретической деятельности неоднократно положительно оценивал В. И. Ленин. Так, например, он отмечал в одном из писем в марте 1916 г.: «Ник. Ив. занимающийся экономист, и в этом мы его всегда поддерживали»¹. В. И. Ленин ценил экономические труды Н. И. Бухарина, отмечая в то же время серьезные недостатки его методологических подходов². Значение этих ленинских оценок Бухарина как экономиста отнюдь не умаляется тем, что Ленин, как известно, не раз критиковал те или иные его воззрения.

Первые работы Бухарина по экономическим вопросам посвящены пропаганде марксистской политэкономии и критике воззрений буржуазных экономистов. Это относится к его статьям «Карл Маркс и современная политическая экономия буржуазии», «Теория субъективной ценности Бём-Баверка», «Политическая экономия без ценности»³ и др. В этих статьях Бухарин разъяснял Марксово учение о стоимости (используя терминологию тех лет — учение о трудовой ценности), прибавочной стоимости, заработной плате, основные положения теории воспроизводства общественного капитала. Он умело сочетал пропаганду марксистской теории с критикой взглядов таких буржуазных

экономистов, как Е. Бём-Баверк, М. И. Туган-Барановский. Одним из важнейших объектов критики была методологическая позиция этих экономистов, которую Бухарин характеризовал как субъективистскую и неисторичную.

В дальнейшем Бухарин подытожил и расширил эту критику в книге «Политическая экономия рантье», рукопись которой была в основном закончена осенью 1914 г., а опубликована впервые в 1919 г. (с дополнениями, внесенными в 1915—1916 и 1919 гг.). Характерно, что, полемизируя с воззрениями указанных экономистов, Бухарин видел свою задачу не только в выявлении социально-классовой подоплеку взглядов и ошибочности методологии оппонентов, но и в том, чтобы раскрыть логическую и теоретическую непоследовательность, противоречивость их аргументов и выводов и на этой основе доказать их односторонность и неполноту. В предисловии к книге «Политическая экономия рантье» Бухарин отмечал, что марксистская критика построений новейших буржуазных экономистов «сводилась, главным образом, к двум типам критики: либо это была только социологическая критика, либо критика исключительно методологическая. Устанавливалось, например, что данная теоретическая система имеет родство с определенной классовой психологией, и этим дело кончалось. Или указывалось, что некоторые методологические основания, подход к вопросу, неправилен, а потому считалась излишней подробная критика „внутренней“ стороны системы»⁴.

Бухарин доказывал, что выяснение социально-классового смысла позиции тех или иных теоретиков буржуазии не снимает с марксистов обязанности вести полемику с ними в форме логической критики их воззрений. Он считал также недостаточным простое выяснение неверности методологических оснований теоретических построений буржуазных экономистов и видел задачу в том, «чтобы неправильность метода была продемонстрирована на неправильности частных выводов системы, то есть либо на ее внутренней противоречивости, либо на ее недостаточности, „органической“ неспособности охватить ряд для данной дисциплины важных явлений»⁵.

И надо сказать, Бухарин успешно применял эти принципы критики в своем анализе буржуазной политэкономии, раскрывая односторонность и непоследовательность взглядов крупнейших ее представителей. При этом в ходе полемики с ними он стремился показать преимущества марксистского знания, основывающегося на принципах объективности и историзма в исследовании предмета. Бухарин доказывал, что внеисторичность и субъективизм, присущие воззрениям политэкономов «австрийской школы», с одной стороны, и описательно-эмпирический подход к предмету экономистов «исторической школы» политэкономии — с другой, являются двумя направлениями, хотя и противоположными друг другу, ухода от действительно научной формы осмысления

экономической реальности. В первом случае теоретические объяснения строились за счет отказа от понимания развития экономических форм, во втором — описание изменений в экономической жизни общества сопровождалось отрицательной позицией по отношению ко всякой теоретической форме исследования экономики.

Следует подчеркнуть, что у Бухарина критическая оценка взглядов тех или иных экономистов была выводом из скрупулезного объективного анализа аргументов, которые служили основанием развивавшихся ими положений. Он продемонстрировал мастерское владение такой формой полемики, как имманентная критика, и из его полемического опыта можно и сегодня извлечь полезные уроки.

Яркой страницей научного творчества Бухарина-экономиста явилось его исследование проблем империализма. Их разработке посвящена одна из наиболее известных его работ, «Мировое хозяйство и империализм», первоначально опубликованная в 1915 г. в журнале «Коммунист». В дальнейшем она была дополнена и издана в виде отдельной книги⁶. Дополнения состояли в более подробном изложении ряда вопросов (общественное разделение труда, факторы развития мировых экономических связей, роль государства в экономике), разработка которых уже имелась в раннем варианте работы, были добавлены две новые главы (о характере империалистической войны и о предпосылках социализма), значительно обновлен статистический материал. Анализ этих дополнений, разумеется, важен для представления о развитии взглядов Бухарина, но здесь нас интересует его концепция империализма в том виде, как она была изложена впервые, так как это позволит более точно показать ее значение в развитии марксистского осмысления империализма. В написанном в декабре 1915 г. предисловии к этой работе Н. И. Бухарина В. И. Ленин отмечал, что ее научное значение «состоит особенно в том, что он рассматривает основные факты мирового хозяйства, касающиеся империализма, как целого, как определенной ступени развития наиболее высоко развитого капитализма»⁷.

Бухарин исследовал империализм как комплекс новых тенденций развития мирового хозяйства, характерных для новой фазы капитализма. Хотя он и называл империализм экономической политикой, но фактически под этим неверным выражением он исследовал объективные экономические процессы: рост вывоза капитала, борьбу международных монополий, раздел территории мира как рынков сбыта и сырья и как сфер приложения капитала. По существу, он анализировал объективные экономические процессы, правильно характеризуя их как основные тенденции развития мирового хозяйства, развившиеся в эпоху финансового капитала и являющиеся выражением господства последнего. В этом, на наш взгляд, Бухарин противоречил сам себе, называя

эти процессы политикой финансового капитала и исследуя их как комплекс экономических характеристик империализма. В этой непоследовательности сказались смешение, а отчасти и отождествление экономики и политики, которые привели Бухарина и к другим ошибкам, например в оценке связи государства и монополий.

Эти недостатки не могут заслонить выдающегося вклада, который внес Н. И. Бухарин в развитие марксистского понимания «нового капитализма». Особенное значение имеет его теоретическое научное исследование империализма как проблемы мирового хозяйства.

Раскрывая классовый смысл борьбы «национальных» государств как борьбы соответствующих групп буржуазии и одновременно рассматривая «национальные» хозяйства лишь как части мирового хозяйства, Бухарин правильно расценивал эту борьбу как конкуренцию различных частей мирового хозяйства. Он делал вывод о том, что «вопрос об империализме, его экономической характеристике и его будущности превращается, таким образом, в вопрос об оценке тенденций развития мирового хозяйства и о вероятных изменениях его внутренней структуры»⁸. Поэтому задачу своего исследования он видел в том, чтобы сначала рассмотреть структуру мировой экономики в целом, а затем на этой основе проанализировать тенденции экономического развития капитализма в отдельных странах. Такой подход был оправдан тем, что позволял в ходе исследования выявить новые явления и процессы, которыми характеризуется развитие мировых экономических связей при империализме. Но в то же время абсолютизация этого аспекта рассмотрения империализма вела к непоследовательности в освещении действительных зависимостей в развитии новейшего капитализма. В частности, происходило как бы удвоение предмета исследования: параллельно друг другу рассматривались одни и те же процессы образования монополий и финансового капитала, роста экспорта капитала и т. д. — во-первых, как тенденции развития мирового хозяйства и, во-вторых, как тенденции развития национальных хозяйств.

Необходимо подчеркнуть, что, реализуя такой подход к исследованию новейшего капитализма, Бухарин противоречил своим же верным положениям. Так, подытоживая анализ обострения борьбы на мировой арене, он отмечал, что «причины этого нужно искать прежде всего в тех внутренних изменениях, которые произошли в структуре «национальных капитализмов» и вызвали переворот в их взаимных отношениях»⁹.

Бухарин во многом верно анализировал и изменения в экономике крупнейших капиталистических стран. Рассматривая необычайно быстрый рост картелей, синдикатов, трестов и банковских концернов, он высказал верное положение о концентрации производства как необходимом условии возникновения монополий, подчеркивал огромную роль, которую играет в этом

процессе форма акционерного общества, в особенности в связи с «системой участия» и финансированием посредством выпуска ценных бумаг, раскрывал возрастание роли монополий, приходящих на смену свободной конкуренции. Бухарин подробно рассмотрел также развивавшийся процесс «сращивания» промышленных монополий и банков-монополистов. Эта его формулировка о «сращивании» промышленного и банковского капитала положительно оценивалась В. И. Лениным¹⁰.

Анализируя формы слияния промышленного и банковского капиталов («система участия», учредительство, финансирование, кредит, личная уния и т. д.), Бухарин доказывал, что «этот процесс сращивания идет все быстрее по мере роста капиталистической концентрации»¹¹. Он считал недопустимым смешение понятий финансовый и денежный капитал и особо подчеркивал, что «для финансового капитала характерно то, что он одновременно является и банковским, и промышленным»¹². В дальнейшем в статье «Что такое финансовый капитал?» Бухарин отмечал, что «капитал, существующий одновременно и как банковый, и как промышленный капитал, и называется финансовым капиталом»¹³.

Исследуя важнейшие тенденции развития мирового хозяйства, Бухарин рассматривал их как элементы и формы выражения интернационализации хозяйственной жизни. Особое внимание при этом он уделил анализу вывоза капитала как характерной для эпохи финансового капитализма формы экономических связей между государственно обособленными частями мирового хозяйства. Показав, как различными путями происходит перелив капиталов между странами (учредительство, займы, финансирование, торговля ценными бумагами и т. д.), Бухарин делал вывод о том, что в ходе этого процесса «растет переплетение „национальных капиталов“, капитал „интернационализуется“»¹⁴. При этом он доказывал, что наиболее отчетливое выражение эти процессы интернационализации находят в образовании и развитии международных картелей и трестов, за которыми стоят финансирующие их банки-монополисты.

Подытоживая рассмотрение этого комплекса процессов, Бухарин писал: «Международные экономические связи проходят через тысячи узлов, переплетаются в тысячах пучков, чтобы централизоваться, наконец, в соглашениях крупнейших банков света, которые распустили свои щупальцы по всему земному шару. Мировой финансовый капитализм, подчинение палке финансовых королей есть самый ощутительный факт современной экономической действительности»¹⁵.

Анализируя влияние роста международных монополий и других форм интернационализации капитала, Бухарин подметил развитие интернационализации капиталистической собственности, но что особенно важно, он также отчетливо видел и противоположную тенденцию. Он доказывал, что интернационализация хозяйственной жизни не тождественна процессу интернациона-

лизации капиталистических интересов в смысле тенденции к примирению капиталистов различных стран. Бухарин выдвигал верное положение о том, что «процесс интернационализации хозяйственной жизни может обострять и обостряет в высшей степени противоречие между интересами различных «национальных» групп буржуазии»¹⁶. Опираясь на этот вывод, он подробно анализировал обострение борьбы между ними за рынки сбыта, сырья и из-за сфер приложения капитала, которая ведется в целях обеспечения сверхприбылей монополиями различных стран. В конкуренции за рынки сбыта, сырья и приложения капитала Бухарин видел «три стороны одного и того же явления: конфликта между ростом производительных сил и «национальной» ограниченностью производственной организации»¹⁷.

Резюмируя свое понимание тенденций развития мировой системы капитализма, Бухарин выделял среди них две главные, о которых писал, что «наряду с интернационализацией хозяйства и интернационализацией капитала происходит чреватый крупнейшими последствиями процесс „национального“ связывания капитала, процесс его „национализации“»¹⁸. Под не очень удачным термином «национализация» капитала Бухарин имел в виду следующее. Он считал, что процесс централизации производства в общественном масштабе имеет тенденцию превратить все «национальное» хозяйство в единое комбинированное предприятие, с организационной связью между всеми отраслями производства¹⁹. Он правильно отмечал, что в эпоху финансового капитализма «начинает играть крупнейшую роль использование государственной власти и связанных с нею возможностей»²⁰, экономических в первую очередь. Но вместе с тем Бухарин дал утрированное и схематичное представление об этой тенденции, понимая ее как полностью заверченный, лишенный внутренних противоречий процесс. В частности, он утверждал, что «народное хозяйство» превращается в один гигантский комбинированный трест, пайщиками которого являются финансовые группы и государство²¹, его он назвал «государственно-капиталистический трест».

Эти абстрактные представления и привели Бухарина к неверным выводам о том, что в связи с образованием «государственно-капиталистических трестов» конкуренция переносится на мировую арену, а в пределах национальных хозяйств доводится до минимума. В дальнейшем аналогичные положения высказывались Бухариным в ряде работ. Так, в статье «К пересмотру партийной программы» он писал: «В области внутренних отношений капиталистического хозяйства место неорганизованных предприятий и „свободной конкуренции“ занял организованный монополистический капитал»²².

Эти ошибочные положения, думается, объясняются методом исследования: процессы и явления «новейшего капитализма» рассматривались Бухариным с точки зрения их структуры,

состава, а не с точки зрения их генезиса и развития. Он анализировал явления как полностью реализовавшие все потенции своего развития, и, естественно, в этом случае нередко ускользали от анализа изменчивость процессов, их внутренняя противоречивость. Известно, что в дальнейшем (в дискуссии при подготовке второй Программы партии) Бухарин полемизировал с Лениным, в частности, и по вопросам теории империализма. Его позиция в этом споре состояла в попытке отстоять ранее высказанные суждения о том, что финансовый капитализм полностью заменяет собой капитализм свободной конкуренции, что господство монополий означает полное перерождение отношений старого капитализма и новейшая капиталистическая экономика является «чистым» монополистическим капитализмом, устранившим анархию товарного производства и свободную конкуренцию. Ленинская критика этих ошибочных положений хорошо известна, и нет необходимости здесь ее приводить²³. Менее известно, что в дальнейшем Бухарин под влиянием ленинской критики исправлял свои ошибки и внес заметный вклад в разъяснение ленинской теории монополистического капитализма, посвятив этому немало страниц в работе «Развитие капитализма и его гибель» (теоретическая часть книги «Азбука коммунизма» 1919 г.).

Реализованный Бухариным анализ империализма как структуры и тенденций мирового хозяйства предопределил и его оценку судьбы капитализма как экономического строя в связи с первой мировой войной. Экономический смысл последней представлялся как крайнее обострение конкуренции между «государственно-капиталистическими трестами», что привело к кризису хозяйства, которое невозможно восстановить на капиталистических началах. А поскольку комплекс разнообразных соотношений «государственно-капиталистических трестов» Бухарин по сути отождествлял с мировым капитализмом как системой, постольку этот кризис мирового хозяйства истолковывался им как катастрофа капитализма, как его крушение. В соответствии с этим он отмечал, что «капиталистический режим уже начал разлагаться»²⁴, что война «завела в такой тупик, из которого нет никакого выхода... капиталистический строй, сгнивая, начинает расплзаться»²⁵. Несколькими позже, в 1919 г., в статье «Теория пролетарской диктатуры», характеризуя начавшийся, по его мнению, период «деградации капитализма», Бухарин писал: «Теперь наступает опять *новая* историческая полоса. Кривая империалистического развития, все время шедшая вверх, начинает катастрофически падать вниз. Наступает эпоха *разложения капитализма*, за которой непосредственно следует *диктатура пролетариата...*»²⁶ Аналогичные суждения он высказывал и в книге «Экономика переходного периода», где утверждал, что война в условиях мирового хозяйства, означая нарушение равновесия последнего и разрыв его связей, привела к краху всей системы, к ее распаду. Вот как он характеризовал «расползающуюся мировую ткань капиталистического хозяйства»: «Во всем капиталистическом

мире, несмотря на попытки вдохнуть в него новую жизнь, разруха идет гигантскими шагами. Производительные силы падают. Производственные отношения разлагаются и разрываются», «весь процесс все более принимает стихийный характер распада»²⁷.

В этих представлениях нашли определенное отражение особенности первых послеоктябрьских лет, времени бурного развития революционных процессов в ряде стран. Но вместе с тем в этих суждениях сказалась и известная «левизна» теоретической и политической позиции Бухарина, характерная для того периода. Выразилось это в абсолютизации кризисного состояния капиталистической системы, в основе чего лежало отмечавшееся отождествление вызванного войной кризиса хозяйства с «крахом» капиталистической системы, смещение кризиса системы отношений мирового капитализма с «распадом» капитализма как экономического строя. Это важно отметить потому, что взгляды Бухарина по этим вопросам существенно не менялись вплоть до середины 20-х годов²⁸.

Наряду с исследованием капитализма Бухарин анализировал также ряд проблем экономики социализма. При этом он исходил из того, что социализм — это общество, где средства производства находятся в общественном владении, нет эксплуатации, уничтожены классы, производство ведется по общему плану в целях удовлетворения потребностей трудящихся масс²⁹. В 1918 г. в статье «Анархизм и научный коммунизм» он писал: «Основное условие экономического преодоления капитализма состоит в том, чтобы «экспроприация экспроприаторов» не вырождалась в *дележку*» хотя бы и уравнительную *дележку*. Всякая *дележка* плодит мелких собственников, а из мелкой собственности вытекает и крупнокапиталистическая собственность. Поэтому *раздел* имущества богатых неизбежно приводит снова к образованию того же класса этих «богатых». Задача рабочего класса — не мелкобуржуазно-люмпеновский передел, а *общественно-товарищеское*, планомерное и организованное использование экспроприруемых средств производства»³⁰. При этом он особо подчеркивал необходимость организации рабочего контроля над производством и распределением продуктов, без которого экспроприация, как отмечал Бухарин, «легко вырождается в простое „присвоение“ частными лицами того, что должно быть *общественной* собственностью»³¹. Высказывая эти взгляды, он разъяснял марксистские представления об экономике социализма, основой которого является общественная собственность на средства производства.

Специфика воззрений Бухарина на переход к социалистической экономике выразилась в суждениях о строительстве социализма.

Бухарин обосновывал верный вывод о том, что после завоевания власти пролетариатом «центр тяжести переносится в *строительство* социализма»³². Но в то же время подход к этому

строительству понимался им несколько односторонне, только через национализацию собственности класса капиталистов. Имея в виду национализацию банков и всей крупной промышленности, он писал, что «их экспроприация, то есть их захват рабочим классом, рабочей властью, есть конец капитализма и начало социализма»³³. Высказывая эти, в общем, правильные мысли, Бухарин в то же время не понял необходимости использования государственного капитализма в осоздании социалистической экономики и с этих позиций полемизировал с Лениным в статье «Некоторые основные понятия современной экономики»³⁴. На том этапе он не видел, что для повышения уровня обобществления хозяйства возможно использовать и капиталистические экономические формы под контролем государства рабочего класса. В этом сказалось некоторое преувеличение Бухариным значения национализации.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что Бухарин не был сторонником тотального огосударствления хозяйства. Так, разъясняя, что предпосылкой переустройства общества является экспроприация собственности капиталистов, он писал: «При коммунистическом строе все богатства принадлежат не отдельным лицам и не отдельным классам, а всему обществу. Все общество здесь — как громадная трудовая артель... Работают сообща, по выработанному и высчитанному трудовому плану»³⁵.

Рассматривая проблему социализма в сельском хозяйстве, Бухарин считал, что в последнем, так же как и в промышленности, задача состоит в том, чтобы крестьяне переходили к совместному труду, к общей обработке земли по возможности в самом крупном размере. Он отмечал, что «это можно и должно делать двумя путями: во-первых, *товарищеской обработкой прежних крупных помещичьих имений*; во-вторых, *организацией трудовых сельскохозяйственных коммун*»³⁶.

Рассматривая роль государственной власти как средства переустройства общества на социалистических началах, Бухарин признавал возможность активного воздействия политики на экономику в ходе строительства социализма. В книге «Экономика переходного периода» он писал о том, что насилие, принуждение (т. е. политическая власть) «находится в двояком соотношении с экономикой: во-первых, оно появляется как функция этой экономики; во-вторых, оно, в свою очередь, влияет на экономическую жизнь»³⁷. Он считал, что определяющую роль играет экономика, а политика активно воздействует на нее, как концентрированное выражение экономики. Так, он писал, что «государственное принуждение не есть „чистое насилие“ дюринговского типа, и постольку оно является фактором, идущим по главной линии общеэкономического развития»³⁸. Таким образом, для Бухарина проблема активной роли государства и его политики по отношению к экономике — это проблема выявления направления экономического развития, т. е. проблема выражения в политике (как «экономической силе») экономической необходимости. И соответственно, это задача выработки такой политики,

которая не противоречит требованиям экономических законов. Хозяйственная практика «военного коммунизма» порождала и упрощенные представления об экономических формах становящегося социализма. Дело схематично представлялось таким образом, что поскольку на место разрушаемых отношений товарно-капиталистического хозяйства приходят экономические отношения социализма, постольку последний мыслился как натуральное хозяйство. Бухарин писал об этом: «Вообще говоря, одна из основных тенденций переходного периода есть *разрыв товарно-фетишистских оболочек*. Вместе с растущей общественно-натуральной системой экономических отношений ложатся и соответствующие идеологические категории. А раз это так, перед теорией экономического процесса возникает необходимость перехода к натурально-хозяйственному мышлению, т. е. к рассмотрению и общества и его частей как системы элементов в их натуральной форме»³⁹.

С начала 20-х годов идейное развитие Бухарина происходило под всевозрастающим влиянием ленинской теории, в защиту и конкретизацию которой он внес немалый вклад. Именно в ходе разработки теоретических вопросов нэпа, развития ленинской концепции перехода к социализму Бухарин все более реалистично анализирует возникающую социалистическую экономику, последовательно отказывается от «левых» иллюзий и абстрактных схем, характерных для его воззрений первых послереволюционных лет. Иллюзии периода «военного коммунизма», как отмечал Бухарин, состояли в том, что «военный коммунизм мыслился нами не как „военный“, то есть пригодный только для определенной ступени в развитии гражданской войны, а как универсальная, всеобщая и, так сказать, „нормальная“ форма экономической политики победившего пролетариата»⁴⁰. В соответствии с этим переход к нэпу Бухарин оценивал двояко: «С точки зрения „сознания“ эпохи военного коммунизма новая экономическая политика была несомненным и очень крупным отступлением; с точки зрения реальной революционной линии она была предпосылкой, первым шагом, общим необходимым условием действительной *хозяйственной* политики пролетариата, то есть политики, ориентирующейся на *развитие* производительных сил страны»⁴¹.

Бухарин, основываясь на ленинских идеях, разрабатывал теоретические проблемы строительства социалистического хозяйства на путях нэпа в ряде работ: «Новый курс экономической политики» (1921), «Хозяйственный рост и проблема рабоче-крестьянского блока» (1924), «О новой экономической политике и наших задачах» (1925), «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» (1925), «Заметки экономиста» (1928) и др. В центре внимания Бухарина было ленинское положение о союзе рабочего класса с крестьянством. Он разъяснял, что этот союз не только принцип политики партии и пролетарского государства, но и объективная социально-экономическая основа, на которой только и возможно движение общества к социализму.

В этом контексте Бухарин, с одной стороны, показывал универсальное значение теории и практики нэпа как программы и пути перехода к социализму. С другой стороны, он по-новому оценивал «военный коммунизм» в качестве вынужденной специфическими обстоятельствами развития послеоктябрьской России временной политики, в качестве «печальной» необходимости, отнюдь не обязательной для других стран⁴².

Соответственно этому, опираясь на идеи Маркса, Энгельса и Ленина, Бухарин доказывал, что наиболее действенным способом перехода крестьянства к социализму служит кооперация, считал необходимым развешивать все многообразие ее форм: от сбытовой и кредитной до колхозной. При этом особо подчеркивалось значение экономических методов в хозяйственной политике, делался акцент на необходимости использования рынка, торговли, кредита. Они трактовались как важные рычаги, посредством которых осуществляется регулирующая экономическая роль пролетарского государства, сосредоточивающего в своих руках «командные высоты» экономики.

Анализируя проблемы преобразования многоукладной экономики на социалистических началах, Бухарин приходит к выводу о том, что развитие пойдет по пути *«органического — через переходные экономические формы — вступления в социализм»*⁴³. Важнейшей задачей он считал организацию такого сочетания хозяйственных форм и соответствующих им хозяйственных стимулов, которое позволит обеспечить продвижение к социализму. В связи с этим Бухарин анализировал проблему плана и рынка.

Выясняя динамику соотношения плановой и рыночной форм хозяйства, он исходит из того, что в течение переходного периода по мере развития производительных сил будет увеличиваться удельный вес и значение все более организованного и все более централизованного государственного хозяйства. По его мнению, чем больше будет развиваться плановое начало, тем меньше будет роль специфически рыночных отношений. Но Бухарин при этом подчеркивал, что весь этот процесс будет совершаться посредством развешивания рыночной формы, которая сама себя преодолевает, а не путем «поедания» рыночного хозяйства государственно-социалистическим сектором экономики. Это было очень важной поправкой к прежним воззрениям Бухарина на социализм как на результат превращения товарного хозяйства в натуральное.

Однако эти коррективы не привели к изменению позиции относительно судьбы рынка при социализме. Так, в работе «Борьба двух миров и задачи науки» (1931) он писал, что в хозяйственной области капитализму, который «воплощает стихийную неорганизованность рынка», противостоит «складывающаяся структура социализма с ее плановым принципом, с превращением стихийной закономерности в закономерность сознательную, с ростом действительной рационализации всего общественного механизма, со все большим сужением стихийно-рыночных

отношений»⁴⁴. Поправка, таким образом, состояла лишь в том, что говорилось уже не о вытеснении и отмирании рынка, а о его сужении.

Об итоге эволюции представлений Бухарина по этому вопросу можно судить по тем его высказываниям, которые содержатся в статье «Экономика Советской страны» (1934).

Он отмечал, что «самым характерным в экономике нашей страны в настоящее время нужно считать процесс ликвидации *многообразных экономических укладов*»⁴⁵, значение этого процесса он видел в полной победе социалистического плана над товарно-анархической стихией, в возрастании организованности всего хозяйства. Вместе с тем он подчеркивал, что отмеченный «процесс не мог уничтожить рынка и денег как категории рынка... Но он изменил в корне *значение* рынка, ибо превратил его в огромной степени в соотношение организованных государственных, полугосударственных и кооперативных единиц, за которыми стоит единая организующая централизованная воля»⁴⁶.

Таким образом, от развитого им в 20-е годы понимания плановой социалистической экономики как итога развертывания рыночного хозяйства, которое органически перерастает в социалистическое хозяйство, поскольку все больше сказываются экономические преимущества плана, Бухарин, как мы видели, перешел к иным представлениям. С начала 30-х годов он все больший акцент делает на том, что на смену «неорганизованной» рыночной экономике приходит социалистическая, «организованная» единой централизованной волей, т. е. политической властью. В этих представлениях, на наш взгляд, сказался частичный возврат Бухарина к своим «левым» взглядам периода «военного коммунизма».

В ряде работ 20-х годов Бухарин доказывал, что сбалансированное развитие отраслей экономики является закономерностью строительства социализма, делал особый акцент на необходимости поддержания пропорций между ростом крупной промышленности и сельского хозяйства. В полемике с Л.Д. Троцким и Е. А. Преображенским⁴⁷, чьи теоретические построения резюмировались в попытках обосновать идеи «диктатуры промышленности» над сельским хозяйством, эксплуатации последнего как источника накопления для обеспечения максималистских темпов индустриализации, Бухарин разъяснял, что «сверхиндустриализация», авантюристически высокие темпы роста промышленности приведут к нарушению баланса («равновесия») отраслей хозяйства, к кризису и застою в экономике. Он считал, что, для того чтобы добиться бескризисного хода общественного воспроизводства и систематического роста социализма, необходимо добиваться таких сочетаний основных элементов народного хозяйства, которые обеспечат сбалансированность экономики. Анализируя экономические проблемы общества, строящего социализм, Бухарин утверждал, что для этого общества «можно построить, по аналогии со вторым томом „Капитала“, „схемы воспроиз-

водства», т. е. наметить условия правильного сочетания различных сфер производства и потребления и различных сфер производства между собою, или, другими словами, условия *подвижного экономического равновесия*. По сути дела, в этом и состоит задача выработки *народнохозяйственного плана*, который все больше приближается к балансу всего народного хозяйства, плана, сознательно намечаемого, являющегося и предвидением (прогнозом) и директивой одновременно»⁴⁸.

Обосновывая значение сбалансированности хозяйственного роста как условия и закономерности развития экономики социализма, Бухарин реалистически и в основном верно решал и проблему темпов экономического движения. Он доказывал, что необходимо стремиться к достижению таких высоких темпов, которые возможны, т. е. обеспечены ресурсами и не приводили бы к диспропорциям. Он последовательно обосновывал необходимость длительных и стабильно высоких темпов экономического роста в тех рамках, которые позволяют достичь соблюдение сбалансированности различных сфер и отраслей народного хозяйства. Именно с этих позиций он критиковал авантюристический курс на «ускорительство» в развитии экономики, ориентированный на достижение максимальных темпов безотносительно к объективным возможностям⁴⁹.

Основываясь на этих идеях, Бухарин пытался отстоять ленинскую концепцию перехода к социализму на путях нэпа в спорах со Сталиным и его сторонниками, раскрывая авантюристичность политики насильственной коллективизации. И тем большим противоречием и диссонансом прежним взглядам являются суждения Бухарина, высказанные им в статье «Великая реконструкция»⁵⁰. Там он характеризовал форсированную насильственную коллективизацию (что на деле было антикрестьянской авантюрой, приведшей к глубочайшему кризису и разрушению сельского хозяйства) как «антикулацкую революцию», которая является *«непосредственной составной частью социалистического строительства, перешедшего в свою более высокую фазу»*⁵¹, в связи с чем *«вся экономика страны делает огромный шаг к полному осуществлению социализма»*⁵².

Противореча своим прежним идеям, высказанным в ходе теоретической разработки проблем нэпа, Бухарин связывал необходимость «скачкообразного», «революционного» преобразования крестьянского хозяйства посредством его насильственной коллективизации с тем, что нэп якобы исчерпал себя и дальнейшее развитие к социализму на путях этой политики якобы невозможно. Между тем реализация той программы выхода из кризиса, которую отстаивал Бухарин в 1928—1929 гг., была действительной альтернативой сталинским методам бюрократического командования жизнью людей.

В своей теоретической деятельности в период с середины 20-х годов Бухарин продолжил исследование экономики капитализма, творчески подходя к анализу новых реальностей в ее

развитии. Развитие его взглядов по этим вопросам опиралось в известной мере на разработку теоретических проблем воспроизводства общественного капитала. Так, в книге «Империализм и накопление капитала» (1925), основываясь на положениях марксовской теории воспроизводства, Бухарин критически проанализировал взгляды Р. Люксембург, которые в то время использовались для обоснования «левых» оценок перспектив капитализма. В связи с этим необходимо отметить, что хотя в этой книге Бухарин еще не делал вывода о стабилизации капитализма, он подверг аргументированной критике теорию «крушения капитализма» Р. Люксембург. Соответственно он менее схематично высказывался о кризисе капитализма после первой мировой войны. Он делал акцент на том, что объективная граница существования капитализма «есть определенная степень напряженности капиталистических противоречий»⁵³. Таким образом, Бухарин вносил важные поправки в свои прежние представления о «крахе» капитализма, отходил от отождествления его с кризисом мирового хозяйства.

Бухаринский анализ экономических процессов и явлений, характеризовавших стабилизацию капитализма, отличался конкретностью. Он считал, что ответить на вопрос о своеобразии новой полосы капиталистического развития можно, лишь идя от изучения фактов конкретной действительности, а не от «общей теоремы»⁵⁴. Исследуя основные тенденции развития капитализма второй половины 20-х годов, он обращал внимание на рост мирового производства, который выражает подъем производительных сил: использование новой техники, новых форм организации труда, изменение структуры отраслей производства. Подводя итог, он делал вывод о том, что это «факты качественных изменений»⁵⁵. Вместе с тем Бухарин также рассматривал рост международных монополий, восстановление и развитие мирового рынка и в особенности рост государственно-капиталистических тенденций, которые теперь (в отличие от военно-государственного капитализма) развивались как «нормальная» капиталистическая система⁵⁶. В то же время Бухарин учитывал и действие факторов, определявших, по его мнению, неустойчивость стабилизации капитализма. К ним он относил возросшую амплитуду циклических колебаний экономики, увеличивающуюся неравномерность экономического развития в различных странах и вызываемые этим изменения в соотношении сил между капиталистическими странами, недогрузку производственных мощностей и хроническую безработицу⁵⁷. Обобщая эти факты, Бухарин делал вывод о неустойчивости капиталистической стабилизации, которая, по его мнению, носила относительный и частичный характер⁵⁸. Несколько позже он уточнил свою позицию.

В 1928 г. Бухарин делал вывод о том, что наступил «период капиталистической реконструкции, выражающейся в качественном и количественном выходе за довоенные рамки. Рост производительных сил капитализма связан, с одной стороны, с довольно

крупным техническим прогрессом, с другой стороны, с широкой реорганизацией капиталистических хозяйственных связей»⁵⁹. Соответственно он выдвигал положение о том, что стабилизация капитализма носит теперь иной характер. В связи с этим смысл выделения «периода капиталистической реконструкции» он видел «в том, что мы этим подчеркиваем, что стабилизация капитализма не может исчезнуть в мировом хозяйстве с сегодня на завтра»⁶⁰. Таким образом, Бухарин все более реалистично оценивал стабилизацию капитализма как длительную перспективу, отмежевываясь от прежних представлений о ней как о некоей экономической однодневке, которую не следует принимать всерьез. Надо отметить, что вместе с тем он считал, что *«общий кризис капитализма продолжается, более того — развивается, хотя форма кризиса теперь иная»*⁶¹. А именно теперь она связана не с непосредственным развалом капитализма в отдельных странах, а с развитием противоречий стабилизации, с коренными структурными изменениями во всем мировом хозяйстве.

Эти выводы Бухарина, опиравшегося на творческий анализ меняющихся реальностей капитализма, отличались реализмом и в дальнейшем развитии в основном подтвердились. Однако они вызвали резкие возражения со стороны Сталина, и Бухарин был подвергнут проработочной критике за, цитируя политикацкую риторику тех лет, «правоуклонистскую теорию организованного капитализма», он обвинялся в капитуляции перед идеологией социал-демократии. Эта проработочная критика не имела ничего общего с действительно научной полемикой, которая позволила бы более глубоко проанализировать специфику капитализма того времени. В результате же «разрома» бухаринских взглядов получили распространение «левые» оценки перспектив капитализма в теории, что привело к левосектантским ошибкам в выработке политики коммунистического движения.

По-видимому, под воздействием этой «критики» Бухарин в дальнейшем эти идеи не развивал и в работе «Техника и экономика современного капитализма» (1932) третьим периодом общего кризиса капитализма считал разразившийся на рубеже 20—30-х годов мировой экономический кризис. В той же работе в соответствии с официальными установками содержались схематичные оценки капитализма, который якобы исчерпал возможности развития, соответственно дело представлялось так, что производительные силы уже не могут быть использованы капиталом⁶². В дальнейшем в ряде работ Бухарина 30-х годов представления о тенденциях капиталистического развития приобретали все более абстрактный характер, что предопределяло и нарастание схематизма в трактовке общего кризиса капитализма. Последний понимался все более механистично и однолинейно, как раскол мира на реакционный гниющий капитализм и развивающийся социализм. Вследствие этого динамика мирового развития представляла как неизбежно обостряющаяся конфронтация двух социально-экономических систем, как углуб-

ляющаяся борьба двух миров, по сути исключая возможность мирного сосуществования⁶³.

Проделанный анализ развития взглядов Бухарина-экономиста показывает, что в его идейной эволюции выделяются три периода: с начала теоретической деятельности до начала—середины 20-х годов; с середины по конец 20-х годов; с начала 30-х годов.

В первый период происходит становление взглядов, Бухарин пропагандирует марксистское экономическое учение и пытается развивать экономическую теорию марксизма. В этот период он создал ценные исследования, в которых разработал ряд сложнейших экономических проблем. В то же время его взгляды по некоторым вопросам в этот период носили ошибочный характер, что отчасти объясняется определенной «левизной» его позиций и влиянием механистической методологии.

Второй период эволюции Бухарина-экономиста может быть охарактеризован как процесс постепенного освобождения от прежних ошибок, нарастания реализма анализа, как процесс приближения к ленинской теории и методологии. Водоразделом здесь явилась разработка проблем нэпа и вопросов стабилизации капитализма, что потребовало критики (и отчасти самокритики) отживших «левых» представлений, основывавшихся на недialeктической методологии.

Начавшийся с 30-х годов третий период предстает как частичный возврат по ряду моментов к ошибочным взглядам первого периода, являясь, так сказать, попятным движением мысли. Отмеченный характер воззрений Бухарина не был, на наш взгляд, закономерным результатом развития его идей и объясняется главным образом тем влиянием, которое оказали политические факторы на научную мысль. Это было результатом нарастающего воздействия авторитаризма на духовную жизнь общества того времени. Последняя все в большей мере становилась идеологическим выражением сформировавшегося командно-репрессивного режима власти Сталина и его группы. Соответственно происходили «политиканизация»⁶⁴ и идеологизация научной деятельности, обусловившие деградацию и эрозию марксистско-ленинской теории.

Вместе с тем, по нашему мнению, было бы неверно не видеть, что в круге идей Бухарина были элементы, облегчавшие тот поворот, который произошел в его взглядах в начале 30-х годов. В этом проявился характерный для идейной эволюции Бухарина парадокс: творческая разработка ряда теоретических проблем осуществлялась им в противоречивом сочетании со своеобразным вариантом материалистически истолкованного метода «всеобщей организационной науки» А. А. Богданова, метода, который ошибочно отождествлялся с диалектико-материалистическим. Хотя идейная эволюция Бухарина совершалась в русле все большего приближения к материалистической диалектике, надо признать, что этот процесс остался незавершенным.

- ¹ Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 49. С. 194.
- ² См.: Там же. Т. 36. С. 305; Т. 43. С. 215.
- ³ Просвещение. 1913. № 7/8; 1914. № 3; Die Neue Zeit. XXXII. 1913/1914. Bd. 1, N 22, 23.
- ⁴ Бухарин Н. Политическая экономия рантье. М., 1919. С. 4.
- ⁵ Там же.
- ⁶ Бухарин Н. Мировое хозяйство и империализм: Экономический очерк. Пг., 1918. При жизни автора неоднократно переиздавалась, последнее издание — 1927 г.
- ⁷ Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 94.
- ⁸ Коммунист. 1915. № 1/2. С. 6.
- ⁹ Там же. С. 19.
- ¹⁰ См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 339.
- ¹¹ Коммунист. 1915. № 1/2. С. 23.
- ¹² Там же. С. 38.
- ¹³ Новый мир. 1916. 23 янв. С. 4.
- ¹⁴ Коммунист. 1915. № 1/2. С. 12.
- ¹⁵ Там же. С. 18.
- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ Там же. С. 34.
- ¹⁸ Там же. С. 26.
- ¹⁹ Там же. С. 22. См.: также: Бухарин Н. Новое рабство // Новый мир. 1916. 11 нояб. С. 4; *Idem.* Der Imperialistische Raubstaat // Jugend-Internationale. 1916. 1. Dec. S. 7—9; *Idem.* Der Imperialistische Staat // Arbeiterpolitik. 1916. 9. Dec. S. 193—195.
- ²⁰ Коммунист. 1915. № 1/2. С. 41.
- ²¹ Там же. С. 39.
- ²² Spartak. 1917. № 4. С. 4; См. также: Бухарин Н. Государственный капитализм и социалистическая революция // Там же. № 2. С. 6—11; *Он же.* Крушение капитализма // Там же. № 10. С. 5—9.
- ²³ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 151—156, 174—178.
- ²⁴ Бухарин Н. Крушение капитализма. С. 8.
- ²⁵ Бухарин Н. Программа коммунистов (большевиков). М., 1918. С. 7.
- ²⁶ Бухарин Н. Атака. М., 1925. С. 90.
- ²⁷ Бухарин Н. Экономика переходного периода. М., 1920. Ч. 1: Общая теория трансформационного процесса. С. 153.
- ²⁸ Бухарин Н. Второй Интернационал под флагом «левого коммунизма» // Большевик. 1924. № 5/6. С. 16—25; *Он же.* Противоречия современного капитализма // Там же. № 10. С. 7—11.
- ²⁹ Бухарин Н. Что такое социализм? // Новый мир. 1916. 28 дек. С. 2; *Он же.* Государственный капитализм и социалистическая революция. С. 9—10.
- ³⁰ Коммунист. 1918. № 2. С. 13.
- ³¹ Там же.
- ³² Там же. С. 14.
- ³³ Бухарин Н. Программа коммунистов (большевиков). С. 29.
- ³⁴ Коммунист. 1918. № 3. С. 8—11.
- ³⁵ Бухарин Н. Программа коммунистов (большевиков). С. 9.
- ³⁶ Там же. С. 31.
- ³⁷ Бухарин Н. Экономика переходного периода. Ч. 1. С. 137.
- ³⁸ Там же. С. 84.
- ³⁹ Там же. С. 136.
- ⁴⁰ Бухарин Н. О ликвидаторстве наших дней // Большевик. 1924. № 2. С. 4.
- ⁴¹ Там же. С. 4—5.
- ⁴² Бухарин Н. И. Программный вопрос на VI конгрессе Коминтерна. М.; Л., 1928. С. 34—39, 88—94.
- ⁴³ Бухарин Н. Международная буржуазия и Карл Каутский ее апостол. М., 1925. С. 79—80.
- ⁴⁴ Бухарин Н. Этюды. М.; Л., 1932. С. 13—14.
- ⁴⁵ Бухарин Н. Экономика Советской страны // Известия. 1934. 12 мая.
- ⁴⁶ Там же.
- ⁴⁷ Бухарин Н. К вопросу о троцкизме. М.; Л., 1925; *Он же.* Новое открытие о советской экономике, или Как можно погубить рабоче-крестьянский блок. М., 1925; *Он же.* К вопросу о закономерностях переходного периода. М.; Л., 1928.
- ⁴⁸ Бухарин Н. Заметки экономиста. М.; Л., 1928. С. 14.
- ⁴⁹ Бухарин Н. И. Избр. произведения. М., 1988. С. 178—180, 399, 410—411.

- ⁵⁰ Бухарин Н. Великая реконструкция: (О текущем периоде пролетарской революции в нашей стране) // Правда. 1930. 19 февр.
- ⁵¹ Там же.
- ⁵² Там же.
- ⁵³ Бухарин Н. Империализм и накопление капитала. М., 1925. С. 129.
- ⁵⁴ Бухарин Н. Капиталистическая стабилизация и пролетарская революция. М.; Л., 1927. С. 6.
- ⁵⁵ Там же. С. 13.
- ⁵⁶ Бухарин Н. И. Международное положение и задачи Коминтерна. М.; Л., 1928. С. 5—6, 11—12; *Он же.* Некоторые проблемы современного капитализма у теоретиков буржуазии // Правда. 1929. 26 мая; *Он же.* Теория «организованной бесхозяйственности» // Там же. 30 июня.
- ⁵⁷ Бухарин Н. Капиталистическая стабилизация и пролетарская революция. М.; Л., 1927. С. 17—24.
- ⁵⁸ Там же. С. 26—27.
- ⁵⁹ Бухарин Н. И. Международное положение и задачи Коминтерна. С. 6.
- ⁶⁰ Там же. С. 114.
- ⁶¹ Там же. С. 19.
- ⁶² Бухарин Н. Техника и экономика современного капитализма. 2-е изд. Л., 1932. С. 33—34.
- ⁶³ Бухарин Н. Борьба двух миров и задачи науки // Бухарин Н. Этюды. С. 9—18; *Он же.* Империализм и коммунизм (1936) // Междунар. жизнь. 1988. № 4. С. 133—134.
- ⁶⁴ Этим термином мы предлагаем обозначить то положение, при котором фактором, определяющим научную деятельность, является политиканство, где все действия подчинены одной цели — сохранению власти, должности, руководящего положения каким-либо лицом или группой лиц.

Н. И. БУХАРИН НА 2-М МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

М. А. Абрамов

Как бы мы ни относились к сложной и противоречивой личности Н. И. Бухарина, разделившего все взлеты и заблуждения эпохи, переболевшего «детской болезнью „левизны“» и ошеломленного за «правый уклон», как бы ни оценивали чрезвычайно разностороннюю научную и публицистическую деятельность академика Н. И. Бухарина—экономиста, философа, социолога, правоведа, мы не можем не признать яркой талантливости этого человека, его неординарности, не можем не сожалеть, что его жизнь была трагически оборвана в пору плодотворной зрелости, оставив невостребованными многие замыслы и начинания.

Ныне наследие Н. И. Бухарина возвращается нашей истории, науке, культуре. И оказалось, что со многими идеями Бухарина мы настолько сжились, что и не подозревали об его авторстве. Нам еще не раз предстоит убедиться, что влияние взглядов Бухарина, его работ не иссякло, вплетено в живую ткань развития марксистской науки и культуры. Тому мы находим самые неожиданные подтверждения.

В данной статье хотелось бы остановиться на небольшом

эпизоде интеллектуальной биографии Н. И. Бухарина, связанном с его участием в качестве главы делегации советских ученых в работе 2-го Международного конгресса по истории науки и технологии, состоявшегося летом 1931 г. в Лондоне.

Это событие замечательно тем, что выявило международные масштабы влияния молодой советской научной мысли¹.

Советская делегация прибыла в Лондон в последний момент перед открытием конгресса необычным для того времени транспортом — аэропланом. Ее состав был весьма представительным. Возглавлял делегацию академик Н. И. Бухарин, членами делегации являлись физики А. Ф. Иоффе, В. Ф. Миткевич, экономист М. О. Рубинштейн, биолог Б. М. Завадовский, генетик Н. И. Вавилов, историки науки Б. М. Гессен и Э. Кольман.

Уже сам факт присутствия столь внушительной делегации советских ученых вызвал огромный интерес. Этот интерес подогревался и тем, что делегацию возглавлял видный лидер партии и государства, теоретик-большевик, члены же делегации в большинстве своем стояли на марксистских позициях и, несомненно, собирались их отстаивать и пропагандировать, что являлось одним из условий участия представителей советской науки в работе конгресса.

Распространение, восприятие и освоение марксизма в Великобритании — особая тема. По целому ряду причин рабочее движение на Британских островах количественно и качественно, практически и теоретически в овладении марксизмом несколько отставало от континентального. Не были переведены многие важнейшие работы идеологов пролетариата. К 30-м годам в Англии были изданы лишь переводы «Капитала» и «Нищеты философии» К. Маркса, не было полного перевода такого важнейшего произведения Ф. Энгельса, как «Анти-Дюринг».

Что касается ленинских работ, то после 1919 г., когда была переведена нелегально привезенная в Англию книга «Государство и революция», только в 1927—1928 гг. появились такие его работы, как «Материализм и эмпириокритицизм» и «Империализм, как высшая стадия капитализма».

Уроки всеобщей забастовки 1926 г., великая депрессия и на ее фоне динамичное развитие СССР — все это создавало объективные предпосылки для расширения интереса к марксистской теории. Его признаки стали обнаруживаться даже в цитаделях английского высшего образования — в Кембридже и Оксфорде.

Визит советской делегации оказался очень своевременным. В центре внимания, несомненно, был глава делегации 43-летний Н. И. Бухарин. Zenit его политической карьеры был уже позади, но слава как одного из лидеров большевистской революции, видного теоретика партии сохранялась. Он вызывал к себе какую-то особую симпатию, что не объяснишь только его высокими политическими постами, которых к началу 30-х годов он лишился полностью.

Выдающийся биолог и историк науки Д. Нидам в специально

написанном предисловии к переизданным в 1971 г. докладам советских ученых на конгрессе высоко оценивал их научный уровень: «Вводный доклад Н. Бухарина был по-своему классическим выражением марксистской позиции. Запоминающееся эссе о происхождении сельского хозяйства Старого Света великого Вавилова сохраняет весь свой интерес. Также влиятельным и для теоретической биологии в тридцатые годы был доклад Б. Завадовского...»²

Сенсацию на конгрессе произвел доклад Б. М. Гессена «Социально-экономические корни ньютоновских „Принципов математики“». Нидам назвал этот доклад «эпохальным», «воистину настоящим манифестом марксистской формы экстернализма в истории науки»³. Напомним, что в отличие от интернализма, основывающего свою интерпретацию истории науки на внутренней логике ее развития посредством таинственного появления в те или иные эпохи «гигантов мысли», экстернализм исходит из признания решающего влияния социальной структуры и социальных изменений на научный прогресс. Все присутствовавшие на том памятном заседании, когда делал доклад Гессен, свидетельствуют об ошеломляющем впечатлении, которое произвело его выступление. Аудитория буквально оцепенела. Молодой ученый Д. Густ, впоследствии погибший в Испании, взволнованно спрашивал своих старших коллег: должны ли мы что-то отвечать? И получил такой же взволнованный ответ Г. Леви: да, если Вам есть что сказать.

Гессен разрушил миф о Ньютоне-олимпийце, стоящем на плечах гигантов превыше всех земных забот. Он показал, что «Ньютон прожил жизнь не в вакууме, как считалось, что он чувствовал практические потребности капиталистического общества его времени»⁴, что важнейшие труды великого корифея наук отвечали насущным проблемам, поставленным социальной и производственной практикой.

В целом доклад Гессена был яркой экспозицией марксистского подхода к пониманию истории науки, хотя с нашей сегодняшней точки зрения нельзя не увидеть в иных его положениях некоторую вульгаризацию социологического подхода⁵.

Хотя выступление молодого советского ученого произвело наибольшее впечатление на академическую аудиторию, все же по глубине воздействия и отдаленным результатам главный доклад делегации — доклад Н. И. Бухарина — сопоставим с блистательным соло Гессена.

Доклад «Теория и практика с точки зрения диалектического материализма» имел стратегический, фундаментальный характер и нес главную идейную нагрузку. По сравнению с ним вопросы, обсуждаемые Гессеном, Завадовским, Вавиловым, так же как и доклад Рубинштейна о соотношении науки, технологии и экономики при капитализме и социализме, были частными проблемами и во многом конкретизировали общую диалектическую теорию познания и материалистическое понимание истории.

Философско-гносеологическую тематику Бухарин разрабатывал и до 1931 г., возвращался он к ней и впоследствии⁶.

Готовя свое выступление на конгрессе, Бухарин рассчитывал максимально использовать его трибуну для популяризации марксистской философской теории, материалистического понимания истории, в том числе истории науки, для пропаганды достижений в организации науки и соединении ее с практикой в Советском Союзе.

Рассмотрение широчайшей темы «Теория и практика с точки зрения диалектического материализма» подразделяется Бухариным на три больших раздела: теоретико-познавательная важность проблемы; теория и практика с социологической точки зрения, исторические формы общества и связь теории с практикой; теория и практика в СССР и эмпирическая проверка исторического материализма. Эта проблематика освещается в докладе с точки зрения гносеологии, социологии, истории и современной концепции культуры. Докладчик также намерен был сверить общие теоретические представления с «гигантским опытом революции и дать некоторые прогнозы».

В плане истории и философии науки весь доклад является развернутой атакой на интернализм, изолирующий эволюцию научных знаний от социального контекста и превращающий содружество ученых в замкнутую корпорацию отшельников.

Бухарин начинает с критики философских посылок интернализма. Поставив вопрос о независимости мира от восприятия, он анализирует и показывает несостоятельность основного тезиса всех школ философии, от теологизирующей метафизики до авенариусовско-махистских философов «чистого описания» и подновленного прагматизма, исходящих из формулы: «Мне даны только мои ощущения». Раскрывая эпистемологическую важность проблемы, докладчик выявляет абстрактность этой формулы, каждый элемент которой имеет конкретно-историческое содержание. Так, социальный опыт, стоящий за «я», превращает его в «мы»; в ощущениях присутствуют накопленное знание и определенные установки, социально-культурные традиции восприятия, которые меняются от эпохи к эпохе. Наконец, термин «даны» не есть выражение чисто теоретического отношения к миру и вовсе не тождествен термину из учебника геометрии.

Поясняя свою мысль, Бухарин обращается к опубликованным тогда замечаниям К. Маркса на книгу А. Вагнера «Учебник политической экономии». Он приводил принципиально важное высказывание основоположника научного коммунизма, который, критикуя доктринерское понимание отношения человека к природе как сугубо теоретическое, писал: «Но люди никоим образом не начинают с того, что «стоят в этом теоретическом отношении к предметам внешнего мира». Как и всякое животное, они начинают с того, чтобы *есть, пить* и т.д., т.е. не «стоять» в каком-нибудь отношении, а *активно действовать*, овладевать при помощи действия известными предметами внешнего мира и таким

образом удовлетворять свои потребности. (Начинают они, таким образом, с производства.)»⁷.

Подход к человеку как к деятельному существу, активному субъекту истории позволяет Бухарину отвергнуть гносеологические посылки субъективного идеализма, ведущие к солипсизму. Бухарин также указывает на антиисторизм разбираемой формулы, ее плоскоквиектистский характер. При этом подчеркивается, что диалектический материализм принимает исходную сенсуалистическую посылку. Наши ощущения — субъективный образ объективного мира — образуют точку отсчета и начало познания. «Именно с этого начинается философское восстание Фейербаха против гнета идеалистических абстракций и панлогизма Гегеля»⁸.

Таковы философские основы критики интернализма с марксистских позиций.

Итак, теоретические дисциплины, по мнению Бухарина, складываются и развиваются на базе практических потребностей. Этот процесс может быть проиллюстрирован историческим опытом, показывающим, как «производство идей» выделяется из «производства вещей».

Социологический анализ связи теории с практикой исходит из фундаментального положения Маркса: общественное бытие определяет общественное сознание, практика материального труда есть постоянная движущая сила всего социального развития. Эпистемологическое влияние практики на внешний мир есть первично данное качество. Здесь уместно вспомнить одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе, где проблема внешнего мира, поставленная в предыдущих тезисах, рассматривается как проблема его преобразования.

Практически и гносеологически внешний мир «дан» как объект активного воздействия общественно-исторического развивающегося человека. Между прочим, указывая, что человек активно преобразует мир, Бухарин вводит понятие биосферы и ссылается на В. Вернадского.

Переходя от анализа отношения теории и практики с социологической точки зрения к рассмотрению исторических форм общества, в которых осуществлялась их связь, докладчик фиксирует переход на новый уровень рассматривания, давая при этом определение исторического материализма как теории, полученной вследствие приложения диалектического материализма как метода познания к социальному развитию. Материалистическое понимание истории — ключ к истории науки.

Перефразируя известное высказывание Клаузевица, Бухарин говорит о науке как продолжении практики иными средствами. Это практика материального труда, продолженная в особых формах.

Если генезис научного знания не представляет большой теоретической трудности для исторического материализма, то зрелый период развития науки обнаруживает неизмеримо более запу-

танные проблемы. Исключительно сложным вопросом называет Бухарин взаимоотношение между теоретическими (чистыми) науками, с одной стороны, и прикладными дисциплинами — с другой. Здесь он подходит к анализу и критике интерналистских иллюзий вплотную.

Неокантианское разделение естественных и социальных (общественных) наук кажется Бухарину надуманным. В этом, по его мнению, получила отражение и выразилась проблема взаимоотношения теории и практики, а не только чисто логическое различие между истиной и ценностью.

Теоретические и прикладные науки «разошлись» вследствие общего отчуждения теории от практики после разделения умственного и физического труда и поляризации классов. Конечно, это слишком общий ответ. Специфицируя его, Бухарин рассматривает и подвергает критике имеющие хождение в буржуазном науковедении критерии различий «чистых» и прикладных наук. Таковых он называет четыре. Первый критерий усматривает их различие в отличии причинных теоретических законов и телеологических нормативных правил. При втором подходе за основу дифференциации берется различие объектов: теоретические науки изучают природное окружение человека, прикладные науки — искусственную среду (машины, транспорт, техника, аппаратура, сырые материалы и т.д.). Третий критерий опирается на временные различия — чистые науки «работают» с очень большими или даже вечными периодами, прикладные обслуживают сиюминутные нужды. Наконец, четвертый критерий исходит из степени абстрактности той или иной науки.

Бухарин отвергает все эти подходы. Относительно первого критерия он замечает, что названное различие скорее относится не к «чистым» и прикладным наукам, а к наукам вообще и искусству. Второй критерий также ложен, поскольку машины, постройки и т. п. также могут быть объектами «чистого» исследования. О третьем критерии Бухарин указывает, что живая практическая задача может также быть «сквозной», долговременной, как, например, проблема воздухоплавания, существующая на протяжении целого ряда веков. Последний, четвертый критерий также подвергается критике, поскольку самая конкретная наука может быть изучена как теоретический объект, ибо знание раздробляется на бесчисленные отрасли и становится крайне специализированным. Вообще следует учитывать относительность понятий «конкретное» и «абстрактное». Этот тезис иллюстрируется Бухариным яфетической теорией языка: вряд ли кому придет в голову поместить ее в разряд прикладных наук, хотя она и связана с важнейшими практическими задачами.

Дальнейший исторический анализ показывает, как могла сложиться иллюзия интерналистской интерпретации развития науки. Среди имманентных предпосылок такого подхода Бухарин называет растущую специализацию науки, создание высокотехнологических генерализаций, полностью недоступных сознанию

трудящихся масс. Видимо, сам докладчик разделяет некоторые просветительские иллюзии, считая, что специальные знания могут и должны стать всеобщим достоянием.

Неизбежным следствием исторического обособления науки является абстрактный и имперсональный фетишизм, провозглашение разыскания «чистой» бескорыстной истины высшей целью науки и отсюда утрата социального самосознания науки, чувства ответственности перед обществом. В капиталистическом обществе, убежденно заявляет глава советской делегации, решение задачи обращения науки к практике невозможно.

Этому непоправимому разрыву противопоставляется в качестве альтернативы развитие социалистических преобразований в СССР, что и является эмпирическим подтверждением концепции исторического материализма. «Марксизм,— констатируется в докладе,— подтвержден самой историей в самых различных отношениях. Марксизм предсказал войну, марксизм предсказал эпоху революций и весь характер эпохи, в которой мы живем, марксизм предсказал диктатуру пролетариата и возникновение социалистического строя. А еще раньше блестяще подтвердилась теория концентрации и централизации капитала и т. д.»⁹

Революция является великой разрушительницей фетишей. Она полностью разрушает буржуазные иллюзии о государстве как универсальной организации воли народа, особом организме, воплощении «абсолютного духа» и т. д.

Больно читать, как бывший «левый», а в будущем «правый уклонист» считает достижением то, что разбит вдребезги юридический фетишизм. Нравственность, считает Бухарин, которая нашла теоретическое обоснование в категорическом императиве Канта и достигла высших стадий обожествления, раскрыла себя как система исторических норм вполне земного, вполне социального, вполне исторического происхождения¹⁰.

Что ж, констатация Бухарина вполне точна. Но, критикуя априористское обоснование нравственных норм, не найдя в них статуса физических законов, надо ли превозносить этический релятивизм как нечто опровергающее и обесценивающее общечеловеческие законы нравственности? Бухарин совершенно не видел трагических последствий релятивизма, что может быть объяснено слабой теоретической разработанностью проблемы, послереволюционным правовым нигилизмом и культурно-исторической незрелостью общества, которому еще предстояло и на Западе и на Востоке продемонстрировать чудовищно-трагическое прикладное значение этой доктрины.

Сравнивая положение науки в капиталистическом обществе и при социализме, Бухарин возвышается до патетики. Он рисует идеальную картину тесного сотрудничества науки и труда, экономики и идеологии, торжество в СССР научного обеспечения экономической практики, принципа планирования, не освещающая негативных явлений этого процесса, их опасность для дальнейшего развития, что проявилось позднее. По Бухарину, производ-

ство оказывает стимулирующее влияние на развитие науки, развитие сельского хозяйства подталкивает развитие генетики, биологии.

Особое внимание в этой связи уделяется принципу планирования¹¹. План не падает с неба, он выражает познанную необходимость. Следовательно, здесь задачи познания расширяются в колоссальной степени, что должно выразиться в активизации всех отраслей науки и получить синтетическое воплощение в плане, ибо план — это синтез.

Великая практика требует великой теории. Строительство науки в СССР продолжается как сознательное строительство научной суперструктуры. План научных работ определяется в первую очередь техническим и экономическим планом, перспективами технического и экономического развития — вот что, собственно, по Бухарину, означает синтез наук.

Этот процесс разворачивается в рамках общего культурного строительства. Народные массы, разбуженные революцией, становятся организатором, субъектом, творцом культуры нового типа.

Эйфория от кажущегося всемогущества социальной инженерии выражается в следующих возвышенных словах Бухарина: революция в самих основаниях культуры сопровождается по необходимости революцией в методах наук: синтез предполагает единство научного метода и этот метод есть диалектический материализм, объективно представляющий высшее достижение человеческой мысли¹².

Но даже высшее достижение человеческой мысли при догматическом отношении к нему может стать тормозом развития научной мысли. Бухарин не дождал до канонизации диалектического и исторического материализма в известной главе «Краткого курса истории ВКП(б)». Он, конечно, не предполагал, что равноправный союз философов и естествоиспытателей может превратиться в жесткий идеологический контроль, что приведет к политизации и вульгарно-классовому подходу и в науке, и в философии и в конце концов отбросит советскую науку в некоторых важнейших отраслях на периферию развития научного знания (кибернетика, генетика).

Разумеется, в начале 30-х годов еще сложно было предвидеть последствия идеологического патронажа, но уже отдельные осторожные ученые, дискутируя с Д. Берналом о принципах и реализации новой организации научных исследований в Советском Союзе, выражали опасения за судьбу «чистых», фундаментальных исследований, которые при прагматическом подходе к научной деятельности могут пострадать в первую очередь.

Да, далеко еще было до «лысенковщины», и летом 1931 г. глава советской делегации разворачивал перед рафинированной академической публикой захватывающие картины планомерного развития научной мысли, что казалось многим неожиданным осуществлением утопий Ф. Бэкона, Жюль Верна и Г. Уэллса. Контраст с капиталистической действительностью, искаженной жесточайшим экономическим кризисом (вскоре число безработных в

Англии достигнет трех миллионов!), был разительным. Вместо религиозной метафизики — диалектический материализм, вместо интуитивного созерцания — познавательный и практический активизм, вместо витаний в метаэмпирических небесах — социологическое самопознание, вместо идеологии пессимизма, отчаяния, «судьбы», фатума — революционный оптимизм, который преобразует весь мир, вместо полного разрыва теории и практики — их глубочайший синтез, вместо кристаллизации элиты — объединение миллионов...¹³

Рождается не только новая экономическая система, восклицает Бухарин, рождается новая культура, новая наука, новый стиль жизни! Блаженный романтизм, скажет иной скептик. Но в 20-е — начале 30-х годов все это казалось многим вполне реальным настоящим или безусловно осуществимым ближайшим будущим, ибо еще не было тех деформаций, которые появились позднее.

Визит советской делегации надолго остался в памяти научной общественности. Его влияние было разнообразным и глубоким.

Миновали те дни, когда Кембридж мог позволить себе иметь в университетской библиотеке только первый том «Капитала». Отныне не только гуманитарии, но и естествоиспытатели сели за изучение работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Д. Бернал вспоминал, как он и его друзья обрели в марксизме философию не столько описательную, сколько нацеленную на то, чем можно жить и руководствоваться в действии.

В Лондоне и в средоточии университетской жизни Англии — «Оксбридже» появляются красивые студенческие клубы. Клуб «Октябрь» в Оксфорде в 1932 г. достиг численности в 300 человек. Кембриджский социалистический клуб, созданный в 1931 г., насчитывал до тысячи членов при общей численности студентов 5 тыс. человек. Студенты участвуют в организации и проведении «голодных» маршей, ведут активную общественную и пропагандистскую работу¹⁴.

Яркая личность Н. И. Бухарина, его выступление внесли свой вклад в «разгерметизацию» интеллектуальной жизни Англии. Он активно общался во время визита с крупными учеными, бывал дома у Л. Хогбена, Г. Леви. Но более всего его влияние сказалось на творчестве Д. Бернала. Сразу же после конгресса Д. Бернал опубликовал статью в «Spectator» (1931, 11 июля), где анализировал научные итоги конгресса. В 1949 г. он перепечатывает эту статью в книге «Свобода необходимости»¹⁵.

Вскоре Бернал начинает широко задуманное исследование о социальной функции науки, в котором некоторые важные идеи Бухарина получают обстоятельное развитие. Он собирает новые исторические и социологические данные о месте науки в общественном развитии в прошлом и настоящем, рассматривает вопросы организации и финансирования науки и их перспективы.

В 1939 г. вышла в свет книга Бернала «Социальная функция науки», но Бухарина уже не было в живых. Упоминание его

имени перевело книгу в Советском Союзе в разряд «закрытых», но на Западе она быстро завоевала репутацию «классического труда». Вот что пишет автор нового введения к переизданию докладов советской делегации П.Г. Уерски: «Что касается теорий планирования, то один человек (Д.Д. Бернал. — М.А.) до недавнего времени доминировал в этой области. Его классическая работа «Социальная функция науки» успешно предсказала многие черты послевоенного периода, а именно расширение влияния научной деятельности в национальной жизни, координацию деятельности академических исследовательских центров и эволюцию политики в отношении национальной науки»¹⁶.

П. Г. Уерски отмечает известное воздействие книги Бернала на его друга Жюлио Кюри, а через него на французскую научную администрацию.

Через более позднюю работу Бернала «Наука в истории общества» (1956), его статьи, в частности статью «Двадцать пять лет спустя»¹⁷, идеи Бухарина продолжали опосредованно воздействовать и на советское научное сообщество.

Только теперь, после полной реабилитации Н.И. Бухарина, начинает выявляться его вклад в самые различные отрасли обществоведения, в развитие традиционных и становление новых научных дисциплин.

¹ Science at the Cross roads. L., 1971. В заметке издателей указывается, что доклады, сделанные русской делегацией на конгрессе, оказали глубокое воздействие на западную науковедческую мысль.

² Ibid. P. IX.

³ Ibid. P. VIII.

⁴ Ibid.

⁵ Доклад Б. Гессена был издан на английском языке в 1931 г. издательством «Книга» вместе с докладами других советских участников конгресса и отдельной брошюрой переиздан в 1946 г. в Сиднее.

⁶ Наиболее развернуто в докладе «К. Маркс и его историческое значение». См.: Бухарин Н. И. Избранные труды. Л., 1988.

⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 377.

⁸ Science at the Cross roads. P. 13.

⁹ Ibid. P. 28.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Н. И. Бухарину принадлежат пионерские разработки социально-экономических проблем планирования. В апреле 1931 г. он выступил с докладом на 1-й Всесоюзной конференции по планированию научно-исследовательской работы, опубликованном в том же году в первом номере журнала «Вестник Академии наук».

¹² Science at the Cross roads. P. 32.

¹³ Ibid. P. 33.

¹⁴ The Freedom of Necessaty. L., 1949.

¹⁵ Crowther J. G. Fifty years with science. L., 1970. P. 80. Идеи докладов советской делегации нашли отражение в книге Дж. Кроутера «Британские ученые XIX в.» (Лондон, 1935).

¹⁶ Science at the Cross roads. P. XXIV.

¹⁷ Наука о науке. М., 1966.

ВСТРЕЧИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ИСТОРИКАМИ*

*

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ: ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И НАСЛЕДИЕ***

М. Левин (США)**

Гражданская война, вне всякого сомнения, была критическим периодом в истории Советской власти, хотя о точных гранях этого периода можно спорить. Возьмем на себя смелость утверждать, что он начался в ноябре 1917 г. и закончился в середине 1922 г. Этот промежуток времени включает в себя все наиболее важные тенденции и черты, составлявшие суть и весь дух того периода, конкретные способы действия и культуру зарождавшегося строя и его лидеров. К середине 1922 г. почти все сколь угодно значимые военные действия, в том числе против многочисленных банд, закончились. Первый сравнительно обильный урожай позволил обеспечить достаточное количество продуктов, чтобы начать залечивание страшных ран, нанесенных стране, особенно вследствие катастрофического голода 1921 г. Экономика военного времени вновь входила в нормальную мирную колею.

Таким образом, мы имеем дело с более чем четырехлетним периодом, отмеченным бурными событиями, сражениями, массовым кровопролитием — длительной всеобщей агонией, в которой родился и обрел конкретные черты новый строй. Для историков и других исследователей общественных и политических систем это был не просто важный, а и весьма захватывающий период истории. Думается, что проще постичь наиболее характерные черты нового строя, исследуя его истоки, чем пытаться сделать это, расчищая многочисленные более поздние напластования.

* Раздел подготовлен кандидатом исторических наук Л. П. Колодниковой.

** Майкл Левин родился в 1921 г. в Польше. С 1939 по 1941 г. — гражданин СССР. Участвовал в Великой Отечественной войне. Историческое образование получил в университете Тель-Авива (Израиль). В дальнейшем преподавал в университете Сорбонны. Работал также на кафедре истории СССР Чикагского университета. В настоящее время профессор Пенсильванского университета (США). М. Левин автор ряда монографий и статей по истории советского крестьянства, советской государственной системы, о социальной структуре советского общества.

*** В основу статьи положен доклад М. Левина, с которым американский историк выступал в Институте истории СССР АН СССР. Во встрече приняли участие чл.-кор. АН СССР Ю. А. Поляков, заместитель директора института д. и. н. А. Н. Сахаров, сотрудники отделов истории социалистического строительства в СССР, истории Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, историографии: д. и. н. Е. Г. Гимпельсон, д. и. н. А. Н. Мерцалов, д. и. н. В. И. Петров, к. и. н. Ю. В. Мухачев, к. и. н. Л. П. Колодникова, к. и. н. С. С. Секеринский (журнал «История СССР») и др. Перевод статьи М. Левина сделан Л. П. Колодниковой.

Система, которую мы рассматриваем, не создавалась шаг за шагом по готовым чертежам. Напротив, она явилась результатом импровизаций в условиях постоянного пресса чрезвычайных обстоятельств, хотя идеология и программы предшествующего периода, конечно, сыграли свою роль. Это, в частности, особенно отчетливо видно на таких примерах политического выбора, как неприязнь к рынку, особые отношения с рабочим классом. Однако эти идеологические пристрастия вызвали к жизни нечто большее, чем факты истории. Они также породили иллюзии, которые наиболее ярко иллюстрируются политикой, подпадающей под общее название «военный коммунизм». «Иллюзия в действии», или, если выразиться более благозвучно, «утопия», является мощным мобилизующим началом, но в результате следования ей может получиться и получилось совсем не то, на что надеялись вначале. Но, как бы там ни было, различные утопии часто являются важной составной частью исторического процесса и представляют весьма непростой предмет исследования.

Мы можем утверждать далее, что хотя вся система явилась результатом импровизации, ее ключевой элемент — партия, единственная составная часть, существовавшая до революции, была создана или воссоздана в ходе рассматриваемых событий в новом обличье, совсем в другом, чем то, которое было вначале. Партийные кадры в ходе своей довольно короткой дооктябрьской истории готовились возглавить революцию, которая даже и не предполагалась как социалистическая. В течение этого периода они создали идеологию и воспитали довольно небольшое число преданных последователей, которые после Октября оказались в центре событий и в жестокой гражданской войне, когда они организовывали и направляли армии, и когда строили государственный аппарат, и когда возглавили новое государство. Став руководителями этого импровизированного режима, они меняли свой облик, хотя вначале этот процесс не был столь уж очевидным. Тем не менее эта трансформация проходила весьма быстро во всех сферах партийной жизни и в отношении многих ее принципов, таких, как связь с массами, организационная структура, способы решения проблем, социальный состав, способы правления и образ жизни.

Все это не составляло тогда главной заботы участников событий, сторонников или противников нового режима. Они, как и наблюдатели за рубежом, были поглощены теми новшествами, которые вводил в жизнь этот новичок в семье государств мира. Будь то сепаратный мир с Германией, раздача земли крестьянам, рабочий контроль или национализация банков и основных промышленных объектов или менее официальные, но более острые и пугающие явления, как, например, призыв «грабь награбленное» — все эти события были преступлениями в глазах внутренних противников и оскорблением для западного мира. Принудительный труд для буржуазии тоже накалял страсти. В этих условиях гражданская война была неизбежной. Озадачивает то удивительное спокойствие, которое царило в стране в первые месяцы

пребывания у власти нового режима. Кое-кто объясняет это тем, что большевики умело воспользовались созданным вакуумом власти. Но падение Временного правительства вовсе не привело к полному вакууму власти. Он был заполнен, по крайней мере частично, многочисленными Советами, которые помогли большевикам прийти к власти, мощно поддержав их с самого начала. Представителям свергнутого режима и многим колебавшимся потребовалось некоторое время, чтобы перегруппировать силы, оправиться от первоначального шока и воспользоваться в своих интересах неизбежными трудностями и ошибками нового режима, которые не замедлили проявиться.

То, что гражданская война стояла у порога, можно предположить не только по тому вызову, который бросали своим противникам большевики. Мы знаем, насколько ненавидели белые всех, кто стоял за правительством Керенского. Эсеры, меньшевики, а позднее также и либералы рассматривались монархистами и националистами, особенно из числа офицерства, как основные виновники прихода большевиков к власти. Вот почему не лишено оснований утверждение о том, что Учредительное собрание, в котором преобладали эсеры, было бы в любом случае разогнано. И ведь действительно эсеры полностью доказали свою неспособность эффективно обороняться. Они практически не сопротивлялись, когда матросы-большевики приказали им разойтись. Позднее, обосновавшись в Самаре, они опять не смогли собрать достаточные военные силы, способные защитить их. Они полностью зависели от Чехословацкого корпуса. В их собственных войсках командовали белые офицеры, которые только и ждали возможности, чтобы убрать руководство эсеров¹. Это и случилось несколько позже в Сибири, где белые ликвидировали верхушку эсеров, показав тем самым, насколько последние были нежеланны в белом лагере.

За всеми этими фактами стоят основные реальности тех лет, а именно: сражения велись не между демократией и авторитаризмом, а между двумя совершенно различными авторитарными политическими лагерями, способными противопоставить друг другу мощные армии и в бою выяснять кто сильнее. Сторонники Учредительного собрания не смогли на равных тягаться в этом споре и были сметены с исторической сцены.

Теперь перед нами еще одна загадка: почему большевики, которых мы только что описывали как неготовых управлять огромной страной, тем не менее вышли победителями из гражданской войны? На ум приходит легкий ответ, содержащий определенную долю истины: своим успехом они в основном обязаны несостоятельности своих противников. Виктор Шкловский в своем захватывающем «Сентиментальном путешествии» писал, что вопрос стоял не о том, кто был сильнее, а о том, кто был менее слабым².

Однако такое объяснение не годится. Большевики лихорадочно стремились создать центральное правительство, а также

наиболее важные гражданские учреждения и местные органы управления. В то же время они создавали военную машину, включая производство вооружений. Короче говоря, они создали государство. Эти достижения большевиков свидетельствуют о динамизме, которого явно не было у противоположной стороны. Ни на одной из крупных территорий, занятых белыми, ни в Сибири, ни на Юге, не удалось создать жизнеспособной государственности, несмотря на заявления белых о том, что в вопросах «государственности» у них имеется гораздо больший опыт, чем у большевиков. Многочисленные документы, в особенности мемуары белых офицеров, написанные и во время и после событий, свидетельствуют о печальном положении дел в центральных и местных органах управления на занятых белыми территориях³. Один офицер описывает власть белых в Ставропольском крае как правление помпадуров, взяточников и творящих произвол маленьких деспотов⁴. Свидетельства, поступавшие с территорий, занятых Колчаком, были ничуть не отраднее. В боях между помпадуром и комиссарами последние безусловно заслуживали победу. У них оказалась недюжинная хватка в вопросах государственного строительства, которую представители бывших привилегированных классов не имели или утратили. Более глубокие причины этих недостатков заключались в том, что помпадуры не смогли убедить своих в прошлом преданных подданных, в особенности крестьян, в том, что им есть еще что предложить им. Их падение в Октябре, конечно же, не было случайным.

Следует отметить, что большевики окопались в самом центре исторических московских земель, где они черпали основную свою поддержку. Исторический центр России, ресурсы нации и государства, собранные в процессе истории в этом регионе, хорошо послужили им в ходе войны и позднее, при воссоединении страны. Огромные окраины, где действовали белые, хотя и были хорошо обеспечены сырьем, зерном и отличными людскими ресурсами (казаки), не давали им, однако, желанных шансов окружить и взять Москву. Наоборот, окраины оказались слишком разобщенными, слишком удаленными друг от друга, и, вместо того чтобы стать плацдармом победы, они превратились в трясины, поглотившую армии белых.

Историко-социологические исследования этого периода с упором на классы, национальности, бюрократию, партии, а также социальный состав армии хотя и находятся еще в зачаточном состоянии, но являются незаменимым орудием исследователя-историка, для которого особенно приятно вдруг узнать, что не только большевики, но и основные действующие лица противоположного лагеря, особенно П. Милюков и генерал Деникин, искали в социальных факторах, таких, как классовый состав противоборствующих сторон и страны в целом, причины побед и поражений в гражданской войне.

Подлая роль тоскующих по прошлому помещиков, действия буржуазии, их политика по отношению к крестьянству, дей-

ствия и позиция рабочих — вот факторы, которые исследовал Милюков в своем анализе действий белых. Деникин, хотя и отрицал, что его лагерю был присущ классовый характер, тем не менее признавал и сожалел, что ему так и не удалось донести до населения суть своей классовой позиции, кстати весьма неприглядной. Деникин также негодовал по поводу двуличия и обмана буржуазии, которая пожалела средств на спасение того дела, которое она сама провозгласила своим⁵.

Значение таких толкований событий бесценно при условии, что они используются гибко и основываются на тщательных исследованиях. Оба лагеря представляли собой коалиции сил, а не чистые, однородные классы. У каждой стороны было вполне определенное, хотя и не абсолютно монолитное ядро, вокруг которого сплачивались широкие слои населения, которые часто колебались, переходили на другую сторону, возвращались вновь или создавали свой собственный лагерь. Именно эта текучесть делала гражданскую войну столь непредсказуемой для самих ее участников и столь запутанной для нынешних исследователей. Причем это относилось в одинаковой мере к обеим сторонам. Можно привести множество примеров, когда военные и партизанские соединения с красными знаменами в руках и комиссарами в своих рядах поворачивали оружие против коммунистов, даже убивали их и переходили на сторону противника, либо сражались в одиночестве, или даже оставались... в рядах Красной Армии⁶.

Нам известно, что на стороне красных ядро составляли выходцы из рабочих, бедного крестьянства и разночинцев. На стороне белых основу составляли представители бывших привилегированных классов, богатого крестьянства и особенно офицерства. Проблема состояла в том, кто из них станет лучшим социальным и политическим стратегом, кто сможет завоевать поддержку широких слоев городского населения, но что более важно — мелкого крестьянства. В этом важнейшем вопросе социальной стратегии большевики одержали верх. Белые же, которые долго были сильнее в военном отношении, сразу же столкнулись с трудностями, как только прибегли к принудительной мобилизации крестьянства. По словам Ленина, это было их гибелью⁷. Их основные силы оказались растворенными в огромной крестьянской массе.

Однако дальнейший социальный анализ позволяет нам увидеть еще один сложный элемент социальной напряженности в обоих лагерях. Гражданская война настолько накаляла ситуацию в стране, что ядро каждой из сторон давало трещины в разные моменты, особенно в конце войны. Распри и разложение первыми стали разъедать лагерь белых, но не избежали этого и большевики. Неразбериха, усталость, признаки раскола в конце концов ударили и по партии — инструменту большевиков, аналог которого белым создать не удалось. Но, к счастью для красных, все это произошло уже после поражения белых армий.

Все это означает, что красные прошли через столь же суровое

горнило, как и все остальные, и гражданская война оставила на них столь же глубокую отметину, что и на всей нации в целом.

Это было время невероятных страданий, жестокости и разрухи. Выражения типа «мы несем наказание на кресте», «идем крестным путем» можно было часто услышать от многочисленных верующих. Подобные же эпитеты употребляли в своих работах и писатели того времени. Символисты даже ставили вопрос: на чьей стороне был Христос? Церковь, впрочем, была твердо на стороне белых.

Причиной человеческих страданий были не только жестокости самой гражданской войны, но и гораздо более широкий круг обстоятельств: всеобщая неразбериха, разруха, распад социальных групп, классов, партий, короче — крайне нездоровое состояние всего социального организма. На Шкловского, как он писал в своей уже упоминавшейся книге со странным названием вскоре после описываемых событий, особо сильное впечатление произвела вся эта мрачная картина — жестокость, распад общественных и человеческих связей, ужасающее зрелище общества в состоянии разложения.

Эти исключительно важные и проникнутые трагизмом характеристики эпохи следует внимательно изучить, ибо без этого не понять проблемы последующей истории и наследия гражданской войны.

Мы уже подчеркивали, что социальная стратегия сторон была решающим фактором, определявшим исход войны. Но мы упомянули и еще один аспект той большой игры, в которой большевики обыграли белых, а именно в деле государственного строительства. Как только царский режим пал, а Временное правительство не смогло ни сохранить его, ни создать новое государство, был открыт путь для всех ждавших своего часа социальных сил попробовать себя в деле создания новой политической организации общества. Нет необходимости повторять здесь общеизвестные факты о том, кто пытался сделать это, но безуспешно. Стране предстояло сплотиться вновь, и социально-политическая система должна была появиться в лагере тех, кто мог создать государство. Абстрактно такая ситуация выглядела следующим образом: массовое народное движение одерживает победу и впоследствии создает свое государство. В истории таким периодом было, пожалуй, Смутное время в России в начале XVII в. В ходе не менее трагической смуты XX в. родилось большевистское государство вначале совместно с движением масс, а вскоре даже независимо от него или, по крайней мере, независимо от меняющихся настроений сочувствующих, нейтральных или даже враждебных групп внутри этой массы. Важной чертой этого процесса, к которому мы еще вернемся, было то, что новое государство возводилось в условиях разваливающейся экономики и распада общества, в катастрофическое для всей страны время. По сути дела, государство рождалось в результате того, что общественное развитие шло вспять.

Большевики в тот момент мало отдавали себе отчет в этом аспекте своих достижений, но уже в самый разгар их триумфа над ними витала тень пирровой победы.

Испытание

Изучение демографических тенденций, состояния городов, социальных классов, экономики и партий позволит нам выявить теневые стороны новой власти в России. Эти категории лежат в основе любой системы, и мы попытаемся свести воедино итоги нашего изучения перечисленных явлений, рассмотрев сначала каждый из них по отдельности. Можно было бы много говорить о голоде, разрухе на транспорте, людских потерях. Я особенно хотел бы привлечь внимание к разрухе, царившей в двух русских столицах. Столицы были центрами и опорными базами революционного движения, и особенно для большевиков. Но именно Петроград и Москва понесли потери. Ни одну из них так и не удалось захватить, но враг временами подходил к ним очень близко, и социально-экономическая ситуация в этих городах была особенно тяжелой. В 1917 г. в Москве и Петрограде население в общей сложности составляло 4 млн. жителей. В 1920 г. их оставалось только 1 млн 674 тыс. Почти весь рабочий класс Петрограда был потерян в результате миграции, мобилизации или гибели в боях. Имеющиеся данные показывают, что 380 тыс. промышленных рабочих покинули производство, из них только 80 тыс. вернулись после окончания войны⁸. Катастрофа является, пожалуй, наиболее подходящим словом для описания этого явления.

Но ослабление социальной базы новой власти происходило не только в столицах. Население всех больших городов также в различной степени сократилось: чем больше развитым и динамичным был город, тем больше он страдал. Более мелкие и менее индустриализованные города пострадали не так сильно, а некоторые даже выросли. Те отрасли крупной промышленности, которые не бездействовали полностью, пришли почти в полный упадок. И наконец, промышленный рабочий класс страны уменьшился наполовину и был сильно разбавлен или деклассирован в результате деятельности черного рынка, безработицы и бегства в провинцию⁹. Здесь вполне подходит термин «деиндустриализация». И только военная промышленность, работавшая на Красную Армию, поддерживалась в рабочем состоянии. К концу гражданской войны многие предприятия основных отраслей промышленности, жизненно необходимых для страны, скатились на уровень до 1861 г.¹⁰ Города и промышленность стали паразитировать за счет деревни, так же как и армии всех участвовавших в войне сторон. И до тех пор, пока такая ситуация господствовала в стране, было неизбежно дальнейшее углубление экономического кризиса, равно как и продолжающееся разложение социальной структуры общества. Помимо этого, существовали и другие факторы, разъедавшие и разрушавшие экономику, такие, как формирование и экипировка нескольких

армий, не говоря уже о самих боевых действиях, их жестокостях и жертвах.

У одних только красных к концу гражданской войны армия насчитывала около 5 млн человек, а потери составляли 1 млн 200 тыс. человек. Колчак в самый разгар своей кампании сумел мобилизовать около полумиллиона человек. Деникин начал свое стремительное продвижение на север в середине 1919 г., имея под знаменами 300 тыс. штыков, но по мере развития наступления он мобилизовал еще несколько сотен тысяч солдат, главным образом из крестьян¹¹. Похоже, что главной причиной его неудач были как раз эти новобранцы.

Общие потери белых неизвестны, но существуют различные оценки общих потерь от войны, эпидемий и голода¹². В советских источниках иногда фигурирует такая сумма общих прямых потерь от гражданской войны, как 8 млн человек, включая неродившихся детей. Однако все оценки могут быть только приблизительными.

С другой стороны, проблема рекрутирования армий и их численности требует дальнейших исследований. Возьмем, например, проблему дезертирства. Цифры, называемые в отношении одного только лагеря красных, ошеломляют. Некоторые исследователи говорят о полутора миллионах, другие — о миллионе. С такими расхождениями в цифрах никакие данные о размерах армий нельзя считать надежными. Многие вступали в армию в призывных пунктах, даже попали в части, а затем потихоньку растекались. Другие вообще не являлись на призывные пункты, оставались у себя в деревнях или уходили в леса. На каких-то этапах они иногда возвращались в массовом порядке¹³, что являлось весьма важным для исхода войны. В этих условиях плачевное состояние Красной Армии, особенно в первое время, было объяснимо, а текучесть и ненадежность новобранцев вызвали серьезное беспокойство в красном лагере. И многие из таких новобранцев легко находили дорогу в лагерь всевозможных банд — Махно, Григорьева, Антонова, сильно увеличивая их численность, а иногда оказывались и в противоположном лагере. Но там были те же проблемы.

История дезертирства — это, конечно, история крестьянства. Она весьма достоверно отражает его настроения и отношение к обоим лагерям. Цифры, показывающие число дезертиров, которые начали возвращаться в середине 1919 г. и позднее, важны не только с точки зрения значения этого явления для разгрома белых осенью того же года, но также и как показатель преимущественно крестьянского состава Красной Армии. Когда красные набирали в армию только добровольцев, большинство солдат были рабочие. После того как была введена всеобщая воинская повинность, Красная Армия стала на 80% крестьянской по составу. Младший командный состав был в ней в этот период на 60% из крестьян, но в среднем и старшем командном звене процент крестьянства резко падал¹⁴.

Такое широкое участие крестьянства в рядах армии в период, когда оно не только поддерживало ее, но также и дезертировало

из нее, «колебалось» и переходило из лагеря в лагерь, подчеркивает и сложность тех задач, которые стояли перед красными, и степень их успехов в превращении весьма неуправляемых банд в нечто напоминающее армию, в постижении ими искусства выполнять серьезные стратегические и тактические действия в условиях полного хаоса тех лет. Все это свидетельствует о таланте их руководства и их растущем военном опыте.

Современные советские авторы еще до недавнего времени продолжали официально придерживаться концепции, в соответствии с которой все успехи имели место благодаря руководству В. И. Ленина и партии. Троцкий упоминался главным образом в связи с его подлинными и воображаемыми ошибками, хотя некоторые авторы в середине 80-х годов умудрялись вообще не упоминать его имени или изредка упоминать его, но без обычной злобы¹⁵.

Мемуары белых офицеров среди прочих материалов являются неоценимым источником по Красной Армии, самым белым и поведению различных групп населения по отношению к тем и другим. Часто в мемуарах генералов можно прочесть о том, как в рабочих кварталах или даже во внешне весьма мирных деревнях вдруг неожиданно открывали огонь по приближавшимся белым. Они гордились тем, что их казацкие сотни легко обращали в бегство тысячи красных, но они также отмечали с растущим разочарованием, как красные постепенно надвигались на них так, как будто число их сторонников было неиссякаемо. Качественное состояние Красной Армии продолжало улучшаться, и авторы мемуаров утешали себя тем, что это было результатом высоких качеств солдат белой армии, которые дезертировали к красным или которых красные заставили служить у себя.

Однако у красных были собственные проблемы в том, что касалось живой силы, особенно когда речь шла о реальных «боевых штыках и саблях». Когда дело доходило до боевых действий, у них часто оказывалось меньше людей, чем у белых, кавалерия которых — казаки — превосходила кавалерию красных. Показателем трудностей сколачивания подлинных боевых соединений из мобилизованных масс новобранцев является тот факт, что в армии численностью 5 млн человек (к концу 20-го года) реальных штыков и сабель набиралось не более 400 тыс. Но те же цифры (см. примеч. 13) объясняют, почему у белых было ощущение, что красные «неистошимы». Последние сумели создать такие резервы, о которых белые даже не могли мечтать. Поддержка красных населением от восторженной, спокойной и до нейтральной подтверждается этими цифрами. Но это еще, разумеется, не полная картина. Масштабы разложения общества, которое мы здесь обрисовываем, убедительно показывают, почему поддержка красных стала ослабевать и по сути дела прекратилась к концу войны.

В нашем перечне деструктивных и разлагающих сил следующим по порядку идет террор. Для некоторых, разумеется, это был необходимый инструмент войны, особенно как средство, парализующее подлинных и потенциальных врагов путем

нагнетания страха среди них. Но в то же время террор является физическим и психологическим источником всевозможных патологий и важным фактором, деморализующим все участвующие в нем стороны. Имеющаяся на Западе литература уделяла главным образом внимание деятельности ЧК. На самом же деле только в одной Красной Армии существовало несколько различных подразделений, обеспечивавших в дополнение к ЧК безопасность, включая даже особые армейские формирования, обеспечивающие безопасность в тылу боевых сил.

Но глубину и масштабы разрушительного воздействия террора нельзя постичь, не поняв того факта, что террор не был монополией красных. На Западе не так широко известно, что различные белые армии имели все виды разведывательных и контрразведывательных подразделений, особые отряды по борьбе с диверсиями и карательные отряды. Все они применяли индивидуальный и массовый террор против населения, выискивали коммунистов и членов Советов, участвовали в казнях и массовых экзекуциях целых деревень. Все это красочно описано, иногда со злорадством, иногда с отвращением, в мемуарах белых. Было столько армий, каждая со своими карателями, что жители деревень и городов не всегда были уверены, кто входит в город, собирает народ, проводит экспроприации и казни. Подобные убийства и жестокости были широко распространены, и существование нелегальных сетей сторонников, шпионов и саботажников по обе стороны от линии фронта обеспечивало «оправдание для террора и контртеррора». В условиях упадка морали, столь широко распространенного в те дни, террор быстро набирал обороты и стал пользоваться особой популярностью среди всевозможных психологических извращенцев. Хаос и произвол того времени давали значительный простор разрушительным позывам человеческой психики.

Среди потерь, которые понесла страна в результате террора, голода, эмиграции, морального разложения и гибели людей, мы должны упомянуть потерю значительного количества специалистов и представителей интеллигенции. Этот важный источник талантов — Кендал Бейлс показал, что он и без того не был слишком уж большим — сильно уменьшился в результате перипетий войны. Ущерб, нанесенный такого рода потерями, советские исследователи открыто признали лишь недавно. Насколько мне известно, никакого количественного анализа этих потерь до сих пор не сделано. Но что никогда не было признано в качестве достойной сожаления потери, так это распыление или уничтожение кадров и руководителей многопартийной системы, которая образовалась в период революции 1905 г. Только большевики и некоторые остатки других партий сохранились, либо присоединившись к большевикам, либо будучи нанятыми ими в качестве «буржуазных специалистов»¹⁶. Следует обсудить, была ли, каким образом и до какой степени, потеря по крайней мере некоторой части «политического класса» страны составной частью политического и интеллектуального процесса объединения нации.

Даже полагая, что подобные потери были неизбежными в процессе революции, Ленин должен был понимать все колоссальные масштабы такого ущерба. У нас есть косвенные подтверждения таких его мыслей, например, в работе Луначарского «Революционные силуэты», написанной в 1919 г. и вышедшей сразу после смерти Ленина. Луначарский поведал среди многих других важных вещей то, что Ленин весьма сожалел, что не удалось привлечь на сторону большевиков такого человека, как Мартов. По словам Ленина, он мог стать прекрасным руководителем правого крыла партии ¹⁷.

Если проблема «политического класса» весьма неоднозначна, то потеря другой группы оппонентов — владельцев промышленности и капитанов индустрии — большей части предпринимательского таланта страны — является, безусловно, очевидным и недвусмысленным минусом. Такой потенциал требует значительных затрат времени и усилий на его воссоздание. В конце концов если и был паразитический сектор в русской экономике и обществе, который следовало ликвидировать, то весьма динамичный капиталистический сектор уж никак не был им. Понимание Лениным этой проблемы полностью отражается в его надежде, что страна станет страной «государственного капитализма», хотя и под флагом социалистического правительства. Это означало не только использование буржуазных специалистов, но и кооперацию или сотрудничество с большими и малыми владельцами капиталистических предприятий на условиях совместного владения. Какими бы ни были достоинства и реализм, заложенные в этой идее, они доказывают нашу мысль о том, что потеря предпринимателей представляла собой зияющую дыру в социальной ткани общества, и ее, безусловно, следует занести в графу «разложение» в нашем анализе.

Демографические потери и другие формы общественного упадка ударили по всем классам, группам и объединениям различным образом и в разной степени за исключением, возможно, только уголовного мира, который в этих условиях, разумеется, процветал. Крестьянство, самый стойкий и наименее уязвимый из всех классов в силу его непосредственной близости к основным средствам биологического выживания, также пережilo свою долю потрясений, смертей, потерь, по крайней мере временных, большой массы здоровых людей в результате мобилизации, дезертирства, участия в партизанских отрядах ¹⁸. Самая большая катастрофа постигла миллионы крестьян сразу после разгрома белых: голод, который явился результатом неурожая 1920 г., за которым последовал еще более ужасный неурожай и голод 1921 г. В эти годы произошли наиболее активные и массовые восстания крестьян против красных под лозунгами «Долой продразверстку» и «Советы без большевиков». Наконец, рабочие в промышленных центрах или в том, что осталось от них, вышли на массовые забастовки, дав понять, что их терпению тоже пришел конец.

Вся система стала похожа на привидение. Шаткому государ-

ству противостояли истощенные массы, которые бурлили, но были настолько ослаблены, что даже это шаткое государство было способно с ними справиться. Беспорядки и общее истощение, наконец, охватили и саму правящую, а теперь еще и победоносную партию, до сих пор почти неистощимую. Руководители и рядовые члены партии каждый по-своему стали проявлять симптомы усталости. Это было очевидным в момент перехода к нэпу, когда «профсоюзные дебаты» показали, что партия распалась на группы и группки, которые были дезориентированы и которые, как выразился Ленин, «сильно лихорадило». «Партию лихорадит», — заявил он и решил принять радикальные меры. Но даже до принятия решения, запрещающего группировки в партии, которое привело к фундаментальным изменениям во внутренней жизни партии, поддерживать ее в состоянии постоянного напряжения и высокого боевого духа было не легким делом. Даже в высших эшелонах руководства группировки и личная вражда были весьма распространены. Интриги достигли особенно опасных размеров в середине 1919 г., когда они начали ослаблять самую верхушку партии, являвшуюся до того момента ее главным оплотом. Интриги вращались вокруг мощной и в то же время уязвимой фигуры Троцкого, чья сила простекала частично из его таланта, но также и из существенно важной для него поддержки им Ленина. Сотрудничество и взаимное доверие между этими двумя руководителями были важным источником силы красных. Но интриганы, какими бы ни были их мотивы, усиленно работали над тем, чтобы поломать этот дуумвират, как его воспринимали партия, страна и весь мир.

В эти годы Ленин, работая с нечеловеческим напряжением, страдал от неизменных головных болей. Нетрудно догадаться, что неослабные усилия некоторых из его главных помощников, направленные на дискредитацию Троцкого, должно быть, заставили его дрогнуть. Кризис наступил в начале июля 1919 г. В ходе заседания Политбюро 3—4 июля Ленин отошел от Троцкого и проголосовал вместе с его критиками по всем спорным вопросам. Взбешенный Троцкий подал в отставку со всех постов и, хлопнув дверью, покинул зал заседаний. Члены Политбюро, первым среди которых был Сталин, побежали за ним, уговаривая его остаться, в частности в качестве военного руководителя. Было проведено новое голосование, и в результате официально удовлетворены требования Троцкого¹⁹.

Было бы интересно посмотреть, подтверждают ли официальные протоколы эту версию. Но совершенно очевидно, что в тот момент интриганы перестарались. Позже они снова возьмутся за свое. Отношения же между Лениным и Троцким оставались напряженными на протяжении последующих полутора лет. Еще один кризис возник в связи с дискуссией о профсоюзах, когда эти два руководителя столкнулись друг с другом по вопросам, которые быстро потеряли значимость. Однако в 1922 г. появились признаки нового сближения между ними.

Эти события показывают, помимо прочего, разрушительные

последствия и тяжелое наследие гражданской войны. Война, безусловно, подорвала здоровье Ленина и вскоре практически отодвинула его от реального руководства страной. В начале 1919 г. от болезни умер Я. М. Свердлов. Троцкий вышел из войны в лучах славы, но на самом деле был в целом изолирован внутри партии, позволив создать против себя союз, который впоследствии привел к его краху. Короче говоря, внутри победоносной партии и ее руководства в конце гражданской войны не все было благополучно.

Интеллигенция

Сложная и многострадальная сага об отношениях нового режима с интеллигенцией, связанная с кризисом и неурядицами гражданской войны, также высвечивает проблемы государственного строительства, имевшие многие важные последствия для будущего. В то время как обе стороны имели все основания не доверять друг другу, у них имелись и важные причины для сотрудничества. Однако интеллигенция вместе с массой школьных учителей ответила новому правительству волной забастовок и враждебных выступлений. Такая реакция, будучи широко распространенной среди интеллектуалов всех мастей, была свойственна также и еще одной большой группе образованной части населения — государственным чиновникам.

Забастовки, хотя они длились и недолго, преподнесли большевикам горький и неожиданный урок. Профессиональная прослойка населения, как бы она ни была относительно мала, имела стратегическое значение. Без нее нельзя было ни построить государство, ни управлять им и экономикой страны. Даже армию нельзя было создать и управлять ею без бывших царских офицеров. Коммунизм, замысленный как плод деятельности освобожденных народных масс и революционной партии, приходилось строить «чужими руками». Но возвращение представителей бывших правящих классов в привилегированное положение, дававшее им в руки власть, смахивало на предательство. Даже несмотря на присутствие рядом с каждым из них комиссара, участие «буржуазных специалистов» в правительстве и особенно в армии являлось вызовом для большинства членов партии и для многих рабочих.

Политика нового режима по использованию услуг экспертов приводила к усилению антибуржуазных и антиинтеллигентских настроений среди народных масс, которые поддерживали революцию. Если бы они оставались неконтролируемыми, такие настроения могли бы вызвать антипартийные проявления, особенно в отношении многих лидеров партии, которые сами были представителями интеллигенции. Привлечение представителей враждебных сил на ответственные посты представляло собой опасную стратегию, которая не предвещала ничего хорошего для нормального функционирования новой системы.

Неприязнь к привилегированным буржуазным экспертам, выразившаяся в «травле специалистов» («спецеество»), была широко

распространенным явлением не только среди рядовых людей, но и среди активистов на среднем и высшем уровне партийного и государственного руководства. Весьма могущественная «военная оппозиция», например, сопротивлялась и отчаянно боролась против использования таких экспертов на высоких должностях. К концу гражданской войны обстановка стала спокойнее. Но тем не менее все оставалось весьма сложным в этом противоречивом вопросе. Эксперт, даже если он был готов теперь отбросить некоторую или большую часть своей бывшей враждебности, оставался в лучшем случае весьма скептически настроенным и в любом случае был бы рад выйти из повиновения вышестоящим политическим назначениям. Партийные руководители в комиссариатах и на предприятиях в свою очередь высказывали недовольство своей собственной зависимостью «от буржуа» со всеми его знаниями и чувством превосходства. Официальные власти защищали буржуазных специалистов, но провозглашали, что их целью было создание как можно скорее своих собственных специалистов, которые бы обладали пролетарской идеологией и происхождением.

Но вскоре в это сложное партнерство вмешался новый элемент, поначалу незаметный, но затем все более явный. Пока главной целью было осуществление революции, в политике партии доминировала ориентация на массы. Это сохранялось и во время гражданской войны, когда настроения, интересы и поведение масс являлись решающими для исхода борьбы. Но, по мере того как на первый план стала выходить задача управления государством, акцент в политике партии переместился на кадры. Эта тенденция расцвела пыльным цветом десятилетия спустя, но многие воинственно настроенные люди или просто внимательные наблюдатели уловили зачатки этого явления с нескрываемой тревогой. Чтобы успокоить эту озабоченность, партия убеждала, часто вполне искренне, что кадры, выдвинувшиеся из народной среды, не представляли опасности. Что же касается специалистов буржуазных, их знания использовались без предоставления им власти. Такие аргументы звучали весьма убедительно в тех случаях, когда эти специалисты открыто выражали свою враждебность, давая понять, что они продолжали работать лишь потому, что не могли найти другую работу.

Ситуация стала меняться, когда во времена нэпа многие специалисты привыкли к режиму, приняли его и даже находили оправдание для того, чтобы продолжать работать на него. Их партийные боссы также нашли с ними общий язык, стали доверять многим из них и ограждали их от унижений. В период нэпа стало складываться подлинное партнерство, а иногда и совместное управление делами. Впрочем, это было только начало, подлинная революция в положении буржуазных специалистов началась в 30-е годы и охватывала в тот период уже больший круг людей, нежели только одни старые специалисты. И хотя этот процесс был омрачен трагическими отступлениями, вспять он уже никогда не был повернут. Совместное управление страной в условиях диктатуры того времени, как оказалось, было гораздо легче сохранить, чем абсолютную

преданность народных масс. И это наиболее пронизательные специалисты видели уже во времена нэпа и даже в период гражданской войны.

Читателю станет ясно, сколько больших проблем и уроков заключалось во взаимоотношениях между партией и классом профессионалов, которые формировались в царское время. Из этой мозаики возникло некое «большевистское искусство управлять», которое руководители страны, особенно в 30-е годы, часто преподносили как некое универсальное умение управлять и убеждать кадры. Когда требовалось заставить людей сделать то, что от них хотели, им говорили: «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». Этот неписанный закон, похоже, появился во время гражданской войны. Первая часть этого лозунга относилась к тем, кто в профессиональном отношении не были готовы к выполнению той работы, на которую их выдвигали. Она звучала покровительственно и, разумеется, была широко распространена в те годы. Вторая часть лозунга относилась к тем, кто не хотел служить, в частности к специалистам старого режима. Термин «искусство» подразумевал поддержание тонкого равновесия между убеждением и принуждением, но по сути дела весь этот лозунг был чисто диктаторским. Тот факт, что многие специалисты помогли построить советскую систему, не был результатом одного лишь принуждения. Большая интерпретация «искусства» была возможной, но в отсутствие четких рамок, ограничивавших пределы его применения, компонент силы имел весьма зловещий смысл. Силовой аспект превалировал во время гражданской войны, несколько отступил во времена нэпа и стал доминировать вновь уже в полную силу при Сталине. Тем не менее «искусство» применялось гораздо более снисходительно к «буржуазной» интеллигенции, чем к огромному количеству вновь созданных кадров с безупречными социальным происхождением и идеологической подготовкой. Это одна из загадок сталинизма.

Партия

Настало время обратить наше внимание на правящую партию — орган, который не имел себе подобных в истории политических систем до 1917 г. Противники режима во время гражданской войны не имели в своем распоряжении какого бы то ни было ее эквивалента. Партия, безусловно, являлась гибким организмом. С ее помощью были созданы центральные и местные органы управления, сформирована и обучена армия. Она выдержала военные лихолетья, воспитав преданных командиров из числа членов партии, умела мобилизоваться для решения всякого рода задач и, наконец, успешно проводила подпольную работу в тылу врага.

Неудивительно поэтому, что среди руководителей партии, за исключением одного Ленина, возникла тенденция прославлять, а впоследствии даже «обожеествлять» ее. Это, разумеется, не способствовало укреплению в ней здорового духа. Политическая партия

должна быть открыта для самого строгого социально-исторического и политического анализа. А тенденция превратить большевистскую партию в некий инструмент, стоящий выше истории, оставила такой анализ уже на довольно раннем этапе развития партии. Мы знаем, что партия пережила довольно трудные годы и действовала во все более усложняющихся и меняющихся обстоятельствах. Создаваемый советскими и многими западными авторами образ некой неизменной «субстанции», называемой Коммунистической партией, должен быть развенчан. Прежде всего, как мы знаем, в начале 1917 г. партия состояла из сети подпольных комитетов численностью не больше 24 тыс. человек. В течение ее короткой истории число ее сторонников колебалось в широких пределах. Ею руководил главным образом из-за рубежа ее основатель Ленин. Существовало руководство и внутри России. Но оно часто обескровливалось арестами.

Была ли партия до 1917 г. подлинно дисциплинированным и централизованным отрядом профессиональных революционеров, которые действовали так, как им указывал высший руководитель? Сможет ли такая «классическая» ленинская модель выдержать детальный анализ монографического исследования? Партия представляла не только профессиональных революционеров. Имели место выборы, конференции, съезды, дискуссии. Как это часто бывает, более пристальный взгляд может изменить многие устоявшиеся представления. Вместе с тем ясно, что большевистская партия была необычной организацией. Она не собирала свои силы для того, чтобы захватить власть напрямую, поскольку ее руководители не считали, что надвигающаяся революция будет сразу социалистической. По крайней мере, они вовсе не были уверены, какой характер она будет носить.

В 1917 г. в партии произошли коренные перемены. Она претерпела «мутацию» в пределах своего «вида», если вообще не перешла в другой «вид». Она теперь стала легальной организацией, действовавшей в рамках многопартийной системы. Она выросла количественно, достигнув численности более 250 тыс. членов, и действовала как весьма демократическая политическая организация под сильным властным руководством. У руля ее был Ленин. Рядом с ним на вершине пирамиды находилась группа лидеров, ниже которых были влиятельные организации, кадры которых активно участвовали в политическом процессе. И если коллеги Ленина соглашались с его линией, то это происходило только после оживленных дискуссий и тщательного выяснения настроений и мнений низов партии. Группировки существовали и были полностью признаны в качестве естественного средства проведения партийной политики. На этом этапе под ленинским руководством партия стремилась к захвату власти, но вместе с тем это происходило не без серьезных разногласий относительно путей захвата власти и ее осуществления.

Оказавшись у власти в условиях гражданской войны, партия претерпела еще одну глубокую трансформацию. Она стала

милитаризованной и в высшей степени централизованной, находясь почти постоянно в состоянии мобилизации и строгой дисциплины. Кадры партии расставлялись в соответствии с необходимостью вновь созданным отделом Учраспред. Выборы на посты секретарей прекратились и не проводились сколько-нибудь серьезно вплоть до попыток Горбачева вновь вернуться к практике выборов. Центр стал всемогущим, хотя о таком развитии событий впоследствии часто сожалели как о неизбежном зле в условиях войны. В общем-то обстановка на самом деле требовала этого. Вместе с тем фракции и внутрипартийные дискуссии продолжали иметь место, а конференции и съезды созывались регулярно.

Во время гражданской войны каких-либо признаков «религиозного» поклонения Ленину в партийных организациях не существовало. Его авторитет был огромен, но вместе с тем критика линии партии и лично Ленина принимала подчас довольно острый характер. Этот аспект партийной традиции неизменно присутствовал в ее деятельности. Едва ли существовал хоть один лидер или активист любого уровня, который бы в то или иное время не участвовал в полемике или даже не выступал против политики Ленина.

Еще одним важным фактором, способствовавшим переменам внутри партии, являлись непостоянство ее численного состава и меняющийся социальный состав, характерные для тех лет. Из одного надежного источника мы знаем, что в период между октябрём 1917 г. и летом 1918 г. в партии состояло 350 тыс. членов. Эта цифра впоследствии снизилась до 150 тыс., а затем вновь начала расти, достигнув 600 тыс. к весне 1921 г.²⁰ Оставим в стороне вопрос о точности этих цифр и обратимся к интересному явлению, которое из них вытекает: в партии произошел бурный рост ее рядов как раз в тот период, когда поддержка новой власти народными массами была наименьшей — в 1920—1921 гг. Было ли это какой-то аномалией? Возможно, нет.

К концу гражданской войны многие желавшие вступить в партию считали, что новая власть пришла надолго. Рост партийных рядов отражал тот факт, что какой-либо альтернативы новой власти больше не было и не предвиделось, несмотря на невероятное число различных волнений. Это также отражало растущую обеспокоенность в партии в связи с необходимостью эффективно управлять страной. Уже больше никто серьезно не говорил о том, что «любая кухарка» может управлять государством. Вот из-за чего произошел приток в партию, включая большое число карьеристов и жуликов, которых уже вскоре уберут в ходе мощной чистки партии, конечно, если осуществить такое мероприятие вообще было возможно.

К весне 1921 г. партийная статистика свидетельствовала о том, что 90% членов пришло в партию в период гражданской войны²¹. Дореволюционные кадры, даже те, кто вступили в партию в 1917 г., потонули в огромной массе новых членов, многие из которых были активными участниками боевых действий и вполне естественно являлись продуктом военной, если не милитаристской политиче-

ской культуры. Вновь вступившие в партию привнесли в нее этот дух, и он присутствовал в тех или иных формах в течение десятилетий.

После чистки 1921 г., в результате которой из партии было исключено, возможно, до одной трети ее состава, произошел новый мощный приток, и в последующие шесть лет численность партии достигла отметки 1 млн человек. Теперь большинство, должно быть, состояло из тех, кто вступил в партию во времена нэпа, это большинство привнесло в партию свою собственную политическую культуру, и культуру не особенно высокую. Несмотря на все эти массовые изменения в социальном составе партии, старая гвардия все еще была наверху и у руля. Но число этих людей, запас их жизненных сил и здоровья были уже не те. Могли ли они преобразовать по своему образу и подобию огромную массу «сырого материала» партийных новобранцев? Если нет, то что могло остановить эти массы от оказания ими всепроникающего влияния на партию и от преобразования ее по их образу и подобию?

Многие представители старой гвардии находились в отчаянии, будучи растроненными и осажденными огромной массой людей, чья культура и образ мыслей сильно отличались от их собственных. Так же как представители поколения гражданской войны принесли в партию военную культуру, культура более позднего поколения партийцев отражала ценности общества периода нэпа. В то же время высший слой партии, продолжая ранние большевистские традиции, все еще использовал в дискуссиях в своей среде терминологию и аргументы, которых основная часть рядовых членов партии просто не понимала. Поэтому можно сказать, что старая гвардия превратилась в самостоятельную партию внутри большей по размерам новой партии вокруг нее. В конечном итоге новые члены создали новую модель партии, управляемую по-новому и преобразованную политически и идеологически.

Крестьянская революция

Роль крестьянства в этих событиях была многогранна, а взаимоотношения между ним, красными и белыми были богаты важными поворотами событий. И без того всегда являясь важным фактором русской истории, крестьянство приобрело значительный новый вес в обществе в период гражданской войны. Во-первых, в период 1917—1918 гг. оно совершило собственную подлинную аграрную революцию со своими целями и методами. Кроме того, во-вторых, вольно или невольно крестьянство стало оплотом большевистской революции и той власти, которую она с собой принесла. Без его поддержки большевистская революция была бы невозможна. Хорошим доказательством этого вывода была деятельность Троцкого, считавшегося главным «антимужиком», которого обвиняли в «недооценке» крестьянства²². Но крестьянство не только сделало большевистскую революцию возможной, оно также взвалило на себя и на весь режим бесконечное количество проблем.

Поддержка крестьянства была непредсказуемой, то усиливаясь, то ослабевая, то опять усиливаясь. Каждый раз, когда крестьяне колебались, как выразился один советский исследователь, армии металась к Москве и от Москвы по бесконечным просторам России²³. Поддержка крестьянства была не чем иным, как браком по расчету, жестко увязанным с владением землей. Этот аспект революции — перераспределение частного землевладения — был непоколебим в глазах крестьянства. Белые были слепы в этом решающем вопросе и заплатились за это. После того как белые были побеждены, крестьяне повернули против большевиков, чтобы отплатить им в свою очередь за их несправедливости и ошибки²⁴.

Опасности возвращения помещиков уже не существовало, но большевики проводили политику продразверстки, насильственного изъятия зерна у крестьян с помощью особой «продовольственной армии». Мотивы этой политики все еще являются предметом споров. С одной стороны, имелись идеологические соображения, которые подводили фундамент под политику военного коммунизма, в частности идея уничтожения рынка. С другой стороны, нельзя отрицать, что в складывавшихся условиях новой власти необходимо было получить зерно от крестьян каким-то иным путем, помимо рынка. Но из этого сочетания утопии и необходимости, как ее видели в то время, выросла политика, которая, по сути дела, опустошила крестьянские амбары²⁵. Заявление о том, что этому не было альтернативы, сомнительно. Следует также задать себе вопрос, нельзя ли было раньше чем весной 1921 г. начать проводить стратегию, подобную нэпу. Некоторые советские исследователи осторожно задают этот вопрос²⁶.

Два других направления политики, менее часто освещаемые в литературе, стали колоссальной ошибкой, которая подстегнула гнев крестьянства. Первое, это политика коллективизации, объявленная в 1921 г. и, по крайней мере в начальный период, проводившаяся со значительным напором и перегибами. И хотя Ленин довольно быстро почувствовал опасность, которой были чреваты такие меры, и попытался нажать на тормоза, ответственность за эту политику лежала на нем. Крестьяне ненавидели коммуну так же, как они ненавидели продразверстку. И было вдвойне неудачно, что политика коллективизации была начата как раз в то время, когда аграрная революция породила надежды крестьянства стать независимыми фермерами на своей собственной земле. Это относилось и к более зажиточным крестьянам, и к бедноте. Удивляет, что эта политика была начата сразу после роспуска комбедов и официального принятия новой линии по отношению к середняку²⁷.

Политика коллективизации провалилась и была отброшена только затем, чтобы на смену ей пришла еще одна грандиозная затея, также вдохновленная периодом военного коммунизма, так называемое «огосударствление» сельскохозяйственного производства. Целью этого плана было хоть как-то справиться с отчаянной продовольственной ситуацией²⁸. В соответствии с этим планом

крестьянские хозяйства и земля должны были быть предоставлены самим себе, но в то же время подчиняться государственному плану, прежде всего плану сева, по которому каждое хозяйство получало предписание, что, сколько и даже где и как сеять. Была установлена общегосударственная сеть посевных комитетов, которые должны были следить за претворением в жизнь всего этого плана и обеспечивать выполнение квот. Работа крестьян, вполне в духе идеологии того времени, объявлялась «государственной повинностью», за невыполнение которой полагалось наказание.

Советские исследователи сегодня пишут об этом эпизоде с едва скрываемым чувством стыда и указывают на тот факт, что эта политика была не более чем предсмертной судорогой военного коммунизма. А между тем от нэпа страну отделяло всего лишь несколько месяцев. Но для крестьян этот план был последней каплей, переполнившей чашу терпения от непомерных поборов — трудовая повинность, изъятие зерна, коллективизация, — и они взорвались, подобно цепи вулканов, серией восстаний и партизанских движений. Они сражались против силы, которую воспринимали как чуждого завоевателя, как военную оккупацию²⁹.

Создание именно такого образа в массовом сознании имел в виду Ленин два года спустя, когда писал свою работу «Лучше меньше, да лучше». В его «Завещании» осуждалась политика военного коммунизма и предлагалась альтернативная стратегия. «Наследие» будет полностью забыто всего несколько лет спустя, когда будет взят курс, который превзойдет то, что военный коммунизм лишь возвестил. На этот раз коллективизация и огосударствление сельского хозяйства будут проводиться одновременно.

Но проблема заключается не в идеологических аспектах этих прецедентов для политики Сталина. Важнее отметить то, что семена будущего исторического поворота были посеяны в значительной степени аграрной революцией 1918 г. Силой захватив и перераспределив землю помещиков, крестьянство положило начало важным изменениям в их собственной экономике и обществе. Многие бедные крестьяне получили землю, в то время как более богатые потеряли большую часть своей земли. Социальная стратификация и расслоение на селе были значительно сужены и можно с полным основанием говорить об определенном «поравнении» крестьянства. Оно выразилось в выдвигании на господствующие позиции на селе середняка. Крестьянская революция превратила Россию в океан мелких семейных хозяйств, в большинстве своем сориентированных на обеспечение потребностей семьи, с очень малыми излишками для реализации на рынке; до «поравнения» на селе существовал слой мелкобуржуазных производителей и крупных предпринимателей. Термин «мелкая буржуазия» применительно к большинству крестьянства на этой стадии не соответствовал действительности. Мелкий буржуа в его классическом выражении работал на рынок, а поскольку ситуация таковой не являлась, то этот термин не относился к крестьянству периода ран-

него нэпа в условиях, когда крупное помещичье хозяйство и мощные крестьянские хозяйства, т. е. остатки капитализма, уже не существовали.

Даже до революции в русском сельском хозяйстве не так-то уж много было черт капитализма, иначе события, которые мы сейчас исследуем, вообще бы не имели места. Столыпинские реформы также были бы бессмысленными, поскольку не было бы необходимости превращать деревню с ног на голову, чтобы создать класс «крепких производителей». Можно вполне обоснованно ожидать, что дискуссии по этим вопросам, которые и так были всегда актуальными в Советском Союзе, разгорятся в скором времени со всей силой.

Пока же можно утверждать, что аграрная революция смела почти все результаты столыпинских реформ. Большинство хуторов, являвшихся любимым детищем Столыпина, были вновь объединены с деревней, за исключением западных районов страны, где вообще крестьянская община почти не существовала. После революции община появилась вновь уже на более широкой основе и стала доминирующей формой землепользования почти по всей стране. Права собственности в хозяйстве, которые столыпинская реформа объявляла принадлежностью главы хозяйства, вернулись во владение всей семьи, довольно аморфного понятия.

Русский крестьянин теперь стал не просто более традиционным, большим мужиком, чем раньше. Из-за повсеместной разрухи сельское хозяйство и крестьянство теперь стали полностью доминировать в русском обществе. На фоне этого общего «одеревнивания» и без того аграрной страны крестьянин «одеревенил» даже самого себя, отступив в экономическом и культурном плане, по крайней мере на некоторое время, в патриархальную глушь, характерную для гораздо более низкого уровня развития общества. Как следствие этого процесса вся страна, помимо своей воли, была отброшена назад. Аграрная революция в России — событие, имевшее огромные последствия и носившее драматический характер, — оказалась, по сути дела, бесплодной, а то и вообще бессмысленной, по крайней мере с точки зрения ее непосредственных результатов.

Заключение

Идея «бессмысленной аграрной революции» подводит нас к заключению. Исключительно важно не упускать из виду явления общественного расслоения, которые мы обсуждали выше, теперь, когда мы пытаемся свести наши выводы воедино. Страдания, выпавшие на долю крестьянского населения, не привели его к такому же состоянию разложения, которое было свойственно другим социальным группам. Крестьянство перенесло эти невзгоды гораздо легче, но оно воссоздало или приобрело вновь те традиции, которые постепенно исчезали уже в дореволюционный период и уж тем более вступали в полное противоречие с теперешним

развитием событий. Деревня периода после гражданской войны превратилась в весьма жесткую систему, которая трудно поддавалась изменениям, особенно до тех пор, пока город оправлялся от своих собственных бед. То, что мы назвали возвратом сельского населения в патриархальщину, происходило одновременно с разрушением и ослаблением весьма уязвимых современных ячеек общества. Поэтому можно говорить о более обобщенной примитивизации всей социальной системы³⁰. Главное наследие гражданской войны можно охарактеризовать просто: когда новая власть наконец-то получила возможность повести страну к провозглашенным ею целям, отправная точка оказалась гораздо дальше от этих целей, чем в 1917 г., не говоря уже о 1914 г.³¹

По мере того, как крестьянство начинало все больше доминировать, а город ослабевать, стала проясняться и другая сторона наследия гражданской войны. Демократические институты революции (профсоюзы, рабочие комитеты, Советы), которые первоначально имели весьма важное значение, оказались ослабленными, атрофированными или вовсе исчезли. Бюрократические же и принудительные черты государственной власти, наоборот, укрепились и в конечном счете стали господствующими. Демократические традиции самой партии претерпели ту же метаморфозу. Хотя милитаризация периода гражданской войны прошла, партия тем не менее твердо следовала своему курсу на превращение в административную машину, подчиненную ее руководству и во все большей степени аппарату, где все меньше места оставалось для мнения ее рядовых членов.

Взаимодействие двух процессов, вызванных к жизни гражданской войной, «возврат к патриархальщине» и глубокое «огосударствление» создало соответствующим образом все те составные части «общего наследия», которые мы здесь пытаемся установить. Второй из этих двух процессов требует нескольких дополнительных замечаний. Напряжение и расслоение, вызванное бедствиями гражданской войны, привели к тому, что широкое применение административных и насильственных методов стало выглядеть почти естественным. И очень часто это было практически единственным доступным средством. Тот факт, что государственные учреждения состояли по большей части из людей, участвовавших в революции и имевших простое происхождение, позволял прикрывать эту все углубляющуюся тенденцию к широкому авторитаризму. Революционные массы постепенно отстранялись от полноценного участия в руководстве страной в качестве полноправных партнеров, в то время как бюрократы и комиссары нового все еще находившегося в зачаточном состоянии государства становились основой системы. Но еще более зловещим было то, что принудительные меры, которые поначалу были задуманы главным образом в качестве средства против буржуазии — трудовая повинность и принудительный труд, — вскоре стали применяться к другим группам и, наконец, к людям, являвшимся основной опорой новой власти. Милитаризация страны была всепоглощающей, в то время

как неустойчивость социальной поддержки со стороны властей, в том числе и в отношении промышленных рабочих, особенно на более поздних этапах войны, вселяла глубокую тревогу в общество и как следствие этого требовала от властей постоянной бдительности. Спад всякой автономной общественной активности, как свидетельствуют источники ³², наряду с гнетом широко распространенных методов ударничества, естественно исходивших сверху, — все это работало в одном направлении. Постоянные изъятия «государственных пошлин», бесцеремонное тасование кадров Учраспредом — все это были черты, надолго укоренившиеся и впоследствии расцветшие пышным цветом.

Гражданская война нанесла сокрушительный удар по свободолюбивым замыслам творцов революции 1917 г. Вызвав колоссальный сдвиг общества назад, гражданская война по сути дела изменила направление исторического развития. Она создала такие параметры общественной системы и политического климата, которые сильно сужали возможности выбора путей развития и представляли некоторые из наиболее ужасных перспектив развития общества скорее как неизбежный выход, чем как одну из альтернатив. В результате уничтожения многих культурных, политических и экономических завоеваний прошлого страна и новое государство стали более открытыми и уязвимыми для некоторых наиболее архаичных черт русской исторической и политической традиции и, наоборот, менее открытыми для развертывания их передовых и прогрессивных черт.

Крестьянство и государство, хотя и были сформированы под воздействием одних и тех же обстоятельств, развивались тем не менее в разных направлениях. Они жили на различных этажах исторического здания, что являлось еще одним предвестником будущих столкновений и кризисов. Менталитет сельских масс, сформировавшийся в условиях коммунальных, относительно изолированных и по большей части небольших сельских поселений, был глубоко патриархальным. А их культура, естественно, была весьма ограниченной. Государство же было авторитарным. По его же собственному определению, оно было диктатурой, имевшей широкие перспективы и горизонты. Сложное перекрещивание этих традиций и культур внесло свою лепту в смешение позиций и взглядов людей, вступавших в правящую партию широким потоком, а также бюрократии в партии и государстве, которая состояла из таких вот разнородных элементов. Авторитаризм был неизбежен в этих условиях, вопрос состоял лишь в том, какой это должен был быть тип авторитаризма. Естественно связанным с этим был вопрос, какой социализм должен был быть создан и мог ли быть создан. Во времена нэпа Бухарин сказал, что это будет отсталый социализм.

В этом контексте было бы уместно отметить для периода гражданской войны ту готовность среди руководителей и кадров в силу идеологии и обстоятельств, с которой они верили в возможность построения социализма и даже коммунизма немедленно, несмотря

на окружавшую их повсюду колоссальную разруху. Широко известные предупреждения о том, что потребуются переходный период, особенно в такой весьма отсталой стране, легко сбрасывались со счетов. Уже тогда, да и позднее, некоторые люди понимали, что без создания необходимых предпосылок нельзя пытаться «сразу строить коммунизм» без массового принуждения. Фактически, как мы знаем, такое принуждение уже являлось характерной чертой «военного коммунизма» в качестве его обратной стороны — крайнего эгалитаризма или неприятия рынка и предпочтения «естественной» плановой экономики. Сам Ленин посеял достаточно иллюзий вокруг «военного коммунизма», возможно, и сам поверил в некоторые из них. Троцкий, как хорошо известно, споткнулся в вопросе о «военном коммунизме», на отождествлении милитаризма с социализмом. А многие партийные кадры одобряли политические методы времен гражданской войны и считали, что они прямо вели страну к конечной цели³³.

Все эти события имеют прямое отношение к нашему поиску наследия гражданской войны. Несмотря на всю непопулярность во времена нэпа терминов типа «методы» или «дух» «военного коммунизма», а также быстро забытые ленинские предостережения против таких методов, одно направление временно отброшенного политического курса оказалось весьма живучим, в частности отождествление государства и социализма, которое теперь начало терять часть своей силы, хотя и довольно медленно, в процессе происходящей с недавних пор перестройки. Одним из результатов такого наследия явилась чрезмерная централизация власти и подавление самостоятельной инициативы и действий людей, которые абсолютно необходимы для здорового развития любого современного общества. В течение какого-то времени проявление инициативы считалось подозрительным и подвергалось осуждению как скоропалительность, которая якобы мешала планированию. Вместо этого возникали бесконечные учреждения по контролю, а вслед за ними другие, по контролю контролеров, все они были заражены микробом застоя, по крайней мере в долгосрочном плане, а в некоторых сферах жизни с самого начала.

Пути, которыми развивалась гражданская война и которыми она была выиграна, содержали конкретные, хотя и не всегда открыто признаваемые или даже осознаваемые уроки, которые тем не менее легли в основу будущего варианта сталинского деспотизма.

На любых сторонников реалистического направления в политике, а среди партийных руководителей таких было достаточно, безусловно, производили впечатление следующие факты совсем недавнего прошлого:

1. В условиях противостояния двух систем не может быть полного доверия ни одному классу.

2. Союзы же, напротив, можно заключать и с социальными группами, которые не обязательно являются дружественными; от таких ненадежных партнеров, бывших или потенциальных врагов можно добиться реальной поддержки.

3. Политику «пряника и дубинки» можно с успехом применять в отношении целых социальных групп, даже больших.

4. Когда общественная поддержка ослабевает или вообще отсутствует, государство, если оно достаточно безжалостно осуществляет свою власть, способно выстоять в относительной изоляции.

5. Условием выживания в таких обстоятельствах является отсутствие какой-либо реальной политической альтернативы существующей социальной системе.

6. Наконец, бюрократия, даже если она имеет чуждое социальное происхождение и идеологически враждебна существующему режиму, может стать надежной и даже широкой социальной опорой такого режима, не говоря уже о более благоприятной ситуации в случае, если она состоит из более надежных в социальном отношении кадров. Последние могут создавать по крайней мере видимость общественной поддержки режима.

Все эти позиции практически имели место в ходе гражданской войны. И именно такая политика претворялась в жизнь, хотя и без какого-либо обоснования реальным опытом. Все эти положения стали наследием. И даже если они не проявлялись отчетливо в какой-то период, то, безусловно, оставались под рукой для желающих воспользоваться ими в будущем.

Короче говоря, гражданская война оставила большое наследство — целый узел проблем, который предстояло разрубить, и весьма зловещее орудие для этого. В этом контексте нынешние попытки осуществления реформ в Советском Союзе под руководством Горбачева представляют собой захватывающее зрелище. Весьма быстро начинаешь осознавать, что сегодня ставится под вопрос и постепенно отбрасывается не столько сталинизм, сколько это более раннее наследие, уходящее своими корнями в «патриархальщину» и «огосударствление», которое крепкими путами связали советскую систему в результате гражданской войны.

¹ *Footman D. Civil War in Russia. L., 1961. P. 86—135.* Здесь речь идет о беспомощности и полной зависимости Самарского правительства от чехословаков. Имеется достаточно данных, подтверждающих заявление о том, что белые офицеры, которые командовали собственными силами Самары, представляли для эсеров скорее угрозу, чем защиту.

² *Shklovsky V. Sentimental Journey. Ithaca, 1970. P. 187.*

³ Ссылки на мемуары белых офицеров находятся в многотомном собрании выдержек и полных текстов в сборнике С. А. Алексеева «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев» (М.; Л., 1925—1927).

⁴ *Краснов В. М. Добровольцы на Северном Кавказе // Архив русской революции. Т. 11. Перепечатано в работе М. М. Мещерякова «Начало гражданской войны» (М., 1927. С. 248—274).*

⁵ *Miliukov P. N. Russia Today and Tomorrow. L., 1922. Лекции, прочитанные в США вскоре после гражданской войны. Примеры оценок событий А. И. Деникиным см.: Как началась борьба с большевиками // Начало гражданской войны. М., 1927. С. 31.*

⁶ Примером могут служить действия партизанских отрядов в составе подразделений Красной Армии под руководством Антонова-Овсеенко на Украине, которые называли себя «советскими», но преследовали коммунистов или в лучшем случае не позволяли им организовывать партийные ячейки в войсках. См.: *Невский В. И. За семь лет. Л., 1921.*

- ⁷ См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 284.
- ⁸ Наумов В. П. Летопись героической борьбы: Советская историография гражданской войны. М., 1972. С. 424; Дробижев В. З. и др. Изменения социальной структуры советского общества, 1917—1920. М., 1976. С. 62; Поляков Ю. А. Советская страна после окончания гражданской войны: Территория и население. М., 1986.
- ⁹ Гладков И. А. и др. История социалистической экономики. М., 1976. Т. 1. С. 354.
- ¹⁰ Там же. С. 262—263; История КПСС. М., 1970. Т. 4, кн. 1, С. 10.
- ¹¹ Дробижев В. З. и др. Указ. соч. С. 333.
- ¹² Там же. С. 332; Поляков Ю. А. Советская страна... С. 127—128.
- ¹³ Спириин Л. М. Классы и партии в гражданской войне. М., 1968. С. 347; История советского крестьянства. М., 1986. Т. 1. С. 81; Поляков Ю. А. Переход к нэпу и советское крестьянство. М., 1967; История гражданской войны в СССР. М., 1986. Т. 2. С. 46.
- ¹⁴ Количество царских офицеров в Красной Армии достигало 48 тыс. человек.
- ¹⁵ Гражданская война и иностранная интервенция в СССР: Энциклопедия. М., 1983; Вопр. истории. 1988. № 9. С. 5, 8.
- ¹⁶ К 1921 г. около 7% членов партии большевиков составляли выходцы из других партий. См.: История КПСС. Т. 4, кн. 1. С. 85.
- ¹⁷ Луначарский А. Революционные силуэты. Киев, 1924.
- ¹⁸ Вторая сессия ЦИК 4-го созыва: Стеногр. отчет. Л., 1925. С. 24.
- ¹⁹ The Trotsky Papers, 1917—1922. The Hague, 1964. Vol. 1. P. 590—594.
- ²⁰ Спириин Л. М. Указ. соч. С. 29—30; Струмилин С. Г. Рабочий класс в Октябрьской революции и на защите ее завоеваний. М., 1984. С. 348.
- ²¹ История КПСС. М., 1971. Т. 4, кн. 2, С. 70.
- ²² Троцкий Л. История русской революции. Берлин, 1931. Т. 1. С. 73.
- ²³ Критсман Л. Героический период русской революции. М., 1925. С. 226.
- ²⁴ Поляков Ю. А. Переход к нэпу... С. 194; История советского крестьянства. Т. 1. С. 214—217; История гражданской войны в СССР. Т. 2. С. 332—337.
- ²⁵ Поляков Ю. А. Октябрь и гражданская война. М., 1966. С. 367.
- ²⁶ Поляков Ю. А. Переход к нэпу... С. 198—199, 235—236. Хотя Поляков отвергает такую возможность, он тем не менее о ней говорит.
- ²⁷ Там же. С. 73—74.
- ²⁸ Гимпельсон Е. Г. Военный коммунизм. М., 1973. С. 84—85. Автор описывает, как политика коллективизации была отвергнута и заменена политикой «огосударствления». См.: также Кириллов И. А. Очерки землеустройства за три года революции. Пг., 1922. С. 10; Правда. 1920. 5 сент.; Одиннадцатый Всероссийский съезд Советов: Стеногр. отчет. М., 1924. С. 17—19.
- ²⁹ Книпович В. О земле. М., 1921; Одиннадцатый Всероссийский съезд Советов. С. 63—80.
- ³⁰ Levin M. The Making of The Soviet System. N. Y., 1985.
- ³¹ Тан-Богораз. Революция в деревне. М.; Л., 1924. С. 7.
- ³² Немчинов В. С. Избр. произведения. М., 1967. Т. 3. С. 31.
- ³³ Гимпельсон Е. Г. Указ. соч. С. 196, 220.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

По докладу у советских участников встречи возникли вопросы. Они касались критериев хронологических рамок начала и окончания гражданской войны, содержания понятий «авторитарный режим», «огосударствление» и др., общих явлений и моментов в западноевропейских революциях и революции в России, обоснованности трактовки главного итога гражданской войны как пирровой победы, понимания основ советской системы, сложившихся в ходе

гражданской войны, возможности какой-либо альтернативы сталинизму и т. п.

Отвечая на вопросы, докладчик пояснил, что в его понимании пиррова победа заключалась с том, что гражданская война отбросила народное хозяйство и общество России на многие годы назад. Введение нэпа, к которому в конце концов пришли, было вынужденно, но эта политика таила в себе многие негативные последствия. Тогда как Россия только восстанавливала свое народное хозяйство на базе уже изношенного за годы империалистической и гражданской войн оборудования, страны Запада полностью переоснастили свои предприятия новой техникой. В годы гражданской войны были, как сказал докладчик, заложены основы той «диктатуры», которая получила развитие в 30-е года. Кроме того, хотя в 30—50-е годы советское общество и обрело новые черты, в частности характеризовалось усилением урбанизации, его база оставалась прежней — отсталое сельское хозяйство, что оказывало влияние на всю жизнь страны. Что касается тезиса о бесплодности аграрной революции, то эта идея, сказал докладчик, нуждается в дальнейшем изучении. Под авторитарным режимом имеется в виду такое положение, когда руководство государством осуществляется только сверху без участия в этом общественности. Прежде чем отвечать на вопрос о том, что общего между революциями на Западе и русской революцией, надо детально изучить конкретные события каждой из них. Начинать надо с этого, а затем можно и сравнить. Безусловно, общим для всех революций являются их издержки. Не давая прямого ответа на вопрос о возможностях альтернативы сталинизму, докладчик сказал, что уже в 1921 г. страна имела ограниченный выбор путей дальнейшего развития.

В ходе ответов на вопросы между В. И. Петровым и М. Левиным возникла острая полемика о существовании дуумвирата Ленина и Троцкого. Советский историк категорически отрицал наличие такового. Американский профессор, со своей стороны, приводил факты в обоснование своей точки зрения.

Выступавшие по докладу выражали удовлетворение инициативой, проявленной американским ученым, и самим фактом встречи с ним, видя в ней позитивный момент взаимного обогащения новыми идеями и хороший признак демократизации отношений между историками США и СССР. Советские историки подчеркивали, что доклад американского ученого они восприняли с большим интересом и высоко оценивают новизну и научную продуктивность постановки проблемы гражданской войны в России. Отмечалось, что доклад содержит много свежих наблюдений автора и смелую постановку ряда вопросов.

В. И. Петров, касаясь хронологических рамок гражданской войны, указал, что при анализе движущих сил и источников победы Советского государства в гражданской войне более правильно было бы считать ее окончанием не серединой, а октябрь 1922 г. Он выразил неудовлетворение отсутствием в докладе даже упоминания об иностранной интервенции. Он отметил, что для доказательства

«дезынтеграции» общества докладчик использовал, в частности книгу В. Шкловского, но в ней приводятся свидетельства и о позитивных общественных явлениях.

Е. Г. Гимпельсон выступил против сведения итогов гражданской войны только к попятному движению страны. Он также выразил сомнение по поводу того, насколько правомерно считать, как это делает американский историк, положение крестьянства и интеллигенции в период гражданской войны свидетельством регресса общества. Действительно, в рассматриваемый период сложился централизм этатизмом, поскольку под последним принято разуметь не что иное, как одно из направлений политической мысли, считающее государство целью и высшим результатом общественного развития. Говоря о поддержке теми или иными слоями народа советского строя, можно приводить множество фактов и примеров выступлений против него, но нельзя забывать, что подавляющее большинство народа приняло новый строй и оказало ему поддержку в гражданской войне. Интеллигенция действительно не приняла поначалу Советскую власть, но затем стала постепенно сотрудничать с ней. Это общеизвестный факт.

А. Н. Сахаров выразил согласие с основным тезисом М. Левина, считающего, что основы советского строя были заложены Октябрем и в ходе гражданской войны. Но при этом он подчеркнул, что если, по мысли американского историка, в эту пору были заложены основы негативных явлений 20-х и 30-х годов, то тогда же закладывались и позитивные черты советского строя, его демократические потенции, приведшие сегодня к перестройке. Он отметил, что участие старой интеллигенции в строительстве советского общества нельзя объяснить лишь насилем, интеллигенцией двигало чувство патриотизма и по-своему понимаемого долга. Материал М. Левина, по мнению А. Н. Сахарова, лежит в русле сменовеховских взглядов.

Достоинство доклада, как сказал Ю. В. Мухачев, в том, что он ставит и освещает проблему гражданской войны комплексно. Он выразил согласие с М. Левиным в том, что гражданская война была не только периодом критическим в истории советского общества, но и периодом его становления. Слабая сторона доклада — это элементы государственно-юридической школы в подходе к освещению проблемы, благодаря которым становление советской системы выступает как самодвижущийся процесс. Поэтому заявление докладчика о том, что им предпринято историко-социологическое исследование гражданской войны, оказывается лишь декларацией.

С. А. Козлов высказал сомнение по поводу достаточной обоснованности объяснения победы красных в гражданской войне наличием у большевиков навыков, необходимых для создания государства, и утратой таковых лидерами лагеря белых.

Э. Урибес, отдавая должное ряду интересных соображений докладчика, выразила неудовлетворение тем, что исторические

судьбы крестьянства России показаны им как жесткая предпрешность.

Подводя итоги встречи, Ю. А. Поляков подчеркнул, что споры между советскими и американскими историками по такой острой проблеме, как гражданская война, вполне естественны. Советские историки между собой бесконечно спорят по отдельным конкретным вопросам этой сложной проблемы. Но есть вопросы конкретные, а есть принципиальные. Итог гражданской войны нельзя рассматривать как пиррову победу, как только попятное движение в истории СССР. Победа в этой жестокой войне, навязанной нам силами контрреволюции, была звездным часом молодой Советской республики. Конечно, любая революция и гражданская война для одних классов благо, для других — катастрофа. В 1918 г. столкнулись две репрезентативные системы. Хотя Учредительное собрание было представительным и свободно избранным, Советская власть являлась более представительной, ее поддерживала основная масса народа. Это обеспечило ей победу в гражданской войне. Война явилась большой издержкой, но победа в ней закрепила огромные изменения в социальном строе страны в пользу трудящихся, и, в частности, ликвидация класса помещиков была далеко не единственным прогрессивным моментом. Что касается идеи докладчика об импровизированном характере становления советской государственной системы, то с этим можно согласиться.

В заключение выступил профессор М. Левин. Он еще раз указал на постановочный характер своего доклада, в котором многие вопросы только затронуты и будут подробно рассмотрены в подготовленной к изданию книге. По поводу архаизации крестьянства в начальный период нэпа не должно быть сомнений, поскольку только 12% крестьян давали продукцию на рынок, крестьянское хозяйство страны было в целом натуральным. Отсталость крестьянства, явившаяся следствием гражданской войны, поставила перед партией дополнительные проблемы. Архаизация сельскохозяйственного сектора оказала большое воздействие на дальнейшее развитие советского общества. Завершая свою встречу с советскими историками, американский профессор выразил благодарность за интересное и продуктивное обсуждение его концепции гражданской войны в России.

О. А. Афанасьев

РОЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: УПАДОК ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ? *

К. Ярауш (Швеция)

После того как количественные методы использовались в течение уже целого поколения, они все еще вызывают споры и противоречия в исторических исследованиях и работах. Со стороны исследователей продолжает иметь место скорее эмоциональность, чем разумный подход к возможностям и проблемам количественных методов в исторических исследованиях. Боязнь математических наук и враждебность к технологии подталкивают сторонников гуманитарных наук к выдвижению обвинений в том, что компьютеры сводят все к элементарным истинам и все упрощают. Представители социальных наук, со своей стороны восхищаясь новинками техники и научными открытиями, выдвигают контробвинения в адрес традиционалистов в том, что они затуманивают общую картину. Некоторые из этих споров, ставших уже ритуальными, основываются на невежестве и искажениях, поскольку клеветники редко обладают опытом, основанным на личном участии в количественных исследованиях, в то время как любители статистики часто бывают раздражены старыми методами, которые они уже оставили позади. Многое происходит также из-за противоречий в концепциях двух противоборствующих сторон относительно целей и методов исторических исследований. И лишь изредка понимание этого факта приводило, как в случае с Робертом Фогелем и Г. Р. Элтоном, к возникновению «более общечеловеческого взгляда» на проблему. С тем чтобы развеять продолжающуюся непонимание, необходимо взглянуть на подлинную роль количественных методов в исторических исследованиях: что такое количественные методы в истории, каковы предметные разновидности и национальные особенности, каковы их перспективы на будущее?

Трудная оценка проблем и перспектив количественных методов в исторических исследованиях осложняется двойной иеремией. С одной стороны, отмечают, что мода на количественные методы прошла, обрекая компьютерные исследования на участь неудавшейся моды прошлого. В своих крайних формах, провозглашенных грозным Г. Химмельфарбом, этот тезис обвиняет все новые виды исторических исследований. С другой стороны, некоторые

* Статья представляет собой сокращенный вариант доклада для конференции Международной комиссии по истории историографии на тему «Новые подходы к истории индустриальных обществ: Критические заметки об исследованиях по социальной истории в 80-е годы». Более полный материал см.: *Jarausch K. H., Thaller M., Arminger G. Quantitative Methoden in der geschichtswissenschaft. Darmstadt, 1985; Jarausch K. H., Thaller M., Arminger G.; Schoeder W. H., eds. Quantitative History of Society and Economy. B., 1987.* Перевод статьи сделан Л. П. Колодниковой.

представители количественной школы, такие, как Рольф Думке, раздумывают над определенной потерей творческого порыва этих исследований. Они уже не видят захватывающих дух открытий. Однако, по выражению Кухна, количественные исследования, кажется, стали «обычной наукой». В противовес этим импрессионистским оплакиваниям конкретные показатели, такие, как частотные таблицы или учет статистических статей, как представляется, указывают на неуклонный прогресс этого направления науки. Такие издания, как «SSHA», «Quantum», «Interquant», а совсем недавно еще ассоциация истории и компьютерного анализа — все эти организации, занимающиеся количественным анализом, явно процветают. Крупные журналы, посвященные этому направлению науки, такие, например, как JIH, SSH, HM, HSR, HC, публикуют работы все более высокого научного уровня. Так какой же вывод можно сделать из расхождения между субъективными ощущениями застоя и объективными показателями продолжающегося успеха? Иначе говоря, наступило ли время представителям количественных методов сдаться или историкам компьютерного направления следует после тихого периода консолидации сил вновь рвануться вперед в едином устремлении.

1. Определение и споры

К сожалению, четкого и простого определения «количественных методов в истории» не существует. Имеются три взаимно перекрестывающихся определения, которые встречаются в этой литературе. Первое. К количественным методам относят работы с таблицами и графами, с данными подсчетов и измерений. Это использование цифр является всего лишь более строгим и формализованным описанием прошлого, что использовалось в исторических исследованиях еще со времен древних греков. Это лишь маленький шаг вперед по сравнению с тем, когда говорили, что кто-то был «высоким», что «много» солдат было убито в сражении или что люди пережили «сильный» голод, — шаг вперед в выражении этих определений в цифрах, с тем чтобы сделать их сравнимыми во времени и одного с другим. Второе. Помимо описания событий, цифры предоставляют больше возможности для анализа, чем обычные слова, в силу своих формальных качеств. Большое разнообразие статистических процедур позволяет оценивать причинно-следственные связи путем проверки гипотез более строгим образом. Богатство статистического анализа может весьма существенным образом помочь в прояснении и опровержении различных исторических версий. И наконец, большинство историков, использующих количественные методы, применяют компьютеры для обработки своих данных и описания или анализа их статистическими методами. Ведь очевидно, что с помощью блокнота и карманного калькулятора можно проанализировать лишь небольшое количество данных. Более того, существует быстро развивающаяся область формализованных исторических исследований, таких, как тексто-

вой анализ, источниковедение, которое не включает в себя статистику, но первое не исключает использование компьютеров, в то время как последнее часто использует счетные методы и в конечном итоге переходит в статистический анализ.

В качестве ответа на нехватку филологических методов анализа больших массивов данных количественные методы весьма впечатляюще дополняют исторические методы в отдельных областях исследования. Начать хотя бы с того, что компьютеры позволяют обрабатывать большие массивы фактологических данных, чем при трудоемкой переборке карточных файлов со множеством ссылок. С помощью самостоятельно организованной базы данных исследователь может с помощью компьютера быстро найти все необходимые материалы для конкретной цели. Кроме того, количественные методы позволяют достичь большей точности при цитировании материалов. Вместо игнорирования списка литературы историк уже может обойтись без того, чтобы просматривать часть многотысячного списка названий (которая может оказаться нерепрезентативной), чтобы получить качественное впечатление от характера данных. Вместо этого он может взять статистический образец и с большой степенью уверенности описать общие черты огромного количества индивидуальных отдельных случаев с большой степенью точности. И наконец, наибольшее преимущество количественного анализа состоит в значительно большей ясности и сложности пояснений, которые он делает возможным. Не упрощая чрезмерно методов прошлого, количественный анализ позволяет осуществлять систематичное рассмотрение большого числа причинно-следственных факторов, определяя и исследуя статистическими методами их взаимоотношения. В междисциплинарном контексте Эрик Монкконен утверждает, что «количественные методы в исторических исследованиях дают глубину и тонкость позитивистским социальным наукам, придавая при этом общественный характер историческим исследованиям». Обработка данных, точность описания и глубина интерпретации количественных методов в исторических исследованиях могут, таким образом, возместить двойной дефицит, а именно недостаток временного фактора в социальной науке и недостаток универсальности в исторических исследованиях.

Практика количественных методов вместе с тем показала и определенные недостатки, которые были подвергнуты часто справедливой критике. Первоначальный энтузиазм сторонников статистических методов в истории, которые хотели свести всю аналитическую вселенную до нескольких математических формул, вызвал обратную реакцию. Оппоненты подчеркивали, что количественные методы не оправдали возлагавшихся на них надежд. И на самом деле, какой-то полной историографической революции не произошло и сторонники математических методов в последнее время вынуждены были проявлять большую скромность в своих претензиях. Для многих читателей количественные исследования, кроме того, представляются скучными и недоступными. Утоми-

тельные таблицы и сложные формулы, разумеется, не столь развлекательны, как сочные сплетни о королевских любовницах. Но тайны классической фимелогической критики также не самоочевидны. А между тем более качественная подготовка помогает снять покров тайны со статистических методов. Элегантный стиль позволяет оживить даже цифры. И хорошо построенные графические схемы часто более понятны и уяснимы, чем витиеватые повествования. Другое широко распространенное обвинение заключается в том, что результаты количественного анализа тривиальны, поскольку доказывают лишь то, что уже было известно заранее. При том что имеется определенный элемент справедливости в утверждении, что выводы количественного анализа редко бывают настолько неожиданными, что о них не было известно ранее, опровержение других не менее вероятных версий в результате подтверждения правильной версии итогами этого анализа представляет собой значительный научный прогресс. Возражения часто базируются на различии приоритетов: для ученого, интересующегося мотивами, которые лежали в основе Геттисбургского обращения президента Линкольна, количественные методы покажутся безотносительными, в то время как для его коллеги, интересующегося причинами великой депрессии, они являются императивными. Эти подлинные или выдуманные недостатки послужили толчком, по выражению Лоренса Стоуна, к появлению запрограммированного «возрождения повествования», ставящего целью воссоздание образа мыслей в противовес анализу структур. Несмотря на их резкость, большинство этих критических высказываний необоснованны, поскольку они заостряют внимание на неправильном использовании количественных методов, а не на правильном их применении в качестве дополнительных инструментов исторического исследования.

2. Разновидности количественных методов в исторических исследованиях

Споры вокруг достоинств количественных методов, скорее всего, будут продолжаться до тех пор, пока их вклад в понимание истории не станет настолько существенным, что прекратит дальнейшие дебаты. В некоторых важных областях исследований методы качественного анализа уже глубоко перевернули всю их направленность. Например, первым предметом, который был полностью преобразован количественными методами, стала экономическая история. В 50—60-х годах изучение экономических процессов перешло из сферы исторического описания в сферу аналитической экономики, названной эконометрией. Эта «новая экономическая история» быстро стала строго статистическим предметом и глубоко теоретическим до такой степени, что в университетах она из преимущественно исторической дисциплины превратилась в дисциплину экономическую. Менее интересуюсь конкретными фирмами или экономической жизнью одного города, клиометристы обратились к более общему анализу экономики в целом (например, Д. Норт).

Обеспокоенные вопросами экономического роста, Р. Фогель и С. Энгерман анализировали важность железных дорог с позиций того, как если бы они не существовали. Или исследовали прибыльность использования рабов на американском Юге периода до гражданской войны. Хотя эти новаторские исследования были противоречивыми, они изменили условия споров, переместив центр внимания с личности на факторы, с вопросов предпринимательства на модели развития, со случайных иллюстративных таблиц на длинные цепочки сложных уравнений. Движимая теоретической и антиконтекстуальной направленностью современной экономики, эта трансформация экономической истории стала удивительно полной, настолько, что количественные методы начали доминировать в ней, возможно даже чрезмерно. Но при условии некоторого восстановления исторического и контекстуального факторов строго статистическая и узкотелетическая направленность этого метода все еще содержит в себе значительный потенциал на многие годы вперед.

Еще одним крупным направлением исследований, которое было глубоко трансформировано количественными методами, стала историческая демография. Составление и исследование основных статистических данных, начатое меркантильными правительствами XVIII в., было в значительной степени облегчено компьютерами, поскольку эти процессы включают большое количество информации о «жизненных событиях», таких, как рождение, смерть и т. д. Необходимые суммарные статистические данные прошлого стало легче подсчитывать из общих цифр или индивидуальных случаев. Более того, целые новые категории источников, такие, как церковные книги или гражданские регистры, могли теперь быть преобразованы в доступную машине форму и обработаны статистически. Большие усилия были предприняты для восстановления исторической картины конкретных национальных проблем, например, Принстонским исследовательским центром народонаселения или Кембриджской группой по исследованию проблем народонаселения с целью объяснить переход от доиндустриальных высоких показателей смертности, браков, рождаемости к послеиндустриальной стабильности на значительно более низком уровне. Другая группа исследователей заинтересовалась проблемой «воспроизводства семьи» с целью определить местные и региональные модели наследственности и воспроизводственной деятельности. Где-то на границе исторической дисциплины этот количественный демографический анализ исторических фактов превратился в набор уточненных измерений и толкований роста народонаселения. Но он также вызвал к жизни не количественную, ориентированную больше на антропологический аспект «семейную историю», которая изучает чувственные, экономические и половые параметры семейной жизни в прошлом и, в свою очередь, ставит перед демографами задачу создания более сложных объяснений мотиваций. Очень интересным ответвлением этого направления стал количественный анализ проблемы здоровья человека и его болезней.

Ближе к традиционным историческим интересам было появление новой политической истории на основе количественных методов. Вдохновленные бихевиористской революцией в политической науке предыдущего поколения в период 1960-х годов, некоторые американские политические историки стали задумываться о том, нельзя ли подобные концепции и методы применить к эволюции политической системы в прошлом. Из этого в конечном итоге развились три четкие ветви. Первое, многие исследования процессов голосования и выборов (например, работы Ли Бенсона) анализировали богатые данные выборов в США за последние 200 лет. Второе, было много работ о парламентарном поведении представителей на основе анализа общих списков голосования по законодательным вопросам (например, работы Т. Б. Александера). Наконец, целая серия исследований коллективных биографий представителей политических элит (законодателей, сенаторов и т. д.) ставила своей целью связать переменные величины социально-экономических условий их жизни с политическими решениями на уровне штата или государства (В. О. Айделотт на примере Великобритании). Оживленные споры новых политических историков вызвали к жизни такие концепции, как понятие «критические выборы», в которых партийная принадлежность помогала или мешала представителю с точки зрения «этнокультуры». Многие другие политические историки продолжали писать о власти, покровительстве, групповых противоречиях, отвергая «новую политическую историю» как ретроспективную политическую науку. Но один из пионеров преобразования политической истории — Аллэн Боуг с убеждением замечает: «Даже если часть критики справедлива, многое из социальной истории остается справедливым, и наша концепция политического прошлого Соединенных Штатов в значительной степени будет изменена в результате их усилий». Эта новая политическая история совсем недавно нашла себе прибежище в Западной Европе в исследовании выборов парламента и элиты и показала, что ее методологический заряд дает эффект и за пределами Соединенных Штатов.

И наконец, последней областью исторических исследований, которая получила значительный импульс с введением количественных методов, является новая социальная история. Приводимая в движение радикальными демократическими или марксистскими идеями, эта в последнее время наиболее динамичная область исторического исследования сменила традиционный фокус своего внимания с элит на зачастую безмолвные массы и обратилась к теме власти социальных структур или обычаев вместо политических событий. Разумеется, не все вопросы социальной истории, как их определили Х. У. Вехлер или П. Стернс в таких журналах, как «*Geschichte und Gesellschaft*» и «*Social History*», годятся для решения методами количественного анализа, особенно вопросы, включающие коллективное сознание или культурные обычаи. Однако многие другие вопросы поддаются количественным методам, например, исследования Тилиса о массовых выступлениях

трудящихся основаны на изучении забастовочной статистики по газетным сообщениям (до того как правительства обобщают эти цифры) и на анализе влияния таких факторов, как урбанизация, индустриализация и т. п. Исследования Питера Тернстрема или Майкла Катца вопросов социальной мобильности или классовой структуры в городах XIX в., таких, как Ньюберрипорт или Гамильтон, посвящены анализу данных переписей с помощью количественных методов. Работа Фритца Рингера, а также моя работа о распространении образования исследует современные утверждения о наличии элитизма в сравнении с данными образовательной статистики, частично позаимствованными из книг регистрации принятых в высшие учебные заведения. Полный список ответвлений социально-исторических направлений исследований, таких, как проблемы женщин, преступности, можно продолжать бесконечно. В отличие от эконометрии в данной сфере в силу меньшей определенности предмета исследований и менее развитых связей с социологической теорией сторонники количественных методов смогли удержать в своих руках лишь часть данного научного направления и вынуждены вести здоровый диалог со своими оппонентами. И хотя они фундаментальным образом перевернули предмет исследований во многих вопросах, количественники тем не менее были вынуждены придерживаться более сбалансированной позиции в методологии своей работы.

Хотя количественные методы весьма далеки от господствующих позиций в исторических работах, они весьма значительно оживили исторические исследования. Так, психоистория, интеллектуальная история, политическая биография, дипломатическая история практически не затронуты количественными методами. Но влияние революции количественных исследований на те области, где они могут быть применены с большой пользой, исключительно глубоко. Они вызвали к жизни большое количество новаторских исследований, которые ответили на многие старые вопросы и подняли новые. За последние три десятилетия количественные методы в исторических исследованиях достигли определенной степени зрелости. Даже скептики признают, что гражданская война между историками закончилась триумфом нескольких революционеров из числа самих же историков. Проба сил в 50-х годах открыла путь захватывающим экскурсам в 60-е годы, когда количественные методы либо превозносились как спасители, либо поносились как разрушители исторической науки. В 70-е годы количественное движение сумело институционализировать себя и трансформировать повестку дня своих исследований в нескольких направлениях благодаря крупным денежным пожертвованиям на эти исследования. В 80-е годы количественная волна, как представляется, достигла своего пика, затем несколько спала, поскольку представители ее авангарда обратились к другим новаторским методологиям. Благодаря возрождению классических форм исследований и появлению повседневных исторических исследований количественные методы

уже не являются самым последним криком моды. Однако исследовательская практика показывает, что количественные исследования прочно занимают свое место. Последние обзоры, например анализ Эрика Джонсона «Положение в Германии», показывают, что на рабочем уровне количественные методы приняты значительной частью историков как практичное и достойное дополнение к инструментам исторических исследований, которое, безусловно, должно быть использовано на регулярной основе.

3. Национальные стили количественных исследований в исторической науке

Хотя большая часть компьютерного оборудования и многие статистические методы одни и те же у разных исследователей, количественные исследования в истории приобрели ряд весьма различных национальных стилей. Различные историографические традиции, своеобразный набор дисциплин, различающиеся культурные, идеологические и политические повестки дня привели к отличиям в количественных исследованиях в различных странах. Несмотря на тесные международные связи в конкретных областях исследования, интеллектуальные посылки, технические процедуры и формы представления результатов демонстрируют значительные различия между культурами, которые осложняют какие-либо оценки влияния количественных методов в различных странах. Национальные подходы, такие, как много обсуждавшаяся парадигма «Анналов», не могут быть просто переданы, поскольку они основываются на метанаучном основании, которое также требуется принимать во внимание. Не случайно, что в США количественные методы особенно процветали в эконометрии и произвели на свет историю «социальных наук», которая больше нигде не существует. Лучшее знание исследования в других школах могло бы помочь лучше оценить текущие тенденции, поскольку позволило бы избежать интеллектуального провинциализма какой-то одной школы, как бы велика она ни была.

Самой старой и наиболее влиятельной формой количественных исследований за пределами Соединенных Штатов является французская школа «Анналов». Поскольку ее достижения пользуются заслуженной известностью, достаточно упомянуть здесь лишь некоторые общеизвестные факты. Основанная М. Блоком и Л. Февром в 1929 г. в рамках нового журнала под этим же названием, эта школа попыталась порвать с господством политической истории, ориентирующейся на события, сосредоточив внимание на экономической и социальной истории. Этот сдвиг в предмете и методологии был продвинут дальше Ф. Броделем и Е. Лабруссом в 50-х годах и продолжен Е. Лероем Ладурье, Фр. Фуретом и другими уже в виде новой истории в 1960-х годах. Поскольку участники «Анналов» интересовались «структурой и... долгосрочностью», «сама логика такого понимания неизбежно означала работу с цифрами и статистикой». Это направление стремилось к воссозданию полной

истории определенного сообщества посредством изучения многочисленных срезов во времени статистически простым, но документально сложным образом. В бесчисленных работах французские историки исследовали экономическую (цены) и демографическую (воспроизводство семьи) структуру или состав определенной местности (город, департамент), двигаясь постепенно к обществу, материальной культуре, менталитету. Несмотря на объективистский налет их исследований, «анналисты» исповедовали единые прогрессивные политические взгляды, сфокусированные на «экономизме» и «массах». Блестящая внешняя (по отношению к социальным наукам) и внутренняя (по отношению к традиционным наукам) стратегия позволила группе захватить центральные экономические институты, такие, как Центр исторических исследований, и добиться, как утверждали некоторые комментаторы, гегемонистских позиций в интеллектуальной жизни Франции. В последнее время успех стал вызывать недовольство изнутри (неспособность написать биографию) или политическую (дипломатическую) историю и извне (недостаток теории, примитивизм статистики). Однако подходы «Анналов» продолжают оставаться, несмотря на их предпочтение преиндустриальным структурам, весьма успешным национальным стилем количественных методов в исторической науке, оказывающим всевозрастающее влияние за пределами Франции.

В немецкоговорящих странах количественные методы развились позже и пока еще не достигли такого же уровня общественного признания. Прерванные третьим рейхом старые традиции статистических исследований странным образом преобразовались в полновесные количественные исторические исследования лишь в конце 60-х годов. Общая перемена исторического интереса к социальным вопросам (*Gesellschaftsgeschichte*), возрождение пограничных социальных наук, стимулирующее влияние американских и французских ученых, а также наличие сложного счетного оборудования подстегнули этот новый вид исследований. В середине 70-х годов группа молодых историков и социологов Кельнского университета основала одну за другой организации (Квантум), журнал «Исторические и социальные исследования» и серию публикаций (HSF). После довольно быстрых первоначальных успехов темп несколько снизился из-за большого количества исследователей и сокращения отдачи, которые повредили утверждению этого направления. Выкристаллизовывающийся стиль немецких количественных исследований в истории более сосредоточен вокруг политических проблем, чем это имеет место во Франции, в силу того, что бурное политическое прошлое Центральной Европы не позволяет упускать этот аспект из центра внимания. В то же время немецкая школа более теоретизирована в силу исключительных философских традиций и продолжающегося влияния Макса Вебера. Более того, немецкое понятие *Historische Sozialwissenschaft* менее бихевиористское, чем американская историческая и социальная наука, поскольку понятие *Wissenschaft* является в

большей степени систематичным, чем «твердая наука». Обеспечив прочное постоянное финансирование для Кельнского центра исторических и социальных исследований, «количественники» Центральной Европы в силу более позднего вступления в эту сферу исследований зачастую очень хорошо вооружены технически и проявляют полную готовность к международным научным контактам.

В Советском Союзе и до некоторой степени в других восточноевропейских странах также был разработан марксистско-ленинский подход к количественным исследованиям. Развивая давнишние русские традиции статистических сборников по социальным реформам, советские историки в начале 60-х годов заинтересовались применением математических и статистических методов к историческим исследованиям. Возглавляемые И. Ковальченко и И. Кахком усилия общесоюзной и эстонской Академий наук, а также Московского государственного университета координируются специальным комитетом в рамках Национального комитета историков. По данным Д. К. Рауни, наиболее излюбленными предметами являются история сельского хозяйства, история профсоюзов и т. д., хотя советские «количественники» используют те же статистические методы, они, как представляется, предпочитают описательный стиль и применяют моделирование в более отличном синтетическом варианте. В силу основных марксистских взглядов их конечной целью не может быть развитие общей теории человеческого поведения. Они стремятся дать более тонкие исторические объяснения конкретных перемен. В то время как отмечаются отдельные проявления интереса к количественным исследованиям в Германии, Польше, Венгрии и даже Румынии, постороннему наблюдателю весьма сложно оценить, сколько ученых в Восточной Европе используют количественные методы. Но представляется разумным предположить, что они составляют хотя и заметное, но меньшинство.

В силу взаимного проникновения англо-американских научных кругов очень трудно выделить отдельный британский национальный стиль количественных исследований. Интерес к количественным методам появился здесь уже в 50-х годах, достиг значительного уровня сложности к 70-м годам, но так и не смог полностью преодолеть значительное сопротивление традиционных школ. Отсюда и тот факт, что в начале 80-х годов применение компьютеров даже в сферах социально-экономической истории было весьма незначительным. Кембриджская группа проблем народонаселения, которую возглавляют Е. А. Ригли, П. Ласлетт и П. Шофилд, получила международную известность, положив начало исторической демографии. Но ведущие усилия в области количественных исследований в политической истории были предприняты американскими учеными, такими, как В. О. Айделотт, а радикальные социальные историки типа Е. Хобсона и Е. П. Томпсона сохраняют скептическое отношение к количественным методам. В Великобритании «количественники» в некоторых областях пользу-

ются весьма высоким уважением, однако продолжают оставаться весьма ограниченной группой с очень незначительными шансами увеличить свое влияние в будущем (поскольку им мешают также крупные сокращения бюджета, проводимые правительством М. Тэтчер). Тем не менее от них исходят свежие импульсы, ведущие к более тесному сотрудничеству в рамках новой ассоциации и журнала под названием «История и компьютеры», издаваемого Д. Хопкинсом и П. Дентли. Возможно, поэтому следует рассмотреть количественные исследования в Великобритании как продвинутый вариант англо-американской модели.

В более мелких западноевропейских странах ситуация такая же, поскольку их научные сообщества не настолько велики, чтобы создать свой собственный независимый национальный стиль. Сориентированные главным образом в направлении англо-американских споров, некоторые способные ученые применяют количественные методы уже около двух десятилетий. Особенно богатые архивы в Скандинавии позволили создать огромный социальный банк данных за два последних столетия, что способствует проведению продвинутых исследований по социальной мобильности, грамотности, воспроизводству семьи. Что касается стран Бенилюкса, исследовательский уровень здесь весьма высок и имеется значительный интерес к научному сотрудничеству между экономическим и демографическим направлениями исторических исследований. Несмотря на то что происходит определенное оживление интереса к количественным исследованиям в средиземноморских странах, в международном плане об исследованиях итальянских и испанских специалистов в этой области известно удивительно мало.

В третьем мире позиции сторонников количественных методов весьма шатки. Дорогостоящее компьютерное время историкам предоставляется весьма редко. Круг заинтересованных лиц в количественных исследованиях весьма ограничен. Культурные предрассудки активно противостоят этим исследованиям. Имеется огромное количество препятствий политического и технического характера. В Латинской Америке оформившаяся школа исторических исследований выкристаллизовалась в последнее десятилетие. Методы, а также методологии импортируются, как и технология, либо из французской школы «Анналов», либо от эконометристов США. В то же время латиноамериканские историки заметно продвинулись вперед в сборе базовой исторической статистики, а также начинают делать заметный вклад в концептуальные вопросы. За исключением нескольких очагов в Японии, в остальных странах третьего мира количественные исследования, как представляется, все еще продолжают борьбу в изоляции за то, чтобы сократить разрыв между огромными возможностями и ограниченными достижениями. В международном плане, таким образом, успехи количественных методов варьируются от господства их во Франции вплоть до едва заметных шевелений в Африке и Азии.

4. Текущие проблемы

Несмотря на свое глобальное распространение, количественные методы все еще остаются удивительно проблематичными для большинства историков. Уходя от количественных методов в силу других интересов или чрезмерной трудоемкости этих методов, ученые традиционных направлений высказываются весьма предсказуемым образом: несколько обскурантистов, наподобие историка-интеллектуала Жака Барзуна, напрочь отвергают «количественных маньяков», обвиняя их в том, что они вносят путаницу в вокабуляр своим методом и пытаются превратить гуманитарную дисциплину в естественную науку. Большинство практических исследователей реагируют более амбивалентно, признавая полезность статистики в принципе, но избегая ее на практике. Они любят цитировать высказывания Артура Шлезингера, что нельзя подвергнуть количественному анализу все важные исторические проблемы. Наконец, более открытые с методологической точки зрения исследователи довольно тепло принимают количественные методы, но признают за ними лишь второстепенную роль в качестве иллюстративного дополнения к их политически направленным работам. За последние два десятилетия чаша весов склонялась в сторону большей терпимости к количественным методам; в то же время энтузиасты количественных исследований потеряли часть своего оптимизма, признав вслед за Дэвидом Херлихи, что перспектива выработки недвусмысленной аргументации этих методов, что привело бы к более высокому уровню их восприятия, не была реализована в полной мере. Понижение тона в спорах вокруг количественных методов говорит о нормализации, рабочем признании их значительной частью историков, что перемещает акцент с обвинений в запрограммированности и ответных обвинений к реальной исследовательской деятельности с помощью этих методов. Однако лишенный остроты, спор этот оставил наследие подозрительности и неправильных представлений, которые осложняют нынешнюю ситуацию.

Хор критики «количественников» высветил несколько реальных, но вместе с тем преодолимых трудностей в их работе. Первое обвинение, которое все еще появляется в литературе, утверждает, что исторические данные слишком не полны и не точны для применения количественных методов. В то время как это зачастую справедливо для социальных исследований, этот аргумент подразумевает такой уровень точности и полноты, который не могут обеспечить исследователи качественного направления. Проводившие переписи в прошлом вовсе не обязательно были большими глупцами, чем те, кто делает это сейчас. Имеется вполне достаточно количественных источников (таких, как учеты найма на работу), которые могут быть кодифицированы. Более того, выборочная статистика и другие методы могут помочь в оценке ситуаций с неполной информацией. Второе любимое возражение заключается якобы в невозможности понять аргументы «количественников», которые выходят за пределы здравого смысла. В принципе применение

статистики мало чем отличается от сложного филологического анализа древнегреческого языка или иврита, который образованная общественность тоже понимает с трудом. Хотя и можно понять иррациональную враждебность гуманитариев по отношению к цифрам, она вместе с тем отражает достойное сожаления самоограничение этих людей, которое делает их неграмотными в растущем потоке современной информации. Манипулирование статистическими данными весьма похоже на приемы словесной риторики. Любой сколько-нибудь образованный человек легко распознает это. Еще одно старое критическое высказывание касается несоответствия между огромными усилиями и скромными результатами количественных исследований. Часто оппоненты утверждают, что количественные исследования требуют чрезмерно больших средств, а приносят всего лишь небольшой прирост знаний. Вместе с тем традиционные издания документов или переписки также создают дорогостоящие кладбища информации, а недавние уменьшения объемов основных статистических программ для микрокомпьютеров в значительной степени понизили финансовый порог анализа. Другие возражают в отношении весьма искусственного характера «доводов» «количественников», что сводит сложную реальность всего лишь к нескольким факторам. Этот процесс абстрагирования является общим для всей науки, а высокая конкретизация гипотезы в количественном анализе по крайней мере поддается проверке. Теория не должна быть пленницей редукционистов. Традиционная историческая интерпретация с ее списками подлежащих чистке одного «начинания» за другим страдает большей неточностью и неаккуратностью, чем количественное моделирование, которое конкретно указывает направления взаимоотношений, их относительную силу и т. д.

Еще одна крупная сфера бесконечных споров заключается в близости количественных методов к идеологии. В Англии и США радикальные «народные» историки, будь то откровенные марксисты или популисты, резко критиковали количественное направление в истории. Их главное возражение сосредоточено на классовом характере статистических данных, на обезличенности количественных методов, на капиталистическом по характеру теоретическом основании эконометрии и на трудностях освоения технологии количественных исследований. В Германии левые сторонники *Alltagsgeschichte* в повседневной истории маленьких людей отвергают количественные исследования как дегуманизирующие, как неспособные понять социальную ситуацию или сознание индивидуального рабочего, домохозяйки и т. д. Подобный раскол, кажется, существует и в Латинской Америке, где радикальные историки предпочитают подход «Анналов», нежели эконометрию, именно в силу их политических ассоциаций. С другой стороны, в Восточной Европе марксистские историки используют количественные методы, не испытывая идеологических затруднений. Во Франции и марксисты и немарксисты используют количественные методы с одинаковой бравадой, поскольку прогрессивный идеологический

состав основателей «Анналов» ставил их вне подозрений. Подобная реакция ясно показывает, что не существует обязательной связи между количественными методами и реакционной политикой. Более того, относительно легко опровергать конкретное обвинение: статистика один из немногих подходящих методов нахождения общего языка с молчаливой массой. Количественные данные могут быть успешно дополнены качественными данными, существует марксистская количественная экономическая история и т. д. Однако потребовалось бы много усилий, с тем чтобы убедить изменить глубоко укоренившиеся предрассудки против количественных методов исторических исследований западных левых, которые путают метод с политическими целями.

Последний набор препятствий заключается в недостаточной инфраструктуре количественных исследований. Несмотря на прогресс в деятельности журналов, организаций, учреждений, остаются удручающие проблемы. Учитывая, что большая часть компьютерного оборудования и значительная часть программ для него являются американскими, националистическое желание создать независимую компьютерную систему делает их несоместимыми и вынуждает подгонять основные программы к различным системам. Поэтому многие индивидуальные решения конкретных проблем не могут преодолеть узкие национальные границы. Более того, господство частного бизнеса на рынке приводит к распространению коммерческих программ, плохо приспособленных для исторических исследований. В то время как в США и некоторых богатых западноевропейских странах компьютеры относительно доступны для историков, в Восточной Европе доступ к ним ограничен. А в «третьем мире» их практически нет. Даже в самых лучших условиях историки числятся далеко не в первых рядах среди наиболее активных пользователей средств информатики. На практике это означает ограниченное финансирование и вынужденную необходимость работать на оборудовании, предназначенном для работы над проблемами других дисциплин. Значительное различие между поддерживаемой государством групповой работой европейцев и индивидуализированной разрозненной работой англо-американцев также создает значительные проблемы. Обычно весьма благополучные коллективные исследования сталкиваются с трудностями координационного плана, а также в подготовке письменных отчетов о результатах исследований, которые бы выходили за рамки ротационных изданий. В индивидуальных проектах нехватка людей часто серьезно ограничивает масштабы исследований или затягивает работу на многие годы так, что выводы уже устаревают к моменту, когда они выходят в свет.

Таким образом, нынешний статус количественных методов в исторических исследованиях не столь уж благополучен, как утверждают некоторые их сторонники. Несмотря на значительный прогресс, историки-количественники вынуждены сталкиваться со скептическим отношением к своей работе, подвергаются серьезной критике, выслушивают идеологические возражения и наталкива-

ются на практические трудности. В то время как окончание компьютерной лихорадки принесло некоторое облегчение, чувство неопределенности среди некоторых практических специалистов наряду с возобновившимся напором хулителей создает некоторые новые опасности. Сокращение поддержки исторических исследований в целом нанесло больше ущерба количественным проектам, чем традиционным исследованиям, поскольку они более дорогостоящие и являются менее утвердившимися в исторической науке. В то время как исследования процветают, подготовка специалистов-количественников становится все более нерегулярной, поскольку многие учебные заведения еще только планируют создать формальный курс этой дисциплины, а некоторые уже существовавшие летние школы были закрыты. Более того, основные учебники на английском языке написаны уже более полутора десятилетий назад. Компьютерные обучающие программы по истории в основной своей массе принадлежат к качественному направлению и не позволяют заниматься статистическим анализом. Эти критические наблюдения не имеют своей целью внести ноту пессимизма. Вместо благодушия подчиненное положение количественных методов в исторических исследованиях вынуждает нас удвоить усилия, чтобы расширить эту дисциплину, дабы не допустить того, чтобы метод был низведен до малозначащей *Hilfswissenschaft*, подчиненной дисциплины, подобно современной палеографии.

5. Возможные решения

Чтобы преодолеть внешние нападки, историкам количественного направления необходимо выработать жесткую систему *внутренней самокритики*. Ничто не дискредитирует метод быстрее, чем его неправильное применение. Каждый крупный шаг в количественных исследованиях содержит свои внутренние опасности. Так же как и классический филологический метод, количественные методики требуют жесткого анализа источников. Статистические данные, полученные с помощью этого метода, ни в коем случае не должны приниматься на веру, поскольку они обычно содержат какую-то скрытую направленность. Более того, конверсия массы данных в удобную для машины форму чревата издержками, поскольку кодирование, особенно номинальных переменных величин, как правило, приводит к потере информации, которая может оказаться ключевой в последующем. Поскольку историки склонны получать статистические знания из вторых рук, они часто выбирают неверные процедуры или используют их неправильно. Литература полна примерами таких ошибок, как, например, «экологическая» ошибка (в которой выводы о конкретных свойствах базируются на групповых или экологических данных). Иногда определенный подход оказывается модным и данные исследуются с его помощью независимо от того, имеет это какой-либо смысл или нет. Часто статистика неправильно используется или нарушается ее внутренняя логика. Из этого следует, что абсолютно

необходимо выбирать соответствующую статистику для данной проблемы и документировать ее четко, но экономно. И наконец, могут возникнуть сложности с интерпретацией результатов. Часто ученый доволен выводами даже тогда, когда полученные им данные позволяют провести гораздо более тонкий анализ. Иногда исследователь ограничивает себя факторами, содержащимися в его информационном массиве, и игнорирует все остальное, подобно тому как пьяный ищет свои ключи в темноте под фонарем, поскольку в стороне от него ничего не видно. Отсюда следует вывод о большой важности поддержания аналитического контроля. Только честная самокритика сторонников количественного метода за его ошибочное применение сможет увеличить веру в этот метод.

Чтобы убедить скептиков, следует эффективно распространять данные о результатах количественных исследований. Самые изысканные замыслы исследований, полные наборы данных, исчерпывающая статистика и оригинальные выводы мало что дадут, если они не будут донесены до читателя в интересной и захватывающей манере. Вот в этом-то историки-количественники чаще всего и наталкиваются на свои самые большие трудности. Проявляя полную уверенность в работе с цифрами, они иногда весьма теряются, когда им необходимо прибегнуть к словам. Некоторые простые предложения могли бы помочь преодолеть это препятствие. Прежде чем сесть писать, ученый должен решить, к какой аудитории он собирается обратиться, поскольку разная публика предъявляет разные требования: количественники предпочли бы сохранить технические детали, качественники стремятся следовать за логикой аргументов, в то время как мифический средний читатель определяется всего навсего результатом. Этот изначальный выбор определяет и характер количественного исследования. Коллеги-количественники ожидают достаточного обоснования основных кодирующих решений, детальных статистических таблиц и коэффициентов, так же как и исчерпывающего моделирования, с тем чтобы они могли быть в состоянии повторить исследование самостоятельно. Историкам-качественникам требуется знать только общую линию рассуждений (а технические вопросы предпочли бы видеть в сносках или в приложении). Интересующийся же дилетант с удовольствием время от времени посмотрит на какую-нибудь таблицу в качестве иллюстрации, а все остальное примет на веру. Третье, драма цифр, которая очевидна для натренированного глаза, должна быть сделана интересно для непосвященного. Требуется столько усилий, чтобы преодолеть большие колонки цифр, что большинство читателей очень скоро сдастся. Отсюда ясный вывод: неожиданные открытия должны быть суммированы и перефразированы и не в процентах, а в нескольких сжатых фразах. Короткая таблица или понятная диаграмма или удачно подходящая цитата способна сделать так, что сложная цепочка будет интуитивно понята людьми. Если количественные историки не хотят ограничить круг своих друзей только посвященными, они

должны отбросить свою привычку к тяжелому стилю и вновь научиться писать.

Одно новшество, которое обещает преодолеть многие из практических проблем, — это революция в микрокомпьютерах. Сейчас уже стало ясным, что сложности с программным обеспечением, доступом, масштабом исследований и стоимостью были значительно сокращены с изобретением мощных микрокомпьютеров третьего поколения. Даже историки наиболее традиционных направлений взяли на вооружение микрокомпьютеры в силу их прекрасных редакторских функций. Там, где много лет назад манускрипты писались от руки, затем печатались вчерновую и еще раз уже начисто, теперь все эти три стадии совмещаются в компьютерном редакторе, давая исследователю большую гибкость и контроль над текстом. Компьютерные программы также сделали ненужными карточные файлы, поскольку доступ к информации стал более точным с помощью машины, чем по памяти. Во многих исследовательских проектах микрокомпьютеры служат в качестве терминалов для ввода данных, ликвидируя таким образом кодирование на бумаге и перфорирующее компьютерных карточек. Это не только ускоряет работу, но и делает ее более надежной. Наконец, растущее число количественников используют микрокомпьютеры для статистической обработки данных, даже несмотря на их относительно медленную скорость работы по сравнению со стационарными компьютерами, поскольку микрокомпьютеры позволяют работать в более удобных домашних условиях. Наличие микрокомпьютера снижает порог доступности компьютерной техники. В конечном итоге микрокомпьютеры удивительным образом подходят к индивидуализированному стилю работы историков. Таким образом, малые компьютеры вполне способны привести к качественному скачку в распространении количественных методов, поскольку студенты и ученые проще находят с ними общий язык, чем со стационарными ЭВМ.

Связанный с этим прогресс в создании баз данных и специального программного обеспечения для историков может еще больше поизить барьер между количественными и качественными методами использования компьютеров. Все больше исследовательских учреждений преобразуют свои собственные базы данных в интегрированные базы данных, объединяющие текстуальную и статистическую информацию. Эти крупные массивы данных из целого ряда различных источников, таких, как городская программа исторических исследований Филадельфии, например, поддаются многократному анализу с позиций различных дисциплин, что позволяет объединить литературный и статистический подход к проблемам. Создание специфически исторического программного обеспечения Манфредом Таллером, получившего название клио, также обещает сломать искусственные преграды между количественниками и качественниками. В его системе данные вводятся в компьютер в текстуальной форме, как можно ближе к первоначальному источнику, но размечены таким образом, чтобы можно

было проводить их анализ по формальным признакам. Такая структура данных позволяет не только использовать методики анализа текстов, разработанные лингвистами, но при достаточно регулярном обновлении информационной базы она может быть закодирована для статистического анализа с помощью компьютеров. Будучи в особенности привлекательным для специалистов по средним векам и новой истории, этот стиль больше подходит для анализа документов неравномерного объема (таких, как завещания, записи актов гражданского состояния и т. д.), чем цифровое кодирование, при котором оказались бы незаполненными многие графы в таблицах. Столь же привлекательными являются базы сравнительных данных, которые позволяют пользователю вводить в компьютер незакодированную информацию в текстуальной форме и анализировать ее по общим признакам.

Еще одним многообещающим новшеством для количественных историков является распространение многовариантного анализа на нецифровые переменные. В недавнем прошлом математическое исследование модели способом множественной регрессии ограничивалось факторами, которые могли быть измерены только в цифровом виде, как, например, численность населения, размеры экономического роста, ограничивая таким образом применение этого метода рамками эконометрии, демографии и некоторых областей новой политической истории. За последнее десятилетие специалисты в области статистики разработали новые формы линейного и логического моделирования, которые переносят принципы мощного многовариантного анализа на категориальные переменные, такие, как социальные группы, религия и тому подобное. До недавнего времени отношения между номинальными переменными, такими, как происхождение и предмет исследований, в университетах можно было исследовать только двусторонним образом, без учета значимости пола, возраста или происхождения, взятых сразу вместе. Пытаясь оценить, какие факторы повлияли на успех нацистов у учителей, историк-количественник теперь может систематически сравнивать относительное воздействие серии независимых демографических и статусовых переменных на одну зависимую переменную и таким образом опрокидывать принятые направления анализа. Этот начавший завоевывать позиции среди историков новый метод статистических исследований, похоже, открывает новые направления социальной и политической истории для строгого моделирования.

В настоящее время наличие твердых и гибких компьютерных дисков является стимулом к созданию интегрированных рабочих центров по изучению истории. В следующем десятилетии ученые будут работать с информационными массивами, перенесенными на оптические диски, с компьютерными терминалами, подсоединенными к мощным центральным компьютерам через разветвленные компьютерные сети и подключенные также к лазерным печатным устройствам, которые позволяют получать изумительный внешне продукт. Хотя не все эти технологические новшества смо-

гут быть применены в действительности, а европейская структура научных центров с ее акцентом на использование секретарей будет даже задерживать развитие этой технологии, тем не менее соединение прогресса в компьютерной технологии и создание программного обеспечения скорее всего откроет новые перспективы для исторических исследований с применением компьютерной техники.

Новый интерес специалистов в области социальных наук к «качественным» данным вполне может привести к дальнейшим инновациям в статистических исследованиях. Поскольку наибольший динамизм присутствует в сфере работы с текстами и базами данных, такое развитие событий вызовет необходимость перенесения количественных методов в сферу формального анализа. Совсем недавние коллективные статьи М. Теллера по банкам данных и Питера Денли по истории и применению в ней компьютеров отражают эту расширяющуюся сферу использования компьютеров в исторических исследованиях.

6. Количественный вызов

Во многих отношениях количественные методы представляют своего рода нескончаемый вызов историкам. Ученым традиционной качественной школы потребуются проявить терпимость к не всегда успешным экспериментам в рамках нового направления. Только желание больше узнать о некоторых особенностях количественных исследований и обсуждать результаты статистических анализов, а не игнорировать их приведет к конструктивному диалогу. Историки-новаторы, готовые пойти на риск количественных исследований, должны будут проявить достаточно воли, чтобы овладеть этими новыми методами так, чтобы использовать их правильно. Не замыкаясь в своем кругу как какой-то новой секте, им следует уверенно искать делового взаимодействия с их коллегами. Более того, им следует идти вперед от использования статистики как иллюстративного материала к применению ее в качестве аргументов и созданию четких моделей на основе проверенных гипотез. Ни испытанный метод интерпретации, ни более современные подходы социальной науки не являются априори предпочтительнее других — исторический вопрос должен иметь приоритет. Поскольку количественники будут обращаться к коренным вопросам своей дисциплины, постольку их работа будет обсуждаться и восприниматься. Занимаясь фундаментальными вопросами, такими, как индустриализация, семейные отношения, политическая принадлежность или социальный конфликт, историки-количественники смогут получить возможность воздействовать на формирование восприятия исторических процессов. Если их работа будет высокого качества, будет открывать новые стороны прошлого и будет эффективно доведена до общественности, она будет по достоинству оценена ею. Бессмысленно продолжать гражданскую войну между количественниками и качественниками. Историкам

необходим более терпимый и предметный диалог по коренным вопросам истории.

Здоровое развитие количественных методов требует также дальнейшего улучшения научной инфраструктуры. Начать хотя бы с того, что необходимо радикальным образом поднять уровень преподавания количественных методов историкам. Недостаточно лишь коротко упомянуть эти методы в общем курсе методов исторических исследований. Было бы весьма непродуктивно отбросить всякую ответственность за подготовку количественников и передать все это в ведение других дисциплин, у которых имеются свои отличные нужды и приоритеты. Каждый исторический факультет должен иметь курс количественных методов. В тех случаях, где отработка таких исследовательских навыков может занять место второго языка, требуется последовательная программа преподавания статистики или работы с компьютером, а также стандартизованных тестов. Появление микрокомпьютеров делает возможным даже предварительную подготовку на начальных курсах университетов. Во-вторых, можно в еще большей степени повысить качество публикаций по количественным исследованиям. Следует на регулярной основе привлекать специалистов-количественников к реферированию рукописей по данной теме, предназначенных для публикации за пределами специализированных «количественных» журналов. Требуется повысить понимание со стороны университетской прессы высоких требований, предъявляемых к документам количественных исследований. В-третьих, несмотря на нынешний финансовый кризис, абсолютно необходимо усилить финансовую поддержку количественных исследований. Поскольку многие области исследований немыслимы без количественных исследований, они не являются роскошью, которую можно позволить себе в благополучные годы и урезать в период нехватки средств. Только при условии большего понимания необходимости совершенствовать подготовку, публикации и финансирование, количественные методы могут дать ожидаемые от них результаты.

В конечном счете количественный метод всего лишь метод. Но вместе с тем исключительно мощный. Поскольку историки больше привыкли обращаться к сути явлений прошлого, у них, как правило, возникает сложность в правильной оценке роли количественных методов. И хотя количественные исследования никогда не будут самоцелью, они не только обладают собственной техникой, которой следует овладеть, но также и внутренней логикой, которой необходимо следовать. Напряженность между проблемой исследований и методом можно проиллюстрировать на примере «орудия» труда. С одной стороны, топор можно с успехом использовать только в том случае, если применять его с целью, для которой он предназначен, в частности для рубки деревьев, но не для рытья траншей. С другой стороны, задача валки леса гораздо более легко решается с помощью подходящего инструмента, поскольку деревья трудно валить, например, руками или лопатами. Если метод, подобный количественному методу, применять правильно,

то это позволяет решать многочисленные проблемы, которые были неразрешимы до его появления. Тем самым он совершенно по-новому ставит многие вопросы. Этот колоссальный потенциал количественного метода часто недооценивается как его противниками, так и его сторонниками. Это не означает, что количественные методы вот-вот распространятся на все сферы исторических исследований, поскольку они явно не имеют отношения ко многим направлениям. Но границы их правильного применения расширяются благодаря изобретательности исследователей, и даже не количественные до сих пор области, такие, как история дипломатии, содержат гораздо больше вопросов, пригодных для количественного анализа, чем можно себе представить. В качестве соредатора одного из ведущих журналов Теодор К. Рабб утверждает, что количественные методы уже изменили целые области исследований благодаря работе с применением статистики, от вопросов образования до выборов, от сельского хозяйства до плодородия. Поэтому самый большой вызов, который бросают нам количественные методы, состоит в правильном их применении и дальнейшем их развитии, с тем чтобы расширить пределы, точность и глубину исторических исследований.

МЕМУАРНОЕ И ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ

*

ВОСПОМИНАНИЯ В. И. ГЕРЬЕ

А. Н. Шаханов

Владимир Иванович Герье родился в 1837 г. в семье эмигранта-француза. Он рано потерял родителей и воспитывался у родственников. Среднее образование получил в Москве в училище при лютеранской церкви Петра и Павла, в частном пансионе Эннеса. Любовь к истории, привитая в детстве чтением сочинений К. Беккера и романов М. Н. Загоскина, определила его дальнейший выбор. В 1854 г. Герье поступает на историко-филологический факультет Московского университета. Формирование научного мировоззрения будущего ученого проходило под воздействием лекционных курсов П. Н. Кудрявцева, Т. Н. Грановского, С. М. Соловьева, С. П. Шевырева, Ф. И. Буслаева, личных контактов с профессорами П. М. Леонтьевым, С. В. Ешевским. В университете он стоял у истоков создания студенческой кассы взаимопомощи, был близок к кружку демократически настроенной интеллигенции во главе с П. Н. Рыбниковым.

После защиты магистерской диссертации «Борьба за польский престол в 1733 году» (М., 1862) В. И. Герье был отправлен для совершенствования в науках в заграничную командировку. В 1862—1865 гг. он прослушал лекции ведущих европейских ученых Л. Ранке, Р. Кепке, К. Фишера, А. Шпрингера, О. Яна, Г. Зибеля в университетах Берлина, Бонна, Гейдельберга, занимался в библиотеке Ватикана, самостоятельно изучал средневековую живопись и архитектуру. Умеренность политических взглядов Герье проявилась уже тогда в отрицании какой-либо деятельности, выходящей за рамки «академических» требований. Подобная позиция закономерно привела его в 1863 г. к поддержке политической программы М. Н. Каткова по польскому вопросу. На оживленных дискуссиях в читальне русской библиотеки в Гейдельберге автор мемуаров выступает как один из лидеров «консерваторов», организатор сбора средств в пользу семей убитых в Польше русских воинов.

Осенью 1865 г. В. И. Герье начинает преподавательскую деятельность на кафедре всеобщей истории Московского университета. Положив в основу своих лекций гегелианские идеи о закономерном, поступательном характере общественного развития, исключавшем резкие революционные скачки, в теоретических вопросах ученый следовал построениям государственной школы в

русской историографии¹. С его именем связано введение семинарских занятий, сыгравших большую роль в подготовке кадров отечественных медиевистов. В. И. Герье открыто поддерживал сторону «меньшинства» в Совете университета, выразившего несогласие с решением ректора и Министерства просвещения о восстановлении на кафедре забаллотированного проф. В. Н. Лешкова. Такая позиция явилась, по-видимому, причиной того, что он сам в 1868 г. не был удостоен профессорского звания.

В 1868—1870 гг. Герье вновь находится за границей, где собирает материалы для докторской диссертации о немецком философе Г. В. Лейбнице. Вернувшись на кафедру, он до 1890-х годов был одним из лидеров либеральной московской профессуры и пользовался большим авторитетом в среде демократически настроенного студенчества. В 1880-е годы К. П. Победоносцев писал о нем как об «известном московском агитаторе и ораторе»².

Политическая программа Герье даже внутри либерального лагеря отличалась крайней умеренностью: его оппозиционность режиму была «исключительно из-за меры уступок» и ограничивалась просьбами о привлечении отдельных групп русской интеллигенции к управлению делами государства. В 1876 г. он выступает инициатором и руководителем празднования выхода 25-го тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева. Организация чествования великого русского историка в условиях реакционного курса министерства Д. А. Толстого была своего рода ответом либеральной профессуры на попытки бюрократии уничтожить автономию университетов, гарантированную уставом 1863 г.

В 1876 г. Герье выдвинул свою кандидатуру и был избран в число гласных Московской городской думы, где долгое время возглавлял работу по организации общественного призрения. Широкое участие русской интеллигенции в органах городского самоуправления — свидетельство роста ее самосознания и намерения потеснить безраздельное господство царской администрации на всех ступенях общественной лестницы.

Одним из пунктов политической программы русского либерализма являлась демократизация системы образования в стране. В этой связи Герье с середины 1860-х годов проводит большую работу, завершившуюся открытием Московских высших женских курсов в 1872 г. Ученый преследовал здесь цели как обеспечения государства высококвалифицированными специалистами, так и изоляции женского образования от влияния революционной пропаганды. Именно поэтому, критикуя Министерство народного просвещения за временное закрытие курсов в 1886 г., Герье приветствовал их возрождение в 1900 г. уже как государственного учреждения с назначаемым директором, утверждаемыми штатами и программой занятий.

Напуганный ростом революционного движения, в начале XX в. Герье во многом отказывается от своих прежних робких конституционных стремлений, выгодных, по его мнению, теперь лишь

«революционерам», и открыто переходит на сторону самодержавия. В многочисленных статьях, брошюрах, появившихся в ходе и после подавления революции 1905—1907 гг., ученый пропагандировал сильную, неограниченную власть монарха, опирающуюся на блок бюрократии с представителями правого крыла отечественной буржуазии. Приветствуя роспуск I и II Государственных дум («отъявленные враги правительства»), он выступал активным приверженцем третьеиюньской системы: существование Думы с законодательными полномочиями при одновременном сосредоточении «верховой власти и правительства... в руках государя...»³. Политические взгляды определили и его партийную принадлежность. В 1905 г. Герье вступил в партию октябристов⁴. Как выражение полного доверия со стороны самодержавия можно расценить назначение его в члены Государственного совета в 1906 г. и участие в деятельности ряда правительственных комиссий.

Активное сотрудничество с царизмом по подготовке антидемократического законодательства, направленного на пресечение революционного движения студенчества, жесткие наказания курсисток за участие в «беспорядках» привели к изоляции Герье как среди профессуры, так и среди учащихся. Закономерным следствием этого явился вынужденный уход из Московского университета, где он преподавал более 40 лет, и забаллотирование его кандидатуры на пост директора Московских высших женских курсов (выборная должность директора была введена в 1905 г. вопреки воле Герье).

Осенью 1905 г. под предлогом лечения Герье выезжает за границу, где он пробыл до 1907 г. Действительным поводом к отъезду послужили испуг перед надвигающейся революцией и вызванные ею события в Московской городской думе, большинство членов которой перед лицом угрожавшей стране «анархии» перестали удовлетворяться «бесплодной тратой сил в мелочной борьбе» и потребовали от самодержавия созыва конституционных учреждений⁵.

Возвратившись в Россию, Герье отходит от активной преподавательской и общественной деятельности⁶. Оказавшись не у дел, он пытается на закате жизни осмыслить пройденный путь, найти истоки столь «печальному положению дел» в стране, оправдать свои действия перед современниками и потомками.

Первые наброски воспоминаний Герье сделал в 1890—1900-х годах. В их основу легли материалы, собранные в ходе подготовки речей, статей к юбилейным и памятным датам. В 1916—1918 гг. автор перерабатывает, значительно дополняет и систематизирует написанные ранее разделы. Не полагаясь во всем на память, он широко использует мемуары современников (в частности, Б. Н. Чичерина), личный архив, периодическую печать. Болезнь и последовавшая вскоре смерть ученого прервали работу над мемуарами. Их законченного текста не существовало⁷.

Воспоминания крупного историка России, поборника просвещения и организатора науки В. И. Герье (1837—1919), охваты-

вающие более чем полувековой период, значительно расширяют наши представления о личности, научной и общественной деятельности их автора. Они позволяют проследить историю становления, эволюции политической программы русского профессорского либерализма с его постепенным переходом от «академической» оппозиции 60—90-х годов XIX в. в лагерь защитников самодержавия в ходе революции 1905—1907 гг., с одной стороны, и конституционной республики — с другой.

В основу настоящей публикации взят с незначительными сокращениями один из наиболее полных вариантов первой главы воспоминаний В. И. Герье (ГБЛ. Ф. 70 (В. И. Герье). К. 32. Ед. хр. 1. Л. 2—5 об, 9—58 об., 60). Остальные варианты оговариваются или воспроизводятся в примечаниях при наличии в них существенных расхождений с основным текстом.

Текст приведен в соответствие с нормами современной орфографии и пунктуации. Имена собственные и географические названия воспроизводятся по принятой в настоящее время транскрипции. Порядок следования разделов определяется логикой изложения материала.

¹ Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1960. Т. 2. С. 416—424.

² Письма Победоносцева к Александру III. М., 1925. Т. 1. С. 319.

³ Герье В. И. О конституции и парламентаризме в России. М., 1906. С. 10; *Он же*. Значение Третьей думы в истории России. СПб., 1912. Ч. 1. С. 5.

⁴ Кареев Н. И. Памяти двух историков // *Анналы*. 1922. № 1. С. 162.

⁵ Чичерин Б. Н. Воспоминания: Земство и Московская дума. М., 1934. С. 263.

⁶ Подробно о биографии и творческом пути В. И. Герье см.: Майкова К. А. Архив В. И. Герье // *Записки отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина*. М., 1959. Вып. 21. С. 33—64.

⁷ Демина Л. И. Проблемы отечественной историографии в мемуаристике русских историков XIX — начала XX в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1983. С. 16.

В. И. Герье

ДЕТСТВО. УЧЕНИЕ ДО ПОЛУЧЕНИЯ КАФЕДРЫ

I

Если средневековые монахи, уходившие в монастырскую келью от суеты мирской, нередко становились наблюдателями и повествователями того, что происходило вокруг них, то тем более естественно человеку, проводившему жизнь в изучении и преподавании истории, под конец своей жизни оглянуться назад и попытаться набросать очерк того, что ему пришлось видеть и испытать самому.

Приступая к этому, начну с нескольких замечаний, относящихся к моей семье. Она была из Южной Франции. Первый, о котором до меня дошли сведения, занимал какую-то должность при дворе Станислава Лещинского в Лжоневиле после его вторичной попытки занять польский престол¹. Один из его потомков был духовного

звания и в начале прошлого * века был настоятелем (аббатом) римско-католической церкви в Москве ². Другой переселился во время революции в Гамбург, занимался литературой и напечатал ³ два томика назидательных рассказов для юношества «Contes moraux» **. Его сын сопровождал инженера Пуадбара в Россию, когда он был приглашен сюда при Екатерине II для постройки мельницы, и долго жил, так что я еще видел его в деле ⁴. К нему приехал в юности мой отец, рано осиротевший, и научился здесь заниматься сельским хозяйством, вследствие чего я первые годы жизни провел в деревне: в селе Дашково около Орла ⁵.

Матери моей, дочери выходца из Шварцвальда, я обязан моим первоначальным образованием ⁶. Оно было настолько основательно, что, когда мы по смерти отца моего переехали в Москву, я зачитывался «Всеобщей историей» Беккера ⁷. Но мое учение скоро получило более правильное направление, когда меня отдали даровым учеником в школу при лютеранской церкви Петра и Павла. Школа эта тогда была лишь четырехклассная и предназначалась преимущественно для купеческих детей ⁸. Там я познакомился с братьями Найденовыми, с которыми встретился потом в Московской городской думе, и с врачом Ложечниковым, известным потом окулистом.

Преподавание шло как на русском, так и на немецком языке. Так, математику преподавал Ушаков, который, чтобы приохотить нас к своему предмету, говорил, что без геометрии нельзя отрезать и куса хлеба. Латинским учителем был Вульф, болезненный человек, который во время урока постоянно прикладывал ко лбу свою серебряную табакерку. Самым живым и интересным был учитель истории и географии Зиллер ⁹.

Учиться мне было легко, и учителя сами позаботились о моем дальнейшем преуспевании, устроив по окончании мною курса принятие меня также даровым учеником в лучший тогдашний в Москве пансион Эннеса, где я провел еще три года ¹⁰. Там преподавателем русской истории был известный собиратель сказок Афанасьев ¹¹. К сожалению для меня, обязательное преподавание греческого языка было отменено у Эннеса, как в большинстве русских гимназий, но лектор греческого языка при университете Клин ¹² занимался со мною у себя на дому раз в неделю (<...>***. Хотя он был из лужичан, он говорил плохо по-русски. Студенты рассказывали про его пререкания с извозчиком, которого он упрекал, что у него не лошадь, а кошка.

II

Осенью 1854 г. я поступил по экзамену в Московский университет. В то время прием в студенты был ограничен количеством в 300 человек, и вследствие этого подавший вместе со мною прошение о поступлении Н. И. Стороженко ¹³ был зачислен в студенты

* В тексте ошибочно: нынешнего.

** «Нравственные сказки» (лат.).

*** Далее зачеркнуто: по чьей просьбе, мне так и осталось неизвестным.

лишь в следующем году. Вместе со мною на первом курсе историко-филологического, или, как мы говорили, словесного, факультета было 17 человек. Старшие курсы и поступивший после нас курс были гораздо малочисленнее. Наша группа <...> представляла из себя сборище со всех концов России: несколько москвичей (в числе которых были Ал[ександр] Веселовский — впоследствии академик, Рыбников — известный собиратель песен, Шереметевский — потом учитель истории, Погодин — сын историка), три студента Кавказского округа (в числе которых Г. И. Кананов — впоследствии инспектор, а потом директор Лазаревского института), граф Д. Капнист, два брата проф. Чичерина, Сергей и Петр, два поляка — Лукомский, с которым я сблизился, но который рано умер, и Аспис. Особенно выдавались среди нас своим возрастом два семинариста, одному из которых было уже за 30 лет¹⁴.

В то время студенты-юристы слушали многие лекции (историю всеобщую и русскую и политическую экономию) совместно со словесниками. Таким образом я имел случай близко познакомиться с юристами: с Куломзинным — впоследствии председателем Государственного совета, Лаврентьевым — попечителем Томского учебного округа, Алекс[андром] Андр[еевичем] Поповым — сенатором и с Сергеевичем, с которым встретился снова в Гейдельбергском университете и затем на скамьях Государственного совета¹⁵.

Неизгладимое впечатление на всю жизнь произвело на меня начало лекций¹⁶. До сих пор оно мне представляется подобием утра прекрасного летнего дня. Это впечатление обуславливается, помимо таланта и симпатичности некоторых из профессоров, заменю школьного знания наукой. Двум профессорам мы особенно были обязаны этим впечатлением и проистекавшим отсюда подъемом духа. Прежде и больше всего — четырехчасовому курсу древней истории Востока проф. П. Н. Кудрявцева¹⁷. В сведениях, дошедшие до нас чрез посредство греческого писателя Геродота¹⁸ и др., впервые влилась свежая струя знания, добытая раскопками в Египте и Месопотамии, которые оживали перед слушателями в изящной речи профессора. Впечатление это еще более углублялось для тех из нас, кто по указанию профессора параллельно с его лекциями изучал рекомендованные им сочинения: Лепсиуса по Египту, Лейярда по Ассирии и в особенности знаменитую в то время «Историю» Макса Дункера, дававшего систематический обзор того, что было добыто раскопками и описанием памятников, увидевших свет после тысячелетнего пребывания под землей¹⁹.

Другой курс, представлявший не меньший интерес и действовавший вместе с тем еще сильнее на пробуждение мысли у юных слушателей, был часовой курс мифологии, читавшийся профессором римской словесности П. М. Леонтьевым²⁰. Вернувшись недавно из Германии, где перед ним знаменитый философ Шеллинг излагал свой взгляд на мифологию и ее отношение к религии откровения, Леонтьев вводил свою аудиторию в круг мыслей, составлявших суть философии Шеллинга, который в самое это

время закончил свою жизнь в Рагаце в Швейцарии, где на кладбище красуется теперь его надгробный памятник ²¹.

С именем Леонтьева связано так много моих университетских воспоминаний, что я не могу не остановиться на нем несколько подробнее, тем более что его память и заслуги до сих пор недостаточно оценены.

В характере и судьбе Леонтьева многое объясняется его физическим сложением: он был горбат, так что его умное лицо едва было видно его слушателям из-за кафедры. Говорил он очень медленно, с большой расстановкой, но очень обдуманно. Он производил впечатление человека очень сухого, но в нем была сильная потребность привязанности, и он был способен к самопожертвованию, что он и доказал впоследствии по отношению к М. Н. Каткову ²². В то время когда я с ним познакомился, он был еще исключительно поглощен научными интересами. В его характере была некоторая доля хитрости, которую он сам мне объяснял довольно искусственно. «Когда, — говорил он мне однажды в профессорской, — лодочник должен переплыть через широкую реку, он не направляет свою лодку прямо к тому месту, куда нужно подплыть, а несколько выше, принимая в соображение, что течение, отнеся его лодку, прибьет ее как раз туда, куда ему следует» ²³.

Сблизился я с Леонтьевым по случаю того, что Московский университет готовился тогда к отпразднованию своей столетней годовщины и Леонтьев приводил в порядок запущенную коллекцию греческих монет в подведомственном ему нумизматическом кабинете и пригласил нас помочь ему в этом. Но желающих, кроме меня, для этого не оказалось, и это послужило основанием для сближения между нами (...).

Если курсы Кудрявцева и Леонтьева вводили нас [в] область научного знания и мышления, то другой характер имел также четырехчасовой курс по истории литературы Шевырева. И он, несомненно, имел общеобразовательную цель, когда вел речь о великих образцах человеческого творчества — о Гомере, Данте, Шекспире, но этому мешала напыщенность и изысканность формы и языка (напомним стих: «Что в море купаться, что Данте читать...»), а затем и тенденциозность, выражавшаяся в антизападном направлении и в полемике с петербургскими журналами. Но все-таки большую пользу приносил Шевырев тем, что задавал сочинения на литературные темы и разбирал, приглашая и присутствовавших участвовать в этом. Поэтому нельзя было не пожалеть о выходе в отставку Шевырева вследствие неприязни, которую он потерпел в Английском клубе от одного из графов Бобринских по частной ссоре ²⁴.

Прочие предметы преподавания нас далеко не удовлетворяли. Преподаватели древних языков почти, можно сказать, отсутствовали. Шестаков, переводчик Моммзена, был разбит параличом и не выходил из дома ²⁵. Профессорам греческого языка недоставало педагогического таланта. Меншиков, из семинаристов, писал даже оды на греческом языке, но так смущался, что становился подчас

комичен. Говорил, например, такие фразы: «Мне недостает сообщения» или, стоя перед доской, чтобы объяснить теорию Платона о душе, все повторял: «Душа — это хор...», не зная, как дальше из него выпутаться²⁶. Пеховский же, поляк из Познани, удрученный семьей и скудным жалованьем, был поглощен своей диссертацией об иронии в «Илиаде», суживая этим хотя и интересным вопросом обширный культурный небосклон, раскрывавшийся в поэмах Гомера, именно в то время нашедших столь талантливых истолкователей²⁷.

Но нашему курсу посчастливилось в том отношении, что на нашу долю выпало великое событие, которое должно было глубже запечатлеть в нас значение университета. 12 января 1855 г. Московский университет вступал во второе столетие своего существования. Этот переход сопровождался торжественным актом с речами и обедом, который давал университет профессорам и студентам. Но более глубокое впечатление, чем эти торжества, сделал на меня вечер у проф[ессора] Кудрявцева, на который меня пригласил П. М. Леонтьев, где он представил меня Т. Н. Грановскому²⁸. С доброй и счастливой улыбкой Грановский предостерегал меня от вредного для здоровья влияния слишком усиленных занятий. Проф[ессор] Соловьев говорит о своем некрологе о Грановском: «Теплое и разумное слово его ласкало человека, к которому обращалось, что было всегда желанным, дорогим подарком»²⁹. Именно это чувство я испытал тогда. Я не мог думать тогда, что самому Грановскому грозит какая-либо опасность <...>.

III

Главный наш интерес сосредоточивался на втором курсе на лекциях Грановского. В его аудитории было несколько лично ему знакомых студентов и отчасти учеников: Чичерины, Капнист. Согретый теплым радушием, с которым приветствовал меня Грановский, я стал с тем большим интересом слушать введение по философии истории к его лекциям на втором курсе. Мне особенно памятна из этого лекция о Гердере³⁰. Поэзия, вложенная Гердером в его научный труд, дала возможность и Грановскому обнаружить поэтическое дарование, которым он сам обладал, и поднять с собою своих слушателей на высоту научного идеализма. Но эта лекция была последней в его жизни. Мы снова увидели его уже в гробу, когда пришли дежурить первую ночь при его теле.

Участие студенчества в общей скорби по Грановскому, проявившейся на его похоронах, было первым проявлением корпоративной жизни в Московском университете после долгого унылого прозябания и потому встревожило начальство, назначенное еще при старом порядке. Особенно задел его лавровый венок, который студенты несли перед гробом Грановского. Несколько дней спустя нас вызвали к попечителю округа, которым был тогда генерал Назимов³¹. В пространной речи он стал доказывать нам неуместность нашего поступка, мотивируя свое осуждение тем, что лавро-

вые венки могли присуждать лишь ареопаг в Афинах и Академия в Риме.

Грановский оставил по себе такую глубокую память у своих друзей и учеников, что они еще долго собирались в день его смерти на его могиле и вечером на его поминальном обеде. Этот последний обычай длился тридцать лет, пока был жив товарищ Грановского и Герцена доктор Кетчер, известный как переводчик Шекспира ³².

Полнейший контраст с Грановским представлял его товарищ по заграничной командировке Бодянский, профессор славянских наречий. Неуклюжая походка и, можно сказать, уродливое лицо Бодянского внушали слушателям не интерес, а страх, в отличие от изящной личности Грановского. То же было и с лекциями. Пятнадцать лекций Бодянского по славянским языкам и истории были настоящим бичом для студентов на старших трех курсах. По две лекции посвящалось истории литературы какого-нибудь из трех народов (по очереди: сербского, чешского или польского), два часа — истории того же народа, а пятая лекция — грамматике ³³.

Я лично, впрочем, не имел повода жаловаться на Бодянского. На первом экзамене мне достался вопрос о королеве Риксе. Я только что начал отвечать, как Бодянский меня прервал вопросом: «А какое это имя — Рикса?» ³⁴ Я не подумал об этом и поэтому смутился, но, к счастью, догадался и ответил: «Беатриче». — «Беатриче. Беатриче. Беатриче», — сказал Бодянский, осклабившись добродушной улыбкой, и прекратил дальнейший экзамен. Затем он предложил мне прочесть один исторический роман на чешском языке, из которого у меня сохранился в памяти теперь только произнесенный в нем тост: «За здравие вшехо, цо в срдце носим!»

Вознаграждением за это добродушное, но безалаберное преподавание мог служить курс греческой истории, читавшийся Кудрявцевым по два часа в неделю и доведенный, правда, только до реформы Клисфена включительно (...). Этого было достаточно, чтобы заинтересовать нас судьбою великой афинской демократии и побудить в знаменитом творении Грота искать продолжения его курса ³⁵.

Но, кроме истории Афин, нас занимал предмет из совершенно другой области — предмет профессора русской словесности Ф. И. Буслаева — древняя русская литература ³⁶. Особенно живую струю сумел Ф. И. Буслаев извлечь из области отведенной ему древнерусской литературы — народную поэзию. Это и приехотило меня взяться за предложенную им на золотую медаль тему о песнях Кирши Данилова, медаль, которую я и получил ³⁷. Кстати упомяну, что я получил и следующую медаль за тему, заданную Леонтьевым, — «О роли волка и собаки в мифологии» ³⁸. За эту тему получил вторую медаль и Александр Веселовский.

Но второй курс был для меня и вообще счастливым временем. Леонтьев предложил мне жить у него и отвел мне одну из трех занимавшихся им в квартире комнат. В той же квартире занимал

комнату и другой профессор латинской словесности — Шестаков, разбитый параличом и переведший первый том только что вышедшей «Римской истории» Моммзена. Леонтьев и пригласил меня проверить с Шестаковым верность этого перевода. К сожалению, перевод не скоро вышел. Деньги на издание (...) дал друг Грановского Ал[ександр] Вл[адимирович] Станкевич, но печатание затянулось (...) ³⁹. Леонтьев придумал для меня еще другое дело. Он вздумал издавать на русском языке латинский лексикон и предложил мне подобрать к латинским словам санскритские корни, чтобы степень родства слов ясно выступала ⁴⁰.

К обеду все профессорские семьи собирались вокруг хозяйки, жены Кудрявцева (урожд. Нелидовой), молодой женщины, живой и веселой, как бы созданной, чтобы поддерживать дух ее задумчивого мужа ⁴¹. Легко себе представить, как мне хорошо жилось в этой обстановке. К сожалению, жилось не долго. Леонтьев сошелся с Катковым для издания «Русского вестника», а Кудрявцев собрался на год за границу в теплый край для поправления своего здоровья и работы над биографией Карла V ⁴².

IV

Но третий курс принес с собой если новые заботы, но и новые научные утехы. В этом отношении приходится на первом месте упомянуть о четырехчасовом курсе русской истории, читаемой С. М. Соловьевым ⁴³. Это был не только исторический курс в смысле простого повествования, но и в смысле исторического строительства. Из родового полукочечевого быта и народа и князей на наших глазах строилось, сплачивалось русское государство, сначала разрозненное, с усобицами, но по мере того, как в нем создавалось, помимо идеи родства князей и более существенное понимание кровного родства самого народа, должна была изменяться форма и цель государства — из родовой вотчины оно должно стремиться установить свою власть над однородными частями. И слушая, как профессор научал нас понимать политику древних русских, мы заинтересовывались ею (...). Перед нами проходили один за другим периоды русской истории с их разнообразными оттенками и характерными князьями, налагавшими свою печать на каждый из них: период Владимира Святого, создавшего христианскую Русь, общий удел князей-рюриковичей до Иоанна IV, открывшего русским татарский Восток, и до Петра Великого, растворившего настежь дверь в Европу, в европейскую цивилизацию. В истории России, может быть, не было минуты, когда бы перед слушателем открывалось так убедительно и успокоительно великое будущее (...), как в устах Соловьева (...).

Между тем вернулся из-за границы Кудрявцев, но не [на] радость ни себе, ни нам. Мы увидали его впервые по возвращении 4 октября [1857 г.] на могиле Грановского. Он был неузнаваем, до того изменился лицом. Несмотря на это, он начал читать курс новой истории, но здоровье его было подорвано за границей окон-

чательно ударом, который ему нанесла смерть жены. Он слег, и в морозный январский день мы его похоронили на противоположном конце Москвы, на Даниловском кладбище ⁴⁴.

Но в университете между тем произошла большая перемена в настроении студентов. Поводом к этому послужила дикая расправа, произведенная полицией с кружком польских студентов. В квартиру она вломилась ночью, и [не]которых она, при сопротивлении их, забрала, как тогда говорили, в часть, причем некоторых поранила. Известие об этом быстро распространилось, и когда я на другое утро, отправляясь на лекции, проходил через внутренний двор, тогда занятый садом, то увидел большую возбужденную толпу, слушавшую оратора. Это был мой товарищ — однокурсник Рыбников, приобретший впоследствии известность своим собранием русских народных песен ⁴⁵. Он был много старше нас, купеческого звания и ранее этого сопровождал купца Солдатенкова во время его путешествия в Испании, куда его потянуло в подражание другому купцу — Боткину, прославившемуся своим описанием этой страны ⁴⁶. Рыбников любил рисоваться. Наше с ним знакомство, напр[имер], началось с того, что я нашел на своем месте большую связку сочинений Кальдерона, вывезенную Рыбниковым и занесенную им на лекцию. И на этот раз он не утерпел, чтобы не порисоваться перед студентами в качестве оратора. Не нужно было, конечно, особенного красноречия, чтобы заинтересовать студентов в судьбе своих товарищей. И так разыгралась так называемая студенческая история с избранием депутатов, ходатайством за заключенных и т. д.

Окончилась она на этот раз благополучно тем, что я был вызван к ректору, почтенному седому Альфонскому, от которого я выслушал выговор за свое звание депутата ⁴⁷. Рыбников, впрочем, не знаю почему, был потом сослан на житье в Олонецкую губ[ернию], что ему послужило впрок, ибо дало ему возможность составить там свой известный сборник русских народных песен. Ссылка эта, впрочем, не помешала Рыбникову сделаться вице-губернатором одной из польских губерний.

V

Между тем новый министр народного просвещения, заботясь о приготовлении профессоров для пустующих кафедр, ввел так называемое «оставление при университете» или назначение профессорских стипендий на два года кончившим курс для приготовления к магистерскому экзамену под руководством соответствующего профессора.

Моим руководителем был Вызинский, сам только что ставший магистром ⁴⁸. Это был способный поляк, что он доказал своей талантливой диссертацией о Базельском соборе, хорошо говоривший по-русски. Лишь однажды на публичной лекции он выразился «палец» вместо «перст провидения». Но руководителем он был мне неважным. Под его руководством я перечитал без определен-

ной системы и плана наиболее классические сочинения по западноевропейской истории, а по выдержании экзамена отправился к директору архива иностранных дел кн. М. Оболенскому испросить разрешения для занятий в архиве ⁴⁹.

Мне посчастливилось в том отношении, что я попал на округлую незатяжную тему, как большая часть архивных, на избрание польского короля в 1733 г., так как в нашем архиве я нашел реляции русского уполномоченного графа Левенвольде, заключающие в себе неизданный и весьма интересный материал по этому избранию ⁵⁰. Это дало мне возможность в течение года написать и напечатать диссертацию, и, по любезности моих критиков, я был еще до летней вакансии допущен к диспуту и получил степень. Диспутантами были, кроме Соловьева, не Вызинский, а переведенный из Казани профессор всеобщей истории Бшевский ⁵¹. Таким образом, мои учебные дела сложились для меня удачно и, можно прибавить, очень кстати. Так, как раз к этому времени министерство предложило университету представить ему несколько человек для заграничной командировки. Был предложен и я ⁵². Но тут едва не случилось обстоятельство, которое могло все расстроить.

Лето 1862 г. я провел в подмосковной очень сырой местности и захво[рал]. Молодой врач, к которому я обратился за советом, велел поставить мне банки, которые меня очень ослабили и оттянули мое отправление до ноября. А берлинская знаменитость Траубе отнесся также к моему случаю очень серьезно и послал меня в Пизу. Но к моему счастью, горловой врач Левин ⁵³ оставил меня в Берлине и велел прибегнуть к местному лечению в ингалятории. Это меня ободрило, так что я мог воспользоваться берлинскими учеными знаменитостями.

К сожалению, мало было в этом отношении подходящего. Моммзен читал специальный курс о Плинии, Ранке на семинарии читал попросту Адама Бременского без всякого комментария и т. д. Более всего я вынес из семинария Кёпке по источникам для истории X в. Посещал я и вечерние лекции популярного Дройзена по истории XVIII в., очень интересные для смешанной публики, набивавшейся в аудиторию, но не обходившиеся без частных недоразумений, когда лектор касался русской истории ⁵⁴.

Так быстро прошел зимний семестр, а с ним стал проходить и мой катар горла. И я с новыми силами и надеждами отправился в живописный Гейдельберг. Здесь я имел возможность более целесообразно для себя подобрать университетские курсы. По истории самым видным преподавателем был Лудвиг Гейссер ⁵⁵. Я прослушал его утренний курс по римской истории и послеобеденный по истории французской революции. Он читал внушительно и ясно, как подобает парламентскому оратору. Полную противоположность ему в этом отношении представлял ученый Ваттенбах, руководство которого по средневековой анналистике до сих пор неизбежное и драгоценное руководство для историков ⁵⁶.

Два курса слушал я и у Целлера, заменившего, к сожалению, знаменитого профессора философии Куно Фишера ⁵⁷, вытесненного

из Гейдельберга во время реакции в начале 50-х годов. У Целлера я слушал психологию и курс политических учений. Оба эти курса были рассчитаны на юных слушателей. Самого Целлера я мог оценить как ученого и мыслителя лишь когда прочел его замечательную и глубоко продуманную «Историю философии» в Германии.

У Блунчли я прослушал курс политических учений, а у Цепфла — историю государственного права в Германии. Этот курс читался после обеда [с] 2 [до] 3 [час.], но веселый юмор лектора поддерживал все время интерес слушателей⁵⁸. В свободное время я заходил и на лекции знаменитого профессора по уголовному праву Миттермайера и к Рейхлину-Мельдеггу по литературе, а с прив[ат]-доцентом Лебо прочел Ювенала⁵⁹. Летний семестр был, таким образом, хорошо наполнен и оставил по себе самые лучшие и глубокие воспоминания.

Помимо университета, Гейдельберг представлял большой интерес своей еще раньше организованной русской читальней. Но это было время польского восстания, а по этому вопросу посетители резко расходились. Двое из моих знакомых даже так разгорячились <...>, что вызвали друг друга на дуэль. Один из них, еще очень юный, был младшим братом дорогого мне университетского товарища. Другой был один из братьев де Роберти, окончивший курс в Московском кадетском корпусе, где я давал четыре года уроки и где у меня было много юных друзей. При таких условиях я, конечно, не мог оставаться равнодушен к предполагавшейся дуэли. Я переговорил с де Роберти, и хотя он не был непосредственно моим учеником, он знал о моих отношениях к кадетам (они поднесли мне на прощание золотой перстень с надписью) и любезно согласился отказаться от своего вызова⁶⁰.

VI

Мой учебный сезон закончился. По совету проф[ессора] Фридрейха⁶¹ я уехал на салины в Рейхенгаль для укрепления горла, а затем решил отправиться в страну не науки, а древнейшей культуры, влечение к которой так поэтично выражено словами Миньона: «Kennst du das Land» * и т. д.⁶²

Путь в Италию был в то время не так удобен, как теперь. Я решил ехать через Францию и совершить ради дешевизны переезд на корабле из Ниццы в Геную. Переезд пришлось совершить на плохом корабле в бурную погоду, и я едва не испытал печальной участи семьи Герцена на том же рейсе⁶³. Но уже Генуя меня вознаградила, и тем более Флоренция, где я провел два месяца, занимаясь в библиотеке Magliabecchi⁶⁴, и продолжал изучение истории искусства, начало которому я положил в Берлинском музее, очень удобном для этой цели.

Так как во Флоренции у меня не было никаких знакомых, то

* «Знаешь ли ты страну?» (нем.).

моему ознакомлению с итальянским языком и искусством ничего не препятствовало. И вдруг среди этой идиллии на меня пахнуло суровой действительностью. Однажды я проснулся от громких криков разносчиков: «Il colopello Vecchi dai Russi!..» *, извещавших о печальной судьбе итальянского полковника, вздумавшего сражаться в Польше на стороне повстанцев и расстрелянного по приговору русского военного суда. На (...) итальянцев это произвело такое сильное впечатление, что я счел долгом написать об этом Леонтьеву, но попал невпопад. Как мне писали из Москвы, Леонтьев остался очень недоволен моим письмом и говорил обо мне, что я полякующий. При тогдашнем настроении Каткова и Леонтьева это был непростительный грех. В этом обнаружилась несимпатичная черта П. М. Леонтьева, все более и более развивавшаяся, нужно думать, под влиянием Каткова. Подозрительность помешала ему понять настоящий мотив моего письма: желание через влиятельный орган «Московских ведомостей» внушить кому следует, насколько не нужна была жестокость по отношению к пленному итальянскому полковнику, озлоби [вшая] легко воспламеняющийся итальянский народ против России ⁶⁵.

Пробыв два месяца в прекрасной Флоренции, я поехал в Рим. Если Флоренция привлекала историка своим средневековым прошлым, то насколько сильнее было очарование Римом! К красоте местоположения самого города и его окрестностей присоединилось здесь, можно сказать, бесконечное прошлое величие города, недаром названного Вечным и доросшего от скромных зачатков изображаемых глиняными урнами-хижинами древних латинян до остатков мраморных дворцов императоров на Палатине города.

Пережить мысленно этот великий мировой процесс есть высокое счастье, тем более пережить его в самом Риме в памятную эпоху Пия IX ⁶⁶. Это замечательное пребывание в Риме сопровождалось для меня целым рядом благоприятных обстоятельств и условий. На Капитолии водворилось Прусское археологическое общество, руководители которого гостеприимно вводили проезжего в область археологии. А на противоположной стороне Рима, в Ватикане, ученый папский библиотекарь аббат Тейнер с не меньшим вниманием готов был предоставить гостю из Московии свои печатные и даже рукописные сокровища ⁶⁷. Ко всему этому присоединилось ласковое и гостеприимное отношение семьи одного из наиболее близких мне университетских товарищей, в то время прибывшей в Рим и содействовавшей посещению мною красивых дворцов и вилл римской аристократии ⁶⁸.

Доехав до Рима, я, конечно, не был в состоянии устоять от соблазна проехать дальше на юг, чтобы увидеть Неаполь, Помпеи и знаменитые Пестумские храмы в совершенной пустыне на болотистом берегу Средиземного моря, представляющие собой хорошо сохранившиеся чудеса дорической архитектуры. На возвратном пути на север я не упустил случая изучить художественные сокровища Венеции и Милана.

* «Полковник Бекки, расстрелянный русскими ...» (ит.).

VII

Между тем в России был издан Университетский устав 1863 г., и на основании этого устава я был избран университетом доцентом по кафедре всеобщей истории. Этому избранию, вероятно, содействовал критический разбор первого тома исторической хрестоматии, изданной проф[ессором] Стасюлевичем в Петербурге⁶⁹. Самый план этого издания заслуживал всякого внимания и поощрения. Первый том представлял собою интересный подбор важных источников для средневековой истории в русском переводе, начиная с «Германии» Тацита. Но, к сожалению, перевод был поручен молодым людям, слишком мало знакомым с латинским языком, так и с историей, а потому кишел ошибками двоякого рода. Критическую свою статью я послал в редакцию «Русского вестника», где она была <...> напечатана, несмотря на свой специальный характер.

В качестве доцента истории я стал младшим коллегой проф[ессора] <...> Ст[епана] В[асильевича] Ешевского, которого я вскоре и ближе узнал и лично оценил. Возвращаясь из Италии на север в начале лета 1864 г. через Швейцарию, я остановился на берегу Женевского озера. Там я получил письмо от проф[ессора] Ешевского <...> с извещением, что факультет во внимание к моему ходатайству постановил продлить мою заграничную командировку на третий год <...>.

Командировка моя на самом деле была продолжена <...>, и, удивившись во время поездки в Париж, что мне полезнее будет провести еще один семестр в Германии, [я] вернулся туда и поселился в Бонне⁷⁰. Меня туда главным образом притягивал Зибель и филолог Отто Ян. Но Зибель, к сожалению, не читал истории революции 1789 г. и не вел по ней семинария, а читал политику — предмет, который читался тогда, как было указано, в Гейдельберге Блунчлием⁷¹. Политика не в смысле дипломатии, а в смысле учения о государстве! Программа этого предмета была весьма разнообразна, касаясь не только политического устройства государства, но и его хозяйственной жизни. Так, Зибель однажды, напр[имер], указал на то, что земля под посевом приносит втрое больше дохода, чем под лесом, так что мелкие землевладельцы склонны занять лес пашней. Вследствие этого в Пруссии, которая нуждается в 31% лесного пространства, в 60-х годах осталось только 18 и недостающее количество должно быть восполнено каменным углем, торфом и т. д. Но леса, кроме того, нужны как регуляторы климата и орошения. Без них реки утрачивают судоходность, ночные морозы становятся сильнее. Вследствие обезлесения несколько плодородных стран подверглись запустению: Ирландия, Прованс, целая треть Испанского плоскогорья, две трети Греции и т. д.

В лекции о происхождении государства Зибель настаивал на том, что оно произошло не случайно, не вследствие какого-нибудь намерения (договора), но коренится в природе человека, который

призван к развитию лежащих в нем духовных задатков, а для этого нужно взаимодействие отдельных индивидуумов. Согласно с этим, Зибель возражает против революционной теории о договорном происхождении государственной власти. В 1789 г. образовалась только форма власти, но государственная власть не прерывалась. Только переход <...> совершился быстрее, неправильнее, насильственнее, чем обыкновенно, aber es war keine Lücke da *. В лекции о монархии он признавал отличительным свойством ее то, что она покоится на собственном праве, а не на поручении. Этим она отличается от единовластия в республике (президента, хотя бы и пожизненного).

Кроме Зибеля, историю читали в Бонне Кампшulte и молодые историки, приобретшие впоследствии известность, — Мауренбрехер и Норден ⁷². К историкам можно причислить и Шпрингера — чрезвычайно талантливого лектора и писателя, читавшего в Бонне историю искусств, которую я слушал с особенным интересом после моего пребывания в Италии и ввиду моего посещения музеев в Бельгии, Голландии и Лувра ⁷³.

Философию читали почтенный, но уже очень престарелый Брандис и очень молодой, талантливый Мерц, которого я потом совершенно потерял из вида, пока не встретил его имя в самое последнее время в книге Блавацкой ⁷⁴.

Бонн оставил дорогие воспоминания не только своими преподавателями, а также и некоторыми слушателями, с которыми я там познакомился. В особенности мне приходится здесь упомянуть о К. К. Арсеньеве, с которым я потом встретился в Москве, когда он приезжал сюда для защиты литературных процессов, и в Петербурге ** в доме гостеприимного М. М. Стасюлевича. С К. К. Арсеньевым мы виделись каждый день во время обеда и послеобеденной прогулки по аллее в Поппелсдорф к Земледельческому институту ⁷⁵.

Товарищем нашим за обедом был Paul Lerou-Beaulieu, ставший потом известным экономистом. В России я впоследствии познакомился с его братом, хорошо здесь известным, которому я, между прочим, служил переводчиком во время его пребывания в имени А. И. Станкевича в Ворон[ежской] губ[ернии]. Помню особенно его посещение сельского суда в страшно жаркий день в крестьянской избе, в которой трудно было дышать от избытка мух ⁷⁶.

Кроме К. К. Арсеньева, я находил развлечение в обществе почтенного помещика из Малороссии Алферова, лечившегося от паралича у д[октора] Вольфа и бодро переносившего свое тяжелое положение. Его бодрость в значительной степени поддерживалась усердным чтением выписывавшихся им радикальных петербургских журналов, особенно статьями популярного тогда Писарева ⁷⁷.

* Но это произошло не на пустом месте (нем.).

**В тексте ошибочно: Петрограде.

VIII

С большим сожалением я простился с Бонном, тем более что проведенное там время было последней для меня порой вольной студенческой жизни, после которой мне предстояло нелегкое и ответственное профессорство, для которого я считал себя недостаточно подготовленным. Затрудняясь вопросом, с чего начать, я решил предпослать курсу общее введение философско-исторического содержания и воспользоваться летом, чтобы его подготовить. С этой целью я поселился в Восточной Швейцарии, на оз. Четырех кантонов, где и предался изучению философии истории Гегеля⁷⁸, а оттуда возвратился в Москву.

С философского введения я и начал свой первый университетский курс. Оно заняло, кажется, 9 или 11 лекций и было тогда же напечатано в «Русском вестнике»⁷⁹. Первыми моими слушателями были студенты тогдашнего 4 и 3 курсов. Четвертый курс был малочисленный. Среди него оказался, однако, один способный к научным занятиям всеобщей историей. Он впоследствии стал готовиться к магистерскому экзамену и получил командировку за границу, но позже предпочел административную службу.

Многочисленнее и богаче научными силами оказался третий курс. С ним у меня оказалось больше точек соприкосновений, особенно с П. Мельгуновым⁸⁰, посвятившим себя всеобщей истории. В память его помещу здесь оставленную им у меня записочку: «Милостивый государь Владимир Иванович! Сегодня Алфераки, Фортунатов, Шварц и я⁸¹ приезжали к Вам, чтобы благодарить Вас от лица 4-го курса за ту обязательную руку помощи, которую Вы протянули нам, ввергнутым в безвыходную бездну малороссийского упрямства⁸². Самое удобное для нас было бы, если бы Вы согласились перенести Ваш экзамен на 25-е число. Мы уже переговорили с Сергеем Михайловичем (Соловьевым.— В. Г.) и Федором Ивановичем Буслаевым (он согласен перенести свой экзамен с 25-го на 27-е), и с их стороны в настоящее время препятствий никаких нет, так что нам остается только получить Ваше согласие, в котором мы не сомневаемся»⁸³.

Средством сблизиться с аудиторией и влиять на нее послужили мне семинарии. Нельзя сказать, чтобы это новое учено-педагогическое средство принялось у нас беспрепятственно. Материалом для своего семинария по курсу средних веков я избрал «Германию» Тацита, тем более что она была очень искажена в недавно изданной хрестоматии Стаскулевича. На первом собрании семинария я после введения передал текст Тацита сидевшему против меня студенту с предложением прочесть и перевести указанную фразу. Студент Лебедев в ответ на то протяжно возразил: «Я не желаю». Наступило молчание для меня тягостное, ставившее меня в неловкое положение, которое я прервал словами: «Ну так пожелайте». Это было рискованно, но привело к благополучной развязке. Лебедев стал впоследствии магистром средневековой истории и в качестве члена городской управы долготетным начальником городских школ, а, наконец, и товарищем городского головы <...>⁸⁴.

Благодаря семинарию уладились мои отношения с лучшим из студентов, а через них и с остальными. Но мне необходимо было утвердиться и в моем положении среди профессоров, а этого я мог достигнуть только с помощью докторской диссертации. Конечно, мне можно бы было представить в виде диссертации мое введение в историю, и оно представляло достаточную возможность извлечь из него ряд тезисов, нужных для докторского диспута, но мне это тогда не приходило в голову, и я взялся за новую тему и остановился на Лейбнице⁸⁵. Но писать о Лейбнице казалось невозможным, не познакомившись с оставленным им письменным наследством. И весной 1868 г. я выехал с этой целью в Ганновер и Вольфенбюттель (...). Книгу о Лейбнице я защитил в виде докторской диссертации, но профессуры не получил, а был забаллотирован советом [университета] вследствие раскола среди профессоров и моей симпатии к меньшинству (...). Не желая в таких условиях продолжать чтение лекций, я испросил себе заграничный отпуск у нового министра просвещения графа Д. А. Толстого и выехал на зиму 1869/1870 г. в Рим (...)⁸⁶.

¹ Станислав Лещинский (1677—1766) — польский король в 1704—1709, 1733 гг. В середине 1730-х годов Антуан Герье служил при его дворе конюхом (ГБЛ. Ф. 70. (В. И. Герье). К. 32. Ед. хр. 1. Л. 2 об.).

² Герье Мишель (Михаил Францевич) в России с конца XVIII в. (ум. 1831).

³ Упомянутое сочинение опубликовано Франсуа Герье (1740 — конец 1820-х) в Гамбурге в 1817 г.

⁴ Пуадбар Жан (1762—1824) — французский инженер, механик. Вместе с ним в Россию приехал дядя отца В. И. Герье — Жан-Франсуа (1775? — 1857).

⁵ В. И. Герье родился 17 мая 1837 г. в подмосковном селе Ховрино. Первые 8 лет жизни он провел в имении А. А. Гвоздева в с. Дашково (Птицыно) Орловского уезда, где его отец, Иван Иванович (ум. 1845), служил управляющим.

⁶ Отец Екатерины Павловны Герье (урожд. Бруггер) (ум. в конце 1840-х годов) владел в Москве «заведением для музыкальных машин». По смерти матери В. И. Герье живет в доме Ф. И. Герье: «Здесь я в зимние вечера ходил по окончании работ в мастерскую и слушал, как пожилой столяр читал почти что по складам описание войны 12-го года по книге с оторванным заглавным листом. Полагаю, что это [было] сочинение Загоскина «Рославлев» (К. 32. Ед. хр. 15).

⁷ Беккер Карл-Фридрих (1777—1806) — немецкий историк, автор «Всеобщей истории для детей и детских учителей» (Т. 1—9. Берлин, 1801—1805).

⁸ В. И. Герье посещал приходское училище при евангелическо-лютеранской церкви Петра и Павла на Козьмодемьянской ул. в 1845—1849 гг.

⁹ Найденовы — московские купцы, фабриканты, гласные городской думы: Александр Александрович (1839—1915); Николай Александрович (1834—1905) — автор трудов по истории Москвы. «Воспоминаний о виденном, слышанном и испытанном» (М., 1903—1905). Ложечников Сергей Николаевич (1838—1911) — главный врач московской глазной больницы. О преподавателях училища см.: *Найденов Н. А.* Воспоминания... М., 1903. Ч. 1. С. 3—26.

¹⁰ В пансионе Эннеса В. И. Герье обучался с 1849 г.

¹¹ Афанасьев А. Н. (1826—1871) — историк, литературовед, издатель.

¹² Клиг Эрнст Федорович (Людвиг-Эрнст) (1794—1866) — с 1837 г. преподаватель латыни в Московском университете.

¹³ Стороженко Николай Ильич (1836—1906) — историк литературы, автор исследований о Шекспире.

¹⁴ Веселовский Александр Николаевич (1838—1906) — историк литературы, с 1872 г. профессор Петербургского университета, академик. Рыбников Павел Николаевич (1831—1885) — этнограф, фольклорист, в 1861—1867 гг. опублико-

- вал 4 тома записей былин, исторических песен и т. д. Шереметевский Александр Петрович (род. 1837) — преподаватель истории в московских гимназиях. Погодин Дмитрий Михайлович (1836—1890) — сын историка М. П. Погодина. Кананов Георгий Ильич (1834—1897) — инспектор, директор Лазаревского института восточных языков. Капнист Дмитрий Алексеевич (род. 1836) — чиновник Министерства иностранных дел. Чичерины: Петр Николаевич (род. 1838), Сергей Николаевич (род. 1844) — родные братья историка и общественного деятеля Б. Н. Чичерина (1828—1904). Студенты западных губерний: Лукомский Иван (род. 1835), Аспис Богумил (род. 1833). По «именной ведомости об учащих» студентов-семинаристов на первом курсе не значится.
- ¹⁵ Куломзин Анатолий Николаевич (1838— после 1917) — в 1883—1903 гг. управляющий делами Комитета министров, с 1904 г. — член, с 1915 г. — председатель Государственного совета. Лаврентьев Леонид Иванович (1833—1914) — в 1884—1899 гг. помощник попечителя Петербургского учебного округа, в 1899—1914 гг. — попечитель Западно-Сибирского учебного округа. Попов Александр Андреевич (род. 1835) — сенатор. Сергеевич Василий Иванович (1835—1911) — с 1872 г. профессор русского права Петербургского университета, в 1888—1897 гг. — декан, в 1897—1899 гг. — ректор, в 1907—1910 гг. — член Государственного совета.
- ¹⁶ В варианте после характеристики товарищей по университету следует абзац: «Лекции начинались в 9 утра и продолжались до двух. После чего я оставался на изучение санскритского и арабского языков у ориенталиста Петрова» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 6 об.). Петров Павел Яковлевич (1814—1875) — с 1852 г. преподаватель восточных языков в Московском университете.
- ¹⁷ Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858) — профессор всеобщей истории Московского университета, ученик Т. Н. Грановского и его преемник на кафедре.
- ¹⁸ Геродот — древнегреческий историк V в. до н. э.
- ¹⁹ Лепсиус Карл Рихард (1810—1884) — профессор Берлинского университета, руководитель экспедиции в Африку в 1842—1846 гг. Речь идет о публикации материалов «Памятники из Египта и Эфиопии» (Берлин, 1849—1859). Лэйярд (1817—1893) — английский историк, археолог, руководитель раскопок в Месопотамии в 1849—1851 гг. Дункер Макс (1810-е — 1886) — немецкий историк античности, автор «Истории древностей» (Т. 1—9. Лейпциг, 1852—1886).
- ²⁰ Леонтьев Павел Михайлович (1822—1875) — с 1872 г. профессор римской словесности Московского университета, публицист, издатель.
- ²¹ Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ.
- ²² Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — в 1845—1850 гг. адъюнкт, профессор кафедры философии Московского университета, в 1850—1855, 1863—1887 гг. — редактор (совместно с П. М. Леонтьевым) газеты «Московские ведомости», в 1856—1887 гг. — издатель «Русского вестника».
- ²³ В варианте абзаца этот разговор отнесен к концу 1860 — началу 1870-х годов и связан с возникшими разногласиями П. М. Леонтьева и М. Н. Каткова по вопросу о «направлении» «Московских ведомостей» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 65 об.).
- ²⁴ Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — профессор русской словесности, декан историко-филологического факультета Московского университета, публицист. Уволен в отставку после ссоры с гр. В. А. Бобринским на заседании Московского художественного общества (а не в Английском клубе, как в тексте) 14 янв. 1857 г. «Что в море купаться, что Данте читать...» — искаженная первая строка стихотворения С. П., Шевырева «Чтение Данте» (1830).
- В варианте этого абзаца В. И. Герье расширяет характеристику лекционного курса Шевырева: «Шевырев оставил, таким образом, по себе двойственное впечатление. Прославляя корифеев античной и западной литературы (Гомера, Данте, Шекспира), он вводил учащуюся молодежь в круг современной цивилизации, но в то же время своим пристрастным отношением к русской действительности внушал этой молодежи и недоверие к Западу и его науке» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 20 об.).
- ²⁵ Шестаков Сергей Дмитриевич (1820—1858) — адъюнкт кафедры латинского языка Московского университета, переводчик «Римской истории» (М., 1858—1861) немецкого исследователя античности Теодора Моммзена (1817—1903).
- ²⁶ Меншиков Арсений Иванович (1807—1884) — профессор греческого языка Московского университета.
- ²⁷ Пеховский Осип Иванович (1816—1891) — в 1854—1869 гг. профессор греческой

словесности Московского университета, в 1871—1885 гг. — ординарный профессор Харьковского университета; докторская диссертация защищена в 1868 г.

²⁸ Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — с 1839 г. профессор всеобщей истории Московского университета. Для В. И. Герье характерно замалчивание демократического характера общественно-политических и исторических взглядов ученого, противопоставление его «идеализма» «материализму» А. И. Герцена. См.: *Герье В. И. Тимофей Николаевич Грановский: В память столетнего юбилея его рождения.* М., 1914. С. 50.

²⁹ Речь, некролог и отчет, произнесенные в торжественном собрании имп. Московского университета 12 января 1856 г. М., 1856. С. 5.

³⁰ Гердер Иоанн Готфрид (1744—1803) — немецкий историк, философ.

³¹ Назимов Владимир Иванович (1802—1874) — генерал-лейтенант, попечитель Московского учебного округа в 1849—1855 гг.

³² Кетчер Николай Христофорович (1809—1886) — писатель, переводчик. По смерти Кетчера В. И. Герье пытался взять на себя инициативу чествований Грановского и Соловьева. См.: *Анналы.* 1922. № 1. С. 157.

³³ Бодянский Осип Максимович (1808—1877) — профессор истории и литературы славянских наречий.

В вариантах раздела В. И. Герье расширил характеристику его курса:

1) «Первая, напр[имер], лекция Бодянского, которая к тому же произносилась в торжественной обстановке в присутствии министра просвещения Норова, заключалась в точном перечислении всех пограничных уроцищ и местечек Сербии вместо того, чтобы дать общую картину поэтических сербских былин» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 16 об., 18 об.).

Норов Авраам Сергеевич (1795—1869) — в 1854—1858 гг. министр народного просвещения.

2) «Недостаток лекций Бодянского заключался в том, что они не достигали своей цели, не научали нас ни языкам, ни истории, ни литературе славянских народов, за исключением разве сербских народных песен Вука Караджича. Наиболее же важный для нас вопрос, польская литература, оставалась нам неизвестной» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 21).

Караджич Вук Стефанович (1787—1864) — реформатор сербского языка, фольклорист.

³⁴ Рикса — вероятно, одна из польских княгинь XII—XIII вв.

³⁵ Клизфен (VI в. до н. э.) — законодатель, реформами которого завершился процесс оформления афинской рабовладельческой демократии. Грот Джордж (1794—1871) — английский историк античности, автор «Истории Греции»

³⁶ Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — филолог, профессор Московского университета, с 1860 г. — академик.

³⁷ Кирша Данилов — предполагаемый составитель сборника русских былин и др. середины XVIII в.

³⁸ В ходе работы В. И. Герье значительно дополняет этот абзац: «Работа над этой темой ввела меня в самую гущу греческой мифологии и ее истолкования и имела для меня то последствие, что Леонтьев предложил представить меня на „оставление при университете“ для приготовления по кафедре древних языков и словесности. Как ни лестно было для меня это намерение, я не решился последовать его приглашению. В особенности меня пугало недостаточное знание греческого языка, которое я сознавал за собой вследствие того, что греческому языку я до университета обучался только на частных и непродолжительных уроках, которые мне давали безденежно сначала ректор Петропавловской школы Цим, а у Эниса — лектор греческого языка Клиш из лужичан. В университете же ни Пеховский, ни Меншиков не восполнили пробела в моем школьном образовании. Этот испытанный в моем образовании пробел сделал меня убежденным приверженцем классического образования» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 61 об.).

В первоначальном варианте текста В. И. Герье более четко сформулировал причину своего отказа остаться на кафедре П. М. Леонтьева: «При таких условиях тот интерес, который мне внушали лекции Кудрявцева, и привлекательная личность Грановского взяли верх над заманчивым предложением П. М. Леонтьева, и я стал готовиться к магистерскому экзамену по всеобщей истории. Это было первое обстоятельство, нарушившее добрые отношения ко мне Леонтьева. Хотя он высоко и искренно почитал Грановского, это не мешало ему

относиться несколько пренебрежительно, не скрывая того, к истории как предмету научного изучения» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 7).

³⁹ Станкевич Александр Владимирович (1821—1912) — брат Н. В. Станкевича, писатель, автор биографии Т. Н. Грановского (1869), с начала 1860-х годов — член Воронежского губернского по крестьянским делам присутствия.

⁴⁰ Речь идет, вероятно, об участии В. И. Герье в подготовке сборника «Прописки» (М., 1855—1857).

⁴¹ Кудрявцева Варвара Арсениевна — жена П. Н. Кудрявцева (ум. 5 марта 1857 г. во Флоренции).

⁴² Речь идет о программной работе «Карл V» (Вестник Европы. 1856. Т. 1. С. 120—154; Т. 2. С. 333—376), в которой Кудрявцев определил свое отношение к Реформации в Германии. Ее материалы легли в основу начатого осенью 1857 г. курса лекций в университете.

Позднейший по времени вариант текста: «К сожалению, именно к этому времени относится поворот в жизни и деятельности проф. Леонтьева. Цензурные условия с новым царствованием изменились к лучшему, и это внушало кружку московских профессоров желание приняться за издание литературно-научного журнала. Главным руководителем должен был быть М. Н. Катков, бывший в 40-[x] годах проф[ессором] философии в Московском университете и утративший свою кафедру вместе с упразднением философии из университетского преподавания. Товарищами по редакции намечались проф[ессора] Кудрявцев, Леонтьев и Евгений Федорович Корш. Самую тяжелую роль при издании принял на себя Леонтьев, и он, можно сказать, принес себя в жертву успеху издания. Это самопожертвование не обошлось, однако, без вредных последствий для университета и самого Леонтьева. Оно захватывало его время и интересы. Леонтьев стал сильно опаздывать на лекции и манкировать. Интерес журнала стал для него на первом плане. И скоро этот интерес стал, как мы увидим, отражаться и на личных отношениях Леонтьева к другим профессорам...» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 63 об.— 64 об.).

Корш Е. Ф. (1810—1897) — журналист, переводчик.

⁴³ Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — профессор Московского университета с 1845 г., с 1855 г. — декан историко-филологического факультета, с 1871 г. — ректор.

Основной текст дополнен характеристикой ученого как лектора: «Соловьев читал негромко, скороговоркой, без эффекта, но его серьезное отношение к предмету передавалось слушателям, тем более что, по крайней мере с моей стороны, слушание лекций сопровождалось чтением его „Истории России“, которой я успел прочесть вышедшие к тому времени первые 7 томов» (К. 32. Ед. хр. 1).

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1851—1857. Т. 1—7.

Оценка человеческих и деловых качеств С. М. Соловьева встречается только в варианте на л. 62—62 об.: «При обращении к нему (по смерти Грановского он был избран деканом) отвечал, как казалось, сухо. Но это происходило только от деловитости и нежелания терять напрасно слова и время. На самом деле у С. М. Соловьева было много задушевности, как могли убедиться те, кто имел случай стать к нему ближе. Об этой задушевности свидетельствовал его звонкий добрый смех, которым он заливался при случае».

В варианте абаца, написанном в 1918 г., «государственный» аспект в характеристике С. М. Соловьева выдвигался на первый план: «Что касается до читаемого им курса русской истории, то он, кроме научного интереса, имел серьезное воспитательное значение идей созидания Русского государства, лежащей в его основании и всюду в нем просвечивавшейся. Это особенно бросается в глаза при сопоставлении с курсом его талантливого и симпатичного преемника Ключевского, которого не без основания называли историком разложения» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 62 об.).

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — с 1879 г. профессор кафедры русской истории Московского университета; академик.

⁴⁴ Более подробно эти события изложены в речи В. И. Герье по случаю 40-й годовщины со дня смерти П. Н. Кудрявцева в 1898 г. (К. 33. Ед. хр. 47. Л. 1. об.— 2).

⁴⁵ Пристрастность оценок деятельности и личности П. Н. Рыбникова наглядно проявилась в варианте раздела о студенческом движении начала 1858 г., в котором автор пытается выставить себя в качестве лидера московского студенче-

ства: «Волнение скоро улеглось, но оставило после себя среди студентов большее сознание своего единства и солидарности. Под влиянием этого чувства я выступил 12 января 1858 г. после акта, когда профессорская публика уже разошлась, с речью к студентам, призывая их к выражению своих товарищеских чувств на почве товарищеской помощи и совместной научной работы. Еще при мне это выразилось в организации общей массы и в проекте студенческого сборника. И с этой целью были избраны курсовые депутаты под моим председательством, которое продолжалось, впрочем, в этом составе недолго, так как уже весной я вследствие окончания курса должен был оставить университет». (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 68 об.— 69).

В. И. Герье, несомненно, гораздо шире осведомлен о задачах и целях кружка Рыбникова. Упомянутые в его речи требования выдвинуты на «сборищах в квартире студента Рыбникова». Идея отправки студенческой делегации с ходатайством за польских студентов также принадлежала Рыбникову, Герье лишь входил в нее. См.: *Клевенский М. М.* «Вертепники» // Каторга и ссылка. 1928. № 10.

В феврале 1859 г. П. Н. Рыбников был сослан в Петрозаводск. С 1866 г. — он вице-губернатор в Калише.

⁴⁶ Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901) — купец, издатель, упомянутую поездку он совершил в начале 1850-х годов. Боткин Василий Петрович (1811—1869) — писатель, литературный критик, его «Письма об Испании» опубликованы в 1847—1848 гг. в «Современнике». Кальдерон де ла Барка (1600—1681) — испанский драматург.

⁴⁷ Альфонский Аркадий Алексеевич (1796—1869) — доктор медицины, в 1842—1848, 1850—1863 гг. — ректор Московского университета.

В варианте этого абзаца В. И. Герье добавлял: «Выговор был очень мягок, и наше знакомство скоро привело к приглашению давать уроки юному сыну Альфонского, готовившемуся к вступлению в университет» (К. 32. Ед. хр. 1. Л. 69—69 об.).

Альфонский Виктор Аркадиевич (род. 1840) — с 1858 г. студент историко-филологического факультета Московского университета.

Другим поводом для вызова к ректору, о котором В. И. Герье старался умалчивать, было, вероятно, организованное им в первой половине 1858 г. бойкотирование лекций профессора славянских наречий Аполлона Александровича Майкова (ум. 1897). *Чичерин Б. Н.* Воспоминания: Московский университет. М., 1929. С. 15.

⁴⁸ Вызинский Генрих Викентьевич (1834—1879) — профессор кафедры всеобщей истории Московского университета, в 1857 г. защитил магистерскую диссертацию «Папство и Священная Римская империя в XIV и XV столетиях».

В варианте на л. 70—70 об. автор дополняет характеристику Вызинского рассуждениями о порядке сдачи устных магистерских экзаменов: «С одной стороны, это мне облегчило мою задачу, располагая его к снисходительности в требованиях, но и повредило мне неопределенностью их. Мне пришлось по его указанию прочесть без системы бесконечное число исторических сочинений, что нисколько не гарантировало успешного экзамена. Так, напр[имер], один из моих товарищей принужден был отказаться от продолжения экзамена вследствие того, что на магистерском экзамене не мог назвать королей, занимавших в XVIII в. престол в Швеции. И я сам, сделавшись после него экзаменатором, был принужден отложить экзамен одному магистранту из Казани, не имевшему понятия о числе курфюрстов в средневековой Германской империи. Ввиду такой неопределенности я ввел более определенный и систематический порядок экзамена, установив по соглашению с магистрантом известное число вопросов (по 6 крупных для каждого из 3 отделов всеобщей истории), которые магистрант должен был изучить и основательно подготовиться. Этим, я думаю, я оказал научную пользу немалому числу лиц, получивших ученую степень чрез мое посредство».

⁴⁹ Оболенский Михаил Андреевич (1805—1873) — князь, в 1840—1873 гг. — директор Московского главного архива Министерства иностранных дел.

⁵⁰ Левенвольде Карл Густав (ум. 1735) — дипломат, русский уполномоченный в Варшаве.

⁵¹ Магистерскую диссертацию «Борьба за польский престол в 1733 году» В. И. Герье защитил в январе 1862 г.

- Бшевский Степан Васильевич (1829—1865) — профессор всеобщей истории Московского университета, ученик Т. Н. Грановского и П. Н. Кудрявцева.
- ⁵² Свидетельство о командировании за границу для подготовки к преподаванию всеобщей истории выдано В. И. Герье 29 октября 1862 г.
- ⁵³ Траубе Людвиг (род. 1818) — немецкий врач-диагност.
Левин Георг Рихард — немецкий врач-диагност.
- ⁵⁴ Плиний Младший — римский государственный деятель I — нач. II в., писатель. Ранке Леопольд (1795—1886) — немецкий историк, профессор Берлинского университета. Адам Бременский — северогерманский хронист XI в. Кёпке Рудольф Анастасий (1813—1870) — немецкий историк, профессор Берлинского университета. Дройзен Иоганн Густав (1808—1884) — немецкий историк, профессор Берлинского университета.
- ⁵⁵ Гейссер Лудвиг (1818—1867) — немецкий историк, профессор Гейдельбергского университета, депутат Баденской палаты депутатов.
- ⁵⁶ Ваттенбах Вильгельм (1819—1897) — немецкий историк, источниковед, профессор Гейдельбергского университета.
- ⁵⁷ Целлер Эдуард (род. 1814) — немецкий философ, профессор Гейдельбергского университета. В. И. Герье упоминает о его книге «История немецкой философии с Лейбница» (1872). Фишер Куно (род. 1824) — немецкий историк философии, профессор Гейдельбергского университета до 1855 г., в 1856—1872 гг. — профессор Йенского университета.
- ⁵⁸ Блунчли Иоганн Каспар (1808—1881) — немецкий историк, с 1861 г. профессор кафедры государственного права и науки полиции Гейдельбергского университета, общественный деятель. Цепфл Генрих (1807—1877) — профессор государственного права Гейдельбергского университета.
- ⁵⁹ Миттермайер К. Й. А (1787—1867) — немецкий ученый-криминалист, профессор уголовного права Гейдельбергского университета. Рейхлин-Мельдегт Карл Александр (1801—1877) — богослов, профессор церковной истории Гейдельбергского университета. Лебо — приват-доцент Гейдельбергского университета. Ювенал Децим Юлий — римский поэт-сатирик I—II вв.
- ⁶⁰ Русская библиотека в Гейдельберге основана осенью 1862 г. Часть русских студентов, сочувствовавших А. И. Герцену, организовала сбор средств в пользу раненых поляков. Другая группа, во главе с В. И. Герье (В. И. Сергеевич, Л. И. Лаврентьев, И. П. Закревский и др.), разделявшая взгляды М. Н. Каткова на польский вопрос, провела подписку в пользу семей русских солдат, погибших при подавлении восстания. Поводом к дуэли послужил, вероятно, выход в мае 1864 г. рукописной газеты. В статье Е. В. де Роберти высмеивается дезертирство И. П. Закревского в лагерь «катковиков». См.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена, 1859 — июнь 1864. М., 1983. С. 513; Черняк А. Журнал русских студентов в Гейдельберге // Вопр. лит. 1959. № 1. С. 173—178.
В дуэли должны были участвовать Е. В. де Роберти и брат университетского товарища В. И. Герье — гр. Д. А. Капнист.
В 1859—1862 гг. В. И. Герье преподавал в 1-м Московском кадетском корпусе.
Де Роберти Евгений Валентинович (1843—1915) — философ, земский деятель, в 1862 г. окончил Александровский лицей.
- ⁶¹ Фридрих Николай (1825—1882) — профессор медицины Гейдельбергского университета.
- ⁶² Слова Миньона из одноименной оперы Амбруаза Тома.
- ⁶³ 16 ноября 1851 г. при кораблекрушении погибли мать и сын А. И. Герцена.
- ⁶⁴ Национальная библиотека в Риме, названная в честь ученого Антонио Магналибекки (1633—1714).
- ⁶⁵ Принципиальных различий во взглядах В. И. Герье и М. Н. Каткова на польское восстание 1863 г. не было; автор мемуаров занимал более гибкую позицию.
- ⁶⁶ Пий IX (1792—1878) — с 1846 г. римский папа.
- ⁶⁷ Тейнер Августин (1804—1874) — католический богослов.
- ⁶⁸ Зимой 1863 г. в Риме В. И. Герье по рекомендации университетского товарища бывал в доме графини У. Д. Капнист.
- ⁶⁹ Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — в 1852—1861 гг. профессор всеобщей истории Петербургского университета, с 1866 г. — издатель журнала «Вестник Европы». Речь идет о хрестоматии «История средних веков в ее пи-

сателях и исследованиях новейших ученых. Т. 1. Период первый: от падения Западной Римской империи до Карла Великого. 476—771». Рецензия В. И. Герье (Русский вестник. 1863. Т. 46. № 7. С. 337—372), опубликованная в редактируемом М. Н. Катковым издании, имела политическую подоплеку: в 1861 г. Стасюлевич подал в отставку в знак протеста против полицейской расправы над студентами Петербургского университета.

Тацит Публий Корнелий — римский историк I — начала II в. Речь идет о его сочинении «Германия» (98).

⁷⁰ Свидетельство о продлении срока командировки до июня 1865 г. датировано 19 декабря 1864 г. (К. 82. Ед. хр. 7). В варианте на л. 47 об. В. И. Герье так мотивировал необходимость этой меры: «... стремясь сначала к общему образованию, столь необходимому для историка, я не успел приготовить ни докторской диссертации, ни курса, с которого я мог бы начать свою профессорскую деятельность».

⁷¹ Зибель Генрих (1817—1895) — профессор истории Боннского университета, политический деятель. Ян Отто (1813—1869) — немецкий историк, археолог, филолог, профессор Боннского университета.

⁷² Профессора Боннского университета Вильгельм Кампшulte (1831—1872), Мауренбрехер (1838—1893), Нордер.

⁷³ Шпрингер Антон (1825—1891) — профессор Боннского университета.

⁷⁴ Брандис Христиан-Август (1800—1867) — немецкий историк философии, профессор Боннского университета. Мерц Адальберт (род. 1838) — профессор философии Боннского университета. Блавацкая Елена Петровна (1831—1891) — русская писательница-спиритка, издатель.

⁷⁵ Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — журналист, адвокат.

⁷⁶ Леруа-Болье Пьер-Поль (род. 1843) — французский экономист. Леруа-Болье Анатолий (1842—1912) — французский историк, в 1872—1881 гг. несколько раз посетил Россию, бывал проездом в имении Курлак Воронежской губернии, принадлежавшем А. И. Станкевичу.

⁷⁷ Вольф — лечащий врач А. А. Алферова, знакомый В. И. Герье по Бонну.

⁷⁸ Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ.

⁷⁹ Русский вестник. 1866. Т. 61. № 1—2. Отдельные оттиски его были пущены в продажу под названием «Очерк развития исторической науки» (М., 1865).

⁸⁰ Мельгунов Петр Павлович (1848—1894) — педагог, преподаватель истории и географии в московских гимназиях.

⁸¹ Алфераки Ахилл Николаевич — почетный смотритель Таганрогского греческого училища. Фортунатов Филипп Федорович (1848—1914) — языковед, в 1876—1902 гг. профессор Московского университета, академик. Шварц Александр Николаевич (1848—1915) — филолог, профессор Московского университета, чиновник Министерства народного просвещения, в 1908—1910 гг. — министр народного просвещения.

⁸² Речь идет об О. М. Бодянском.

⁸³ Письмо датировано 18 мая 1868 г. (К. 48. Ед. хр. 82. Л. 1—1 об.).

⁸⁴ С именем В. И. Герье связано введение семинарских занятий по всеобщей истории в Московском университете. См.: *Соболевский А. И.* В. И. Герье: Некролог // *Известия Российской Академии наук.* М., 1919. С. 569.

Подобные столкновения со студентами не были редкостью. Герье сделал семинарские занятия обязательными, что «породило неприятные шероховатости во взаимных отношениях профессора и студентов» (*Кареев Н. И.* Памяти двух историков // *Анналы.* 1922. № 1. С. 159).

Лебедев Иван Алексеевич (1845—1916) — с 1878 г. приват-доцент Московского ун-та, с 1883 г. — заведующий городскими училищами, в 1898—1905 гг. — товарищ городского головы, октябрист.

⁸⁵ Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ, общественный деятель, теоретик исторической науки и источниковой критики.

⁸⁶ Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — граф, в 1866—1880 гг. министр народного просвещения и обер-прокурор Синода, в 1882—1889 гг. — министр внутренних дел, шеф жандармов.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	3
ИСТОРИКИ СПОРЯТ	
Мюнхен — поворот к войне	
«Круглый стол» Научного совета по проблеме «Общие закономерности и особенности всемирно-исторического процесса»	6
Историческая наука в 20—30-е годы	
«Круглый стол» Научного совета по историографии и источниковедению	64
Обсуждение книги: И. К. Пантин, Е. Г. Плимак, В. Г. Хорос.	
«Революционная традиция в России»	105
ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД	
<i>Е. В. Гутнова.</i> Советская медиевистика с середины 30-х до конца 60-х годов	164
<i>А. И. Алагорцева.</i> Дискуссия о «Народной воле» в советской исторической науке конца 1920-х — начала 1930-х годов	209
ИДЕИ И СУДЬБЫ	
<i>М. Г. Вандакловская.</i> А. А. Кизеветтер. История и политика в его жизни	231
<i>Н. Н. Тарасова.</i> О философских и теоретико-методологических взглядах Н. А. Рожкова (по работам 1893—1907 гг.)	258
Жизнь и творчество учителя и ученика в первой половине XX века: Д. М. Петрушевский и А. И. Неусыхин	283
<i>Л. Т. Мильская.</i> Ответственность историков	284
<i>Б. Г. Могильницкий.</i> О принципах подхода к немарксистской историографии. Уроки А. И. Неусыхина	292
<i>Ю. Ф. Иванов.</i> К истории докторской диссертации Д. М. Петрушевского	299
<i>Т. Д. Сергеева.</i> А. И. Неусыхин о природе исторического мышления	304
<i>С. М. Стам.</i> О научном методе А. И. Неусыхина	311
<i>Я. Д. Серовайский.</i> Географический фактор в научном творчестве А. И. Неусыхина	318
<i>Г. Д. Алексеева.</i> Н. И. Бухарин о развитии науки в XX в.	327
<i>С. Л. Леонов.</i> Идеинная эволюция Н. И. Бухарина: вопросы экономической теории	339
<i>М. А. Абрамов.</i> Н. И. Бухарин на 2-м Международном конгрессе по истории науки и техники	356
ВСТРЕЧИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ИСТОРИКАМИ	
<i>М. Левин</i> (США). Гражданская война в России: движущие силы и наследие	366
Наш комментарий	391
<i>К. Ярауш</i> (Швеция). Роль количественных методов в исторических исследованиях: упадок или возрождение?	395
МЕМУАРНОЕ И ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ	
<i>А. Н. Шаханов.</i> Воспоминания В. И. Герье	416
<i>В. И. Герье.</i> Детство. Учение до получения кафедры	419